

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

максим кантор

красный свет



Annotation

Автор «Учебника рисования» пишет о великой войне прошлого века – и говорит о нашем времени, ведь история – едина. Гитлер, Сталин, заговор генералов Вермахта, борьба сегодняшней оппозиции с властью, интриги политиков, любовные авантюры, коллективизация и приватизация, болота Ржева 1942-го и Болотная площадь 2012-го – эти нити составляют живое полотно, в которое вплетены и наши судьбы.

- Максим Кантор
 - Глава первая
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - Глава вторая
 - 1
 - 2
 - 3

- 4
- 5
- 6

- Глава третья

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

- Глава четвертая

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13

○ Глава пятая

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

○ Глава шестая

- 1

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

○ Глава седьмая

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)

○ [Глава восьмая](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)

- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)

○ [Глава девятая](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)

- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)

- [Глава десятая](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)



Максим Кантор

Красный свет

Глава первая

Псих

Выражение «рукопожатный человек» вошло в салонную жизнь Москвы в те годы, когда пожимать руку не стоило уже никому. Жест символизирует доверие, а кому теперь можно доверять?

Надо соблюдать осторожность в распределении рукопожатий, это в большом городе затруднительно. Досадные казусы случаются сплошь и рядом: ловят вора — и выясняется, что вор дружен с лучшими людьми города. Ведь не в одночасье объявляют делового человека мошенником — до того он успевает пожать тысячи благородных ладоней.

Ах, сколько дворцовых полов натерто
штиблетами интеллигентов,
пришедших за грантами к бандитам;
сколько яхтенных палуб истоптано в
свободолюбивом танце на днях
рождения у воров! И почему знать, из
каких средств будет оплачен
благотворительный обед, на который
позвали вечером. Неужели
благородные люди питаются
продуктами, приобретенными на
краденое у пенсионеров? Поневоле
задумаешься и спрячешь руку в
карман.

Однако не все так печально —
посмотрите вокруг, сколько
интеллигентных лиц в нашем городе!
Термин «рукопожатные» отделял

круг прогрессивных людей от тех, кто не рад демократическим переменам в обществе. Радеть за либерализм естественно для прогрессивного человека, тем более что есть среди нас коммунисты и фашисты – боремся с ними, а они все живут. Казалось бы, неужели не очевидно, что прогресс и рынок лучше, чем разруха и казарма? Ан нет, находятся такие, кто тоскует по сильной руке. Прогрессивным людям пришлось поставить вопрос так: что хуже – легкое воровство или тоталитаризм? Хотелось бы сохранить репутацию вовсе незамазанной, но подвох состоял в том, что воры тоже придерживались

либеральных взглядов. Возможно, воры толковали либерализм превратно, но отказаться от их трактовки не удавалось: иногда у воров просили денег. Как бы так ухитриться оградить интеллигентных людей от воров: деньги у воров брать на нужды прогресса, но непосредственно в грабеже не участвовать?

В советские годы гуляла поговорка, будто каждый человек знаком с английской королевой через три рукопожатия. Скажем, ребенок учится в школе с мальчиком, у которого папа торгпред в Лондоне и бывает в Букингемском дворце – вот и познакомились родители сопляка с

королевой.

Нынче всякий интеллигент знаком с вором и убийцей всего через одно рукопожатие. Художники дружат с торговцами оружием, устраивающими им выставки. Журналисты обхаживают разбойников, купивших издательский дом. Писателям пришлось смириться с тем, что руки, вручающие им премию за роман, не столь давно вставляли паяльник в зад должнику. Неприятно про паяльник думать — и мир капитала литераторы научились воспринимать, не вдаваясь в унижительные подробности.

Светские люди кормились в редакциях и галереях; бывая

интеллигенция подалась в службу олигархов; сделать карьеру без знакомств было трудно, и, хотя все культурные люди знали, что их влиятельные знакомые — жулики, про это старались не думать. Выработался кодекс пристойного, необременительного поведения; судили действительность избирательно: порицали чиновников-казнокрадов за взятки, а то, что меценатствующий хозяин целлюлозного комбината не ангел, — про это молчали. Статусом «рукопожатного» дорожили — но не вдавались в подробности, как далеко цепочка рукопожатий заведет.

Этак и до Сталина доберемся

через три рукопожатия — вдруг выяснится, что дед работодателя служил начальником отдела НКВД? А то нарвешься ненароком на криминального авторитета: обнаружится, что либеральный богач — лидер солнцевской преступной группировки. История — штука коварная, и под прошлым подвели жирную черту. Генетически пороховая гарь не передается, к чему нам знать прошлое? Стараниями журналистов определили необходимый минимум: революция — зло, Сталин — тиран, социализм — тупик. Кому-то покажется маловато, но это хороший рабочий список убеждений. И не надо доискиваться

до деталей, кто что брал и кто кого резал, — в конце концов, мы начали новую жизнь, появились иные герои, у них иные судьбы.

Так обратимся же к людям, воплотившим эпоху перемен.

Именно этим принципом руководствовался посол Франции в Москве господин Леон Адольф Леконт, проглядывая список гостей, представленный секретарем. Люди известные, состоявшиеся личности, громкие имена. Посол прочитал список, ставя утвердительные галочки против фамилий.

— А это, позвольте, кто?

— Это имя вписала мадам...

— Да-да, припоминаю, мы

познакомились с парой в Греции.
Милейшие люди... А это?

– Крупный российский поэт.

– Ну да, ну да... Вы стихи читали?

– Не довелось. Однако вы неоднократно приглашали этого господина к нам в посольство.

– Вот как... А это кто?

– Рекомендовали из Парижа...

– Разумеется, я в курсе. Почему я не вижу имени господина Пиганова?

– Так вот же он, на первом месте.

– Ах, как я не заметил!

И вот карточки с именами гостей расставлены на столе – продумано, кто с кем будет говорить,

выдержан баланс интересов. Господин Леконт встал в дверях зала, лично приветствуя каждого, удерживая рукопожатную ладонь в своей, мягкой. Тех, кого Леон Адольф знал коротко, он привлекал ближе, троекратно целуя гостя по русскому обычаю; в цивилизованном европейском варианте поцелуй выглядел как нежное соприкосновение щек.

Имя посла демонстрировало разумный компромисс в оценке истории; пуская сына в плавание по жизни, родители снабдили его именами, уравнивающими друг друга: Леон – в честь Блюма, Адольф – в честь Тьера. И что может быть

важнее для дипломата, нежели умение избежать одномерных оценок? Рукопожатие тому, кто считает себя левым; объятие тому, кто называет себя правым. Самый облик посла Франции являл уют и согласие: легкий наплыв живота на брючный ремень, приятная округлость щек, открытая улыбка. Входи, друг, говорила улыбка, у Франции нет тайн от русского друга. Садись за общий стол и угощайся! В этих стенах нет места партийной вражде и клановым уособицам.

Гости — один значительнее другого — врывались в обеденную залу, неторопливо дефилировали вдоль стола, заглядывая в карточки с

именами. Здесь все люди селекционные, просеянные через мелкое сито цивилизации. Сближенные заботой посла обменивались ласковыми рукопожатиями. Так ежедневно ковалась в московском свете цепь знакомств и пристрастий.

— Кажется, мы соседи? — О, я наслышан о вас! — Позвольте вашу рукопожатную руку. — Недвижимостью занимаетесь? — Нет, собираю антиквариат.

Разговорились, а там, глядишь, и общий интерес образовался, и бизнес наметился — так и устроен мир, этим мы все и живы.

Господин Пиганов, демократ и

лидер оппозиции, раскланивается с госпожой Бенуа, представителем нефтяной компании «Элф», жмет руку литератору Ройтману. Журналист Сиповский обнимается с немецким банкиром Кохом, они, оказывается, давно знакомы через общего друга банкира Семихатова. Вместе они подходят к редактору Фрумкиной — тут же выясняется, что их усадили рядом. Пожилой политик Тушинский спешит поздороваться с молодым политиком Гачевым, архитектор Кондаков присоединяется к беседе. Как верно, как точно спроектирован праздник.

До чего досадно бывает, когда случайная ошибка приводит к

конфликту: в одном месте неверно посадили гостей, и вечер испорчен. Посол прислушивался к разговору за дальним концом стола — нехорошо вышло: крупный предприниматель Семен Семенович Панчиков ввязался в ссору. С кем, любопытно, он так громко говорит? Посол Франции привстал, чтобы рассмотреть собеседника Панчикова. О чем это они?

– С чего вы взяли, что Ленин – германский шпион?

– То есть?

– Разве Ленин был шпионом?

Семен Панчиков даже растерялся: таких вещей не знать! Азы, можно сказать, отечественной истории.

– Помилуйте, ну хоть что-то вы читали... Нельзя же вот так... Вы что, совсем ничего не знаете?

– Как раз очень интересуюсь.

– Стало быть, слышали о том, как Ленина везли из эмиграции в специальном поезде, в plombированном вагоне – прямо в

Россию, на Финляндский вокзал. Наверняка слышали, как готовили эту акцию с помощью немецких спецслужб, как снабжали партию большевиков германскими марками! Миллионы кайзеровские! Про это подробно написано!

— Где написано?

Опять-таки Семен Семенович опешил: в самом деле, где написано о том, что земля круглая? Факт известный, а источники где? Враз и не сообразишь. В учебнике географии, наверное, рассказано — для школьников младших классов.

— В учебнике истории, полагаю, про эту аферу подробно написано. Или непременно будет написано!

Когда наконец раскроют все тайны большевистского переворота.

— А вы сами где эти сведения прочли?

И правда, где? Где-то про заговор большевиков было убедительно изложено. Семен Семенович стал вспоминать. Статья была опубликована в газете «Аргументы и факты», кажется, году в девяносто третьем. И название статьи он вспомнил, называлась она «Немецкое золото пролетарской революции». Ах, нет, нет! То была газета «Совершенно секретно». Газету «Аргументы и факты» выписывала теща, а вот «Совершенно секретно» выписал он сам — в газете

в те годы давали сенсационные разоблачения. Газету доставляли в Нью-Йорк, где в то время жил Семен Семенович, и эмигранты радовались каждой странице — наконец-то! Заголовок, помнится, шел через всю страницу, и еще фотография лысого Ленина: хитрый прищур германского шпиона. Панчиков даже вспомнил день, когда они с женой читали статью, — он позвал Светлану, а так как раз (вот бывают совпадения!) читала подборку смешных анекдотов про Ленина, и они склонились лоб в лоб над газетой, ахнули в один голос: вот оно как, оказывается! Нет, ну вы подумайте, ларчик-то просто открывался! Впрочем, сослаться на

газету несолидно — это при Советской власти оболваненные массы ссылались на мнение «Правды».

— Про это всем давно известно.

— А откуда известно?

Помог сосед по столу, тот, что слева. Вмешался в разговор.

— Подробно описано у Солженицына в «Августе Четырнадцатого». Изложена вся интрига. Был такой авантюрист Парвус, настоящее имя Израиль Гельфанд. Этот Парвус организовал контакты Ленина с германскими спецслужбами.

— А зачем?

— Ненавидел Россию! С

финансистом Парвусом Ленин держал связь в эмиграции, именно через Парвуса немцы снабжали деньгами большевиков, а самого Ленина в plombированном вагоне привезли в Петроград.

– Вот именно! – Как же Семен Семенович сразу не вспомнил про книгу Солженицына, фрагмент эпопеи «Красное колесо»? Вот где факты подробно изложены. – Вы «Август Четырнадцатого» откройте. Ликвидируйте пробелы.

– А вдруг Солженицын наврал?

– Как это – наврал?

– Вы сказали: наврал?!

Две пары глаз широко раскрылись – давно не обвиняли

Александра Исаевича Солженицына во вранье, прошли, слава богу, те времена, когда преследовали в России свободное слово.

— Мог и наврать, — сказал их собеседник и пояснил: — Все-таки художественная литература. Вымысел.

— Знаете, Солженицына уже пытались уличить в клевете. Посадили в лагерь, выслали из страны, запрещали книги. Может, довольно?

Кто мог подумать, что придется снова защищать Солженицына от обвинений? А пришлось! Словно не было бурных двадцати лет борьбы за демократию, словно не было

разоблачений коммунистической катастрофы. Панчиков и его сосед испытали понятное всякому русскому интеллигенту волнение: так волновались мы, идя на баррикады свободы в девяносто первом, так нервничали мы в семидесятых, пряча под подушку томик, изданный «за бугром». Кто же не помнит это бодрящее чувство опасности: засыпаешь под утро, а под ухом греется запрещенная литература. И встречаясь в гостях с такими же, как ты, инакомыслящими, повторяешь как пароль заветные слова: «Авторханов», «ИМКА-Пресс», «Посев». Не те уже времена, но вот,

как оказалось, и на званом ужине во французском посольстве можно снова оказаться на передовой идеологического фронта. Словно не стол с закусками отделял их от собеседника, но баррикада. Те, что были по одну сторону баррикады, обменялись рукопожатием.

— Семен Панчиков, предприниматель.

— Наслышан о вас. Большое дело делаете, Семен! Евгений Чичерин, адвокат.

— Узнал по фотографиям, Евгений. Вот кого вам сегодня довелось защищать!

— С радостью принимаю такого клиента!

Посмеялись, чокнулись
маленькими рюмками сотерна.
Вспомнили об оппоненте, взглянули
на спорщика. Напротив них сидел
невзрачный человек — редкие серые
волосы, почти лысый череп,
водянисто-серые глаза, тонкогубый
рот. И пиджачок у него был серый,
неудачного покроя, и галстук
серенький. Одним словом, неброская
внешность, как у шпионов в фильмах
про войну. Познакомишься, и через
минуту забудешь как выглядит, не
узнаешь, если снова встретишь. Они
бы никогда и не обратили на него
внимание, если бы не эта дикая
реплика: стоило Панчикову между
прочим упомянуть о германском

агенте Ульянове-Ленине, и человечек в сером пиджаке встрял с вопросом. Ах, Россия! Сама не знает своей истории! А ведь третье тысячелетие на дворе, милые, пора бы знать что к чему.

– Дело сдано в архив, – сказал адвокат, подводя итог спору. – Как угораздило о Ленине вспомнить?

– Сам не знаю! – сказал Панчиков. – Наваждение!

– Призрак бродит по Европе, – сказал адвокат весело, – а пора бы ему на покой.

И в самом деле, подумал Панчиков, прежнюю жизнь вспомнить трудно.

Некогда брели по унылым

улицам унылые серые люди, только транспаранты были красные.

Не то теперь! Панчиков обвел глазами зал посольского особняка. Яркая комната приняла столь же ярких гостей — каждый был особенный, и одет всякий гость был своеобразно. Некогда поэт Мандельштам сетовал на то, что является человеком эпохи «Москвошвей» и на нем топорщится пиджак — ну, как на этом вот сером человечке. Нынешняя эпоха представлена совсем иной фирмой. Даже правительственные чиновники — среди гостей их было достаточно — не носят в наши дни скучные костюмы, но одеваются у лучших

портных планеты. Что говорить о людях творческих, о кинозвездах, архитекторах, адвокатах! Адвокат Чичерин, например, был облачен в зеленый приталенный пиджак, рубаху в тонкую красную полоску, на шею повязал малиновую бабочку, и малиновый же платок высовывался из нагрудного кармана пиджака. Сочетание цветов смелое, но изысканное.

Архитектор Кондаков украсил себя широкими цветными подтяжками: одна подтяжка лиловая, а другая – розовая. Вот его уж точно ни с кем не спутаешь: личность! Лидер оппозиции господин Пиганов, спортивный мужчина, был облачен в

строгий костюм цвета крем-брюле, но упаковал свои ноги в остроносые ботинки желтого цвета. Подумать только — желтые ботинки! Но оппозиционер мог себе такое позволить. Директор радиостанции «Эхо Москвы» отличался от прочих гостей тем, что принципиально не носил пиджака, он гулял по залу в просторной клетчатой рубашке навыпуск. Вроде бы прием у посла, галстук положен — а он вот так, запросто. И всякий, едва взглянув на него, понимал, что человек это оригинальный, с собственным стилем в жизни. Директор музея Эрмитаж, академик и педант, — вон он, в глубине зала фуагра кушает, —

носил поверх пиджака длинный белый шарф, наброшенный на плечи. Казалось бы, в комнате тепло, к чему шарф, ведь академик не лыжник? Так бы подумал иной невежественный человек. Но дело в том, что таким вот оригинальным штрихом (белый шарф или рубашка в крупную клетку) состоявшийся индивид отделял себя от толпы. Каждый был здесь уникальной личностью, и туалеты подчеркивали это обстоятельство.

Серость недолговечна, мы это знаем теперь, похоронив коммунизм и уравниловку.

Однако почему мы вспоминаем Ленина? Призрак бродит по Европе, как точно сказано!

– Вампир жив, – пошутил Чичерин. – Ночами ищет жертву.

– Напрасно смеетесь. – Панчиков глазами указал на своего недавнего собеседника, бледного, словно кровь из него вампир высосал. Панчиков даже вообразил себе сцену, как мертвый Ленин, восставший из склепа, кусает граждан в шею и сосет кровь. – Вампиры существуют.

Серый, похожий на вампира человек, скривился и опрокинул в себя рюмку сотерна; вероятно, ждал, что это крепкий напиток, и бледное лицо его выразило недоумение.

Он не опасен, он просто вульгарный провинциал, подумал

Панчиков.

«Как вы сюда попали?» – вопрос вертелся на языке, но задать такой вопрос Панчиков счел невежливым, спросил иначе:

– Что вас привело на сегодняшнюю встречу?

– Позвали, – и серый человек махнул рукой в ту сторону, где чиновники Министерства иностранных дел поднимали тосты.

Панчиков оценил ситуацию. Вероятно, столичный чиновник захватил с собой коллегу из провинции, решил показать дикарю шик метрополии. Вернется дикарь в Тмутаракань – на год рассказов хватит: в таком месте отужинал! А

вот посол напрасно разрешает приводить дикарей на приемы.

Панчиков поискал глазами посла: надо будет высказать претензию. Посол встретился глазами с Панчиковым, растерянно развел руками — мол, виноват! Панчиков покачал головой: дескать, устроили тут проходной двор!

— Надеюсь, вам здешняя еда понравится, — сказал Панчиков провинциалу и добавил: — Вижу, любите сотерн.

Серый человек подозрительно посмотрел на свою рюмку.

— Сотерн?

— Так вино называется.

— Вкусное, — и вампир протянул

рюмку официанту. – Еще налейте, а?

– Сладкое вино, – поделился наблюдениями провинциал, – а я думал, сладкое только на десерт дают... Ну, вы-то, конечно, знаете все тонкости...

Панчиков и Чичерин ничего не ответили, отвернулись, но провинциалы – надоедливые люди, так просто не отстанут.

– Скажите, а вы правда адвокат? – спросил серый человек у Чичерина.

Другой бы понял, что с ним говорить не хотят, постыдился бы навязывать свое общество. Этот же субъект назойливо обращал на себя

внимание.

— Вы в самом деле адвокат?

Вся Москва знает адвоката Чичерина. Труднейшие дела вел адвокат, головоломные комбинации прокручивал, способствуя разделу имущества супругов Семихатовых: он — банкир, она — владеет гостиницами. Однако не бракоразводными процессами составил адвокат свою славу, но бескомпромиссным служением демократии. Именно Чичерин отстаивал права опального олигарха, нашедшего убежище в Лондоне; доводилось ему схлестнуться с властью, выйти один на один с Левиафаном.

— Весьма известный адвокат. — Панчиков взял труд ответить, а Чичерин улыбнулся.

— Повезло, что нас рядом посадили! — обрадовался провинциал и тут же себя поправил: — Слово «посадили» звучит нелепо. Нас бы с вами в одну камеру не поместили, наверное... — и засмеялся неприятным смехом.

Ну и шутки в провинциях. Адвокат и предприниматель переглянулись: пригласить, может быть, распорядителя? А провинциал продолжил:

— Известный адвокат, надо же! Значит, спор с правовой точки зрения решите.

– Простите?

– Не следует принимать на веру обвинение, не подтвержденное фактами, правильно? Что значит «пломбированный вагон»? Вы как себе пломбы представляете?

Панчиков, несмотря на раздражение, должен был признать, что провинциал прав: термин туманный. Что, двери в вагоне опечатаны сургучной печатью были? Ну, говорится так – «пломбированный вагон», надо ли к словам придирааться? Все отлично понимают, что имеется в виду. Значит, ехали большевики в специальных условиях, без досмотра. Это Панчиков сдержанно и объяснил.

– Теперь понятно?

– Но ведь поездов было три – и все с политическими эмигрантами. От Временного правительства вышла амнистия политическим беженцам. Все шпионы? Во всех вагонах сургучные печати? – Где-то нарыл он сведения про три поезда, буквоед из глубинки.

– Не всем пассажирам германское правительство платило деньги, – с улыбкой заметил адвокат.

– Вы видели копии банковских переводов? – не унимался провинциал.

– Большевики избавились от улик.

– У власти был Керенский,

распоряжений замечать
большевистские следы не давал. Он
следы искал.

— Все просто, — сказал Панчиков, — германскому командованию выгодно посеять смуту в армии врага. Большевиков ввозят в Россию — забрасывают шпионов в тыл противнику. Снабжают деньгами.

— Значит, большевики были шпионами?

– Это очевидно.

Прилипчивый, как репей,
провинциал. Губы тонкие, как у всех
скрытных людей. Близко
посаженные глаза — признак
ограниченности и назойливости;

такие спорят часами — им в провинциях заняться нечем.

— Получается, что в тридцать седьмом сажали за дело.

Есть в истории страницы, на которые взглянуть без содрогания нельзя.

— Тридцать седьмой год — позор России, — сдержанно сказал Панчиков.

— Вы сами только что сказали, что Германия заслала шпионов. Вот их в тридцать седьмом и разоблачили. Бухарин — германский шпион. И Троцкий. И Карл Радек. Он даже признался.

Панчиков давно не участвовал в дискуссиях на тему октябрьского

переворота. В студенческие годы был спорщиком, но чего же вы хотите от крупного бизнесмена – появились иные дела. Обыкновенно Панчиков говорил собеседнику так: «Доведись мне с вами полемизировать году в семидесятом, я бы вас по стенке размазал своими доводами. А сейчас, простите, времени нет». Россия большевистская была невыносимым государством. Он уехал в Америку тридцать лет назад, с трудом вырвался, – а вернулся обеспеченным человеком, с опытом жизни в свободном мире. Вернулся, чтобы помочь построить заново демократическую Россию – так он всем говорил. Десятилетия

тоталитаризма изменили
ментальность граждан, разрушили
культурный генофонд. Надо ли опять
спорить о Лубянке и Ленине?
Видимо, надо.

– Не знаете, как выбивали
признание? – спросил Панчиков,
намазал тост гусиным паштетом да и
отложил в сторону. Невозможно
говорить про культ личности и есть
фуагра.

Хорошо бы перебраться на
другой конец стола, а сюда
пригласить Фрумкину, редактора
журнала «Сноб». Она бы данного
субъекта без соли съела – Фрумкина
умеет! Фрумкина сидела далеко от
спорящих, но следила за разговором,

яростный взгляд ее жег провинциала. Однако на званых обедах место не выбирают, подле тарелки ставят карточку с именем гостя, рассаживают принудительно. А вот в советские времена каждый плюхался на стул там, где хотел. Панчиков улыбнулся этому парадоксу. Демократия, если вдуматься, держится на регламенте и – не будем осторожничать в терминах! – на принуждении к соблюдению правил.

– Советские суды – это не правосудие, – сказал Семен Панчиков.

– Советским судом Бухарин был осужден, советским судом реабилитирован. Которому из судов

не доверяете? А маршал
Тухачевский? Между прочим,
документы, подтверждающие связи с
разведкой рейха, имеются.
Возможно, фальшивка — однако не
доказано. Верите в то, что Блюхер —
японский шпион? Признательные
показания есть... Троцкого, между
прочим, никто не реабилитировал —
обвинение не снято. Верите в то, что
Троцкий снабжался через посла
Крестинского немецкими деньгами?
Верите в то, что Зиновьев и Каменев
агенты сразу двух разведок?

— Однако! — только и сказал
Панчиков.

— Что вы на меня так
смотрите! — смутился провинциал. —

Что я такого сказал? Про шпионов? Ну да, примеров много. Атаманы Шкуро, Краснов, Улагай были связаны с германской разведкой задолго на начала Отечественной войны, это никакой не секрет. Я просто историей интересуюсь... ну и по работе...

Что за работа у него такая, подумал Панчиков, в банке аналитиком служит? Отслеживает капиталы, ушедшие за границу?

— Вас послушать — так репрессии оправданы!

— Если, например, враги народа...

Как раз тот самый момент, когда собеседнику следует вlepить

пощечину. Встать, перегнуться через стол и – хлоп ладонью по щеке! Или еще лучше – вином плеснуть в физиономию. Дескать, ты, подлец, оправдываешь репрессии тридцать седьмого?! И – рраз! – бокал вина в лицо! Однако Панчиков так не поступил. Все-таки праздник сегодня. Доброму другу, галеристу Ивану Базарову вручают орден Почетного легиона за развитие культурных связей России и Франции.

С Базаровым познакомились на итальянском курорте Форте-дей-Марми: Семен Семенович праздновал свое шестидесятилетие широко, арендовал на три дня

ресторан – и вдруг на пляже услышал русскую речь, симпатичные супруги сетовали на то, что в любимое заведение не попасть. За чем же дело стало, позвал их на день рождения. Базаров очаровал всех – плясал до полуночи, рассказывал политические анекдоты, до того уморительно пародировал покойного президента Ельцина, что даже итальянские официанты хохотали. Иван Базаров, как оказалось, держал галерею современного искусства, выставял российских мастеров в Париже. Служил музам легко, без пафоса, без мессианства, так раздражающего в некоторых деятелях культуры. У Базарова пропорции соблюдены:

немного искусства, немного светской жизни, и все естественно соединяется в галерейном бизнесе. Давно пора отметить его заслуги – вот и отметили. Посол сказал теплую речь, причем сказал по-русски, мило путая ударения. Цветов столько, что под них отвели специальный стол. Нужен ли сегодня скандал?

Официанты, плавно двигаясь вдоль стола, разливали по бокалам желтоватое маслянистое бургундское – дело шло к рыбной перемене. Перед каждым гостем стояло четыре рюмки: маленькая рюмка с сотерном сопровождала гусиную печенку, но вот пришла пора наполнить бокал для белых вин. Что ж, значит, будем

пить белое вино. И можно даже угадать, какую рыбу это белое бургундское нам сулит.

— Дорада? — осведомился Панчиков у адвоката Чичерина, который, надев очки, изучал меню.

— Как ни странно, форель!

— Форель?

— Представьте себе.

— Любопытно.

— А вдруг все они шпионы? — Не даст поесть серый человек. — Если Ленин был шпион, почему Радек — не шпион?

Кто не знает про открытые процессы сталинского времени! Собирали полные залы оболваненных пролетариев и

разыгрывали спектакль.
«Взбесившихся псов предлагаю
расстрелять!» – вот типичная фраза
генерального прокурора страны
Андрея Януарьевича Вышинского,
прозванного Ягуарьевичем.
Германский шпион, японский
шпион! Странно, что до
«перуанского шпиона» не
договорились на процессах.

– Радек, Бухарин, Тухачевский,
Рыков, Рудзутак, – дыхания не
хватило, а перечислять можно до
утра, – были облыжно обвинены и
убиты! – Семен отставил недопитый
бокал: ну как тут вино
распробовать! – Миллионы сгноили в
лагерях, а вы говорите, их за дело

убили!

Рука невидимого официанта подхватила бокал; недурное было вино — но обед не сложился.

— Вы меня неверно поняли.

— Отлично понял! В наше время — этакое говорить! — Семен возвысил голос.

В конце концов, пусть появится мажордом, или кто тут имеется, пусть выведет хулигана за дверь. Всему есть мера!

Надо же, как не повезло: всех гостей разместили пристойно, одному Семену Семеновичу достался в соседи психопат.

Вот журналисты сидят дружной семьей: Фрумкина, Сиповский,

Гулыгина, Фалдин. И ведь дело не в том, что между людьми нет противоречий! Всякий знает, что Фрумкина недолюбливает Гулыгину, а Фалдин не ладит с Сиповским. Люди не схожи меж собой: Фалдин заботливый семьянин, везде проталкивает свою жену, а Сиповский — гомосексуалист, не скрывающий ориентацию; Фрумкина поддерживает партию «Справедливая Россия», а Гулыгина, не прячась, сожительствует с лидером парламентской фракции правящих «единороссов». Но их разногласия не ведут к нарушению главных нравственных табу.

Вот правозащитники, сидят

отдельной группой: Аладьев, Ройтман, Халфин. Злые языки поговаривают, они конкурируют в борьбе за лидерство в глазах Запада. Пусть так, но их конфликт не затрагивает базовых ценностей!

Вот современные политики: Тушинский, Гачев, Пиганов. Тушинский — человек пожилой, блистал в первые годы перестройки, его еще зовут на званые обеды; Гачев — человек новой волны, это он выдвинул тезис борьбы с коррупцией; Пиганов — классический демократ, пришел в политику из нефтяного бизнеса. Политики не любят друг друга: каждый из них мечтает возглавить Россию завтра —

однако взаимно вежливы и приятны в общении.

Вот литераторы, властители дум: публицист Бимбом и новеллист Придворова. Бимбом — молодой мыслитель, фамилия смешная, это был псевдоним деда, меньшевика Арсения Бимбома, высланного из России на «философском пароходе». Тамара Ефимовна Придворова — представитель московской интеллигенции, хранитель традиций. Литераторы борются за внимание миллиардера Чпока, кому то он доверит новый журнал. Но внешне — тактичны и предупредительны.

Вот актуальные художники: Шаркунов, Гусев и Бастрыкин. И у

них имеются разногласия: Бастрыкин — западник, занимается беспредметным искусством, Шаркунов — патриот и националист, поет монархические гимны и рисует двуглавых орлов, Гусев же — человек мятущийся, устраивает публичные акции и много пьет. Художники разговаривают друг с другом воспитанно, хотя соперничают за право быть замеченными меценатом Балабосом.

Вот и магнаты: Балабос, Губкин, Чпок. История провела жесткую селекцию среди богачей — кто знает, какие планы касательно друг друга вынашивают эти господа со складчатыми затылками. Но внешне

предупредительны и приветливы.

Цивилизованно ведут себя люди, вот искомое слово: цивилизованно! А у Семена сосед... Что же это такое, господа?

— Понимаете ли вы, что есть слова, которые цивилизованный человек себе позволить не может?

Спор привлек внимание всего стола. До чего неловко! Праздничный вечер — и такая непристойность. От гостя к гостю прошелестело вдоль стола слово «сталинист», «сталинист», «сталинист»; словно змеиный шип просверлил пространство.

Фрумкина смотрела на них пристально — Семен понял, что

журналист уже обдумывает фельетон. Фрумкина обладала последовательными убеждениями (одета сегодня casual: джинсы от Версаче, свитер Дольче Габбана), и даже застольную болтовню она не оставит без внимания. Вот и Варвара Гулыгина (брючный костюм от Ямамото, легкий серебристый шарф), остроумнейший обозреватель культурной жизни, поглядела в их сторону. Ничего себе ситуация: прием в особняке французского посла — и такое, как бы это выразиться, *faux pas*! Вот и виновник торжества, кавалер ордена Почетного легиона Иван Базаров (темно-синий костюм от Армани, сорочка от

Армани же, галстук в тон от Живанши), повернулся к ним, поднял бровь. По выражению лица Базарова было понятно, что и он недоумевает, откуда этот тип взялся. Люди сдержанные, светские, они владели собой, но нашелся человек, который не стерпел. Госпожа Губкина (юбка от Донны Карен, короткий набивной жакет Прада, нитка жемчуга), супруга финансиста Губкина (строгий асфальтового оттенка костюм от Бриони, галстук в тон), встала и приблизилась к спорщикам. Все знали Губкину как даму искреннюю, не умеющую скрывать свои чувства. Московская публика любила Губкину за спонтанность — в

наш век замороженных реакций мы радуемся, если кто-то сохранил непосредственность. Она подошла и громко сказала:

– В ГБ служите!

Громко и резко она это сказала, даже посол Франции (сорочка бежевых тонов, широкий галстук в диагональную бежевую полосу, все от Лагерфельда) опешил. Он тронул господина Губкина за рукав: мол, намекните супруге, обострять ситуацию не стоит. Но финансист Губкин только руками развел: вы же понимаете, господин посол, у нас не мусульманская страна – над супругой не властен! Госпожа Губкина привыкла говорить что думает, не

выбирая выражений. Случалось, в щекотливых ситуациях с прислугой (неверный счет из магазина, пропажа столового прибора) сам Губкин сдерживал эмоции — профессия финансиста обязывает владеть собой, — но его жена всегда говорила открыто. И сейчас Лариса Губкина явила бескомпромиссность:

— Вы в приличном доме! Встаньте немедленно и выйдите вон!

Посол подавал Губкиной знаки: мол, не связывайтесь, дорогая моя, садитесь, прошу вас! Семен Панчиков также сделал примирительный жест: это застольная беседа, будем терпимы! И адвокат улыбнулся: дескать,

понимаю и разделяю, но пусть собака лает – караван-то идет!

– Скажите, – Губкина обращалась ко всем сразу, – до каких пор будем терпеть и молчать? Все наши беды от того, что мы не покаялись в прошлом!

– Поддерживаю, – сказал Панчиков.

Губкина нахмурила лоб и стала похожа на милую упрямую отличницу, которая старается внушить двоечникам, что списывать нехорошо:

– До сих пор сталинисты разгуливают по улицам! Их в гости зовут!

– Позор! – согласился Панчиков.

– Я не сталинист, – сказал серый человечек, но Губкина не поверила:

– Молчите! В ГБ служите!

– Не служу!

– У вас на лбу написано: ГБ!

Мадам Бенуа (газовый шарф от Ямамото на голых плечах; дерзко, учитывая возраст), немолодая, но яркая дама, вооружилась очками, что делала в исключительных случаях. Мадам Бенуа считала, что очки ее портят, но брала с собой, для непредвиденных okazji. Поднесла очки к глазам – пользовалась ими как лорнетом. Пригляделась: на лбу у серого человечка «ГБ» написано не было. Ирен Бенуа была знакома со многими сотрудниками

госбезопасности, время от времени выполняла незначительные поручения этого ведомства – ничего особенного: налаживала контакты, организовывала встречи. Ирен Бенуа относилась к так называемым органам без пафосной ненависти – давно ясно, что ГБ просто одна из корпораций, не надо демонизировать обычных людей. Но данного господина Ирен Бенуа прежде не видела. Вид простецкий – неподходящий вид для чекиста. Сотрудники органов госбезопасности, подобно гусарам девятнадцатого века, являлись элитным родом войск, одевались с шиком. Многие офицеры давно

разбогатели и соперничали глянцем с элитой предпринимателей. Нет, это не тот случай. Закончив осмотр, мадам Бенуа спрятала очки в сумочку, наклонилась к уху посла, зашептала. Господин посол выслушал, сказал несколько слов в ответ.

— Вот как, — сказала мадам Бенуа сухо.

— Что я мог сделать?

Мадам Бенуа поджала губы — видимо, посол сообщил ей неприятную вещь.

А Губкина постояла возле опозоренного пустобреха, обратилась к нему спиной. Гости обозрели новоявленного сталиниста с

недоумением, вновь принялись за еду. Серый же, оправдываясь, шарил глазами по сторонам.

— Просто разобраться хочу. Конечно, все арестованные в тридцать седьмом не могли быть шпионами. Но некоторые были. Возник союз Японии и Германии, Италия к нему примкнула. Они заявляют о своей вражде к Советской России — вот и шлют шпионов. Следите за моей мыслью?

— И Сталину приходится шпионов разоблачать... да? — Глаза Панчикова, Чичерина, и многих гостей следили за реакцией серого человечка.

— А как же...

— И вредители были? — осторожно спросил Панчиков. Так осторожно спрашивает психиатр у страдающего манией преследования сумасшедшего, не следят ли за ним.

— Разумеется были.

Скользили официанты вдоль столов, бесшумные и быстрые, как санитары в сумасшедшем доме, и проворные руки ставили перед гостями рыбную перемену. Начали, разумеется, с дам — Ирен Бенуа свою порцию уже доедает; но вот поставили блюдо и адвокату Чичерину, подали форель и Панчикову.

— Он шизофреник, — тихо сказал Панчиков Чичерину. — Клинический

сумасшедший.

– Или сотрудник органов, – так же тихо ответил Чичерин. – Возможно, провокатор.

– Здесь? В посольстве?

– Вполне может быть. Но давайте пробовать форель.

– Знаете, что меня поражает? – Панчиков машинально ковырнул вилкой форель, но к еде интерес потерял. – История все расставила по своим местам. Спорить не о чем. И вот находится сумасшедший, и все начинается сначала.

Вот в прошлом веке, чуть что, спорщики принимались обсуждать историю Отечества. Потом с коммунизмом покончили, разобрали

тюрьму народов по кирпичику — и предмет разговора сам собой исчез. Сперва приватизировали нефть и газ, потом прессу и политику, потом искусство — и в конце концов приватизировали саму историю. Понятно ведь, что в частных руках продукт сохранится надежнее.

Граждане если и вступали в беседы исторического содержания, то лишь для того, чтобы прощупать почву для последующего делового разговора, понять, кто перед ними — сторонник ли глобализации, адепт ли финансового капитализма, короче говоря, можно ли с данным человеком подмахнуть контракт. Если субъект вменяемый — то и к

конкретным вопросам можно перейти. Давно были выработаны отправные точки, по которым легко установить адекватность собеседника. Сталин — палач, Ленин — шпион, большевики — бандиты, социализм — тупик и так далее. Вдаваться в детали не требовалось, так, легкими штрихами подтвердить лояльность — и к делу. Почему сегодня алюминий? Вкладываться ли в акции «Газпрома»?

Вот и сегодня: люди говорили о важном и насущном, отнюдь не об абстракциях. Был Ленин германским шпионом или нет? Экая важность, есть о чем рассуждать! Тележурналист Фалдин обрабатывал

банкира Балабоса: затевался новый проект, ох, как пригодится к предстоящим выборам. Рядом с ними директор Музея современного искусства Гиндин прощупывал министра культуры Шиздяпина: требовалось изыскать в бюджете тридцать миллионов на строительство филиала музея. Жалеете на искусство тридцать «лямов», господин министр? Но в Вологде увидят Энди Ворхола! Напротив них розовощекий публицист Бимбом излагал концепцию нового журнала миллиардеру Чпоку: требуется сущая безделица, и в Москве появится издание, открывающее новые

горизонты. Владелец рудников одобрительно наблюдал, как Бимбом строит речь, избегая точных цифр, — юноша старается, вьет петли. Архитектор Кондаков беседовал с заказчиком Губкиным, они обсуждали строительство особняка в античном стиле. Мрамор доставили, но не тот мрамор, как выясняется. А ведь подробно все оговаривали! Воздух светился улыбками от лучших дантистов, вибрировал от острот, сочиненных лучшими балагурами. Реальная жизнь идет, какая, к черту, идеология! И даже госпожа Губкина отвлеклась от сталиниста. Посол втянул ее в беседу об образовании детей — куда послать? В Оксфорд? В

«Эколь Нормаль»? В Йель? Присоединилась Ирен Бенуа: только в Гарвард! У самой Ирен двое детей от первого брака (не будем об этом мужчине, но дети – ангелы!), ей в свое время пришлось самой принимать решение о месте для крошек. Так беседа обрела смысл. Это вам не Брестский мир поминать – это наша собственная история, а частная жизнь важнее, чем история партии.

Однажды про это блистательно написала Фрумкина. Она призвала разрушить так называемую «общественную» историю, анонимное сознание. Прежде, когда колонны демонстрантов

маршировали, историю творила толпа. В демократическом мире, исповедующем принцип свободы, следовало внедрить принцип личной ответственности. Не марксистские смены формаций и не борьба классов – короче, не то, чему учил Ленин: мол, история это «сознание, воля, страсть, фантазия десятков тысяч», – нет! отныне история становится частным предприятием.

Согласно принятой модели приватизации, российскую историю подвергли необходимому лечению: первым делом, как и положено, обанкротили убыточное предприятие (историю Отечества), объявили его несостоятельным, затем продали по

частям заинтересованным
специалистам, и, надо сказать, акции
разобрали мгновенно. Нашлись
желающие застолбить петровский
период, сыскались акционеры на
екатерининское время, и даже
советское время (неудачное,
порченное) тоже прибрали к рукам.
Появились новые яростные
разыскания и разоблачения:
собственники осмотрели продукт
придирчиво.

Никто заранее не знал, что
представляет собой
приватизированная история, —
характер продукта прояснился по
мере его использования. Если
общественная история — это эпос, то

приватизированная история — это детектив; и коль скоро история стала развиваться по законам детектива, и поиск виновных проходил по детективному сценарию. То, что иногда называют «теорией заговора», есть не что иное, как детективная история. Собственник вертел так и сяк доставшийся ему отрезок исторического времени и придирчиво высматривал: где подвох? Алексей Михайлович оплошал? Николай Первый проморгал? Большевистская мораль виновата? Татарское иго? Распространенной стала версия профессора колумбийского университета Александра Яновича

Халфина: «Россия есть «испорченная Европа»». И в каждом из приватизированных фрагментов истории собственники искали вредителя. Отыскали спрятанные директивы Сталина, неизвестные письма Ленина, увидели просчеты слабовольного Николая – и все сразу стало ясно. Ведь могли же, могли! Ан нет, сорвалось! В эпической истории Ленин выходил героем, а в детективной – выяснилось, что он шпион.

– Был всего один вредитель и шпион, – сказал Панчиков, который тоже приобрел пакет исторических акций и рассуждал как собственник, – а именно Ленин.

Заслали его для разрушения России.

— Где же выгода немецкая? Ошиблись немцы! Германская империя тоже рухнула! Хорош расчет! Понимаете, ленинский план мира никто из большевиков не одобрил. Даже близкие друзья считали план безумным. И в «Правде» мир критиковали. Если бы шпионский заговор был — так я бы логику заговора видел. А не было никакого немецкого плана. И денег немецких не было.

— Может быть, и Парвуса в природе не было? — спросил адвокат Чичерин. — И позорного Брестского мира не было? И территориальных потерь тоже не было? Вам моя

фамилия ничего не говорит? Нет? Я ведь прихожусь родней наркому Чичерину, подписавшему позорный акт... Наша семейная драма, так сказать. Всю жизнь раскаиваемся... История моей семьи...

— Мало ли, что история семьи, а могли не знать деталей, — упорствовал серый. — Существуют вброшенные улики — ну, знаете, как бывает... Парвус — подставное лицо. Видел его Ленин пару раз в Мюнхене, в Цюрихе даже и не встречались, но в дело подшиваем... Сами знаете, как такие версии сочиняют...

— Ленина считаю германским шпионом не только я, и не только

мои родственники, – заметил адвокат Чичерин с печальной улыбкой, – и не только Солженицын приводит факты. Сошлюсь на мнение историка Сергея Мельгунова, автора знаменитой книги «Красный террор».

– Вам мало? Сам Чичерин вам показания дает! Историк имеется! – Семен Панчиков обрадовался, что оппонента загнали в угол. – С историей будете спорить?

Серый человек прищурился (совсем как Ленин, подумал Семен Панчиков), посмотрел хитро – не разыгрывают ли его:

– Если свидетель серьезный, познакомимся обязательно. Все

показания знать надо... Если
показания правдивые... — выудил из
кармана блокнот. — Мельгунов,
значит... вот, записал.

Поинтересуюсь... Я историю люблю,
фактик за фактик цепляется. Сперва
Людендорф, а потом план
Барбаросса... Деталька к детальке...

— Перестаньте кривляться! —
Семен Семенович плохо владел
собой.

— Проверять информацию
надо... Вот, например, такой случай:
у бабки потоп в квартире — с
жильцов верхнего этажа
компенсацию изъяли... Все по
закону. Только потопы никакого не
было, бабка сама все водой залила...

а прокурору только дай волю!
Выставила соседей на пять тысяч.

Гости слушали эту ахинею
обреченно — куда деться? Серый
продолжал:

— Еще пример: судили
домушника, квартиры потрошил на
первых этажах. Внизу кто живет?
Пролетарии небогатые, с них что
взять? Телевизор и подштанники. А к
делу подшили пентхауз в Серебряном
бору — там картины, антиквариат,
драгоценности. И загремел мужик на
двенадцать лет... Я думаю так:
Ленина выставить германским
шпионом — выгодно политикам
Антанты. Существовал план по
дискредитации Владимира Ильича.

Лучше испортить воздух в приличном обществе, чем ляпнуть этакое. Не принято Ленина называть Владимиром Ильичом, так воспитанные люди не говорят. Это пионеры в годы Советской власти говорили: Ильич – наш дедушка. По отношению к бездетному Ульянову метафора звучала уморительно. Еще чего не хватало: Ильич!

– Значит, оправдаем Ильича?

– Нюрнбергский процесс нужен! – крикнула Губкина. Она как раз закончила диалог с послом – сошлись на «Эколь Нормаль». – Нюрнбергский процесс над большевиками!

– Например, Германия, –

заметил адвокат, — покаялась в фашизме. Провели денацификацию.

— Напрасно не судили большевиков! Надо было Нюрнбергский процесс над членами компартии устроить, — сказал Панчиков.

Обеденный зал французского посольства вскипел в репликах.

Журналист Роман Фалдин крикнул со своего места:

— Старых фашистов судили! Мой дед про это полжизни статьи писал. Теперь старых коммунистов разоблачим!

— Мою бабушку, — заметила мадам Бенуа, — фронтовую корреспондентку, — большевики

расстреляли без суда.

— Господи! — Губкина поднесла руки ко рту, как бы сдерживая крик. — Как это произошло?

— История семьи, — краем сухих губ улыбнулась мадам Бенуа. — Решила рассказать...

— Цвет нации выкосили! — сказал правозащитник Ройтман.

— Когда уничтожали ветеранов Белого движения, не смотрели на возраст! — заметил художник Шаркунов.

— Пусть ответят! — согласилась Гулыгина. Варвара Гулыгина была сложным, как говорили ее подруги, человеком; многие жены, вероятно, могли бы призвать к ответу ее саму.

Впрочем, Варвара рушила только то, что было само по себе непрочно.

— Не все виноваты... Некоторые заблуждались... — сказал Сиповский, и кое-кто в зале подумал, что гомосексуалисты — люди бесконфликтные, ищущие компромиссов.

— Ах, то же самое говорили про нацистов! Они не виноваты, они не знали! — Госпожа Губкина волновалась, волнение красило ее. — Нужен открытый судебный процесс над большевиками! Для начала провести публичный суд над Ульяновым-Лениным!

— Но у Ленина сыскался защитник! — Семен Панчиков

невольно рассмеялся, представив суд на лысым палачом и выступление серого человечка в суде.

— Развалит дело! Он развалит дело Ульянова-Ленина! — хлопнул себя по коленке адвокат Чичерин, ему тоже стало весело. — А кто вам за это платит, интересно?

Кому-кому, а уж адвокату Чичерину было известно, как разваливают дела. Клиенты у Чичерина попадались разные — только здесь, в обеденном зале французского посольства Чичерин насчитал четверых, с каждым обменялся значительным взглядом. Вот тому господину в шелковом пиджаке грозила конфискация

имущества за растраченный
Пенсионный фонд; вот тот
седовласый человек едва не лишился
сына, обвиненного в причастности к
преступной группировке. Ах, бывает
всякое! Скажите, как в наше время
заработать на достойную жизнь и не
преступить закон? Судейские
крючкотворы выискивали
сомнительные детали в биографии
известных людей, заводили
следствие — будем называть вещи
своими именами: так делали в
надежде на отступные. И адвокатам
приходилось бороться не только с
судьей, но со свидетелями, с
журналистами, со следователями:
каждый хотел получить свою долю

от чужого несчастья. Чичерину было что вспомнить.

Тут, кстати, и мобильный телефон загудел в кармане; адвокат неприметным движением выудил из кармана перламутровый аппарат, поднес к уху, выслушал сообщение. Не сказал ничего в ответ, улыбнулся. Новости пришли именно те, каких ждал, — свидетель отказался от показаний, дело о подпольных казино закрыто за отсутствием обвинения. Развалилось дело — но знали бы вы, милостивые государи, чего это стоило! Адова работа, если хотите знать.

Иной человек мог обвинить Евгения Чичерина в цинизме —

адвокат знал, что за его спиной шушукуются. Однако циничен он не был, скорее наоборот — совестлив. Чичерин говорил своим друзьям, что всякое дело скрупулезно взвешивает на весах совести: имеет ли он моральное право бороться с приговором? Да, подчас защищаешь преступника; да, твой клиент, возможно, и украл нечто — но скажите: а тот, кто его обвиняет, то есть само государство — разве образчик честности? Кто больше ворует, предприниматель, который увел прибыль на Каймановы острова, или государство, которое бюджет тратит на прихоти кремлевских чиновников? Я, говорил Чичерин,

подсчитываю убытки, причиненные обществу, и выбираю ту сторону, которая приносит меньше вреда. И если преступление, вмененное бизнесмену, менее опасно, чем зло, творимое государством, процесс следует развалить.

Адвокат спрятал телефончик, вооружился ножом и вилкой, принялся разделывать рыбу, поставленную перед ним официантом. Умело отделил голову, взрезал рыбье тельце вдоль, откинул верхнюю половину рыбы, вытащил из форели хребет. Рыбий скелет вынулся единым движением, и форель утратила форму. Адвокат ловко отслоил шкурку, выбрал

лакомые кусочки, а прочее смел в дальнюю часть тарелки – развалил рыбу, не стало рыбы, только кусочки нежнейшего филе остались. Вот оно как делается, господа! А про что у нас тут речь? Про Ульянова-Ленина?

– Я никого не защищаю, – сказал серый человек, – я сведения собираю... Много вранья кругом. Про красных, про белых... – Сумасшедший даже присвистнул и прикрыл глаза, чтобы передать масштабы дезинформации. – Про демократов...

– А вы правду ищете? Дела судебные изучаете...

– Пристрастие имею к фактам.

– Данные о соседях собираете? –

деликатно спросил адвокат, а сам подумал: «Некоторые психи пишут кляузы: то в ДЭЗ про водопровод, то в Верховный Совет про пенсию».

Адвокат доел форель, допил бургундское. Знал бы, что такой сосед попадется, пошел бы на выставку инсталляций группы «Среднерусская возвышенность» — на вернисаже случайных людей не встретишь! Как всякий адвокат, Чичерин ценил свое время: с клиента за столь долгую беседу он мог запросить десять тысяч, а здесь все досталось умалишенному.

Тут, слава богу, подали десерт: шоколадный мусс с шариками ванильного мороженого, и внимание

спорщиков переключилось с архивов
злокозненных большевиков на
поединок мороженого с шоколадом.
Было на что посмотреть! Искусство
хорошего повара не уступает
искусству мастера инсталляций —
хоть фотографируй блюдо и вешай
фотографию в музее! Холодный
белый шарик, окруженный
раскаленной коричневой массой,
дрожал и таял. Твердый шарик
мороженого терял очертания,
растекался в лужицу, подобно
войскам генерала Корнилова,
окруженным в легендарном Ледяном
походе красными полчищами.
Подобно Белому движению,
ванильный шарик держался до

последнего, но стихия варварства одолевала героев! Адвокат Чичерин помогал шарiku как мог: маленькой десертной ложечкой от отгонял шоколадную лаву от замороженного шарика, а тонкой вафелькой воздвиг своего рода плотину, дабы шоколадное нашествие разбивало о вафельку свои валы. Шоколадный мусс замедлил свой бег, и шарик мог передохнуть. Шансы у мороженого были — адвокат принялся стремительно подъедать мусс с краев, чтобы хоть как-то уравновесить силы. Шоколадное озеро мельчало, и шансы мороженого росли — еще немного продержаться, и победа за нами! Так и бывшие

союзники царской России (то бишь Антанта) посильно помогали Белому движению — высаживали войска в Архангельске, посылали корабли к Одессе, пытались удержать войска дикарей. Так победим! Адвокат аккуратно орудовал ложечкой в шоколадном муссе, и враги редели. Однако стихия неумолима. Вафельная плотина пропиталась горячим шоколадом и осела в блюдечке; в пробойну хлынул расплавленный шоколад, неумолимый и дикий, как Первая конная. Белый шарик стал подтекать, его перекосило, и вот он вдруг завалился на бок, рухнул в шоколадную лужу. Адвокат

ужаснулся, он так растерялся, что даже перестал есть, обреченно уронил ложечку. Так и войска союзников внезапно прекратили оказывать помощь белым генералам — отозвали экспедиционные корпуса, оставили Колчака, предали Деникина. А шоколадный мусс воспользовался замешательством адвоката — ринулся на шарик и с другого бока, коричневые волны накрыли мороженое, затопили его вовсе. То, что некогда было хрустально твердым и снежно-белым, — превратилось в коричневатую жижу, а вскоре и вовсе сплавилось в единую массу с шоколадным варевом. Так и белые

герои — те, что не успели на пароходы в Севастополе, — растворились в среде дикарей, а постепенно и смешались с толпой, образовали вместе с ней единую субстанцию — советский народ. *Sic transit!* Адвокат Чичерин утратил интерес к десерту: попробовал на вкус, что же получилось из этой каши, — нет, не то! Ковырнул вафельку-предательницу, но раскисшая вафелька была недостойна его внимания — так вот и интеллигенция, не сумев встать между восставшей стихией и культурным ядром, превратилась в жалкую слякоть. Адвокат оттолкнул от себя блюдечко — ах, если бы столь же легко можно

было оттолкнуть от себя Россию с ее гнилой историей!

От пережитого отвлек адвоката голос соседа – упрямый провинциал бубнил что-то, адвокат даже не сразу понял, что именно, его мысли были еще там, в боях под Вафелькой, на ванильных редутах. Провинциал не отстал, повторил еще раз. И Чичерин наконец расслышал.

– Когда преступника ловят, у свидетелей все выпрашивают – любая деталь важна. Пепел, допустим, от сигареты... или отпечатки пальцев... А в истории знать подробности не хотим. Хорошему следователю надо в архивах посидеть, выявить, кто кого

финансировал. У дедушки Ленина – разве барыши? Не сравнить с теми деньгами, что были истрачены дедушкой Джорджа Буша на поддержку Гитлера и партии национал-социалистов. Вот где реальные деньги.

Тут и шоколадная баталия отошла на второй план. Черт с ним, с ванильным шариком, сам виноват, нечего было связываться с шоколадным муссом! И Белое движение само виновато – влипло в историю в этой проклятой стране! И вообще, интеллигенции надо было разумно выбирать народ...

– Бред! – только и сказал Чичерин.

— Вранья много... Многие воевали на немецкие деньги. У меня все зафиксировано... Гетман Скоропадский, например... Или Краснов... Или, допустим, Горбачева взять — вот кто немецкие деньги получил, взял мзду.

— Давно ждал! — воскликнул Чичерин. — Ждал, что подберетесь к перестройке!

— Я информацию фиксирую, привычка такая... — Жаргон серого человека напомнил милицейский. — Надо составить список подозреваемых и внимательно изучить мотивы. В девятнадцатом году в России было столько германских офицеров... У меня

имена выписаны... Если ниточку потянуть...

– Расследование затеяли, – сказал адвокат. – Зачем стараетесь?

– Не люблю, когда что-то прячут, сразу стараюсь найти.

– И находите?

– Бывает.

«Возможно, связан с налоговой службой, – подумал Чичерин, – хотя костюмчик подкачал. И часы дешевые». Вслух же адвокат сказал так:

– Ловко перевели расследование на другого подозреваемого. Ленин, оказалось, ни при чем, Джордж Буш виноват. Однако революцию все-таки Ленин сделал. По-вашему,

Солженицын в архивы не заглядывал?

— Наврал Солженицын. Смастырил куклу. — Собеседник Чичерина и Панчикова ввернул блатной оборот так натурально, словно воровская среда была ему привычна. Странно прозвучали в посольском особняке вульгарные слова.

— Не выгорело у фраера, — в тон ему заметил адвокат Чичерин. — Послали зону топтать. — Адвокат тоже перешел на блатной говорок, ему приходилось беседовать с колоритными персонажами в тюрьмах, поневоле выучился. — Дали четыре года и семь — по рогам.

— А фраер откинулся, огреб бабла и схарчил советскую идеологию, — и гость французского посольства рассмеялся неприятным смехом.

Блатные слова серый человек выговаривал привычно. Его простота, которую они сперва приняли за провинциальность, была не простотой вовсе — грубостью. Орывочные знания потому шокировали, что их преподносил субъект агрессивный и злой. Точно дворняга лает из подворотни — вульгарный человек оправдывает Ленина и тридцать седьмой год, выражается нецензурно, ведет себя нагло. Всему есть мера. И

неожиданно сложился портрет собеседника: если сопоставить милицкий жаргон, воровские словечки, общую вьедливость — то что получим в итоге?

— Вы, уважаемый, до сих пор не представились. Даже карточки с вашей фамилией на столе нет. Я, например, Семен Панчиков, предприниматель.

— Представьтесь! — потребовал адвокат Чичерин. — У меня ощущение, что разговариваю с представителем следственных органов.

— Простите, забыл! Неловко получилось. — Собеседник привстал, лысая голова заискрилась в сиянии

ламп посольского особняка. — Петр Яковлевич Щербатов, — сказал он, растягивая тонкие губы в улыбке, и руку протянул для рукопожатия. — Я действительно следователь.

— Как следователь? — сказал Панчиков, отшатнувшись от протянутой руки. — Следователь? — Если бы в ложе Большого театра Панчиков встретил сантехника, удивился бы меньше. Следователь сидит за общим столом, кушает рядом с приличными людьми! — Вы следователь?

— Следователь.

— Экономические преступления? — спросил адвокат Чичерин, делая вид, будто руки

Щербатова не замечает.

– По уголовным делам.

– Чин имеется?

– Майор.

– Вы здесь по службе?

– По службе.

И – пауза, говорить не о чем.

Еще и руку ему пожать? Ну, знаете ли.

Слово, сказанное вполголоса, прогремело в зале как выстрел. Лица гостей повернулись к следователю. Посол Франции привстал, хотел отдать какие-то распоряжения, но так и не отдал. Махнул вяло рукой, повернул усталое лицо к мадам Бенуа:

– А что я мог сделать, Ирен? Да,

порекомендовали принять.

– Неужели нельзя было...

– Я и представить не мог!

Банкир Балабос, мужчина малоподвижный, щелкнул пальцами. Официант, неверно истолковав жест банкира, подбежал – но Балабос отослал халдея прочь, пальцами он щелкнул от удивления. Художник-патриот Шаркунов мелко перекрестил пространство, изгоняя беса, – но серый человечек не исчез. Госпожа Губкина скомкала салфетку, бросила на пол – искренняя женщина так выразила свои чувства. Профессор Колумбийского университета советолог Халфин, человек с мелкими дробными

чертами лица, встал, чтобы лучше видеть, вытянул шею, всмотрелся в следователя. Лицо Халфина еще более сморщилось от брезгливости: не затем люди ходят к французским послам, чтобы встретить следователя. Варвара Гулыгина рассмеялась: вот так поужинаешь с человеком, а он тебе за десертом предъявит удостоверение. Цепкий вороний глаз Симы Фрумкиной обшарил следователя, выискивая в облике подробности, которые пригодятся для завтрашнего фельетона. Многие приглядывались к Петру Яковлевичу Щербатову – часто ли встречаем таких персонажей?

Вот адвокат Чичерин, тот

повидал следователей немало. Насмотрелся на эти лица, знает водянистые глаза и тонкие губы, персонаж типический! Будет этакий субъект смотреть пустыми глазами и бубнить: сознавайтесь, гражданин, сознавайтесь! И не выдержишь, сознаешься даже в том, чего не совершал! Как он сразу не раскусил шельму? Вот откуда симпатии к процессам тридцать седьмого! Небось и отец у него энкавэдэшник, и дед был чекист. Вот откуда доступ к архивам. Обыкновенный следователь, следачок Петька Щербатов. И пиджак на нем сидит как на следователе, и брюки у него поглажены как у следователя. И

рубашка как у мента, и галстук безвкусный, они все носят отвратительные галстуки. Как же не догадался! Хотя предположить, что следователь попадет на прием к послу, — невозможно. Кто пустил? Что его сюда привело? За кем следит? Уж не за Иваном ли Базаровым вынюхивает? Дела у Базарова шли весьма хорошо — а теперешние власти именно к удачливым людям и приглядываются. Раз у человека бизнес идет неплохо, значит, самое время завести на него уголовное дельце, потребовать отступных. Налоги аккуратно платили? А в прошлом году? Хорошо идут дела — значит, есть чем

откупиться от правосудия.

Чичерин был адвокатом
Базарова – и за такими вещами
следил строго.

– Так вы пришли по делу?

– По делу.

Дела у Ивана Базарова шли недурно – в то время когда дела во всем мире обстояли не особенно хорошо. Проекты Базарова тем выгодно отличались от больших планов просвещенного мира, что просвещенный мир не знал, как быть, а Иван Базаров отлично знал.

У мира имелся всего-навсего общий план развития (правители употребляли туманное слово «глобализация»), но глобальное обобщение не выдерживало проверки единой деталью.

Казалось бы, придумали неплохо: цивилизованные страны

показывают пример остальному человечеству, пример вдохновляет отсталых, и мир живет в согласии, управляемый рыночной экономикой. Разумно?

Был момент, когда люди настолько возбудились мечтой о демократическом рае на земле, что даже горлопанство большевиков на съездах не могло сравниться с энтузиазмом глобалистов. Армии лекторов, славящих мировую демократию, собрали под знамена куда больше народу, чем отряды агитаторов прошлых режимов. Прочие методы управления признали отсталыми. Вот уже рассыпался злокозненный Советский Союз, вот

уже Китай встал на путь рыночного хозяйства, вот отдельные тираны по окраинам мироздания посрамлены — однако общее дело не склеилось.

Перспективы были ясные, Вавилонская башня возводилась стремительно, но стоило какой-нибудь Ливии прийти в волнение, как общая конструкция шаталась и будущее делалось сомнительным. Помеха, согласитесь, несуразная. Ну что такое страна в Северной Африке по сравнению с просвещенным человечеством? Кто и когда полагал, что беспорядок в Триполи или Дамаске поколеблет величественное здание мировой империи? Как война на окраинах может влиять на

процветание метрополии? Возможно, в Древнем Риме такое и могло приключиться, но современный мир должен быть гарантирован от недоразумений.

Однако, как в детской песенке про гвоздь и подкову, решившие исход сражения, крепость империи зависела от мелочей. Тут невольно спросишь, куда годится общий план строительства, если кучка недовольных на площади в Триполи (а это вам не Нью-Йорк, не Лондон!) может расшатать все здание. А как же акции и голубые фишки? А европейская валюта? Нет, мы не за то голосовали.

Вопросы задавали повсюду.

Дантист в Берлине, нотариус в Париже, финансист в Лондоне и ресторатор в Брюсселе разводили руками: отчего случился кризис? Почему экономика провалилась? Почему акции подешевели? Может, напрасно Вавилонскую башню возвели?

И прошелестело по западному миру: много лишних ртов кормим. Самим бы хватило, но вы посчитайте дармоедов! Обидно сделалось: десятилетиями возделывали никчемные места, и теперь будущее детей, проценты от банковских вкладов, равновесие биржевых индексов — все это зависит от тех самых оборванцев, которым мы

оказывали безвозмездную гуманитарную помощь! Сами бы договорились, у нас отношения цивилизованные, а с дикарями как быть? Если бесплатно кормить, никаких денег не хватит; к труду их приспособить не получается; включить в общий рынок нельзя: все порушат своей дикостью. А оставить одних страшно — в дикарских землях заведутся коммунисты.

Пошли разговоры: закрыть границы, гнать черномазых (ах, и слова такого говорить более нельзя — при общем-то согласии) и жить припеваючи. Так говорили недалёковидные националисты. Люди гуманистической ориентации

настаивали на том, чтобы навести порядок в несуразных провинциях, бомбить дикарей в мирных целях. Лучше вовремя убить немногих, наставив прочих на путь истинный. Лекарство привычное, не раз опробованное — применили лекарство и сейчас, но кто знал, что именно сегодня бомбардировки дадут такой эффект. Обалдевшие от нищеты, оглушенные бомбардировками, кидались африканцы на берег моря и плыли в благословенную Европу, карабкались на берег свободы. Не резиновая Европа, граждане африканцы! Вас пригласили на строительство Вавилонской башни демократии — но

с тем, чтобы вы знали свое место! У себя в стране выполняйте обязанности по обслуживанию алмазных шахт и рудных карьеров, вносите вклад в мировое созидание — но в Европу вас никто не звал. Не слышат африканцы. Гонишь их из одной страны, а они, как тараканы шустрые, спешат в другую, и другая страна паникует, границы закрывает. Так ведь объединенная Европа же! Глобальное человечество! Нельзя границы закрывать! И что же теперь: раз демократия, так европеец должен оплачивать паразитическое существование своего темного брата? Цивилизация христианская, но не до такой же степени. Так дойдем до

благости святого Мартина и
располовиним смокинги на
набедренные повязки. Одним
словом, сумятица.

А с экономикой день ото дня все
хуже.

Восточную Европу завоевали,
Россию покорили, Африку
распотрошили, очаги сопротивления
социализма подавлены — откуда
пришла беда? Позвольте, двадцать
лет назад уничтожили тоталитарного
соперника — причем без единого
выстрела, примером процветания;
и что теперь? Всего двадцать лет
прошло, и сам капитализм под
угрозой, хотя врагов уже нет.
Неужели капитализм нуждается в

социализме для здоровой жизни?

— Интересно получается, — говорил архитектор Кондаков журналисту Сиповскому, — мы упрекали социализм в том, что нет двухпартийной системы.

— Какая же демократия без двух партий, — соглашался журналист. — Однопартийная система обречена.

— Тогда почему в мире построили однопартийную систему? Пока социализм и капитализм соревновались, было спокойно. А когда осталась одна партия в мире — страшно.

И кто-то сказал слово «война».

Сначала просто ляпнул: дескать, войны давно не было — покосили бы

лишних дармоедов, и вопрос решен. А потом чуть серьезнее: из мировых кризисов только войной можно выбраться. Мы, господа, все друг другу должны, и население ропщет на инфляцию. Население уполовиним, долги обнулим — и можно дальше работать. Прошло немного времени, и политики стали так громко говорить: войны, мол, не будет, что граждане перепугались.

Если сравнить с неопределенным состоянием мира определенные дела Ивана Базарова, можно поразиться четкости базаровской мысли. После удачной сделки Базаров шутил: «Зачем нужна рыночная экономика, если есть базарная?» Иван Базаров не полагался в расчетах на абстракции. Что толку посулить всему миру демократию? Это равносильно обещанию накормить пятью хлебами пять тысяч человек. Не всегда удастся, особенно если самому хочется кушать.

Галерея

современного

искусства, которой владел Базаров, являлась фасадным элементом империи, денег приносила немного. Современное искусство покупают богачи в столицах — но было бы опрометчиво не использовать многомиллионное население регионов. Получить миллион от богача заманчиво — но если сто миллионов нищих даст по рублю, сумма выйдет больше. Надо только найти, что предложить провинции. Кто-то скажет, мол, провинции нужны больницы и университеты. Неверно это, нужна рулетка. Когда Базаров решил организовать игорный бизнес в провинциальных городах России, он не рассчитывал добиться

понимания прогрессивной общественности, не заботился о лозунгах. Надо было добиться понимания прокуратуры: игорный бизнес официально запрещен, но внедрить его — выполнимая задача. Иван Базаров рассчитывал получать десятки миллионов и прикинул, что сотни тысяч он может пустить на взятки. Он приезжал в город, где собирался открывать подпольное казино, знакомился с прокурорами, приглашал в дорогой ресторан, платил за икру золотой кредиткой. Прокуроры ели много, им хотелось еще. Базаров давал понять, что и у рядового прокурора может быть золотая кредитная карточка, — и

прокуроры быстро это понимали. Изменить миропорядок не в нашей власти, но убедить одного человека возможно; Базаров решил, что натуральное хозяйство надежнее символического обмена. «Базарная экономика» — как он сам определял свой бизнес — оказалась квинтэссенцией рыночной: Базаров отбросил ненужное, взял главное.

Познакомиться с генеральным прокурором России ему не удалось, но он нашел пути к его сыну, молодому оболтусу, уже замешанному в сомнительных аферах. Олег Клименюк, вертлявый молодой человек, придя на встречу в дорогой ресторан, заломил такую

сумму, что Иван Базаров даже поднял бровь. «Вы же понимаете, кто именно будет вас защищать», — говорил молодой человек, постукивал перстнем по бокалу и рисовал на салфетке нолики. Нарисовал шесть нолей и остановился. Миллион в месяц. Областные прокуроры брали по пятьдесят тысяч, шофер Базарова, молчаливый Мухаммед, развозил чиновникам конверты с деньгами в первый понедельник каждого месяца. А сын генерального захотел миллион. Вообще Базаров был скуп на эмоции, а тут поднял бровь, подумал и согласился. В конце концов, можно платить одну десятую

от общей прибыли партнеру, если партнер представляет высшую власть в стране. Короче говоря, Базаров умел в одну минуту понять, что следует делать.

В отличие от Ивана Базарова, просвещенный мир решений принимать не умел. Когда обнаружилось, что финансовая стабильность человечества под угрозой, общее решение потребовалось – однако решения не было. Дико звучит: «финансовая стабильность человечества» – будто у человечества единый карман и общий кошелек. Таковых не имеется, но коль скоро мечта о глобализации манила, следовало вообразить себя единым целым, а проблему соседа – собственной проблемой. Лидеры человечества съехались на совет и

после обильного завтрака стали вырабатывать программу действий, да так и не выработали.

Проблема ясна: африканские страсти есть следствие финансовой пирамиды в цивилизованной части света. Дикарей поторопились включить в рынок символического обмена — символический обмен возможен при наличии пусть небольшого, но реального продукта, положенного в основание символической сделки; в Африке символов в избытке, а с реальностью проблемы. Африканским голодранцам не хватило конкретики — еды.

Пока дикарям давали огненную

воду — жемчуг тек рекой и метрополия горя не знала; когда дикарей продавали за деньги в обслугу, тоже было просто; когда их приспособили к вредным производствам в обмен на право жить — это было логично; но когда дикарей включили в рынок символического обмена — гармония кончилась.

В эпоху символического обмена символические деньги множились — и как им не множиться на бумаге? — но параллельно символическим ценностям множилось население земного шара, причем именно та его часть, которая жила еще в эпоху натурального обмена. Парадокс

существования лучшей части планеты (которая жила символами) состоял в том, что в своих ежедневных нуждах она зависела от натурального обмена отсталых народов. Постиндустриальная экономика, информационная экономика — вещь исключительно прогрессивная, но оказалось, что она зависит от экономики доиндустриальной. Цивилизация жила в кредит, а обеспечением кредита были те самые страны третьего мира, которые все еще находились на стадии натурального обмена. Цифр много, способ умножения цифр составляет алхимический секрет наших дней, но

финансовая алхимия не изобрела
способа изготавливать из цифр еду —
жевать цифры не станешь.

Граждане цивилизованных
стран привыкли к тому, что
проблемы их бытия решаются
просто: пошел в банк, взял кредит,
купил дом, заложил дом, взял еще
один кредит, купил машину, и так
далее — а там и пенсия. Мир велик,
сколь далеко ни убежал бы процесс
кредитования, на наш век дистанции
хватит — где-то далеко, в конце
цепочки, дикарь роет из грязи
алмазы, отдавая их за право дышать.

Так и жили, и недурно жили, и
британский премьер-министр
госпожа Маргарет Тэтчер

воскликнула: «Британец, который к тридцати годам не обзавелся домом и машиной, не может называться полноценным членом общества!» — а потом в цепочке произошел сбой. В одночасье выяснили, что суммы кредитов превышают наличность в сотни раз, банки перестали платить вкладчикам, вклады обесценились, дома, купленные в кредит, остались невыкупленными — обеднел средний класс. Тут бы самое время кредиты отменить, засучить рукава и работать бесплатно — восстанавливать рухнувшее благополучие. Ретрограды причитали, что нужно сплотиться, национализировать банки, вернуться к экономике индустриальной, к

пройденному этапу цивилизации, — но кто решится сделать шаг вспять? Промышленность уже задвинули в страны третьего мира — прогресс выстроил новую иерархию ценностей. И верилось: мы лишь переживаем незначительный сбой в информационной экономике — так бывает, что компьютеры барахлят, плохо доходят сигналы до отсталых народов, бомбили их мало.

В самом конце цепочки стояли отсталые народы, которые ждали своей маленькой натуральной порции при общей раздаче. Но этой порции уже не было.

Отсталые народы возбудились: они верили, что на самом верху

Вавилонской башни не знают про их беды, а виноваты локальные царьки. Дикари винили свой постылый натуральный обмен, мечтали о преимуществах банков и деривативов, символических ценностей Запада. Вот там, на верхних этажах Вавилонской башни, казалось им, — там все просто и прекрасно: там граждане рисуют эскизы вечерних платьев, создают инсталляции из какашек, пишут цифры на бумаге — и спускают вниз корзинку, которую мы наполняем алмазами. О дивный мир верхних этажей! Наивные дикари кидались в море, плыли к священным берегам свободного мира, а представители

обедневшего среднего класса
цивилизованных государств
отпихивали дикарей от берега.
Самим туго — а что прикажете
делать, если пять хлебов станут
делить не на пять тысяч человек, как
то однажды удалось близ города
Вифсаиды, но на миллионы?
Представители среднего класса
пялились в газеты в ожидании
судьбоносного решения общей беды,
не предложат ли им нечто новенькое
взамен символической демократии?
А лидеры просвещенного
человечества не могли договориться.

Прямо перед судьбоносным
завтраком лидеров человечества
германский канцлер госпожа

Меркель пожелала встретиться с итальянским премьером Сильвио Берлускони. Злые языки утверждали, что место Берлускони не в премьерском кресле, а на нарах, но дело спасения человечества понуждало к диалогу – вот канцлер поспешила к премьеру с протянутой рукой. Итальянец двинулся навстречу, и тут у него в кармане зазвонил мобильный телефон. Воспитанные люди не берут с собой телефон на встречи! Канцлер замедлила шаг, ожидая, что премьер выключит телефон, расшаркается и поведет себя как следует человеку приличному. Премьер Италии на звонок ответил, расплылся в улыбке,

повернулся к канцлеру Германии спиной и принялся оживленно болтать, заливаясь смехом и хлопая себя по ляжке. В Средние века такая выходка могла стать поводом к войне и унести тысячи жизней. Кони рейтаров топтали бы мерзлое жнивье, а вороны выклевывали глаза мертвецов, если бы сеньор Гонзага повернулся спиной к Габсбургу. Если бы Муссолини так вел себя по отношению к Гитлеру – не дождался бы он помощи и спецназа Отто Скорцени. А нынче? Итальянский премьер глазами сообщал канцлеру, что собеседник у него изрядный юморист, прервать беседу нет возможности. С кем говорил

премьер, кто оказался важнее канцлера Германии? Имелся некто конкретный, кто значил для итальянца больше символических ценностей Вавилонской башни, — ужас состоял в том, что это могла быть обыкновенная проститутка. Все существо канцлера Германии сотрясилось от негодования: блудодей и сластолюбец изображает государственного мужа — неужели с таким возможно единение? Как строить империю символов, если два прораба строительства не могут договориться? И что будет, если башня рухнет?

Слово «война» висело в воздухе. Успокаивали себя: это несерьезно,

кто будет воевать, и с кем? Разве что Ирак разбомбят, Афганистан проутюжат, но это мелочь, большой войны не будет.

Но понимали, что кризис глобальный и работу надо найти миллионам.

Иван Базаров непонимания между партнерами не допускал. С каждым прокурором разговаривал внимательно, поощрял слабости, слал подарки семье. Допустим, выразил желание некий прокурор Успенский посетить Монако – тут же ему и билеты выданы. Как не понять естественное желание погулять по Монте-Карло? Всякому работнику правоохранительных органов хочется заглянуть в казино, принюхаться к ароматам азарта. Компанию майору Успенскому подобрали нестыдную: включили прокурора в состав культурной делегации, и прокурор

получил в спутники
интеллигентнейших людей. И повод
достойный: открыли выставку
российского искусства «Из-под глыб
2», подняли актуальные вопросы
современности.

Правозащитник Халфин,
концептуалист Бастрыкин, художник-
патриот Шаркунов и прокурор
Успенский представляли российскую
интеллигенцию перед
отдыхающими, утомленными
средиземноморским солнцем.
Полубуйтеcь, monsieur! Это русское
самовыражение, пощечина тирании!
И мэр Монако выступил на
открытии: организовать эту выставку
мы сумели благодаря Ивану Базарову

и господину — тут имя прокурора Успенского звучало весьма уместно. Граждане цивилизованного мира изучали инсталляции, прокурор шалел от важности своей миссии, а Бастрыкин и Халфин бродили по улочкам Монако, дебатировали спорные вопросы в меню. И прокурор понимал: содействуя игорному бизнесу, он служит прогрессу и миру.

Добиться такого же единства среди цивилизованных стран, какого добился Базаров меж прокуроров и культурологов, — не получалось. Всякая страна желает провозгласить себя Европой — но едва Европой стали буквально все, как идея Каролингов показалась ущербной.

«Есть европейская держава!» — воскликнула однажды императрица Екатерина, обзревая замерзшие пустоши подвластной территории. И сколь часто судьбоносные эти слова повторяли лидеры Албании, Хорватии, Молдавии, Латвии и прочих не особенно успешных стран.

Эти слова ласкали слух обывателей Грузии и Турции, и отчего бы жителю Марокеша, который ежедневно обслуживает туристов из Испании и Франции, не помечтать о прекрасной жизни, как там, в демократических пенатах? Желание понятное, но всех подряд в Европу принять невозможно. Европа — это вам не безразмерные нейлоновые носки, не на всякую ногу годится. В том же «Наказе» Екатерины ясно сказано, а для непонятливых повторено: сельские жители живут в деревнях и селах, обрабатывают землю — и сие есть их жребий! По слову Аристотеля, некоторые люди рождаются рабами, а глобализация

на дворе или нет, жребия своего рабы
менять не вправе. Лодки,
устремленные к итальянским
берегам, шли на дно, большинство
пассажиров тонули, и Средиземное
море, которое прежде называли
колыбелью цивилизации, стали
называть жидким кладбищем.
Требовалось придумать еще что-то,
но что дикарям такое дать?

Аргументов не находилось:
распахнув двери Вавилонской башни,
на каком основании двери эти
запереть? В былые века
христианская религия ограждала
Запад от прочего мира, все было
проще. Однако вера перестала быть
определяющим фактором,

«христианская цивилизация» жила помимо христианства — поставив на место Бога Единого прогресс и просвещение; а прогресс — он ведь общий. И закрыть двери не получалось; Вавилонская башня кривилась, и конструкция скрипела.

Правители мира (в отличие от бизнесмена Базарова) думали медленно. Они растерянно спрашивали финансистов, не горит ли земля под ногами, а те отвечали: отнюдь не горит, напротив — приятно греет! Финансистов грела мысль о том, что кризисы — это такое время, когда одни теряют, а другие приобретают. Да, обанкротился средний класс, но отнюдь не класс

высший. И кто сказал, что здоровье мира следует измерять по состоянию среднего класса?

Встреча правителей завершилась, лидеры просвещенного человечества покушали, переварили съеденное, подумали и решили не реагировать на кризис. Лозунг: вперед! Бонусы банкирам не отменили, а утроили; количество безработных – учетверили; число богатых увеличили впятеро, бедных – вдесятеро; напечатали три триллиона новых денег. Жить еще можно, лет на пять хватит, проживем! Но будьте внимательны: призрак коммунизма бродит по Европе.

Характерен

диалог,

состоявшийся на открытии выставки
российского актуального искусства,
организованной Базаровым в Монте-
Карло. В числе прочих гостей
выставку посетил финансист и
политик Жак Аттали, который
разговорился с русскими гостями.
Банкир Жак Аттали лучше, чем кто-
либо другой, иллюстрировал
бесконечные возможности
капитализма. Смуглый уроженец
Магриба, он давно стал самым
французским французом. Одного
взгляда на финансиста было
достаточно, чтобы понять: те, кто не
доплыл в дырявых лодках до
желанных берегов Запада, просто
плохо гребли. Худшие африканцы

идут на дно, а лучшие – доплывают. Надо знать, на какой лодке плыть.

Советолог Александр Янович Халфин, человек с дробным лицом, попытался вступить в диалог с французским мыслителем.

– Вы не находите, – представил Халфин французу свою любимую мысль, – что Россия – это всего лишь испорченная Европа? Мы спрашиваем себя: не пора ли ставить на России крест?

– Неужели все так плохо? – полюбопытствовал финансист.

– Мы – жертвы марксизма, – сказал концептуалист Бастрыкин скорбно.

– Если у вас есть свободный

час, – подхватил Халфин, – я это немедленно докажу...

– Маркс не прав, – согласился Аттали, – социализм не есть альтернатива капитализму, социализм встроен в историю капитализма.

– Вот, кстати, небольшой труд по этому вопросу, – заметил Александр Янович Халфин и выудил из портфеля свой заветный трехтомник, – горячо рекомендую.

– Кто автор? – поинтересовался француз.

– Это плод десятилетних размышлений, – сказал Халфин и посмотрел затравленно на успешного финансиста. – Хочу обратить ваше

внимание на второй том, здесь я расправился с Марксом.

– Вот как, – сказал Аттали.

– Спросите француза про казино, – шипел на ухо Бастрыкину майор Успенский, – спросите у француза, как добиться разрешения на игру.

– Он не по этой части, – шептал в ответ Бастрыкин.

– Что я, людей, по-твоему, не вижу? – шипел прокурор. – Я профессионал, шулера за версту чую.

– В третьем томе содержится анализ современности, – настаивал Александр Янович Халфин, – я зачитаю вам принципиальные страницы.

– Скажи ему, что я приглашаю на ужин, – шипел на ухо Бастрыкину прокурор. – Платить не надо, все за счет фирмы.

– Не приставай ты к банкиру с антисоветчиной, дай я ему двуглавого орла покажу, – шептал в другое ухо концептуалисту Шаркунов, художник-патриот.

– Благодарю вас, – сказал равнодушный француз и отошел.

– Европейцы не готовы использовать наше знание, – пояснил Халфин Бастрыкину.

Французский мыслитель-финансист пошел прочь, а русские интеллигенты глядели ему в спину.

– Еще пожалеет, – мрачно сказал

прокурор Успенский, – знакомство с прокурором никому еще не вредило.

– Россия цивилизованному миру безразлична, – сказал концептуалист Бастрыкин.

– Он же еврей, – сказал художник-патриот Шаркунов. – Ты на него в профиль посмотри. Ему на русских плевать.

– Человек деньги заработал, – грустно сказал Халфин, – не будем его судить...

– Мог бы инсталляцию купить, если деньги есть, – сказал Бастрыкин.

– Французы жадные, – сказал художник-патриот. – У меня вот коптевские бандиты на сто тысяч

товара взяли... Правда, деньги Базаров присвоил... а я на храм хотел пустить.

Интеллигенты расстроились: культурный диалог меж странами, который прежде лился полноводной рекой, – обмелел. Эх, раньше, бывало, скажешь: Маркс – чудовище, и на три часа разговоров хватит, а потом тебе чек выпишут. Жили как в раю, можно сказать, и обидно то, что этим раем мы были обязаны проклятому коммунизму. Пока бранили диктатуру – жилось недурно, а теперь что? Сказать, как выясняется, друг другу совсем нечего. Ну да, не любим тоталитаризм, а деньги любим. Это, конечно, здравый

посыл для диалога — но дальше-то что?

— Надо было мадам Бенуа в делегацию включить, — сказал художник-патриот, — француз с французом всегда договорится... Ему, чувствую, отстегнуть бы надо...

— Он, допустим, у тебя инсталляцию купит, через банк перевод сделает, а ты ему наличными половину вернешь, — быстро сообразил прокурор.

— Мне еще Базарову две трети отдавать, — мрачно сказал патриот. — Плохая коммерция.

Ах, если бы просвещенному миру набраться базаровской мудрости! Если бы найти

универсальный язык общения! Базаров закупил три тысячи игровых автоматов, расставил их в пятнадцати городах, в подвалах принадлежавших ему галерей, и теперь тратил время только на обеды с прокурорами – остальное шло само собой. Никакого символического обмена, никаких дискуссий, конкретная ежедневная работа.

– Следует, – говорил Базаров, – посылать молодежь вместо университетов в казино: есть шанс научиться.

Но миру и университеты уже были без надобности, учиться было поздно. Мир был в растерянности: не хотел падать, и стоять не получалось.

В мирном мире росли расходы на вооружение — и не в бомбардировках дикарей было дело. По меткому выражению торговца оружием Эдуарда Кессонова, того самого, что спонсировал прогрессивные выставки концептуалистов на Венецианской биеннале: «В свое время недобомбили — и теперь полумеры сказываются». А уж Кессонов знал, что говорил: по сравнению с так называемой гонкой вооружений в период холодной войны расходы на оружие сегодня возросли в сорок раз. Заказов было столько, что не успевали оформлять контракты — и тем добрым людям нужны боевые вертолеты, и этим

мироотворцам необходимы
противопехотные мины. Едва
смертоносное оружие придумают,
как очередь выстраивается из
гуманистов: хотим и эту удушающе-
парализующую смесь прикупить!
Только непонятно: с кем воевать
собрались? Все кругом – демократы!

Присутствие следователя шокировало собрание.

— Следователь? — громко переспросил профессор Халфин. Его бледное лицо, бумажный платок многократного использования, сморщилось еще больше.

— Следователь! — утвердила Фрумкина.

— Следователь, вообразите! — сказал Панчиков. — А я с ним беседовал!

— Не может быть, чтобы следователь, — усомнился Кессонов, торговец оружием.

— Зачем здесь следователь? —

мягко поинтересовался у своих соседей меценат Губкин.

В это самое время обед подошел к концу, официанты раздали кофе, началось брожение по залам особняка с чашкой в одной руке и рюмкой ликера в другой. Пили кофе, курили сигары и передавали друг другу слово «следователь». С какой интонацией ни произнеси, скверное слово. И зачем он здесь?

— Следователь? — Лидер оппозиции Пиганов распрямился. Он выделялся из общей массы гостей выправкой, в минуты опасности напоминал офицера на поле боя. Такие люди не случайно становятся лидерами — сказала

наследственность: Пиганов рассказывал, что его род восходит по материнской линии к баронам Пруссии. Пиганов он был по отцу, знаменитому дипломату, а по матери – фон Эйхгорн. Герман фон Эйхгорн, генерал, – командовал в Первую мировую 10-й армией Вильгельма, окружал русские войска на Мазурских болотах, брал Минск, Оршу и Могилев – был его прадедом. А Герман фон Эйхгорн – если кто интересуется – приходился внуком великому философу Фридриху Шеллингу. Что значит порода! У предка Николая Пиганова брал уроки цивилизованной мысли сам Чаадаев – случайно ли внук генерала и

правнук философа занялся
проблемой демократии в дикой
стране?

— Следовательно? — повторил
Пиганов. — Даже здесь?

— Кажется, я все понял, — устало
сказал Халфин. — Возьму огонь на
себя.

Он отставил чашку, вздохнул —
не в первый раз, судя по всему,
приходилось ему выходить на
поединок с властями. Шаркая,
приблизился профессор к
следователю Щербатову, остановился
перед ним, посмотрел в глаза.
Халфин был сутул, седые волосы
растрепаны, лицо в морщинах — так и
выглядят достойные профессора

американских университетов,
хранители знаний.

— Халфин, — представился Халфин, не протягивая, однако, руки. — Впрочем, мое досье наверняка изучили.

— Ваше досье? — переспросил следователь.

— Вы, я слышал, любите посидеть в архивах. Мою биографию изучили до тонкостей?

— Первый раз слышу вашу фамилию, — сказал следователь.

— Довольно, — сказал ему Халфин, — я подписал это письмо. — Он возвысил голос, чтобы слышали в другом конце зала. — Поставил подпись!

— Какое письмо?

— Не знаете? — сказал Халфин насмешливо. — О письме в Страсбургский суд по правам человека вы — следователь! — ничего не слышали! Письмо, требующее немедленного освобождения всех арестованных предпринимателей!

— И что же?

— Помню, как арестовали тех, кто подписал письмо в защиту Чехословакии. Пришли за мной?

— Я поставила подпись тоже! — Фрумкина приблизилась к Халфину, встала с ним плечом к плечу.

— Меня посчитайте, — сказал Семен Панчиков.

— И я подписался, — сказал

адвокат Чичерин.

Быстрыми шагами приблизилась
госпожа Губкина:

— Знала, что он из КГБ!
Гражданин опричник, я тоже письмо
подписала.

Впятером стояли против
следователя Щербатова.

— Письма не читал, — растерянно
сказал следователь.

— Приступайте, — сказала
Фрумкина. — Отпечатки пальцев
снимать будете?

— Скажите, уважаемый, —
спросила Губкина, — вам не стыдно?

Эпитет «уважаемый» писали
прежде в официальных бумагах,
ныне в обществе никого так не

называли. «Рукопожатные» имелись, «уважаемых» не было. Данный эпитет употребляли, чтобы поставить на место, так теперь обращались к прислуге.

— Действуйте, уважаемый! Доставайте блокнот, гражданин следователь, пишите фамилии.

И слово «следователь», грозное в тридцатых годах прошлого века, звучало жалко. Преследовать воров стало делом непопулярным. Воровство — это грех, кто спорит, но понятие воровства расширилось несказанно: собственно, это уже не только деньги тянуть из кармана. К тому же забрать со счетов у Пенсионного фонда лишний процент,

организовать однодневную фирму, на которую переводят доходы государственного предприятия, – это не вполне воровство. Большинство присутствующих получали деньги в результате хитроумных комбинаций – но воровство ли это? Такую деятельность привыкли именовать бизнесом, оптимальной организацией работы или корпоративным соглашением. Те, кто не умел проявить инициативу, считались неудачниками, а следовательно – то есть тот, кто прикладывал аршин неудачи к сложной карте бизнеса, сделался лишним человеком в коллективе. Какой пример он мог подать

молодежи?

— Вместо того чтобы разоблачать коррупцию Кремля, — сказал вполголоса Пиганов, но его услышал весь зал, — следователи ходят на дармовые обеды. И кто-то жалуется на безработицу?

Иные вожди умеют так сказать, что площадь встрепенется. Рассказывают, что Иосиф Сталин говорил негромко, но слова разносились по всей Красной площади. Демократ Пиганов обладал теми же ораторскими данными.

— В Кремле берут миллионные взятки, а чиновника прислали ловить инакомыслящих.

— Вам зарплату в кассе

выдают? — крикнул следователю
Ройтман. — Или в конверте?

— Скажите, уважаемый, —
поинтересовался журналист
Сиповский, — мы не ошибаемся,
предполагая, что в верхних эшелонах
власти царит мздоимство?

Сиповский умеет сказать
деликатно, но убийственно. Пиганов
в очередной раз подумал, что
Сиповского надо пригласить
спичрайтером. Говорят,
гомосексуалисты очень артистичны;
надо бы привлечь его к работе.

Зал смеялся, напряжение
прошло, гости вернулись к напиткам,
потянулись к десерту — в центр
комнаты выкатили стол с

серебристым сливочным
монументом. Монумент был
исполнен в виде Дворца Советов,
огромного здания,
спроектированного Советской
властью, да так и не построенного.
На самом верху кремовой пирамиды
водрузили цукатную фигурку
Ленина. Лидер оппозиции Пиганов,
политик Гачев и посол Франции
господин Леконт вооружились
лопаточками для торта и
приблизились к Владимиру Ильичу.
Эх, попался Ильич! Фанни Каплан не
добила, зато сейчас его съедят!

Пиганов взмахнул лопаточкой
над лысым черепом из засахаренной
дыни.

Про следователя гости забыли мгновенно. Отвернулись — и наблюдали за тортом. Сейчас Пиганов разберется с этим Ильичом! Лидер оппозиции, генерал от либерализма, сделает то, на что его прадеду не хватило ни времени, ни здоровья. Властным движением Пиганов приложил лопаточку к темени злополучного председателя Совнаркома. Фон Эйхгорна называли «некоронованным королем Украины» — вот откуда у внука властные жесты; а убил фон Эйхгорна левый эсер, начитался террористических брошюр. Вот теперь пришла пора внуку свести счеты.

Раз! — и впилась лопаточка в

темя пролетарского вождя.

Смотрели как театральное представление. А коррупция? То, что в стране пропадают деньги, знали все. Проявишь ненужную принципиальность, и ненароком можно поругаться с милым человеком. Даже неприлично об этом говорить в рукопожатной компании.

Существуют две точки зрения на российское воровство.

Поскольку на наших страницах появился следователь, мы рассмотрим обе версии: одна осуждает присвоение чужого, а другая объясняет.

Первая выглядит так.

Принято считать, что Россия — тюрьма народов, а в тюрьме есть два действующих лица: вор и следователь. Прежде имело смысл народное добро сторожить и выяснять, куда оно делось: в годы тоталитаризма героем был следователь. Теперь героем стал вор.

Словарь общезначимых понятий изменился. Вместо слова «деньги» стали говорить – «бабло», и «бабло» являлось уже не мерой труда, но критерием успеха. Вместо слова «гражданин» говорили «лох», вместо «товарищ» – «клиент», а вместо «идеал» – «проект». И граждан заставили выучить этот жаргон, как некогда заставили выучить непонятные коммунистические слова «комиссар» и «трудодень».

Важно то, что новый словарь не просто замещал одно слово другим. «Деньги» и «бабло» – это принципиально разные понятия, из разных экономических формаций. Деньги – эквивалент труда; но бабло

— это то, чего лох в принципе иметь не может. Воры принципиально не работают, и хотя в финансовых документах значилось слово «деньги», имелось в виду «бабло». Символический обмен — а воровство, как правило, происходило в банках и офисах, отнюдь не на большой дороге при свете фонаря — использует бабло, а деньги — это еще из времен обмена натурального.

И бабло, и деньги печатают в казначействе на одинаковой бумаге — но смысл они имеют разный. Так железный крест на кителе фашиста и железный крест на колокольне церкви имеют одну форму — но сугубо разный смысл.

Скажем, граждане недоумевали, почему в стране финансовый кризис, а миллиардеров все больше. Это происходило потому, что работали одновременно две экономические системы: инфляция обесценивала деньги, но приумножала количество бабла. Когда во время кризиса решили напечатать дополнительные миллиарды, экономисты старой школы всполошились: как же так — промышленность стоит, а денег становится больше, кто же тушит пожар дровами! Но печатали не деньги — печатали бабло, то есть меру успеха вора, а не эквивалент труда лоха.

Способ конвертации денег в

бабло прост. Например, строится дом, и деньги, истраченные на строительство, в пять раз превышают себестоимость постройки. Чиновник выписывал из бюджета несоизмеримо большие деньги, нежели требовалось, с тем чтобы ему тайно вернули большую их часть, — так деньги превращались в бабло. При этом реальный дом лишь помеха, поскольку нельзя на этом месте начать новое строительство. Построенные дома ломали и начинали заново строить по той же самой схеме. И ровно то же происходило со всей страной — строить ее, разваленную, было никому не выгодно; разумно было

выписать деньги на строительство, начать строить и тут же снова ломать.

Лохи возмущались: не понимали, что бабло образуется именно как результат деструкции.

Лохов «чморили» (то есть унижали). Их чморили пенсионные фонды, в которые они по привычке отдавали деньги на старость, а те тут же превращались в бабло – и уходили на другие нужды. Их чморила инфляция, потому что деньги падали в цене, в то время как бабло в цене росло. И главное: договорились, что пресловутое «коллективное хозяйство» и так называемый «государственный бюджет» – есть не

что иное, как «общак», воровская касса, откуда бабло берут паханы. Граждане недоумевали, почему бюджет пуст, но никто не грабил бюджет – просто общак пускали на грев зоны. Воры в законе распределяли общак – и тот, кто пожелал бы сопоставить этот процесс с планированием бюджета, ничего бы не понял в современной экономике. Страна превратилась в организованную преступную группировку – так считали растерянные лохи, – и Россия жила по понятиям воров, а рядовых граждан чморили, а что еще с ними делать, с сявками позорными?

Вполне возможно, что лохи

смотрели на действительность предвзято, но им казалось, что мафия брала власть в городах и устраивала там жизнь по воровским понятиям, чтобы потом передать эту власть еще более крупным ворами, правительственным чиновникам. Крупные воры становились сенаторами и губернаторами, депутатами и лидерами партий — и никто больше не скрывал, что в верхней палате парламента заседают люди, еще пять лет назад возглавлявшие банды. Сенаторы Чпок и Балабос, некогда украшавшие собой солнцевскую и коптевскую криминальные группировки, сегодня являлись законными миллиардерами

и решали, как стране жить дальше.

Бандитов в прессе называли «меценат», это был официально принятый термин. Помещали фотографию бандита и под ней подпись: «меценат». Данное определение не расходилось с истиной: воры увлеклись собирательством. Начали с того, что собрали дворцы и земли, финансы и власть, а затем перешли к антиквариату и современному искусству.

Под давлением вкусов воровской малины культура изменилась стремительно.

Воры любят сладкое – и культура стала липкой. В целом образование

бабла зависит от деструкции страны — но жилье самих воров строили пышно. Фасады домов гнулись от завитушек, платья слепили стразами, статуи блестели позолотой. Любимый жанр воров — детектив, и главными писателями стали авторы детективов. Андеграунд советских времен был уныл, современный авангард сиял и искрился. Это было бандитское искусство, лидерами страны двигала плотоядная любовь к жизни.

Сперва интеллигенция не знала, как себя вести с ворами. Интеллигентов приглашали на жирные банкеты, сажали рядом с паханами. Интеллигенты кушали с

удовольствием, но им было стыдно. Понятно, что большевики хуже, чем воры. Но и воры тоже, как бы это помягче сказать, чтобы не обидеть мецената, – воры тоже не сахар.

Пока воры строили безвкусные коттеджи в Подмосковье, их компанией брезговали. В конце двадцатого века Подмосковье заросло краснокирпичными избушками с аляповатыми башенками – так воры представляли себе прекрасное. Архитектор Кондаков мало кому рассказывал, что построил для мецената Губкина несколько особнячков с башенками, неловко было. Но возвели виллу Губкина в Тоскане по канонам

Витрувия — и фотографию напечатали во всех журналах. Архитекторы внедрили в сознание воров пристрастие к Витрувию и облагородили пропорции уворованного. Коттеджи стали стройнее, меценаты научились разбираться в стилях.

Торговец оружием Кессонов мог безошибочно отличить произведение социалиста Ле Корбюзье от творения капиталистического архитектора Кондакова по той причине, что у Корьбюзье пропорции рассчитаны на убогие потребности, а у Кондакова — на потребности безразмерные.

Тот самый планктон, который прежде лип к райкомовским

работникам, отныне обосновался в офисах корпораций. На сходки малины интеллигенты не ездили, но когда малина переехала в небоскребы – знакомство перестало быть стыдным. Как и положено фраеру в блатном бараке, интеллигент должен был «тискать романы» братве и чесать пахану на ночь пятки. Служилая интеллигенция пробавлялась тем, что составляла коллекции антиквариата для особняков ворья, пела вора́м романсы в загородных усадьбах, писала для воров недлинные статьи о вреде социализма.

Прошло немного времени, воры

завладели миллиардами. Переехали из кирпичных коттеджей в мраморные усадьбы, потом скупили самые большие дворцы мира, скупили улицы в лондонском районе Белгравия и шеренги домов на Елисейских полях, приобрели острова в теплых морях и огромные океанские яхты. Воры украли столько, что отрицать их существование — значило отрицать мир, поскольку воры владели всем зримым миром. Они украли весь мир, и когда яхта главного мецената входила в Венецианский залив, гигантский корабль закрывал горизонты: ни Дворца дождей, ни собора уже видно не было. И

служилые интеллигенты умилялись размаху хозяев. Меценаты не сделались ни на йоту лучше и честнее — но знакомством с ними уже не брезговали.

Как написал Борис Ройтман: «Всякому хочется, чтобы его пригласили на яхту, — и не будем притворяться, что есть такие, кто откажется».

Интеллигенты брали бабло из рук воров, нимало не заботясь о том, как эти средства получены — наркоторговлей, грабежом пенсионных фондов или выселением кварталов бедноты в еще худшие трущобы. Интеллигенты оправдывали себя тем, что просто

делают свою работу – рассказывают ворам о прекрасном, пишут либеральные статьи, чешут пятки. В конце концов, кто-то должен чесать пятки паханам – и если делать это квалифицированно, почему не брать гонорар?

Скажем, учреждается литературная премия «Взлет» за свободолобивую публикацию. Учредителем стал миллиардер Алекс Чпок, некогда глава преступной группировки, а ныне владелец металлургических комбинатов, занимающий в списке богачей мира почетное место. И писатель получал деньги, которые Чпок добывал буквально потом и кровью – причем

не своими. Литературные круги недоумевали, как будет выполнена призовая статуэтка: в форме маленького золотого утюга, наподобие тех, которые рэкетир Чпок ставил на живот должникам, или в виде серебряного паяльника — наподобие тех, что вставляли жертвам в задний проход? Однако призы (платиновую фигурку балерины) брали с удовольствием, а дающую руку в перстнях лобызали охотно.

Покровителем концептуалиста Бастрыкина стал торговец оружием, табаком и наркотиками Эдуард Кессонов. Проходили выставки свободолюбивого мастера, а за

инсталляциями маячила грозная фигура Кессонова, человека, про которого говорили, что он закатывает недоброжелателей в асфальт. Покровительство чудесным образом не тяготило художника, а вот былой надзор компартии мастеру мешал. Интеллигенция служила свободе — а откуда свобода берется, какая разница: дух дышит там, где хочет.

Противоречий в деятельности и источнике финансирования — не замечали. Кессонов, Губкин, Чпок и прочие меценаты разрешили интеллигентам заниматься любимым делом: интеллигентам позволили — даже велели! — критиковать тоталитаризм.

Не было ненавистнее строя для воров, чем социализм, и воры разрешили интеллигентам свести счеты со Сталиным. Сводить счеты было легко, благо тиран шестьдесят лет как упокоился в могиле, но интеллигенция восприняла приказ точно приглашение на баррикады. Толпа взволнованных людей высыпала на центральную площадь столицы, украсив себя значками «Я знаю правду!». Имелось в виду совсем не то, что происходит со страной сегодня, но то, что происходило со страной сто лет назад. Уместнее смотрелся бы значок с надписью «Я знаю правду, причем очень давно, но раньше боялся ее

говорить, а сегодня мне разрешили!»
— но эта надпись показалась слишком
длинной.

Разоблачить
коммунистический режим всегда
хотелось, что же в том зазорного?
Интеллигенты бойко осуждали
большевиков, но никто из них не
краснел, ежедневно заискивая перед
убийцами, целуясь с проститутками
и пожимая руки мошенникам.
Постепенно интеллигенция дошла до
желанной степени рассеянного
склероза, который мертвил
некоторые участки сознания, но
сохранял в бодрой подвижности
инстинкты. Интеллигенты знали, что
стали сообщниками бандитов, но
коль скоро закон в России — это

произвол, а воровство – свобода, они говорили себе, что служат свободе.

Наиболее расторопные из интеллигентов сами научились добывать бабло – открывали рестораны, клубы и бары. Были времена, когда голодные художники встречались в кафе, прихлебывали дрянной кофе. Нынче творческие люди тоже встречались в кафе, как и во времена Модильяни, но уже в собственных заведениях, и в отношении питания стали привередливы. Изменились также представления о размерах заработной платы. Представьте Амадео Модильяни, ставшего владельцем «Ротонды», и вообразите

Хаима Сутина, нанявшего
итальянских поваров, они бы тоже
научились разбираться в бухгалтерии.
Интеллигенты не хуже воров умели
теперь вздувать цены, урезать
порции, продавать лежалый товар — и
это ничем не отличалось от их
культурной деятельности: так они
продавали залежавшуюся ненависть
к Сталину и урезали порции стыда.

Интеллигенты научились
понимать психологию жулья,
поскольку ежедневно немножко
жульничали сами. Пороки,
неприличные прежде, стали нормой
жизни городской публики с высшим
образованием. Интеллигенты
демонстрировали поразительную

моральную устойчивость к развратной жизни. Они переняли у богатых спонсоров лексику и манеры — стали матерно ругаться, употреблять много алкоголя, ежедневно врать, попрошайничать и воровать.

Они жили отныне наипаскуднейшей жизнью, но сберегли словарь прекрасных эпитетов, унаследованный от девятнадцатого века. Рестораторы, риэлторы, редакторы модных журналов, модели и спичрайтеры по-прежнему именовали себя интеллигентами, хотя давно принадлежали криминальной корпорации. Впрочем, прежде

интеллигенты жили при Советской власти и сохраняли свой цех среди варваров, а нынче сохранили его среди воров. Как остроумно выразился политический мыслитель Митя Бимбом: «Я интеллигент потому, что живу на этой территории и думаю про отвлеченные вещи». И хотя конкретных вещей вокруг Бимбома было достаточно, именно отвлеченность его мировоззрения делала его интеллигентом.

Интеллигенты сами стали ворами — и слово «воровство» потеряло оценочный смысл.

Так звучит первая версия, обвинительная.

Существовала версия вторая, апологетическая.

Советская власть привела страну к нищете. Что с того, что люди были формально равны? Они были равны в бесправии. Что с того, что было бесплатное медицинское обслуживание? Оно было убогим. И главное: люди сделались ленивы. Ни культурных свершений, ни предпринимательской деятельности, ни прорывов в научных изобретениях не наблюдалось, и как иначе могло быть при рабском труде? Люди стали рабами, их можно было использовать на любые нужды казарменного строя,

собственной воли у них не было. Подавление Чехословакии, война в Афганистане, охрана в лагерях — советский человек выполнял что велят.

Генезис современного рабства описал философ Карл Поппер в знаменитой книге «Открытое общество и его враги». Поппер показал, как, начиная с «Государства» Платона, насаждался казарменный рай, как модель равенства подменила модель развития. Кульминацией казарменной утопии стал большевизм, угрожавший всему миру. В чем конкретно была угроза? В саботаже прогресса — казарме

довольно забора и фельдфебеля. Человечество, благодаря идеологии Советов, могло превратиться в одну общую казарму. Было практически доказано, что Сталин и его последователи стремились захватить весь земной шар, внедрить везде мораль ГУЛАГа. Просвещенному человечеству стало понятно, что мировая война была неизбежна — войну готовил не столько Гитлер, сколько Сталин и большевики. Большевикам требовалось сделать всех людей рабами.

Люди боялись того, что Советская власть захватит земной шар целиком: в двадцатые годы действительно появлялись коммуны

в Европе, а после войны возникли социалистические европейские страны. В западных журналах публиковали рассекреченные советские документы: оказывается, Генштаб СССР разрабатывал вторжение в Западную Европу. Теория «мирового пожара» была (как стало многим понятно) страшнее, нежели идеи «Майн кампф». Гитлер был чудовищем, однако нацизм родился как реакция на Сталина, говорили люди вдумчивые. Фашизм, если разобраться, есть паритетный ответ на сталинизм. Российские разведчики перебегали в западные страны, рассказывали западным спецслужбам о коварстве бывших

хозяев. Историк Эрнст Нольте в своей работе «Европейская гражданская война» показал, что убийство по расовому признаку есть не что иное, как ответ на убийство по классовому признаку. Фашисты потому душили в газовых камерах евреев, что коммунисты отправляли на Колыму кулаков. Сначала Нольте обвинили в реваншизме, некстати вспомнили, что Эрнст Нольте — ученик Мартина Хайдеггера, а последний был членом НСДАП. Однако Хайдеггера давно уже оправдали — не последним его адвокатом была знаменитая еврейка Ханна Арендт, борец с тоталитаризмом. И коль скоро

Хайдеггер не виновен, сняли вину и с Нольте. Постепенно положение о том, что фашизм есть реакция на коммунизм, разделяли все больше мыслящих людей, и разве Фултонская речь не обозначила нового врага Открытого общества?

Одним словом, СССР был реальной угрозой демократическому миру — и его крушение приветствовали все либералы. К тому времени как верховную власть в России получил бывший первый секретарь Свердловского обкома партии, а ныне свободолюбивый либерал Борис Ельцин, всем было понятно: если не демонтировать Советский Союз, случится беда.

Почему на роль крушителя Советской России был избран партаппаратчик – вопрос отдельный, но барственным ударом кулака Ельцин разгрохал плановое хозяйство и казарменный социализм. На пепелище должно было возникнуть гражданское общество. Намеревались построить нечто на манер западных демократий, обсуждали кодекс прав и свобод и быстро поняли, что начать надо с частной собственности. А как внедрить вкус к частной собственности среди вчерашних рабов? Говоря проще: как в одночасье получить частную собственность, достаточную по объему, чтобы управлять жизнью страны?

Заработать столько нельзя — можно только присвоить. Бывший секретарь обкома бросил клич: «Пусть каждый берет сколько может!» В одночасье бывшая империя превратилась в Клондайк — ходи забивай колышки, огораживай свой участок. Была объявлена приватизация общественной собственности, и — что тут вилять, всякое бывает на перекрестках истории — многое осело в руках людей авантюрных, каких при социализме обвинили бы в хищении народного добра.

По сути, новая власть провела процесс, обратный коллективизации, и совершила шаг, обратный индустриализации — а именно:

провели приватизацию и деиндустриализацию страны. Заводы остановили, промышленность обанкротили, предприятия закрыли, коллективные хозяйства упразднили: то была столыпинская реформа на новом этапе, только роль ненужной общины играла вся страна. Столыпин действовал в интересах промышленного производства, но то было сто лет назад — нынче наступила эра символического обмена, производство только мешало. Пришла пора стремительно развалить промышленность, дабы, не отягощенные ничем, вступили новые люди в эпоху постиндустриальную.

Но мало этого: социализм

следовало упразднить раз и навсегда,
уничтожить коллективную
собственность начисто. Все
богатства земли стремительно
раздали людям верным и
расторопным.

Здесь, не стесняясь, следует
произнести: да, имущество,
формально принадлежавшее всему
народу, распределили между
пятьюдесятью семьями. Власть
решала, кому отписать
месторождение, карьер, скважину;
в качестве владельцев выбирали
самых ловких — а кого прикажете
выбирать, ленивых? Угодно называть
новых собственников ворами? А у
кого они украли? У народа? Так у

народа все равно ни шиша не было.

Интеллигенция, призванная быть судьей исторического процесса, была всецело на стороне воров. Сочувствие к народу сделалось в интеллектуальной среде чувством позорным. В былые времена разночинцы заигрывали с народом, опрощались, не то нынче. Новая интеллигенция любую сочувственную реплику сразу осмеивала, образованные люди стеснялись популистских ремарок по поводу так называемых народных тягот. Каждый народ, говорили люди умственные, достоин своей судьбы. Народ-неудачник, в сущности, сам виноват: если бы этот народ не

поверил слепо в социализм и не
сделался лентяем на тощих
бюджетных дотациях, он бы сумел
проворно интегрироваться в
постиндустриальную экономику. Не
научились, не успели, не смогли?
Виноватых не ищите, посмотрите в
зеркало. Это вам не водку пить и не
детей рожать! Тосковать по своему
заколоченному заводу да по
советской пенсии – удел никчемных
людей. Конечно, демагог скажет, что
народ не просил перетаскивать его из
одной экономической формации в
другую, – но будем справедливы:
история общая для всех, а кто не
успел на поезд, тот остается на
перроне.

Уж лучше так называемый вор, говорили либералы, чем советский вертухай. Пусть достанутся авантюристу нефть и газ, пусть владеет нечистый на руку делец алмазами и рудой, лишь бы не отдать все анонимной власти толпы. Да, процедура болезненная – но лучше такое зло, чем большой концлагерь. И вообще, демократию строить – это вам не пряники кушать. Не стоит лицемерить: да, владелец газеты был при большевиках судим за грабеж; да, собственник сибирских рудников кого-то убил; да, сенатор похитил из Пенсионного фонда сотни миллионов; да, заместитель министра культуры берет взятки!

Пусть так! Однако эти люди не гноили в ГУЛАГе миллионы заключенных, не устраивали Голодомор на Украине!

Способ, каким богачи сделались богачами в России, не описан ни в каком экономическом учебнике, это был трюк – но что с того? Важен результат: появилась элита собственников, и вора́м служили потому, что они объективно олицетворяют прогресс. Идеолог приватизации Чубайс объяснил, не скрывая, что приватизация была фальшивой: никто у государства предприятия и недра не выкупал. Все раздали даром – верным холоуям. То была необходимая мера. Считаете это

кражей? Вы что, Прудона
начитались?

Так звучала вторая версия.

Первая версия и версия вторая
были непримиримы, договориться не
удавалось. Любой спор казался
диалогом умалишенных:

– Вы страну разворовали!

– А Сталин был тиран!

– У пенсионеров пенсии крадут!

– Вы что, в лагеря захотели?

– Денег у народа нет, а жулье
дворцы строит!

– Коммунизм – это зло!

Как договориться?

Люди говорили точно в бреду,
свирепая в бесплодных спорах.

Лидер новой оппозиции Пиганов принял участие в споре на последнем этапе, вместе с ним на митинги вышли наиболее активные люди страны – они хотели покончить с воровством. Они называли себя «креативным классом», те, кто выходил на площадь. Впрочем, боролись не с воровством как таковым – но с тем досадным фактом, что награбленное взято под контроль наиболее сильным кланом.

Пиганов говорил на митингах так:

– Создана новая номенклатура. Работники ГБ захватили власть. У

народа украли свободу. Демократия украдена. Рынок разрушен. Даешь рынок!

И народ гудел: дае-о-ошь! Люди привыкли к тому, что рынок — необходимое воровство, им казалось, что, когда в воровстве наступают перебои, — это крайняя степень беды.

— Долой коррупцию! Рынок без номенклатуры! — кричал Пиганов.

И народ гудел: дае-о-ошь! Так Кронштадтские моряки выступали за Советскую власть без большевиков. И заманчиво, и недостижимо, поскольку именно большевики насадили Советы, — а коррупция образовалась ровно в тот момент, когда недра страны раздали верным

чиновникам.

— Даешь свободные выборы! — кричал Пиганов.

И народ гудел: дае-о-ошь! Впрочем, коль скоро в России свободных выборов не было никогда, этот лозунг понять было затруднительно, но звучал он красиво.

Циркулировали слухи, что деятельность Пиганова оплачивает американский Госдепартамент, что его инструктируют заокеанские политики. Пиганов смеялся, а его соратники, креативные люди, выходя на трибуны, выворачивали карманы, высыпая мелочь и крошки табака.

— Что-то не нахожу у себя денег

Госдепа! – кричал в толпу Ройтман, и толпа веселилась.

– Пусть мне пришлют мои трудовые иудины доллары! – кричала Фрумкина под свист и аплодисменты.

– Почему-то не видно шпионских гонораров! – кричал пожилой профессор Халфин, и толпа свирепо хохотала.

На приеме во французском посольстве Пиганов появился не случайно. То был обдуманый ход – правительственные сыщики ждали, что лидер оппозиции пойдет за инструкциями в американское посольство, но Пиганов пошел во французское – сбив ищеек со следа.

Кому бы пришло в голову, что политическая платформа обсуждается здесь, на званом французском обеде? За десертом, вместе с Гачевым и Тушинским, политики выработали общую программу действий. Каждый из них отвечал за свой сегмент; Гачев выводил на улицу народ, которого Пиганов с Тушинским боялись. Тушинский отвечал за настроения провинциальной интеллигенции. Пиганов общался с Западом и финансистами. Гачев был Марат, Тушинский – Дантон, Пиганов – Робеспьер. А резиденция посла на Якиманке была кабачком на улице Павлина. Сегодня решилась судьба

революции.

– Выборы, разумеется, будут фальшивыми. Пусть так. Мир должен увидеть, как нас дурачат, – сказал Пиганов.

– Вы правы, нарыв должен лопнуть.

– Режим недолговечен.

– Страна ничего не производит, кроме нефти, а нефть он присвоил себе.

– Пусть он задумается, глядя на революции Востока.

– Я сам привел его к власти, – говорил Пиганов о действующем президенте, – сам его и убегу!

Пиганов преувеличивал: он всего лишь входил в компанию

финансистов, приведших нынешнего президента на царство. Дело было так.

Когда первый российский реформатор, раздавший страну верным, стал блевать по утрам и засыпать на международных приемах, ему нашли замену. Требовался необременительный царь, конкурирующие группировки искали неказистого юношу Романова, которым можно управлять. Новичка призвали с тем, чтобы он охранял нажитое олигархами добро, стал внимательным сторожем накопленных богатств. Когда богачи выбирали, кого ставить сторожем уворованного, они присмотрели

именно невзрачного человечка, полковника недоброй памяти КГБ. В те годы бывшие офицеры госбезопасности шли в охрану к воротилам, их принимали в службу. Пригласить полковника КГБ на княжение — идея эффектная: госбезопасность уже не опасна, секреты давно распроданы, и полковник смотрелся гербовым львом на задних лапах. И поставили сторожа — пусть смотрит за сундуками, нужен и на пиратском корабле капитан, который следит за дележом добычи. В первые годы нового царствования финансисты склонны были прощать сторожу грубость — в конце концов,

невоспитанный солдафон. Но год от года аппетиты гербового зверя росли. Президент окружил себя офицерами госбезопасности, своими былыми коллегами — они стали требовать у богачей делиться добром, нажитым при прежнем президенте. Они собрали компрометирующие материалы, шантажировали богачей прошлым, требовали мзды. Практически каждый из богачей начинал как рэкети́р, знал законы шантажа — но ведь этап первоначального накопления уже прошел! Это раньше мы утюги на живот ставили, теперь-то имеем легальный бизнес! А тут государственный рэкет! И терпеть

такое от полковника ГБ! Мало мы в годы Советской власти терпели?! А что если институт ГБ не такой уж декоративный, как нам казалось?

И постепенно сознание того, что возвращается тридцать седьмой год, овладело умами. Когда прогремело сравнение полковника Путина с генералиссимусом Сталиным – уже никто не удивился.

Сравнение принадлежало Пиганову – однажды он сказал с трибуны: мы вернулись в тридцать седьмой год.

Ахнул креативный люд: так и есть – возвращаемся к сталинизму, господа!

И если финансисты понимали,

что ситуация несколько иная, на сталинские времена не вполне похожая, то для интеллигенции слово «сталинизм» было сигналом. Условные рефлексы сработали — и застоявшиеся шестеренки правозащитного сознания пришли в движение. Сначала бранились тихо. Шептались, как на дедовских кухнях, цедили сквозь зубы, но громко не говорили. И как сказать громко, если твой прямой работодатель — партнер президента по бизнесу? Пошел слух, что президент контролирует прессу. То, что сами финансисты, прямые владельцы газет, контролировали прессу куда более скрупулезно, не учитывалось: говорили, что новая

цензура суть следствие диктатуры ГБ. Посудите сами, говорили журналисты, наш владелец подчиняется только законам рынка, а тут еще какие-то государственные препоны. Собственных хозяев ругать не принято — корпоративный принцип интеллигенция усвоила хорошо: ни Губкина, ни Чпока, ни Балабоса не бранили — и за что же? — но президент вызвал гнев.

Журналисты почувствовали себя ущемленными: при одном хозяине их независимость очевидна, а при наличии хозяина у хозяина — свободы гораздо меньше. Шептались и терпели до тех пор, пока новый президент устраивал западных

партнеров – но однажды и западные партнеры разочаровались. Отечественным богачам дали знать, что мир не возражает: пора менять капитана пиратского корабля. Но попробуй сменить капитана! Капитан артачился – ах, не затем мы ставили этого невзрачного человечка, чтобы он упирался и спорил! Потребовалось создать новую Фронду – столь же пылкую, как та, что однажды развалила Советскую власть. Фрондеры заговорили в голос, и новые интеллигенты, те, что уже оформили свой статус при корпорациях, вышли на трибуны. Теперь уже почти никто не боялся – настало время сказать о новом витке

тоталитаризма.

Журналистка Фрумкина, та, что боролась со сталинизмом каждой строчкой, стала столь же непримиримым борцом и с новым режимом. Семен Панчиков громогласно называл нового президента «людоедом», госпожа Губкина, искренняя женщина, ежемесячно прилетала из Лондона, шла в первых колоннах марша несогласных, а политолог Халфин опубликовал статью «Не пора ли ставить на России крест?». Не только креативный цвет общества, но и рядовые граждане почувствовали вкус борьбы. Энтузиасты нашли спрятанные виллы нового

президента. И – странное дело! – то, что казалось естественным в отношении миллиардера Балабоса (ну мало ли, сколько у богача дворцов! ему положено!) выглядело чудовищным, если речь шла о президенте. И шли колонны «несогласных» по площадям России, выражая несогласие – не с тем, что страну разобрали на части воры, но с тем, что конкретный офицер взял себе непомерно много. И казалось: прогоним офицера, и все наладится. Те богачи, что вчера присягали на верность державной вертикали, решили выдать правителя толпе – демократия у нас или нет, в конце-то концов! И богачи говорили своей

интеллигентной обслуге: вам решать, вы — свободные граждане открытого общества! К этому времени интеллигенты не только обзавелись ресторанами и кабаре, они играли на бирже, сделались специалистами в маркетинге и франчайзинге. Дрессировка интеллигентов зашла так далеко, что, по слухам, литератор Ройтман научился одной рукой чесать пятки хозяину, а другой писать «Марш несогласных». Был ли то навет, сказать затруднительно, но отношения интеллигенции и воров сделались любовными. Богачи говорили интеллигентам: мы страдаем вместе с вами — смотрите, они зажимают вашу свободу, а нам

велят отчитываться за прибыль!
Доколе? Не забудем, не простим!

И дрессированные
интеллигенты кричали:

– Позор! Сталинизм!

Богачи говорили интеллигентам:

– Мы такие же, как вы, только
немного умнее и практичнее.

И дрессированные
интеллигенты кричали:

– Мы одной крови! Мы за
свободу! Даешь самовыражение!

И толпы шли на улицы, повязав
на рукав белые ленты – знак фронды.

Власть треснула и зашаталась –
но власть еще не сдохла. Офицер
госбезопасности еще мог запретить
демонстрацию, полиция еще могла

ухватить фрондеров за шиворот. Марши несогласных разгоняли дубинками, но как жалко выглядели эти потуги власти! Интеллигенты сызнаова ощутили себя на передовой — правда, теперь они были не одиноки: за иными несогласными стоял миллиардер Чпок, а за кем-то — меценат Губкин. Геральдический лев бился как мог, огрызался и тявкал, но лев устал.

— Они пойдут на все, они пойдут на амальгамы, — сказал Ройтман Пиганову.

— Да, — сказал Пиганов, — я этого жду.

«Амальгамами» во времена французской революции называли

судебные процессы, в которых политику вплетали в уголовное дело. Инсургентов, расстрелявших генерала Леконта в печальные дни Парижской коммуны судили, разумеется, как уголовников, не как оппозиционеров. Поминая то время, потомок генерала господин Леон Адольф Леконт обычно говорил: «В борьбе с крайностями приходится прибегать к крайностям». Недостойная уловка? Если и есть в истории прямые широкие пути, наподобие чудесных парижских бульваров Османа, то проложены эти пути, чтобы спрямить прицел митральез — для расстрела баррикад. Барон Осман лишь выравнивал

маршевый путь для прусских батальонов, а красота пропорций возникла как побочный эффект.

Власть пойдет на все, чтобы покончить с инакомыслием. Оппозиционеров стали арестовывать за неуплату налогов, за укрытие капитала в офшорах. Брали за сущую чепуху: за махинации с акциями, за разворованный Пенсионный фонд. И когда миллиардера-фрондера арестовали за организацию заказных убийств, общество взорвалось. Об опальном миллиардере заговорили все: доколе будут притеснять свободную мысль? Любому ясно, что убийство мэра Нефтеюганска — предлог! Дело, разумеется, в

политической платформе обвиняемого. Политолог Халфин выдвинул тезис: «Заключенного на царство!» Пиганов, ревниво относившийся к узнику, тоже воскликнул:

— Даешь свободу узникам совести!

И толпа гудела: дае-о-ошь! Вот сменим президента на опального миллиардера — и жизнь наладится!

Но режим еще был силен.

Каждый в обеденной зале посольского особняка мог предположить, что следователь пришел за ним.

Известно, какими методами

пользуются: подбросить в сумочку наркотики, состряпать донос в налоговые органы – это они умеют. Здесь, на территории Франции, люди вправе чувствовать себя в безопасности! И вдруг – следователь. Позвали в гости, а сами следователя пригласили, усадили за тот же стол. Это как понимать?

Вид у опричника жалкий: субтильный лысоватый человек в сером костюмчике – и гости отвернулись от опричника к торту; но временами точно электрический ток пробежал по толпе гостей, и каждый думал: а что если следователь пришел за мной?

Впрочем, торт отвлек, следили,

как лысому Ленину оттяпали голову, как лидер фронды Пиганов медленно прожевал голову вождя. Вот как мы с властью: ам — и нету! Однако холодок по спине: следователь-то настоящий, вон стоит, в блокноте пометки делает.

Лидер оппозиции Пиганов не хотел даже поворачивать голову в сторону работника следственных органов — много чести опричнику! — но краем глаза следил; и пока жевал Ленина прикидывал — кто мог вычислить его приход во французское посольство. Вспомнил пару фамилий, насторожился.

Пожалуй, один лишь Чичерин понимал, что следователь совсем не

страшен. Пришел по какой-то мелкой надобности, на шпионил, но уже достаточно унижен. У адвоката даже мелькнуло сочувствие к серому коллеге.

— Вы хотя бы пообедали, — сказал Чичерин. — Здесь хорошо кормят.

— Пообедал, — и серый следователь покраснел.

— Теперь и домой пора, — сказал Чичерин.

— Пусть отработает зарплату! — высокомерно сказал Халфин. — Задавайте вопросы! Однако имейте в виду, ответы прогремят на весь мир!

— Я действительно хотел бы задать несколько вопросов, — сказал

серый человек.

— Прошу вас, — адвокат похлопал разоруженного врага по плечу. — Не робейте.

— Вы — друзья Ивана Базарова, я не ошибаюсь?

— Ах, вот вы о чем! Ну, спрашивайте!

— Даже если бы я не был другом, — сказал Халфин торжественно, — то на допросе сказал бы, что я его друг.

— А вы? — Вопрос уже к Фрумкиной.

— Безусловно.

— И вы? — это Семену Панчикову.

— Без сомнения.

— И вы друг Ивана Базарова? —

спросил следователь адвоката
Чичерина.

— Отвечу, как отвечал бы в суде. — Чичерин сделал знак остальным, чтобы они слушали и учились. — Знаком, но квалифицировать отношения не берусь.

— Приму к сведению. Вы бывали у него в галерее регулярно?

— Встречались на вернисажах, — ответил за всех адвокат Чичерин и движением руки дал понять, что говорить должен только он. — Никогда, — объяснил адвокат остальным, — не давайте больше информации, чем требуется. Помните об опыте сталинских

допросов! Встречались ли мы? Встречались без предварительной договоренности на вернисажах.

— Когда виделись в последний раз? — спросил следователь сразу у всех.

— В четверг, — сказал Халфин.

— Никакой конкретики, — посоветовал адвокат с улыбкой. — Господин Халфин хотел сказать, что могли встретиться и в четверг, и в пятницу. Отвечу за Александра Яновича: специально дата не фиксировалась.

— А вы когда были в галерее?

— Дневник не веду, — сказал адвокат.

— Вы просто мастер-класс

устроили! Браво! – Губкина хлопала в ладоши. – Как вы парируете его вопросы!

– Здесь важно не дать следствию ни одного факта. Понимаете?

– Я, знаете ли, не умею притворяться... – Губкина вздохнула, признавая, что искренность играет с ней злые шутки.

– Вы знали, что в галерее, в задних комнатах находится казино?

– Наконец-то! Вот оно! – Адвокат хлопнул в ладоши. – Дело о подпольных казино Базарова! Браво, майор! Должен вас огорчить, рвение запоздало!

– Не понимаю.

– Да, на Базарова завели

уголовное дело! А Базаров – извольте видеть! – орден Почетного легиона получает! Что случилось, вы себя спрашиваете? Растерялись, да? И пришли посмотреть, что происходит?

– Признаюсь, удивился, – сказал майор Щербатов.

– И в архивах объяснений не нашли! – рассмеялся адвокат. – Про Ленина нашли документики, а про Базарова собрать материал не получилось! Открою секрет, уважаемый. Базаров, как установило следствие – видите, я немного знаком с делом! – давал взятки представителям прокуратуры. Так вот, Иван Базаров, не дожидаясь разоблачений, стал сотрудничать с

российским судом! Базаров сам разоблачил продажных прокуроров, которые брали у него деньги. Прокуроры привлечены к ответственности. А Базаров немедленно — и по закону! — был переквалифицирован из обвиняемого в свидетеля!

— Неужели?

— В соответствии с распоряжением Ленина, Владимира Ильича! — Адвокат откровенно издевался на противником, призывал и остальных посмеяться. — Приказ номер триста девяносто девять о борьбе со взяточничеством! От двадцать пятого ноября двадцать первого года! За подписью Ульянова-

Ленина! Без изменений переключал в современный Уголовный кодекс! Пункт четвертый: лицо, давшее взятку, не наказывается, если оно своевременно заявит о вымогательстве взятки или окажет содействие раскрытию дела о взятке, — и Чичерин заливисто смеялся.

— Значит, сняли обвинение?

— Если соблюдать заветы Ильича, наш друг Базаров должен получить десять процентов от капитала взятки! Да-с! И вот Базарову вручают орден Почетного легиона — за неоспоримые заслуги перед культурой, — а продажный прокурор Успенский оказался за

решеткой. Вы считаете, что это трюк. А я, адвокат Базарова, склонен считать это проявлением сознательности!

— Поразительно, — приуныл следователь.

— Сочувствую, уважаемый. Дело закрыто, сдано в архив.

Со стороны это выглядело как разнос невежественного ученика-двоечника. Адвокат прошелся по статьям Уголовного кодекса с небрежностью знатока, отщелкал параграфы как семечки; то был действительно мастер-класс, по определению Губкиной. Петр Яковлевич Щербатов стоял потерянный среди пестрой толпы,

теребил обшлага серого пиджачка. Гости изучали его облик с брезгливостью. Многие обратили внимание, что обшлага пиджачка протерлись, видна бежевая подкладочка. Нелепость облика Щербатова стала очевидна всем. Сейчас следователь вернется домой, утром напялит потертый пиджак, поплетется на службу, сложит свои негодные бумажки в дрянной портфельчик, получит нагоняй от серого начальника... Серый служащий, маленький лысый человечек. Адвокат дотронулся мягкой рукой до плеча следователя.

— Вам воров надо ловить, за это зарплату платят, даже знаю, какую

зарплату... Наверное, думаете: ах, негодник Чичерин, обманул следствие! Но поймите, – сказал Чичерин, – надо различать преступников и людей предприимчивых.

– Не умею, – уныло сказал двоечник. – Мне Чухонцев, в управлении, постоянно советует. А не получается.

– Я вас научу, – сказал Чичерин. – Прежде вы служили государству, которое сажало невинных в лагеря... Только не надо про дедушку Ленина... И у вас в голове остался образ врага. Базаров ничего дурного не делает, он бизнесмен, и только. За что его

преследовать? Небось и ордер
выписали...

Следователь ответить не успел.
За него ответил сам Иван Базаров.
Бизнесмен стоял в отдалении, но
вдруг сказал в полный голос:

– В моей галерее идет обыск.

Иван Базаров держал в руке
телефон – видимо, кто-то позвонил,
доложил.

– Обыск?! – ахнул зал, и труд
лучших дантистов столицы вспыхнул
под люстрами.

– Взломали дверь, изъяли
компьютеры, допрашивают
сотрудников галереи.

Лицо Базарова было
растерянным: вот вам и вечер в

посольстве! И орден Почетного легиона не защитил.

— Успокойтесь, — сказал ему адвокат, — перед вами немедленно извинятся.

— Распилили сейф, вынули деньги.

— Они ответят за это!

— Силовики думают, им все позволено!

— Комитетчики опять у власти, чего вы хотите...

— Что вы творите?! — крикнул адвокат следователю. — Ведь дело уже закрыто!

— Разве, — обвел следователь гостей растерянным взглядом, — даже расследование убийства

остановлено?

— Убийство? — Настал черед адвоката покраснеть.

— Какое убийство? — спросил Халфин.

— Позавчера во дворе галереи Базарова произошло убийство. Найден шофер Ивана Базарова, Мухаммед Курбаев.

— Что вы такое говорите?!

— Вчера, когда вы все были в галерее, там задушили человека.

Некоторое время никто не отвечал.

Наконец Халфин сказал:

— Мы этого Мухаммеда в глаза не видели.

— У нас сведения, что Мухаммед

иногда подвозил вас до дома.

Опять тишина.

Потом Халфин сказал:

– Может, вы думаете, я
запоминаю шоферов такси?

Чичерин сказал:

– Люди собирались в галерее,
подписывали письмо протеста. В
этом нет состава преступления.
Рекомендую себя в качестве
адвоката.

– Хотелось бы уточнить имена
тех, кто присутствовал в галерее, –
сказал Петр Яковлевич.

– Лучшие люди города! – сказал
Халфин. – Записывайте, уважаемый,
я диктую. Итак: Халфин Александр
Янович, профессор Колумбийского

университета. Записали?

— Да, благодарю вас. —

Следователь достал блокнот, записал.

— Советолог, кремлинолог,

культуролог.

— Это к делу не относится, но я

записал.

— Автор девятнадцати

монографий.

— Спасибо, записал.

— Продолжаю: Фрумкина, шеф-редактор журнала «Сноб»; Панчиков, предприниматель. Полагаю, слышали эти имена?

— Да, слышал.

— Значит, понимаете, кто у вас

на подозрении... — заметил

Халфин. — Продолжим. Кессонов,

председатель совета директоров
концерна «Росвооружение».

– Это все?

– Присутствовал сам Базаров,
разумеется. Кавалер ордена
Почетного легиона.

– Итого пять человек. –
Следователь провел черту в
блокноте, подсчитал. – Заметили
посторонних?

– Кроме нас никого не было.

– Вы там были от семи часов...

– И до полуночи.

– Чем занимались?

– Подписывали письмо!

– Не отвечайте! Он вас
провоцирует! – сказал адвокат.

– Так долго ставили подпись?

– Это не механический процесс, уважаемый! – сказала Фрумкина. – Мы обсуждали события, говорили о политике.

– Можете подтвердить, что ни на минуту не покидали помещения галереи?

– Не поддавайтесь на провокации!

– Мы не скажем вам ни слова.

– Возможно, вы не понимаете. Убийство совершил один из вас. Шофер Мухаммед находился в машине. Машина стояла во внутреннем дворе галереи – доступ с улицы закрыт. Пройти во внутренний двор можно только через помещение, в котором находились вы. Мухаммед

задушен. Один из вас его убил.

Никто не ответил. Следовательно достал из внутреннего кармана пачку бумажек.

Серый человек изменился: теперь выглядел опасным и хитрым, так преображается волк в русских сказках, когда срывает с себя овечью шкуру. Следовательно стоял среди чистой публики, поворачивая голову поочередно к каждому гостю, — и всякий гость вздрагивал, видя холодное недоброе лицо.

— Здесь бланки, распишитесь в получении. Это для вас, а это — вам... Вы уведомлены о том, что вам запрещено покидать пределы города. А с понедельника прошу ко мне. У

каждого в повестке отмечен час визита... Прошу, — и он протягивал им повестки.

— Разрешите. — К ним приблизился хозяин дома, господин посол. Леон Адольф Леконт шел под руку с мадам Бенуа и, подойдя, заговорил голосом величественным и спокойным: — Напоминаю о том, что вы — мои гости.

— И что? — Серый следователь оскалился на посла, так волки огрызаются на загонщиков.

— Наш дом, — объяснил посол Франции, — рад принимать русских друзей. Рекомендовали включить вас, мсье Щербатов, в лист... предупреждали, что возможны

эксцессы.

— Спасибо за приглашение, — сказал серый, — действительно, хотелось всех вместе увидеть.

— Приглашение не дает оснований производить следственные действия на территории Франции, — сказал посол. — Французская Республика таких прав вам не даст.

— У меня письмо к вам, господин посол. — Щербатов протянул конверт.

— Не берите в руки! — вмешался Чичерин.

— Постановление Следственного комитета. Адресовано в посольство Франции, на имя посла.

– В чем дело?

– Постановление о взятии под стражу гражданки Франции Бенуа, проживающей в России, – по подозрению в убийстве.

– Ирен?!

– Следствие располагает данными о том, что гражданка Франции Ирен Бенуа состояла в связи с Мухаммедом Курбаевым, регулярно встречалась с покойным в гостинице «Балчуг». Принимая во внимание дипломатический статус, следствие приняло решение оставить гражданку Бенуа на свободе под личную ответственность господина посла – о чем и сообщается. Процедура дознания будет

осуществляться в стандартной форме. Вот повестка для вас, — и серый дал бумажку Ирен.

Ирен Бенуа протянула руку, взяла бумажку. Не произнося ни слова, сняла с плеч платок, скомкала Ямамото; все посмотрели на нее и увидели немолодую женщину, а еще минуту назад возраст был незаметен.

— Ирен! — сказал посол.

— Не надо слов.

— Это — вам, это — вам... —

Панчиков свою повестку оттолкнул, а Халфин машинально взял.

Зал молчал. В наступившей тишине Пиганов произнес:

— Это объявление войны.

Подобно иным политикам,

Николай Пиганов испытал радость оттого, что есть определенность. Он испытал мрачную радость, сродни той, что охватила Германа фон Эйхгорна, когда в 1914 году генерал-полковник узнал, что на пенсию уйти не придется.

— Что ж, значит, война.

Глава вторая

Барбаросса

проснулся

Сергей Дешков успокоился только когда началась большая война. Он мысли не допускал, что войны не будет. Его жизнь, как это и положено, была суммой всех жизней его родных – и если сложить общий опыт, ответ выходил один: война.

Отец воевал в Польше, друзья уехали воевать в Испанию, сам Дешков служил на Дальнем Востоке, где война колотилась в русскую границу, – но все эти войны были не главные, люди ждали такой войны, чтобы накрыла с головой. И когда говорили: мы, мол, готовимся к войне, – никто не перебивал

вопросом: а что, сейчас не война, что ли? Будет последняя, финальная битва с империализмом, так говорили агитаторы и писали газеты — обязательно будет! Сам Сталин считал, что большой войны не избежать. И задачи ставил перед народом соответственно — чтобы были готовы к удару. Так и спрашивали друг у друга: ты готов к труду и обороне? Готов или нет? Сталин спросил и британского министра иностранных дел Энтони Идена, как тот считает: когда было тревожней — накануне 1914-го или теперь? Англичанин как раз объехал Европу с планом «умиротворения», он и с Муссолини встречался, и с

Гитлером. И англичанин сказал Сталину, что накануне 1914-го было гораздо тревожней. А Сталин своего гостя поправил; нет, господин Иден, вы глубоко ошибаетесь. Сегодня гораздо тревожней. А Иден, как рассказывают очевидцы, только руками развел: ну что тут возразишь? Поперхнулся чаем с лимоном (ему предложили чай с лимоном и печенье, так принято), а ответить ничего не сумел.

Однако финальную битву постоянно откладывали, сначала западные страны подписали соглашение с Гитлером в Мюнхене, потом русские подписали пакт о дружбе с Германией, и люди

поздравляли друг друга с мирным завтрашним днем – и не верили сами себе. Значит мир, да? Обошлось? Можно варенье варить и снимать дачу на лето? И снимали дачи, и варили варенье, и чай пили с вареньем – и не понимали: зачем откладывать войну, если война все равно должна быть? Варенье ели наспех, не чувствуя вкуса.

Когда война отступала, Дешков испытывал разочарование, словно обещанный дождь прошел стороной. Духота не отпускала мир, неужели не понятно, что гроза нужна? Дешков говорил это друзьям, и друзья думали: для него что кровь, что водица – все одно. Не навоевался ты,

Дешков? Мало России досталось — снова стрелять хочется?

— Придет еще война, придет! — говорил Дешков, и те, кто слушал его, думали, что он хочет смерти и несчастий. А он просто устал ждать. Война собирается в тучу и движется неуклонно, затягивая горизонт, она грянет, никуда не денется. Когда говорил об этом жене, та спрашивала, не глядя в глаза Дешкову:

— Тебе легче станет, да?

— Почему легче? — удивлялся ее словам Дешков. — Станет проще, и все.

— Проще? Смотри, Сережа, не пожалей об этих словах.

Когда наконец объявили войну, рядом с войной все стало не важно и легко — даже их скверная жизнь выправилась. По радио сказали, что бомбили Киев, и Дешков успокоился. Прежде он плохо спал, а тут прослушал речь Молотова, лег и уснул, и ему хорошо спалось. И сон приснился, а этого не случалось давно. Снилось, что он скачет на коне, куда скачет — непонятно, но это был радостный сон. Наутро пришел соседский мальчик, одноглазый татарчонок из серых бараков, что наспех сколотили на пустыре. Татарчонок принес повестку, и Дешков потрепал татарчонка по маленькой бритой голове.

– Тебя как зовут, пацан?

– Руслан, – сказал татарчонок, и Дешков засмеялся. Почему-то татары любят имя пушкинского витязя.

– Ну, скачи, Руслан, домой, готовь щит и меч, в бой пойдем!

У Дешкова было отличное настроение. Его призывали в армию, повестка уравнила его в правах с другими людьми, они связаны общей судьбой. Теперь все пойдет на лад, он свободен, опять станет солдатом. Дешков перестал думать про то, что работу ему не дают, сколько ни проси, – вот, видите, нашлась ему работа. И Дешков сразу забыл, что они с Дашкой спят в проходной комнате, – ясно, что отныне он будет

спать в другом месте и жилищный вопрос закрыт. «А чем ты лучше других? – так обычно говорил ему товарищ, Андрей Щербатов. – Стыдно тебе, Дешков, жаловаться. Подумаешь, особенный какой! Привык в генеральской квартире жить, в подвале ему тесно. Ничего, будешь спать где велют». Щербатовы жили в соседнем подвале, и у них вовсе не было окон, а у Дешковых все-таки было два слепых оконца, которые можно даже и открыть, понюхать улицу. Правда, Дешковы снимали угол в подвальной комнате у Бобрусовых, а Щербатовым принадлежал весь подвал – хоть гостей собирай на танцы, хоть

десятерых рожай. Но в принципе Щербатов был прав, возразить было нечего, разве сказать, что отец никогда не был генералом, но к сути разговора это отношения не имело. Действительно, Дешков привык жить в большой комнате, окнами в парк, а когда этой комнаты не стало, он тосковал по ней как тоскуют по умершим родным. Странное дело: когда вспоминал отца или мать, он боли не испытывал, но стоило подумать про их дом, вспомнить длинные коридоры, высокие комнаты с лепниной под потолком, люстру со звенящими от ветерка стеклянными подвесками — и делалось безнадежно горько. Ему иногда мерещилась его

прежняя комната, казалось, что он лежит на своей прежней кровати, а наискосок от него, там, где темнота всего чернее, стоит его стол, а за ним книжные полки. Потом в комнату вползал на четвереньках серый подвальный рассвет, и не было ни стола, ни книжного шкафа, ни окна в парк. А теперь уже ни парк, ни шкаф, ни стол — не нужны больше. Черт с ними.

Получив повестку, Дешков испытал облегчение — и благодарность войне. Войну на Дальнем Востоке он полюбить не успел, солидарности с китайцами не ощущал и, если бы пришлось умирать за свободу Нанкина, сделал

бы это без энтузиазма; и потом — не отпускало чувство, что главное для страны решается не здесь. Что проку его родным и друзьям, что проку всему пролетарскому делу и мировой бедноте — если он отдаст жизнь за страну, которая сама про себя не знает, чего хочет. А большую войну он полюбил сразу — за ясность. Они против коммунизма, а мы за коммунизм, что тут еще обсуждать. Они посадили Эрнста Тельмана в тюрьму, убили Либхнехта, расстреляли спартаковцев. Напали на нас — и спасибо им скажем. Сейчас мы с ними разберемся.

Вовремя Гитлер напал, подумал Дешков, а то бы мы с Дашкой совсем

рехнулись. Невозможно ждать завтрашнего дня, если он такой же пустой, как день сегодняшний. А если ребенок — что тогда делать? А вдруг она уже беременна? Беременна, наверно, а иначе — отчего такая нервная стала? Но спросить жену об этом Дешков боялся. Он устал оттого, что жена плачет ночами, а он даже не может выяснить причину — что толку спрашивать, если не хочешь слышать ответ. Он устал от своего бессилия перед управдомами и владельцами квартир, где снимал комнаты и углы. Он устал от страха, что придут, отдернут ситцевую занавесочку, и он не сможет защитить жену, потому

что от них разве защитишь, и не сможет убежать, потому что куда же из подвала убежишь. Он злился, что не может прогнать от себя Дашку, а надо бы ей давно уехать к родне. Он устал оттого, что негде болеть, нет своей кровати, нет своего стола, нет стула. Они три года маялись по съемным комнатам, и Дешков ненавидел свое безденежье: он не мог больше думать про жилплощадь и не мог думать про что-то еще, кроме жилплощади. Жена ни разу не упрекнула его в нищей жизни, но оттого жизнь не перестала быть нищей. Если он читал книгу — хотя читал теперь редко, — то прикидывал размер жилплощади героя и ярился

на книжных героев, зажавшихся, не знающих своего счастья. Особенно его нервировали «Три мушкетера» – а ведь было время, когда Дюма поднимал настроение. Дешков представлял себе комнату д'Артаньяна на улице Старой голубятни, просторную, судя по всему, комнату, на втором этаже, – и его мучила зависть. Вот д'Артаньяну было куда позвать Констанцию Бонасье, да что там Констанция – он запросто мог пировать у себя в комнате с друзьями, целых четыре взрослых человека могли усесться за его столом. «Трех мушкетеров» только что издали – с отличными иллюстрациями француза Лелуара,

там на картинках у д'Артаньяна был такой широкий стол, что даже и в прежней комнате Дешкова такой бы не поместился. Такой стол Дешков видел только в столовой секретаря по партработе. Начиналось с мыслей о комнате и столе, потом приходили мысли о работе, которой нет, о зарплате, которой нет, о друзьях, которые пропали. Дешков ночами лежал подле Дашки, прикидывая, куда еще пойти, где просить. Просить противно, да и без толку просить. Ничего, думал он. И у д'Артаньяна бывали полосы невезения. Попрошу еще, от меня не убудет, гордость не в том, чтобы не просить, — гордость в том, чтобы не

отчаиваться, когда не дают. Денег не было совсем, снимать комнату было не на что. И работы никакой. И страх, который унижал его, не отступал.

И вдруг подвернулась работа — и судя по всему, надолго. Солидная, стабильная работа. И жилплощадь ему нынче досталась просторная. Теперь ему принадлежала вся земля, та, которую он вытопчет сапогами, а темная проходная комната в полуподвале в Астрадамском проезде — он сразу про нее забыл. И долг владельцу комнаты, жирному Бобрусову, долг, который рос и рос, перестал его беспокоить. После войны деньги отдам, сказал Дешков

и посмотрел на Бобрусова своими серыми прозрачными глазами. К нему вернулось спокойствие, утраченное за годы трусливой бесприютной жизни. И просить ни о чем не надо, и ответа не ждешь с колотящимся сердцем. Теперь он снова стал хозяином своей судьбы: как сказал, так и будет. Раньше-то он всегда был такой, раньше он был твердый, и это все знали; а потом стал умолять жирного Бобрусова пустить их с Дашкой в проходную — и сделался жалок и слаб. Бобрусов чувствовал его жалкость и ликовал; жирный Бобрусов держал их строго — чуть что покрикивал, а Дешков кривился и молчал. В первый раз,

когда Бобрусов крикнул на Дашу, Дешков едва не ударил его — но прежний Дешков уже давно спрятался, а новый, осторожный Дешков промолчал, и Даша боялась смотреть на мужа, чтобы мужу не стало стыдно. Ничего, потерпим, говорил себе Дешков, доблесть не в гоноре, а доблесть в том, чтобы перетерпеть обиду. Если надо, так я ему ручки поцелую, от меня не убудет. И он улыбался Бобрусову и прятал от Даши глаза.

Повестка поменяла все. Сегодня Бобрусов открыл было свой жирногубый рот, однако присмотрелся к Дешкову да рот свой и закрыл. Дешков опять стал

твердым, немногословным,
уверенным. Планы понятны,
проблемы решаются стремительно.
Жена уедет наконец к родне в село
Покоево Рязанской области, а ему —
вон, до угла дойти да в кузов машины
прыгнуть. И забыть проклятый
подвал в Астрадамском проезде, и
пропади пропадом соседи Полосины
и хозяева Бобрусовы — гори они все
огнем. Теперь уже не надо униженно
просить жирного Бобрусова не
заглядывать за ситцевую занавеску,
когда собираешься лечь с женой в
постель. Теперь уже не придется
одадживаться у Полосиных.
Разрешите у вас сковородочку на
полчасика? К чертовой матери

сковородочку Полосиных. Он натянул сапоги, встал, притопнул ногой, чтоб пятка ловчей села на каблук, застегнул наглухо гимнастерку, разгладил складки под ремнем, протянул руку за портупеей. И шершавая, старая, отцовская еще, портупея пришлась точно по плечу, словно перепоясался ею тот же самый человек. И даже подтягивать пряжки нигде не пришлось. Дешков похлопал себя по груди и плечам, осаживая сбрую на теле, остался доволен, пристегнул к портупее кобуру. Он нагнулся над цинковым ведром, где они хранили ценные вещи: там на дне лежали четыре Дашкиных кольца с драгоценными

камнями, достались от бабки-китайки, и отцовский кольт. То была память о Польском походе, о кавалерийском корпусе легендарного Гая, о боях с Пилсудским, о командарме Тухачевском, о тамбовских боях, о Кронштадтском восстании — на рукоятке револьвера выгравирована наградная надпись; наградное, бесценное оружие, а надпись — опасная. Последние годы он прятал револьвер — а сегодня достал.

Вообще наградного оружия было выдано мало: так называемое «золотое оружие», шашки с гравировкой получили Буденный, сам Тухачевский и еще несколько

командиров армий, повлиявших на ход войны, список награжденных утверждался Президиумом ВЦИКа. Только после взятия Перекопа ввели огнестрельное наградное оружие, и наградили им человек двадцать — никому оно счастья не принесло, все были расстреляны спустя двадцать лет.

Отец Дешкова, Григорий, во время Первой мировой был таким же поручиком, как и Тухачевский, в лейб-гвардии Семеновском полку и оставался неподалеку от командарма (а потом и маршала) вплоть до ареста. Его военная карьера практически в точности воспроизвела карьеру

самоуверенного Тухачевского, которого Пилсудский называл доктринером, а многие — «Бонапартом». Григорий Дешков не был, в отличие от своего товарища, в германском плену, но рассказы Тухачевского о пяти побегах из германских тюремгодились ему в плену польском. Григорий Дешков не сделал столь блистательной карьеры, но, впрочем, он и не говорил никогда, в отличие от Тухачевского, что покончит с собой, если к тридцати не станет генералом. Служил исправно, прошел с Тухачевским все повороты революционных лет.

Армия Тухачевского в двадцатом году откатилась назад, не взяв с

разбегу Варшаву; Ленин торопил, требовал «бешеного ускорения наступления на Польшу», и сам командарм считал, что момент упускать нельзя, «надо вырвать победу». Тухачевский был теоретиком так называемой наступательной войны, атаковать надлежало «на всю глубину вражеских линий обороны», принцип, не свойственный практике русской армии и трудно применимый в реальности. Киев у поляков отбили, на этом удачи кончились. Планировали взять Варшаву не позднее августа – но за август 5-я армия Сикорского разбила 4-ю армию Тухачевского, и Тухачевский

приказал отступать. Кавалерийский корпус Гая пропал начисто, сгинул в польских лагерях; Григорий Дешков угодил в концентрационный лагерь Тухоль. Поезда, забитые полуголыми людьми, тащились плоскими польскими полями, развозили остатки армии Тухачевского по лагерям — от Брест-Литовска до Стшалково. На станциях к вагонам подходили прилично одетые гражданские паны и тыкали в пленных красноармейцев зонтиками и стеками. В вагоне с пленными Григорий был прижат вплотную к кавалеристу Валуюеву и комиссару Гиндину. Ни тот ни другой не были профессиональными военными —

Валуев был из тамбовских крестьян, а еврей Гиндин – учителем. Говорить им друг с другом прежде не приходилось, а тут разговорились. Валуев проклинал комиссаров, втянувших его, крестьянина, в смертельный поход, Гиндин рассказывал о Троцком, а Григорий их мирил. Они мочились друг другу на ноги, так и ехали, прижавшись телом к телу. Потом их привезли на станцию, вагон обступили польские легионеры.

– Это ведь мы по родной России едем, – сказал Валуев. – Нашенская земля, российская. На хрена надо было панов освобождать год назад? Вот откуда хлеб надо было везти в

Питер! А не из Моршанска... Грамотеи, такие хлебные места прозяпили! А от них мы с тобой спасибо дождались. Вот она, благодарность панская.

— Подожди, Валуев, потерпи. Теперь не будет границ, — ответил Гиндин, — скоро везде будет одна большая Республика Советов. И наций не будет тоже.

— Тем более, на хрена же мы Россию делили, на кой ляд этим скотам волю давали?

— Лев Давидович Троцкий призывает нас быть беспощадными в бою с классовыми врагами, но не с народом! Нельзя винить народ, — ответил гордый Гиндин. — Я,

например, горжусь, что польский батрак свободен!

– Нашел чем гордиться, – сказал Валуев. – А Троцкий твой... – Валуев плюнул, и плевок попал Гиндину на грудь; тесно стояли.

Их привезли в лагерь Тухоль, где пленных красноармейцев держали в жестяных ангарах, покрывавшихся льдом в холода. Люди стояли по щиколотку в тухлой воде, потому что крыши были дырявыми, в холодные дни вода смерзалась в желтую корку, а в теплую погоду – таяла, тогда в бараке стояла вонь. Еды не давали никакой, пленные ели сено и траву, в день умирали сначала по пять человек, потом больше. Через месяц

начался тиф, смертей стало гуще – за полгода умерло около трех тысяч. Рассказывали, что в лагере Стшалково еще хуже. В живых от революционной конницы 4-й армии осталось чуть больше половины, в те годы мертвых никто не считал – а когда посчитали потом, вышло, что тридцать тысяч красноармейцев сгинули в польских лагерях за два года. А некоторые говорили: семьдесят тысяч. Валуев сказал Григорию Дешкову, что ведет счет – каким образом, Дешков не понял, – но вскоре Валуев сбился со счета и подытожил: много народу померло. Русских пленных даже не убивали, просто заморили.

В польском лагере убивали только в первые дни, сначала расстреляли двести пятьдесят человек, выборочно, а человек сорок зарубили. Ходил между пленными полный польский офицер под руку с французским пастором, заглядывали в лица, искали комиссаров и евреев.

— А ты жид? — придиричиво спрашивал польский хорунжий и рукоятью нагайки приподнимал за подбородок голову заключенного, чтобы рассмотреть его профиль. — Думаю я, что ты жид.

— Русский я, крестьянин, — сказал Валуев, и товарищ Гиндин сказал ему:

— стыдно тебе, Валуев, ты

красный кавалерист.

И польские офицеры смеялись над ними. Тем, кто укажет на жидов, обещали дать консервы, но никто никого не выдал — однако в 5-й польской армии находились хорошие физиономисты.

Комиссаров расстреляли сразу, потом пустили в рубку евреев, рослый легионер стоял подле ямы и рубил евреев сплеча, кому разрубал голову, кого разваливал до пояса, кому отсекал руку: и мертвые, и раненые падали в одну яму. Гиндина поставили у ямы, и Валуев отвел глаза, чтобы не видеть лица комиссара Гиндина.

— Ну, скажи мне что-нибудь, жид, — сказал легионер, раскручивая

руку для хорошего удара. — Ты пришел сюда захватить мою родину, да, жид?

— Я скажу тебе, что ты контрреволюционный элемент, — сказал Гиндин, морщась и блея от страха. — Я скажу, что тебе будет очень стыдно перед польскими рабочими и крестьянами!

Легионер отмахнул Гиндину руку, кровь ударила в воздух широкой красной полосой, тело Гиндина задергалось и упало вниз, в яму. Валуеву показалось, что он слышит, как падает тело Гиндина, но слышать ничего он не мог — загремели барабаны. Пленные смотрели, как убивают евреев и комиссаров, и

молчали. Потом их увели в барак.

Так, в бараке, с водой на полу, отец прожил пять месяцев – и бежал. Валуев, который бежал вместе с ним, отстал, отец дошел один. Он прошел полями Украину и вышел к красным частям, хромя на обмороженную ногу, и его представили к награде, которую он, впрочем, в тот год не получил. Отмороженную ногу хотели ампутировать, но отец ногу разработал, спас от врачей, опять сел в седло.

В тридцатые годы он уже был преподавателем в Военной академии имени Фрунзе, но прежде чем оказаться в академии, успел повоевать на Перекопе, а потом

командовал штурмовым отрядом в Кронштадте в двадцать первом. Кронштадтское восстание поразило бы его, если бы оставалось время испытывать такие сильные чувства; воевали всегда, с одного поля боя его посылали на другое, горела вся страна, и когда засыпал после тяжелого дня, он не видел снов. Кавалерия вошла в Кронштадт по телам революционных матросов — но обдумать это времени не было. По городу висели транспаранты «Долой самодержавие коммунистов» — и моряки-краснофлотцы встречали Красную Армию Тухачевского шрапнелью. Первый штурм был отбит, тогда Троцкий с Тухачевским

бросили на кронштадтский лед новые полки. Красноармейцы Минского и Невельского полков стрелять отказывались, братались с матросами, бросали винтовки. Сорок красноармейцев из Минского и тридцать из Невельского расстреляли в воспитательных целях — судили здесь же, на льду. Шли опять в атаку, натыкались на шрапнель. «Матросня обороняется», — доложил командарм Тухачевский, получил приказ взять город, вперед пустил славную кавалерию — и пошли на рысях по льду Финского залива, и красные командиры врубались в толпу рабочих и матросов, искромсали колыбель революции, изрубили в

лапшу ее повитух. В следующие дни шли расстрелы – и Григорий Дешков, который квартировал в центре, ночами слышал, как возле гавани стреляют залпами, а потом одиночными выстрелами добивают раненых. Некоторых хоронили в общих могилах, но большинство трупов везли на подводах в старую гавань и вываливали за мол, в море. Жены расстрелянных рабочих говорили, что если бы из Кронштадта не отозвали Федора Раскольников, смертоубийства бы не было, он бы не допустил.

Председатель Кронштадтского совета, большевистский сановник, остроумный и вальяжный Федор

Раскольников выехал из города до
штурма – именно он и довел рабочих
до исступления своим роскошным
образом жизни, барским хамством и
поэтическим вольнодумством.
Поэтический интеллигентный салон
Раскольниковых был местом, куда
хаживали и будущие идеологи
восстания, и те, кто их расстреливал.
Раскольников предвосхищал позднее
советское барство, так вели себя
ополоумевшие от вседозволенности
члены Политбюро, да и то не все.
Апартаменты Раскольникова
лопались от конфискованных картин
и статуй, он ездил по городу в
дорогой машине «Майбах» с
открытым верхом, а его супруга, дама

прогрессивной ориентации,
возлюбленная расстрелянного по
«Таганцевскому делу» поэта
Гумилева, красавица Лариса
Рейснер, щеголяла в шитых золотом
халатах. Раскольниковы устраивали
приемы — большевистские
журфиксы, на которых Лариса
Рейснер музицировала, а Федор
Раскольников пил коньяк и
дебатировал философские вопросы.
Раскольников уехал, оставив город на
растерзание правительственным
войскам, а несколько лет спустя
эмигрировал и потряс
общественность открытым письмом
Сталину, гневным документом, в
котором едва ли не впервые назвал

Отца народов – тираном и убийцей. Раскольников был казнокрад и мерзавец – но, как это заведено со времен Курбского и вплоть до Березовского, именно бандиты и жулики играют в стране роль обличителей режима, и как раз у сановных воров получается убедительно перечислить грехи власти. Раскольников благополучно удрал, а штурмовые колонны вошли в город революционных матросов – и третью штурмовую колонну вел Григорий Дешков. Тысячу матросов положили сразу – и заняли город; около десяти тысяч бежали в Финляндию – плыли на чем придется, вываливали в стылую воду

ялики и набивались по шестеро в узкие моторки. Беглецов не преследовали: и без них хватало пленных. Дешков ехал на каурой кобыле по Якорной площади и смотрел, как разоружают матросов. На мартовскую бурую грязь стелили простыни и валили на простыни беспорядочной кучей винтовки и кортики офицеров. Площадь была черной от бушлатов, небо – черным от туч и дыма, горели верфи, горели форты крепости. «Теперь, большевик, тебе расстрелять нас придется! – яростно крикнул матрос. – А Степана Петриченко тебе все равно не достать, он в Финляндию ушел!» Кто такой

Петриченко, всадник не знал, но ответил: «Я твоего Петриченко и в Финляндии найду, не волнуйся, братишка, он от меня не спрячется». Матрос издевательски засмеялся, а Дешков повторил: «Я тебе обещаю, братишка, что твоего Петриченко найду и пристрелю». — «Меня сначала! Меня!» — кричал матрос. Было решено расстреливать только зачинщиков, потом уточнили: зачинщиков и активистов. Таких набралось больше двух тысяч человек.

Командарм Тухачевский назвал штурм Кронштадтской крепости «гастролью» — и председатель РВС Троцкий, человек артистический,

подхватил метафору. «Он же у нас скрипач, — написал Троцкий Каменеву, — и в Кронштадте сыграл первую скрипку». Тухачевский действительно любил музицировать и недурно играл на скрипке — для людей военных то был необычный талант, разве что германский Гейдрих также отличался виртуозной скрипичной игрой. После падения Кронштадта Тухачевский вручил Григорию Дешкову наградной кольт с надписью «За личную храбрость, проявленную при победоносном шествии Красной Армии, за доблесть в боях за Отечество». Почетное огнестрельное оружие являлось как бы высшей наградой — и вручали его

командирам армий и генералам. Исключение сделали для командиров штурмовых колонн, участвовавших в подавлении Кронштадтского восстания. Правозащитник нашего века высмеял бы двусмысленную надпись — за какое именно Отечество шли бои? — однако будем последовательны: и Суворову дали фельдмаршала вовсе не за Измаил, а за подавление Варшавского восстания.

Немедленно вслед за усмирением Кронштадта командарм Тухачевский был послан на подавление Тамбовского восстания. Ленин писал: «Надо принять архиэнергичные меры! Срочно!» —

так что времени на отдых ни у командарма, ни у Григория Дешкова не было. X съезд ВКП(б) был посвящен проблемам, вызванным военным коммунизмом, Бухарин и Луначарский ездили в Тамбов, они там на губернском съезде дебатировали вопросы продразверстки, а Ленин тем временем принимал в Кремле тамбовскую делегацию: «наберитесь терпения» и «берите всю полноту власти и разделите ее с рабочими!». Нужные слова были сказаны, и Ленин даже предложил выборным мужичкам писать ему в Кремль: он-де займется, если уж совсем припрет, — но голода это не

остановило. Мужиков не вдохновило предложение разделить власть с рабочими: у деревни уже отнимали хлеб для нужд этих самых рабочих — зачем же в дополнение к этому с рабочими еще и правами делиться? Впрочем (и это оскорбило деревню более всего), то, что изымалось у деревни, не всегда доходило до города — с хлебом в 20-е годы обстояло точно так же, как и девяносто лет спустя с бюджетными деньгами, которые выделялись на строительство дорог и больниц; хлеба и денег брали много — а по адресу доходило мало. Предположение, будто Ленин и Луначарский слопали по дороге весь

урожай, гуляло по Тамбовщине – но вряд ли вдвоем народные комиссары могли умять такое количество зерна. Воровство, диверсия или административная ошибка – решение вопроса, как, впрочем, и всегда, оставили за кавалерией. Теперь Троцкий кричал командарму: «Срочно! Слышите, что Ильич говорит?»

Утром 6 мая 1921 года командарм прибыл в Тамбов, он был назначен «единоличным командующим войсками». Вместе с Тухачевским прибыли Какурин, Котовский, Уборевич, Дешков – гордость Красной Армии, а также Ягода. Тухачевский вошел в здание

штаба, Котовский с Уборевичем шли за ним, Дешков с Какуриным — второй парой. Остановились в дверях, даже садиться не стали. Тухачевский выслушал доклад Корнева, бывшего командующего тамбовскими войсками, заступившего на это место после неудач Редзько, отозванного полгода назад. Восстание расползлось по районам, захватило территорию, равную площади небольшого государства — Албании например; правительственные войска были биты. Со времен Пугачева до такого не доходило, Тухачевский чувствовал себя Суворовым. Командарм послушал про «союз трудового

крестьянства», про бой у деревни Криуша, про суды над коммунистами. Корнев говорил путано и вязко, повторялся, не по-военному говорил, а Тухачевский не перебивал доклад, но и не вникал особенно. Смотрел на Корнева круглыми глазами, спросил зачем-то про пулеметы, хотя было понятно, что Корнев не знает ничего. Какое количество пулеметов у противника? А полевых орудий? Не знаете? Затем продиктовал телеграмму заместителю председателя Реввоенсовета Склянскому. Тухачевский диктовал телеграмму, отчетливо выговаривая слова, так, чтобы Корнев и прочие офицеры

расслышали, что их работа не имеет
никакого смысла и в
профессиональном отношении они —
нули. Что с ними сделают, офицеры
не знали, но имели основание
предположить худшее. Через неделю,
вечером 12 мая, командарм издал
свой знаменитый приказ № 130, в
котором предписывал расстреливать
заложников и саботажников,
высылать семьи укрывателей в
отдаленные районы РСФСР, сжигать
так называемые бандитские дома.
Тамбовские деревни вспыхнули, и
Антонов вышел с двумя тысячами
сабель к деревне Елань. На краю
леса полоскалось по ветру красное
знамя с неразборчивыми буквами —

Тухачевский объяснил Дешкову, что на полотнище написано: «Вся власть крестьянам».

— У них еще бывает эсерский лозунг «В борьбе обрешь ты право свое», — сказал командарм и отдал бинокль: просто протянул руку в сторону, а штабные кинулись подхватить.

У повстанцев были свои знамена и полки, были даже знаки различия на рукавах и лацканах — полная имитация регулярной армии. Но это была крестьянская армия.

— Долго готовились, — сказал Тухачевский. — Хотят воли, без сомнения. Как думаешь, может, отпустить? Будет Тамбовская хлебная

республика. Торговать станут с Москвой, лес на трактора менять. Беда с крестьянскими войнами — идти мужикам некуда, а в лесу я их достану.

Командарм говорил так, словно в его власти было отпустить или не отпустить мужиков — однако был приказ Кремля, и Троцкий передал его Склянскому, Антонову-Овсеенко и Тухачевскому. Впрочем, и без всякого приказа командарм выполнил бы свой долг.

— Чистый Томас Мюнцер, — сказал Тухачевский Дешкову, — германские крестьянские войны. Будь проклят этот Ренессанс, все зло от попов и крестьян.

Командарм любил историю, много читал, но в коллизиях Ренессанса и северного Возрождения путался. Он был уверен, что дефекты в регулировании цивилизации пошли с Возрождения, крестьянские бунты считал производным от вольности городов. Религию командарм тоже обвинял.

— Все это от Лютера идет, все зло от попов, если вдуматься.

— Лютер, кстати, ненавидел Мюнцера, — сказал командарму Григорий Дешков. Он тоже много и беспорядочно читал, военные тех лет пополняли образование как могли и где придется.

— Спать пора, — сказал

Тухачевский, — утром мы этих мюнцеров потрогаем.

Григорий Дешков успел до боя прочесть листовку, положенную кем-то на стол в горнице, — он даже догадывался, кем именно: хозяйкин сын был мал, чтобы воевать, но смотрел на красноармейцев злым глазом.

— Это откуда? — спросил мальчика Дешков, разглаживая на колене листок со словами: «Братья красноармейцы! С кем воюете вы! Опомнитесь! Это не банда, а восстание крестьян! Вместе сбросим эту муку и устроим по-хорошему жизнь свою! Коммунисты-жиды нас стравили!» — Это ты принес? —

спросил Григорий Дешков. Парнишка молчал. — Больше так не делай, — сказал ему Дешков, — тебя расстреляют. — Он порвал листовку и лег на лавку, положив кулак под голову и свесив с лавки больную ногу. — У вас тут, погляжу, и типография есть, и армия есть... полки, командиры... Иди спрячься, завтра плохой день.

Спать оставалось три часа; наутро командарм Тухачевский врубился во 2-ю партизанскую армию Тамбовского края и погнал в лес 4-й и 14-й полки, а полк, поименованный Пахотно-Угловским, истребил начисто. Конники Тухачевского рассекли антоновский

фронт, а с фланга по крестьянам
стреляли пушки бронепоезда:
командарм пришел подготовленным.

Два месяца Григорий Дешков
провел в тамбовских лесах, гонясь
за мужиками. Восстание
расползлось, как лесной пожар — и
образ лесного пожара был тем
нагляднее, что Васька Карась,
приближенный к Антонову лихой
человек, придумал распарывать
большевикам животы и набивать
соломой — а солому поджигать. И
безумные горящие факелы метались
по лесу, и горел подлесок, и
страшной правдой обернулся
большевистский лозунг «Из искры
возгорится пламя». Горели

крестьянские избы: согласно приказу командарма деревни жгли. За приказом № 130 командарм издал приказ № 171, еще того хлеще: человека, не назвавшего свое имя, расстреливать на месте без суда; семьи, укрывающие имущество бандитов, расстреливать на месте без суда; дома сжигать и разбирать. Крестьяне Тамбовской губернии не располагали специальным имуществом, каковое можно было бы хранить в потайном месте, а все их достояние сводилось к одежде и хозяйственной утвари — и приказ № 171 толковали произвольно. Расстрелов было много, даже в Москве испугались, взволнованный

Рыков написал Троцкому, что это уже слишком, не перегнуть бы палку. Но деревни вытапывали и дома сжигали, мужики уходили в леса, где артиллерия пройти не могла, а коннице было трудно проехать. Однако входили и в леса. В лесу подле села Туголуково (сожженного дотла) Дешков столкнулся с бывшим кавалеристом Валуевым, который накинул ему ремень на шею и стал душить, но Дешков изловчился и пырнул его саблей под ребро.

— Паны меня не зарезали, так свой русак зарезал, — захрипел Валуев, ползая в ногах у бывшего командира. — На своей земле умираю, на тамбовской.

Он хрипел и ел землю, а земля вместе с кровью толчками выходила обратно.

Бои с крестьянами затянулись: поди вымани мужичков из лесу — тогда командарм приказал стрелять химическими снарядами, пустить в глубь лесов отравляющие газы. Это был не такой действенный газ, как «Циклон Б», который чуть позже внедрили немцы для удушения евреев, и не такой могучий, как иприт, который разрешил применять Черчилль в Первую мировую войну, но и этого газа хватило. Впрочем, как говаривал упомянутый Черчилль, «я твердо выступаю за применение отравляющих веществ против

нецивилизованных племен» — а кто бы назвал тамбовских крестьян цивилизованными? В районе озера Кипец красный командарм Тухачевский воспользовался той же логикой. В лесах мерли от газов, выходили на поляны, бунтовщиков вязали, кого расстреливали, кого отправляли в Сибирь. Провели перепись, за отказ назваться — расстрел на месте. Семью Валугевых — трех уцелевших братьев, мать, невесток, детей — затолкали в вагон, Григорий Дешков, по случайному совпадению, командовал отправкой эшелона, который увозил их в лагерь.

— Валугевы?

— Да, — крестьянин поднял на

Григория Дешкова блеклые глаза, а женщины потянули к себе детей — прятать, если будут стрелять. — Деточек не трогайте.

— Проходи давай. Дай им шинель, детей укрыть, — велел Дешков ординарцу. Шинель, впрочем, не дали — не было лишней шинели.

Тем история с Тамбовским восстанием и закончилась. Сам Антонов скрылся, но ненадолго — его обнаружили в одной из деревень и убили в перестрелке.

Всего этого Сергей Дешков из рассказов отца не знал, отец говорил только то, что могло помочь воспитанию, боевой биографией не

делился. И как прошел Украину на обмороженной ноге, не рассказывал, и как душил в Тухольском лагере пана Сухомлинского, и про тамбовские леса он не говорил. Жизнь их семьи в тридцатые годы наладилась, отец преподавал в Военной академии, им дали просторную квартиру возле Тимирязевского парка.

Квартиру посещали военные, те, кто считался цветом Красной Армии. Однажды Дешков слушал отцовский разговор с замнаркома обороны, Яков Гамарник был зван к ним на обед в тридцать шестом году. Сергей Дешков приехал как раз на побывку из Хабаровска — ему уже было

двадцать шесть, он был в чине капитана, служил в сформированном Тухачевским и Гамарником Хабаровском батальоне, механизированном образцовом подразделении. Готовились к войне с Японией, осваивали новую технику – Дешков вошел в столовую, отпрапортовал Гамарнику, приготовился к докладу, а генерал махнул рукой – мол, садись к столу, капитан, мы тут с твоим отцом выпиваем, махни и ты. Красные командиры в те годы пили мало, отец презрительно говорил, что белые генералы пропили Россию, а Ледяной поход потому назывался Ледяным, что водка у Корнилова

постоянно была на льду. Но в праздники в доме Дешковых две рюмки выпивали – не больше, разумеется. Сергей Дешков сел с краю, возле матери, молчал, слушал старших.

Говорили о польском походе. В который раз поминали, что Тухачевский хотел брать Варшаву с марша, две недели кряду штурмовал город и отступал потом аж до Минска.

– Вины персональной здесь нет, – сказал Гамарник, – все отличились...

– Не простит он ему Варшаву никогда, – сказал отец.

Военные переглянулись:

имелось в виду, что за варшавское поражение наказание понес Сталин — был освобожден Троцким от должности члена Реввоенсовета фронта за саботаж.

— Пусть на Пилсудского сердится.

Несчастливая (в глазах некоторых) и чванливая (в глазах многих) Польша то появлялась на карте, то исчезала, словно и не было вовсе такой страны. Сегодня она опять возникла, и от нее ждали беды. Польша заявляла претензии всем: захватывала Вильно, требовала Верхнюю Силезию, шла на Украину, была готова взять часть Чехословакии. Отец рассказывал

генералу, как они бежали из Тухоля:

— Задушили поручика Сухомлинского — задушили и ушли. Жаль, Владислава Сикорского на пути не встретили, — добавил отец, — вот кто зверь. Сухомлинский как раз неплохой был пан. Однажды мне хлеб дал. Почти без плесени.

— Пан Сикорский еще себя покажет, — сказал тогда генерал Гамарник. — Время пройдет, мы еще с этим паном хлебнем. — Не дожидаясь этого времени, он хлебнул без пана, опрокинул в себя рюмку, похвалил холодец. — Сама делала, Татьяна?

— Нет, Таня так не может, это Глебовна исполняла, — засмеялся отец.

Глебовна была прислуга, прожившая с ними пятнадцать лет, отец считал ее членом семьи.

За столом в тот вечер поговорили и о «Стальном пакте» — об «Антикоминтерновском союзе» Германии, Италии и Японии.

— Проблема с Польши началась, — сказал отец, — с Вислы пошло криво. Если бы взяли Варшаву, мир уже был бы наш. Сердце Европы.

— Что теперь говорить! — с сердцем, с досадой сказал Гамарник и рюмку махнул, заглушая сердечную муку — свою и польскую. Если и впрямь Польша являлась сердцем Европы, сердце это переживало бесспорный инфаркт.

— Верно, говорить не о чем. Не пошла революция далеко. А может быть, — тут отец погладил больное колено, — а может быть, и хорошо, что дальше не пошла. С польскими крестьянами мы бы не договорились. Революция пролетарская, крестьянину в ней делать нечего.

— Вот оно что, — сказал Гамарник ехидно, в бороду черную ухмыльнулся. — Значит, не нашли хорошей работы крестьянину?

— Выходит так.

— Скоро война, — сказал Гамарник, — дело всем найдется. И крестьянину на войне будет чем заняться.

— Будет война? — сказал отец. —

Разве война когда-нибудь кончалась?
Мы с тобой всегда: с войны на войну.
Ты дома часто обедал?

— Я говорю как генерал и член
Совета обороны, мы сегодня
обозначили линии фронтов, можно
видеть карту, — сказал Гамарник. —
Наконец можно! Это и есть война,
когда я могу составить план
кампании и просчитать стратегию
удара. Я могу тебе приказать: бери
эскадрон, Дешков, и скачи на правый
фланг — потому что этот правый
фланг есть.

— Правый фланг и раньше был.

— Был фланг — на депеше
штабной нарисованный. А поедешь
ты на этот правый фланг, так до него

двести верст степи, которую не посчитали, потому что как степь посчитать? Прوماхнуться на сто верст легко — она же плоская, сволочь, примет в ней нету. И тяни обозы, и гони фуры. Это уже не война, а вопрос, извини, снабжения и выживания в труднодоступной местности.

— Война и есть вопрос выживания.

— Что ж ты меня на слове ловишь, ты же не комиссар! Армия воюет с армией, и генералу есть работа. Сам ведь понимаешь, что я имею в виду! Конечно, когда в тебя из леса шмаляют мужички, это тоже война, но я так воевать не умею. И за

двадцать лет не научился. По триста верст непонятной земли – от фланга до фланга. Лес темный – а кто в нем, не поймешь никогда. И чья это земля – ни в одном штабе тебе не скажут.

– Однако так воевали двадцать лет подряд, – сказал отец, – привыкли.

– Концерты давать привыкли! Тухачевский от адмирала Колчака, из Сибири – на гастроли летел на Кавказ, добивать Деникина. Выступит, аплодисменты послушает, а там еще Врангель в Севастополе ждет, а потом надо срочно на Западный фронт, к Пилсудскому, а потом в Кронштадте гастроль, в Тамбове гастроль. Миша везде

сыграет – он же гастролер! Только Миша Тухачевский не знает, что происходит между Уралом и Кавказом. Он, кроме концертных залов, ничего не видел! И спросит – ему не доложат! Разведку пошлет – а разведка ни черта не поймет. Сунешься в лес, а тебя из-за осины грохнут. В избу зайдешь воды напиться, ножом пырнут. Тылы, вашу мать! Сегодня, по крайней мере, ясно, кто свои, кто чужие. Так воевать я согласен.

– Так, конечно, проще, – сказал отец. – У Гудериана небось с тылами порядок.

– У Гудериана с тылами порядок был всегда. В Европе воевать что на

рыбалку ходить.

— Тылы крепкие, — сказал отец, — потому что в Европе крестьянин со своими хозяевами заодно. Во всяком случае, в отношении к нам у них разногласий не было. Крестьяне польские нас больше ненавидели, чем белополяки.

— Хочешь знать, что мы делали последние двадцать лет? — сказал Гамарник. — Коллективизация, индустриализация — непонятные многим слова. А надо сказать проще. Мы выстраивали работу тыла. Вот простой ответ на все вопросы. Когда мне говорят: почему партия приказала то, почему партия приказала это — я всегда отвечаю:

потому что тылы нужны! Когда мне говорят: надо механизировать армию (ну ты знаешь, кто у нас спец по механизации), когда мне говорят: поднять образование офицерского состава! — я всегда отвечаю: наладьте работу тыла, орлы. Тыл должен быть однородной структурой! — Это было любимое выражение Гамарника, словами «однородная структура» начальник Политуправления РККА обозначал понятную ему ситуацию. — Однородная структура нужна! Работают, дружат, помогают фронту. Точка. Как я поеду воевать, если мне в обоз завтра картошку не дошлют? И не подразверсткой работу тыла надо решать.

– Так мы же крестьянина в окоп гнали – а его, голожопого, на трактор надо сажать, – сказал отец.

– В окоп не мы его гнали, – поправил Гамарник, – в окоп его в четырнадцатом году поместили, с тех пор он там и сидит. Только окоп этот уже лопухом порос.

– А все потому, – сказал отец генералу Гамарнику, – что мы с белыми воевали, а никогда не признавали третьей силы и даже не считали, что третья сила есть.

– Атаманы есть, – согласился Гамарник. – Атаманы бандитские.

– Атаманы тоже были. Но разве в атаманах дело? В Симбирской губернии, на родине вождя, мужики

шальят — а мужик Минеев, он что, атаман? Антонов поднимает тамбовских, он — атаман? Чистополь вспомни, Уфу. Армия Черного орла, помнишь? — Отец засмеялся, пощелкал пальцами. — Ты, поди, и не участвовал тогда. И я не доехал; без Тухачевского обошлись, своими силами. А Серов в Поволжье? Это не Петлюра, это тебе не атаманы.

— Кулацкие хозяйства. Беднота на нашей стороне.

— Какая беднота, Яша? Рабочая или крестьянская? Мы с тобой бедноту видели редко. Ты в деревне жил? Землю пахал?

— Говоришь как эсер, — засмеялся Гамарник. В устах

Гамарника обвинение звучало грозно: именно Ян Гамарник связывал Наркомат обороны с органами безопасности. — Ты как эсер не говори.

— Говорю как эсер, который честно служит РСФСР, — сказал отец. — И что толку клеить ярлыки? Мы мужичков записали в бандитов зеленых, а зря записали. Красные большевики — это я понимаю, белые недобитки — тоже понятно, а крестьяне — они совсем не зеленые. Крестьяне — они от века крестьяне. При Екатерине такие же были, так же за топоры хватались. Разве Пугачев зеленый? Какой он тебе зеленый?

– СТК, Союз трудового крестьянства – чем от пугачевщины отличается? Один черт, с топором. Зеленые они, конечно, – сказал Гамарник.

– Мужик будет такого цвета, в какой его покрасят, невелика проблема. И не в белых было дело. Белым, если хочешь знать, я бы выгородил коридор до Севастополя и дал месяц сроку – чтобы с барахлом выметались. А вот мужика ты в Севастополь не пошлешь. Его на корабль Врангель не посадит.

– А ведь ты повторяешь за Зиновьевым и оппозицией, – сказал тогда Гамарник. – И проблема эта партией уже решена.

– При чем тут Зиновьев?

– Отрицаешь основной закон пролетарской диктатуры – смычку крестьянства с пролетариатом. При гегемонии пролетариата! – и Гамарник засмеялся.

– Ну, эти придумают! Смычка! – и отец засмеялся тоже.

Военные презирали политику. В семье Дешковых политиков называли словом «эти» и хмыкали, когда пересказывали, что «эти» там у себя решили. Отец Дешкова любил историю и даже стал собирать книги по истории, в квартире появились книжные шкафы – Цезарь, Плиний, Тацит, – но вот политику он не уважал совсем. Сыну однажды

объяснил разницу между историей и политикой — Сергею было почти двадцать лет, юноша собирался в армию, и предполагалось, что поедет на восток; отец взял его на прогулку и на прогулке объяснил, как устроен мир. Они шли по мокрому осеннему парку, и отец говорил так:

— История, как и война, похожа на уравнение. Надо написать ответ. Ты можешь решить уравнение, только исходя из данных, которые в уравнении приведены. Понимаешь?

— Не очень.

— Надо победить. Есть три полка пехоты, два эскадрона кавалерии, три гаубицы — и еще есть овраг, болото, поле. И город — с другой стороны

поля. Все, больше ничего нету. Имеется противник, численность противника является величиной x . Действия противника — еще один x . Задача: перейти болото, пересечь поле, взять город. Или, например, имеется история России: обычаи, вера, народ, земля, цари. Столько-то русских, столько башкир, столько татар, такая вот почва, такие выходы к морям, такие реки, такой лес, известно, какие горы — всего много, но больше ничего нет. Средиземного моря нет, Индии нет, тропиков нет, урожаи низкие, заводов мало, долгая зима. Вера — как на Западе, но не совсем. Страна огромная, легко развалится на части.

Долго собирали, потерять можно быстро. Три четверти страны — в деревнях. Порядка нет. Общих планов нет. Надо строить единую процветающую страну. Такие условия задачи. Понимаешь?

— Можно исходить только из того, что есть?

— Как в математике. Перед тобой уравнение — дроби, числитель-знаменатель, числа, плюсы-минусы, корни, иксы имеются, как без них? И надо решить. Ты не можешь взять число из другого уравнения. И не можешь отменить то число, которое уже имеется. От боя нельзя отказаться, местность нельзя поменять. Поле есть — значит,

требуется учесть поле, открытое пространство, там подстрелят, пока дойдешь до города. Ты не можешь из кармана вынуть самолеты. У тебя есть только пехота и кавалерия. А перед полем болото, кони не пройдут. Ты понимаешь задачу?

– Понимаю. А что бы сделал Тухачевский?

Отец засмеялся, осмотрел парк, словно это было будущее поле боя. На соседней с ними дорожке жгли прелые листья. Листьев было много, высокие бурые кучи – от каждой поднималась тонкая струйка сырого сладкого дыма, – и дым, устремившись к небу, на полпути сворачивал, стелился параллельно

земле, таял между стволами. Прежде парк был усадьбой графов Разумовских, посадки были старые – толстые липы и высокие дубы. Усадьба сохранилась, некоторые здания стояли заколоченные, в остальных разместились Сельскохозяйственная академия.

– Здесь Наполеон останавливался. Вот в том флигеле, если правду говорят, – некстати сказал отец. – Во-о-он его окошко, смотри, с занавеской! – и засмеялся, когда Сергей стал вглядываться. – До Москвы Бонапарт дошел. Ставка была в этом вот месте. Здесь он жил и думал, что выиграл войну. Просто он учел не все части уравнения.

Решил половину, а другую половину решать не стал.

— Так что бы сделал Тухачевский? Вот поле, надо поле перейти. Самолетов нет. Что дальше?

— Тухачевский потребовал бы самолеты. Написал бы четкое обоснование — почему требуется прикрытие с воздуха. Ему бы отказали. Самолетов нет, ваша задача решить проблему без самолетов. Ему бы велели не валять дурака, вспомнить Польшу и действовать осмотрительно, но город взять к завтрашнему утру.

— И что бы он сделал?

— Как — что? Взял бы город, конечно.

– Как?

– Он командарм, значит, обязан решить задачу. А как – он в этот момент еще не знает. Вот, например, русская история. В России степи – их нельзя отменить, степи есть. Африканцы не могут отменить свои пустыни – так уж сложилось. В степи урожай не соберешь. И надо в степях рыть каналы, давать воду. А на войне надо брать города, пересекать болота, тянуть обоз. Понимаешь?

– Да, – сказал Сергей Дешков.

– Это наша история, и история у нас – одна. Нет другой истории.

– Ты сказал, на войне противник – это икс. А в истории какой икс?

– Находят разные берестяные

грамоты, уточняют летописи. Но вообще-то неизвестная величина в истории одна — это ты сам. Все остальное известно, надо только не лениться, прочесть и подумать. И знаешь, чем историк отличается от политика? Политика — это когда из рукава достают самолеты. Ах, перед нами поле? Самолеты сюда подайте! Нет самолетов — тогда будем считать, что и поля нет. Степи в России имеются? Тайга? Давайте считать, что это не определяющий фактор. Будем ориентироваться на Среднерусскую возвышенность и плодородную Кубань, — и отец засмеялся; он смеялся гулко и отрывисто, как кашлял.

– Ты, когда женишься, – сказал он вдруг, – ты сразу детей рожай. И жене скажи, чтобы не сомневалась, – прокормим. Не тяни. Сразу пусть рождает. Больше рожай, как у крестьян, пятеро чтобы.

– Я пока жениться не собираюсь. В Хабаровске не до жены.

– Не важно. В Хабаровске, в Москве, на Луне. Не важно. Детей делай, внуков хочу. Больше детей. Чтобы все орали. Когда был молодой, не понимал. Только сейчас дошло. Ты-то понимаешь хотя бы? – Они шли по парку и смеялись. Хорошие были дни.

И в тот вечер, когда обедали с

Гамарником, отец тоже смеялся.

— Смычка города и деревни! И где будет проходить встреча, интересно? На колхозном рынке?

Гамарник ел холодец, широко открывая рот: сквозь бороду генерала можно было видеть куски непрожеванной еды у него во рту.

— Ты здесь сидел, — напомнил ему отец, — когда Радек про смычку говорил. Помнишь?

— Нет, — сказал Гамарник, — не помню.

— Он смешно сказал. Про построение социализма в одной стране, в одном уезде или на одной улице... Он Щедрина цитировал... как либерал строит либерализм в

единственном уезде...

— Я профессиональный военный, — сказал генерал. — В картах разбираюсь. Фронтом командовать могу. И ты военный. Я про тебя все знаю и всякому скажу, что ты честно воевал. А политикой не занимаюсь и тебе не советую.

— Я политику тоже не уважаю, — сказал отец. — Но как без нее? Мне вот что пришло в голову, Яша. Мы строим бесклассовое общество, так?

— Однородную структуру, — сказал Гамарник и чавкнул холодцом.

— Правильно. Поэтому кулаков задавили. И у крестьянства с пролетариатом смычка. Потому я тамбовцев рубил. С точки зрения

будущей войны полезно. Нет классов больше. А один класс все-таки остался. Просмотрели. Мы с тобой остались — профессиональные военные.

— Не понял.

— Что тут непонятного? Мы, если хочешь, вроде нэпманов.

— Ты что?

— Задумайся, Яша. В однородном обществе профессиональный военный не нужен — так же, как профессиональный заводчик.

— Неверно, — сказал Гамарник, — толкуешь проблему. Знаешь, зачем нэпман был нужен? У нэпмана на заводе образуется пролетарий, а у пролетария — образуется

пролетарское сознание. Я сам не сразу понял. Это была стратегия по выращиванию пролетарского сознания. — И выдав эту бессмысленную, как показалось тогда Дешкову, тираду, Гамарник задумался. Он ел и думал, шевелил губами, двигал бровями. — В Германии, — добавил генерал без видимой связи, — заводов всегда было много.

— Германию мы потеряли, — сказал отец с досадой, — потеряли германский пролетариат, а как начинали дружно.

— Зато их Гитлер сплотил, — сказал Гамарник. — Создал однородную структуру, называется

«дойче фолк». Встанут в строй, только команду дай.

— Как странно получилось, — сказал отец, он не спорил с Гамарником, которого считал человеком глупым. Вот Тухачевского чтил, Тухачевский был философом, некоторые его речения, мол, христианство и Возрождение испортили цивилизацию, отец любил повторять; а с Гамарником что спорить? — Вот как странно: идет война, народ воевать хочет, но военные на войне не нужны. Странно, да?

— А знаешь, Гриша, — сказал Гамарник неожиданно; на лице Гамарника было написано

удивление, словно и сам он не ожидал от себя такой важной мысли, — знаешь ли ты, что корни проблемы — в национальном вопросе? В народе. Остальное — производное. Я, пожалуй, только сейчас понял. Возьми девятнадцатый год, Восьмой съезд РКП(б), выступление Томского по нацвопросу. Проблема в чем? Ленин дал команду на самоопределение — и побежали нации, страна стала разваливаться. Томский тогда сказал, что самоопределение наций — это неизбежное зло. С трибуны сказал, громко. Мол, надо создавать однородную промышленную структуру, которая будет мешать

самоопределению частей. Свободу дадим, а возможностей не дадим. А ведь это противоречило указаниям Ильича.

— Ну и что? — спросил отец.

— А я не знаю, Гриша. И Томский не знал. Тогда, на Восьмом съезде, Ленин Томского спросил — из зала спросил: «Эти трудности вы намерены создать в первую очередь, товарищ Томский? А что будет во вторую очередь?» А Томский ему ответил: «Что делать во вторую очередь, это мы потом увидим». А Ленин сказал: «Вы мудрый человек, товарищ Томский». И засмеялся.

— Так до сих пор и смеемся, — сказал отец зло.

Дешков посидел за столом со старшими недолго – отец не поощрял панибратства со взрослыми. Тем более со старшими по званию.

– Покушал, Сергей? На кухню пойди, Глебовну проведай. Она скучать будет, когда уедешь. Мы здесь без тебя обойдемся.

Сергей Дешков встал из-за стола, сказал «спасибо» матери, надел фуражку, поправил ремень, откозырял Гамарнику.

– Ступай, Сережа, – сказал ему генерал Гамарник, он был мягче отца и Сергея любил, – вот, махни рюмашку на ход ноги, – и Гамарник налил ему рюмку водки.

Перед отъездом в армию Дешков

посидел с отцом на кухне. Глебовна плакала, ставила на стол вазочку с печеньем, а руки дрожали.

— Почему руки дрожат, сестренка? — Отец всегда называл Глебовну сестренкой, потому что она была с ними давно. — Успокойся быстро и чаю нам налей. Желательно не за шиворот.

Чай Глебовна всегда заваривала прямо в чашке, чай получался густой и горький. Выпили чай, отец сказал, что будет война с Японией.

— Все будет решаться на Дальнем Востоке, — сказал отец.

— Почему?

— Потому, что большая война уже три года как идет, — сказал

отец. – Все смотрят в сторону Германии. Где-то должна пролиться большая кровь. Люди как акулы, им надо почуять кровь. Но уже началось на Востоке. Народу там много, людей жалеть не станут. И мир почувствует кровь.

– Разве в Испании не пролилась кровь?

– Недостаточно. Мало крови. Там перетянули рану жгутом. Не дали большой крови пролиться.

– Не пойму, за что на Востоке воюют, – сказать это было очень важно для Дешкова. Он считал, что про фашизм Германии и империализм Англии он все понимает, а зачем идет война на

Востоке, он не понимал.

— Воюют люди не за что-то. Зачем корабли плывут в шторм? Ладно, ступай. И вот еще что.

Дешков ждал, что отец скажет.

— Никогда не бойся. Шанс выжить всегда есть.

— Даже в лагере? — Он, впрочем, знал, что отец выжил.

— Ты помнишь, мы говорили про то, что война — это математическое уравнение. Подумай, посчитай данные еще раз. Всегда найдется икс, который ты не заметил. Это и есть шанс.

— А если уравнение очень простое? — Сергей был уже капитаном, взрослым мужчиной,

знал больше, чем юноша в том осеннем парке. — Бывают простые уравнения: два плюс два, и решение только одно — четыре.

— Мы с тобой крепче, чем другие. Ты знаешь, что у кошек — семь жизней? У нас с тобой столько же. Мы живучие.

Отец хотел, чтобы Дешков ничего не боялся, и сказал ему так: «Даже если за тобой пришли — не все пропало. Всегда есть еще одна минута, выдержи, дождись ее». Когда говорил, он подумал о тех, кто не успел использовать свою последнюю минуту, — а он видел таких людей достаточно. Было много таких невезучих, за кем приходил он сам, —

в Кронштадте, Тамбове, в разных местах. Им он не давал шанса, и последней минуты у них тоже не было. И если требовалось пересечь поле, он всегда пересекал поле, даже если шел под огнем и оставлял половину людей по дороге. У его солдат шансы были невелики.

Тем не менее он сказал сыну: «Даже когда за тобой пришли, не все потеряно». Тогда уже стали употреблять выражение «за ним пришли» — сын понимал, что имеет в виду отец.

Дешков поцеловал мать и Глебовну, которая его перекрестила. Потом обнял отца, отец сказал ему: «Ступай», — и Дешков уехал.

За маршалом Тухачевским пришли в мае тридцать седьмого, и это означало, что их семье конец.

Про арест Тухачевского Сергей Дешков узнал не сразу. Известия в их часть приходили чаще с востока, чем с из столицы. Из столицы он получал только письма от Дарьи, девушки, с которой познакомился, когда приезжал на побывку. Дарья писала Дешкову стихи: раз в месяц стихотворение. Письма шли долго, приходили по три сразу – и Дешков читал сразу три стиха. А газеты из Москвы никто не присылал.

У Дешкова случались выезды в Китай. Квантунская армия стояла на границе, обсуждали Японо-

китайскую войну; японцев ненавидели. Сначала пал Пекин, потом японцы вошли в Нанкин и за месяц вырезали сотни тысяч человек. Про взятие Нанкина рассказывали китайцы, которым удалось уйти из окружения. Рассказывали, что японцы делали с людьми: отрезали женщинам груди, вспарывали беременным животы, разрывали на части грудных детей. В Нанкине убили триста тысяч мирных китайцев, включая малых детей, — много народу перебили, а всего-то за три недели, работали с восточным упорством. Дешков слышал — и верил. Если поляки могли так мучить людей в лагерях — какой спрос с

косоглазых. У них вся культура жестокая. И потом — ведь это война. Косоглазые никого никогда не жалели, вот хоть монголов вспомнить.

Из Китая надо было вывозить русских эмигрантов — Дешкову пришлось разбирать бумаги, приходившие из Харбина, Нанцзина, Шанхая: он должен был решать — кого они могут принять, а кого нет. В те годы эмигранты устраивали пикеты перед советским посольством, некоторые просили взять их обратно, соглашались на любую работу — но чаще люди приходили, чтобы бросить что-нибудь в окна, большинство говорили

так: «За Святую Русь будем воевать, за серп и молот — нет!» И когда Дешков разбирал бумаги, он не мог знать, кто за ними — шпион или истосковавшийся по березкам профессор. На человека выделяли по 37 рублей денег, считалось, до границы с Россией на эти средства эмигрант доберется, а там уж русские войска его подхватят. А заодно проверят личность.

— Ну где я для них довольствие возьму?! Где?! — ярился полковник Хрусталеv. — А если он диверсант? Если его послали? Имей в виду: под твою персональную ответственность!

Сколько ответственности можно

на себя взять? Решил принимать всех, кто просит, всех подряд. Война – это когда все можно, до отказа. Если убивать можно всех, то уж и спасать, наверное, тоже можно всех. Прав был отец, еще немного – и начнется у нас тоже, вон самураи уже на границе. Ждали боевого приказа со дня на день; неожиданно их хабаровскую дивизию расформировали. Объявили, что организация данной дивизии – часть преступного плана Гамарника и Тухачевского, врагов народа. Первый покончил с собой, боясь разоблачения, застрелился – ушел от суда; а второго судили, разоблачен как германский шпион, расстрелян; раскрыт крупный заговор.

Информация короткая, сказали, что процесс подробно описан в газетах, но газет Дешков не видел.

Гамарник часто бывал у них в гостях, маршал Тухачевский был прямой начальник отца, — и Дешков понял: сейчас возьмут и отца. А потом — мать. Как это бывает с нами в минуты опасности, он отчетливо представлял себе все события: и то, чего не мог видеть физическим зрением, представало перед ним ясно и в подробностях. Он представил полное лицо Якова Гамарника в смертной муке, представил, как этот близкий им человек, который так любит покушать и посмеяться, подносит к

уху револьвер. Он представил надменное лицо Михаила Тухачевского, который был в гостях всего однажды, сидел на стуле, скрестив руки на груди, будоражил воображение мальчика. И представил себе отца, его узкий рот, серые холодные глаза. Его отец выживал уже столько раз, что, наверное, истратил запас своих семи жизней.

Дешков пошел в комендатуру, потолкался в прихожей — узнать, что еще слышно про московские процессы, что пишут в газетах. По пути его дважды останавливали — он шел, не различая пути, не глядя под ноги, толкал плечом встречных. Страх сделал его слепым: он не

видел людей, только представлял мать и отца. Перед глазами была их квартира, люстра со стеклянными подвесками, книжные полки с мемуарами военных. Он ясно видел, как при обыске полки опрокидывают на пол, как разбивают прикладом люстру. Из разговоров в комендатуре понял, что заговор огромен, Тухачевский и Гамарник — просто самые известные имена, а вообще шпионов, внедрившихся в армию, не счесть. Ничего, говорили, вычистим ряды.

Вскоре Дешкова вызвали в Москву, он сел в поезд и не видел вагона, не видел лиц попутчиков. Дешков говорил с попутчиками о

заговоре военных, попутчики смотрели на него и поражались отсутствующему взгляду офицера. А Дешков просто ничего не видел перед собой, мир вокруг стал мутным. Обсуждали приказ № 072 наркома Ворошилова, нарком покаялся перед армией в слепоте, не разглядел он в обычном пьянчужке Тухачевском – предателя и шпиона. Вагонные собеседники склонялись к тому, что Тухачевский действительно германский шпион. Лейтенант из Омского гарнизона резонно спросил: «А почему же он Варшаву не взял, если рядом был? Ну, почему? Объяснений не нахожу, нет у меня объяснений! – лейтенант из Омска (в

прошлом продавец в бакалее, пришедший в армию по срочному призыву и сделавший головокружительную карьеру благодаря доносу на старшего по званию) разводил полные ладони в стороны в знак недоумения. — С Колчаком он, видите ли, разобрался, с Деникиным разобрался, а на поляка Пилсудского от своих хозяев добро не получил — я так считаю». — «Все проще, — говорил другой попутчик, артиллерийский капитан, — разве ж один пан другого пана обидит?» — «А ведь верно! — и лейтенант-бакалейщик ударял полными ладонями по коленям, — как я не сообразил!» Капитан добавил:

«Завербовали его в германском плену, это очевидно. Тут даже дознаний не надо проводить. Иначе кто бы ему дал пять раз бежать? После первого же побега – в расход. Но ведь надо и биографию подготовить. И версию правдоподобную слепить». – «Верно!» – говорил лейтенант и радовался объяснениям. Голос у лейтенанта был высокий, женский, а лица его Дешков не видел, только белое пятно плавало в мутном воздухе вагона. И много еще говорили про уборовичей, якиров, блюхеров и гамарников – так предателей назвал в приказе нарком, словно не людей называл по фамилиям, а перечислял

статьи Уголовного кодекса:
карманники, взломщики,
саботажники.

Дешков приехал домой,
поднялся на третий этаж. Глебовна
убралась в его комнате — пахло
мылом и свежим бельем. Он присел
к столу, потрогал фарфорового
львенка, мать подарила на
совершеннолетие. Сели пить чай из
китайского сервиза — и зрение
вернулось, глаза открылись сами
собой. Желтый паркет блестел,
люстра со стеклянными подвесками
сверкала, корешки книг серебрились
тиснением фамилий, чашка с синими
драконами стояла на блюде с
красными драконами — мать всегда

все ставила невпопад. Время было позднее, он устал с дороги, но не спал: ждал, когда придут – они ведь всегда приходят ночью.

Сидел, не раздеваясь, на постели. Зашел отец, сел рядом.

Дешков ничего не спрашивал.

– Они ведь что скажут, – отец разговаривал сам с собой, смотрел в пол, – они скажут: зачем вы поддерживали концепцию легких мотострелковых подразделений, создание легких танков и даже вредительскую теорию – запустить в производство танки на колесах? Они скажут: вам что, непонятно, что нашей стране нужны тяжелые танки? Завтра война – оборону как будете

держать?

— Разве ты отвечал за танки?

— Самое дикое, — сказал отец, — что даже я не знаю, что там за Михаилом числится. Потому что есть, конечно, такое, чего я не понимал и не понимаю. Зачем сегодня легкие мотострелковые части? Конечно, он набегался в Гражданскую войну из Тамбова в Кронштадт, теперь ему нужны солдаты на автомобилях. Но Гражданская война кончилась. Для большой войны танки нужны тяжелые. Мы не Германия. Нам план Шлиффена ни к чему.

Так они сидели и молчали. Отец пошел на кухню, налил в чашки

холодной воды, дал одну чашку Дешкову. Сидели, пили воду.

– Или чаю заварим?

– Вода лучше.

– Да, вода лучше.

– Германия – страна маленькая, воюет на два фронта. Молниеносная война на Западном фронте – всеми силами сразу – и тут же все силы на Восточный фронт. Дороги отличные, расписание немецкое. Раз-два, и с одной армией успеваешь на оба фронта. Армию делить нельзя, для этого легкие танки и сделаны. Но Россия не может так воевать! У нас до Маньчжурии две недели пути! Нам надо держать оба фронта! Тяжелые танки нужны!

Отец подошел к окну, посмотрел на улицу, вернулся, снова сел.

– Ты постарайся уснуть. Скоро светать будет. Наверное, уже не придут. Не бойся.

– Спокойной ночи, отец.

Однако отец медлил, не уходил, и Дешков подумал, как же хорошо вот так сидеть – и прохладный ветерок в окно, и деревья в парке шумят, и слышно, как кричит ночная птица. Редко они с отцом видятся, и если бы не беда, то и сегодня бы вот так не сидели.

– Ты детей рожай, – сказал ему отец, как тогда, на прогулке в парке, – ты с этим не тяни. На Рихтеров посмотри, на соседей.

Четверо сыновей. И как липнут к отцу. Евреи, они каждого берегут, их мало. А у нас, у русских, полдеревни полегло — и ничего. У нас лишних ртов много. Дураки мы.

— Хорошо, буду детей рожать, — и Дешков улыбнулся.

— Вот завтра и начинай. А сейчас давай спать.

Но не уходил, сидел рядом. Дешков посмотрел на него сбоку — подумал, что люди стареют как собаки: шкура обвисает на шее, голова клонится вниз.

— Ты не думай ерунды, я здоров, — сказал отец, — просто устал очень. И мать жалко. Присмотри за ней, если что.

– А что может быть?

– Ничего не может быть, конечно. Вины за мной нет. Ты не бойся.

Отец встал.

– Хорошо посидели, спасибо тебе. Мать береги, понял?

Страх прошел, и он уснул. Утром отец сказал ему «не бойся» еще раз. Они сели завтракать, мать намазала белую буханку медом, дала сыну – и тут пришли за отцом. Вошли сразу четверо, толкаясь плечами в прихожей, отодвинули Глебовну к вешалке – мол, стой смирно, тетка, не шевелись. Двое в полевой форме, двое в кожанках. Мать отставила чашку, протянула к

Сергею руки — то ли защиты просила, то ли просила собой не рисковать. Отец вышел навстречу конвою слегка прихрамывая. Не сказал ни слова, не спросил, зачем пришли, не попросил ордер, просто пошел вперед и встал так, чтобы не дать им пройти глубоко в комнату. Сперва Дешков подумал, что отец хочет прикрыть его и мать, но отец, прихрамывая, чуть сместился к окну — и Дешков понял, что отец сейчас будет стрелять. Отец нарочно встал к окну, чтобы убрать семью с линии огня. Дешков знал: так менялось отцовское лицо перед тем, как он совершал свои дикие и неожиданные поступки. Лицо отца в такие минуты

словно цепенело — это особое состояние, его и сам Дешков пережил, когда страх ослепил его в Хабаровске: точно заморозили тебе глаза. Таким было лицо отца, когда на их улице татарин вырвал сумочку у матери, и мать упала на асфальт. Отец с Дешковым были рядом, но татарин не понял, что они все вместе. Тогда лицо отца тоже оцепенело, а через секунду он уже всадил дуло своего наградного кольта татарину под подбородок. Серые глаза его и сейчас смотрели без всякого выражения, точно он никого и не видел перед собой — отец не задавал вопросов, не возмущался. И Дешков понял, что отец будет

стрелять. Ведь отец говорил, что всегда есть последний шанс. Сейчас он выдернет из-за спины кольт, сейчас. Отец всегда носил оружие под пиджаком, сзади, просовывая дуло за брючный ремень, даже дома так ходил, — вот сейчас, сейчас он выхватит револьвер. Но опера рассыпались по квартире, один оказался за спиной у матери, а еще один встал подле Сергея Дешкова, и не было точки для стрельбы. Отец посмотрел на жену, посмотрел на сына и стрелять не стал. Только кивнул матери и ничего и не сказал. Когда в коридоре надевал пальто, выбросил из-за спины оружие — револьвер мягко упал в валенки,

Дешков видел куда. В тот день обыск не провели; а когда пришли с обыском через два дня, уже ни кольца не было в квартире, ни матери, ни самого Дешкова. Дешков действовал, как и учил отец, стремительно: отправил мать в Архангельск — там жила школьная подруга. Пришли — а в квартире пусто, даже кота Кузю увезли в Архангельск. Сам Дешков решил не прятаться, пожил два дня у друзей, потом явился с документами в райвоенкомат. Почему задержались? Виноват — и руку к козырьку. Бумаги взяли, посмотрели, вернули, сказали, что вызовут, спросили адрес. Дал старый адрес. Пожил неполный месяц у

Щербатовых, потомственных чекистов. Жить у них оказалось неприятно, Щербатовы не верили, что отец — шпион, однако не сомневались в виновности Тухачевского. Отец Щербатова, который еще у Менжинского работал, неприятный человек с нервным тиком, говорил Дешкову каждый день: «Твой отец мог не знать, кому помогает». Потом Дешков жил у Рихтеров, в еврейской семье, эмигрировавшей в Россию из Аргентины. Рихтеры как раз проводили троих сыновей на испанскую войну, в квартире было свободно. Моисей Рихтер открыл для Дешкова комнату старшего сына —

живи сколько хочешь.

Дешков прожил у Рихтеров полгода, читал книги Рихтеров – все по истории Рима – и ходил на свидания к Дарье, девушке из дома Наркомфина на площади Восстания. Они встречались еще до отправки Дешкова в Хабаровск, и сейчас он к ней зашел – сказать, что отца арестовали. Сразу сказать не получилось – полгода они просто встречались, два раза в месяц ходили гулять по бульварам, иногда в кино. Однажды шли по улице Герцена, и наконец он решился. Рассказ получился нелепый.

– Отца, наверное, уже расстреляли, – сказал Дешков зачем-

то, — но мой отец не шпион, это ошибка. — Про Тухачевского не сказал, про Гамарника тоже не упомянул.

— Мне родители уже говорили, что у вас беда. Я думала, тебе тяжело про это. Если у нас будет мальчик, назовем его Гришей, как твоего папу, — сказала Дарья.

И неожиданно Дешков сказал:

— Назовем Яковом. — Он думал не про Гамарника, он думал про Иакова, отца народов; надо было восстановить род.

Жениться Дешкову не следовало, но они поженились. Свидетелем на свадьбе был Соломон Рихтер, младший сын Моисея, который в

Испанию не уехал по возрасту – ему было семнадцать. Пока Дешков жил у Рихтеров, он с Соломоном успел подружиться – юноша ему нравился.

– Вы останетесь жить у нас, Сергей? – спрашивал Соломон.

– Спасибо, но пора и честь знать.

От Рихтеров они съехали, нашли подвал в Астрадамском проезде. Пол земляной, но отопление имелось, жить можно. Переехали в подвал, стали жильцами у Бобрусовых.

Так прошло еще полтора года. Рихтеры давали деньги в долг – долг, который Дешков никогда им не вернул. Работать Дешкова не брали, просили справку из военной части, о

том, что демобилизован, а такой справки у него не было. Он пошел в военкомат — сдаваться, сказал, что сменил адрес, спросил, что делать. Посоветовали ждать и не волноваться, о нем помнят. И он ждал — а чего ждал, непонятно; как выяснилось — ждал войны. Из друзей (их прежде было много) осталось трое — Соломон Рихтер, Андрей Щербатов и хулиган Коля Ракитов; все знакомы еще с детства и жили в одном дворе.

Ракитов жил в бараке, вокруг него клубились странные люди — инвалиды, подростки с косыми взглядами, бездомные татары, которые только приехали в Москву и

не получили ни прописки, ни справок с работы. Ракитов гулял по двору в длинном пиджаке с двумя разрезами, с квадратными серебряными пуговицами, он называл этот пиджак «французским»; Ракитов держал руки в карманах и плевал себе и прохожим под ноги. Он пропадал на недели, потом появлялся с деньгами, много пил. Судя по всему, Ракитов занимался противозаконными делами, но сын репрессированного военного не чувствовал, что у него больше оснований на безоблачную жизнь, чем у Николая Ракитова. Они курили во дворе, у кустов барбариса, и Ракитов сплевывал желтую слюну в

кусты и давал советы.

— Возьми свою Дашку и дерни на юг. Билеты не бери, не надо. Подойди к вагону и проводнику на лапу дай. Он вас приткнет в вагон. На юге тепло, объякоритесь в деревне под Новороссийском, кто тебя найдет?

— Что я там делать буду?

— Сливы кушать, чачу пить.

— На что сливы покупать, Коля?

Где работать?

— А здесь ты работаешь?

Приедешь — не заявляй о себе, не иди в сельсовет. Иди по хатам, наймись батраком.

— Будто они о батраках не докладывают.

– Дурак ты. Как раз о батраках они не докладывают, кому охота кулаком слыть. Ты меня слушай, Серега.

Щербатов работал в НКВД и, подходя к Дешкову во дворе, говорил тихо и многозначительно – давал понять, что про Дешкова все известно. Кому известно и что именно известно – не говорил.

– У тебя небось документы какие-никакие остались? Письма например. Или фотографии. Ты бы пошел, мой совет, добровольно все сдал. Тебе простят.

– Какие у меня документы? Ты о чем?

– Ты сам можешь не знать

важности документа. Не знаешь, что в письмах содержится. Там между строк написано. Отдай профессионалам.

— В письмах? Между строк? И нет у меня писем.

— А тебе разве отец не писал?

— Нет никаких писем.

— Ну, как знаешь. Я совет дал, — и Щербатов смотрел внимательно.

В другой раз подошел и тихо спросил:

— Ты детей Уборевича и Якира знаешь?

— Кого?

— Петра Якира, сына предателя и шпиона Якира. И Владимиру Уборевич, дочь шпиона Уборевича.

– Владимиру?

– Имя такое, женское. Мужское

имя – Владимир, женское –
Владимира.

– Как у Ленина?

– Осторожней произноси имя
Ленина. Не мешай великое имя с
именами врагов народа. Знаешь
детей Якира и Уборевича?

– Нет, не знаю. Они, наверное,
маленькие еще.

– Ага, все-таки знаешь...

Арестовали твоего знакомого Петра.
Не ребенок он, нашел ребенка!
Пятнадцать лет, сознательный
возраст. Ответит по закону. И дочь
Уборевича тоже арестовали. И
Тухачевских взяли. А тебя не

трогают. Удивительно. Как думаешь, почему?

– Почему? – спросил Дешков.

– Потому что у тебя есть друг, Щербатов, – и Щербатов смотрел на Дешкова значительно и пристально, – и твой друг за тебя поручился. Сказал, что ты добровольно все бумаги отдашь.

– Какие бумаги?

– Письма всякие.

– Нет у меня писем.

– Ну, смотри. Я ведь за тебя поручился.

– Где ж я тебе письма возьму?

– А про мать свою ты ничего не слышал?

– Откуда?

– И писем у тебя нет?

– Нет.

И в третий раз подошел к нему Щербатов спустя полгода. Щербатов, должно быть, продвинулся по службе – где он служил, толком никто не знал, но догадывались – и теперь он так научился смотреть, словно обыскивал собеседника, взглядом проверял карманы, пазуху, подкладку пальто. Пройдется взглядом по левой руке, перейдет на правую, осмотрит воротник, потом изучает подбородок. В наши дни так сотрудники банка ощупывают взглядом клиента: есть ли в данном гражданине реальный интерес – или одни копейки? А в те годы так смотрели на человека

работники органов: проверяли каждую деталь. Щербатов осмотрел Дешкова и спросил:

— Жена твоя почему не работает?

— Работает. В

сельскохозяйственной академии, лаборантом.

— Видят ее часто во дворе.

Гуляет много.

— Болеет последнюю неделю, на работу не выходит.

— А по двору гуляет.

— Душно в подвале.

— Просто люди вопросы задают.

Почему сноха врага народа — на работу не ходит? Она что, лучше других?

— Ходит она на работу! —

страшно прозвучали слова «сноха врага народа».

– Мне-то все равно. Другим не все равно. Я тебя по-соседски защищал.

– Спасибо. – Дешков старался поймать взгляд Щербатова, но взгляд был особенный. Щербатов глядел цепко и вертко; посмотрит внимательно в одну точку и тут же переведет глаза на другое место. Не успеть было за его взглядом.

– Ну, ты приглядывай за женой, приглядывай, – сказал Щербатов и пошел прочь, только еще добавил: – Бумаги не надумал отдать?

– Какие бумаги?

– Ну, я предупредил.

Дешков прятал отцовское оружие на дне ведра, вместе с фотографиями и письмами. Одно письмо перечитывал часто, пока не выучил наизусть. Письма были завернуты в отцовскую гимнастерку, придавлены сверху свертками с посудой. Сегодня, когда пришла повестка, Дешков вынул из ведра свертки с посудой, вынул тетради со стихами, перевязанные шнурком от ботинка, вынул отцовские письма к матери, отцовские тетради, потом достал со дна кольт, развернул тряпку, освободил длинное стальное дуло. Он подержал кольт на ладони, покачал тяжелый ствол, потом пристроил в кобуру под левой рукой.

Походил по комнате, подумал, достал револьвер из кобуры и сунул за спину, за ремень. Так учил отец: выхватить оружие можно неожиданно, кольт под пиджаком незаметен, и вообще много преимуществ. Так Григорий Дешков и носил оружие. В армии, конечно, свои правила, но он умудрился до самой своей смерти проходить с пустой кобурой, в которой, случалось, носил водку, бутерброды, штабные карты — а револьвер всегда был сзади, под ремнем, дулом доставал до копчика. И когда ему командовали: «Руки в гору! Левой рукой медленно отстегнул кобуру — и три шага назад!» — он хладнокровно подчинялся

приказу, медленно отстегивал пустую кобуру левой рукой, а правой уже нашаривал за спиной холодную перламутровую рукоять.

Дешков упаковал письма и посуду обратно в ведро, ведро задвинул под кровать — высокая кровать, на высоких ножках, под ней собралось все их имущество: Дашкино зимнее пальто, несколько книг из домашней библиотеки, подаренный Моисеем Рихтером «Das Kapital» Маркса в оригинале — кто, интересно, читать будет? — и рукописи отца. Рукописи он так и не разобрал, хотя сотни раз давал себе слово — но как их разберешь? Где? На колене прикажете разложить

сочинение об истории Государства Российского? Отец всю жизнь писал записки и заметки, неряшливым почерком в общих тетрадках. Дашка когда-нибудь разберет, подумал Дешков, а если сын родится – вот сыну и будет работа. Дешкову стало легко и свободно – оттого что все свои дела он мог отныне забыть и переложить на жену. А уж как она справится да и справится ли – это теперь от него не зависит. Справится, наверное. Дашка сильная.

Дешков потуже затянул ремень, поправил рукоять револьвера, одернул пиджак, взбежал по четырем подвальным ступеням, толкнул дверь на улицу. Солнышко, глаза слепит.

Лето все-таки.

Когда началась война, Фридрих Холин понял, что теперь он ничего не успеет. Хотел исправить жизнь, а не получится исправить. Все откладывал, думал, есть время, по крайней мере год в запасе, а потом, когда год проходил, надеялся на другой год. А тут война. И он осмотрел свою жизнь как осматривают комнату — из конца в конец — и нашел ее неубранной. Как же так?

Говорил по радио Молотов, а Фридрих думал о том, что упустил время. По крайней мере несколько спокойных лет у тебя, дурня, было —

что ж ты их не использовал? Смотрел на жену, которая привыкла к монотонной и дурной жизни. Они могли быть счастливы — вот как соседи Щербатовы, у Щербатовых все хорошо! От них всегда пахнет жирной едой, они варят щи с мясом, из их веселого подвала на весь дом тяжело пахнет щами — и слышно, как дружно семья питается, звякают щербатовские ложки в тарелках. И слышно, как заливисто хохочет жена — смешливая жена у Щербатова! Они могли жить, как соседи Дешковы — те всегда ходили, взявшись за руки, у Дешковых получилось жить дружно, а у них не получилось. Теперь жена Фридриха Холина ходила к странным

старушкам, молилась вечерами, в дом принесла иконку – а Фридрих ревновал к иконке, ярился на старушек, думал: ничего, Люба, мы еще проживем, ты прости меня, я еще тебе докажу. Я еще смогу тебя сделать счастливой, я отработаю, ты увидишь! Он ждал, что печальный роман с Анной прекратится сам собой, так, чтобы никого не обидеть.

Пересекала двор нищенка, а он смотрел на нищенку и думал: вот, если я Анну брошу, она останется такой же одинокой, как эта нищенка. И будет сидеть в чужом дворе на лавочке, кутаться в платок. Никого нельзя бросить, ты должен всех защитить, твердил он себе. Но как

это сделать практически? Зарплаты не хватит, чтобы всем сразу помогать. Собрать всех в одной квартире? Неужели нельзя договориться? Нет, не получится... Отчего Люба с Анной не могут договориться? Почему женское счастье такое себялюбивое, что его не делят на всех? И просторная квартира в четыре комнаты в Астрадамском проезде не принесла счастья — не получилось построить быт. Вот сын растёт, а мать его плачет ночами, и отец выходит курить на балкон. Ничего, говорил он себе, я сумею справиться, я найду нужные слова. Дайте мне время, дайте мне собраться с силами, дайте собраться

с мыслями, я докажу! А тут война.

И с работой получилось нелепо. Невозможно подписывать заметки именем «Фридрих», когда немцы под Москвой. Невозможно писать заметки в «Вечернюю Москву», когда хочется роман написать. И каждый день та же проблема: хорошо, я сяду за роман, а семью кормить кто будет? Люба сказала, что он им ничего не должен: «Мы с Пашей проживем, садись работай». Но это так говорится только, а завтра денег не станет — что тогда? И требуется улыбаться жестокой редакторше Фрумкиной, ловить ее вороний цепкий взгляд. Она все чувствует, Фрумкина, у нее нюх! Из газетного

мира легко выйти, вот обратно уже не пустят – место займут за полдня. Надо было однажды решиться, смести прочь со стола крошки поденной работы – заметки, интервью, гадостный газетный сор – к черту, в корзину! А черновики романа имелись, первая глава написана, отложена до лучших времен. Все думал: завтра сяду за роман. А тут война с Германией.

Родители Фридриха Холина говорили своим друзьям, что воспитывают сына на немецких романтиках. Мальчика назвали в честь Фридриха Энгельса, но ведь были еще и драматург Фридрих Шиллер, и писатель Фридрих

Шлегель, и философ Фридрих Шеллинг. И даже Иоганн Вольфганг Гёте, величайший гений, имел третье имя – Фридрих! Германская культура (так учил русского мальчика Фридриха отец) сформулировала важнейшее для нового мира понятие – личность! Нам, говорил мальчику отец, в коммунистической России, очень важно сохранить преемственность великой гуманистической культуры. Отец читал маленькому Фриде строчки Гёте:

Höchstes Glück der
Erdenkinder
Sei nur die Persönlichkeit.

(Высшее счастье детей
земли
Есть только одно —
Личность!)

Папа прочел строчки по-немецки и рассказал, что не всякий человек — личность. В людях много звериного, дикого. Мы еще не вполне состоялись как люди, звание «человек» надо заслужить, говорил отец. А «личность» — это высшая точка развития человеческого существа, понимаешь? Личность — это неповторимый, ни на кого не похожий человек, с особым внутренним миром. Исключи из себя

все стадное, преодолей в себе природу. Трудно не стать игрушкой толпы. Это ежедневный труд, Фридрих. Личности – это герои, которые живут наперекор стихии бессознательного, которые подвергают все сомнению.

Как обычно, слова отца действовали на мальчика магически. Фридрих гулял по Астрадамскому проезду, придирчиво присматривался к отдельным прохожим и прикидывал: «Дядя Алеша Тихомиров – личность или нет? Вряд ли. Не похоже. Скажи ему слово «личность», так он только рот откроет. А тетя Лена Петрова? Тоже, пожалуй, не личность. Куда ей,

толстой неграмотной дуре. Знает только свои пирожки с рисом печь. Ничего не читала. Про Гёте, наверное, и не слышала. В ней, если вдуматься, звериного начала даже больше, чем в остальных. В нормальном человеке, папа говорит, половина звериного, а в тете Лене – наверное, три четверти звериного начала. А в Андрее Щербатове?» И Фридрих как-то спросил своего школьного приятеля:

– Скажи, Щербатов, ты – личность?

– Что? – сказал подозрительный Щербатов.

– Как ты думаешь, в тебе чего больше – звериного начала или

человеческого?

— Что я, по-твоему, на четвереньках хожу? — рассвирепел Щербатов.

— Не злись, подумай хорошенько. Ты хочешь иметь по всякому вопросу свое мнение, подвергать все сомнению? Хочешь или нет?

— А что — обязательно надо?

— Если хочешь стать личностью.

— А зачем личностью становиться?

— Ну ты даешь! Да это самое лучшее, что может с человеком случиться!

— Ладно, уговорил. Буду личностью. Вот, например, дважды два — четыре. Так в школе сказали.

Это надо подвергать сомнению?

Фридрих задумался. С одной стороны, ясно сказано: «Подвергай все сомнению». Но ведь, пожалуй, дважды два всегда будет четыре, подвергай ты этот факт сомнению или нет.

— Чего молчишь?

— Подвергаю сомнению твои слова, — с достоинством сказал Фридрих. — Ладно, дважды два — можно не подвергать.

— А трижды три?

— Вообще можешь не подвергать сомнению таблицу умножения.

— А правила уличного движения? Надо подвергать сомнению или нет?

— Правила движения — тоже не

надо.

— Так ведь под машину попадешь, пока личностью станешь, — сказал Андрей Щербатов ядовито. — А время года надо подвергать сомнению? Например, на улице зима, а ты пойдешь в школу в трусах.

— Что ты ко мне пристал!

— Я к тебе пристал? Это ты ко мне пристал. А школьные отметки надо подвергать сомнению?

— Думаю, надо, — сказал Фридрих.

Каждый день, идя в школу, Фридрих напевал вполголоса строки Иоганна Вольфганга Гёте, заученные наизусть. Звучало это так: «Хохстес

глюк дер эрденкиндер ист нур ди
персонлихкайт!» Последнее слово он
выкрикивал громко:
«Персонлихкайт!» Звучало более
торжественно, чем скользкое слово
«личность». Вот бы подойти тогда к
Щербатову и спросить: «Ты,
Щербатов, – персонлихкайт? Или
нет?» И Фридрих бормотал слова
песенки, а когда подходило к
«персонлихкайту», выкрикивал
последнее слово, будто обвинял мир
в отсутствии личностей. Немецкие
слова выговаривались плохо и
«хохстес глюк» постепенно
превратилось в «ох ты глюк», а «дер
эндеркиндер» стало «дыриндер», а
от «ист нур ди» осталось только «и».

Сохранилось без изменений только волшебное слово «персонлихкайт». Заклинание стало звучать так: «Ох ты глюк дыриндер и персонлихкайт!»

Подойдя на перемене к Любе Василенко, Фридрих сделал значительное лицо и спросил:

– Тебе, Любовь, прочесть стихи Иоганна Гёте? – и, получив утвердительный ответ, выпалил: – Ох ты глюк дырындер и персонлихкайт!

– А перевести можешь?

– Это стихи о том, что не каждый может стать личностью, но только тот, кто подвергает все сомнению.

– Здорово!

– Подвергать сомнению следует

все, но в разумных пределах. Правила таблицы умножения сомнению не подвергают.

— Про это в стихах сказано?

— Я прочитал главную строку.

Про то, что надо побороть звериное начало и стать личностью. Ох ты глюк дыриндер — значит: откажись от животного начала в себе! И стань Личностью, человеком с большой буквы. Персонлихкайт, если хочешь по-немецки.

Люба Василенко заворуженно смотрела на Фридриха.

— Немецкий — это язык мысли, — заметил Фридрих. — Емкий, сдержанный, логичный.

— Как красиво.

– Я обязательно выучу немецкий и, может быть, даже свой роман напишу по-немецки.

Он всем, с самого детства, говорил, что напишет великий роман. Все это было шестнадцать лет назад – а сейчас отец его умер, они с Любой уже двенадцать лет женаты, вот Паше десять исполнилось, и роман он не написал. А теперь еще и война с Германией.

В газете «Вечерняя Москва» Фридрих Холин должен был сочинять отчеты о жизни прифронтового города – ведь Москва стала прифронтовым городом. Быть советским журналистом и носить имя «Фридрих» стало неудобно.

Обнаружилось, что помимо поэта Фридриха Шиллера – имелись еще Фридрих Ницше, который придумал теорию сверхчеловека, и Фридрих Паулюс, гитлеровский генерал. Да еще оказалось, что план нападения на Россию называется «Барбаросса» по имени императора Фридриха Барбароссы, который некогда возглавил крестовый поход. Теперь представляться Фридрихом было неприятно – и Холин подписывался инициалами, чтобы не писать немецкое имя. Впрочем, вскоре он понял, что вся газета состоит сплошь из инициалов.

Газета «Вечерняя Москва» от Московского комитета ВКП(б) и

Моссовета, орган печати, москвичами любимый — ответственность огромная. «Пиши проверенные данные, десять раз проверь!» — говорит редактор, но зачем проверять, если ничего конкретного не пишем? Все полгода сводки о боях писали так: «В боях под станицей М. подбиты 18 танков и 25 бронемашин противника... Под селом Н. в боях уничтожено 30 единиц техники».

Эти заметки Холина пугали. Он стал складывать цифры и получил ошеломляющий результат: за первую половину осени фашисты потеряли около шестисот танков — а это целая армия, даже Холин знал. Армия

танков горела под Москвой — но почему-то название села указано невнятно. Он спросил у заведующего отделом Щетининой:

— А почему не даем названия села полностью? Шифр зачем?

— Ты хочешь всех оповестить о расположении советских войск? Это, может быть, военная тайна.

— От кого тайна?

— От немцев.

— Неужели немцы сами не знают, где потеряли шестьсот танков?

— Откуда ты взял шестьсот танков?

И Холин стал думать, что причина в другом: вероятно, бои

слишком близко от Москвы – и в газете боятся дать реальное название села, чтобы не напугать москвичей. Но если бой победный, почему же не сказать? Ведь радостно знать, что победили! Кому-то станет спокойней за родных. А кто-то захочет поехать туда, поговорить с бойцами. Ведь много пишут про союз тыла и фронта. Вот, например, его жена Люба отвезла бы артиллеристам кастрюлю супа. Так почему же не указать название села?

Вот, скажем, статья о партизанах Югославии. Написано: «В Ягодине уничтожена авиационная база» – это понятно. «В Загребе взорван склад боеприпасов» – тоже понятно. Так

там партизаны, в Загребе, им уж точно скрываться необходимо. А у нас регулярные войска.

И вдруг он понял, что это все выдуманные истории: нет никакого села М., нет никакого села Н. Не было победного боя, не подбили семнадцать танков, и восемнадцать танков не подбили тоже. Ничего вообще не подбили, не подожгли бронетехнику врага, катится армия назад, вот уже ставят ежи противотанковые на Можайском шоссе, вот уже и окопы роют. Подбили двести единиц техники у села М.! Покажите, где же это село! Господи, зачем так врать!

Заметки писала лично

Фрумкина, ответственный секретарь газеты. Первую половину дня она тратила на собственные сочинения, потом занималась проверкой чужой работы. Страшная Фрумкина, главный цензор Главлита, была переведена в их газету на пост ответственного секретаря дабы вычищать вредные элементы, оставшиеся от политики Зиновьева. Ираида Аркадьевна Фрумкина была особой низкого роста, ходила на кривых ногах и курила папиросы «Тройка». Зубы у нее были желтыми от никотина, а глаза черными, и в ее глазах не отражался свет. Фрумкина подолгу смотрела своими пустыми цепкими глазами в глаза сотруднику,

затягивалась желтым дымом, и сотруднику делалось страшно. Посмотрев с минуту неподвижным взглядом, Фрумкина говорила сотруднику: «Здравствуйте», — и проходила мимо, загребая пол кривыми ногами. Никто вслух этого не произносил, но все знали, что в Главлите состав редакции заметно поредел после доносов Фрумкиной. Популярного в Москве журналиста Бориса Сиповского забрали прямо из здания Главлита, зашли в комнату редакции, сказали: «Пройдемте, Сиповский», — и Сиповский прошел. А Ефим Гулыгин, заместитель Фрумкиной, повесился, просто взял — и повесился. Гулыгин жил в

коммунальной квартире на Татарской улице, дом номер семь. Жиличка из комнаты напротив хотела одолжить у него денег до вторника (у нее во вторник получка), стучала, звала. Женщина настырная, просунула карандаш в дверную щель, откинула крючок — а он, голубчик, на батарее парового отопления висит, язык вывалил. В чем таком провинился Гулыгин, сотрудники «Вечерней Москвы» не знали — а что повесился, знали отлично.

Ираида Фрумкина читала всякую статью, не пропускала ни единого короткого сообщения без подробного осмотра, она не полагалась ни на редактора, ни на

корректора. Читала тексты долго, медленно водя выпуклыми вороньими глазами по строчкам. Со стороны казалось, Фрумкина ощупывает строчки глазами, берет каждую букву, вынимает из слова, разминает, потом ставит на место. На лоб Фрумкиной падала черная челка без единого седого волоска, бодрая такая челочка, боевая, и Фрумкина иногда встряхивала головой, откидывая челку, чтобы не мешала видеть страницу. В этот момент лицо ее делалось задорным, веселым, и казалось, что с ней можно договориться. В один из таких моментов Холин изловчился и встрял с вопросом, зачем так подолгу

смотреть на страницу? Фрумкина медленно осмотрела лицо Холина, водя пустыми глазами по его чертам точно по газетным строчкам. Потом сказала:

— Я или делаю свою работу хорошо, или не берусь ее делать совсем, — и опять принялась медленно ощупывать глазами лицо Холина. Ощупала, отвернулась к странице, стала щупать страницу.

Заметка Холина, которую она изучала, называлась «Большой день», и в ней описывался парад на Красной площади Седьмого ноября. Начиналась заметка словами «Падал снег». Фрумкина медленно ощупала эту фразу, перешла к следующей:

«Небо, набухшее тучами, не было ярким». Потом прочла следующую: «Но удивительно светлым выглядел этот день в столице». Ощупала и эту фразу.

Дошла до последнего абзаца: «Грозные слова об истреблении всех немцев, пробравшихся в нашу страну для ее порабощения, вновь вызвали гул одобрения народа. «Верно! Надо истреблять! Всех до единого!» И долго, дотемна бурлили улицы великого города в праздничном оживлении». Фрумкина смотрела на этот абзац немигающими вороньими глазами, долго щупала слова.

— Фраза ваша. Про немцев, пробравшихся в нашу страну. По-

вашему, немцы пробрались?

А как сказать? Прорвались? Явились? Пришли? Холин не знал, что ответить.

– Пробрались. Воровски.

– Я думала, фашисты напали. А вы пишете – пробрались.

Помолчали.

– В другой заметке (на третьей странице очерк Холина «Герои зенитчики», интервью с лейтенантом Жильцовым) фраза: «Фашистские летчики стали подкрадываться к Москве». Самолеты, по-вашему, подкрадываются?

– Ну, их не ждали, а они внезапно...

– Вот как. Подкрались

самолеты. Еще одна фраза ваша. «Долго, дотемна» — как понять?

— Я хотел сказать, что люди на площади гуляли долго, до наступления темноты.

— До наступления темноты — это и означает, что гуляли долго.

И молчит, смотрит, медленно водит глазами.

— Фраза ваша. «Гуляли в праздничном оживлении».

— Люди гуляли в оживлении, — вяло подтвердил Холин, а сам подумал: а как еще гуляют дотемна — без оживления? Хотя, если вдуматься, какое оживление в мороз?

— Гуляли в праздничном оживлении. Странно звучит.

– Так ведь праздник у людей... оживились... – а сам подумал: ничего себе праздник, прямо с парада идут на фронт, а фронт за углом. И метель. – Изменить предложение?

Помолчала.

– Оставьте как есть. Это приметы авторского стиля, – и смотрит внимательно.

Непосредственно рядом с его заметкой была опубликована заметка редакционная – их, как правило, писала сама Фрумкина – «Смелый налет на вражеский аэродром». И пока Фрумкина читала его текст, Холин прочитал статью Фрумкиной. «Летчики-штурмовики энской авиачасти ознаменовали XXIV

годовщину Великой Октябрьской революции смелым налетом на вражеский аэродром. Получен боевой приказ: уничтожить фашистскую авиабазу в пункте Р. Ни одна машина с паучьей свастикой не успела подняться с поля. Все фашистские самолеты были сожжены». Сухо пишет Фрумкина, в ее строчках никакого оживления, все по существу. Но что это за существо? Как это понять, господи? Если уничтожили вражеский аэродром, то почему не сказать, где именно аэродром находится? И вот еще одна заметка: «В районе В. младший лейтенант Матюшин сбил «Юнкерс-88» и «Мессершмитт-109».

Молодец Матюшин, меткий. Только где этот район В.?

Какая странная газета, думал Холин, пряча взгляд от Фрумкиной.

Фотография поперек полосы: трибуна Мавзолея, на трибуне Комитет обороны в полном составе принимает парад. В самом центре – Буденный с огромными усами. И рука у Буденного большая, в варежке, маршал машет войскам: вперед, мол, на бой! Рядом рослый Каганович в мерлушковой папахе и в пальто с воротником из мерлушки. Никогда бы не подумал Холин, что Каганович такой большой, а рядом с прочими он, оказывается, великан! Тоже рукой машет, рука в тугой перчатке. Подле

них Берия в широкой грузинской кепке и обычном пальто, без воротника. Берия руками не машет, на войска не глядит, просто смотрит перед собой. Хрущев в кепке, кепка сдвинута на затылок. Лицо у Хрущева вялое, замерзшее, щеки повисли. Холодно им там стоять, на трибуне. Сорок градусов мороза, воздух белый от холода — каково это в кепочке простоять несколько часов в метель? Но стоит Хрущев, не шевелится, щеки заиндевели, белые совсем щеки на фотографии. Рядом Хрущевым стоит Молотов в меховом пальто, усики подстрижены, очки блестят, он весь аккуратный, закавыченный, как выверенная

цитата. А Маленков без перчаток, холодно ему, пальцы свело от мороза. Почему же он без перчаток? Перчаток для Маленкова не нашлось? Так спешил на парад, что перчатки не успел взять? Маленков, как говорят, второй человек в Комитете обороны – если где совсем трудно, шлют его. А вот лицо у него рыхлое, дрожащее, бабье, губы пухлые и сложены бантиком, и фуражка какая-то нелепая: с широким околышем, как у моряка торгового флота. Нет, не спасет такой человек в трудную минуту.

Вот у Сталина фуражка армейская, строгая. И шинель солдатская, сидит на нем ладно.

Лицо у наркома спокойное, взрослое лицо, ответственное. Народный комиссар Комитета обороны стоит не в центре, он встал немного сбоку, но руку поднял выше всех, привлекая внимание. Наверное, Сталина сфотографировали в тот момент, когда он начал говорить праздничную речь. Нарком поднял руку, чтобы люди сосредоточились и слушали. Под фотографией и речь напечатана.

Кто в те годы не слышал голос Сталина — а раз услышав, мог забыть? Холин хоть и не слышал этих слов из репродуктора (а странно, что не слышал: речь девять раз повторили за день), но медленный

тяжелый голос наркома отдавался в его сознании — голос успокаивал, а смысл сказанного тревожил.

«Враг не так силен, как изображают его некоторые перепуганные интеллигентики». Эту фразу Сталина каждый может отнести к себе, во всяком случае Холин понял, что Сталин имеет в виду конкретно его, перепуганным интеллигентом был он сам. Он уводил глаза от фрумкинских вороньих буркал, но ведь она все чувствует, она ощупывает его лицо и понимает, о чем думает Холин. А Холин не понимал, как это так получается, что каждый день уничтожают рекордное количество

техники, а враг все ближе. Сталин сказал с Мавзолея: за четыре месяца войны Германия потеряла четыре с половиной миллиона солдат. А сколько всего в Германии народа живет, интересно? Сколько солдат в армии у них, кто скажет? Наверное, уже почти всю армию перебили. «Уничтожены лучшие дивизии и лучшие части» — но скажите, сколько осталось? Уничтожили сто машин с пехотой, сто машин с боеприпасами, еще двадцать танков, еще пятнадцать танков, еще восемнадцать машин с пехотой, — ведь если все посчитать, у них ни машин, ни людей уже не осталось. А они все ближе и ближе. Как понять? А вот поразительная

строка в соседней статье:
«Уничтожили 200 танков
противника». Это же форменный
разгром! Уничтожили 200 танков у
станции М.!

И так пишут каждый день, вот за
вчерашний день, судя по газетам,
подбили пятьдесят танков, а сегодня
аж двести тридцать пять. А если все
сожженные немецкие танки
посчитать — получится больше
тысячи.

«Еще несколько месяцев,
полгода, может быть, годик — и
Германия должна лопнуть под
тяжестью своих преступлений». От
этой фразы только страшнее делается
— потому что фраза туманная. Что за

слово такое – «годик»? Сталин взял паузу перед тем как произнести «может быть, годик» – а потом проронил слова сквозь усы, небрежно сказал, презрительно: «полгода... может быть... годик». Слово «годик» Холина покорибило. Повоюем еще годик! Ничего себе! Так можно сказать про что-то другое, скажем, «поживу у тети годик». Еще годик войны – как это понять? Нет, не понимаю. И сколько же немцев мы убьем, если еще годик повоюем? Прикинул, получилось, если такими темпами фашистов убивать, еще десять миллионов точно убьем. Видимо, так в Комитете обороны и подсчитали, когда сроки

устанавливали — к этому времени всю гитлеровскую армию перебьем, тогда можно и войну заканчивать.

Холин чувствовал нечто недостоверное в речи наркома — газетчик обязан чувствовать неточность — и чувствовал он так не зря. К моменту нападения на Советский Союз общая численность вооруженных сил Германии составляла 8,5 миллиона человек, из них в Восточной группировке войск Германии и ее союзников находилось 5,5 миллиона человек, в боях было задействовано 47 тысяч орудий и минометов, 4 тысячи танков и около 5 тысяч боевых самолетов. Иными словами, если бы за четыре месяца

боев с Россией погибли четыре с половиной миллиона гитлеровцев, то группам «Норвегия» (той, что дралась за Мурманск и районы выше по карте), «Центр» (той, что занимала фронт от Голдапа до Влодавы, отвечала за захват Белоруссии, Смоленска, Москвы), «Север» (той, что шла на Ленинград) и «Юг» (той, что двигалась по всему фронту на Правобережной Украине), — всем этим группам германских войск пришел бы конец. Если бы за четыре месяца уже подбили тысячу танков, наступление врага захлебнулось бы, — но цифры эти действительности не соответствовали. Сталин говорил

неправду, и Сталин врал с таким перехлестом, что даже Семен Буденный (человек, влюбленный в Иосифа Виссарионовича) дернул щекой. А вот Вячеслав Молотов не шелохнулся. Да, речь прочитают многие, в том числе союзники. И скажут, что цифры неверны. И что с того? Он, нарком иностранных дел, отлично знал, что врут все и всегда, он знал, что, как и где соврали Черчилль и Рузвельт. Так уж устроено, полагается врать, соврем и мы сегодня. Ну да, четырех с половиной миллионов немцев мы не убили. Все обстоит ровно наоборот. Потеряли миллион своих, и два миллиона наших солдат попали в

плен. И еще на захваченных противником территориях остались примерно два с половиной миллиона потенциальных призывников — итого потерь примерно пять миллионов за четыре месяца. Кому надо это знают. Но сегодня уместно сказать то, что говорит Сталин. Сталин превосходно знал, что среднесуточные безвозвратные потери составляют две тысячи триста двадцать человек — или, выражаясь русским языком, каждый день убивают две тысячи триста двадцать русских людей. И это только на западном направлении, это без учета того, что делается на захваченных территориях, где айнзацкоманды проводят массовые

расстрелы и жгут заживо, это без учета голода в осажденных городах, без учета боев на юге и севере. Это без учета бомбардировок наших заводов на Кавказе, наших верфей в Севастополе, наших городов в Донецком бассейне. Только здесь, на фронте длиной шестьсот километров, убивают каждый день столько народу. Председатель Государственного комитета обороны знал, сколько убивают. Но с народом надо говорить именно так, как говорит он, — весомо, спокойно, с паузами, взвешивая каждое слово неправды. Надо медленно и убедительно говорить неправду, и она станет необходимой правдой. Что

полезнее сегодня, в осажденном городе, в мороз, в метель? Знать, сколько конкретно твоих сограждан погибло, — или что мы уже громим врага?

Почему не предвидел заранее, что фашисты нападут, почему допустил вероломное нападение, почему не угадал точное время — его еще спросят об этом. И спал, когда Жуков позвонил, и в себя пришел не сразу. Молчал, слушал слово «война». «Война, товарищ Сталин!» А он молчит. Еще раз, громче: «Война! Бомбят советские города!» И объявил о войне по радио не он, Молотов объявил о войне. И уже кто-то пустил слух, будто он, растерянный, не

выходил с дачи. И скажут: пил. Он не пил, не прятался, в первый день принял двадцать пять человек, одного за другим, спать не ложился. Все равно скажут: пил. И спросят: а что ж ты не подготовился? А если побоятся спросить в глаза, спросят шепотом, друг у друга. Спросили бы они у Александра, почему дал Бонапарту дойти до Москвы, почему отдал Смоленск, почему проспал осеннюю кампанию? А потому, что другого способа нет в России воевать, не придумали еще другого способа — пусть враги войдут и пройдут как можно дальше вглубь, пусть увязнут в России, пусть застрянут в степях. Попробуй удержи

Бонапарта! И Барклай не мог, и Кутузов... А у него нет Барклая, нет у него Кутузова, нет теоретика арьергардных боев, нет гения отступательной войны, нет парфян и братьев Горациев, да и не знает здесь никто про битву братьев Горациев, а есть только механизированные кавалеристы, авторы наступательных теорий.

Генерал Мерецков, которого Сталин помнил еще по Гражданской войне — кавалеристом, Мерецков, проломивший в 1940 году линию Маннергейма, но оставивший в лесах Финляндии тысячи убитых, с подобострастием спросил его две недели назад: «Вы, товарищ Сталин,

сознательно выбрали стратегию Кутузова?»

Это была обдуманная, хорошая лесть. Правильно спросил Мерецков, вовремя вспомнил. Вот оно как теперь будет называться – «стратегия Кутузова»! Сталин выслушал вопрос, помолчал, давая время Мерецкову понервничать, зажег трубку, походил туда-сюда, подымил. Потом объяснил. Объяснил подробно, так, чтобы бывший кавалерист Мерецков донес информацию до друзей:

– Отступление армии Кутузова и сегодняшнее отступление советских войск продиктованы необходимостью, товарищ Мерецков. Если бы Михаил Кутузов мог разбить

Бонапарта в одном-двух сражениях, он бы, думаю, так и поступил. Я лично считаю, что Михаил Кутузов такого шанса упускать бы не стал. Но разбить Бонапарта Кутузов не мог, и поэтому он должен был отступать. Если бы наши войска могли обратить Гитлера в бегство, они бы это сделали. Непременно так бы и поступили. И мы стараемся давать бои гитлеровским войскам там, где есть малейшая возможность удержать поле боя. Разница между тактикой того времени и сегодняшней состоит в том, что мы не оставляем без боя ни один город. Ни один населенный пункт. Если есть возможность обороны дома,

советские граждане бьются за
каждый дом. Мы изматываем
противника боями. Но мы
вынуждены пока что отступить.
Временно. А в остальном вы правы,
товарищ Мерецков, наше
отступление напоминает
кутузовское. Очень верно подмечено.

Выпустил облачко желтого
дыма, помолчал, повторил:

– Очень верная мысль.

И посмотрел на Мерецкова
своими желтыми глазами.
Кавалерист! Теоретик!

Даешь Варшаву, прорвать линии
обороны противника на всю глубину
наступательной операцией!
Теоретики! Пусть спасибо скажут,

что хоть так, с такими вот потерями сумели отойти. Это ведь Ленин их так научил. Его манера, бурное фразерство. «Архиважно взять Варшаву в предельно короткие сроки» Ну, бери, коли можешь. Большие потери за полгода войны – а вы как хотели? А вы бы хотели, чтобы положили вообще всю армию за неделю? Вы бы хотели короткой французской кампании? Только ведь Гитлер уже не придержит танки Гудериана, как под Дюнкерком, когда он дал улизнуть англичанам, – нет, он пришел, чтобы давить и жечь. Сколько, говорите, потерь? Три миллиона? Пять? А вы бы хотели сразу тридцать положить? Еще

положим, дайте срок. Пусть спасибо скажут, что успели раздвинуть границы до границ екатерининской державы, удлинители танкам Гудериана дорогу, заставили пехоту маршировать по длинной и глубокой России. Ничего, русский народ потерпит, мужики умеют терпеть. Сегодня надо им сказать, что мы уже побеждаем, и это не ложь, это настоящая правда — надо лишь понимать, что такое общая правда, а что такое правда одного дня.

Сталин стоял на Мавзолее прямой и надменный, и малый рост его казался Молотову монументальным. Учись, Буденный, это тебе не на лихом коне скакать.

Молотов не позволил себе повернуть голову в сторону Буденного. Он чуть скривил губы под аккуратными усами и скосил презрительный глаз на нервного Буденного. Уймись, кавалерист, стыдно. И Буденный понял, пригладил рукавицей усища, подтянулся, просиял. Еще годик повоюем!

Холин, перепуганный интеллигентик, читал речь Сталина и сравнивал ее положения с заметками на той же полосе. Вот, допустим, заметка — ее поставили справа от речи наркома обороны. «У станции Р. остановили врага». Где эта станция Р., возле которой врага остановили? А возле других станций что, не

остановили?

И совсем странно сказано в отчете о параде: «Для участия в воздушном параде было подготовлено 300 самолетов. Но из-за неблагоприятных погодных условий старт грозной воздушной армады пришлось отложить». Самолеты не взлетели из-за пурги. Даже на параде самолеты не взлетели — а как же они в бой взлетают? «В параде приняли участие грозные танки. Их было 200!» И восклицательный знак — потому что это очень много! — целых двести танков! Но позвольте, 200 танков — это ровно столько, сколько подбили фашистских танков на

станции М. Немцы такое количество танков ради какой-то безвестной станции теряют – и ничего! Но если для немцев двести танков – это пустяк, значит, на параде было пустяковое количество танков. Зачем же все это на одной странице давать? И – страшно, оттого что ничего не понятно.

Вот стоят они на Мавзолее – они-то хоть понимают, что творится?

Сталин щурился с фотографии, смотрел желтым своим рысьим глазом. Два месяца назад обменялся он письмами с британским премьер-министром Черчиллем, попросил помощи. Черчилль прислал ему шесть писем, Сталин в ответ – два. А

что толку было писать? Третьего сентября написал председатель Совета министров, что Советский Союз «стоит перед смертельной угрозой», и попросил начать активные боевые действия на Балканах или во Франции, чтобы оттянуть хотя бы 30 германских дивизий. Черчилль ответил через три дня — написал, что они смогут вернуться к этому разговору после успешного завершения британской операции в Африке. В Африке в те дни было задействовано около тысячи британских танков и более 700 самолетов — втрое больше, чем под Москвой, — решалась судьба итальянской Ливии, важной

колонии, под кем ей быть. Через семьдесят лет операцию против Ливии проведут снова — назовут «Одиссей», а тогда операцию называли «Крестоносец». Сталин прочитал это письмо, никак не отреагировал. Двадцать второго июня Уинстон Черчилль сказал пламенную речь, в частности сказал и такое: «Каждый, кто борется против нацизма, получит нашу помощь. Мы предложили России любую техническую и экономическую помощь, в которой она может нуждаться». Вот, попросили его, два месяца прошло и попросили... Солгал... Солгал англичанин... Каждый день стоил года; Сталин

написал еще через неделю — попросил помощи опять. В те дни маршал фон Бок вышел к Туле. Четвертая пехотная армия группы «Центр» была под Нарофоминском. Сталин попросил у Черчилля военной помощи — прислать в Россию британские дивизии, как некогда посылала Британия солдат во Францию. Шли дни, а Черчилль молчал, а дни были тяжелые. Через две недели Черчилль написал, что со временем будет готов «изучить любую другую форму поддержки», но лишь после того, как война в Ливии будет выиграна. И опять Сталин промолчал, на следующие два письма Черчилля не ответил

вовсе — писать было уже нечего.

Газеты не сказали ни слова про эту переписку, Сталин сурово смотрел с фотографий, а про Черчилля и британскую войну в Ливии журналисты не писали вовсе. В одной газете упомянули Тобрук, потом написали про полуостров Киренаику — и Холин еще спросил: а где это, Тобрук? Почему-то подумал про Монголию. Оказалось, в Ливии. И про действия Японии в Тихом океане, про японо-американские переговоры тоже писали мало. Если вспомнить, что Халхин-Гол был вчера, а самураи злопамятны, вопрос возникает сам собой — вдруг еще и оттуда ударят враги? Что-то там у

японцев с Таиландом? Флот-то они какой отгрохали! Как на это американцы посмотрят? Спросил корреспондент Кобыляцкий на летучке, какие материалы идут по событиям в Японии, а Фрумкина ему ответила: «Вы, Кобыляцкий, беспокоитесь за американский империализм или за самураев?» Черчилль успеха в Ливии не добился: британцев громили и гнали – точь-в-точь как два года назад по Северной Франции. Но не интересовала никого Ливия, и Тихий океан не беспокоил особенно, даже Британия занимала не очень. Интересовало другое. Как так случилось, что за полгода все поменялось? Вслух спросить было

страшно — а про себя думали.

Вчера еще в их газете писали, что Гитлер — друг. Почему так писали — непонятно. Если задуматься хоть на минуту, несуразность союза с фашистской Германией очевидна: как может государство, которое хочет равенства всех людей, заключить союз с государством, которое заявляет, что люди друг другу не равны? Это ведь очевидно. В России говорят, что человек не может угнетать человека, и коллективизацию мы провели, чтобы не было даже незначительного угнетения в деревнях. Мы не могли допустить, чтобы были рабы и господа, — вот и раскулачили

зажиточных крестьян, мироедов. И правильно сделали. А в Германии говорят, что одни люди рождены господами, а другие рождены — рабами. Как нам договориться? Непонятно. Даже, допустим, они нам скажут, что мы не рабы. Но ведь кого-то другого они все равно будут считать рабами. Разве мы можем с этим смириться, если мы с кулачеством не смирились? Непонятно.

Непонятно, почему мы прозевали начало войны. Приехал корреспондент газеты «Красная звезда», человек информированный, рассказал, что генерал Павлов в день нападения пошел оперу слушать. И

даже связь в театр провели, поставили в фойе театра телефон, наладили линию с Верховным штабом на случай экстренных звонков из Москвы. И, мол, генерал с женой в ложе сидел, но ординарец к ним заглядывал регулярно: дескать, пока не звонили. Из Москвы-то не позвонили, а вот из Берлина прилетели – не тот телефон Павлов установил. Генерала быстро привезли в Москву, судили и расстреляли, говорят, он перед расстрелом выпил бутылку коньяка для храбрости. Впрочем, виноват ли он, непонятно.

Непонятно – это когда видишь, что все вокруг плохо, совсем плохо, а

выхода нет. Кто-то внушил в школе, что задачи имеют решения. Сложил два и два, получил ответ, а если затрудняешься, подсмотрел в конце учебника. Чепуха: настоящая задача — это такая, когда нет никаких решений. Если бы решения были, о, что бы это была за жизнь! Но решений нет! Вот в чем штука, нет их! Жизнь и история специально так устроены: решения нет, а надо действовать. Кого бросить — Анну или Любу? Как поступить? Пригласите умного ученого, пусть подскажет, которую из них двоих сделать несчастной.

До того как стать любовницей Анна была другом дома целых пять

лет — приходила к ним на праздники и детские дни рождения. Как всякая бездетная женщина, она не знала, как вести себя с детьми, выражала заботу о ребенке так шумно и неловко, что мальчик плакал, а Люба мрачнела. На детских праздниках главным героем делалась Анна — так хотелось ей сочинить что-нибудь чрезвычайно необычное. Анна приходила с подарками и обижалась, если мальчика не будили, чтобы эти подарки вручить. Поджимала губы, страдала, и тогда Холин будил Пашу, выносил его к госте, сонный ребенок таращился на непонятный сверток.

— Вот это тебе, Пашуня, добрая

тетя Аня принесла!

Анна заворачивала маленькую деревянную лошадку в сто бумажек:

— Разворачивай, разворачивай, Пашуня! Там спрятанный сюрприз! Видишь, Люба, ему нравится такая игра, это же его день рождения, должна же быть игра!

Паша плакал, родители ждали, пока Анна наиграется с ребенком.

— Ты разворачивай бумажки аккуратно, Пашуня! Не рви! Не торопись! Не надо рвать бумажки! Тетя Аня устроила тебе праздник.

Ребенок рыдал, дергал обертки, обертки не кончались.

— Надо иметь терпение, дорогой!

— Дайте скорее мальчику ваш

подарок, ему пора спать!

— Нет уж, пусть он сам до него доберется!

— Ребенку пора спать! Не издевайтесь над мальчиком!

Глаза Анны становились влажными. Она хотела хорошего, она очень старалась. Она была уверена, что семья веселится, всякий раз придумывала что-то исключительно занятное. Очевидно, что Люба ревнует ее к мальчику, она ведь сама — даром что мать! — не подарила ему лошадку! Родить — это полдела, но хорошо воспитать, вот что важно. Мать не догадалась — а это так просто, надо лишь иметь фантазию! — завернуть лошадку в сто

оберточных бумажек. Анна запомнила, что на прошлом дне рождения мальчик говорил про лошадь с настоящим хвостом, и вот достала такую лошадку. А на оберточных бумажках нарисовала елочки и зайчиков, очень трогательные рисунки. Детей она не умела любить, но ей очень хотелось любить детей, это было одним из тех удовольствий, которых ее лишили в жизни, — у нее не было семьи, мужа, работы по специальности, детей. И ей казалось, то, чем она сейчас занимается с Пашей, будя его и заставляя разворачивать бумажки, и есть любовь к детям. Если бы Паша был ее сыном, она сумела бы сделать

каждый его день праздником – ведь ребенку достаточно мелочи, пустяка, бумажки. Ребенка надо понимать! Паша плакал, Люба хмурилась, Анна кусала губы. И Холину было жалко всех сразу – но отчего-то Анну жальче прочих.

Он выходил проводить Анну – та жила недалеко, в получасе ходьбы, поднимался к ней выпить чаю. Анна говорила с ним о литературе – интересовалась поэзией. Потом они стали любовниками. Не было страсти, не было влечения – он прижимал Анну к себе, и это было простейшим способом оградить ее от жизни. Детей у нее нет и уже не будет, и жизнь у нее такая, какая

есть, что уж тут менять, но он обнимал ее, и обоим становилось спокойнее. Люба быстро узнала про эту связь и сказала ему:

– Женись на Анне.

– Не могу. Не могу без тебя.

– Так не бывает.

– Бывает.

– Но я так не согласна. Тебе надо уйти.

Он хотел ей рассказать про любимого Маяковского, про его предсмертную записку: «Товарищ правительство, моя семья это Лиля Брик и Вероника Витольдовна Полонская. Если устроишь им сносную жизнь, спасибо». Но не сказал, подумал, что из-за этой вот

кривой семьи – «Лиля, Ося, я и собака Щеник», а еще тут и Полонская появилась, – из-за этой вот семьи поэт и застрелился. Не хотел говорить про Маяковского, но все же не удержался, сказал:

– Вот Маяковский любил Лилю Брик, а у Лили был муж Осип, а еще он любил Веронику Полонскую.

– Вот и вышло у него не как у людей, – ответила Люба.

Однако Холин не ушел. Он сказал, что нужен Паше, сыну. Все стало непереносимо. И тягостная связь с немолодой женщиной не кончалась несколько лет. И он все думал, что однажды исправит положение. Сделает усилие,

невероятное духовное усилие – и все объяснит, как не сумел объяснить Маяковский.

– Ты был хранитель моей чести, – сказала ему Люба однажды. – И не сохранил.

Он сумеет, он докажет, он сохранит ее честь. Но началась война, и он ничего объяснить не успеет.

Три месяца шла война, и каждый вечер он ходил прощаться к Анне, а потом возвращался и сидел подле сына. Он говорил себе, что никогда от семьи не уйдет, а потом наступал новый день, он шел к Анне, и все начиналось снова. Это временно, говорил он себе, сейчас

такой момент — прощание. Непонятно было — сколько дней отпущено на прощание.

«Непонятно» — слово, которое он говорил себе много раз за последние пять лет.

Непонятно было, когда исчез сосед по этажу, отец Сергея Дешкова, кавалерист Григорий Дешков. Отец Сергея был героем, это знали все. К нему в гости приезжали большие чины, ставили «Паккарды» поперек дороги. Орденов не носил, но все знали, что орденов не счесть, — а сам не гордый, с соседями здороваётся. Отец Сергея Дешкова преподавал в Академии имени Фрунзе, он проходил через двор в расстегнутой

тяжелой кавалерийской шинели, полой шинели ворошил кусты барбариса, перекатывал во рту папиросу. Он снимал фуражку, вытирал лоб, поднимался по лестнице, не держась за перила — хотя нога была больная, он странно выворачивал левую ногу при ходьбе. Но всходил по лестнице быстро и до перил никогда не дотрагивался. Открывал перед женщинами дверь подъезда, даже перед его женой Любой открывал дверь, даже перед Марьей Антоновной, жиличкой из подвала, дверь открывал — а сам генерал, ну или почти что генерал! Они жили на одной лестничной площадке и регулярно здоровались.

Часто так случалось, что Холин выходил за порог как раз в тот момент, когда сосед поднимался по лестнице, и они раскланивались — стоя каждый перед своей дверью.

Однажды, перед тем как войти к себе домой, сосед повернулся к Холину, резко спросил:

— А вот представь: начнется война, и надо будет спасать одну из них. Надо выбрать. Быстро. Двух взять в эвакуацию не дадут. Ты какую из них возьмешь? У Любы сын. А у другой?

Фридрих Холин не нашелся что сказать, опешил. Откуда-то сосед знал о его терзаниях, что-то подслушал. Он не имел права так

спрашивать, привык офицеров жучить в академии, но Холин ему не подчиненный, нет! Сосед больше не проронил ни слова, позвонил в дверь. Открыла домработница, засуетилась, принимая у Дешкова портфель и шинель. А потом старший Дешков пропал, перестал ходить через двор. И кто-то сказал: «Шпион».

Непонятно, как себя вести по отношению к соседям. Сталин даже сказал (а «Правда» это высказывание опубликовала 3 марта 1937 года): «Случается, что товарища, который прошел по улице, где когда-то жил троцкист, сразу же исключают из партии». Сталин сказал так, желая остановить поток ложных доносов —

но число доносов возросло. И даже легко представить, сколько едкой иронии вложил вождь в эти слова: есть среди нас торопыги, всякие «бухарчики», которым только волю дай, они в борьбе с троцкизмом и мать родную со свету сживут. Холин понимал, что слова Сталина истолкованы неверно: вождь хотел остановить поток доносов — а чиновники и обыватели решили, что надо доносить на всех, даже и на тех, кто прошел по улице, где жил троцкист. Но ведь не растолкуешь каждому. И если живешь напротив троцкиста — дверь в дверь — как быть? Они всегда по-соседски дружили с Дешковыми, но вдруг

стало непонятно, можно ли дружить после ареста старшего Дешкова – с его сыном.

– Ты сам решай, – сказал ему Андрей Щербатов, работник НКВД, проживающий в подвале. – Мне лично общаться с ним разрешено официально, но имей в виду, на это я получил специальное разрешение.

– Извини, Щербатов, – сказал ему Холин, – я как-нибудь без разрешения обойдусь.

Сказал резко, и стало страшно: что делаю, ради чего рискую? Выходя на лестничную клетку, опасливо ждал – вдруг сейчас из двери напротив появится Сергей Дешков, что тогда? Непонятно.

И как быть с двумя испуганными женщинами — непонятно. Лучше умереть, чем выбирать, какую из двух спасти, думал Холин. На фронт надо ехать, вот все и станет понятно. Уедет он на фронт, останется прошлая жизнь позади — и семья, и Анна, и дорогой его сердцу дом, отцовская квартира.

Фридрих Холин трогал шкаф и говорил тихо: «До свиданья, мой милый шкаф». Гладил полированные временем створки шкафа и говорил: «До свиданья, до свиданья». Трогал стол и говорил: «До свиданья, милый стол. Мы уже не увидимся с тобой, а я так тебя любил». И он гладил стул и говорил: «До свиданья, добрый друг

стул. Пришла пора уходить из дома – уходить навсегда. Ведь война так надолго, что это почти навсегда. С таких войн не возвращаются».

Со слов Сталина было понятно, что война надолго, а репортажи Фрумкиной о победах – вранье. Он изучал газеты, старался найти закономерности и понять, что происходит на самом деле. Много позже советские интеллигенты стали культивировать это умение читать между строк – Холин пытался освоить чтение между строк уже в ноябре сорок первого. Получалось плохо.

В отличие от того, как это себе представлял Холин, Сталин был

сфотографирован не в тот момент, как начал говорить, а несколько позже, когда он поднял руку, приветствуя танки. Танки, пройдя под Мавзолеем, двигались к фронту. Танков у Советской России было даже больше, чем у Германии, и советские танки были лучше, легче, маневреннее немецких, все это признавали. Только воевать на этих танках не получалось. Сталин поднял руку в приветствии танкистам, а сам вспоминал слова генерала Еременко. Еременко был поставлен командующим Западным фронтом — на смену расстрелянному Павлову, а в августе получил назначение возглавить Брянский фронт.

Принимая командование Брянским фронтом — это было в августе, — Андрей Иванович Еременко заявил председателю Государственного комитета обороны: «Да, враг безусловно очень силен, даже сильнее, чем мы ожидали, но бить его, конечно, можно, не так уж это сложно. Надо лишь уметь это делать!» Сталина предупреждали, что Еременко хвастун и позер, но как это часто бывает, предупреждали об этом качестве товарища такие же хвастуны и позеры. «Значит, можем на вас рассчитывать? Разобьете подлеца Гудериана? — спросил Сталин. — Если обещаете Гудериана разбить, мы вам авиации

подбросим». – «В самые ближайшие дни разобью», – пообещал Еременко, молодцеватый пятидесятилетний генерал с аккуратно подбритыми височками и взбитым коком – и отправился гробить танковые части. В Первую мировую генерал успел повоевать с войсками кайзера, правда воевал он тогда в качестве ефрейтора, больших решений не принимал. В Первую мировую его сегодняшний противник Гейнц Гудериан был уже в чине капитана и войну окончил в Италии, так что встретиться им с Еременко тогда не пришлось. Встретились они под Тулой.

30 сентября 2-я армия Гейнца

Гудериана при поддержке 1-й армии Клейста окружила основные силы Брянского фронта. Гудериан разбил Еременко и вышел к Туле. Генерала Еременко ранило осколком авиабомбы. Сталин не расстрелял его, хотя, по меркам того времени, Еременко заслужил расстрел; как обычно, Сталин поступил вопреки всеобщим ожиданиям: не покарал – а навестил в госпитале, посоветовал генералу себя беречь. Сегодня Сталин фактически слово в слово повторил обещание хвастуна Еременко, точно так же соврал, пообещал сломить врага завтра же, – и оценивая тот, давешний свой разговор с генералом, Сталин подумал, что у Еременко не

оставалось другой возможности, надо было врать – и он врал.

Фридрих Холин читал газету с речью Сталина, сидя с Анной на диване в ее комнате. Диван на ночь превращали в постель, от этого у Холина было чувство, что он в больничной палате: только в больнице днем сидишь на том же месте, на каком спишь ночью. Последние недели он жил у Анны и даже на улицу за папиросами не выходил. Переменилось все в его жизни после разговора его любимых женщин.

Анна неожиданно явилась к Любе, закрыла плотно двери, чтобы ребенок не слышал разговор, и

сказала:

– Идет война, ты же понимаешь, что Фридриха убьют. Он такой человек, обязательно будет впереди. И мы его потеряем. Нам нельзя думать о себе, подумаем о Фридрихе.

Люба молчала. Потом сказала:

– Война.

– И что, если война, надо таких людей, как Фридрих, вперед посылать?

– Он такой же, как все. Война, – повторила Люба.

– Нет! – крикнула Анна. – Он не такой! Он книгу пишет! Он гений! Надо уметь ценить! Надо встать выше! Надо пожертвовать самолюбием!

– Это называется самолюбием – если не нравится, что муж к другой тетке ходит?

– Не думай о себе!

Анна высказала сегодня все – все, что проговорила про себя сотни раз, те соображения, которые давно снабдила убедительными аргументами. Любе просто повезло, ей достался в мужья выдающийся человек, и что ж теперь – у нее на этого человека исключительные права? На каком основании? На том основании, что они вместе прожили двадцать лет, что у них ребенок? Какая ерунда – это лишь стечение обстоятельств. Любе повезло в лотерее – Анне не повезло. Но

любовь Анны не менее сильна, а даже более – Анна не думает о себе, не думает о своей выгоде, вот, слушай, Люба, слушай, какой у меня план!

Анна путано пересказала известную ей историю: вот как случилось со знакомыми ее знакомых, – то была история про то, как человек избежал ареста. За мужем одной женщины должны были прийти чекисты, уже взяли его сослуживцев, и жена поняла, что дни мужа сочтены. Тогда жена собрала чемодан и перенесла вещи мужа к его любовнице – как и все жены, она была прекрасно осведомлена о том, где проживает мужнина любовница и

как ее зовут. Муж переехал на два квартала от прежнего дома, перестал являться на работу, и о нем все забыли. Сначала искали – а потом забыли: город большой, дел у чекистов хватает. С тридцать пятого года (дело было в тридцать пятом году) он благополучно дожил до сорок первого – и никто о нем не вспомнил.

– А потом что?

– Сам пошел в военкомат, когда немцы к Москве подошли.

– А сейчас он где?

– Так убили его в прошлом месяце.

– Хорошо же он спрятался! – в сердцах сказала Люба.

– Вот и я говорю! Не вытерпел! Не удержали его! Нельзя было в военкомат идти! Так бы и прожил еще два года. Война бы кончилась! – и Анна стала доказывать, что Люба думает только о себе, о своей бабьей гордыне, а вовсе не о сыне, которому нужен отец, и не о муже, жизнь которого необходимо спасти.

– Он гений, понимаешь? Он не такой, как другие. Ему нельзя на фронт!

Как и в случае с детской лошадкой в сотне ненужных оберток, Люба понимала, что все, что происходит сейчас, – глупо и вредно, но она не могла устоять перед напором плачущей женщины. И то,

что они обсуждали жизнь и смерть Фридриха, мешало ей найти нужные слова. Она не хотела смерти мужа – и рассудила, что лучше отдать его другой женщине. Люба собрала чемодан Фридриховых вещей, сложила стопкой глаженные рубахи, аккуратно сложила пиджак, завернула в газету новые ботинки – и отпустила мужа к любовнице, переждать войну. Пока собирала вещи, успела сама испугаться – ей привиделось, что она собирает вещи в морг, обряжать покойника. Пусть спрячется, пусть переждет, лучше пиджак отдать в дом к этой ненавистой Анне, чем в гроб положить. И верно, верно, как может

быть иначе – обязательно убьют! Он же такой, всегда вперед пойдет, убьют непременно! Страх вошел в Любу, она трясущимися руками собирала вещи. Папе сказали, что папа уехал на Север, и Фридрих Холин, подчиняясь логике ополоумевших от страха женщин, перешел жить в квартиру Анны – писать роман и спасти свою жизнь.

Он даже успел удивиться тому, что все решилось помимо его воли. Он перенес чемодан в чужую ему комнату, стал спать на чужом диване, пахнущем чужими людьми, и уже не видел сына. Женщину, с которой прежде виделся не так уж часто, теперь видел каждый день, вечерами

ложился с ней под одеяло, ночью вдыхал ее запах — а сына, плоть от плоти своей, уже не видел. Если бы Фридриха Холина спросили, ради чего он все это проделал, Фридрих Холин ответил бы, что требовалось внести в жизнь ясность — вот он и сделал этот шаг. Сидя на диване в неприятной ему чужой комнате, Фридрих Холин думал, что прощался со своей квартирой не зря — прощался перед тем, как идти на войну, но какая, в сущности, разница: вот он уехал прочь от своего любимого стула и любимого шкафа, а куда уехал — разница не велика. Он также почувствовал, что простился не только с женой и сыном — но со

всей родней, которая никогда не была особенно приятна, — но без родни вдруг стало пусто. Прежде на семейные праздники заходили родственники, сидели за столом, пели. Ему это никогда не нравилось, но сейчас он стал по родственникам скучать. Он стал думать о тете Зоре и тете Инне, которые прежде не были ему приятны.

Он переехал к Анне 2 декабря. Анна приносила газеты, рассказывала о своих встречах с бывшими сослуживцами Фридриха. Передавали, будто подозрительная Фрумкина хотела звонить куда следует, а потом сама испугалась — ведь скажут, что в редакции

недоглядели за кадрами. И Анна, и Люба рассказывали всем, что Фридрих Холин вышел из дома и пропал. Такое случилось в Москве — и никто не удивлялся. Так и не стали искать Фридриха Холина, спрятался он за дамскую юбку.

Восьмого декабря Анна принесла газету с заметкой о нападении японцев на американскую базу Перл-Харбор. Фридрих Холин прочитал эту заметку десять раз. «Видишь? На Тихом океане война! Японцы вчера напали!» — «При чем тут японцы! Немцы уже в Нарофоминске!» Действительно, что это он о японцах? Ведь завтра фашисты будут в Москве.

Холина охватил страх за семью — как он мог оставить их, когда немцы рядом? Эта простая мысль даже не пришла ему прежде в голову. Отчего-то все разговоры были о боях под Москвой — а мысль о том, что Москва однажды падет, так и не была высказана. Как он мог? Лицо его искажилось.

Анна поняла; даже и спрашивать не стала, о чем Фридрих думает.

— Пойми, родной, так им даже лучше. Что же изменилось? Ты не смог бы им помочь! Ты должен был идти в ополчение — все равно не мог остаться дома. Тебя бы убили! В первый же день! Пойми. Прошу тебя, будь разумнее.

– Как я мог?! – сказал Фридрих Холин.

– Ты поступил так – ради них самих! Пойми наконец! Ты спас для Любы мужа. Спас для Пашеньки отца! Ты спас себя для них, пойми это! Думаешь, я на что-то претендую? Думаешь, личное счастье устроила? – Анна улыбнулась жалкой улыбкой одинокой женщины. Улыбка эта тронула Холина. – Я не претендую, чтобы ты меня защищал. И жениться на мне не надо. Вот кончится все, вернешься в свою семью.

– Как с Пашей будет... Господи, что я наделал!

– Пашу и Любу надо срочно

отправить в Ташкент. Единственное разумное решение. И я этим займусь! У меня знакомые в Ташкенте. Завтра же поговорю о билетах.

— Как же билеты достать... — Он слышал, что эвакуацию осуществляют по спискам, составленным на рабочих местах.

— Предоставь это мне, я знаю, с кем говорить.

Холин не спросил, с кем Анна поговорит, — было ясно, что говорить ей не с кем. Отправкой семьи в Ташкент могла бы заняться редакция, но о его семье в редакции и заикнуться нельзя. А потом Холин вспомнил: эвакуация закончилась. Уже месяц назад закончилась, теперь

поезду не пройти, на путях немцы. Кто-то говорил в редакции, что последний поезд отправили 25 октября; дескать, давка была на Казанском вокзале. Нет больше эвакуации – ехать некуда. Зачем она обещает, зачем?

Прошла неделя как он не видел сына, и Холину стало мерещится, что сын болен, у мальчика жар.

– Ты не знаешь, как они там? Здоровы?

– Если хочешь, я зайду. Но думаю, это будет неразумно.

– Зайди, прошу тебя. Прощу.

– Неделю ты со мной выдержал, только неделю, – и опять улыбнулась жалкой улыбкой одинокой

женщины. — А я ведь просто хотела тебя спрятать. Для них же спасти.

Прошло еще три дня.

Двенадцатого декабря Анна принесла газету: Германия объявила войну Америке.

— Вот видишь! И они тоже не ожидали... — Как-то само сказалось, вслух не произносили, что Сталин прозевал нападение.

— Меня вот что удивляет, — сказала Анна, — как же это американские адмиралы не подготовились? Как они смогли допустить нападение?

Правда, подумал Холин, как же это американцы прозевали вероломное нападение Японии? На

этот случай послы есть, сотрудники разведки имеются, информаторы... Неужели Рузвельт не ждал? Там ведь какие-то промышленные объекты, нет, природные ресурсы... в Тихом океане, на островах... Да! Про это писали в газете! Человек со стратегическим мышлением должен предвидеть... Ведь Япония воюет много лет — Рузвельт должен был догадаться, мог первым ударить. И вдруг догадка — для журналиста естественная: так, может быть, американцы ждали, что японцы на нас нападут, на Россию? И представилась картина мира: собрались в комнате враги, каждый держит дубинку за спиной, и кто

кого первым стукнет, непонятно. Каждый опасен. Трудно Советскому Союзу в такой компании.

Фридрих Холин спал с той стороны дивана, что рядом с трюмо (бездетная стареющая Анна следила за внешностью), и всю ночь вдыхал запахи парфюмерных изделий, от которых во рту делалось сладко.

Он проснулся, смотрел в темноту, дышал сладкими духами и думал, что произошло нечто очень важное — ему вдруг все стало ясно. Прежде была неопределенность, а теперь наступила ясность. Раньше происходило что-то в Тобруке, что-то на Тихом океане, шли бои под Москвой — и это были как будто

разные войны. А теперь все соединилось вместе — и теперь ясно: вот мы — а вот они.

Днем Фридрих Холин писал за обеденным столом у окна, но роман не получался. Холин ходил по комнате, курил, смотрел через тюлевую занавеску на улицу. Надо написать такой роман, чтобы ответить за все, думал он. Надо описать нашу ежедневную трусость, страх перед Гитлером, страх друг перед другом. Надо описать мое ежедневное вранье. Садился к столу, писал два слова и останавливался. По улице шли грузовики, в них сидели замерзшие москвичи, лица людей были сосредоточенные и

застывшие, словно никаких мыслей и чувств у людей не осталось — а только одно дело. И что бы ни делали люди на улице — чинили машину, носили мешки с песком, заклеивали стекла на случай бомбежки, рыли траншею, — они делали все с остервенением, вцепившись, как псы, в работу.

Фридрих Холин отложил карандаш и встал. Вот уже десять дней как он жил у Анны. Стыд охватил его. Он собрал свой чемодан, скомкав, засунул рубашки, запихнул пиджак — Люба расстроилась бы, нельзя так с вещами — стянул ремни, защелкнул пряжки, вышел за дверь. Дверь захлопнул, а ключи внутри

оставил, чтобы не возвращаться.

На лестнице Холин оступился, чуть было не покатился по щербатым ступеням; удержался, выругался.

Во дворе ополченцы толкали грузовик: на морозе мотор не мог разогреться, водитель матерился, машина не заводилась. Двое пожилых мужчин с красными от натуги лицами упирались в кузов грузовика, стараясь разогнать его на ледяной дороге. Один из них носил круглые очки, очки держались на одной дужке, вторая дужка отсутствовала — при всяком резком движении очки соскальзывали с потного лица, мужчина их поправлял. Холин скинул пальто в

снег, поставил в снег чемодан.

– Помочь?

– Ну, пособи.

Николай Ракитов повесток из военкомата не получал, поскольку адреса прописки не имел. Он объявился в военкомате сам и лишь после того как устроился на завод электриком, — впрочем, навыками электрика Ракитов не владел, к осветительным приборам относился пренебрежительно, а уж как получил он такое хлебное место, остается только гадать. Во всяком случае, Николай Ракитов явился в военкомат в своем шикарном «французском» пиджаке и клетчатой кепке и, войдя без приглашения к комиссару, сказал скандальным голосом:

– Война идет, люди гибнут, население сокращается, а я, стало быть, не нужен Родине?

– Да кто ты такой! – сказал ему комиссар и кивнул солдату, чтобы вывели хулигана. – Сиди вон в коридоре, герой, тебя вызовут.

– Желаю пострадать за Отечество! Имею мечту погибнуть вместе с прогрессивной молодежью!

В профессии электрика Ракитов мало что смыслил, но зато обладал иными навыками: за годы беспризорной юности в совершенстве овладел искусством «крутить шарманку», «убалтывать клиента» – он умел говорить о чем угодно, сводя собеседника с ума

своей напористой искренностью.

— На передовую хочу! В ряды передовой молодежи! Не крути мне руки, солдат! Руки мне пригодятся на фронте! Пусти на передовую!

Однако его вывели, Ракитов смиренно высидел в коридоре военкомата три часа, был допущен внутрь комиссаровых хором и, предъявив заводские бумаги, получил бронь от армейской службы.

— Ты, Ракитов, на своем заводе трудись, помогай армии честным трудом, — сказал ему комиссар Клоков, недоумевая, как получилось, что этот рослый парень до тридцати двух лет умудрился не числиться ни в каких войсках, не пройти срочной

службы, и вообще не иметь приписки к военкомату.

— На юге я жил, — охотно сообщил ему Ракитов, — а там, на юге, товарищ комиссар, пятнадцать лет назад такая была неразбериха! Словно мы никому не нужны, словно не русские мы люди! — опять завел он свою скандальную шарманку. — Вот сам решил: не могу в тылу отсиживаться! Что же я — никому не нужен? Не русский я, что ли? На передовую мечтаю попасть! В ряды передовой молодежи!

— Иди на завод, — сказал комиссар раздраженно, — каждый пусть работает там, куда его поставила Родина.

– Как будто на передовой нет электричества! – нудил Ракитов, переигрывая. – Как будто передовой молодежи не нужен квалифицированный электрик со стажем!

Отличительной чертой Ракитова был развязный юмор. Шутил он грубо и часто переигрывал. Ракитов находил удовольствие в комедии положений. Ситуации в жизни складывались без его участия – это называлось «течение событий», или, как выражался Моня Рихтер, «движение истории», но в событиях этой истории всегда оставалось место для импровизации.

Ракитов любил рассказывать,

как во время облавы на беспризорников он подошел к солдатам оцепления и попросил огоньку — стоял рядом с ними и курил папиросу, давал советы, где искать, и даже способствовал аресту некоторых своих друзей. Сдавать ребят он не собирался — просто увлекся советами. К стукачеству Ракитов склонности не имел, к сотрудничеству с властями — тем более, и он многократно это доказывал. Так, во время розысков его дружка Вити Калинина он подшутил над милиционером, который пришел в многокомнатную квартиру, где проживал Калинин. Ракитов открыл дверь квартиры и

сказал, что проводит, а сам завел милиционера за перегородку к глухому татарину Сейфуллину, любителю мордобоя, обладавшему таким количеством справок об инвалидности, что закон перед Сейфуллиным пасовал. Татарин всегда был пьян и зол; Ракитов толкнул милиционера на татарина и вышел, не прислушиваясь к подробностям драки. А еще Николай Ракитов шутил, когда добывал свой шикарный «французский» пиджак. Дело было так: они с Ниной обедали в кооперативном ресторане на Садовой, официант принес счет. Обычно Ракитов платил щедро, денег не жалел, а тут растерялся — в

пиджаке денег не обнаружилось. То ли его (самого Ракитова!) пощипали в трамвае, то ли накануне спьяну он с кем-то от души поделился. Денег не было, о чем Ракитов и сообщил. Официант пригласил нэпмана — самодовольного владельца трех московских ресторанов.

— Где ж я деньги возьму, когда денег у меня нет? — резонно сказал Ракитов.

— Я обычно беру деньги в своем кармане, — поделился секретом ресторатор.

— Это мысль, надо попробовать! — оживился Ракитов. — Снимай-ка пиджачок, гражданин.

Пиджак служил Ракитову уже

двенадцать лет; самого ресторатора давно расстреляли в лагере под Воркутой, закопали в общей могиле, сгнил труп ресторатора в сырой почве, а вот пиджак его с квадратными серебристыми пуговицами — остался целехонек. Ракитов предполагал, что в последние свои минуты ресторатор был благодарен Ракитову за спасение пиджака. «Небось помянул меня добрым словом нэпман, — говорил Ракитов друзьям. — Небось не раз мне спасибо сказал!»

Еще до нападения Германии многие из компании Ракитова подались на юг — воры ехали в Ташкент, Новороссийск, Ростов.

Считалось, что на юге можно прокормиться подножным кормом, щипать фраеров на солнцепеке легче, — а в столице приходится серьезно крутиться. Сам Ракитов ехать отказался, хотя в принципе отъезд на юг считал делом разумным, даже Сергею Дешкову, сыну врага народа, дал совет — уезжать. Например, Ростов — город вольный, столько раз переходил из рук в руки во время Гражданской войны, что там порядка в принципе нет. Или Ташкент взять — там блатным лафа.

— А сам почему не едешь? — спросил его Дешков.

— Привык в Москве. Большой

город. Люблю.

— А если фашисты в Москву войдут, уедешь?

— Не войдут, не бойся.

На Новорижском шоссе будто бы уже видели немцев. Рассказывали, что немецкие мотоциклисты каким-то образом проехали до самой Москвы и даже выехали, миновав все кордоны, на улицу Горького. Говорили, что немцы заняли Волоколамск. Так прежде уже говорили: немцы на подходе к Воронежу, Смоленску, Можайску. И всегда сначала не верилось, а потом оказывалось правдой.

Немцы под Волоколамском — значит, надо торопиться и немцев

опередить. Николай Ракитов с приятелями (молодым вором Голубцовым, блатным Ракеем и карманником по имени Мишка Жидок) успевал доехать на краденом фургоне до оставленного Красной Армией города и подчищал брошенные Красной Армией склады. Ракитов сильно рисковал, но дело было прибыльным — уже полгода он именно так и работал: успевал приехать в оставленные советскими войсками районы за считанные часы до прихода немцев, подбирал все то, что бросала отступающая армия, возвращался в Москву, продавал на черном рынке. Мародерством это назвать было трудно — скорее

Ракитов прибирал за беглецами, подчищал то, что было оставлено немцам в добычу. Ракитов рассуждал так: «Если я не возьму – фашисты возьмут, я Красной Армии помогаю, мне бы чин надо дать».

Советские войска отступали стремительно, фронт откатывался назад каждый день. Это означало, что рейды Ракитова делались все короче и все опаснее. Прежде они ехали почти полный день до пункта назначения – и возвращались не торопясь, по пути обозревая оставленные деревни.

Ракитов рисковал более, нежели сам он считал: в те дни особым приказом было предписано

отлавливать и расстреливать беглецов. Советское начальство среднего, как сказали бы сейчас, звена, ополоумев от страха, хватало казенные машины и бежало из Москвы. Слух прошел, что гитлеровцы партийцев не щадят — а танки Гудериана подкатились совсем близко, — и председатели профкомов и исполкомов, заведующие и управляющие бросали свои рабочие места, оставляли подчиненным и женам записки уклончивого содержания и уезжали прочь из города. Беглецов ловили и расстреливали. Ракитов ничего этого не знал — а увидев, как прямо возле служебной машины крутят руки

партийному чиновнику, порадовался: «Не все им, гадам, икру кушать!» Встречи с патрулями веселили его незаконную душу.

— Что, служивый, с Гитлером воевать неохота — решил с электриками сражаться? — весело спрашивал Ракитов у сотрудника НКВД, тормозившего машину. — Понимаю, солдатик! Гитлер с пушками — а у электрика из оружия одна отвертка... Током я тебя не убью... Ах, ты не фронтовой, ты тыловой солдат! Так тебя маршал Берия по головке-то не погладит, что ты друга самого Андрюхи Щербатова тормознул! Какой Щербатов? Не знаком? Ну, орел, невысоко ты

летаешь...

И Берия в тот год еще не стал маршалом, и майора Щербатова разумеется, никто из патрульных не знал, но нахальство Ракитова впечатляло – их не трогали.

В последний месяц они слетали под Можайск, подчистили склады, проскочили под носом у фашистов, мокрые от пота доехали до Москвы – и уложились в семь часов. Такая поездка будоражила сильнее, чем квартирная кража, веселила больше, чем ограбление подгулявшего фраера, – надо было успеть, прежде чем в брошенное местечко въедут «Pz~ III», пробежать по опустевшему складу, подобрать ящики с

консервами, снять с убитых оружие, отвинтить рулевое колесо с подбитого «Опеля», распотрошить брошенную полевую кухню. Ракитов рулил краденым фургоном наперерез отступающей армии, ему навстречу шли колонны грязных солдат, обозы с ранеными, беженцы с мешками, а он ехал против течения, в ту опасную сторону, где вот-вот появятся немцы.

Сам Ракитов оружие в ход никогда не пускал и даже нож не доставал из кармана. «ППШ» в машине имелся, нож, уж это само собой понятно, всегда был при нем, лежал в кармане «французского» пиджака, но воевать — такого занятия Ракитов не признавал. Воевать —

увольте, на то у Родины солдаты имеются.

Он не особенно отчетливо представлял себе войну. Газетам по понятным причинам не доверял: газеты не замечали мира, в котором он прожил тридцать лет, его жизнь газетами не бралась в расчет, и он платил газетам таким же неуважением. Регулярные части симпатии у него не вызывали, к мундирам он испытывал неприязнь. Все, что скрепляется печатью, рано или поздно тебя погубит — вот единственный вывод, который можно сделать из российского опыта. Заключили союз с Гитлером, а Гитлер предал? Так это же

естественно! Подписали бумажку, а потом бумажкой подтерлись? Так только и бывает! Вот, скажем, семью Дешковых взять — за примером ходить недалеко. Старик оттрубил в регулярных частях всю жизнь, здоровье на маршировках угробил, служил Родине как цепной пес — и что, пожалели его? Держи карман шире. Ракитов видел, как Дешкова выводили из подъезда, в Ракитове даже шевельнулась шальная мысль — помочь соседу, чисто по-соседски поучаствовать. Но мораль выживания проста: тебя не дрючат — не подмахивай. Да и вообще он политику презирал.

Ракитов гнал свой ворованный

фургон с надписью «Мебель» прямо на колонну красноармейцев и, куражась, свешивался в окно, кричал:

— Орлы! Откуда драпаем?

Фрицы где?

— Куда прешь со своей мебелью?

Рехнулся?

— Мебель стратегического назначения! — орал Ракитов, как обычно переигрывая и получая от того несказанное удовольствие. — Бронебойные столешницы! Разрывные калошницы!

Голубцов и Калинин глядели на Ракитова с обожанием и страхом, Мишка Жидок по трусливому обыкновению вжимал голову в плечи, они понимали, что, куражась,

заступили какую-то важную черту, но остановиться уже не получалось.

— Дальнобойные кушетки! Безоткатные табуретки! Дорогу дай, солдатик!

Почему их до сих пор не пристрелили — самим было непонятно.

Отступавшим красноармейцам было не до них, а немцев они видели издалека. Всякий раз Голубцов, Ранкей и Мишка Жидок божились, что больше ни за что не полезут к черту в зубы, но доход от каждой экспедиции был такой, что страх забывался быстро. В своих отчаянных рейдах они несколько раз едва не сталкивались с германскими войсками — расстояние

от отступавшей Красной Армии до наступавших частей вермахта было ничтожным, — но все-таки не сталкивались. Дважды они догоняли хвост колонны пленных — за первые месяцы войны немцы захватили в плен два миллиона советских солдат, и основной заботой стало, как перегнать пленных на работы. Они видели, как тащатся по снегу раздетые и замерзшие русские люди, и их вели, дирижируя винтовками, солдаты рейха. Калинин — блатной со стажем, знавший, что такое этап, — криво улыбнулся и сказал: «Претензии к конвою есть?». В советских лагерях такой вопрос по уставу задавали зекам в лагере, когда

принимали колонну у конвоя. Жаловаться не рекомендовалось — но теоретически было возможно, Калинин и сам однажды качал права на этапе. Но сейчас, похоже, претензии к конвою в расчет не принимались совсем.

Термин «домашнее рабство» еще не воскресили — эта древнегреческая фантазия посетила державные умы рейха в 1942 году, а до рудников концерна «Фарбен» путь был неблизкий. Всех пленных довести на работы в рудники не рассчитывали и не старались — дороги устилали трупами. Этапы растягивались на много километров, пленных гнали пешком, заставляя проходить по

сорок километров в день. Транспорт не использовали совсем: предусмотреть такого количества пленных заранее не могли, пленных было больше, чем заключенных в пресловутом ГУЛАГе, а там все-таки готовились, бараки строили – и вот полуголым, голодным надо было пройти двести-триста километров до лагеря, где их предполагалось использовать на работах или уморить голодом. Морить голодом – это было вполне внятное предписание командования, не подлежащее обсуждению.

«Важнейшей целью кампании против еврейско-большевистской системы является полное

уничтожение органов власти и истребление азиатского влияния на европейскую культуру». Эта чеканная формулировка фон Рейхенау (в приказе от 10 октября 1941 года) не оставляла поводов для колебаний и разночтений – зато для творческого толкования простор оставляла. Именно как метод пресечения азиатского влияния на европейскую культуру айнзацкомандой «Ц» и зондеркомандой 4а был избран расстрел 33 771 еврея в Бабьем Яру. Расстрел был произведен в течение двух дней – но, впрочем, это ни в коей мере не являлось рекордом европейского культурного

строительства. В те дни было уничтожено по окрестностям вовсе не 33 771 – но 60 тысяч евреев; и это тоже пределом возможностей не являлось.

11-я и 17-я армия (командующий генерал-полковник Герман Гот) тесно сотрудничали с айнзацкомандой «Д» (штандартенфюрер СС Отто Олендорф) и приказ по армии вермахта, приказ Генерала Гота звучал так: «Здесь, на Востоке, борются друг с другом непреодолимые взгляды: с одной стороны, немецкое чувство чести и расы, с другой – азиатское мышление и примитивные, натравленные

кучкой еврейской интеллигенции инстинкты: страх перед кнутом, неуважение к морали, нивелирование собственной, ничего не стоящей жизни. Эта борьба может окончиться только гибелью одного из нас. Третьего не дано».

1-я танковая группа (генерал-полковник Эвольд фон Клейст), та самая группа, что разбила вместе с Гудерианом хвастливого маршала Еременко, действовала вместе с айнзацкомандой «Ц», той самой командой, что способствовала очистке Киева от еврейско-азиатского элемента. Теперь войска эти были под Москвой.

Непосредственно за частями

вермахта входили айнзацкоманды, которые, по выражению бригаденфюрера СС доктора Отто Раша, начальника айнзацгруппы «Ц», «добились полного взаимопонимания со всеми подразделениями вермахта, так что войскам, ведущим бой, требовалась поддержка от айнзацкоманд». Айнзацкоманды — то есть те, кто расстреливал и сжигал гражданских, кто пресекал партизанские вылазки, кто карал местное население за попытки саботажа, — действовали в так называемой прифронтовой полосе, но постепенно эта полоса так размылась, что локализовать действие айнзацкоманд было

невозможно. Доктор Франц Шталекер, бригаденфюрер СС и начальник айнзацкоманды «А» высказался так: «Сотрудничество с вермахтом протекает очень хорошо, а в отдельных случаях, как, например, с 4-й танковой бригадой, протекает сердечно». Именно эта сердечность во взаимоотношениях айнзацкоманд и сугубо войсковых подразделений и требовала того, чтобы расстрелы гражданских лиц начинались непосредственно вслед за тем, как в город входили войска. Расстрелы проходили — вопреки мифу о неучастии в карательных акциях солдат вермахта — в непосредственном присутствии или

при непосредственном участии боевых подразделений.

Миф о том, что солдаты вермахта (тем более офицеры вермахта) не принимали участия и не были осведомлены о массовых казнях (акциях, как их называли), — этот миф создали в 1946 году стараниями пленного германского фельдмаршала Франца Гальдера, привлеченного американцами к работе в качестве директора штаба Военно-исторических исследований. Гальдера оправдали во всех судах, он привлек к исследованиям до ста пятидесяти генштабистов, из тех, что работали с ним в России, на липкой от крови земле. За несколько лет

исследований вермахт полностью реабилитировали, от ненужных документов избавились, и Гальдер удостоился высшей американской награды для гражданских лиц, а затем мирно доживал в своем домике в Баварии. Хотя Франц Гальдер и прошел денацификацию и был объявлен вроде как не воевавшим и не причастным к плану «Барбаросса» — его тем не менее похоронили с воинскими почестями в Мюнхене; к числу его побед следует отнести и то, что он обелил вермахт.

В 1941 году исследования о непричастности вермахта еще не проводились, а потому солдаты работали в акциях бок о бок с

членами айнзацкоманд.

К Волоколамску была приписана выдвигная айнзацкоманда «Москва» (начальник Франц Альфред Зикс, в прошлом профессор Кеннигсбергского университета, затем декан факультета международных исследований Берлинского университета, затем глава VII отдела РСХА по изучению мировоззрений, командирован Гейдрихом под Смоленск, для вычищения еврейских интеллектуалов) — и задания у профессора были масштабные.

Молодой жиган Коля Ракитов про эти подробности не ведал, в юдофильстве замечен не был. Даже

если бы он случайно и узнал про еврейские погромы, то, вероятно, эмоций бы не испытал. Среди его друзей евреев не было – вот разве Соломон Рихтер, аргентинский товарищ, ну так это экзотика! Мишка Жидок свою национальность не афишировал, а слово «жидок» ничего особенного для его друзей не означало: ну, Жидок – и Жидок, мелкий потому что.

В Волоколамск они приехали уже после того, как туда вошли немцы. Легендарная Панфиловская дивизия была уничтожена неделю назад, Волоколамский укрепрайон лежал в руинах, друзья проехали на своем мебельном фургоне по свалке

горелой техники, такого побоища им видеть не приходилось. Ракитов оставил свой фургон возле первой линии домов, прикрыл машину еловыми лапами и тополиными ветками, дворами прошел вперед — посмотреть, что можно здесь прихватить. Похоже, приехали они напрасно — приехали на пепелище. В то время как они подъехали, расстрел еврейских детей уже закончился, пленных солдат и комиссаров истребили еще накануне, а сейчас оставались сущие пустяки — надо было прибрать место казни.

В период от начала войны с Россией (то есть с июня сорок первого года) и до апреля сорок

второго – был издан ряд приказов, беспримерных для германской армии, да и для любой другой армии тоже, – то был отказ от международных основ военного права. Существует три популярных мифа на этот счет. Первый, романтический миф заключается в том, что кадровые германские военные противодействовали решениям нацистской партии, – они воевали с противником, но не уничтожали гражданских лиц и пленных. Второй, исторический миф гласит, что Советская Россия сама виновата в судьбе своих пленных, поскольку не подписала Женевскую конвенцию.

Третий,

сентиментальный миф утверждает, что генерал фон Браухич, главнокомандующий сухопутными силами рейха, пытался смягчить судьбу советских военнопленных.

Это все мифология. Высший командный состав рейха, равно как и германское унтер-офицерство — находился в прямом контакте с айнзацкомандами, что подчеркивалось в специальном приказе «о взаимодействии сухопутных сил с айнзацкомандами», о «военном судопроизводстве в соответствии с планом «Барбаросса», «о действиях войск в России» и, наконец, в знаменитом приказе о комиссарах. Сейчас в

ОСНОВНОМ ПОМНЯТ И ЦИТИРУЮТ
ИМЕННО ЭТОТ ПРИКАЗ — ОДНАКО ОН
НАИМЕНЕЕ ВАЖЕН. УБИВАЛИ
КОМИССАРОВ ОСОБЕННО ЖЕСТОКО — НО
ВООБЩЕ УБИВАЛИ ВСЕХ. РЕЧЬ ГИТЛЕРА, В
КОТОРОЙ ФЮРЕР В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО
ПРОИЗНЕС: «МЫ ДОЛЖНЫ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
ПОНЯТИЯ СОЛДАТСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА.
РЕЧЬ ИДЕТ О БОРЬБЕ НА
УНИЧТОЖЕНИЕ», — БЫЛА УСЛЫШАНА И
ПРОИЗВЕЛА ЖЕЛАЕМОЕ ДЕЙСТВИЕ. ЗА
ПЕРВЫЙ ГОД ВОЙНЫ БЫЛО ЗАМУЧЕНО И
УНИЧТОЖЕНО БОЛЕЕ ТРЕХ МИЛЛИОНОВ
СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ — ЭТА
ЦИФРА НЕ УЧИТЫВАЕТ РАССТРЕЛЯННЫХ И
ЗАМУЧЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ НА
ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ,
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЕВРЕЕВ. ТО, ЧТО

советские дипломаты не подписали соответствующий пункт Женевской конвенции, было связано единственно с тем, что советская официальная мораль не могла принять дифференцированного обращения с пленными солдатами и пленными офицерами, – советские дипломаты не подписали Женевскую конвенцию с тем большим основанием, что уже имелась Гаагская конвенция, подписанная Россией в 1907 году и предусматривающая обращение с пленными, – и эта конвенция никем не была отменена. Генерал фон Браухич, командующий сухопутными силами Германии, действительно

выражал недоумение по поводу поголовного истребления советских военнопленных. В самом начале войны им были изданы дополнения к приказам, смягчающие участь советских пленных, — впрочем, просуществовали эти дополнения менее месяца, так как приказом от 25 июля 1941 года сам же фон Браухич их и отменил.

В совокупности с известным сталинским приказом № 270 относительно сдавшихся в плен и их семей, оставшихся в тылу, это практически не оставляло шансов выжить.

Айнзацкоманды, действовавшие на московском направлении

(айнзацгруппа «Москва» например), не делали ничего такого, чего бы не делали их коллеги на других участках работы. Их методы не отличались особой изощренностью — но долг свой они исполняли неуклонно.

Сначала хотели сделать так, чтобы еврейских детей убивали сами евреи. Искали среди еврейских докторов таких, какие согласились бы убивать деток, — в обмен на обещанную жизнь. Восьмидесятилетний доктор Фиделев, которому предложили таким образом спасти себя и жену, отказался, и его вместе с женой запытали. Зато согласился сотрудничать румяный доктор

Ибянский, он мазал губы еврейских детей ядом, и дети впадали в смертельное забытие. Румяный полнощекый врач Ибянский работал без устали, травил деточек не покладая рук, однако довольно быстро выяснилось, что услугами одного доктора вопроса не решить. Разумеется, в скором времени ввели газовые камеры. Но согласитесь, всех еврейских детей не поместишь в газовую камеру, сколь бы этого ни хотелось. В лагерях смерти газовые камеры работали исправно, но что делать, если войска входят в населенный пункт — какой-нибудь Клин или Смоленск, где лагерь еще не построен? Конечно, в Смоленске

евреев — кот наплакал, но это ведь не повод уклониться от воинского долга, не так ли? Скажем, профессор Зикс и в Смоленске сумел исполнить свой долг — отыскал евреев и задушил как крыс. Что прикажете делать в Можайске или Волоколамске, где бараки для пленных еще не построены? Пленных гнали в Ржев, под Ржевом лагерь уже существовал, но всех в Ржевский лагерь взять невозможно, лагерь не резиновый. Передвижных газовых камер (они именовались «газенваген») существовало ровно двенадцать — так, извините, дела не сделаешь. Тогда стали убивать людей более интенсивно, ударными темпами.

Брали город, например Волоколамск, вот как сейчас, взрослых отделяли от детей, расстреливали, затем брались за деток. Как правило, метод массового убийства детей был следующим. Еврейских детей раздевали донага — иногда вместе с ними оставляли и матерей, — а потом дубинками и прикладами загоняли в ров, набивали ров голенькими детьми до отказа и расстреливали копошащийся ров из пулемета. Те дети, кто не поместился в ров, стояли и ждали своей очереди. Данный способ уничтожения еврейских детей, конечно, имел погрешности — не исключена была возможность, что кто-то уцелеет при

массовом расстреле. Но, во-первых, ров засыпали землей и хоронили вместе раненых и убитых, а во-вторых, как прозорливо заметил Отто Олендорф, делаясь опытом с коллегами из других айнзацкоманд, «некоторые командиры подразделений не придерживаются военных методов уничтожения и проводят индивидуальные расстрелы выстрелом в затылок. Я против этого, так как это вызывает нежелательную психологическую реакцию как у жертв, так и у тех, кто производит расстрел». Вещи расстрелянных сжигали, а ценности аккуратные немецкие солдаты отправляли в Министерство финансов Германии,

чтобы исключить возможность личной наживы.

Айнзацкомандам было предписано уничтожать следы своей деятельности в прифронтовой полосе; после акции могилы раскапывали и заливали бензином, сжигали трупы — никто не должен знать, что произошло: зачем истории такие подробности. Иногда, впрочем, людей жгли заживо.

В Волоколамске, куда приехал жиган Ракитов, 600 человек пленных собрали в доме на улице Голышиха, снесли туда охапки сена, заколотили двери, а дом подожгли. Горящие люди выпрыгивали из окон, их расстреливали автоматчики.

Четырехэтажный дом выгорел довольно быстро. Параллельно с этим на окраине шли расстрелы еврейских детей — таковых обнаружилось немного, работа, в сущности, плевая.

Ракитов приехал в город как раз в то время, когда акция была закончена и двое солдат раскапывали ров, чтобы сжечь трупы. Николай Ракитов смотрел, как солдаты раскапывают общую могилу, заливают детские трупики бензином. Двое солдат вспотели, раскапывая могилу, Ракитов видел мертвых детей, рассмотрел трупы внимательно. Солдаты залили бензином ров, подожгли, и Ракитов

почуял запах горелого мяса. Повалил густой черный дым, Ракитов приблизился к солдатам, закрытый от них дымом.

Первого солдата он убил легко: подошел к немцу сзади, всадил нож глубоко под лопатку, нащупал там внутри сердце, повертел лезвие, придержал рукой открытый рот умирающего, чтобы фриц не орал. Второго убивал долго. Поставил солдата на колени, разрезал ему рот от уха до уха, сказал: «Посмейся, фриц», — поглядел, как пузырится кровавыми пузырями разрезанный рот — и только потом перерезал немцу горло. Отпихнул жмурика ногой — уж очень фриц кровил. Весь

«французский» пиджак был залит кровью, Ракитов бросил свой пиджак в огонь. Мишка-жидок подтащил в огонь немецкие трупы. Потом спросил у Ракитова:

– А теперь что будем делать? В Красную Армию пойдём?

– Своим умом проживем, – сказал Ракитов.

Андрей Щербатов вместе с женой Антониной, полной дамой, и отцом Владимиром Андреевичем, пожилым чекистом, получил ордер на квартиру Дешковых сразу после того как был арестован Дешков-старший. Квартира вальяжная, трехкомнатная, окна на три стороны, в каждой комнате – балкон. Щербатов получил в домоуправлении ключи, зашел, постоял на пороге – в эту квартиру он хаживал мальчишкой, когда родители Сергея Дешкова устраивали новогоднюю елку. Дети в ту пору были уже взрослые – по четырнадцать лет, но для них все-

таки наряжали елку, и даже Моисей Рихтер, профессор Сельскохозяйственной академии, живший в соседнем подъезде, надевал красный колпак, изображая Деда Мороза. Пустой коридор с открытыми дверцами стенных шкафов (был обыск), расколота люстра с подвесками (зачем ее разбили?), опрокинутые на пол книжные шкафы — все это расстроило Щербатова. Будто нельзя вести себя пристойно — сотрудники органов все же не в кабак вошли, не в бандитский притон. Явились с обыском к красному командиру, который двадцать лет сражался за Родину. Оступился командир,

связался со шпионами – время такое, что проглядеть шпиона легко. Что мы, не знаем, как это бывает? Враг народа Тухачевский на процессе подробно рассказал, как он попался на крючок вражеской разведке. Шпионов в стране много: с одной стороны Япония, с другой – Германия, там – белополяки, там – белофинны. Какой хочешь документ подделают. Разговариваешь с милым человеком, откровенничаешь, а потом – сплошь и рядом так бывает! – оказывается, что выболтал секреты врагу. А враг готовит тебя к измене изподволь, враг знает, чем тебя прельстить! Враг говорит, что на Родине тебя не понимают, не дают

развернуться. Человек твоего дарования (так говорит обычно враг) в Германии уже армией бы командовал, а то и министром обороны бы стал! И квартиру бы имел соответствующую, и паек богатый. Чтобы всегда в буфете коньяк, и балкон в квартире, и прислуга щи варит. И вот у тебя уже тоска, хочется квартиру побольше, прислугу в переднике, как у генерала. Плюс — тщеславие, фанаберия; этого у красных командиров навалом. Ведь всегда кажется, что тебе мало дали! Ведь они все — высокое армейское и партийное начальство! Гамарник — зампред Военного совета Среднеазиатского округа, первый

секретарь ЦК Белоруссии! Якир –
командующий Закавказским
военным округом! Тухачевский –
начальник Военной академии, член
ЦИКа, заместитель наркома обороны
СССР! Кто же их заподозрит? Вот,
например, Троцкий – ведь сколько
лет, хитрец, маскировался. Правда,
Ленин «иудушку» сразу разглядел, но
далеко не все умеют так внимательно
смотреть, как Ленин. Надо обладать
ленинской проницательностью,
особенно в оперативной работе.
Щербаков даже специально
тренировался перед зеркалом, глядел
по-ленински лукаво, с прищуром.
Взгляд должен получиться такой,
чтобы у подследственного сердце

екнуло: всю подноготную такой взгляд раскрывает. Задаешь вопрос человеку, а потом вот так, с прищуром на подозреваемого смотришь.

Щербатов исправил разрушения, произведенные особистами в квартире Дешковых: подмел осколки зеркала и люстры, расставил мебель по местам, вернул книги на полки, даже порванные страницы заправил в переплет. Прошелся по квартире, прикидывал, в какой комнате им с Антониной спать, куда кровать поставить. Широкая кровать имелась в спальне Дешкова-отца, но Щербатов не хотел селиться в комнату врага народа. Решил: сюда

вот большую кровать перенесем, в комнату Сергея Дешкова; а эту узкую кушетку на кухню поставим: пусть на кушетке прислуга спит. Будет ведь и в нашей семье прислуга. Мы не баре, но прислуга нам положена. И зарплата позволяет. А вот письменный стол Сергея оставим в комнате, пусть будет. Щербатов поднял с пола фарфоровую фигурку льва, забавный сувенир. Богатые люди ставят такие фигурки на столы и полки, пользы от сувениров никакой, детям в них играть не дают, это дорогие игрушки для взрослых. Надо бы отдать Сергею при случае: сунул фарфорового льва в карман.

Что в большой комнате делать —

не придумал. Дешковы гостей в этой комнате принимали, даже инструмент у стенки стоит, на нем, наверное, мать Сергея Дешкова играла. Приходит к ним в гости Гамарник или Якир, они садятся обедать, прислуга вносит щи в супнице с драконами – вон она, супница с драконами, и весь сервиз китайский, – а мать Сережина играет на рояле. А вот Щербатовы на рояле играть не учились, им некогда было, работали с утра до ночи. Придется отдать кому-нибудь рояль. Если только особысты его не испортили. Открыл крышку, сморщился от досады – струны вырваны, все внутри разворочено.

Устал, присел на стул в углу комнаты. Не дело так с вещами обращаться. Да, оступился красный командир Дешков. И что теперь, зеркала бить в его квартире? Инструмент чем виноват?

Щербатов раздумывал, надо ли говорить о своем переезде Сергею Дешкову. Как-то не получалось сказать — не выходило гладко. Дешков был друг детства, и тот факт, что его отец арестован, все-таки прошлой дружбы не отменял. Они встречались во дворе, Дешков представил ему свою жену, кажется беременную. Щербатов спросил как-то у Дешкова — отчего это жена его нигде не работает. И Дешков испугался,

побледнел, не знал, что ответить. Щербатов еще испробовал на нем свой взгляд с прищуром. Посмотрел внимательно и спросил: «Твоя жена почему во дворе так часто гуляет? Заняться нечем? А ведь многие интересуются». Дешков сильно нервничал, не знал, что сказать.

Сами Дешковы в свою квартиру на третьем этаже подняться не решались, а может, им уже сказали, что из квартиры их выписали. Как поступить? Просто въехать — и поставить Дешковых перед фактом? Так и не приняв решения, Щербатов спустился к себе в подвал, поел щей, выпил рюмку водки. Опять задумался. Пока Щербатов

раздумывал, жена его уже сбегала, наняла рабочих, чтобы переносили буфет, разложила по мешкам имущество — выяснилось, что, кроме буфета, и переносить наверх, в сущности, нечего. Жили-жили, а добра не нажили, спали на досках, набитых на козлы, — и сколько же так проспали? Сосчитали, и страшно стало — вышло семнадцать лет. Ну что же, свое мы этому подвалу отдали — теперь можно и в квартире пожить, как люди. Что касается кроватей, то они в дешковской квартире имелись — одной заботой меньше. Что делать с книжными шкафами и пыльными рваными книгами — решить не могли. Дышать

книжной пылью – негигиенично, но выбросить книги Щербатов не желал.

Андрей Щербатов собрался было предложить книги самому же Дешкову – пусть, в конце концов, позаботится о своей библиотеке, но выглядело бы такое предложение странно: не оповестив о переезде, вдруг предложить вывезти книги.

Книги были военные: «Записки» Юлия Цезаря, сочинения Вильгельма Клаузевица, «История тридцатилетней войны» Фридриха Шиллера – солидные фолианты в кожаных переплетах. Григорий Дешков преподавал в академии – вероятно, на этих книгах он

воспитывал будущих стратегов. Андрей Щербатов решил, что такая литература и ему пригодится. Знание военной премудрости не повредит: следствие, любой допрос — это своего рода бой — важно знать, откуда подступить, когда ударить. Щербатов открыл том Шиллера, сел в кресло, зажег настольную лампу под зеленым абажуром — начал прямо с первой страницы, но прочесть больше пяти строк не сумел: очень скучно написано. Короче надо излагать, по существу и без деталей. Открыл он и Цезаря, «Записки о Галльской войне». Вот, говорят: Цезарь — гений; а гений такую тягомотину сочинил! Как же

Дешковы все эти книжищи осилили? Или для виду на полках держали? Сидели эдак вот в кресле, мусолили страницы – и все от фанаберии.

Жена предложила отдать книги соседям напротив: на одной площадке с Дешковыми жили Холины, отец семейства был журналист, а журналистам к литературе не привыкать. Опять-таки книга для цитат пригодится, от книжек газетчику прямая польза. Когда-то молодой чекист Андрей Щербатов и юный журналист Фридрих Холин дружили – но это было давно, когда они еще не стали чекистом и журналистом. Антонина Щербатова взяла пару томов на пробу

– просто чтобы люди убедились, что продукт качественный, – и позвонила в соседскую дверь. Открыла ей женщина с несчастным лицом, по имени Люба, сказала, что мужа дома нет и когда вернется – неизвестно, ушел давно, не появляется несколько дней, а ей самой книги без надобности. Антонина ахнула – да как же вы такое терпите, в милицию надо заявить. А соседка рукой махнула – мне, мол, уже все равно, устала я от жизни. Антонина доложила о разговоре Андрею, и Щербатов руками развел: «Неужели и этого взяли? Не дом у нас получается, а шпионское гнездо. Вот тебе и персонлихкайт! Вот уж

действительно: подвергай все сомнению!» Антонина спросила: «Ты о чем?» – «Это у нас поговорка была в детстве такая».

Тогда Щербатов решил отдать книги семье Рихтеров, он пришел к Соломону Рихтеру, показал книгу Шиллера и спросил:

– Моня, ты профессорский сынок, книжки с детства читаешь. Скажи мне, Моня, зачем люди читают про чужую войну? Триста лет назад это было, а нам своих бед хватает.

Щербатов обнаружил, что спускаться в гости с третьего этажа или подниматься в те же гости из подвала – это ощущения несхожие.

Прежде, заходя к Рихтерам, он чувствовал себя неуютно: пришел в чистый дом грязный служака, книжек он не читает, на иностранных языках не говорит, живет в подвале. А сейчас иное дело – спустился по широкой лестнице из барской квартиры, пару книжек прихватил под мышкой – вот, не угодно ли взглянуть: Шиллер имеется.

— Зачем нам про тридцатилетнюю войну знать, объясни ты мне?

— У нас те же проблемы, — сказал Соломон.

— Брось! Тогда диктатура пролетариата была? Гитлер тогда

был? Про коммунизм и то не знали.

— Коммунизм, — сказал Соломон Рихтер, — люди придумали давно. Задолго до Карла Маркса.

— Ты осторожней, Моня, — сказал ему Щербатов.

— Так Ленин написал в статье «Три источника, три составные части марксизма». Я цитирую.

— Ну, если цитируешь... А что было в Тридцатилетней войне, что сегодня надо знать?

— Общеввропейская война... все интересы встретились... как сегодня.

— А конкретнее?

— Испанская война, например.

— Испанская война?

— Ну да, испанская война.

– Как у нас в тридцать шестом?

– Практически да.

– Я вчера этого самого Шиллера прочитал, – сказал Щербатов надменно, – и что? Не очень интересно. Чем мне это поможет? Ну – чем конкретно?

Соломон Рихтер успел к двадцати пяти годам усвоить манеры своего отца-профессора – он говорил рассеянно, не глядел на собеседника, тянул слова.

– Вот, скажем, врач получает образование по книгам...

– При чем тут врач?!

– Ээээ... да, – сказал Рихтер, – по книгам... Изучает атласы анатомические... он должен знать,

где какая кость... Фармакологию, кстати, должен освоить... Да... Так и с историей. Книги по истории – это как учебник по медицине.

– Моня, ты меня не дурачь. Я твоим книгам, – Щербатов хотел сказать «твоим барским квартирам», эти вещи у него связались в одно, – я твоим книгам цену знаю! Моня, война идет сегодня! С Германией! Другие проблемы!

– Зачем, например, эээээ... врачу... – сказал Рихтер, – читать про болезнь, ведь пациент у него будет другой, не тот, что описан в учебнике? У другого пациента и болезнь будет проходить по-другому. Но типологические черты общие...

да. Кстати, с Германией в Тридцатилетней войне многое связано... эээ... герцог Валленштейн... да.

— Значит, по-твоему, Шиллер чего-то стоит?

Соломон Рихтер поднял брови, соорудил фирменную рихтеровскую гримасу: так и его отец на кафедрах брови поднимал, слушая студентов.

— Кто, Шиллер? Да, эээ... гений.

— Почему он гений? Ну почему? — допытывался Щербатов. — Ну что он такого про войну сказал, чего мы с тобой не знаем?

— Ну... эээ... показал, как религиозная война превращалась в экономическую экспансию...

скажем, союз Швеции с Францией – одни протестанты, другие католики... Дикость, верно?.. Ты сам, думаю, поразился... да!

Щербатов слушал раздраженно, но некоторые выводы делал: решил книгу Шиллера никому не отдавать и вообще подробно просмотреть книги из дешковской библиотеки. Однако Рихтера пора было поставить на место.

– А ты, Моня, в Испании воевал?

– Братья воевали.

– И где твои братья воевали?

– В Мадриде, в интербригадах.

Под Гвадалахарой.

– Что рассказывают? На Тридцатилетнюю войну похоже? –

сказал Щербатов и поразился своему остроумию: вот как надо колоть подследственных. – Сам знаешь, что не похоже. Другие проблемы в Испании. Троцкизм, например. С Троцким в Испании твои братья встречались? – резко спросил Щербатов и посмотрел, прищурившись.

– Нет, не встречались.

– Это я просто так спросил, – сказал Щербатов значительно, – гипотезу проверяю. Не у тебя одного гипотезы есть. Значит, не встречались... Интересно... А сейчас ты где воевать будешь?

Соломон Рихтер удивленно поднял брови. Как раздражала эта

барская манера — Рихтеры в разговоре растягивали слова и удивленно поднимали брови.

— В авиации, разумеется. Эээ... В летное училище еду. В Челябинск. Да, кстати, ты еще Лессинга посмотри.

— Что посмотреть?

— Если уж немецкими романтиками увлекся. Шиллера трудно понять без Готфрида Лессинга и без Гёте. И без Шлегеля, если уж на то пошло. Фридриха Шлегеля, а не Августа, разумеется.

— Не увлекался я немцами, — процедил Щербатов. — Не увлекался! — Как он ненавидел рихтеровское всезнайство и

высокомерие! Более всего оскорбляло, что высокомерная интонация для Рихтеров была естественной; так говорил и Рихтер-дед, и вся еврейская профессорская родня. Смотрели на собеседника рассеянно и роняли слова невпопад — мол, потрудись понять, что я тут тебе наболтал! Фридриха, а не Августа! Ну для чего он вот так сказал? Взял и по носу щелкнул: не читал, не знаешь, не по Сеньке шапка! Унизительно! Щербатов понимал, что Соломон не собирался его унизить, так само получилось. У них всегда так получается. — Не увлекался я немецкими романтиками. И тебе, Соломон, не советую такие слова

громко произносить. Не так тебя люди поймут.

— Вот именно, — ответил Соломон Рихтер рассеянно, — простых вещей люди не понимают! Скажем, драму Лессинга «Натан Мудрый» многие невнимательно прочли. Я не уверен, что гитлеровская команда эту драму вообще читала. Это пьеса про еврея Натана, и фашисты, скорее всего, эту пьесу читать не стали. А напрасно.

— Фашисты, Моня, театром не интересуются. Они самолетами увлекаются и танками. План «Барбаросса» их интересует, Моня, слышал про такой? Захват и порабощение России. «Барбаросса»!

– Вот именно. Знаешь, откуда слово пошло? – Соломон поднял брови, его учительская мимика раздражала. – Фридрих Барбаросса, германский император, возглавил крестовый поход. Третий крестовый поход... эээ... да, третий. Походов было несколько, я тебе расскажу. Ээээ... да, обязательно... Расскажу потом. Вся Европа, так сказать, собиралась и шла на Восток... Так вот, Барбаросса свой крестовый поход проиграл... Драма Лессинга описывает время после поражения Барбароссы... Еврей Натан... если тебе интересно, конечно... Натан дебатировал... дебаты – это такие диспуты... ну, как в суде,

разбирательства... эээ... дебатировать
с одним крестоносцем... эээ, так
назывались участники похода... тебе
интересно?

— Знаешь, Моня, когда будем
отдыхать в Крыму, ты мне
расскажешь. — Щербатов
почувствовал, что его голос окреп,
вернул себе правоту.

— Есть предание, что Барбаросса
спит в горной пещере и однажды
проснется.

— Вот будем на пляже загорать,
ты мне все расскажешь. И с кем
евреи судились, и кто где спит... А
сейчас, извини, времени на
древнееврейские истории нет. Война
идет.

Щербатов сказал это резко, но все же чувствовал, что сказал недостаточно грубо, а надо бы – грубее. Тут надо бы так сказать, чтобы собеседнику стало обидно за свою жизнь, чтобы его прожгло стыдом – чтобы даже его, городского жителя, не видевшего беды в полный рост, проняло. Что ты вообще знаешь про боль, хотел крикнуть Щербатов еврею Соломону, что вы, евреи, знаете про несчастье? Погромы свои только и знаете. Погромы тоже, знаешь, на пустом месте не бывают... Сами виноваты, если хочешь правду знать. Наши мужики, они долго запрягают, а едут быстро. И потом, что такого случилось на

погромах? Ну побили, ну затоптали одного-двух... Не надо, Моня, не нагоняй страху, так надо бы ему сказать. Ты жизни настоящей пока что не видел, не знаешь, как у деревни забирают последнее, ты этого не видел, еврей! Ты не слышал, как голосит баба, у которой мужу вспороли живот, ты не знаешь, как воют над расстрелянными детьми. Вот вы про погромы любите поговорить, чтобы пожалели вас. А в твоей семье детей убивали, еврей? Кудрявеньких ваших жидочков? А видел ты, чтобы вошел отряд конников в деревню и открыл огонь по бабам с деточками? Чтобы прямо с седла лупили из винтовок по

женщинам да норовили попасть в живот? Такое видел? Слышал, наверное, про Петлюру, да только Петлюра далеко... Ты такое видел хоть раз? Эх, еврей! Аргентинские твои драмы... Щербатов решил добавить кое-что, чтобы Соломон запомнил крепко.

— Беды в трудное время хватает, — сказал он. — Например, контры в стране много. И это понятно, Соломон. Потому что война скоро будет, и противник посылает к нам шпионов. Как же без этого, Моня. На то и война. Беда у нас одна на всех, верно? Но конечно, всякому кажется, что самая большая драма у него! Верно, Моня? Иной раз с

женщиной говоришь, талоны на питание она, допустим, ukrала, — а она тебе про своих деточек заливает. Как будто у тех, у кого она талоны ukrала, детей нет. Ухватываешь, куда я клоню? Вот вы думаете, что главная драма — это про то, как коммунисты из Аргентины уехали в Россию. Так вы считаете? А по дороге у вас, может, ридикюль пропал... Или что у вас там приключилось... Исплакались все, верно? А беду тамбовского мужика вы и знать не желаете. Там люди глину с голоду жрали. А потом резали друг дружку — не по злобе даже, а так, сдуру.

Щербатов мог бы рассказать

больше, он мог рассказать, что в Тамбове у него сгинули родные — сестра жены и трое племянников. Родня не кровная, но все-таки. Сестра жены вышла замуж в семью из-под Тамбова, из села Туголуково; кто-то из семьи связался с бандитами, ушел в лес. Красноармейцы разобрали и сожгли семейный дом Валуевых (у тамбовской семьи фамилия — Валуевы), и всех, включая малолетних племянников, отправили на Север. Жена плакала, умоляла узнать, куда их законопатили, Щербатов хотел составить официальный запрос, но начальник отсоветовал. «Они тебе кто?» —

«Племянники. Сестры жениной дети». – «Это хорошо, что не родные, а то, знаешь, и вы с Антониной под приказ попадаете». – «Как это так?» – «А так, приказ № 171 уже отменили, а приказ № 130 никто и не отменял. Семья бандитов подлежит выселению – верно? Ты ко мне приходишь и в данную семью записываешься, я правильно интерпретирую?»

Так и не написал Щербатов запрос – и сгинула женина сестра с детьми, следов от племянников не осталось. И сейчас уже совсем не до них – такая жизнь пошла, что человеческая жизнь вообще ничего не стоит. А все-таки порой

вспоминаешь ребят — и жалеешь. И жена — что же он, слепой? глаз не имеет? — и жена отвернется порой и губы подожмет. Стало быть, вспоминает. Кровь не водица.

— Ты запомни, Моня, в России главная беда — с мужиком, а с вами, барскими детьми, беды великой сроду не случалось. У тебя, я так думаю, с родней все в ажуре? Бульон куриный кушаете, Шиллера читаете?

Щербатов развернулся на каблуках, отметив про себя, что проделал поворот четко, по-военному, и стал спускаться по лестнице. Ну, семейка! Кстати, не случайно это, что евреи русской беды не понимают: они своей земли

отродясь не имели, не боронили, не сеяли. Им защищать, по сути, нечего. Прогнали их с одного места, они собрались – да на другое перешли. Не сеют, не жнут, люди безответственные. Что им ни скажи – у них свое будет мнение. Барбаросса! Придумают тоже! Заняться людям нечем. Немцы в тридцати километрах от дома, а еврей про Крестовые походы вспоминает! Вон – в окно если посмотреть, так можно уже барбаросс увидеть.

Из лестничного окна открывался вид на крыши района, за крышами – Тимирязевский лес, еще дальше Волоколамское шоссе, а на горизонте

– дым. Черный дым, столбом. Там шел бой.

Соломон Рихтер глядел в спину уходящему Щербатову и думал: он действительно знает про братьев — или нет? В том ведомстве, где работает Щербатов, все известно... или так только, пугают?

Старшие братья уехали воевать в Испанию, попали в интербригады, война закончилась — а они не вернулись.

Война в Испании кончилась победой фашистов, Мадрид пал, войска Франко вошли в город, республиканцев отправили в каменоломни, испанские дети-беженцы остались жить в России

навсегда – а братья Рихтеры исчезли. Похоронок не приходило, писем не было, сослуживцев не было, никто не знал, где именно служили братья. Соломон боялся спросить у отца, что тот думает, – Моисей Рихтер приходил домой из университета, отчитав свои лекции, ложился на диван в большой комнате, лежал лицом к стене. А в тридцать девятом году Моисея Рихтера, профессора минералогии Тимирязевской академии, пригласили к адмиралу Кузнецову.

Адмирал Николай Кузнецов во время испанской войны был военноморским советником испанского правительства, этот факт часто

отмечали в газетах. Боевых действий на море велось немного, долго в Испании адмирала не продержали. К моменту встречи с Рихтером он уже стал адмиралом Тихоокеанского флота, в дальнейшем его назначили наркомом Военно-Морского Флота, Кузнецов был очень большим начальником. Письмо в Астрадамский проезд доставил фельдъегерь, козырнул, вручил лично. По тем временам необычное приглашение.

Сутулому и седому Моисею Рихтеру чины Кузнецова были безразличны, понять значение адмирала Кузнецова он был не в силах, но то, что речь идет о

сыновьях, Рихтер понял. Надел серый пиджак и пошел, загребая ногами, к остановке 27-го трамвая.

Адмирал был в то время крайне молодым человеком, ему едва исполнилось тридцать – и старый еврей подумал, что говорит с ровесником сына. Кузнецов предложил Рихтеру чаю и папиросы. Моисей Рихтер не курил, от чая отказался. Сел на стул, какой ему указал ординарец, смотрел на военного за столом. Адмирал взболтал чай ложечкой, создал небольшую бурю, утопил в чае лимон, спросил:

– Вы, товарищ Рихтер, из Аргентины к нам в Советский Союз

приехали?

— Из Аргентины.

— Живописная страна.

— Да.

— Давно в России живете?

— Я здесь родился. Потом уехал.

Потом приехал.

— Прямо роман. В двадцать девятом вернулись?

— Да.

Все про их семью знал Кузнецов.

Тогда зачем спрашивал?

Семья Рихтеров вернулась в Россию в 1929 году. Круг замкнулся: эмигрировали в первом году века — почти тридцать лет прожили на краю света — теперь вернулись. Уезжали в Аргентину, спасаясь от погромов, а

возвращались в первое в мире государство рабочих и крестьян, где нет наций, — все люди просто советские.

Жена была урожденной «портеньо», семья получилась двуязычная. Но с Россией жена была связана даже прочнее, чем он сам — Ида вступила в Аргентинскую компартию, выучила русский. Писала письма Троцкому и его сыну Седову. Ответы хранила в шкатулке, перечитывала со словарем. Когда Моисей Рихтер прославился как минеролог, в его переписке с коллегами появились имена русских ученых. Теперь в их дом часто приходили русские письма — то мужу,

то жене.

В 1929-м Моисея пригласили в Россию, ему написал письмо академик Вернадский; Моисея приглашали участвовать в освоении Керченского месторождения. Тогда часто звали иностранных специалистов. Идеям коммунизма Моисей не сочувствовал, но свою родину помнил. Что же до жены, то она отнеслась к поездке в Москву как к самому главному событию в жизни. То, что она родила четверых детей, было не столь важно, как то, что ее, Иду, зовут в Москву! Она потребовалась русским большевикам, она нужна революции. Ида Рихтер приглашалась как один из

исполнительных директоров
Коминтерна. В Москве ее ждала
серьезная организационная работа.

Пароход шел две недели.
Маленький Соломон бегал по
верхней палубе с красным флажком,
старшие мальчики учили русский
язык. Через семь лет три старших
сына уехали на испанскую войну –
испанский был родным языком, к
семье Рихтеров обратились в первую
очередь.

Профессор Рихтер завел
большой альбом, куда подклеивал
конверты, приходившие от сыновей,
написал на обложке альбома
«Письма из Испании».

Подросток Соломон носил

письма братьев в карманах школьного пиджака, иногда читал их вслух в школе. В их школе такие письма были у него одного. Хотя разговоры об интербригадовцах шли и решение Коминтерна о комплектации интербригад было принято, за испанскую войну в интербригадах успели побывать 27 тысяч человек, а что такое 27 тысяч? За один день в Румбульском лесу или в Бабьем Яру расстреливали больше народу, несколько часов работы печей Трешлики — вот вам и 27 тысяч человек. От СССР отправили в Испанию всего пятьсот шестьдесят человек, трое из них — братья Рихтеры.

Письма из Испании были так же невероятны, как их квартира в Буэнос-Айресе на авенидо Корриентес, как настоящее сомбреро на полке шкафа, как чай мате, который заваривали по вечерам (им присылали огромные пакеты травы для мате), как кастаньеты черного дерева, как аргентинские платья матери. Письма из Испании пахли большим миром и революцией; Соломон гордился братьями и писал стихи.

Соломон спросил отца: «Ты презираешь меня за то, что я не поехал?» Ему было шестнадцать лет, он хотел бежать в Испанию вслед за братьями.

Старший сын Рихтера Алехо служил при адмирале Кузнецове, сперва командовал торпедными катерами, затем стал доверенным помощником адмирала; два средних сына, Лео и Алехандро, сражались в 15-й интербригаде, в 5-м испанском батальоне. Потом письма перестали приходить: 5-й батальон перебили. Потом пришло письмо от адмирала Кузнецова.

— Ваши сыновья, — сказал адмирал Николай Кузнецов и наклонился над столом, чтобы приблизить лицо к лицу старого Рихтера, — храбро сражались в Испании.

— Они погибли? — спросил

профессор Рихтер.

Вообще-то все люди любят детей, но евреи на своих детях помешаны – Кузнецов, как и прочие, слышал много анекдотов про эту гипертрофированную любовь.

– У вас есть еще дети? – спросил Кузнецов.

– Да, еще один сын.

– Пусть он будет счастлив.

– Моих сыновей убили? – спросил профессор Рихтер. Сказал это Моисей обыкновенным голосом, без аффектации, и адмирал Кузнецов поразился отсутствию эмоций у старого еврея.

– Вы коммунист? – спросил адмирал.

— Нет.

— У меня сложилось впечатление...

— Моя жена коммунистка. Я ученый, занимаюсь минералами. Времени не остается на политику. Что с детьми?

— Ваш старший сын, Алехо, пропал без вести. Есть подозрения, что он связался с троцкистскими элементами. Я должен поставить вас в известность.

— Он пока жив? — спросил старый еврей.

— Нет оснований считать иначе. Но он связан с троцкистами, повторяю.

— Он жив? — упорно спросил

еврей.

– Да, – ответил адмирал.

– А Лео и Алехандро?

От 5-го батальона не осталось в живых никого, марокканцы перерезали раненых. Адмирал Кузнецов не ответил на вопрос. Он не рассказал также, что окруженная интербригада посылала вестовых с просьбами о помощи – но помочь им уже никто не мог. Теоретически возможно было их эвакуировать. Но планов таких не было – эвакуация троцкистов даже не обсуждалась. Пятнадцатая интербригада считалась троцкистской, а почему так считали, адмирал не выяснял. Лео и Алехандро были в любом случае

обречены: если бы их не прирезали марокканцы, они были бы расстреляны как троцкисты. Что прикажете ответить еврею? Вместо ответа адмирал задал вопрос сам:

— Скажите, товарищ Рихтер, чем вы руководствовались, когда давали своим сыновьям такие имена?

— Любимые имена, — объяснил еврей.

— Возьмем имя Алехо. Имя давали в Аргентине: почему не Хуан? Не Мигель? Алехо — нетипично для Латинской Америки.

— В честь пролетарского писателя Алексея Максимовича Горького, — сказал еврей.

— Алехандро?

– В честь Александра Пушкина.

– Лео? – адмирал и сам уже угадал.

– В честь Льва Толстого.

– А последнего сына как называли?

– Соломоном.

Адмирал ждал, что будет имя Владимир – в честь Маяковского.

– Никакого писателя больше не вспомнили?

– Соломон был великий писатель, – сказал еврей.

Адмирал не нашелся что ответить. Потом все-таки сказал:

– Имеете в виду притчи Соломона? Насколько знаю, истории царь записывал не сам.

— Гомер тоже не сам записывал, — сказал Рихтер.

И они опять замолчали.

— Что с моими детьми? — спросил еврей русского адмирала, когда молчание затянулось.

— Желаю счастья вашему Соломону, — сказал в ответ адмирал, — скоро большая война, пусть вашему сыну повезет. И вам я желаю удачи.

— Да, — сказал Моисей и вышел из кабинета адмирала Кузнецова.

Старик понял, что трех детей убили, и говорить с адмиралом больше не хотел. Он был внимательным человеком и сообразил, зачем его вызывали.

Слово «троцкизм» адмирал произнес несколько раз, так отчетливо, как только мог, — и глухой бы услышал сигнал. Услышал сигнал и старик Рихтер. Еврей понял, что его сыновей обвинили в троцкизме, а значит, и всю семью могут арестовать. Точнее, могут арестовать оставшихся членов семьи; ведь семьи уже нет, последний сын остался. Адмирал Кузнецов решил уберечь меня, так подумал старик. Смелый адмирал, храбрый солдат. Процессы над троцкистами были делом привычным — адмирал Кузнецов предупредил старика-отца об опасности, а вот спасти самих сыновей не стал, дал им погибнуть.

Ведь сыновья были при нем, в Испании — адмирал мог бы и их предупредить. Интересно, когда их арестовали, он сказал моим сыновьям что-нибудь на прощанье? А ведь ему, наверное, дали на подпись бумажку. Ну, как у них делается. Вот, товарищ адмирал, поставьте на приказе закорючку — собираемся мы расстрелять Рихтеров. И адмирал подписал приказ. Возможно, он сам наших детей и расстрелял. Взял — и расстрелял. Вполне возможно.

Моисей поднялся со стула, постоял перед адмиралом. Он хотел плюнуть адмиралу Кузнецову в лицо и набрал во рту слюны, но плевать не стал. Он подумал, что не сможет

доплюнуть до щеки адмирала, между ними был широкий стол. Прощаться Моисей тоже не стал, зашаркал к двери. Повозился с ручкой, пальцы не слушались, потом открыл дверь, вышел в коридор. Да, очень понятно: детей позвали делать революцию, строить свободный мир. Благодаря революции пришли к власти те, кому революционеры больше не нужны. А его сыновья были коммунарами. Их так воспитали. Коммунаров убивали.

На Кузнецова старый еврей больше даже не взглянул.

Когда дверь за евреем закрылась, Кузнецов подумал, что напрасно проявил несвойственную полководцу такого ранга человечность, — в ответ

получил заурядное хамство
обывателя. Приглашать Рихтера было
ошибкой, было заранее понятно, что
еврей не поймет и не оценит. Почему
адмирал просто не послал вестового,
зачем устроил аудиенцию? Испания
связала интербригадовцев
неуставными отношениями, вот
адмирал и позволил себе сочувствие,
извинительное, вообще говоря,
чувство. Под огнем в Мадриде люди
давали себе несуразные обещания — и
некоторые из этих обещаний
выполняли. Для чего понадобилось
предупреждать старого Рихтера? За
доброту мы всегда платим, проверено
веками. Кузнецов горько усмехнулся;
досада на собственную мягкотелость

занимала мысли адмирала некоторое время. Но скоро важные дела вытеснили эту оплошность из памяти. Впереди у Кузнецова были тяжелые дни — а закончились они однажды тем, что его обвинили в передаче секретных чертежей иностранной державе, судили и разжаловали. Но до этого надо было еще дожить и долго воевать.

Моисей, вернувшись домой, лег на диван, и домашние не решались с ним говорить.

Ида Рихтер, женщина волевая, потребовала отчета лишь на следующий день. Соломон вошел вместе с ней в комнату Моисея.

Моисей встал навстречу;

карикатуры, которые рисовали на евреев в Германии Гитлера или во Франции времен Дрейфуса, довольно точно передают облик Моисея Рихтера — старик был смешным и пугающим одновременно: белые жидкие космы волос, ввалившиеся щеки, огромный крючковатый нос, безумные глаза, горящие ненавистью к гоям. Когда Моисей кричал, видны были его кривые щербатые зубы.

— Он не Робеспьер! И не Бонапарт. Вы заблуждаетесь, коммунисты, когда думаете, что ваш царек — Бонапарт! Нет. Он — Тьер! Я понял, кто он, твой кумир!

— Замолчи, — прошептала Ида.

— Тьер. Тьер. Тьер.

– Прошу тебя.

– Дал расстрелять коммуну. Дал пруссакам разбомбить Гернику, дал Франко взять Мадрид – вот они идут, новые версальцы из Марокко! Новые версальцы расстреляли новую коммуну. Тьер им разрешил! Тьер позволяет! Идите, пруссаки! Стреляйте в коммунаров! Третья республика! Третий Интернационал! Вот вы как сделали! Теперь к власти пришел новый Бисмарк – и спрашиваете, кто виноват! Не догадались?

Со стороны это звучало как бессмысленный набор слов; даже если бы слышали соседи – никто ничего не понял бы. Но Ида и

Соломон поняли — это была образованная профессорская семья. Они знали историю Франко-прусской войны.

— Проклинаю! Проклинаю!

— Они живы?

— Спросите у своего Тьера!

Маркса своего спросите — это ваш Маркс написал вашу азбуку «18 брюмера», вы ее наизусть выучили!

— Тише, прошу тебя!

— Тише?! Почему? У нас нет секретов! В брошюре товарища Карла Маркса все описано. Подробно! Чтобы порадовать Бисмарка и удержать свою буржуйскую власть, Тьер дал расстрелять коммуны. А вы не

знакомы с данной брошюрой,
гражданка?

– Тише!

– А зачем нужна коммуна?

Зачем нужны коммунары?

Пригласите прусские войска!

Позовите версальцев!

Моисей тряс головой и смеялся.

Вскоре Ида вынуждена была обратиться к врачам: старый еврей перестал разговаривать; он лежал на диване, не принимал пищу. Моисея увезли в нервную клинику, он подчинился врачебному решению – без жалоб провел в больнице год; возможно, поэтому семью не тронули. Соломон навещал отца, гулял с ним под руку по больничным

коридорам. Когда Моисей вышел из больницы, его восстановили в Сельскохозяйственной академии, но уже не заведующим кафедрой – дали место при Музее минералогии, поручили описывать коллекцию. Моисей имел возможность работать дома, заполнял карточки, складывал карточки в картонные ящики. С тех пор как его поместили в клинику, он не произнес ни слова – смотрел на людей, трогал предметы, писал данные о камнях на карточке, но никогда уже ничего не говорил.

Даже когда в их квартире появилась Татьяна Кузнецова – Соломон привел жену, – старый Моисей не сказал ни единого слова

жене сына. Улыбнулся снохе, а говорить не стал.

Так они прожили три года – в молчании, – а потом началась война.

Соломон должен был ехать на Урал, в летнюю школу. На учебу полгода – и бомбить фрицев.

– Ты береги отца, – сказал Соломон Татьяне. – Он много пережил, позаботься о нем.

– Ты завтра едешь?

– Сама знаешь. Завтра.

Татьяна сказала Соломону:

– Пойди пока за кашей – вон, приехали к парку солдаты, кашу раздают.

Вдоль ограды парка стояли машины, и много – долгая череда

машин. Вдоль колонны машин выставили караулы, через каждые десять метров – солдат с автоматом. Это были не ополченцы: одеты аккуратно, оружие начищено. Поставив полевую кухню поперек Астрадамского проезда, солдаты варили кашу, и татарчата из соседних барачных подсуетились, прибежали с бидонами. Подходили и женщины, протягивали миски. Татарские женщины занимали очередь по два раза, смешно прятали лицо в платок, делая вид, будто это уже другая женщина подошла, – а повар смеялся и наливал всем. Солдат, разливавший большим черпаком жидкую перловку, тоже был похож на татарина –

плоское лицо, широкие скулы, раскосые глаза.

Соломон увидел, что все солдаты такие — плосколицые и косоглазые.

— Вы откуда?

— Триста семьдесят вторая стрелковая, алтайская.

— Войны с япошками не будет — значит, решили фрицев бить, — сказал другой солдат, похожий на японца.

— А много вас приехало?

— Разное говорят, — ответил повар осторожно. — А ты кто такой?

— Не шпион, не бойся! Русский я! — сказал еврей Соломон раскосому солдату.

— Кто говорит — шестнадцать

дивизий прибыло. А кто говорит: десять. Я лично знаю, что омичи здесь.

— Больше нас! — крикнул похожий на японца. — Тут все двадцать дивизий! А ты сам какого полка будешь?

— А я в Челябинск еду, в летнюю школу.

— Летчиком, значит, будешь?

— Бомбить буду.

— Ты, товарищ, быстрее учись, а то, пока выучишься, мы всех фрицев перебьем, тебе бомбить некого будет!

— Ничего, — сказал другой, — ему тоже достанется. Вот, поешь каши, набирайся сил.

И жидкая каша текла по стенкам

бидона.

План назывался «Барбаросса» в честь германского императора Фридриха Первого, Гогенштауфена, прозванного Рыжебородым. Фридрих Барбаросса был одним из тех великих немцев, которые объединили распадающуюся Европу, наследие Карла Великого. Объединил ненадолго, заплатил дорогую цену – но он показал, что это можно сделать! То был сизифов труд великих германских кайзеров – объединять то, что рассыпалось в прах прямо в руках; они обозревали руины – и начинали строительство заново. Они катили камень империи

вверх, в гору, то был неблагодарный тяжелый труд – и многие падали, так и не дойдя до вершины.

А когда один из династии добирался до вершины и видел земли окрест, охватывал всю европейскую славу единым взглядом, тут же оказывалось, что час торжества императора короток – камень империи вырывался у него из рук, рушился вниз, разбивался на части.

Следовало начать все заново – и находился новый германец, упорный, истовый.

С тех пор как Священную Римскую империю Каролингов распри растащили на три части, Европа только тем и занималась, что

пыталась собрать себя обратно в единое целое. Короли Апулии и Сицилии, герцоги Бургундии и короли Германии, лангобарды и швабы, саксонский дом и салическая династия, франконская династия и Вельфы — из них всегда выделялся один неистовый упрямец, фанатик европейской идеи — и тщился склеить то, что однажды построил Карл Великий, а потом Лотар, Хлодвиг и Карл растащили, как сороки по гнездам. Как отказаться от великого замысла?

От Балтийского моря до Средиземного простиралась великая земля, изрезанная проливами и покрытая лесами и скалами, земля

богов, воспетых Гомером, и героев, описанных Плутархом. Единый план некогда связывал это пространство, и план этот еще помнился детьми и внуками героев, план этот волновал кровь королей. Курфюрсты и герцоги шли под знамена новых претендентов на корону императора, горожане упражнялись в искусстве уличного боя, женщины рожали будущих ландскнехтов и рыцарей. Говорят «Столетняя война», «Тридцатилетняя война». Война никогда не кончалась, европейцы воевали всегда. Обделили землями Лотаря — и вот вам война, вырвали скипетр у Людовика Благочестивого — и вот вам война! Образ единства

манил – зачем нужна Утопия Мора, если утопия – это сама история Европы. Ведь помнят все: было однажды время, когда сидел на стене приятной округлости джентльмен по имени Шалтай-Болтай – то была цельная империя, – и вот упал этот джентльмен и разбился на части. И все королевские конницы, и многие королевские рати тщились соединить Шалтая-Болтая воедино – но дело это никому не удавалось.

Генрих Птицелов, Оттон Первый Саксонский, Фридрих Барбаросса Гогенштауфен и Карл Пятый Габсбург – все они соединяли великую Европу в одно целое, а потомки пускали по ветру их труды.

Гитлер был последним из Вайблунгов, из тех, кого в Италии именовали гибеллинами, или имперцами, — он был продолжатель дела саксонских королей и Гогенштауфенов, Габсбургов и Виттельсбахов, тех, кто собирал Европу в единое жизнеспособное целое.

И когда Адольф глядел на обескровленное тело Европы, которое ему предстояло вернуть к жизни, он понимал, что миссия — больше его самого; он — избранник; он — в череде великих королей. Ефрейтор, говорите вы? Поглядите на портал Нотр-Дам: там, над нашими головами, стоит шеренга

каменных королей, и каждый из них — всего лишь ефрейтор мировой битвы. В пещере спит Шарлемань, готовый подняться по звуку рога и повести своих германцев в бой, — Европа снова будет великой, это дело солдата. Ефрейтор, говорите? Да, ефрейтор — и погоны маршала не нужны, он не кичливый азиат, чтобы вешать себе на китель аксельбанты генералиссимуса.

Непосредственно перед ним это проделал Бисмарк — собрал воедино пеструю Германию, подчинил Австрию, сломил Французскую республику, зачистил Париж от коммуны городских мещан. Мир уже обрел форму — и опять сорвалось!

Началась большая, великая
очистительная война, которая
закончилась социалистическим
фарсом. Драма века превратилась в
пошлейшую комедию. Марксизм,
материалистическое учение, не
понимающее величия духа народа, но
предлагающее людям
руководствоваться низменными
инстинктами, — превратило великую
войну Европы в революционный
балаган. Миллионы легли на полях
Вердена и на Марне напрасно.
Рассыпался европейский мир!

Так бывало и прежде,
европейский мыслитель обязан
запастись терпением — пристало
разве гибеллину сетовать на

поражения? Встань и иди. Сизиф свободен в своем бесконечном подвиге, потом это скажет французский экзистенциалист, а ему это приходилось доказывать жизнью, не риторикой. Втащить на вершину горы камень римской славы, добиться того же, чего добивались иные цезари и кайзеры, — но сколько тех, кто не добился, кто сломал себе шею! Неблагодарный труд, но неизбежный: Европу следует восстановить. Этим вдохновлялся Людендорф, а вот сейчас решить задачу объединения выпало ему, австрийскому художнику, ефрейтору Арденской битвы, сентиментальному брюнету с голубыми глазами. О, мир

давно почувствовал, что в руках этого ефрейтора сошлось много нитей! Политика — это судьба, сказал однажды Наполеон — и судьба ефрейтора была очевидна всем политикам мира. Еще когда торжество его было неявно простым обывателям, деловой мир уже понял, кто будущий строитель Запада, — на обложках журнала «Таймс» стали публиковать фотографии Адольфа. Моменты славы, подсмотренные льстивым фотографом, — так в девяностые годы все того же двадцатого века на обложках стал появляться российский лидер Ельцин. Как и к реформатору Ельцину, на встречу с которым

хлынул деловой мир: на поживу, на растерзание страны, точно вороны на брашно, — так ринулись к Гитлеру дельцы и финансисты. Он еще не был главой государства, его только вчера перестали преследовать полицейские, а на тайную встречу с ним в тридцать втором, в январе прилетел глава Английского банка сэр Монтегю Норман, и — голова к голове — они проговорили долгий вечер на кельнской вилле барона фон Шредера.

Чем не встреча императора Фридриха Гогенштауфена с папой римским Адрианом IV? — так говорил себе Гитлер. Глава финансового мира, он и есть современный папа,

ибо религией сегодня является, увы, экономика. Христианство ослабило дух нации, а экономика – развратила людей, в этом несомненное сходство. Экономика стала новейшим заветом современного буржуа; спросите толстосума, во что он верит, и он укажет вам на книги бухгалтерского отчета. Материалистическая логика отменила героизм, перечеркнула будущее Европы. И какая же разница в том, как называть упадок духа – социализмом или капитализмом: и то и другое суть учения материалистические, то есть смертные. Так рассуждал Гитлер, так он писал в «Майн кампф», и логика его была следующей.

Империализм проиграл войну четырнадцатого года социализму — так порой говорят; социалистам показалось, что они вырвали у истории победу; но это ошибка. Глупцы! Они не додумали до конца то, что произошло. Марксизм подвел своих учеников. То была пиррова победа: социализм встроен в тело империализма, и когда империи пошли на дно, они всей своей тяжестью потянули за собой интернациональную идею социализма. Вот в чем сила момента! Социализму интернациональному уже не всплыть! Материалистическое интернациональное учение не может победить там, где требуется

национальный дух. Социализм
национальный — вот ответ новой
Германии.

Консервативная революция
отвергает империализм, но вместе с
ним отвергает и пустой
интернациональный социализм.
Европеец может стать свободным
только через свободу своей нации.
Нация — это дух, единство, братство.
Национальный социализм — родовое
братство европейца — вот в чем
правда этого дня! И ему выпало
объединить разоренную Европу вот
этой идеей.

Это вам не судьба сибарита
Гельмута Коля, которому
объединенная Германия упала в

жирные ладони в качестве подарка от русского дурачка-реформатора, пятнистого безумца. Ему, Гитлеру, приходилось выгрызать каждый сантиметр пространства. Ему, как Фридриху Барбароссе, как Генриху Птицелову, надо было пройти путем рейтаров по дорогам Европы, — слышите ли: путем рейтара, не ефрейтора! — и присоединить богемцев и австрийцев, Лотарингию и Аквитанию, влить их кровь в обескровленную Германию. И тогда в Аахене и Реймсе, в Кельне и Риме — во всех городах Священной империи, где принято короновать королей, будут славить его подвиг, и железную

корону Лангобардов наденут на его чело. Он пройдет с верными и преданными сквозь огонь горящих городов, а если надо, он пройдет по трупам. Дух Европы (такой дух есть, не сомневайтесь, зовите его Воданом, если хотите, это не существенно) сегодня вселился него. Дух Европы живуч, его не пропили мещане, его не проиграли в рулетку декаденты. Жалко немцев? Да, многие неизбежно погибнут — вот уже и Валькирии летят над германскими городами, выбирая жертв завтрашней битвы, тех, кто первым пойдет в Валгаллу. А вслед за Валькириями над городами полетит английская авиация, и жестокий

маршал Харрис, убийца Харрис, спалит дотла Дрезден. Но если отступить сейчас, если не идти напролом, — люди погибнут все равно! Социалисты их впрягут в строительство утопий, империалисты сгноят их на фабриках, а потом — так или иначе! — заставят людей воевать друг с другом за прибыль. Немцев не убереечь. А следовательно, незачем делать вид, что работа сегодняшнего дня избыточно грязна. Просто конкретная работа — и только. Он эту работу сделал, он ее сделал хорошо.

Мы должны положить конец иудейскому царству золотого тельца, говорил Гитлер и добавлял:

величайший идеализм, доходящий до
фанатизма, — вот ключ к победе!
Марксизм, проклятый марксизм,
материалистическое учение,
измельчившее души,
профанировавшее социализм и
братство! Истина в том, что у
каждого народа — свой собственный
социализм. Интернациональной
идеи нет, это нонсенс. И постепенно
все поймут, и уже понимают, что
марксистская еврейская спекуляция —
дорога в пропасть! Позже скажут, что
у всякого народа — своя демократия!
И можно пари держать: придет
время, и скажут, что и либерализм
есть идея национальная. Это
понимание неизбежно: идея

интернациональная начинает работать только оформившись как национальный интерес: так было с христианством, так было и с коммунизмом. Важно то, что духовное начало нации невозможно сломать, нельзя заменить его материалистическим интересом классовой солидарности. Наше братство, наш социализм — существует изначально, народную правду нельзя заменить параграфом из учебника экономики.

Сегодня ему потребовалось
встречаться с банкиром Монтегю
Норманом; ничего, он потерпит, он
спрячет гордыню. Прежде
германские императоры должны

были целовать туфлю пап, а папы плели за их спинами интриги, продавали их земли своим племянникам и тайным сыновьям. Партия гвельфов, папистская партия всегда стояла на пути гибеллинов. Теперешние гвельфы вооружились теорией прибавочной стоимости, гвельфы нынче стали коммунистами! Велика ли разница: верить в убогого Христа или в классовую солидарность?

Борьба гвельфов и гибеллинов определила европейскую историю. Центробежные силы и центростремительные, папизм или империя, разбрасывание земель или собирание земель, коммунизм — или

глобализация. Война Гитлера, как война любого из Вайблунгов, служила делу объединения – и враг этой идеи был очевиден. Гитлер называл врага «мировым еврейством» и уничтожал еврейство последовательно. Но разве одними евреями измерялась история? Как сказал русский философ-националист Иван Ильин, «я категорически отказываюсь расценивать события в Германии с точки зрения немецких евреев. Я понимаю их душевное состояние, но не могу превратить его в критерий добра и зла». И впрямь, «мировое еврейство» – понятие шире и значительнее, чем судьба одного

обиженного несчастного еврея.

Вельфы (исконное немецкое имя), или гвельфы, победившие некогда во Флоренции, дали жизнь республиканской идее, это центробежные силы Европы, таким всегда будет выгоднее условное подчинение далекому Риму или далекой Москве, участие в нелепых конгрессах Коминтерна и обременительных Крестовых походах — и полное забвение своей национальной идеи. «Стыд пленительного края», сказал о таких Данте. И католическому Риму, и красной Москве выгодней опираться на союзы вольных баронов и корыстных партийных секретарей, на

далеких Тельманов и Ибаррури, на
продажные республики: папы и
коммунисты страшатся сильной
национальной империи. Еще бы:
ведь если на века воцарится единая
империя, партийным секретарям и
папам, с их развратной моралью,
места уже не найдется.

Вайблунги, иначе гибеллины,
ненавидящие продажность пап,
непотизм и рыхлую мораль
городов, — вот кто спасает единство
Европы. Банкирские еврейские дома,
коммунистическая
интернациональная пропаганда,
вульгарные славяне, богемские и
татарские набеги, разоренные
войной города, гунны, чума и голод —

оснований для объединения Европы хватает, — выстоять можно только вместе. Гибеллины, охранная каста Водана, отстают европейскую идею, а гвельфы — готовы ее предать.

И удивительное дело! — даже символы в веках совпадают: гвельфы украшали себя красными цветами, а гибеллины — белыми. Как тут не поверить в преемственность идеи. Гвельфы и гибеллины в каждое время назывались по-разному, они являлись истории в разных ипостасях: сходились в боях во времена Французской революции 1789 года, на улицах Парижской коммуны, на Перекопе и на Марне. В непрерывном франко-прусском

конфликте, в череде франко-прусских войн, начиная с 1870-го разгоралась распря вельфов и вайблунгов, ушедшая до поры в землю. Отто Бисмарк, сломивший Наполеона III, разве это не классический поединок гибеллина с гвельфом? Те, кого описал Данте: граф Уголино из девятого круга, жрущий мозг предателя — архиепископа Руджери, — разве это не символ вражды гибеллинов и гвельфов на все времена?

И вот теперь новый виток, Третья франко-прусская война переросла в общеевропейскую, а вот и новый эпизод распри гвельфов и гибеллинов — войска Священной

Римской империи, то есть войска Третьего рейха вошли в варварскую Россию.

Изначально то была европейская резня, бытовое смертоубийство среди родственников, внутреннее дело коммунальной квартиры, и Россия к этой войне касательства не имела. Почему потребовалось включить азиатскую страну в старый спор о Римской империи — на это существует несколько ответов.

Россия всегда стремилась показаться Европой — и даже именовала себя Третьим Римом. Это было самозванством, а самозванство должно быть наказано. Желаете быть европейцами, вы, люди с плоскими

лицами и скошенным затылком? Извольте принять участие в нашей резне. Вас и прежде приглашали, а сегодня вы будете почетными гостями за столом — вас подадут на блюде. И еще одно: Россия большевистская стала тем самым центром, который по всем статьям истории принадлежал Германии, — в конце концов, Священная Римская империя — это не что иное, как большая Германия, и это тоже самозванство. Россия предложила свой принцип объединения мира — и этого допустить никто не хотел: ни гвельфы, ни гибеллины. Большевизм отравил Европу, с ним надо покончить. И еще, на будущее, ради

грядущих поколений: чтобы Запад чувствовал себя спокойно — государств до Урала быть не должно. И еще: для большой европейской войны требуются ресурсы — руда, нефть, уголь, — за этим нужен Кавказ. И пошли в Россию.

Войну с Европой Россия всегда переживала как неизбежное и страшное горе — поскольку воевать требовалось со своим идеалом, со своим учителем, со всем лучшим в своем собственном сознании. В школах учили немецкий язык, столицу Коминтерна планировали заложить в Берлине, все русские художники именно в Берлин ездили с выставками — и Шагал, и

Маяковский, и Кандинский, да и Карл Маркс был немцем. И главное — для того чтобы победить Европу, требовалось стать Азией.

И стало по слову Блока, русского поэта-визионера. Когда-то сказал поэт Европе: «Мы обернемся к вам своею азиатской рожей» — и вот азиатской рожей своей и обернулась на Запад обескровленная Россия. Когда войска рейха прошли почти всю Европейскую часть России — перед ними открылась страшная Азия. И тогда сказал Гиммлер, что Россия изготавливает из уральской глины новых и новых солдат и бросает их в бой.

И Европа увидела страшный

оскал Тамерлана и Чингисхана – как если бы Фридрих Барбаросса встретил в числе претендентов на европейскую корону монгола или узбека.

Жестокий восточный тиран, которого однажды язвительный польский дипломат сравнил с армянским купцом, Сталин ничем не был похож на европейца – он не был кузенom кайзеру и не говорил по-французски, у него не было желания казаться цивилизованным, и этикет он не соблюдал.

Джугашвили был азиатским человеком, и Россия оскалилась на Запад его азиатской рожей.

И когда европейская часть уже

была почти пройдена германскими рейтарами, откуда-то взялись новые орды плосколицых людей, и ринулись орды в направлении Волхова и Ржева, и тогда фон Бок написал, что «силы на исходе» (а до Москвы всего тридцать километров — иди и бери!). И тогда стало понятно, что воюют немцы уже не с квази-Европой, а воюют они с Азией.

Стало ясно это вдруг. То есть говорили и прежде про русских: варвары, недочеловеки, существа низшей расы. Но чтобы настолько оказаться правыми! Все же русские притворялись цивилизованными, у них бывали в народе музыканты и даже писатели. Откуда же такая

животная, такая варварская злоба?

Вот они — страшные плоские скуластые лица, низкие лбы, скошенные затылки, белые глаза, тонкогубые рты восточного северного народа. Страшно, когда идут стеной — озверевшие, потные, беспощадные, с ножами и бутылками, с вздутыми венами на шее, с тяжелым нечистым дыханием. Когда убиваешь дикого зверя, поступаешь по закону охоты и в какой-то мере по праву человека, цивилизовавшего природу. Но когда зверь начинает терзать тебя — это несправедливо! Нет! Так не должно быть!

Но страшный азиатский напор

пошел от степей, и двинулись вперед отступавшие русские армии, хлынула обратно в Европу огромная человеческая масса, которую придавили почти к самой границе Азии. Словно Европа налегла плечом, нажала на Азию и потеснила ее, но Азия, приняв первый удар, распрямилась – и Европа откатилась назад. И погнали степняки европейцев, погнали прочь от своего дикарского логова. Варвары стали кидаться под европейские танки с бутылками бензина вместо гранат, дикие степные женщины стали травить воду в колодцах, а малые дети зубами вгрызались в сапоги иностранных солдат. Нашествие

цивилизированного прусского мира — то есть давление прусского порядка и явление логики эволюционного развития — должно было положить конец правлению большевиков, еврейской идее коммунизма, представлению о равенстве нищих. Это представлялось всему миру исторической закономерностью: да, республика нищих воров может существовать некоторое время, отказываясь платить по международным обязательствам, аннулирував интернациональные концессии, выпав из общего оборота капитала. Но такое существование противоречит логике цивилизации, и долго в истории такие общества не

живут — так и вор некоторое время скрывается от полиции, но затем садится в тюрьму. Поход прусского государства на Россию, подобно былому походу бисмарковских войск на Парижскую коммуну — имел очень мало отношения собственно к тому, что называют войной. Объявить войну большевикам было столь же нелепо, как объявить войну террористам или объявить войну волкам, когда идешь на охоту. Выбрать время для охоты — совсем иное дело. Франко-прусская война (то есть счеты Бисмарка с Наполеоном III и бои Мольтке с МакМагоном) — это столкновение цивилизованных людей. А вот

подавление Парижской коммуны — это уже не война, а вразумление дикарей, акция цивилизаторская. Прусские войска входили в Париж коммунаров об руку с версальцами, и распри Франко-прусской войны побоку: есть общая беда — варварство социалистов! Удержать Европу на краю пропасти, не дать цивилизации сорваться в бездну; перед лицом такой задачи все были заодно. Для борьбы с мятежником прибегали к помощи бывшего противника, почему же нет? Прусский юнкер из агрессора немедленно становился союзником французского правительственного солдата, партнером по искоренению

социализма. Версальцы и помнить не желали, что вчера эти самые пруссаки распарывали им животы под Седаном — нет, какое там, кто же старое помянет! Есть сегодня дела поважнее: долг перед историей имеется, миссия цивилизаторов; пруссаки и версальцы вместе разбирали баррикады коммунаров, вместе волокли коммунаров к стене Пер-Лашез. Заряжай, целься, пли! А что там кайзер с Тьером не поделили, так это они договорятся — люди воспитанные.

Казус с парижскими коммунарами был, если разобраться, сравнительно несложным. Случай 1871 года просто показал, что у

европейской цивилизации есть вопросы, в которых усилия Пруссии и ее врагов должны быть объединены. Однажды еврейский провокатор Маркс выдвинул лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — так неужели в ответ не должны сомкнуть ряды те, кто охраняет цивилизацию от вторжения? Уж если пролетарии всех стран должны соединиться, то отчего бы не объединиться банкирам всех стран, промышленникам всех стран, генералам всех стран? Двадцать лет назад прусские офицеры уже объединялись с царскими генералами в борьбе против красной опасности — даром что до того

воевали друг с другом в Первой мировой. Воевали, в штыковые ходили друг на друга, но потом спохватились: есть ведь и общий враг! Как же так: восточный царек Ленин кричит: «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую!» – комиссары вербуют себе друзей из нашей окопной швали на передовой, солдатики братаются в борьбе против так называемых эксплуататоров – так неужели мы не ответим этому союзу нищих своим монолитным братством? Ответим на вызов истории своим традиционным, надежным, еще более крепким, подлинно прусским Bruderschaft'ом! «Пруссачество и социализм», в те

роковые годы сформулированная Шпенглером проблема: к чему нам социалистическое равенство нищих, равенство, навязанное классовой борьбой, — если у нас есть уже свой исторический, семейный, отеческий прусский социализм? И если есть наше прусское единство — неужели оно не сокрушит союз воров и нищих? Врангелевские генералы и кайзеровские полковники стояли плечом к плечу против полчищ дикаря Фрунзе, не противники уже были, но союзники. А теперь пришла пора окончательного расчета. Теперь уже — полный расчет, до копейки, по всем счетам. Империя Сталина, кровавого диктатора, социалиста,

режущего собственный народ, – это болото должно быть осушено, эта тюрьма народов определенно должна быть уничтожена. Цивилизация долго терпела, так и Рим терпел Карфаген, так Господь терпел Содом – но терпение вышло. Гори, пылай, проклятая страна. Не будет больше государства – на всем пространстве вплоть до Урала не будет больше ничего.

В числе прочих грехов, числившихся за Россией, был грех угнетения сопредельных племен – на расчищенной от большевиков территории возникали формирования антикоммунистических волонтеров:

литовские, украинские, эстонские, латышские легионы СС шли об руку с прусскими генералами – пробивали бреши в дряблом и длинном теле России. Те, кто еще вчера прятался от комиссаров, выходили из углов и подвалов и вязали на рукав повязки с рунами «СС» – припомните теперь, красноперые, как вы нас гоняли. И выволакивали за ноги на улицы коммунистов и евреев, и вешали на воротах председателей колхозов, и топили в проруби балаболов-активистов. А? Вы думали, ваша красная власть навсегда? Выкуси! Бери его, герр фриц, это ихний коммуняка, он тут подразверстку собирал, душегуб! И от души, от

сердца — прикладом в живот,
сапогами по голове — на! на! красная
гадина! Не все тебе пить нашу кровь,
жид-комиссар! Вот пришли
избавители-немцы! Вот пришел
пруссский порядок!

И казалось, победили.
Расступилась Россия, размякла.

Россия расступилась ровно
настолько, чтобы армия вторжения
вошла глубоко в степи и топи — и
когда нашествие затопило всю
европейскую часть России — и впору
было спросить: а что там еще
осталось? — в этот момент страна
повернулась к Европе азиатской
рябой рожей тирана Сталина — и
смотреть на азиатский оскал стало

невыносимо страшно.

Когда треснула линия европейского наступления и попятилась 2-я армия Гудериана, когда прогнулась группа «Центр», когда Теодор фон Бок побежал, а сменивший его Клюге увяз у Ржева и романтический фон Клейст дрогнул, – тогда Сталин поглядел на карту и улыбнулся, оскалил свои желтые клыки.

Глава третья

Последнее усилие

Европы

Гитлер говорил негромко.

Фраза смотрится неубедительно.

История уже написана, а как написана, точно ли, правдиво ли — теперь не важно. Историю пишут победители, в назидание слугам. То, что слугам нравилось вчера, они будут оплевывать завтра — потому что так велело новое начальство. Они привыкли видеть Адольфа истериком, выкрикивающим визгливые лозунги. Кто из них знает, чего стоит поднять с колен раздавленную и ограбленную страну, вселять энтузиазм в тех, кто привык к унижению и беде? Да, он иногда

кричал – но скажите, кто не закричал бы на его месте? Да, пришло время поражений, и Гитлер закричал еще громче: а как еще было удержать народ от паники, когда фронты рвались, точно ленты серпантина, когда кольцо врагов сжимало Германию, сердце Европы, – и все туже, туже, еще туже?

Тогда, в двадцать третьем, в Мюнхене, он говорил негромко. Речь была спокойной, ироничной. Ирония не оскорбляла, но веселила и легко уничтожала доводы оппонентов. Чувствовалось, что хладнокровие дается непросто – но он владел собой, управлял клокотавшей в нем энергией. Кто еще умел говорить

так? Нет, не только в Германии, но во всей Европе — кто? Полагаю, не найдем ни одного. Иные сравнивают его ораторские приемы с приемами Ленина или Троцкого, иные говорят о Ллойд-Джордже. Верно, Адольф многому научился у Ллойд-Джорджа, он многое перенял у британцев, и все же его дар истинно германский: слушая Гитлера, я всегда вспоминал драмы Шиллера. Если бы я сумел воспроизвести его игру, если бы я мог хотя бы скопировать интонацию! Но, увы, это невозможно. Даже интонации его застольных бесед мне было бы трудно передать, сохранив их значительность и подкупающую простоту. Даже его дежурную фразу,

обращенную ко мне: «Ах, милый Ханфштангль, обойдитесь сегодня без ваших штучек», – даже эту простую фразу, умилявшую меня в его устах, я не выносил в исполнении Геринга. Стоило жирному Герману Герингу повторить те же самые слова, копируя интонацию фюрера, как выходила оскорбительная пошлость, и я вскипал. Так неужели возможно воспроизвести длинную речь спустя полвека, если даже одна фраза, будучи повторена спустя полчаса – уже звучит фальшиво?

Рассказывать историю заново трудно, тем не менее следует попытаться. В конце концов, кому как не мне, пресс-секретарю и

близкому человеку, рассказать то, что выпало из поля зрения историков или — что вероятнее — нарочно забыто?

Оговорюсь: я отношусь к воспоминаниям лиц, приближенных к вождям, с презрением. Воспоминания личных парикмахеров, дворецких и дуэний меня всегда смешили. Бедные лакеи — им казалось, они лучше других поняли своего господина, оттого что знают детали его интимного гардероба. Психологию камердинера, знающего подноготную великого человека, описал еще Гегель, а новейшая история не устает подбрасывать нам примеры

подобного тщеславия. Помните мемуары батлера злосчастной принцессы Дианы? Создавалось впечатление, будто у бедной принцессы не было человека ближе, нежели уродливый толстяк в ливрее – только ему поверяла барышня движения своего сердца. А лорд Моран, личный врач Черчилля? Вот кто поистине выиграл Вторую мировую войну! Послушайте-ка его беседы с сэром Уинстоном – и вы поразитесь компетентности этого главнокомандующего клистирными трубками. «Что нам делать с Балканами, Черчилль?» – «Пока не знаю, Моран!» – «Вопрос поставлен остро, сэр Уинстон!» Ну не комедия

ли?

Полагаю, мои записки совершенно другого рода. Вы спросите, что дает мне право говорить так, принципиально отделяя себя от лейб-медика и батлера? Ответ прост.

Дело в том, что у меня и Адольфа была общая страсть, сблизившая нас еще до известных мюнхенских событий мая двадцать восьмого, до тюремных месяцев в Ландсберге, до триумфального тридцать третьего, до всех тех величественных и злосчастных явлений, что потрясали мир в течение двенадцати лет. Мы стали единомышленниками задолго до

возникновения программы
национал-социализма, и в куда более
интимном смысле, нежели
соратники по НСДАП. И верен ему я
был иначе, нежели те, что клялись в
верности, вскидывая руку в
пошлейшем приветствии «Хайль
Гитлер!». Надеюсь, Адольф понимал
это так же отчетливо, как понимал
это я; во всяком случае, наше
общение обходилось без вульгарных
ритуалов, которые тешили мелкие
души его приближенных. Геринг и
Гесс, те любили парады, щелканье
каблуков, перетянутые ремнями
талии гвардейцев, руки, салютующие
вождю. Неужели вы думаете, что
Адольф, проходивший практически

всю свою жизнь в мешковатом пиджаке, с длинными, точно у Пьеро, рукавами, — неужели похоже, чтобы он всерьез относился к придворной акробатике? То, что сближало нас, было возвышенной — и одновременно сокровенней. Я говорю об искусстве.

Мы были разными людьми, и мой опыт не равнялся опыту Гитлера. Я не был на войне, не видел передовой, он же не знал того, что дает мирная жизнь в богатом доме. И однако наши пристрастия совпадали в главном. Я, англосакс (таковым себя всегда ощущал, а половина моей семьи и поныне проживает в Новой Англии), и немец Адольф оказались охвачены единым порывом —

произошло это благодаря искусству, властной силе прекрасного. Гитлер был одаренный художник и подлинный ценитель красоты, а я, хоть сам и не рисовал, всю энергию ранних лет сосредоточил на искусстве. Моя семья в течение многих поколений вела торговлю художественными репродукциями — и владела знаменитым магазином академического искусства в Нью-Йорке. Как один из владельцев магазина я должен был совершать длительные поездки по музеям Европы, выбирая те шедевры, которые мы могли бы воспроизвести и тиражировать для публики. Это совсем не просто — выделить из

необъятного мира культуры именно то, что сможет увлечь любого зрителя, что разойдется массовым тиражом.

Страсть к живописи была моей основной страстью, и Гитлер, почитатель Ренессанса, разделял ее со мной. Многие часы провели мы в Мюнхенской пинакотеке, разбирая детали картины Рембрандта «Мужчина в золотом шлеме» и рассуждая о Микеланджело — подлинном кумире Адольфа. Говорю «рассуждая», поскольку в Мюнхене, к сожалению, нет работ великого флорентийца, и нам приходилось обсуждать не сами работы, но величие планов мастера. Не статуи,

не фрески, не купол Святого Петра, но великий социальный проект мастера, его глобальный замысел — воскрешение классики, вот что было темой наших бесед. Проектирование классики. Величественный проект! Думаю, именно тогда, из наших разговоров о Микеланджело, и родился образ города, который Адольф доверил воплотить Шпееру. Нет, даже не так. В этих беседах мы словно выкликали новый талант, создавали образ художника будущего. Шпеер был вылеплен нашей фантазией, создан по образу и подобию наших кумиров, он не мог не прийти.

Гуляя по набережным Дуная, мы

строили в воздухе величественные античные дворцы, возводили паладианские виллы. Разумеется, без политики не обходился ни один разговор, но искусство и политика перекрещивались в беседах, и как, скажите, создать проект великого государства — не представив его зримо: с площадями, триумфальными арками, колоннадами?

— Знаете, — сказал однажды Адольф, — чего не хватает нашей культуре? — В обычной манере он заговорил сразу о главном. — Нам не хватает античных пропорций. Мне как художнику ясно — мы должны учиться у Витрувия, и в первую

очередь политики. Меня раздражает аргументация бакалейщиков, ловящих грошовую выгоду. Они привыкли мерить историю по своим убогим кухням и палисадникам. Согласитесь, что, находясь на площади Капитолия, гражданин ведет себя иначе, нежели во дворе лавки герра Нойманна.

Я рассмеялся:

– Вы ничего не знаете о герре Нойманне! Вы даже не покупаете его сосисок!

– Я отлично представляю всю семью. Наверняка Нойманн – это человек с большим животом и висячими усами. В юности был спортсмен, а сейчас тушит капусту.

Фрау Нойманн — запуганная женщина, каждый день пересчитывает деньги. У нее красное лицо и маленькие серые глазки. Их дети... Видите эту неразвитую девочку с крысиным хвостиком вместо косы? Ее наверняка зовут Анна Мария, она мечтает стать певицей. Но не станет, потому что мать поставит ее к прилавку... Моя бедная Германия, бедный ограниченный народ!

— В самом деле, — сказал я тогда, — трудно стать великим человеком, если упираться носом в чан с капустой.

— Представьте, Ханфштангль, — говорил мне Адольф, — что вместо

уродливой мещанской постройки с геранью на окнах мы возводим виллу в духе Палладио. Видите? – Рукой он очертил контур здания. – Колоннада, портик, стройные пропорции. Не правда ли, это меняет весь пейзаж? Ах, милейший Ханфштангль, понимаете ли, как величественна наша задача? Привнося в нашу действительность образец классики, мы задаем такой масштаб, по отношению к которому все детали будут пересмотрены.

Сегодня мало кто помнит простой факт: газета «Völkischer Beobachter» своим существованием обязана нью-йоркскому магазину «Академическое искусство». Да, это именно так, а – согласитесь – не будь этой газеты, и политический успех партии оказался бы под вопросом. Адольф сетовал, что четырехстраничный листок, выходящий раз в неделю на плохой бумаге, не может привлечь людей и выполнить задачу организатора коллектива. И тогда я продал часть своих акций – сделав возможным ежедневное издание полноценной

газеты. Для меня это было естественным шагом — я знал, что именно искусство должно лежать в основании Нового мира. Так и получилось.

Мюнхен тех лет являл собой одновременно и центр политической мысли, и центр искусств. Теперь мы знаем славные имена тех, кто трудился над новым искусством в то самое время, когда Адольф и его соратники трудились над основами Нового порядка. Художники и политики не всегда понимали друг друга — про их разногласия написаны тома, не буду повторяться. Никогда не одобрял кампании, затеянной против так называемого

«дегенеративного искусства», — я пытался в свое время показать всю нелепость этой акции Адольфу, но не преуспел: фюрер находился под обаянием Геббельса, человека ловкого, но неглубокого. Для меня было загадкой, отчего Адольф ополчился на экспрессионизм, — в самом деле, не было в истории искусств стиля более адекватного его неукротимому духу. В нем самом страсти клокотали именно так, как передают это движениями кисти Кирхнер и Нольде. Как можно не разглядеть в своем соседе — союзника только лишь оттого, что он одет в костюм другого цвета и покроя? Непостижимая ирония

истории: подозревать в
единомышленнике врага,
полемизировать с ним и проглядеть
реальную опасность. Не говорю даже
о том, что северянин Нольде
добровольно вступил в нашу партию,
но даже те художники, которые не
вступили, были крайне близки нам
по духу, нервному духу времени. И
чем же не угодил Адольфу
абстракционизм? Поистине, беда
всякого движения в том, что мы
делаем друзей – врагами.

Приведу пример. На
мюнхенском собрании, с описания
которого я начал, на том знаменитом
собрании, где Адольф впервые
сформулировал основные пункты

возрождения Европы, я видел художника, сидевшего в углу зала. Невысокий, аккуратный человек в очках, с лицом скорее невыразительным и блеклым — но в блокноте, где он нервно изрисовывал страницу за страницей, я увидел то, что отнюдь не соответствовало его заурядному облику. Я заглянул ему через плечо (никогда не могу удержаться от того, чтобы не любопытствовать, что именно пишет художник на улице, как рисует шарлатан в парке) — заглянул в блокнот и был ошеломлен. Кандинский — его звали Кандинский, и сегодня это имя широко известно — резкими штрихами изображал

непонятные формы и пятна, изогнутые линии, загогулины и кляксы, рвущиеся из листа во внешнее пространство. Я был поражен — лучшей иллюстрации для речи Адольфа никто не смог бы придумать: изображена была та сила, что кипела внутри оратора, — эта же сила искала свое выражение на листе. Порой, когда Адольф подыскивал нужные слова, я почти физически ощущал, как сила внутри него ищет и не находит себе выхода, пытается и не может отлить форму себе по размеру. Впоследствии, в злые годы неудач и потерь эта сила материализовалась в его публичных истериках, нервной жестикуляции,

визгливом тоне. Очевидно, что запасы энергии так велики, что проявить себя она может как угодно и где угодно — в том числе и в истерике, в том числе и в крике. Именно этот сгусток воли силились отобразить художники того времени — им подчас не хватало формальных навыков для того, чтобы придать этому сгустку воли предметную форму. Так появилась абстракция, из желания выразить невыразимое, очертить то, что противится контуру. Сила искала выхода на холстах наших современников, металась из угла в угол картины — и не находила выхода. Так же, как мы кричали на площадях, кричали холсты Кандинского, и в том

наброске, подсмотренном мной через плечо мастера, я увидел главное: внутри нас всех бушевал один и тот же пожар. «Была в начале сила» — к этому выводу приходит гётевский Фауст, и скажите мне, разве, вызывая силу из небытия, — он может знать, в каком именно облике та явится? Сила, вызванная доктором Фаустом, находила себе воплощение то в пуделе, то в Мефистофеле, то в инкубе — но суть ее была больше, нежели предьявленная форма, энергия использовала оболочку, но не зависела от нее. Воплощение — вещь для энергии необязательная; рано или поздно энергия порвет оболочку и станет чистым духом

свободы. Так не все ли равно – в какой именно форме она нам явлена?

Да, сумеи Адольф взглянуть на современников не требовательным глазом римлянина, но мудрым оком древнего грека, отдающего дань стихиям и понимающим относительность порядка, – сумеи он взглянуть чуть шире, он избежал бы многих бед. Это было самым уязвимым местом Гитлера: он не умел видеть родственную душу в оппоненте; ему казалось, что если ему не поддакивают, значит, противоречат. Благодаря своей щепетильной неуживчивости он утратил союз с интеллигенцией, порвал с Британией, рассорился с

церковью. Объясните мне, для чего нужно было обострять отношения со страной, по самой природе своей соответствующей взглядам Адольфа? Как можно было утратить общий язык с державой, создавшей привилегированный Итон, родившей социал-дарвинизм Карла Пирсона и подарившей миру историка Карлейля? Разве Карлейль не мечтал о том самом обществе, которое попытался создать Адольф? Скажите мне, для чего было идти в атаку на футуристов и конструктивистов, если они — пусть примитивно, но искренне — пытались облечь идеи Адольфа в понятную массам форму? Что помешало Гитлеру, человеку,

одержимому идеей, увидеть ту же идею в ином обличье? Только лишь оттого, что сам он работал в манере скорее классической, он не захотел увидеть, что ровно то же самое выражают иначе, — и вот вам результат: одиночество. Как опытный продавец репродукций, я пытался доказать ему, что произведение можно тиражировать, что сила, содержащаяся в произведении, перейдет и в копию, — а он не верил. Вот от каких мелочей зависит история народов и судьбы мира.

Недавно на аукционе, устроенном в Лондоне, я имел удовольствие приобрести две работы Адольфа: нервный рисунок, близкий

по манере исполнения к Эгону Шиле, и прекрасную акварель, тонкостью колорита напомнившую вещи бельгийца Пермеке. Пожалуй, работам фюрера недостает той решительности, что явлена в любимом им знаке — свастике. Его рисунки излишне академичны, но сила — подлинная сила! — в них чувствуется. Я с любовью разглядываю эти вещи, дорогие моему сердцу, вспоминаю наши беседы о прекрасном, провожу параллели меж этими работами и теми картинами, что сегодня признаны шедеврами мирового искусства. Должен признаться, на мой взгляд, они выдерживают

сравнение: во всяком случае, их питает та же страсть. Я держу в руках эти хрупкие листы и спрашиваю себя: как мог один мастер не разглядеть другого? Что тому виной — вечное тщеславие артиста? Я говорил ему: Адольф, обратите внимание на этих мастеров, вам они кажутся шарлатанами, но поверьте беспристрастному судье — за ними будущее. Гитлер отмахивался, он знать не желал современного искусства; однако, сам того не замечая, работал в том же направлении.

Я вспоминаю Гитлера, набрасывающего проект флага: свесив чуб, склонив голову, он

вычерчивал свастику — символ солнца. Я предложил сделать свастику красной: солнце должно сиять. «Нет, мой милый Ханфштангль, — мягко ответил Гитлер, — я вижу ее черной, это даст возможность поместить фигуру на красный фон. И я не знаю ничего, — добавил он, помолчав, — что работало бы сильнее, чем черная геометрическая форма на красном фоне». Черное солнце? Я был озадачен. Он взял красный карандаш и стремительно заштриховал пространство вокруг черной фигуры — признаюсь, я поразился: знак стал выпуклым и словно пришел в движение. «Видите, Ханфштангль, —

сказал Адольф, — этот знак есть проект будущей жизни — бесконечного движения». Нужно ли специально оговаривать, что современные Адольфу опыты геометрической абстракции — буквально совпадали с его эскизом? В музеях Берлина и Амстердама, в галереях Мюнхена и Цюриха выставлялись вещи, схожие с эмблемой Адольфа как две капли воды, или, лучше сказать: как две капли крови. В те годы в Берлине проходили выставки так называемых супрематистов, то есть людей, объявивших себя высшими существами по отношению к прочим. Их эмблемой также стало черное

солнце — черный квадрат, помещенный то на красном, то на белом фоне. Их картины ничем не отличались от нарукавных значков, которые носили члены нашей партии, — но, парадоксальным образом, фанатики из НСДАП слушали болвана Геббельса и уничтожали картины супрематистов! Есть ли этому разумное объяснение? Подозреваю, что Гитлер ничего не знал о супрематистах, а узнав, не оценил бы. Сегодня я думаю, что если бы — возможно это или нет, кто знает? — усилия всех новаторов в те далекие годы были едины, мир действительно стал бы иным. Проблема в том, что открытия

совершаются одновременно, — а кто хочет делиться авторством? До одинаковых вещей слишком многие додумались в одночасье — и амбиции помешали признать соседа. Мы сидели в мюнхенском ресторане «Четыре сезона», обсуждая проект свастики — а далеко в России тот же знак внедряли коммунисты для украшения кавалерийских шлемов так называемых буденовцев. Пусть мои слова прозвучат кощунственно, но сегодня их извиняет время: разве нельзя было договориться?

Иногда мировая война видится мне как конфликт художников. Я сравниваю эстетические воззрения Гитлера и эстетические пристрастия

Черчилля – и думаю о том, что драма века была сформулирована уже в их различии. Прилежный историк искусства может написать политическую биографию века, используя лишь свои профессиональные знания – надо только внимательно смотреть на картины. Не могу не отметить (и не стесняюсь своего злорадства), что на том же аукционе, где приобрел работы Гитлера, я имел возможность познакомиться с рисовальными опытами Черчилля, дряблыми стариковскими пейзажами, с мыльным цветом и вялой линией. Полагаю, любому несложно продолжить мою фразу и сказать, что

художник Черчилль равен Черчиллю-политику. Вступили в конфликт две теории красоты: старая эстетика, которую воплощал Черчилль, не хотела уходить со сцены, боролась с эстетикой новой, а новую представлял Гитлер. Порядок, который воплощало искусство классицизма, пытался отстоять свои права перед лицом нового порядка, воплощенного в искусстве авангарда. Кому-то покажется, что старый порядок победил. Беда в том, что Гитлер представлял новую эстетику не слишком последовательно, ссорился с теми, кого можно было назвать ближайшими союзниками, — метания послужили причиной его

политической и военной неудачи. Однако поражение политическое не отменяет другой его победы – победы художника. И это главное.

Говорят: Гитлер проиграл войну. Говорят: сегодня ясно, кто был прав, а кто не прав, – и горе побежденному. Но скажите, кто не проиграл в двадцатом веке? Муссолини, триумфатор, повешенный вниз головой? Ленин? Демиург, выброшенный соратниками по партии умирать – безъязыкий, беспомощный, никчемный? Черчилль? Победитель Германии, в бессилии стучащий палкой по дорожке усадьбы, – вот он только что узнал, что Иден потерял Индию, дал

ей свободу. Черчилль дрался не за победу над Германией, но за могущество Британской империи, а это могущество как раз и было утрачено, — и вот он колотит палкой по земле, жалкий старик, дравшийся с врагом напрасно. Может, де Голль? Аристократ, который пришел к Черчиллю с пышной галльской фразой на устах: «Я здесь, чтобы спасти честь Франции», — не мог не знать, что утраченная честь восстановлению не подлежит. Послевоенное развитие событий подтвердило общее правило — генерал при жизни успел увидеть, как собранная его стараниями республика сыплется в прах. Может

быть, Сталин? Тиран умирал парализованный, лежал на полу своей дачи, не в силах ни подать знак, ни пошевелить языком. В свой смертный час немой старик страшным оком озирает подчиненных — членов Политбюро, что как стервятники слетелись к его умирающему телу. Что как не поражение переживал этот властный восточный человек, глядя на преемников? Что будет со страной, удержанной им на краю пропасти и поднятой из праха? Смотрел на их перепуганные шkodливые физиономии и знал: предадут, проворонят, растащат, разворуют. И действительно — разворовали.

Так кто же, спрошу вас, кто не проиграл? Кому досталась победа?

Эстетика, которую представлял Черчилль, ушла в небытие — и будущее осталось за пионерами мысли, за авангардом. И разве сегодня победа новой эстетики не очевидна? Может быть тогда, в ресторане «Четыре сезона», Гитлер, рисуя свастику, изобразил проект бесконечного движения духа, которое мы называем историей?

Можно сказать так: черный квадрат изображал солнечное затмение (этот знак большевики трактовали как победу над солнцем), а свастика символизировала восход – возобновление вечного пути и оживление надежды. Собственно, к этому сводилась речь Гитлера – поселить надежду в сердцах сограждан. А оснований для надежды не было.

Гитлер говорил негромко. Он говорил спокойно и по существу. Описал послевоенный мир, его несостоятельность. Он не сказал ничего нового против того, что

слушатели знали сами. Каждый понимал: это не настоящий мир. Как можно назвать миром – грабеж, как можно назвать договором – насилие? Никто толком не помнил, из-за чего началась война, но вот то, что мир получился отвратительный, – это видели все. Какие были причины для ссоры – уже никого не интересовало, а президент Вильсон, предложивший свои четырнадцать пунктов урегулирования Европы, тот вообще считал, что Сараево находится в Боснии, а Прага – в Польше. Интересовало всех другое: сколько денег возьмут с Германии, сохранят ли ей производство, что будет с Венгрией, заберут ли французы

Рурскую область. Написанные на бумаге, эти слова мало что говорят современному читателю, тогда они значили буквально следующее: будет у нас завтра обед или нет? Не скажу о себе, я всегда был человеком обеспеченным, и мое состояние мало зависело от положения в Европе – но любой из сидящих в зале имел основания спросить себя: и что же мне дал этот мирный договор? Уверенность в завтрашнем дне, гарантию, что меня и моих детей не убьют? Как бы не так. Когда случится продолжение войны? В любой момент – завтра, сегодня. Первый акт трагедии окончен, дали занавес – но пьеса далеко еще не окончена.

Полученные от нестабильного мира
выгоды иссякнут, и начнется второй
акт европейской бойни. И вот сидят
люди в зале и знают, что существуют
некие причины (а им говорят, что это
объективные причины), по которым
их в ближайшее время будут убивать.
И нехорошо этим людям, странно им
и страшно. Может, и не убьют,
конечно, но начнется голод,
экономический кризис, выгонят с
работы. А почему, позвольте
спросить, надо нас убивать или
лишать работы? Какие такие
исторические необходимости
появились для того, чтобы сломать
нашу судьбу? Кто сказал, что надо
так сделать? И люди чувствовали

себя участниками драмы, в которой вовсе и не собирались участвовать, — словно позвали их в театр, заперли двери, потушили свет и стали убивать.

Люди рады слушать любого, кто посулит помощь. Так больной бежит от врача к врачу, бессмысленно тычется в двери так называемых специалистов. Вот у этого — диплом! А тот — с бакенбардами и в очках, умный, наверно! За пять лет — с 1918-го по 1923-й — людям наговорили всякого. Их склоняли на свою сторону коммунисты, спартаковцы, монархисты, республиканцы, интервенты и капиталисты. Врали бойко. Во все времена политика есть

инструмент выдавливания денег из населения; у населения, правда, почти ничего не осталось, но предлагали поделиться последним. Граждане поверженной Германии уже успели увидеть и Баварскую Советскую республику, и Веймарскую, и оккупационные власти, и парламентариев Лиги Наций, самых разных активистов от самых разных партий. И ждали: вот этот, может, и правду скажет! Те, что были до него, те, конечно, ввали — но вот этого депутата давайте послушаем! А говорили депутаты одно и то же: платите! Положение такое, господа, что надо вам заплатить и за это, и за это, и еще вот

специальный сбор средств – тоже извольте участвовать. На трибуны выходили новые и новые энтузиасты и вожаки, в рабочих куртках или в приталенных пиджаках – и каждый предлагал толпе откупиться от своей судьбы: отдать немного денег на очередную партию. Спустя полвека точно такие же энтузиасты стали продавать толпе акции и облигации будущих заводов, а в то время прощелыги продавали людям мирное будущее. Налоги, репарации, членские взносы, дотации, подписки – брали много. Жизнь лучше не становилась. Так и врач, который не может поставить диагноз, берет тем не менее деньги за визит. Платить

было нечем — но все-таки платили. И нет-нет да приходила в голову толпы (ведь есть же и у толпы какая-то голова) простая мысль: вот у нас в стране много партий, партийные функционеры не работают, не сеют, не жнут, они только обещают нам нечто — а смотрите, все они одеты, сыты, живут в хороших условиях. И значит, их кормим мы. Нам себя-то нечем прокормить, а мы, оказывается, кормим несколько партий дармоедов и врунов. Зачем?

В то время, когда Гитлер взял слово, слушать ораторов уже устали. Но он сумел говорить так, что его слушали.

Оратор нужен затем, чтобы

сказать то, что известно и без него, — но сказать так, чтобы люди стали доверять собственным ощущениям. Гитлер формулировал то, что чувствовал любой, он лишь называл вещи своими именами. Он сказал: не надо искать сложных объяснений для простых вещей. Вас обокрали, это вы сами знаете. Хотите, расскажу, кто и как воровал? Оглянитесь, сами увидите, кто разбогател. Не только Германия поражена в правах, поражены в правах многие европейцы. Посмотрите, что стало с Венгрией. Вспомните о резне, устроенной румынами в Трансильвании, — при полном попустительстве так называемых

миротворцев. Они же миротворцы – вот договор в Версале подписали, чтобы людей больше не убивать. А почему тогда пустили румынских военных резать и грабить мирное население Трансильвании? Ну, почему? Чтобы венгров окончательно запугать? А беженцы? Беженцы, образовавшиеся от передвижения границ, они разве не жертвы мирного договора? Вы знакомы с цифрами? Они сопоставимы с потерями на фронтах. А что творится в Австрии? Разве то, что происходит в Европе, похоже на договор? Договор – это когда стороны договариваются, когда соглашением руководит здравый смысл. Не слушайте пустых фраз,

которые будто бы все объясняют. Инфляция, государственный долг, репарации — вас обманывает торжественность терминов, вам кажется, что за этими словами стоят здравый смысл и закон. Нет, не так. Я покажу вам, что эти слова значат.

Инфляция — это когда банкиры печатают слишком много денег. Зачем они обесценивают деньги? Чтобы обесценить промышленность, дать возможность крупным капиталистам ее скупить за миллиарды, которые на деле являются копейками. Потом они введут новые деньги, и истраченный прежде миллиард станет нулем. Денег, которые заплатили за фабрику,

больше нет. А фабрика есть — но уже не наша. Так именно произошло в нашей стране, вы сами это знаете. Миллиард старых марок стал равен одной рентной марке — это значит, у нас больше нет сбережений, ни у кого. Мы все стали пролетариями, не правда ли? Имущества у нас больше нет, будущее под вопросом. Но разве в мире ликвидировали класс рантье? Просто этими рантье мы уже никогда не будем — другие будут владеть нашими заводами.

Государственный долг — это выражение звучит так, словно в долгу оказались все граждане государства. Как будто мы все залезли в долги — и теперь виноваты. Вот вы, милейший

господин, например, брали у кого-нибудь в долг? Нет? А вы? Тоже нет? Кажется, здесь в зале нет людей, которые кому-то что-то должны. Тогда откуда возник этот грозный государственный долг? Возникает долг оттого, что преступное или слабое правительство занимает деньги у крупного капитала или у соседних держав. И оказывается, что люди должны какому-то конкретному ростовщику, нечистоплотному субъекту — вроде того Ротшильда, который из собственного кармана расплатился за Суэцкий канал. И страна — домохозяйки, школьники, старики — должна возвращать долг. С

процентами, заметьте, с процентами! И спросите себя, дорогие сограждане, куда уходят ваши платежи? Заем этот используют исключительно на взятки коррумпированным чиновникам, но чаще всего неподъемные для бюджета деньги нужны для ведения войны. В случае неудачи в должниках оказывается вся страна. И тогда политики — продажные, безответственные, коррумпированные подонки! — тогда они говорят: у нас государственный долг! Позвольте: так у кого долг? У государства — или у народа? И откуда этот долг взялся, если ни я, ни вы в долг не брали? И почему мы должны

отдавать долги воров и взяточников? И если у народа такое государство, которое не представляет народ, то, может быть, оно не нужно вовсе?

Репарации — это слово тоже поддается объяснению. Репарациями называется ваше имущество, которое одни бесчестные политики решили отдать другим бесчестным политикам.

Политики расплачиваются вашими средствами за свои ошибки. Вас убеждают, что если вы заплатите эти деньги, вас простят и не будут сильно наказывать. Но разве вы не понимаете, что именно отдавая репарации — вы и совершаете над собой самое злостное наказание? У

страны забрали все, что могло кормить вас и ваших детей. У страны забрали промышленность, земли, деньги, а что оставили? Только могилы солдат. Солдаты думали, что гибнут за Родину, но Родина теперь считает, что солдаты виноваты. Солдаты думали, что защищают свое отечество, но сегодня их отечество публично признает свою вину, а значит, смерть солдат напрасна. Два миллиона солдат погибли зря. У населения забрали все — потому что народ, как считается сегодня, виноват перед миром. В чем же мы виноваты? Может быть, кто-то из сидящих в зале скажет, в чем его вина?

Не знаете? Но знаете ли вы хотя бы, кому платите эти репарации? Кому отдаете свой хлеб – знаете? Разве рядовые французы стали жить лучше? Разве господа Ллойд Джордж и Клемансо делятся с ними репарациями, которые выплачиваем мы? Или что-нибудь досталось беженцам? В европейской войне нет и не может быть победителей – война велась ради уничтожения славы и силы Европы. Скажите, кто победил? Победил Клемансо, а рабочие как получали гроши, так и получают. В чьих интересах велась война? Крупной интернациональной буржуазии, не так ли? Тех людей, что пресытились европейскими рынками

и смотрят на Европу как на ступеньку в лестнице своей карьеры. Тех людей, что вывозят капиталы в Северную Америку и Аргентину. Тех, кто скупает земли в Палестине, разве вы сами про это не знаете? Бароны Гирш и Ротшильд — вам говорят что-нибудь эти имена?

Вы полагаете, эти мерзавцы пресытились? Один раз наелись, а больше не попросят? Уверяю вас, господа, аппетит приходит во время еды. Им нравится много есть, они уже привыкли. Новые богачи — посмотрите на них! Поглядите на их особняки, на их прислугу, на их автомобили. Почему они стали богатыми? Разве они что-нибудь

производят? Разве они сделали что-либо, кроме того, что украли ваше имущество? Разве они получили свои богатства не ценой ваших жизней, жизней ваших детей? Для них приходят пароходы из Италии, корабли, груженные фруктами, их дети едят апельсины и финики. Разве их дети лучше ваших детей? Разве надо, чтобы именно их потомство жило — а ваше умерло? Разве эти Гирши и Ротшильды, ростовщики, которые наживаются на вашем горе, на позоре нашей Родины, — разве они должны править нами вечно?

Кто вам больше нравится: вор или лжец? Первые отбирают одежду и хлеб, а вторые учат, что без одежды

и хлеба жить можно. Война закончилась позорным миром, но революция и лживые марксистские посулы еще позорнее. Интервенция английского и французского капиталов — зло, но худшее зло — гражданская война, которая на руку интервентам. Между двух зол — интервенцией и предательством Родины — мы не нашли иного выхода, как принять так называемую демократическую конституцию, куцую конституцию, сделанную для ростовщиков и капиталистов. Попробуйте воспользоваться своими правами! Мы получили бесхребетную и циничную власть, которая именуется демократией, но

не думает об интересах народа ни единой минуты. Говорят, мы обрели права, но право только одно — голосовать за тех, кто крадет наше будущее. Может быть, пришло время нам самим подумать о себе?

Гитлер говорил спокойно, а если возвышал голос, то лишь задавая свои саркастические вопросы. То, что он сказал в тот день, можно было сформулировать короче: мир — хуже войны. Говорят, война есть продолжение политики другими средствами. Но мир — это продолжение войны средствами более циничными, нежели убийство. Смириться с таким миром невозможно — это не Гитлер

придумал в тот вечер, он лишь выразил то, что понимали все. Однако выход существует, страна не погибла. Понять, что происходит, значит сделать первый шаг. Дело плохо, но не пропало окончательно: мы понемногу распрямимся и пойдем вперед.

В тот день он обозначил двадцать пять пунктов своей великой программы — и, клянусь, не было человека в зале, чье сердце не трепетало от гордости за Германию. За четыре столетия до него другой великий немец провозгласил девяносто пять тезисов — и перевернул Европу. Слушая в тот день Адольфа Гитлера, каждый из

нас (я уверен!) сказал про себя: перед нами новый Лютер, он хочет возрождения угасшего духа, он пришел, он с нами. Сомневаюсь, что Гитлер читал Лютера, – в молодости он был увлечен совсем иным, а затем и времени на чтение не было. Однако достаточно помянуть пресловутый «еврейский вопрос», чтобы увидеть эту связь – волнующее родство духа, перед которым не властно само время. Вспомните знаменитый трактат «О евреях и их лжи» или «Боевую проповедь против турок» – иногда мне кажется, что «Mein Kampf» написана той же рукой. Ах, мне возразят! Вспомнят, что Меланхтон был евреем и что

Рейхлин, его духовный вдохновитель, был не только евреем, но и каббалистом, и что начинал Лютер с трактата «Христос – сын еврейки». Господа, не обольщайтесь! Да, Лютер начал с претензий иудаизму, а не народу, но довольно быстро понял, что если хочешь избавиться от сорняка, следует вырвать корень... Впрочем, я всю жизнь страдаю от своего гарвардского образования – у моих собеседников никогда не было потребности в излишних знаниях. Когда я пытаюсь связать явления в истории, они не слушают. «Обратите внимание!» – говорил я, бывало, Адольфу, указывая на явные совпадения концепций, но он лишь

ласково трепал меня по плечу: «Опять ваши фокусы, милый Ханфштангль!» Нет, не только отношение к евреям роднило обоих мыслителей, но и желание решить вопрос сегодня и сейчас. Они оба не верили в искусственную систему христианских символов, созданную для управления рабами. Если можешь сотворить чудо – тогда давай делай, покажи нам его. Изволь, воскреси Лазаря, видишь, он умер. Воскреси – и от этого будет прямая польза. Но что толку обещать, что когда-нибудь несчастный воскреснет. И кто знает, что будет с ним, когда он воскреснет: скорее всего, он снова воскреснет рабом и как прежде будет

стоять у обочины, провожая глазами
лимузины богачей.

Отказ от репараций – ровно то
же самое, что отказ от индульгенций.

В сущности, оба проповедника
сказали одно и то же: вам
предлагают откупиться от ада
(читай: поражения, смерти,
унижения) индульгенциями, то есть
деньгами, заплаченными Церкви
(читай: репарациями, заплаченными
коалиции), но знайте – от судьбы
откупиться нельзя. Вас обманули, а
ваши деньги украли. Как дословно
сказано в девяносто втором тезисе
Лютера, «пусть теперь соберутся все
проповедники индульгенций и
скажут: «Мир, мир!» – но нет

никакого мира». Разве не то же самое сказал собранию Адольф? Мира — нет! Версальский договор — не есть мирный договор! Это индульгенция, простая бумажка, и на ней написано, что у нас мир, вот и все. Но разве люди и сами не знали, что откупиться от истории — бессмысленная затея? Вы можете купить индульгенции или облигации — но ни то ни другое не поможет. История ненасытна, особенно потому, что ее воплощают люди с большим аппетитом. История всегда ест, но никогда не бывает сыта.

И Лютер, и Гитлер закончили свои тезисы одинаково. У Лютера это звучит так: «Вы скорее многими

скорбями войдете в Царствие
Небесное, нежели достигнете покоя
благодаря обманчивому миру». Гитлер почти буквально повторил эти слова.

Я записываю сейчас эти фразы, припоминаю, как он их говорил, и думаю: нет, он не лицемерил. Он говорил о Родине и о Новом порядке, и люди оживали, слушая его. Не надо ловить меня на слове – да, я знаю о жертвах! Да, я написал «люди оживали», хотя слишком хорошо знаю про тех людей, что погибли. Я пишу эти страницы много лет спустя, и мне известно про лагеря смерти. Не надо, не надо передергивать мои слова! Я неповинен в жертвах Освенцима, мне неприятна самая мысль о газовых камерах! И неужели вы думаете, что за все прошедшее с

тех пор время я не получил полной информации? История пишется победителями, а сорок миллионов погибших словно удостоверяют смертями подлинность обвинительных тезисов. Да, история назвала Гитлера палачом. Пусть так. Но скажите мне: разве ни до, ни после Второй мировой войны люди не гибли?

Кто ответит за те девять миллионов, что были уничтожены на полях Первой мировой? В них-то Гитлер, я полагаю, не повинен? Тогда кто? Ведь если мы определяем Гитлера как виновного в бойне сороковых годов, надо найти и виновного в бойне четырнадцатого.

Ведь цифра-то немаленькая, не так ли? Добавьте сюда потери гражданских войн и революций — увидите, цифры сопоставимы с потерями во Второй мировой. А если из общей цифры вычесть двадцать миллионов убитых русских (кто там в России разберет, что было причиной их смерти), мы поймем, почему именно Первую войну европейцы считают страшной. Вот и получится, что по вине Гитлера погибло не больше людей, чем по вине уважаемых политиков, которых мы отчего-то не записали в людоеды. Они прекрасные респектабельные люди, им прикалывают ордена, и они пишут мемуары. Скажите мне: если

по их вине погибли всего девять миллионов — они что, менее виновны? А те несчитанные жертвы, что перебиты колонизаторами в Алжире, Вьетнаме, Корее, Индокитае, Камбодже, Чили, Парагвае, Афганистане, Иране, Ираке, Индонезии, Анголе, Конго, Руанде, — их кто посчитает? Мы все ученики политики Дизраэли, это именно он, лорд Биконсфилд, и был инженером того мира, который породил Гитлера. Именно он, хитрый еврей, самый консервативный из тори, и привил нашим мозгам эту логику — логику исторической правоты. Про афганские и зулусские войны, которые вела Британская

империя, кто вспоминает сегодня? Разве что в связи с русской интервенцией. Мне довелось дожить до советской интервенции в Афганистан, я проглядывал английские газеты с улыбкой. Ах, как коротка, как избирательна человеческая память! За сто лет до того как советские танки вошли в Кабул, правительство королевы Виктории дважды пересекало границы Афганистана — и я ни минуты не сомневаюсь: едва русские выйдут оттуда, как туда снова войдут британские войска. Ах, не рассказывайте мне про жертвы — лучше внимательно почитайте исторические труды. Вы поймете,

что цивилизация никогда не бывает сыта.

Думаете, с сорок пятого года по конец века погибло меньше народу, чем за мировую войну? Полагаете, сорока миллионов убитых не наберется? Больше, уверяю вас, много больше – одна Африка даст убедительные показатели, держу пари, хватит одного лишь Черного континента. Посчитайте, сколько жизней унес развал Российской империи. Посмотрите на Восток, туда, где железная поступь Новейшего порядка повторяет шаги порядка, некогда именовавшегося Новым. И заметьте – здесь тоже Гитлер ни при чем, не правда ли? И

если все так, разрешите спросить: справедливо ли, чтобы в историческом анализе столетия все зло сконцентрировалось в одном человеке? Выродок, аномалия, чудовище – вам, господа, проще так сказать, чем посмотреть в зеркало и увидеть в себе черты сходства с этим монстром. Я, англосакс Ханфштангель, заявляю: Адольф – ваш кузен, он наш родственник, он мне близок, и я не предаю его память. Ах, вы не хотите меня слушать, вы показываете мне материалы Нюрнбергского процесса! Не разумнее ли спросить, почему данный человек поступал так и каковы были причины?

Впрочем, не следует обольщаться: едва ли найдется много желающих поддержать любопытство исследователя. Судьба моей рукописи тому пример. Я слишком хорошо знаю, что в своих воспоминаниях тронул запретную тему, заговорил о том, о чем не принято говорить. Нет, никаких пикантных подробностей – этому как раз все были бы рады; всего лишь скучная правда – а правда никому не нужна. Либеральное общество не хочет знать свое прошлое – мы отменили некрасивое прошлое, вместо него используем удобную легенду.

На военной базе в Штатах, куда я был доставлен по личному

распоряжению Рузвельта в сорок четвертом, у меня было довольно времени, чтобы вспомнить все, чему я был свидетелем, и все записать. Меня удостоили звания военного советника, в то время победители использовали офицеров противника для построения новых бастионов в предполагаемой войне с коммунистами. Генерал Гален, чья сеть тайных агентов пригодилась Даллесу, тому отличный пример. Я почти не удивился, когда мне предложили взяться за перо и написать мемуар, ы – кто еще может рассказать то, что знаю я? Тем же самым занимался и генерал Франц Гальдер, спасая себя от петли, и

сотни других офицеров вермахта. Отчего же не согласиться? Прекрасная библиотека была в моем распоряжении, предупредительные тюремщики доставляли газеты и документы, которые я запрашивал. Пусть Ханфштангль, этот странный англосакс, служивший германскому дьяволу, пусть он напишет свои записки! Наивные победители полагали, что я обладаю секретной информацией, которую они смогут вычитать в моем опусе. Мой персональный надзиратель по имени Ричардс, одетый в форму лейтенанта флота (но, полагаю, пребывавший в чине майора разведки), ежедневно просматривал мои записки — и

морщился: как, опять про Леонардо?
снова про античную демократию?
еще раз о прозрениях Гегеля? Где же
подробности о секретных
хранилищах произведений искусства
в Линце? Где сведения о личных
счетах фюрера? Вы уверены, что вам
больше нечего вспомнить, мистер
Ханфштангль? Мы ждем от вас
правдивой истории, мистер
Ханфштангль, а вы нам
рассказываете сказки о Лютере и
Меланхтоне! Дайте-ка нам
подробный анализ совместных
преступлений нацистов и
большевиков, плана раздела Польши!
Терпение, милый лейтенант,
улыбался я, терпение! Что сокровища

Линца! Что швейцарские аккредитивы, аргентинские тайники, подводные клады! Все золото мира будет перед вами, все рубины и изумруды Голконды рассыплю я у ваших ног! И лейтенант (он же майор) терпеливо ждал обещанного, не понимая, что сокровища уже перед ним. Он ждал паролей, карт, ключей — я же предлагал ему тайны мира. Читайте внимательнее, господа! Ах, немногие умеют пользоваться моими подсказками — вот, например, Адольф умел. И то — не надолго хватило его умения.

Так прошло очень много лет. Я вел ежедневные записи, а тюремщики знакомились с ними и не

находили главного. Где секретная переписка Сталина и Гитлера? Где протоколы встреч Молотова и Риббентропа? Где русский план по захвату Запада? Дважды в год мой надзиратель направлял своему начальству отчет, сопровождая его наиболее значимыми из моих откровений. И всякий раз он приходил ко мне взбешенным: начальство негодовало! Вы обманываете наше доверие, кричал Ричардс. Мистер Ханфштангль, почему вы не разоблачите связь красных комиссаров с коричневыми нацистами? Я рассказывал про знакомство Гудериана с Тухачевским, а он меня перебивал: не то!

— Вы меня запутали, — отвечал я. — Если искать связи советских с немцами, вот хороший пример. Тухачевский восторгался Гитлером.

— Это плохой пример! — свирепел надзиратель. — Неужели не ясно: пример плохой! Маршал Тухачевский был ложно обвинен в шпионаже в пользу Германии, и неразумно разрушать общее верное представление о тех страшных годах ради сомнительной детали. Наша задача показать идеологическое срастание коммунизма и фашизма, их роль была сходной в историческом процессе. Теперь наконец понимаете?

Тянулись годы, я привык к

монотонной работе — и стал глубоким стариком. Работали на них все — и Гальдер, и Гелен... полагаю, что и Гесс в Тауэре тоже сочинял для победителей тексты. Рудольф очень помог в свое время с написанием «Mein Kampf», у него был хороший слог... Он сумел бы найти веские слова для борьбы с коммунизмом.

В то время уже и термин соответствующий придумали, весьма удобный в политической жизни, — появилось слово «красно-коричневые». Признаюсь, я не сразу понял, что имеется в виду; меня просветил мой надзиратель — оказывается, современной демократии противостоит союз

потерпевших поражение красных и националистов, которые тяготеют к фашизму. Вот так и был получен искомый оттенок — красно-коричневый. В мире победила демократия, а красно-коричневые готовят реванш.

— Ах, вот что, — сказал я, — теперь ясно. Прежде была Антанта, «Антикоминтерновский пакт», Интернационал... это помню. «Стальной пакт», было и такое... Потом Атлантический союз, Варшавский блок. А сегодня ветераны коммунизма и нацизма, повашему, объединились? Красно-коричневые, да? Заговор против демократии?

— Есть очевидная тенденция, — заметил мой страж, — и корни такого союза следует искать в истории. Вспоминайте, вспоминайте! Мы будем благодарны за любую деталь. Мы не торопим, но имейте в виду, времени осталось мало.

Почему времени мало? Лично у меня времени было достаточно. Я продолжал писать, нервные люди в белых рубашках пили кофе и просматривали мои записи и не видели в них ничего любопытного. Меня не имело смысла содержать на военной базе — я даром ел их бюджетный хлеб.

Иногда про меня забывали на годы — я понимал, что в это время их

экономика цветет и лишних гамбургеров они не считают. Но однажды на базу приехал высокий чин. Зашел в мою комнату, задал несколько вопросов, остался недоволен. «Вы знаете, Ханфштангель, что состоите на довольствии нашего ведомства уже почти полвека?» Надо было бы добавить: лишние рты демократии не нужны! Я подумал, что он готовит мне приговор. Я был никчемным работником, дряхлым стариком, отчего бы меня не усыпить? Сколько демократических гамбургеров я съел – и без всякой пользы для глобальной демократии... Я ждал, что войдет медсестра и предложит закатать

рукав. Знали бы они, как я жду смерти.

Однако решено было переправить меня в Британию, поселить под надзором английских офицеров. Переезд я перенес неплохо. Меня поселили в специальном квартале, на юге Лондона, неподалеку живут бывшие советские диссиденты, ныне сотрудники русской службы Би-би-си. Здесь же разместились арабские провокаторы, внедренные в племена единоверцев, чтобы сеять раздор; беглые советские разведчики, находящиеся на довольстве у МИ-6; оплачиваемые британскими службами советологи-кремлинологи.

В сущности, следует сказать спасибо британским военным: меня не держали в Тауэре, как Рудольфа Гесса, — за мной приглядывает британский майор, вот и вся стража. Как и его американского коллегу, его тоже зовут Ричардс — говорят, все русские следователи называют себя «Иван Иванович»... а впрочем, какая разница?

— Скажите, майор, у вас нет родственника в Америке?

— Насколько мне известно, нет.

— Может быть, ваш кузен — тоже Ричардс?

— Это распространенная фамилия.

— Да, верно.

В конце концов, мне безразлично, кто за мной смотрит и в каком я городе. Я редко покидаю свою комнату. Lebensraum сократился до 12 метров.

В окно я вижу продуктовый магазин, которым владеют ямайские негры. Там продают какую-то пеструю ерунду. Рядом магазинчик игровых автоматов, принадлежащий тоже темнокожей семье. Дальше закусочная, в которой итальянка Диана (как явствует из вывески) потчует посетителей жареным беконом и яичницей с бобами. Сомневаюсь, чтобы в Неаполе, откуда она родом, такую кухню одобрили. Но вкусы Брикстона (так называется этот южный район) именно таковы — и вот уже Диана пишет на вывеске, что подаст в

полдень настоящие камберлендские сосиски с бобами. Мой надзиратель, майор Ричардс, однажды угостил меня такой сосиской — невообразимая мерзость! Старикам — а я ветхий старик — такая пища противопоказана.

Помню, я пошутил, что если бы Гитлер знал больше о холестерине и камберлендских сосисках, он решал бы планы по Холокосту иначе. К чему «Циклон Б», если есть камберлендские сосиски? Итак, закусочная. Следующая дверь — служба миникэбов. Ямайские парни на убогих машинах составляют конкуренцию классическим британским кэбам — возят за

полцены. Правда, майор Ричардс жалуется, что черные плохо знают город, могут не доставить в пункт назначения. Следующая дверь — обувная мастерская; там работает толстый лысый человек в переднике, его зовут Мэлвин, так написано на окне его лавочки. Обычно Мэлвин сидит на пороге и кушает большой сандвич, видит, что я его разглядываю и машет мне рукой, на которой изображен синий якорь.

Раз в неделю главный брикстонский бандит приезжает на длинной серебристой машине собирать дань с магазинов. Это грациозный негр грязно-серого цвета в золотом костюме с бахромой и

войлочными волосами, заплетенными в косички. Костюм, конечно, не буквально из золота, но ткань сияет как золотая, возможно намазана фосфором. Негр движется в ритме африканского танца, вскидывая колени и потряхивая руками, на которых брякают браслеты. Видимо, он танцор или очень любит национальную музыку. Он входит в магазинчики, танцуя, за ним движется его охрана. Они выходят с пачками денег в руках, садятся в автомобиль и едут медленно дальше, вдоль домов. Тормозят у следующей двери, сцена повторяется: негр, танцуя, заходит в магазин, выходит с деньгами. В этом

квартале живут в основном эмигранты — в большинстве это негры с Ямайки. Они безропотно отдают деньги бандиту, а тот похлопывает мужчин по щекам, а женщин шлепает пониже спины. Я спросил у майора Ричардса, почему власти Лондона не положат конец этому вымогательству. Танцующего негра и его охранников следует немедленно арестовать и изолировать. Майор Ричардс сообщил мне, что такого рода решение не в его компетенции, сам он не полицейский, но лично он полагает, что гораздо разумнее сохранить вещи как они есть. Лучше позволить танцующему негру

(кстати, его зовут Бенджамен, он наш сосед, живет за углом) собирать свою мелкую дань (ну что это за деньги, сами посудите!), чем ввергнуть район Лондона в этнический конфликт. Ведь немедленно выяснится, что половина семей Брикстона – родственники танцора, что их права задеты, и так далее. Нет уж. Лучше не связываться. Вам лично Бенджамен мешает?

– Понимаю, – сказал я, – вы не трогаете негра Бенджамена, который вымогает деньги, а негр Бенжамен не трогает вас, если вы решите разбомбить Африку. У каждого свой интерес.

Майор Ричардс умеет

промолчать. Англичане вообще очень спокойный народ, это особенно понимаешь, если на соседней улице наблюдаешь суету негров с Ямайки. Кастовое общество предполагает разницу в поведении. Брамины хранят спокойствие, потому что кшатрии трудятся, а воины совершают полеты на сверхзвуковых бомбардировщиках. Каждому – свое. В сущности, об этом Адольф и мечтал. Он ошибался, полагая, что мечтает один.

Как и его американский родственник, Ричардс снабжает меня прессой, а взамен забирает исписанные мной листки. Я всегда просил только книги по истории,

только доклады политиков, только опубликованные архивы – и Ричардс не возражал. Раз в неделю приходит коробка с пометкой «Для Ханфштангеля» – там книги и журналы.

У майора Ричардса короткие пальцы с узкими полосками ногтей. Он говорит тихим голосом и краснеет до морковно-рыжего цвета, когда врет. У майора жена и двое детей: взрослый сын и маленькая дочка. Майор любит пиво и камберлендские сосиски. Когда майор хочет сделать мне приятное, он обещает на следующий день заказать для меня большой ланч в пабе «Лягушка и цапля», в этот

момент майор шалееет от собственной расточительности.

– Знаете что? – говорит майор и становится похож на русского купца, едущего к цыганам. – Отчего бы вам не попробовать камберлендских сосисок?

В порыве щедрости он готов на все.

– You know what I am going to do tomorrow? I am going to order the special lunch for you!

Русские купцы, швыряющие в печь пачки ассигнаций, не выглядели такими мотами, каким кажется себе в этот момент майор Ричардс. Я вижу по выражению морковного лица, что он занят торопливым

подсчетом: камберлендские сосиски с яичницей – четыре фунта пятьдесят пенсов, пинта пива – два фунта... Правды ради, свои планы майор никогда не приводил в исполнение: наступал новый день, я получал стандартный рацион – чай с молоком, бульон, галеты. Я радуюсь избавлению от мерзкой пищи, благодарю Провидение, что сосиски меня миновали, но проходит три месяца, и майор снова начинает сулить обильный ланч.

Книг много, я книгам рад. Издали две тонкие книжонки моих мемуаров – не совсем фальшивки: тюремщики настригли строчек из моих ежедневных записок,

скомпоновали в нужном виде. Из послесловия я узнал наконец о своей судьбе. Оказывается, я бежал из Третьего рейха через Испанию и благополучно скончался в Швейцарии. Будто бы Геринг готовил план моего убийства: меня собирались вытолкнуть из самолета, а я улизнул, сам прыгнул с парашютом и так далее. Неправдоподобная история. Кто только это сочинил? Указал майору Ричардсу на этот абзац, Ричардс пожал плечами, слегка покраснел. Рекомендовал мне побольше писать — вот соберем материал, издадим правдивую книгу.

Он аккуратно собрал

написанные сегодня листочки, унес к себе.

Любопытно, писал для них что-нибудь Рудольф Гесс? Гесса, как я слышал, перевели из Тауэра в Берлин, в тюрьму Шпандау, находящуюся в юрисдикции Британии, в Западном секторе. К Рудольфу приставлен был, как и ко мне, британский майор. Не сомневаюсь, тоже Ричардс. Поразительная подробность: Гесс считался пленником коалиции, и требовалось согласие всех стран-победительниц, чтобы отпустить его на свободу. Пока советская сторона была настроена мстительно по отношению к германским

преступникам, Британия выдвигала предложение освободить Гесса. И естественно, получала советский отказ. Когда же рухнула Берлинская стена, советский руководитель Горбачев сам обратился с инициативой освободить Гесса. Дескать, довольно мучить старика! Тут же Рудольф Гесс повесился; точнее, его нашли повешенным на шнуре от электрической лампы. Зачем девяностолетний старик, который отсидел в камере пятьдесят с лишним лет, вдруг решил повеситься — об этом никто не спросил. Уверен, его удавил британский майор. Они испугались, что на воле Гесс заговорит. Он

говорил не хуже Геринга, который заставлял зал Нюрнбергского суда вслушиваться в свою аргументацию.

В начале нашего знакомства я полагал, что майор Ричардс удавит меня. Не стали усыплять на американской базе – значит, удавят в Британии. Тем более что, как выяснилось, по официальным данным я давно покойник. Пару раз майор входил ко мне в комнату поздно вечером, безмолвно стоял у притолоки, переминался с ноги на ногу, бросал взгляды на мою подушку.

– У меня просьба, майор, – сказал я ему, – не душите меня подушкой. Это вульгарно. Я не хочу,

чтобы вы подвесили мой труп, как сделали ваши коллеги с Рудольфом Гессом.

— Не говорите ерунды, мистер Ханфштангель, — майор Ричардс покраснел, стал похож на отварную морковь.

— Послушайте, — сказал я Ричардсу, — я живу уже так долго, что смерть для меня — избавление. Но когда представляю, как вы душите меня подушкой, мне делается неприятно. Возня мужчин в постели, причем один из них дряхлый старик. Отвратительно. Выберите иной способ.

— Никто не собирается вас убивать.

– Однако Гесса вы убили.

– Рудольф Гесс повесился.

– Спустя пятьдесят лет старик

не вынес одиночества. Понимаю.

Дни мои однообразны: пишу воспоминания, смотрю в окно, размышляю. Мы поладили с майором. Однажды он сказал так:

– Сейчас в мире идет важный процесс – революционные изменения коснулись многих стран. В Ираке, как вы знаете...

– Знаю, – сказал я, – Саддам был новым Гитлером, вы почти нашли у него ядерное оружие.

– Оружие могло быть... – сказал майор Ричардс. – Плохо искали...

– Искали не хуже, чем Адольф –

польскую провокацию... – На это Ричардс ничего не сказал.

– Пал режим Мубарака в Египте, – продолжал майор, помолчав, – пал режим Каддафи в Ливии; на этот раз даже не войска НАТО, сам народ сместил тирана...

– Вы немного бомбили, – сказал я.

– Каддафи был тиран, – сказал майор. – А что наши с ним раньше обнимались... С Гитлером тоже обнимались. Дипломатия! – Майор Ричардс, судя по всему, был противником дипломатических ухищрений. – Важно то, что процесс идет уже и в России.

– Позвольте, – сказал я, – еще

двадцать пять лет назад, когда я жил в Штатах... Перестройка, Горбачев...

— Попытка была неудачной, мистер Ханфштангель. Власть опять стала авторитарной.

— Уверен, вы что-нибудь придумаете.

— Сегодня на площадях Москвы опять толпы...

— Работаете не покладая рук, майор?

— Находимся в контакте с лидерами оппозиции... — Майор всегда улыбается тихой улыбкой. Я забыл сказать, что на Рождество его дети присылают мне открытки. Однажды его дочка назвала меня в письме дедушкой.

– Чего вы от меня ждете?

– Вы интересны как человек, который активно занимался геополитикой в прошлом веке. Я прошу вас включиться и в сегодняшние события.

– Майор, вы знаете, сколько мне лет?

– Делитесь воспоминаниями. Иногда случайная деталь рассказа поможет в формировании концепции. Мы учимся на чужих ошибках. Здесь несколько гостей из Москвы, люди достойные, демократической ориентации.

– Ну что ж, – сказал я. А сам подумал: неужели мой мафусаилов век закончится еще одной

авантюрой?

Вот, значит, как меня будут использовать. У них ничего не пропадает, кадры здесь берегут: все пошло в дело. Генерал-майор Рейнхард Гелен, глава оперативной разведки на советско-германском фронте, пригодился для работы в ЦРУ, его сразу, еще в 1945-м зачислили, а в 1949-м разведслужба Гелена уже всю работала как подразделение ЦРУ; «лионскому мяснику» Клаусу Барбье нашли занятие в Латинской Америке, он разгромил боливийских партизан, работал советником безопасности у диктатора Уго Бонсера; фельдмаршала Альберта

Кессельринга, приговоренного к смертной казни за уничтожение Роттердама, личным распоряжением Черчилля вытащили из тюрьмы в 1947-м. Я все недоумевал: зачем его освободили, он же занялся созданием реваншистских партий? Значит, так надо было. Генерал-майора Отто Ремера, того самого, который подавил мятеж генералов в 1944-м и арестовал заговорщиков, специальным распоряжением освободили в 1947-м. Я тоже недоумевал: из неудавшегося заговора генералов вермахта сделали легенду, а того, кто заговорщиков арестовал, — освободили. Еще больше я удивился, когда узнал, что Отто

Ремер основал в 1949-м
неонацистскую партию —
Социалистическая имперская
партия, так она называлась. Он и
Отто Скорцени путешествовали по
Востоку, переводили на арабский
язык «Майн кампф». Или Пауль
Шефер: он пригодился Аугусто
Пиночету для создания лагеря —
поселка «Дигнидад». Всем дали
работу. Вот и мне нашли
применение. Ну что ж, я готов.

В гостиной ожидали трое
упитанных мужчин — то были
представители современной
российской фронды. Один
раскинулся на диване, двое по
креслам — причем заняли самые

удобные. По книгам я знаком с портретами былых поколений русских фрондеров – от Желябова до Солженицына. Сегодняшние оппозиционеры не были похожи на хрестоматийных борцов. В героях прошлого поражало сочетание каменных лиц и стремительных тел. Лица сегодняшних вождей были оживленные, а тела малоподвижные.

Я и сам плохо хожу, ноги уже не слушаются. Ни один из фрондеров не встал, не сделал попытки предложить мне свое место. Майор довел меня до стула у окна, я сел на жесткий стул, разглядывая гостей.

Сегодня русский язык изменился, русские пользуются

английскими словами столь же часто, как родными. Мы поймали окончание разговора.

— Англичане научились готовить lobsters! — говорил тот, что сидел на диване. — Совсем другая кухня. Меня Курбатский соблазнил. Amasing!

— Come on! — сказал упитанный господин с синими от бритья щеками. — Не лучше, чем в Москве.

— Меня приглашали в «Палаццо Дукале» в Москве, — сообщил самый старый из них, с лицом скомканным, как носовой платок. — Поспорит с Европой.

Майор представил меня гостям. Представились и они.

Тот, что сидел на диване,

оказался лидером оппозиции Николаем Пигановым. Пиганов – личность известная, в газетах часто публикуют портреты: Пиганов на водных лыжах, на трибуне митинга – несмотря на возраст, он охотно позирует в пляжном костюме.

Лидер оппозиции лениво пошевелил пальцами, изображая приветствие. Я в ответ пошевелил, как и он, пальцами поднятой руки. Жесты, которыми мы обменялись, напоминали стандартное нацистское «хайль!», но произвели мы эти жесты расслабленно, как принято в либеральной среде.

Синецкий господин
отрекомендовался журналистом.

Борис Ройтман — так звали его — сиял, как начищенный сапог эсэсовца, но блеск был не казарменный, то был самоуверенный блеск безнаказанного светского человека. Так лоснятся лица удачливых евреев, которым не надо прятаться по чердакам, в просвещенном мире они пожинаят плоды своих былых невзгод. Впрочем, я тут же поправил себя. Блеск часто обманчив. Самоуверенности в Ройтмане не было, напротив, была растерянность, которую блеск скрывал — так сквозь лаковую поверхность картин Рембрандта пробивается горе; я задержал взгляд на этом человеке.

Третьим был историк Халфин, старик, однако не столь древний, как я. Старик смотрел лукаво: годы научили его выбирать правильный путь и прогрессивные взгляды. Господин Халфин держал в руках книгу – скоро я узнал, что это его собственный труд, трактующий судьбу России.

Ройтман же выделялся любознательностью – свойством, присущим журналистам. Он спросил для чего-то про высоту потолков, подошел к окну, оглядел улицу и палисадник.

– Престижный район? – осведомился Ройтман, увидев цветных соседей. Наличие негров его

насторожило.

– Нет, – сказал майор Ричардс, – не очень престижный.

– Говорят, – сказал Ройтман, – в Хемпстеде хорошо. Интеллигентная публика.

– Чепуха, – Пиганов знал мир, – в Хемпстеде уже никто не селится.

– Интересно, – спросил Ройтман, – этот дом в какую цену?

– Присматриваете жилье в Британии?

Я обратил внимание, что русские интеллигенты неплохо разбираются в недвижимости. Ройтман осмотрел пятно от протечки на потолке, осведомился, как выведена канализационная труба.

Литератор объяснил, что в Москве ценится сталинская архитектура – в то время строили добротно.

– На крови строили, – заметил Халфин. – Дома строили рабы.

– Немецких военнопленных принуждали строить дома для русского генералитета, – жестко уточнил Пиганов.

Ройтман помрачнел: стыдно за сталинскую архитектуру.

– Надеюсь, с английскими домами подобные истории не связаны, – сказал Ройтман. Майор Ричардс покивал: что вы, какие рабы на английских стройках! Раньше трудились ирландцы, сегодня работают поляки и украинцы,

свободные люди.

Халфин заметил, что, если задержится в Лондоне, придется думать о жилье. Из дальнейших реплик стало понятно, что ситуация в России накаляется.

— Несколько дней назад... — начал Халфин.

Дверь распахнулась, и вошел четвертый гость — русских сделалось очень много, столь шумен был новый господин.

То был композитор Аркадий Аладьев, брюнет с некогда пышной шевелюрой, отхлынувшей со лба далеко назад, подобно русским войскам в первый год германского вторжения. Волосяной покров

отступал в беспорядке, обнажив возвышенность лба, темя, виски — но прочно закрепился на затылке и за ушами. Там локоны вились и спадали на воротник. Движения музыканта были порывисты.

— Мы проснулись в другой стране! — сказал Аладьев и протянул каждому из гостей белую ладонь. Получил руку и я. — Заснули в казарме — проснулись на поле боя!

Главной чертой Аладьева была эмоциональная избыточность. Возможно, музыкант любил звук своего голоса; голос действительно был красив. Когда Аладьев открывал рот, он будто нажимал на спусковой крючок — слова выстреливали из него

очередями: вместо одного — сразу пять.

— Я взволнован, — говорил он, — потрясен! Возбужден! Заворожен! Окрылен! Да, я нахожусь в приподнятом состоянии духа! Колонны демонстрантов! Прекрасные лица! Молодые ждут перемен! И перемены неизбежны!

Сказанное относилось к России, разумеется, а не к Лондону, где проходила наша встреча. Неизменность Британии — вот что всегда привлекало к Британии революционеров, которые находили здесь пристань в непогоду. Бунтари мечтали, чтобы их собственная страна что ни день просыпалась

иной, но наличие покойной гавани в Британии их радовало. Я не встречал людей, столь склонных к консерватизму, как русские фронтеры.

В начале нового века Лондон наводнили русские. В большинстве своем это были люди крайне богатые. Любопытно, что почти все богачи, приехавшие в Лондон, называли себя оппозиционерами, инакомыслящими. То, что они мыслят отлично от большинства населения, было очевидно: рядовому гражданину нипочем не получить столько денег.

После Октябрьской революции дворяне бежали в Париж, диссиденты бежали от Брежнева в Америку, а теперешние вольнодумцы хлынули в Британию. То была

финансовая эмиграция: те, кто отщипнул кусок от разваленной русской экономики и превратил этот никчемный кусок в деньги, — немедленно бежали в Лондон. Это были виртуозы финансового капитализма, директора обанкроченных предприятий, владельцы разрушенных заводов. Бессмысленная советская рухлядь была конвертирована в акции свободного мира — теперь инакомыслящие осваивали цивилизованную жизнь.

Цены на лондонскую недвижимость подскочили благодаря русским эмигрантам — беженцы скупали особняки в Белгравии и

Ричмонд-парке, коренные лондонцы недоумевали, отчего современные русские вольнодумцы — сплошь миллионеры? Свободолюбие сроду не приносило таких барышей: дворяне, осевшие в парижских такси, и диссиденты брежневских времен, прозябавшие на пособия, не произвели впечатления на западную публику — почитайте газеты тех лет, вы не отыщете ни единого упоминания. Но сегодняшняя пресса отдавала первые страницы русским фрондером. Быть инакомыслящим либералом — значило быть богачом или доверенным лицом богача. Вольнодумцы колесили на «Бентли» и держали мажордомов. Фрондеры

ели лобстеров и пили коллекционные вина. Они любили традиционную викторианскую архитектуру, разве что добавляли подземный этаж с бассейном; ценили тихий английский пейзаж, разве что выставляли по периметру участка морских пехотинцев. Да, все, на первый взгляд, тихо в поместье в Дорсете – но взгляните на офицера, несущего службу на парковой дорожке! О, кремлевские сатрапы не дремлют – они охотятся за свободомыслиями и здесь! Хозяин поместья стоит до последнего, он отдал себя борьбе!

Русские оппозиционеры были ревнителями британских традиций:

чаепитий в пять пополудни, загородных домов с плющом, скачек в Аскоте с обязательными шляпками для дам. Они приноровились покупать костюмы на Севил Роу, завели себе домашних врачей на Харли-стрит, знали, какой пиджак надевать для крикета, а какой — для гольфа. Они выписывали «Times» и подозрительно косились на «Guardian», а некоторые даже приобрели убыточные английские футбольные команды и обанкротившиеся лондонские газеты — чтобы британская традиция ни в коем случае не поменялась! Они поддерживали британский порядок деньгами, добытыми в беспокойной

России. То, что выжато из российских суглинков, отмыто в сибирских болотах, выкачано из нефтяных труб, отвоевано у пенсионных фондов — ушло в британскую стабильность. Стабильность и традиция — вот чего алкала душа русских вольнодумцев в цивилизованных странах. Но как ждали эти люди перемен в своем отечестве, как приветствовали брожение умов на родине! Судя по всему, время перемен действительно настало — возможно как раз потому, что все силы и средства из страны были выкачаны за двадцать лет.

— Я снова молод, — восклицал Аладьев, — и жду перемен!

— Говорят: не раскачивайте лодку! — презрительно сказал Пиганов. — Они боятся шторма.

— Не раскачивайте лодку — крыс тошнит! — сказал Ройтман. И опять: Ройтман сказал едкую фразу, но в глазах его я увидел тоску. Словно не революция была главным для этого человека.

То был типичный диалог заговорщиков: сколько подобных бесед провели мы с Адольфом и Рудольфом Гессом в Мюнхене! И упреки, брошенные заговорщикам, были типичны. «Раскачивать лодку» — именно эту метафору и употребляют обычно. Ах, если бы вы не будоражили общество, мы бы

жили спокойно! Сколько раз это говорили большевикам и нацистам! Однако никто не спросил: если лодка идет ко дну – не все ли равно, раскачивать ее или нет? Ах, не раскачивайте нашу тонущую лодку!

– Вот реальный эпизод, – сказал историк Халфин, привлекая внимание общества. Его скомканное лицо наморщилось еще больше: он улыбался. – Вообразите, меня пригласили в кремлевскую администрацию! Получаю конверт – а там приглашение: профессора Халфина ожидают в Кремле. Вход через Боровицкие ворота! Итак, я отправился..

– Приняли приглашение? –

спросил Ройтман.

– Не забывайте, я историк! Мне исключительно любопытно! Отправился и встретил... не самого, но из ближнего круга... И вот я прямо спросил: долго будете мучить Россию?

– Так и спросили?

– Предпочитаю называть вещи своими именами! Я, извините, профессор американского университета. Свой вес в обществе имею... За меня встанет вся мировая общественность. Долго, говорю, будете Россию топтать?

– Так и сказали?

– Слово в слово! И вы знаете, что он мне ответил?

– Да, что он ответил?

– Он говорит: «Триста лет!» Мы, говорит, пришли на триста лет!

– Считают себя новыми Романовыми!

– Демагогия, – объяснил происходящее Аладьев и уточнил свою мысль: – Цинизм, подтасовки, фальсификации!

– Однако я не закончил историю. И вот, неделю назад... – продолжал Халфин.

– История с галереей, – сказал лидер оппозиции Пиганов, морщась. – Полагаете, связано?

– Да! История с галереей!

– Расскажите майору, – сказал Ройтман. – Это должны знать все.

Халфин изложил историю. В некоей галерее современного искусства («Вы только послушайте, это же вопиющая нелепица!») нашли сейф, а внутри сейфа – миллионы от игорного бизнеса, а водителя машины...

– Какой машины? – Майор хотел подробностей; профессиональный интерес засветился в тусклых глазах британца. – Вы про сейф говорили.

– Сейф стоит в галерее, у владельца галереи есть машина, а машину водит водитель.

– И что тут особенного?

– Они везде найдут криминал! – сказал Аладьев и добавил: – Подлог! Ложное обвинение! Неправый суд!

– При чем здесь водитель?

– Водителя Мухаммеда задушили!

– Задушили! – Пиганов сделал жест, показывая, как именно душили. – Задушили водителя, чтобы свалить оппозицию. Для КГБ – стандартная операция.

– Полагаете? – майор стал серьезен.

– Безвестного Мухаммеда убивают. Но виноват буду я! – Халфин всплеснул руками. – Меня вызывают на допрос!

– Наймите хорошего адвоката, – сказал майор Ричардс.

– Не поможет! – Пиганов покачал головой. – Если надо,

докажут что угодно. Расскажите им про следователя.

— Это шедевр в своем роде. Фанатик! Он Ленина пропагандирует!

— Таких мы наблюдали в тридцатые годы, — сказал Ройтман.

— Если завели дело — разумнее остаться в Британии, — сказал майор. — Я бы остался.

— Невозможно, — сказал Ройтман. — Что скажут читатели?

Россия переживает исторический момент, неделю назад на площади собрались тридцать тысяч человек, вчера на демонстрацию вышли сто тысяч, а завтра выйдет миллион — и

еженедельных статей Ройтмана ждут.

— А полиция? — спросил майор Ричардс. — Не боитесь?

Ройтман молча достал портмоне, вынул из портмоне фотографию — снимок пустили по рукам, взглянул и я. На фото я узнал Бориса Ройтмана; снимок отражал момент задержания Ройтмана полицией — мы видели спину полицейского и руку, положенную на плечо журналиста.

— Это на митинге, — объяснил всем Ройтман. — Подошли, скрутили. Три часа провел за решеткой.

В ответ композитор Аладьев (он ревниво следил за реакцией майора) извлек из своего портмоне

фотографию и тоже пустил ее по рукам. Фотографический снимок был нечеткий и темный, но Аладьева можно было различить. Аладьев объяснил, что его с другими оппозиционерами тоже задержали на митинге протеста — и этот снимок показывает, как их везли в полицейский участок в специальной машине. «Видите, это сиденье внутри машины! А вот — колено полицейского, он сам в кадр не вошел».

Гости сравнивали снимки, не зная, какому отдать предпочтение, — оба снимка, несомненно, хороши. Снимок у Ройтмана был лаконичнее, но в документе, предъявленном

Аладьевым, был своего рода репортажный шик. Мне показалось, что этот маленький поединок выиграл композитор.

— Меня арестовывали трижды, — сказал композитор.

— Три раза арестовывали?

— Да.

Сообщил он это будничным голосом, словно о поездке к тете. Точно так же, без аффектации, Адольф описывал мне свой арест в 1923-м: собрали митинг в пивной, пошли по улице, демонстрацию расстреляли, зачинщиков скрутили... Потом год в тюрьме Ландсберг, работа над книгой. Всех поражала простота рассказа, это уже потом

погибших канонизировали, а простреленное в 1923 году знамя стало национальной реликвией.

— Полагаю, целят в меня, — сказал Халфин, но это заявление не понравилось его товарищам.

— Разве не понятно, — сказал Аладьев, — что им нужна жертва? Жертвой станет самый беспокойный, самый активный и честный.

Я уловил нотки соперничества в разговоре. Пиганов был политиком и воспринимал прочих как свой штаб. Штабные же ревновали друг друга к славе. То были интеллектуалы, но, судя по всему, признание распределялось меж ними неравномерно.

Должен сказать, фатум весьма чутко выбирает неудачников; уже по первой демонстрации было видно, кого и как он будет охранять. В Мюнхене в 1923-м Геринг получил две пули в живот, еле выжил, Адольф и Людендорф не получили ни царапины, а охранник Людендорфа погиб на месте — закрыл собой генерала. Я приглядывался к заговорщикам и гадал: кто из них готов закрыть другого — или таких среди них нет?

— Александр Янович, возвращаться нельзя! Поселю вас у Курбатского в Белгравии, — Пиганов жестом отмел возражения. — Оппозиционеры должны

объединяться.

Господин Пиганов проживал в Лондоне у своего друга миллиардера Курбатского, владевшего половиной российской нефти.

– Полагаете, стану прятаться? – Халфин рассмеялся саркастически.

Господин Халфин имел возможность скрыться, но выбрал борьбу. Он заканчивал новую книгу, в которой сказал последнюю правду. «В письмах Тургенева нахожу такое! О, я выведу Россию на чистую воду!»

– Ну, что ж – сказал Пиганов. – Понимаю ваш выбор. Ситуация революционная.

Гости заговорили хором. Часто повторялись слова «новая элита».

– Качественно новая ситуация:
возникла новая элита!

– На площадь вышли те, кто ни в
чем не нуждается! Не пролетариат!

– Бимбом отдыхает в Риме, но
на баррикады прилетит.

– Чпок кинул тридцатку.

– Пусть подавится тридцаткой.

– Власть не понимает новую
элику!

– У вас грант на создание книги
об оппозиции? – спросил я Халфина.

В сущности, гранты макартуров,
соросов и прочих магнатов – это
индивидуальные планы Маршалла.
Так мир выстраивает касты жрецов,
готовит новую элику.

– Это последняя битва с

коммунизмом, — ответил Халфин невпопад. — Формируется новая элита, принятая Западом.

— Я держу свои пальцы скрещенными, — сказал британский майор. — I keep my fingers crossed. — Это английское выражение; майор Ричардс не буквально имел в виду, что его скрещенные пальцы помогут делу либерализации в России. Но прозвучало обещание торжественно — я видел, что майор заинтересован в победе на тиранией.

Гости продолжали обсуждать, как именно российская госбезопасность охотится за ними. Два-три слова было сказано о том, кто станет в будущем премьер-

министром и кто — президентом. Называли разные имена: упомянули беглого миллиардера Курбатского; опального богача, отбывающего срок в колонии; присутствующего здесь Пиганова; радикального националиста Гачева; журналистку Фрумкину; публициста Бимбома. Кандидатур было много.

Я думал: любопытно, кто из них окажется Ремом, кого пустят в расход в «Ночь длинных ножей»? Победа в 1933-м была важна, спору нет, но окончательно все решилось в 1934-м... Кто из них станет Геббельсом, кто Борманом, а кто — самим фюрером? И на сколько лет это предприятие рассчитано?

Теперешняя российская власть планирует править триста лет, Адольф говорил о тысячелетнем рейхе — и его хватило на двенадцать лет... Любопытно, на сколько лет рассчитывают эти люди?

Я прикидывал также, сколько мог украсть Курбатский, чтобы заслужить британскую защиту. Англичане не выдают беглых директоров банков, воров-миллиардеров, а если богачи назвались узниками совести, британское правосудие спасет их от тоталитарного режима страны, где находится разворованный банк. Не так давно я читал в британской газете интервью с московским

бандитом, который утверждал, что скажет правду в лицо гнилому режиму — потому он и выбрал свободный мир. Впрочем, что я знал об этом бандите? Возможно, он социальный философ и филантроп, а разбой — это так, прикрытие.

Особняк в Белгравии, друзья в парламенте, новая элита, грант в Оксфорде, счета в банках — русские фронтеры чувствовали себя в Британии как дома. Я недоумевал, для чего могу пригодиться московской оппозиции — у них уже все есть.

– Время позднее, – сказал я майору, – приятно было познакомиться.

– Подождите, прошу вас, – сказал майор.

– Я объясню, что нам от вас нужно, – сказал Пиганов.

Он встал с дивана, расправил плечи. Я подумал, что Герман Геринг напрасно пренебрегал спортом и утратил свои стати, оказавшись в Каринхалле владельцем погребов и охотничьих угодий.

– У нас имеется просьба. Россия на перепутье, – сказал Пиганов. – Не в первый раз. Двадцать лет назад мы

свергли коммунизм и вместо демократии получили власть полковника госбезопасности.

— Я читаю газеты, — сказал я.

— Теперь Россия созрела для нового шага вперед.

Краем глаза я следил за майором Ричардсом, тусклые глаза майора иногда оживали: сопоставив искорки в глазах майора со словами Пиганова, я понял, что майора интересует путч. Пиганов продолжал:

— Вы присутствуете на партийном собрании, мы проводим выездной съезд в Лондоне.

— Не в первый раз российские партийцы встречаются в Лондоне. —

добавил Ройтман. – Например, сто лет назад... – Он усмехнулся своей шутке.

– В Лондоне собрались лучшие люди России, – сказал Халфин, – чтобы изменить будущее страны.

– Ждать нельзя. – Пиганов говорил властно. – Но есть проблема. Некоторые жалуются, что у нас нет четкой программы. Программы действительно нет. Объясню почему.

– Мы сознательно не выдвигаем программы, – сказал Халфин.

– Могли бы сказать: частная собственность, гражданские права и так далее, – сказал Ройтман и снова опечалился.

– Мы либералы, – развил мысль

композитор Аладьев, – либералы в классическом понимании этого слова.

– Да, мы демократы и либералы, – сказал Пиганов. – Так и говорили двадцать лет назад. Однако слово «демократия» сегодня не популярно. Многие говорят, что демократы – воры. Раньше собственность была коллективной. Мы пытаемся людям объяснить, что если бы успешные люди не забрали себе хозяйство, хозяйство бы разворовали. Понимаете?

– Нет, – сказал я. – Не понимаю.

– Страна нуждается в демократии. Но лозунгам демократов больше не верят. Национализм

популярнее. Некоторые вспоминают коммунизм. Нам придется объединиться с коммунистами и националистами — чтобы добиться победы, хотя общей платформы с ними нет.

— Важно сокрушить режим! — воскликнул Аркадий Аладьев и, вскипев, продолжал: — покончить с коррупцией! Произволом! Насилием! Вымогательством!

— Не понимаю, чем могу вам помочь, — сказал я.

— Наш союз временный, тактический. Мы объединяемся с националистами и коммунистами для победы над тираном. Но затем придется размежеваться. Мы обязаны

думать о завтрашнем дне.

— Хотите, чтобы я рассказал про «Ночь длинных ножей»? — Мне стало весело.

— Скажу проще: страна нуждается в новой Февральской революции, но нельзя допустить идущего следом Октября, — сказал Пиганов. — Нам потребуется аргументация!

— Нельзя забывать, что народ — дик, — заметил Халфин.

— Надо воспитать гражданина. Объяснять то, что деды знали, а внуки забыли. Нужен свидетель; этот свидетель — вы. Заново рассказать о репрессиях тридцатых годов. О фашизме, о коммунизме. Надо

рассказать с точки зрения европейца.

— Почему именно европейца? — спросил я. Меня всегда удивляла претензия русских казаться белее, чем они есть на самом деле.

— Потому что европейская идея в опасности. Как спасти мир? Консолидировать усилия нового поколения. Когда-то люди читали Солженицына. Но кто его помнит? Были обличители фашизма — их тоже забыли. Теперь требуется глобальное исследование, показывающее единую природу тоталитарных диктатур — с точки зрения цивилизации.

— От вас нужны факты, — сказал Аладьев и возбудился: — Сухой факт! Деталь! Штрих! Нота!

– Если опираться на факты, – сказал я, – то окажется, что Адольф Гитлер убил людей меньше, чем просвещенный демократический мир.

– Как можно... – Халфин сморщил сморщенное лицо.

– Но это правда, – сказал я.

– А Сталин? – спросил Пиганов. – Важно показать, что эта парочка канатоходцев – Гитлер – Сталин – работала заодно.

– Сталина я лично не знал, – сказал я, – но если сопоставить жертвы, то окажется, что после войны погибло больше народа. Сталин с Адольфом – это генеральная репетиция...

— Оправдываете тиранию? — спросил Халфин недоуменно. Взгляд старческих глаз был сокрушенным; мы оба старики, говорил его взгляд, оба видели много на своем веку. Я сожалею о жертвах века, а вы — нет? Полагаю, Халфин не видел в своей жизни ни единого убийства.

— Тирания — не самый эффективный метод, — сказал я. — Если нужны массовые убийства, требуется демократия.

— Я — еврей, — сказал Ройтман, — и про убийства знаю все. Моя родня погибла в Бабьем Яру. А другая часть семьи сгинула в тридцать седьмом. Мне лично пришлось бы выбирать между рвом в Киеве и бараком в

Магадане.

Я кивнул. Скорее всего, с господином Ройтманом именно так бы и поступили. Правда, Гиммлер в последние годы войны торговал евреями, продавал их жизни шведам, — но, возможно, он не стал бы торговать Борисом Ройтманом. Сказать по правде, шансы Ройтмана уцелеть были невелики. Но велики ли эти шансы теперь? Я подумал: а вдруг печаль в его глазах — от понимания?

— Вы правы, — сказал я. — Ваши шансы ничтожно малы.

Ройтман глядел с укором. Он говорил от лица евреев, сожженных в печах Освенцима.

— Значит, по-вашему, в демократическом мире убили больше людей, нежели в во время мировой войны?

— В конце концов, это не так важно, — сказал я, — но важно знать, на что идешь. Помнится, Гиммлер предупреждал солдат айнзацкоманд, чтобы они были готовы на сверхчеловеческий подвиг.

— Продолжайте! — Аладьев тряхнул волосами на затылке. — Хотите сравнить демократию и нацизм? Теперь среди левых западных интеллигентов это модно. Ода Берию! Эпиталама кровопийце Ягоде!

Есть люди, которые

возбуждаются от звуков собственного голоса. Кстати сказать, Адольф Гитлер был именно таким человеком. Любопытно, что и Аркадий Аладьев оказался таким же сентиментальным человеком. Видимо, раса решает далеко не все — вот еще одно практическое опровержение моего друга Адольфа.

— Мы рассчитывали, что вы поможете, — сказал Пиганов. — Хотя бы ради людей, которых тоталитарный режим может погубить. Это последнее усилие России, мы призваны его осуществить. Не исключено, — добавил Пиганов с горькой улыбкой, — что это и последнее

усилие Запада.

Халфин вышел в центр небольшой гостиной, сказал:

— Либо мы создадим единое пространство западной культуры — либо нас поглотит варварство, идущее с Востока. Понимаете проблему?

— Если причина вашего сарказма — несовершенство демократии, — сказал мне Ройтман, — то сарказм я разделяю. Однако прошу: сопоставьте реальную угрозу реставрации сталинизма и вред от продажных демократических институтов. Ваше участие поможет свободе — ваш скепсис поможет тоталитаризму.

— Понимаю, — сказал я, —
похожие слова я слышал лет
восемьдесят назад. Я с вами,
господа. Главная проблема в битве за
культуру Запада — не отступать. Что
именно разрушить, нам подскажет,
думаю, практика борьбы. Надо
отчетливо знать, что мы готовы на
жертвы, а конкретные жертвы
обнаружат себя сами. Я с вами,
поскольку майор Ричардс
настоятельно просил меня помогать.
Для начала признаем очевидное: с
тысяча девятьсот сорок пятого по две
тысячи двенадцатый людей погибло
больше, чем в обеих мировых войнах
— с четырнадцатого по сорок пятый.
Если у нас с вами партийный съезд —

давайте решим, что мы не боимся крови. Демократии не к лицу страх.

Мои гости остолбенели. Вот верное слово: мои гости обратились в изваяния, в скульптуры, символизирующие гнев и неверие. В Нюрнбергском соборе есть такие статуи, символы страстей человеческих.

— Это безответственное высказывание, — сказал Пиганов.

— Отчего не посчитать убитых? — сказал Ройтман. — Нужно знать состав преступления.

— Что ж, — скорбно сморщился Халфин, — составим горестный мартиролог!

— Приступайте, господин

защитник! — воскликнул Аладьев.

У стариков много свободного времени, я люблю систематические знания и люблю учить. Всегда любил.

— Сравним и, несомненно, узнаем истину, не так ли? — Ах, я невольно вспомнил наши бесконечные дебаты с Адольфом; тот тоже любил сравнить войны Фридриха Великого и походы Барбароссы, потери при Павии и при взятии крестоносцами Монсегюра. Излишне пестро, согласен. Но ведь мы старались обнять весь мир.

Господин Пиганов поглядел на часы, покачал головой. Я перехватил его взгляд и кивнул, обещая

уложиться в пять минут. Потом начал говорить.

— Алжирская война пятьдесят четвертого — шестьдесят второго. Суэцкий конфликт пятьдесят шестого года, иногда его называют Суэцкой войной. Добавим сюда Гану в пятьдесят седьмом — будьте добры, посчитайте убитых, запомним цифру. Нам предстоит много раз выполнить операцию сложения. Не забудьте про британские Индию и Пакистан, а также Бирму и Цейлон — вспомните, какой кровью досталась им независимость. А Индокитай в пятидесятых? Я еще не дошел до американских подвигов во Вьетнаме, пока говорю о французском

Индокитае, о Дьен Бьен Фу в сорок седьмом году. А португальские колонии? События в Родезии, Анголе, Кении? До пятьдесят третьего года включительно — до того как образовали Федерацию Центральной Африки — представляете, сколько народу перебили?

— Вижу, — сказал Пиганов, — вас интересует вопрос колоний.

А Ройтман заметил:

— Если бы кто-нибудь проявил столько внимания к России. Если бы мир волновала судьба русской поэзии — в те годы, когда ее распяли!

— Простите?

— Распяли, — повторил

Ройтман. — Коммунисты русскую поэзию распяли.

Аладьев дополнил беседу словами:

— Столыпинские вагоны, пересылка, вышки, вертухай! Черные воронки, обыски и чекисты!

Я продолжал:

— Индию необходимо учесть. А также Индонезию, голландскую Индонезию, я имею в виду. Калимантан, слышали про такое место? Впрочем, многие индонезийцы не знают про Колыму. Далее, бельгийское Конго, война вплоть до шестьдесят пятого года, шесть лет подряд, обращаю ваше внимание. Алмазные шахты, золото,

медь, цинк, руда – дело того стоило. Катанга – говорит что-нибудь это слово? Это местный Освенцим, только народу там погибло больше. Не забудьте Мадагаскар сорок восьмого года, я знал одного французского моряка, он вернулся оттуда седым – а до того участвовал в знаменитом дне «Д» в Нормандии. Мне продолжить? Камерун шестидесятого, Малайзия шестьдесят третьего.

Ройтман сказал:

– Историю деколонизации я проходил в пятом классе советской школы. Наша старая учительница перечисляла даты так же скучно, как и вы. Подменили историю Европы

историей колоний, браво! Знаю этот урок. В моей стране был палаческий режим, а нам рассказывали о бедных неграх.

Я удивился, услышав такой ответ, позволил себе колкость:

— Если бы Адольф сказал, что жертв среди черного населения он не считает, я был бы готов к такой ремарке. Но от вас, гуманиста... Еврея, в конце концов.

Ройтман поморщился:

— События, происходившие в процессе освобождения Африки, не имеют прямого отношения к событиям в Европе. Связаны, как все в мире, но не прямо.

— Собственно говоря, в Африке

все это произошло как следствие европейской войны. Более того, все перечисленные войны были именно европейскими — во всяком случае, одна из воюющих сторон несомненно была цивилизованной и демократической. Я еще не дошел до внутренних войн — войн между освобожденными народами. Потом дикари стали резать друг друга, такое тоже было. Эти жертвы тоже стоит посчитать, не правда ли? Йеменские войны шли с шестьдесят второго по семьдесят девятый — вы уже были вполне зрелым человеком, могли обратить внимание. Ливия и Республика Чад, это, если не ошибаюсь, с середины семидесятых

и до восемьдесят четвертого. Марокко и Алжир — семьдесят шестой. Полковник Бокасса в Центральной Африке. Мобуту в Заире. Это бывшее Конго, там дорезали тех, кого бельгийцы оставили в живых. Амин в Уганде. Лаос семьдесят пятого года. Филиппины шестьдесят восьмого. Я только начинаю, не добрался до главного. Ближний Восток, арабы и евреи, палестинский вопрос, война Ирака и Ирана, тамильские войны в Бирме, история Республики Бангладеш. Хотите, чтобы я остановился? Или вы действительно не считаете эти потери? Но вот, взгляните в окно, — я показал на

своих цветных соседей; по своему обыкновению, негры сидели подле дверей магазина, разглядывая прохожих с любопытством котов, греясь на неярком английском солнышке. — Поглядите на них, они ведь уже ваша семья!

Господин Пиганов махнул рукой:

— Чепуха. У них свои проблемы, мы их никогда не поймем. Какое отношение это имеет к европейской трагедии? Мы не сравниваем число жертв наводнения с погибшими при эпидемии холеры.

— И напрасно, — возразил я, — как правило, именно после наводнения и начинаются эпидемии. Вполне

вероятно, эпидемии можно избежать, если найти защиту от наводнения.

Пиганов примирительно развел руками. Я хорошо знаю этот жест — так делал Рудольф Гесс, когда прекращал спор, считая собеседника тупицей. Он разводил руками и улыбался.

— Мы еще не поговорили про американский Вьетнам, — сказал я, — про резню в Корее, про Ирак, Афганистан. И также — Нагорный Карабах, Абхазию, Чечню, Сербию, Восточный Тимор, Палестину.

— Конфликты имели место. Скажем так: человечество последние шестьдесят лет платит за политическое равновесие

определенную цену. Это скорее прививка против войны, нежели сама война. Да, существуют вооруженные группы, есть террористы. Но война за плантации мака — что это за война! Мы ведь не ведем счет жуликам, которых зарезали в результате российской приватизации.

— В одной Руанде перебили миллион человек. — сказал я.

— Так уж и миллион, — сказал Халфин и прищурился. — Но допустим, соглашусь с миллионом в Руанде. Извольте! Пусть будет миллион! А где же остальные миллионы? Нам, историкам, подавай факты! Где сухие цифры? — и Халфин жестом призвал друзей участвовать в

расчетах. Так предки господина Халфина призывали соседей в свидетели того, что они недополучили по векселям. — Современные войны гуманны. При точечном бомбометании потери среди населения минимизированы.

— Определенная логика в словах господина Ханфштангеля содержится, — снисходительно заметил Пиганов. — Если вести скрупулезный подсчет, итог мы подобраем. Миллион в Руанде, полтора в Корее, полтора во Вьетнаме...

— Так и Курбатский деньги копит, — сказал Ройтман, и все засмеялись.

— Миллион там, миллион тут.

— Рубль в скважине, два в комбинате...

— А что, он еще контролирует комбинат? — поинтересовался Ройтман.

— Разное говорят, — уклончиво ответил Пиганов, — может, и контролирует.

Глядя на них, я вспомнил, как смеялись своим шуткам Гиммлер с Кальтенбруннером, — со стороны трудно было понять, в чем состоит юмор, но хохотали они захлеб. Вот и Пиганов хохотал, широко разевая рот, в точности как Кальтенбруннер, а Ройтман смеялся аккуратными трелями, как Гиммлер.

Я понял, что продолжения исторической дискуссии не будет. Не исключено, что гости во мне разочаровались — они ждали иного. Пока я говорил, господин Пиганов обменялся репликами с майором Ричардсом. Видимо, они сошлись на том, что время ими потрачено впустую.

Я поплелся к дверям и уже выходил, когда навстречу мне — неистовая и стремительная — в комнату ворвалась женщина. Русская журналистка, я это понял сразу. Метнула взгляд влево, взгляд вправо, отодвинула меня плечом.

— Из Москвы звонили, — сказала коротко.

В эту минуту наше лондонское жилище действительно стало напоминать штаб партии – курьер прибыл к вождю!

Женщина пересекла комнату, остановилась перед Пигановым:

– Панчикова арестовали.

– Что?!

– Вызвали на допрос по делу о галерее – и арестовали.

Аладьев воскликнул: «Ах так!» – и рванул шарф на шее; Пиганов закусил губу; Халфин закрыл лицо руками. Ройтман поглядел на меня с глубокой печалью: вот видите!

Лучше оставить их – им уже не до исторических экскурсов. Я вышел из комнаты.

Они переживали драматический момент колебаний, неизбежный во всякой революции. Риторика присутствовала, решимости я не наблюдал. У меня сложилось впечатление, что они уже попали в поток событий и неслись по течению. А жаль, крайне досадно. Я старик, но жизнь — цепкая и вязкая субстанция, она еще шевелится во мне, я еще не потерял надежду встретить нового героя, который воплотит мою фантазию. Жаль, но этого сегодня не случилось.

Я успел сделать вывод, что никакого лидера в России нет; кандидатов на пустое место много, но ни один не годится. Кто-то

появится, сказал я себе, они ему расчистят место. Тот, кого они принимали за тирана и называли то новоявленным генералиссимусом, то новым фюрером, — на самом деле играл роль Гинденбурга, президента, уходящего в тень перед атакой революции. Вот беда, не доведется мне встретить нового Адольфа, а я бы знал, что ему сказать сегодня... А этим заговорщикам, этому июльскому парламенту второго созыва... что им мог сказать старый воин? Ах, господа, думал я, вы попросили меня совсем не о том, что вам надо... Вам бы узнать, как обычно обходятся вожди с такими, как вы, энтузиастами.

Я хорошо видел, в чем их ошибка. Заговорщики считали, что смутное время было двадцать лет назад. Тогда сокрушили советскую власть, теперь остались мелкие технические детали — так думали они. Добавим немного либерализма в котел событий — и обновим страну без особенных потрясений. Усталому народу решили внушить, что все беды капитализма происходят из-за одного полковника, программу восстания придумают как-нибудь позже, — вот теперь-то и пришло время смуты.

Вы гоните с трона опричника Годунова, господа? А Лжедмитрий у вас припасен? Ах, и Дмитрия подходящего нет... Вот когда трон

опустеет, этот трон займет любой. Ну так спешите, родите из толпы рантье стоящего вожака! Нет, они не могли, они боялись... Странно, но я не чувствовал энтузиазма. Старость убила во мне интерес к авантюрам. Дайте мне нового Адольфа, и я попытаюсь снова — но природа немилосердна.

Я удивлялся русским демократам — если хотите взять власть и управлять, для чего лукавить? К чему полумеры? Западу пришлось выстраивать колониальную политику — это лишь естественно. Последствия нерешительности в колониальной доктрине мы, в частности,

наблюдаем за моим окном... Запад не мог решить: угнетать и выжимать деньги из Африки или образовывать дикарей. Эти колебания нам дорого стоили. А для России ее собственный невежественный народ всегда был внутренней колонией, вечным двигателем российского прогресса. Кончится лес, кончится нефть, но пока есть народ — Россия может двигаться вперед. Вы хотите прогресса, а цену ему знать не желаете? «Требую сверхчеловеческой бесчеловечности», — так, кажется, говорил Гиммлер своим солдатам. Многие из намеченного Гитлером воплотили в жизнь его прямые противники — отчего же не признать

достижения? Пафос Адольфа мир осудил, риторику его противников мир принял как благо — и посмотрите: цивилизация усвоила уроки Гитлера, но стесняется сама себя.

Гитлер раздробил Чехословакию, именно это и повторил сегодня либеральный мир — просто и четко. Вооружить Украину против России — вот блистательный план фюрера, так не прячьтесь за жалкое фразерство, смелее! Так и Спаситель говорил, если не путаю: то, что делаешь, делай скорее! Гитлер вооружил албанцев, создав Косовский легион СС, который проявил себя исключительно в

расстрелах сербского населения, но именно это и произошло сегодня, по мановению демократической руки. Так зачем эти бессмысленные конгрессы либералов, прячущие факты под ворохом петиций? Гитлер объявил нордическую расу господствующей — сегодня мы наблюдаем, как стараниями англосаксов это господство стало реальностью. Так будьте достойны своей миссии, господа!

Смешно: когда я рассказываю о цене, заплаченной за господство, меня подозревают в том, что я осуждаю новую империю. Но я не осуждаю, напротив! Подлинные творцы истории не должны юлить. Я

рассказываю о фактах, чтобы дать урок исторического мужества — имейте смелость нести факел истории, господа! Помните, что на смену великим империям приходят карикатурные: не забывайте внимательно смотреть в зеркало, когда примеряете лавровый венец.

Вы клянетесь именем демократии — будьте достойны своих предшественников, которые шли по снежным полям и взбирались на крутые вершины! Если вы стали наследниками великой истории, будьте достойны памяти того человека, которого действительно привел к власти сам народ. Будьте достойны мирового беспокойного

духа, который он воплощал и который достался вам по наследству!

Сегодня старик подводит итоги, мне нет нужды лицемерить. Я спрашиваю: отчего решили обвинить в бедах века одного человека?

Раньше мне казалось, так делают, чтобы удобнее спрятать преступления остальных. Именно так поступают хитрые следователи, когда заставляют убийцу взять на себя помимо одного убийства еще десяток — чтобы сразу закрыть десяток дел. В наше время, когда за взятку можно решить любой политический вопрос, влиятельные люди теми же методами решили исторические вопросы.

Теперь я вижу, что ошибался. Проблема в ином: современные правители не готовы к великой миссии. Им, либеральным воришкам, еще предстоит дорасти до размеров мундира, который они на себя надели. Они взяли из шкафа истории наш старый мундир с орденами – но мундир велик, хилое тельце современной демократии теряется в его складках. Я пишу для того, чтобы помочь им найти себя. Будьте достойны своего предназначения, господа!

Меня спросят: а как можешь ты, англосакс, знать, что чувствовали немцы в те годы, какое у тебя основание судить? Я, Эрнст Ханфштангль, наполовину англичанин и наполовину немец, родился в Ганновере, прожил часть жизни в Нью-Йорке, вернулся обратно в Европу как раз в те годы, когда ее судьба вошла в свою драматичную фазу. Кем я себя ощущаю — немцем или англичанином? Образование получал в Гарварде, докторат готовил в Оксфорде, стажировался в Виттенберге, искусство изучал по

всей Европе – кто же я? Скажу так: я принадлежу к нордической расе, о которой пылко (и порой пристрасно) говорил Адольф Гитлер. Когда партийные фанатики упрекали меня в родстве с врагом, я отвечал им: разве Англия не связана с Германией теснейшим образом? Да, я родился в Ганновере, но и династия английских королей, до того как именоваться Виндзорской, носила имя Ганноверской. Происхождение давало мне право на особый взгляд на ситуацию – я мог видеть все стороны конфликта и часто видел яснее, чем другие. Я хотел бы ответить на вопрос о происхождении так: я чувствую себя

гражданином великой Европы. Сегодня такой ответ прозвучит смешно, великой Европы больше не существует, но возможность ее остается! Я — человек Запада, и воспринимаю Запад как единый организм, сложный, но цельный. В периоды кризиса, ради спасения всего организма приходится жертвовать одной из его частей — но все они равно дороги. Мне, носителю западной цивилизации *par excellence*, ни одна культура не чужда, я не противопоставляю романский дух — тевтонскому, я принимаю их все.

Когда впервые услышал Гитлера, я подумал: вот человек, который

вернет Западу славу, спасет от беды раздробленности, подарит мощь, достойную наследников Великого Карла. Я решил отдать ему свои силы и свой опыт — в уверенности, что лучшего применения им я не найду.

В тот вечер я слушал пылкую речь Адольфа и против воли улыбался. Улыбался потому, что буквально за день до памятного собрания Гитлер высказывал совершенно противоположные аргументы, и с не меньшей страстью. Это свойственно великим политикам: в зависимости от ситуации они могут рассмотреть вопрос с двух абсолютно полярных точек зрения. Я опишу эту сцену

подробно, чтобы точнее очертить характер Гитлера, а также потому, что это был типичный для тех лет разговор.

Я привел Гитлера в семейство Виттроков, зажиточных буржуа, приехавших в Баварию с востока, из Пруссии. Фамилия ничем не примечательная, отец семейства держал магазин антикварной мебели. Однако Виттроки находились в родстве с героем войны — фон Мольтке, это родство становилось теснее день ото дня, а дистанция от Мюнхена до Берлина делала невозможным что-либо проверить. Во всяком случае, договорились считать семью Виттроков побочной

ветвью фон Мольтке, и спекулянт красным деревом вошел в число значительных людей города, посещал оперу и давал обеды. Составляя программу встреч, я отметил это семейство.

— Для чего видеться с ними, Ханфштангль? — спросил Гитлер.

— Традиция! — ответил я. — Семья фон Мольтке служила Германии много веков. Каждому вождю Германии достался свой личный фон Мольтке!

— Если бы встретить великого фон Мольтке, сподвижника Бисмарка! Его сын — полнейшее ничтожество: именно из-за него мы проиграли войну. А сегодня молодой

Мольтке... И все – Хельмуты... Что может новоявленный фон Мольтке? Какая деградация!

– От вас, Адольф, зависит судьба семейства, – сказал я. – В вашей власти сделать так, чтобы последний в роду не торговал сосисками.

Гитлер посмотрел на меня; вспыхнули и погасли его голубые глаза.

В те дни я взял на себя труд представить Гитлера обществу, расширить круг его знакомств. Я водил затворника в пивные погребки, описанные немецкими романтиками, сидел с ним в компании вольнолюбивых буршей, приглашал его в гостиные благородных семейств

— словом, я вел себя совсем как тот персонаж известной немецкой пьесы, что взялся показать жизнь кабинетному ученому. Лишь в одном я не преуспел: не смог найти Адольфу подругу, Гитлер остался одинок. В остальном он оказался благодарным туристом — умел получить пользу от любого знакомства.

Я преследовал сразу три цели. Прежде всего хотел показать немцам, что дух нации не сломлен, впустить в их сонную гостиную этого искусителя свободой. Одновременно я хотел снабдить Гитлера опытом, какого он — не принадлежащий по рождению ни к богатым, ни к

аристократическим семьям — был лишен. И наконец, мне было любопытно, как они будут говорить друг с другом, — мятежный дух народа и усталый от жизни обыватель. Наливать молодое вино в меха ветхие — многие этот метод отвергают; но что делать, если нет других мехов? Я с усердием коллекционировал приглашения, и почти каждый вечер мы отправлялись с визитами.

В черном плаще и черной широкополой шляпе, придававшей ему сходство с итальянским трагиком, Гитлер входил в богатые дома — и не производил убедительного впечатления. Он

выглядел комично. Он не знал, куда
девать руки, как обращаться с
прислугой. Пока он молчал и
осматривался, богачи осматривали
его — и потешались над его
провинциальностью. Что за чучело
привел к нам г-н Ханфштангль?
Право, потешный субъект! Лишь
упорный взгляд твердых голубых глаз
Гитлера заставлял изменить
первоначальное мнение. Раз
встретившись с ним глазами, хозяева
уже иначе оценивали его, им уже не
было смешно. К нему начинали
приглядываться: если не с
уважением, то с осторожностью. Но
стоило ему начать говорить, и он
немедленно делался центром

собрания, завораживал общество. Мужчины становились серьезны, одергивали пиджаки, дамы поправляли прически и пудрили нос. В особенности же под властью его обаяния оказывались дети.

Умение нравиться детям было отличительной чертой Гитлера. Этим свойством, как говорят, обладали многие властители мира – и Сталин, и Рузвельт обожали малышей. Стоило Гитлеру задорно подмигнуть ребенку, как детская душа отдавалась ему целиком. Мой сынишка Эгон много лет вспоминал, как Гитлер изображал льва и потешно рычал. Но моему сынишке было всего шесть лет, и, разумеется, он не принимал

участия в наших беседах. Что же касается подростков — те слушали затаив дыхание и приходили в неистовство. Сын Виттроков, шестнадцатилетний Йорг, не стал исключением — он смотрел на Адольфа так, как, вероятно, смотрели древние греки на оракулов.

Я уже сказал, что Виттроки находились в родстве с генералом фон Мольтке. Сомневаюсь, что родство было близким, — к тому же семейство фон Мольтке многочисленное, родня селилась от Пруссии до Силезии; однако в гостиной висели дагерротипы генерала в походном шлеме. Спекулянт красным деревом

сообщил также, что и славная сабля полководца хранится в их семье. Из вежливости я спросил: как, неужели? Та самая?

— Та самая, — сказал спекулянт и склонил голову, отдавая дань героям прошлого.

Знаменитый родственник давал право спекулянту говорить о боях на Марне, обсуждать стратегию войны в Бельгии, давать пояснения к переменам на карте. Адольф поморщился. И причины катастрофы на Марне, и плачевная роль фон Мольтке, неумело распорядившегося войсками, были известны всем. Не стоило, право, родне фельдмаршала говорить с таким пафосом о

проигранных битвах.

А спекулянт продолжал развивать свои взгляды. Подобно многим штатским, рассуждающим о дислокации войск, Виттрок показал энтузиазм в анализе деталей. В частности, его стратегическое воображение волновали Эльзас и Лотарингия. Виттрок говорил об утраченных землях как говорил бы об упущенном на рынке секретере — совсем было сторговал вещицу, да сорвалось! К тому же это ухудшает общее положение Германии. И прежде, считал Виттрок, было нелегко воевать сразу на всех фронтах, не имея тылов, а каково теперь — лишившись Эльзаса и

Лотарингии? Отныне мы совершенно окружены. Замечание это было сделано глубокомысленным тоном, и глава семейства, критически взвесив возможности войны без ресурсов Эльзаса, покачал головой.

— Я считаю, что временная потеря Эльзаса и Лотарингии — пустяк, — сказал Гитлер, и семейство Виттроков изумилось. — Вы ведь не считаете вслед за евреем Марксом, что Эльзас это Польша западной Европы?

— Позвольте, герр Гитлер!

— Эльзас и Лотарингия в стратегическом отношении — обуза. Тот, кто владеет ими, — теряет мобильность. Французы забрали их

себе – превосходно! Они вынуждены держать неоправданно большой контингент войск там, где от войск нет никакого проку. Тем самым основные позиции ослаблены.

Йорг Виттрок смотрел на Адольфа, не отводя глаз.

– Ваш дедушка, – Гитлер произнес слово «дедушка» ласково, вовсе не фамильярно, – то есть командующий армией фон Мольтке сказал: «Невозможно завершить эту войну быстро, потому что это не война армий, но война народов». Досадно, что мы потерпели поражение, но дело не кончено – народ не покорить. Как считаете, – спросил Адольф, – если война с

коалицией возобновится, мы вернем Эльзас?

Любопытно, что подобные разговоры всегда выходят на Эльзас и Лотарингию, как бы ни были невежественны наши сограждане, именно об этих спорных территориях они слышаны. Сегодняшние собеседники даже не представляли, что их спор начался еще в девятом веке, при разделе империи Великого Карла. Некогда великая, империя Запада распалась на Францию, Германию и Италию — доля земли отца, Лотарь не мог договориться с Людовиком по поводу несчастной Лотарингии. Я глядел на Гитлера и невольно думал: неужели передо

мной человек, который положит спору конец? Неужели я вижу нового Карла?

Йорг Виттрок привстал со стула и сказал:

– Разумеется, герр Гитлер!

– В деле под Аррасом, – сказал отец юноши, который так просто не хотел уступить влияние на сына, – в деле под Аррасом, – он назидательно поднял палец и приготовился описать подвиги родственника, но Гитлер перебил его.

– Я был под Аррасом, – просто сказал Гитлер.

Действительно, именно под Аррасом он был ранен в ногу и получил Железный крест первой

степени за храбрость. У него было два креста, но постоянно он носил лишь этот — в память о том бое. Виттроки заметили крест, спросили о его происхождении. Я ответил вместо Гитлера; на юношу рассказ произвел впечатление.

— Поразили воображение мальчика, — сказал Виттрок старший. — Впрочем, увлечения в таком возрасте меняются быстро. Вчера его героем был Чемберлен — знаете этого англичанина?

— Какой Чемберлен? — поинтересовался я. — Политик Невилл — или мыслитель Хьюстон Стюарт Чемберлен?

— Надеюсь, — заметил Гитлер, —

молодой человек не тратит время на болтуна-политика. Читайте

Хьюстона Чемберлена. Почитайте, что он пишет о евреях. Проблема обозначена точно.

— Не могу с вами не согласиться! — Виттрок-отец отреагировал крайне живо, привстал даже, предлагая гостю мозельское вино. — Евреи, вот кто получил прямую выгоду от германской разрухи! Посмотрите на то, как евреи ведут торговлю! Я занимаюсь своим делом уже двадцать лет, имею свой круг клиентов — и что же? Знаете эту еврейскую стратегию — сначала снижают цены, а потом, забрав себе клиента, продают не один предмет —

а три! Думаете, предлагают качественный товар? Как бы не так! Вот, полюбуйте́сь на этот секретер – баварская работа, семнадцатый век, резной дуб с инкрустациями! Я мог бы просить за эту вещь... Но качество уже никого не интересует! Право, даже обидно рассказывать, в каком положении я оказался, благодаря этим торгашам.

Гитлер отвернулся, он был равнодушен к мебели. Виттрок чуть было не налил ему вина, однако, воспользовавшись тем, что гость смотрит в другую сторону, убрал бутылку.

– Мозельское, герр Гитлер? Не желаете? А что происходит в

Берлине? Самые богатые магазины – кому принадлежат самые богатые магазины? Разве не знаете? Роскошные улицы Шарлоттенбурга – и кругом одни евреи. Считается, евреи ведут дела лучше других.

Гитлер заметил, что немцам следовало бы перенять английскую уверенность в своем величии. Англичане без колебаний выслали евреев из страны еще в двенадцатом веке – и еврейской проблемы не знают. А Дизраэли, хотел спросить я, но удержался: в конце концов, разве Дизраэли – еврей? Достигнув могущества, лорд Биконсфильд стал стопроцентным британцем, его иудейство было преодолено тягой к

власти. Впрочем, в любом случае – перечить Адольфу в споре было напрасным трудом, он не принимал чужих аргументов. Слишком концентрированной была его мысль, слишком ясно он видел цель, чтобы отвлекаться на неудобные подробности. Гитлер добавил, что от самих немцев зависит, будут ли евреи первенствовать в торговле. Больше гордости, чувства собственного достоинства. Тогда сможем говорить о стране без стыда. Тогда можно и Эльзас с Лотарингией вернуть. И не только эти земли. Одним Эльзасом дело не поправишь.

– Ваш сын, – заключил свою речь Гитлер, – должен уже сегодня

решить, в какой Германии хочет жить.

– Наш сынок, – сказал Виттрок старший, – сам не знает, чего хочет. Увлечения меняются быстро. Вчера героем был Чемберлен, сегодня – мюнхенская школа искусств, русские иммигранты-художники, и каждый день – новый кумир. Сегодня его герой несомненно вы. Но не думаю, что наш сын завтра вернется к мысли о Лотарингии. Завтра будет что-нибудь новенькое, – и герр Виттрок замялся. Щеки его тряслись.

– Мой сын жаждет подвига, – негромко сказала фрау Виттрок.

Это была едва ли не первая фраза, произнесенная ею за вечер, –

до того она отдавала распоряжение горничной, но негромко, слов разобрать было нельзя. Теперь же она сказала свою реплику отчетливо, и все в комнате посмотрели на нее. Герой пьесы тщательно готовит свой выход, чтобы первой же репликой дать понять, кто на сцене главный. Она обвела взглядом четверых мужчин, сидевших в гостиной, — так маршал оглядывает строй солдат, высматривая дефекты выправки. Стало понятно, кто в этой семье фон Мольтке.

Я поразился своей недогадливости. Ну конечно же, торговец антикварной мебелью женился на красавице из

генеральской семьи — история нередкая. Она презирает мужа, подумал я. Она презирает мужа, мюнхенские дома с фахверками, пивные застолья и свиные ножки. Она ненавидит шляпы с перышками, салфетки с монограммами свекрови, букетики сухих цветов, миртовые веночки над дверью, всю эту сладкую баварскую пошлость. Она любит только сына: ее гордость, униженная неравным браком, питается этим долговязым мальчиком с оттопыренными ушами.

Я посмотрел на фрау Виттрок внимательно, она ответила мне пристальным взглядом. Небольшого роста, с прямой спиной и высокой

грудью, с тугими завитками черных волос подле аккуратных маленьких ушей, с полными губами, которые она сжимала в жестокую гримасу, когда ее муж произносил пассажи о фронтовых приключениях тестя. Как же я не понял этого сразу — энтузиазм мальчишки был унаследован по женской линии, да, разумеется! Я присмотрелся к юноше, прикинул возраст его матери: пожалуй, лет тридцать пять. Как можно было не оценить эту женщину мгновенно! Я улыбнулся ей и сказал:

— Разумеется, мужчина ищет подвига.

Она улыбнулась в ответ — и я увидел сразу все, что последует за

этой улыбкой. Увидел наши встречи в гостиницах, увидел ее снимающей чулки, увидел смятые простыни, кольца и серьги на ночном столике. Прелесть отношений с замужней женщиной — с такой твердой и сильной женщиной — заключается в том, что не придется тратить время и деньги на ухаживание. Она хочет наслаждения — это понятно. Кривляться и кокетничать не станет.

— Собственно, герои, которыми увлекается ваш сын, — сказал я ее мужу, — имеют много общего. Я не вижу противоречий в пристрастиях молодого человека. Ему нравятся страстные натуры. Это так понятно. Интересуетесь искусством? —

спросил я у молодого человека.

— В Мюнхене есть значительные мастера, — ответил он.

— Есть кое-что и в Швейцарии, — заметил я. Люблю говорить с молодыми людьми: по натуре я воспитатель.

— «Да-Да», не правда ли? Сюрреалисты?

— И в Англии есть любопытные образцы. — Я чувствовал, что мне попался благодарный слушатель, он ловил каждое слово. — Со времен Блейка в этом народе тяга к грандиозным мистериям. Уильям Блейк, — повторил я, обращаясь не только к нему, но ко всем в гостиной, — вот мастер, которому

наш век обязан своими идеями.

— Я люблю мистерии, — сказала
фрау Виттрок.

Каждую реплику она
преподносила торжественно,
слушатели невольно задумывались
над ее словами. Это очень важно, что
она любит мистерии, это меняет
многое. Разговор на мгновение
замер, муж растерянно оглянулся на
жену, фрау Виттрок высокомерно
подняла бровь, потом обратила
взгляд ко мне.

— Я люблю мистерии, —
повторила она и благосклонно
кивнула.

Я смотрел на ее полную грудь и
представлял, как будет выглядеть эта

грудь, если расстегнуть платье. Позже, когда я увидел фрау Виттрок обнаженной, мои представления полностью подтвердились — грудь была высокая, с большими темными сосками. Должен сознаться: несмотря на любовь к героической античности и флорентийской изысканности, в отношении женских грудей мои вкусы скорее барочные. Я не поклонник грудей а` la «Ночь» Микеланджело — то есть грудей, торчащих в разные стороны, наподобие бортовых орудий фрегата. Меня привлекает рубенсовский вариант. При том что я осуждаю излишнюю слащавость его образов, именно в этом пункте я с Рубенсом

солидарен. Да, полные, плотно прижатые друг к другу высокие груди – вот что делает женщину поистине привлекательной.

– Нам есть чему поучиться у англичан, – снова сказал Гитлер, – не правда ли, Ханфштангль? Но только не живописи! – Как обычно, Гитлер отмел в сторону то, чего не знал, отмел – не разбирая, пригодится ему новое знание или нет. – Искусству у англичан учиться бесполезно. Италия – вот образец в искусстве, нет так ли? У англичан нам следует перенять их патриотизм, их спортивный характер. Но у русских? Чему же учиться у русских? – улыбка скользнула под его усами, – разве

русские умеют рисовать?

— Именно это я и твержу своему сыну!

— Они вообще-то немцы, — защитил своих кумиров юноша. — Приехали из России, но сами — этнические немцы. Кандинский, фон Веревкина, Явленский. Вернулись на родину.

— Фон Веревкина?

— Фон Веревкина, — презрительно повторил отец семейства. — Я, как и вы, не слышал о такой немецкой фамилии.

— Забавное имя.

— И картинки дурацкие. Но сын относится к этой мазне серьезно.

— Почему же они уехали из

России, – спросил Гитлер, – только теперь? Раньше не вспоминали о своих корнях?

– Ах, вы не знаете, что творится в Москве! Великие художники не нужны марксистам!

– У евреев не может быть ничего великого, – спокойно заметил Адольф. Он культивировал в себе антисемитизм. Если в разговоре можно было вставить слово о евреях, он непременно это слово произносил. – Поскольку Россией управляют евреи – можно забыть о русском искусстве. Впрочем, оно и не было значительным.

– Ах, дело не в евреях!

– Заблуждаетесь, молодой

человек. В еврействе все дело. Если Россия преодолет еврейство, у страны появится шанс.

— Ах нет! Рассказывают, что там диктатура и террор коммунистов!

Юноша пересказал нам содержание газеты, которую мы сами издавали, — как это бывает с молодыми людьми, ему казалось, он знает такое, чего не знает никто. Адольф слушал его, склонив голову.

— Диктатура рабочих! — говорил молодой Йорг Виттрок. — Мы тоже хотим социальной справедливости! Но не такой ценой! — При этих словах отец мальчика изобразил ироническую улыбку, он стеснялся горячности сына. Мать же,

напротив, – глядела гордо, ноздри ее трепетали, глаза сияли. Вечером отправлю ей письмо, подумал я. Приглашу на чай, скажем, послезавтра в отель «Четыре сезона». В шесть вечера? Вполне удачное время – к одиннадцати она вернется домой. Придет? Несомненно придет, хотя бы из любопытства.

– Поглядите, герр Гитлер, чем социальная справедливость оборачивается! Им не нужна культура! Гонения на науку, искусство, предпринимательство! Они преследуют любую инициативу!

В «Volkischer Beobachter» мы печатали подборку материалов по событиям в Советской России.

Публичные судебные процессы в России только начинались в 1923 году. В те месяцы завели дело на ленинградских судебных работников, то был один из первых процессов прокурора Вышинского. Процесс вышел громким: судили судей, предавших свою профессию. Так называемые нэпманы (в России ввели «новую экономическую политику», и появились новые купцы и предприниматели) попытались купить революционную Фемиду. За крупные взятки судьи закрывали глаза на незаконные махинации. Купцы платили судьям, чтобы и дальше обманывать рабочих. Но долго обманывать государство трудно

– арестовали и самих купцов, и тех судей, которые помогали им уклоняться от налогов. Выразительные фамилии обвиняемых (купцы Левинзон, Боришанский, Маркитант; судьи Гольдин и Менакер) газета «Volkischer Beobachter» воспроизвела без комментариев, но комментарии и не требовались. Даже в переводе речь Вышинского впечатляла. «Я требую беспощадного наказания, которое очистительной грозой и бурей пронесется над головами преступников. Я требую сурового наказания для пауков и скорпионов. Я требую расстрела всем. Товарищи, благо революции – высший закон, и

да свершится удар этого закона».

В тех публикациях мы старались дать читателю обзор сталинских методов — коммунизм был реальной силой, и следовало быть готовым к войне. Юный Виттрок был прилежным читателем, и я порадовался — статья не пропала даром, не зря я искурил пачку сигарет, изображая страдания подсудимых.

Юноша пересказал нам наши собственные публикации, процитировал расстрельные приговоры, которые я сам представил к печати, — и ждал. Ждал и я. Я наблюдал, какую тактику выберет Адольф: обвинит евреев и защитит

большевиков или скажет, что большевики — палачи и губят евреев?

Однако Гитлер выбрал иной метод.

— Вас пугает Сталин? — поинтересовался он.

— Московские казни всех пугают.

— Разве государство, карающее преступников, совершает преступление?

— Позвольте, герр Гитлер, коммунисты заманили купцов работать в Россию, а теперь их расстреливают! Это лицемерие! В газете я прочитал, что фальшивые налоговые декларации подают все — иначе производство бы стояло! Купцам приходится изворачиваться!

Если отдавать прибыль государству – невозможно развивать промышленность! Государство требует развитой промышленности, но отбирает прибыль, на которую можно промышленность развивать! Где логика?

– Купцы ошиблись в расчетах – значит, были плохими купцами.

– Но государство, которое по прихоти прощает и убивает, это незаконное государство!

Приятно было слышать, как юноша цитирует мой собственный текст. Действительно, элемент произвола в действиях сталинского аппарата присутствовал. Я постарался донести это до читателя.

Помнится, я даже патетически воскликнул в заключительном пассаже: «Эти люди способствовали становлению молодого Российского государства, и вот как Россия платит за добро! Сатурн, пожирающий своих детей, – вот что такое коммунизм!»

– Сатурн, пожирающий своих детей, – вот что такое коммунизм! – воскликнул юноша.

– Да нет же, – сказал ему Гитлер. – Сатурн – это просто образ истории, только и всего. У истории может быть только один лидер, иначе наступает хаос. Заметьте, когда Зевс становится сильнее отца, он его тоже низвергает. Закон прост: тот, кто не может мириться с

несправедливостью, — должен ее уничтожить. Историю делают люди, у которых есть на это силы. Вот и все.

— Но этих несчастных убили за то, что они не соответствуют коммунистическим доктринам.

— Плохой купец все равно обречен: в Америке его застрелит конкурент, в Англии разорит банкир, в коммунистической России его казнил народ. Не партия, заметьте. Народ! А народ всегда прав. Воровать — плохо, и вор должен быть наказан. Вор, который украл много, должен быть казнен. Разве это несправедливо?

— Вы, то есть я хочу сказать,

ваши сторонники, – юный Виттрок смешался, не зная, как именовать движение Гитлера. Слово «национал-социалисты» еще не было в ходу, хотя партия существовала. – Вы говорите с народом открыто, а сталинская партия народ обманывает.

– Значение Сталина измеряется не партией. Уже потом, когда дело сделано, приходят кабинетные щелкоперы. Мы на митингах вынуждены прибегать к ярлыкам – так проще объяснить ситуацию. Но как быть? Разве англичане поступают иначе? Поучитесь у парламентария Черчилля – вот вам пример того, как следует оперировать фактами. Да,

посмотрите на Англию, юноша, посмотрите, какой энтузиазм! Поглядите на Италию. Вот пример того, чем может стать Европа. История, мой друг, делается на ваших глазах, так не закрывайте же глаз! Вчерашний поход чернорубашечников на Рим сегодня привел к власти великого Муссолини.

— Великого?

— Не надо стесняться этого слова. И Муссолини, и Черчилль, и Сталин — великие люди. Сегодня, в двадцать третьем году, великие люди берут судьбу Европы в свои руки.

Наступил тот момент беседы, когда собеседник глядел на Гитлера заворуженно, ловил каждое слово.

Адольф продолжал:

— Муссолини, Сталин, Черчилль — каждый из нас занимает свое место и делает тяжелую работу. Мы — саперы столетья. Старое здание стало ветхим — жить в нем опасно. Войны происходят сами собой, от общего нездоровья общества. Здание надо сломать — и мы, саперы, подводим мины. Когда здание рухнет — а оно трещит, разве не видите? — мы возведем новое, прочнее и выше. Сталин? Никогда не сравню этого сильного человека с провокатором Лениным, с этим еврейским демагогом. Сталин — враг, он — противник, но великий противник. Окажись Сталин в моих руках, я

поступил бы с ним так, как рыцари поступают с пленными королями. Я предоставил бы этому человеку самый прекрасный замок в Европе, я окружил бы его почетом. Не правда ли, Ханфштангль? Разве не именно это я говорил вашей милой супруге?

Фрау Виттрок вздрогнула и вопросительно посмотрела на меня. Что ж, подумал я, так даже проще. Да, я женат, и женат удачно, на богатой и милой женщине, не имею причин жаловаться. Впрочем, и вы замужем, не правда ли? Все должно быть ясно с самого начала. Вы ведь подумали о том же, не так ли? Моя американская жена никогда не препятствовала моей личной жизни,

она нам помехой не будет.

Не могу не упомянуть вскользь того факта, что Гитлер оказывал знаки внимания моей милой жене. Нет, оставьте вульгарные фантазии — их симпатия носила чисто духовный характер. Музыкальность моей супруги вызывала восторг у Адольфа, помню, как он прислал ей с денщиком корзину роз — в награду за написанный марш. В течение вечера моя милая Адель переделала марш студентов Гарварда в нацистский марш, ставший впоследствии весьма популярным. Я от души смеялся над такой простой, но, однако же, остроумной находкой: студенческий припев «Ра-ра-ра!» Адель заменила

на «Зиг хайль! Зиг хайль!» – и получилось убедительно. Не прошло недели, как наши партийцы стали распевать гимн гарвардских студентов, стуча пивными кружками по столу.

Да, именно так и делается история – одно цепляется за другое, и всем известные события вдруг оборачиваются неожиданным результатом.

Недавно мне попалась в руки брошюра некогда популярного эссеиста Ортеги-и-Гассета; в свое время, когда автор был моден, я его не читал, а теперь, в пожилые годы, пролистал – и поразился недалёковидности рассуждений.

Описывая феномен фашизма, автор пишет о неожиданном проникновении варварства в тело европейской культуры, о так называемом «вертикальном вторжении варварства». Жили-жили, и вдруг случилось! Смешно! В культуре и истории одно явление вытекает из другого, надо уметь проследить цепь влияний. Северное Возрождение Европы, которое готовил Адольф, опиралось на итальянское Возрождение, которое совершил дуче, — в этом сказался великий принцип взаимосвязи культур. По тому же принципу, по какому Альфред Дюрер учился у работ Антонелло да Мессина во

время своего итальянского вояжа и создавал в Нюрнберге Северный Ренессанс, опираясь на опыт Ренессанса Италии, – именно по этому самому принципу Гитлер заимствовал методы работы у своего предшественника Муссолини. Попробуйте вынуть из мозаики исторической картины одну деталь, и вы не поймете целого. Попробуйте обойтись без этого великого примера – Ренессанса шестнадцатого века, и вам никогда не понять Ренессанса века двадцатого. Вас не радует отдельный фрагмент большой картины? Приучите себя видеть не произведение в целом – научитесь смотреть на мир так, как смотрели

великие художники Возрождения,
наши учителя и вдохновители.

Сегодня я ничего не могу
изменить. Спросите меня, что хотел
бы я изменить в прошлом, — мне
непросто будет ответить. Нет, не в
моих силах отменить лагеря смерти
и поля сражений, покрытые
мертвыми телами. Я не могу
отменить ход вещей: случилось то,
что должно было случиться, а значит,
такова была цена, по которой
западный мир купил свой непрочный
современный порядок. Жалею ли я,
что не сумел довести задуманное до
конца, что доверил великий план —
слабому человеку? Но люди слабы, я
должен был это знать. И когда

Адольф вызвал меня в советчики, я предчувствовал развязку, лишь хотел задержать мгновение славы.

Лишь немногого я осмеливаюсь малодушно желать. Я хотел бы сделать так, чтобы мои отношения с фрау Виттрок, с моей дорогой Еленой, кончились иначе. Я хотел бы вернуть ту последнюю нашу встречу, в которой было сказано так много лишних слов — и не сказано нужных. И самое главное — я хотел бы отменить смерть молодого Йорга. Господи, прошу я иногда, обращаясь к тому, в кого никогда не верил, с коим отношения у меня не сложились. Господи, сделай так, чтобы не стало того дня, чтобы не

было горящей курской земли, чтобы не выли самолеты, чтобы не летел к своей гибели бесстрашный мальчик, чтобы не билась у меня на руках его мать. Однако история движется неотвратно, и тогда, в маленькой мюнхенской гостинице, для мальчика уже был вычерчен путь — прямо в небо, к белому взрыву.

Глава четвертая

Заповедь мародера

– Петечка, неужели ты будешь Шурика Халфина допрашивать? Как не стыдно! Я с Шуриком Халфиным в одном классе училась, он был чрезвычайно позитивный мальчик. – Так говорила бабушка Петра Яковлевича Щербатова, накрывая стол к завтраку.

– Петенька не виноват в том, что Шурик пошел по кривой дорожке. Шура уехал в Америку, связался там с бандитами, и вот результат. Я по телевизору видела передачу про таких жуликов, – говорила другая бабушка Петра Яковлевича, ковыляя к столу с чайником.

– Пусть Петруша сам решит, он уже большой, – говорила самая пожилая из бабушек. – Ешь, Петя, и не отвлекайся на разговоры.

Петр Яковлевич мазал хлеб маслом, глотал жидкий чай. Спорить с бабушками не любил.

Ни одна из старушек не была Щербатову родной бабушкой, но жили вместе всю жизнь, давно сроднились. Как сошлись под одной крышей, внятно рассказать никто не мог. История, с одной стороны, типичная для послевоенной Москвы: кого-то подселили, кто-то приехал гостить из провинции, да так и остался; однако эту типичную историю каждая из старушек

рассказывала с оригинальными деталями.

Петр Яковлевич был по профессии следователем и увлекался историей, но и он давно отчаялся разобраться; каждая из старушек имела свою версию, и в каждой версии были далекие лагеря, интернаты, лесоповалы, коммунальные квартиры, приюты для сирот — типичные для послевоенных лет сцены дикого бесприютного быта.

Случилось так, что все собрались в квартире Щербатовых, некогда принадлежавшей семье знаменитых военных. До войны здесь жила семья командарма

Дешкова, даже фотографии Дешковых в большой комнате сохранились. Прямые родственники Петра Яковлевича давно умерли, сам он семьей не обзавелся и смотрел на фотографии чужих ему людей как на часть своей собственной биографии. Бабушки рассказывали эпизоды из послевоенной жизни — картина получалась запутанная, он даже не мог понять, за кого сражалась родня, — за белых или красных. Дед его точно был чекистом, дедовский портрет висел рядом с фотографией командарма Дешкова, а кто были все прочие, следовательно сказать не мог. Среди семейных фотографий на стенах попадались даже фотографии

семьи Рихтеров, евреев, когда-то живших в квартире этажом ниже. Горбоносые лица среди лиц курносых смотрелись естественно — люди в целом были схожи меж собой: вид имели сосредоточенный, смотрели истово, а если смеялись, то во весь рот; так распахнуто теперь не смеются. Мужчины на большинстве фотографий были одеты в военную форму, а женщины носили блузки с отложным воротником.

Петр Яковлевич дожил до весьма убедительного возраста, облысел, но так и не разобрался, кто кому приходится прямой родней, а кто просто знакомый.

Путаница усугублялась тем, что

бабушка Зина происходила из тамбовской крестьянской семьи, бабушка Муся выросла в Москве, в семье инженеров, а бабушка Соня имела полное имя Эсфирь и была еврейкой, дочкой профессора, – но судьбы старушек переплелись, и подчас они сами забывали, кто из них откуда. С течением времени и как следствие стрессового маразма бабушки переняли друг у друга словечки и манеры, перепутали детали биографий, смешали жизни в общую кашу.

Бабушка из Тамбова настаивала на том, что в детстве посещала синагогу, и убедить ее в обратном не удавалось, а еврейская бабушка Соня

говорила, что работала на лесоповале.

— Как ты могла учиться с Шурой Халфиным? — говорила бабушка Соня. — Халфин вообще еврей, если хочешь знать, а евреи отродясь в Тамбове не жили. Халфин на пианиста учился! Ты посмотри на его пальцы.

— А эти вот Халфины жили в Тамбове, — упорствовала бабушка Зина, — и совсем они не евреи, а обыкновенные татары, отец кониной торговал.

— С Халфиным я, кажется, ходила в кружок поэзии, — говорила бабушка Муся, — на Ленинских горах. Как жаль, что он занялся торговлей!

— Если бы только кониной торговал, — говорила бабушка Соня. — Они там наркотиками промышляют.

Следователь Щербатов не мог разобраться не только в генезисе своей родни, но даже простые предметы быта имели неясное происхождение.

Так, бабушка Зина уверяла, что голубой эмалированный кофейник привезен из Берлина в качестве военного трофея командармом Дешковым, бабушка Муся настаивала, что кофейник — ее приданое; а бабушка Соня говорила, что кофейник был реквизирован при обыске у германского шпиона Шаркунова, которого разоблачил дед

Щербатова.

— Не трогай лучше Шуру Халфина, — давала совет бабушка Муся. — Халфин — поэт, а поэты очень мстительные. Он свою жену со свету сжил.

— Я так считаю, что убил Панчиков, — говорила бабушка Зина. — У них вся семья преступная. Панчиковы с нами в одном доме жили в эвакуации. Ихний отец еще тогда был вором. Украл у Бобрусовых шубу и пропил. Обменял на самогон у Кобыляцких и безобразно напился.

— С Бобрусовыми я в эвакуацию ездила, — говорила бабушка Соня, — только их звали не Бобрусовы, а Пигановы, это семья старая, из

дворян. Они в Ташкенте лучше всех жили, у них ковры на полу лежали.

– Слушай меня, Петя, это все Панчиков устроил, я тебе верно говорю!

Петр Яковлевич допил чай, поцеловал бабушек и поспешил на службу – Панчикова он уже вызвал на допрос.

– Осторожней будь, на улице демонстрация, – провожала его бабушка Муся. – Студенты кидают камни в милицию. Будут власть свергать.

– Путаешь все, идет митинг в защиту президента, – говорила бабушка Зина. – Против американских спекулянтов и

торговцев краденым.

– Никуда из своего кабинета не выходи, – напутствовала бабушка Соня. – Допроси Панчикова и сразу домой.

За день до назначенного митинга Панчикову пришла повестка из прокуратуры – предлагали явиться на допрос, причем именно в то время, когда он собирался идти в колоннах демонстрантов. Семен Семенович сопоставил даты: так и есть – его изолировали на момент демонстрации.

Уже и плакат приготовил себе для митинга Семен Семенович.

Погода мерзейшая, ледяная каша валится с неба и хлупает под ногами, но хотелось дойти с этим плакатом до Красной площади. В конце концов, можно теплые сапоги

надеть и не простудиться – но пусть сатрапы на плакат полюбуются.

Приглашенный в гости художник-концептуалист Гусев написал на листе белого картона синей краской слова «открытое общество» и перечеркнул двумя красными линиями. Правда, возникла неловкость касательно гонорара плакатисту. Семен Семенович даже растерялся, услышав о гонораре.

– В каком смысле – гонорар? – Заказчик полагал, что Гусев должен спасибо сказать за ужин с жареной курицей.

– Работа сделана, – кивнул художник на криво написанные

буквы. – Работу надо оплатить.

– Хм. Работа, говорите... И что же?

– Как – что? С вас десять тысяч рублей.

– Сколько?! – ахнул миллионер Панчиков.

– Или триста долларов дайте, если в долларах удобнее...

– Триста? Долларов?.. Вот за это?

– Два часа работы, – сказал Гусев, преувеличив затраченное время.

– И что, час такого труда сто пятьдесят баксов стоит? – Семен Семенович даже задыхаться стал.

– Я все же не сантехник, –

заметил Гусев, и глаза Гусева недобро блеснули.

Семен Семенович хотел было посоветоваться с женой, но жена явно не одобрила бы трату, вступила бы в спор, женщина строгая; а ссориться с Гусевым не хотелось. Человек мстительный, Гусев мог разнести по городу сплетню, мог рассказать каждому, будто Панчиков жалеет денег на правозащитные плакаты. И слово «шантаж» само собой соткалось в мозгу Семена Семеновича. Панчиков отсчитал в жадную гусевскую ладонь сотенные купюры. Гусев сунул деньги в карман, допил шартрез (его еще и ликером напоил Семен Семенович),

постоял, прищурившись, обозрел сделанную надпись — и двинулся прочь: в те дни было много заказов.

Панчиков даже не пошел к дверям художника провожать — так расстроился. Плакат, однако, был готов; транспарант стоял в коридоре, ждал своего часа, и Панчиков предвкушал, как предъявит надпись тираническим соглядатаям. Смысл плаката был в том, что на открытом обществе в России поставлен крест. И в самом деле: что же это творится, господа? Где обещанные свободы?

Не один Семен Семенович был взволнован. Люди в стране возбуждены до крайности: пьяницы пьют вдвое против прежнего,

студенты пропускают занятия,
домохозяйки забывают про
включенный утюг — все ждут
перемен! И госбезопасность
утратила хладнокровие. В
брежневские времена
госбезопасность охотилась за
шпионами — а нынче вызывают на
допрос обычных граждан,
пожелавших участвовать в
гражданском митинге. Неужели всех
— а сколько их, не смирившихся с
режимом? миллионы? — неужели
всех вызвали к следователю?
Наверное, не всех, но самых
активных — безусловно.

Панчиков вертел в руках
повестку: «Панчикову С. С.

явиться»... Листочек бумаги – а на нем твоя судьба. Показал жене:

– Не успели собраться на митинг – и вот результат.

– Зачем ты вообще взял в руки этот конверт? – Жена Панчикова была женщиной практичной.

– Принесли, в дверь позвонили, в руки дали...

– А ты зачем взял?

Казенное письмо принес обычный почтальон, мальчишка восточной наружности – не то татарчонок, не то таджик. Панчиков замечал его прежде, мальчишка жил в дощатых вагончиках на стройке – в Москве, когда начинают долгую стройку, в дощатых временках, что

стоят на строительном пустыре, селятся странные люди. В последние годы на стройках работали представители мусульманских республик — тощие, запуганные, жилистые мужчины. Откуда они брались, Семен Семенович не интересовался: тянутся к жирной Москве, слетаются, как мухи на мед.

Вот и почтальон жил в вагончике на стройке; приветливый такой мальчишка, всегда кланяется, униженно здоровается. Попросил мальчишка расписаться на бланке: мол, письмо доставлено, получил такой-то. Панчиков, помнится, подивился: все-таки уроки рыночной экономики дают плоды. Даже из

такого вот татарчонка можно сделать работника. Дал десять рублей – пусть купит себе сладкое.

– Расписался?

– Конечно.

– Как ты мог! Надо было сказать, что ты – не С. С. Панчиков, что ты его родственник, а Семен Семенович здесь давно не проживает... Ты ведь Солженицына читал! Помнишь, в журнале «Континент» была статья, как себя вести, если вызывают на Лубянку? Забыл?

Сколько раз потом вспомнит Семен об этой оплошности! И лежа на нарах Бутырского изолятора, и на полу в камере Лефортовской

тюрьмы, пока уголовники будут пинать его ногами... Сколько раз он скажет себе: «Глупец! Почему не представился я дядей Изей из Ташкента? Почему?» И когда домушник Ракитов нагнет его к параше, а отвратительный наркоман Хрипяков будет мочиться ему в лицо, вспомнит Семен Панчиков этот злосчастный миг: как взял он пластмассовую шариковую ручку из нечистых рук почтальона, как успел подумать, что ногти у почтальона грязные, и как поставил свою подпись в графе «получатель».

— Но ведь я не знал, что внутри...

— А чего ты ждал от России?

— Униженное, рабское, запуганное общество!

— Кто знал о том, что ты собрался на митинг?

— Почему я должен прятаться? Я не вор!

— И все же? Сколько человек знали — и по именам?

Семен Семенович прошелся по кабинету московской квартиры — семь шагов до стены, столько же обратно. Боже мой! Точно в камере ходишь, от стены до стены... Он сел на стул, оглядел тесную комнату. И впрямь, как здесь жить, в такой тесноте! Их московская жилплощадь практически не изменилась с брежневской поры — Панчиковы

решили имуществом в России не обраться: мало ли что. Апартаменты в Нью-Йорке, вилла в Мексике, поместье в Тоскане, дом в Лондоне – какие-то новые приобретения случались, а в Москве все те же стены, та же улица Чаплыгина; тот же второй этаж, никаких пентхаусов, разве что прикупили соседскую квартиру – соединили две трешки, вот и вся роскошь. И соседи все те же, правда, поумирали половина дворовых доминошников, но внуки и внуки, которые двадцать лет назад по двору бегали, – вот они, подросли и стали вылитые родители, такие же в точности у них лица, что и у старшего поколения. И не знаешь,

умиляться этой неизменности
российской породы или плевать на
нее. Вот шмыгнул под окнами
Костик, они помнили Костю
малышом в оранжевом комбинезоне,
а нынче Костику уже за тридцать —
отечное лицо, тупой взгляд, как у
папаши-таксиста. И разумеется, пьет.
Пойдет такой вот Костик на марш
оппозиции? И спрашивать не стоит.
А разве его папаша протестовал,
когда танки входили в
Чехословакию? Помнится, напился
таксист пьяный и сидел на лавочке во
дворе — икал и плакал, оттого что от
него жена ушла. Вот и вся
гражданская позиция. Ничего нового.
Поговори с таким вот Костиком — и

как встарь: говорим-то мы на одном языке, а друг друга не понимаем. И тот же вид из окна, что в юности: чахлые тополя, помойка, трансформаторная будка, драная кошка на крыше будки. Ничего здесь не меняется, никогда. Надо ли удивляться, что вызвали в прокуратуру? Как доносили при Сталине, так и сегодня стучат. Кому же он сказал, что собирается пойти на митинг, кому?

— Зачем мы только приехали? Говорила я, лучше ехать на карнавал в Венецию! И Бердяевы звали! — Бердяевы были соседями по мексиканскому побережью, беглые банкиры из Петербурга.

Путешествовали часто вместе — к пирамидам, к замкам на Луаре, по вискокурильням Шотландии. А вот на карнавал не поехали — хоть и планировали, — начались волнения в Москве, Семен сказал, что ехать они должны на родину.

— Считаю, мы поступили правильно. Это гражданский долг.

— Я лично ничего не должна этой стране! И ты не должен!

Кому он успел сказать? Семен Семенович постарался успокоиться: ничего страшного не случилось. Ну да, пригласили к следователю, и что? Обычная формальность... В конце концов, это просто приглашение — могу пойти, могу отказаться... Но в

животе забурлило, словно съел что-то скверное, а так всегда случалось, когда крупная беда. Крах на бирже в 2008-м — и вот так же в животе бурлило. Однако с биржей в тот раз обошлось — индекс Доу Джонса падал, падал да и в себя пришел... Если бы Россия была рациональной страной! Если бы с акциями демократии было так же понятно, как с акциями «Нестле»... С кем же он разговаривал о митинге?

— Мне позвонил Пиганов, пригласил выйти на площадь... я согласился. Публицист Митя Бимбом звонил. Смешная фамилия... Они с Тамарой Ефимовной Придворовой идут, конечно... Я сам позвонил

Фалдиным. Позвал их.

— С кем ты говорил? С Римочкой?

— Нет, с Ромочкой... — Римма и Роман Фалдины были друзьями с институтских лет. Супруги стали знаменитыми журналистами: Роман Фалдин создал передачу «Гражданин мира», супруга вела кулинарную программу «Блинчики по субботам».

— И что сказал Роман?

— Они, разумеется, примут участие. У Романа накипело... Кто еще?.. Я говорил Ройтману... Он спросил, в какой колонне я пойду, — с националистами, демократами или анархистами. Пошутил... Чичерину говорил несколько раз. Но он же свой

человек... Невозможно подозревать друзей!

— Здесь говорить нельзя ничего и никому.

— Однако как оперативно, как ловко сработано!

Правда вскоре Семен понял, что допрос не связан с митингом протеста, что вызывают его по поводу убийства водителя Мухаммеда — в повестке это обстоятельство было указано, просто Семен не сразу обратил внимание. Что это здесь написано? Ах, вот как! Мухаммед! Вот откуда ветер дует! Впрочем, это мало что меняло: кого в действительности интересовал Мухаммед? Мало ли татар-дворников

или таджиков-разнорабочих ежедневно дохнет по помойкам и подворотням — от дешевой водки, пьяной драки или вообще не пойми от чего! Жизнь в антисанитарных условиях долголетия не сулит. Ну, помер еще один... Нет, здесь не в Мухаммеде дело. Было очевидно, что причина выдумана — дело сфабриковано наспех. К тому же день и час допроса выбраны специально — так, чтобы Семен не попал на митинг. Требовалось нейтрализовать самых активных оппозиционеров — и здесь любые средства хороши.

— Они просто боятся тебя, — сказала жена. — Относись к этой

повестке как к признанию.

— Горжусь этой повесткой, — сказал Семен.

— Фактически госбезопасность заявила: мы боимся Семена Панчикова и страшимся того, что он скажет с трибуны. Это орден за заслуги.

— А я мог бы... мог бы сказать! Даже набросал пару страниц... Ты права, эта повестка — орден. Знаешь, я повешу эту повестку в кабинете в нашей манхэттенской квартире, — сказал, и вдруг подумалось: доехать бы до дома... не видеть бы этой поганой улицы Чаплыгина... гнусного Костика... помойку под окнами... черт сюда принес... И в

самом деле: что ж в Венецию-то не поехал? Но Семен Панчиков отогнал от себя малодушные мысли.

– Убийство Мухаммеда! Пьяного татарина убили за гривенник! И тебя вызывают на допрос!

– Будем справедливы, это затея рядовых сотрудников. Им велели, они старались.

Госбезопасность использовала данный метод еще в советские времена: например, диссидентов вызывали на допросы в те дни, когда в Москву приезжал американский президент. Семен помнил, как истеричного диссидента Додонова пригласили в районную прокуратуру по подозрению в краже балалайки.

Абсурдность вызова была очевидна – а цель ясная: продергать Додонова взаперти, пока американский кортеж проедет по столице. «На каком основании я задержан? – бесновался Додонов и требовал адвоката. – Я уверен, что нет ни единой нити, тянущейся ко мне от этой балалайки!» – «Улик нет. Но существует следовательская интуиция», – и улыбка змеилась по губам следователя.

Очевидно, что прием применили тот же.

Семен подошел к телефону и сделал ряд необходимых звонков.

– На митинге не буду, – отрывисто сообщил он Пиганову.

– Заболели? Погода мерзкая.

– Нет, получил повестку в прокуратуру.

– Вот как. – Тяжелое молчанье в трубке. Слышно, как дышит Пиганов. – Что ж. Они пошли и на это.

– Да. Пошли на это.

– Думаете улететь из страны? Вас никто не осудит.

– Не считаю нужным прятаться.

– Вы правы. Пусть они прячутся сами. Желаю вам мужества.

– Спасибо.

– Жму руку.

Семен не просил Пиганова ни о чем, но без слов было понятно, что лидер демократической партии

поднимет общественность. Зазвенит звонками демократическая Москва, схватятся за мобильные телефоны журналисты в редакциях, оттолкнут от себя тарелки с бифштексом столичные знаменитости, что сидят сейчас в кафе, а те, кто отдыхает на загородных дачах, — они вызовут шофера и скажут: «Вася, друг, жми в город! Панчиков в беде!»

И взревут моторы, и помчатся «Мерседесы» по Рублевскому шоссе — только не застряли бы в пробке, не увязли бы в снежной распутице...

Семен Семенович позвонил адвокату Чичерину:

— История получила продолжение. Вызвали в суд.

— А, серый человечек. Он злопамятен.

— Аргументов в споре он не нашел. Решил действовать иными методами.

— Вам потребуется адвокат. Считайте, что адвокат у вас есть.

— Не думаете же вы...

— Думаю.

— Но позвольте, следователю понятно, что я невиновен!

— Извините меня, Семен, я вынужден говорить с вами как профессионал. Вас официально привлекли как свидетеля. Можете перейти в разряд обвиняемых в одну секунду.

— Может быть, не ходить на

допрос?

— Вы расписались в получении повестки? — Панчиков промолчал, и адвокат сделал соответствующий вывод. — Тогда нет выбора.

— Но я — гражданин другой страны!

— Не имеет значения.

— Считаете, мне лучше уехать? — сказал, и сам изумился тому, что произнес эти слова.

— Куда?

— В Нью-Йорк, например. Не желаю с ними иметь дела. Пойду и куплю билет.

— Полагаю, в аэропорты разослали ваши данные. Можете попробовать уехать на машине через

Украину. Но, если задержат, это будет доказательством вины. Мне станет труднее вас защищать.

— Защищать — в чем? Я невиновен!

— Буду придерживаться именно этой версии.

— Версии? Как это — версии?

— Так говорится в нашей профессии. Я лично не сомневаюсь в том, что вы невиновны.

— Как это — не сомневаетесь? А что, могут быть сомнения?

— Следствие ведется для того, чтобы сомнений не было.

— Но дело смехотворное!

— Убийство считается тяжким уголовным преступлением.

— Убийство неизвестного татарина? Шофера? Или дворника — не помню, кто он там был...

— Даже убийство дворника считается преступлением.

— Не надо передергивать! Я сказал, что дворник был мне неизвестен, а не то, что дворника не жалко! — Телефонная трубка прыгала в дрожащей руке.

— Убитый был шофером.

— Какая разница!

— Я просто уточнил.

— Благодарю вас. Не ожидал... —

Настроение у Семена наконец испортилось.

— Можете на меня рассчитывать. Звоните в любое время! — и Чичерин

положил трубку.

– Ты представляешь, он со мной говорил как с незнакомым человеком!

– Формально?

– Сухо и цинично. Сказал, что переквалифицируют в обвиняемые. И еще этот жаргон, этот отвратительный полицейский словарь. Версии... И про дворников какая-то чепуха...

– Думаю, он опасался того, что вас слушают.

– Подслушивают? – Как ему в голову не пришло! Все-таки жена у него потрясающая женщина, все понимает; но как быстро они работают! Уже и телефон

слушают... – Нет, нереально. Надо санкцию прокурора, чтобы телефон слушать.

– Ты не в Штатах. Считаешь, что дело о татарине состряпать могут – а поставить телефон на прослушивание не могут?

И правда – где логика? Ведь подозреваемые все как один – оппозиционеры; почему же не сочинить властям такое дело, которое дискредитирует оппозицию? А если такой план имеется – значит, прослушка налажена. Значит, они готовили все заранее...

– Может, в квартиру уже улики подбросили. Вчера приходил сантехник.

— Ты вызывала?

— В том-то и дело, что нет. Профилактика, обошел все квартиры... Давай проверим в ванной... Он мог подбросить нож...

— Мухаммеда задушили ремнем.

— Ремнем? Как это?

— Накинули сзади, затянули на горле...

— Откуда ты знаешь?

— Что ты на меня так смотришь? Что ты так смотришь? — Семена Семеновича поразил взгляд супруги: она вдруг посмотрела исподлобья, цепким взглядом. — Ну да, татарина задушили. Нам сказал следователь, что Мухаммеда задушили.

— Кто еще слышал, что

следователь это сказал?

— Многие слышали...

— А кто конкретно?

— Не могу я так, с ходу, вспомнить...

— То, что ремень накиннули сзади, следовательно тоже сказал?

— Но ведь это естественно! Мухаммед был водитель, сидел на переднем сиденье. Набросить сзади удавку удобно... А как еще душишь?

— Забудь эту деталь, забудь и не вспоминай. Пойми, ты не можешь этого знать.

— Послушай... — Семен не мог найти нужных слов, язык словно распух, и во рту стало горько. — Послушай... ты что, меня

подозреваешь? Ты — моя жена — со мной — так — говоришь?

— Запомни, — супруга в минуты решительные преображалась, черты пухлого лица становились острыми, — запомни твердо. Что бы ни было, я на твоей стороне.

— Что бы ни было?! А что может быть? Что я задушил Мухаммеда? Ты в своем уме?

— У тебя руки дрожат.

— Я не знаю этого Мухаммеда! Не знаком!

— Откуда ты знаешь, как его зовут?

— Мне сказали имя... сказали, что убит Мухаммед.

— Кто сказал?

– Не помню. Я не знал Мухаммеда, не видел ни разу!

– Ты уверен? – спросила и покачала головой.

Панчиков опешил; мы привыкли считать, что знаем доподлинно, видели мы что-либо или нет. Вот, например, эту коробку я вижу, подумал Семен, хотя не знаю, что это за коробка. Если спросят, видел ли я коробку с печеньем, отвечу отрицательно... И буду не прав. Например, мы все наблюдаем политическое устройство России, а как оно называется – не знаем. Видеть и знать – разные вещи. Не исключено, подумал он, что Мухаммеда я видел, не зная, что это

Мухаммед. Супруга усугубила тревогу, сказала:

– Вас могли сфотографировать вместе. Представь, какая улика у следствия, если ты будешь отрицать знакомство. Надо выяснить, как выглядел Мухаммед! Позвони в галерею, спроси.

Семен протянул руку к телефону, однако трубку все же не взял. Помедлил.

– Если телефон прослушивают, что подумают про меня? Ты нарочно такие советы даешь?

– Позволь, Семен!

– Ты советуешь звонить и спрашивать, как выглядел убитый, – после того, как мы поняли, что

телефон прослушивают?

– Прости, не подумала.

– Очень странно.

– Семен, я сказала и повторяю: я на твоей стороне! Всегда и во всем!

– Я не убивал! Слышишь! Не убивал!

– Зачем ты на меня кричишь?

Семен отвернулся от жены, чтобы не сказать такого, о чем бы пожалел. Он сел к телевизору, стал щелкать пультом, переключать программы. Наткнулся на кулинарную программу Римы Фалдиной – но слушать про блинчики не смог, настроение не то. Следующая программа была о жуликах. «Ведущего передачи «Суд

идет» арестовали по обвинению в мошенничестве. Обманом получил двадцать миллионов рублей». Тьфу, черт! Ну и страна! Ну и народ! По другой программе показывали митинг сторонников президента — митинг проходил на Поклонной горе, лысом и плоском месте, на котором однажды стояла гора, но гору срыли. То был совсем иной митинг, нежели тот, в котором он чуть было не принял участие. Панчикова звали на сходку свободных людей — а в этой толпе стояли люди подневольные, не граждане, но рабы. Камера показала автобусы, на коих свезли к месту митинга так называемых демонстрантов. В автобусы людей

напихали, точно кильку в консервные банки, — доставили до места назначения, вывалили содержимое на снег: давайте, голубчики, митингуйте! Несчастливых пассажиров успели окрестить «анчоусами» — автором удачного термина была непримиримая журналистка Фрумкина, она умела сказать резко. Анчоусы оскорбились — кому же хочется быть анчоусом? Однако определение прилипло к рабам режима: анчоусы они и есть.

В те дни стоял сильный мороз, анчоусы кутались в свои курточки на рыбьем меху, топали ногами, чтобы согреться. Анчоусов собрали на митинг со всего города, велели

запуганным людям махать плакатами, тирану хотелось показать, что не только оппозиция имеет сторонников. Пусть богема и интеллигенция кричат «нет!», а народ говорит власти «да!», народ жаждет стабильности. С экрана смотрели одутловатые лица тех, кто жаждал стабильности: вот контролер автобуса, вот водитель такси, вот кассир из супермаркета – покорные, бессловесные. Семену показалось, что в толпе мелькнуло отечное лицо Костика – соседа со второго этажа. Мероприятие как раз для таких костиков.

Пока Семен наблюдал на экране телевизора демонстрацию преданности президенту, журналист Роман Фалдин приехал к месту проведения этой демонстрации. Фалдин смотрел, как из автобусов высаживались люди, закутанные в шарфы; попав на мороз, люди ругались, прыгали на месте, стараясь согреться, сбивались в кучки, защищая друг друга от ветра. Затем по двое, по трое замерзшие тянулись в сторону большой толпы, от которой к небу поднимался пар — тысячи людей кричали в белый зимний воздух, и облако общего дыхания

плыло над мерзлой толпой.

Люди скандировали слово «Россия» – кричали осипшими от ветра, дурными голосами – а что вкладывали они в этот крик, сказать было сложно. Вероятно, то была гордость за страну обитания или уверенность в том, что данная страна переможет свои беды, а может быть, просто потребность в крике. Рассказывают, что на войне, во время атаки, солдаты выпускают ужасные крики, чтобы подбодрить себя. Так, например, бытовал слух, что российские пехотинцы, кидаясь в штыковую или закрывая телом амбразуры вражеских дотов, кричали «За Родину, за Сталина!». Этот слух,

кстати, давно опровергнут. Журналистка Фрумкина черным по белому написала (со слов одного ветерана), что никто такой нелепости на фронте не кричал. Кричали попросту бранные слова, оттого что есть потребность орать, когда находишься в толпе. Любопытно, думал Фалдин, откуда у толпы берется потребность в крике? Желание публично демонстрировать преданность дикой, неудобной для жизни стране? Социальный эксгибиционизм? Или это форма общения неразвитых существ – так они посылают друг другу сигналы?

Подчиняясь профессиональному любопытству, он протиснулся в

толпу. Он раздвигал спины, его сдавливали с двух сторон потные люди, он вдыхал тяжелый дух толпы. Как всякому светскому человеку, Фалдину было неприятно скопление людей неухоженных: толпа пахнет дурно. Есть такое грубое слово «быдло» – на него обижаются те, кто может подпасть под это определение. Но как иначе назвать неповоротливое, мычащее стадо: женщины, не следящие за собой, расплывшиеся, как пельмени в кипятке; мужчины с красными от упрямства и алкоголя лицами; неурожайные дети; злые и никчемные подростки – они все чего-то хотят, и выражается это

неопределенное хотенье в истошном крике «Россия!». Как их определить, этих агрессивных и неумных крикунов? Фрондеры уже давно перестали стеснять себя в выражениях; людей толпы называли «анчоусами», «совками», «месивом» — и вот это замерзшее месиво шевелилось и кричало. Им приказали собраться, и они загрузились в автобус, анчоусы Среднерусской возвышенности, месиво городских окраин, российское быдло — они доехали до места демонстрации, топчутся на холоде, переминаются с ноги на ногу, тянут шеи кверху, орут. Стоявший подле Фалдина человек кричал громко и сипло; человек

тянул серую дряблую шею, и было видно, как крик поднимается по его шее вверх, вздувая синие жилы, и наконец вырывается из губ: «Россия! Родина!» Фалдин глядел на его шею с удивлением и любопытством — так в зоопарке рассматриваем мы длинную шею диковинной птицы. Надо же, думал Фалдин, какое странное существо! Жизнь его уродлива и коротка, однако оно радо и такой жизни — не хочет перемен. Казалось бы: ты уже попробовал этой похлебки — так рискни отведать новое. Нет, боятся рисковать. Вот мы живем с ним в одном городе, я и этот крикун, мы оба русские, но это абсолютно другой человек, не такой,

как я. И казалось Фалдину, что даже физиология у соседнего с ним существа иная. Крик комками прокатывался по напряженному горлу соседа — Фалдин видел, как крик распирает шею замерзшего человека: «Россия! Россия!»

Еще недавно, каких-нибудь тридцать лет назад, месиво хотело перемен. Российскому месиву мнилось, что его могут перемешать как-то иначе, на иной манер, более прогрессивный — но вот перемены пришли, месиво прокисло, и новых перемен месиво уже не хочет. Бесполезно, подумал Фалин, бесполезно внедрять прогресс в этой среде; мы только понапрасну мучаем

несчастное человеческое месиво; отчего не дать им дожить так, как им привычно? Все равно скоро произойдет естественная смена поколений, вымрут эти чудные невымытые существа. Отчего бы не обзавестись резервациями, как сделали для краснокожих в Америке, – вот пусть бы там и жили, кричали, пили свою мерзкую водку... Выгородить какую-нибудь часть страны... отдать под примитивное земледелие... в конце концов, цивилизация имеет свою неумолимую логику, но надо и пожалеть этих несчастных.

– За нами Москва! Отступать некуда! – кричал сосед Фалдина и

поворачивал тусклое лицо к журналисту, ища одобрения. Фалдин примирительно улыбнулся ему в ответ: да-да, как скажете, Москва, конечно, за нами... отступать некуда, все правильно... только не волнуйтесь так.

Любопытно бы расспросить такого вот анчоуса: что он любит, где живет.

Фалдин подумал, что интервью с таким существом могло бы стать сенсацией в новой журналистике. В незапамятные времена казарменного социализма брали интервью у комбайнеров и доярок: мол, как удои? — но уж лет двадцать как перестали. Журналисты беседовали с

лидерами партий, успешными бизнесменами и артистами, а вот с таким аборигеном не беседовали.

— Как вас зовут, простите? Я — Роман, — сказал Фалдин и протянул руку анчоусу.

— Константин, — представился человек из месива. — Холин моя фамилия.

Большая потная ладонь стиснула пальцы Фалдина. Принципы рукопожатности были нарушены — но Фалдин оправдывал это журналистским расследованием.

Холин! И фамилия соответствующая, почти так же звучащая, как у новоявленного русского владыки. Пустяковая

фамилия, дырявая фамилия, и носят такие фамилии люди из толпы, неотличимые друг от друга, точно бирки в гардеробе. Невзрачный Холин поддерживает невзрачного Путина – как же иначе?

Однако невзрачная фамилия президента неожиданно сделалась в России громкой, словно Рюрик или Романов – и мир недоумевал: человек без лица вдруг правит огромной страной! Откуда он такой взялся? Журналист Фрумкина издала в Америке книгу «Человек без лица», посвященную загадке кремлевского владыки.

Вообще говоря, загадки не было. К власти полковника привел

барственный президент Ельцин – он назначил полковника править страной по совету вороватых богачей из свиты. Когда богачи разграбили страну, они испугались, что придут другие алчные богачи и ограбят их самих, отнимут уворованное. Требовалось ввести порядок. Так и на пиратском судне после удачного налета возникает потребность в справедливости. Пираты приглашают офицера королевского флота, чтобы не допустить поножовщины: пусть офицер делит добычу и стережет сундуки, а то ведь передеремся. Но позвольте, кто же знал, что этот офицер возомнит о себе! Кто думал, что серый полковник дерзнет считать

себя главным на судне! Не много ли власти офицерик забрал?

– Каков морозец? – с уважением к холоду сказал Холин. – Теща говорит, семьдесят лет такого не было. Со времен битвы под Москвой.

– Неужели? – вежливо сказал Фалдин.

– Вот и сейчас бьемся с евреями, – сказал Холин и почему-то засмеялся. – Одно приятно, они на Болотной тоже мерзнут.

– Вы полагаете, в сорок первом году на Москву наступали евреи? – спросил Фалдин.

– Такие же, как сегодня на Болотной. Менеджеры всякие.

– Не любите евреев, да?

— Знаешь, как меня ребята называют? Холин я, Костя, а они меня прозвали — Холокостин, — и Холин засмеялся еще громче.

На Болотную площадь сегодня выходил митинг оппозиции. Туда, на Болотную, шли интеллигентные москвичи, уставшие от вранья и воровства. Им дали понять, что корень зла — в офицере госбезопасности, который захватил власть.

И те, кто еще вчера уговаривал интеллигентов перетерпеть офицера госбезопасности как необходимое зло (ну в самом деле: нанимаем же мы в охранники неприятных мордоворотов), сегодня обратились к

интеллигенции с призывом:
«Довольно!» Катализатором
волнений стали выборы в парламент
и грядущие выборы президента;
полковник КГБ, званный на
временную должность, уходить не
желал.

Люди интеллигентные,
наделенные чувством собственного
достоинства, стали задавать
вопросы: уж не новоявленный ли
Сталин воцарился в Кремле? Вот вам
еще одна простенькая фамилия:
Сталин. Вроде бы простенько
фамилия Путин звучит, а на деле
обещанный пустячок обернулся
путами, пучиной! Заговорили о
диктатуре. И сказали: тиран! И

ужаснулись: не вечно ли безликий офицер будет нами править? И прогрессивные граждане стали возмущаться, а граждане непрогрессивные, мессиво человеческое, им отвечали так: ну и пусть правит, нам как раз нравится этот офицер. Прогрессивные ужасались: так вы что, тоскуете по сильной руке? А непрогрессивные отвечали: ну да, тоскуем. Мы за сильную руку, а вы что, за слабую руку? Так гражданский спор зашел в тупик. Отчего-то выступать за сильную руку у штурвала власти считалось неприличным; скажешь в обществе: «Я за сильную руку» — и репутация испорчена. Но,

согласитесь, выступать за слабую руку, ведущую державу, – глуповато. Буксовали дебаты.

Иные (то были трезвые бизнесмены) встревали в спор со следующим суждением: абсолютно все равно, кто будет президентом. Представьте, говорили спекулянты, что Россия – это большой завод. Пусть президент страны будет как бы наемным директором; не владельцем производства, а управляющим. Собственник нам не нужен – мы приглашаем управляющего, а собственниками будем сами. У плана был лишь один изъян: почему всем можно быть собственниками, а директору страны – нельзя? Вся

Россия была к тому времени расчленена на жирные куски, богатым и жадным отдали золотые прииски и нефтяные скважины, алюминиевые карьеры и леса, заводы и дороги. Непонятно: если все тащат, почему именно глава государства не должен ничего брать? Не означает ли это, что вместо него править будут те, кто реально владеет страной? Ну да, разумеется, отвечали трезвые спекулянты, править страной будет, так сказать, рынок — невидимая его рука.

Невидимая рука рынка не сильная и не слабая; просто всевластная. Править страной будут законы рынка, владеть рыночными

прилавками станем мы, а управлять некоторыми текущими процессами (ну, допустим, если где проблемы с канализацией или крыша течет) станет наемный управляющий президент. Что здесь непонятно? Интеллигентные люди это понимали.

А если война? — ахали непонятливые анчоусы. — Кто тогда будет управлять страной? Рыночные механизмы? Чудно как-то... Скажем, если стреляют... А если голод случится? А если эпидемия? А если, например, маленьким детям в школу? Невидимая рука рынка даст лекарства бедным и образование сиротам, отразит нашествие врага? Да и вообще, не получится ли так,

что вся наша страна постепенно развалится на куски — если собственники корпораций будут блюсти интересы рынка, а логика общего рынка перестанет нуждаться в единой России?

Ну что вы так трясетесь над своей Россией, говорили паникерам люди принципиальные. Государство — есть своего рода предприятие, такое же, как завод. На данном заводе оборудование устарело. Требуется все внутри завода менять — причем по законам рынка.

Сравнение России с заводом беспокоило подозрительных анчоусов. Сотни брошенных бесхозных заводов и фабрик стояло в

полях России, и ветер гулял по пустым бетонным коробкам. Знаем мы, говорили анчоусы, как вы обращаетесь с заводами. Сначала на заводе останавливают производство, потом завод банкротят, потом распродают по корпусам – под склад, под баню. И с Россией вы так сделаете. Распродадите нашу страну, нашу Родину-мать с молотка пустите!

От таких разговоров прогрессивные граждане и бизнесмены досадливо отмахивались: Тьфу! Ну что тут сказать! Тьфу, да и только! Что за бред! Кому нужна ваша Россия! Подумаешь, нашли сокровище! Прекратите паникерство! А главное:

даешь свободу! Долой агента КГБ с русского трона! Долой сотрудников органов!

Но подозрительные обыватели слушали ораторов и вспоминали, что банкротство заводов начинали тоже с того, что увольняли директора. А чем кончилось? Нет, они подозревали неладное... кому-то выгодно их дурить!

– Продали Россию! – кричали анчоусы.

– Продали...

И в рядах звякнуло слово «жиды». Жиды! – точно консервную банку поддали ногой. Жиды! – короткое визгливое слово – точно «Jude» на митингах Веймарской

республики. Жида! – как плевок желтой табачной слюной. Фалдин стал пробираться сквозь тугие спины на воздух. Пора уходить, видел достаточно.

– Уходите? – новый друг, Холин, его окликнул.

– Замерз.

– Стакан бы для согрева, верно?

Следовало теперь отправиться на Болотную площадь, влиться в митинг оппозиции.

Холодный дождь не стихал.

Борис Ройтман проснулся и почувствовал, что простужен: болело горло. Надо выпить горячего чаю с медом – так с детства привык: когда заболел, мама всегда давала чай с медом. Борис сел на постели, вспомнил, что он в лондонской гостинице, здесь чаю среди ночи никто не даст. Он зажег светильник над кроватью, осмотрел убогий номер: в некоторых английских гостиницах в номерах оставляют чайные приборы. Это была очень небогатая гостиница, комната до того крошечная, что, казалось, и чайнику здесь уже не найдется места – так

плотно все расставлено: кровать, тумбочка, стул — вот и кончилось жизненное пространство; некуда чашку с чайником приткнуть. Выбирая отель, Пиганов всегда сэкономил на своих спутниках, и Ройтман с досадой подумал, что не заслужил такой убогой комнаты. Разница в двадцать фунтов могла бы обеспечить чайник в номере, лишний метр до холодного окна. Но Пиганов лишнюю двадцатку не истратит никогда.

Борис Ройтман пожалел, что поддался на пигановские уговоры. «Кто кроме вас, Борис?» Пиганов сказал, другого такого не найти: Ройтман знаток истории, Ройтман

талантлив, Ройтман ярко пишет — кому, как не Ройтману, говорить со свидетелем далекой войны. И вот Ройтман полетел в холодный чужой город на встречу с бессмысленным стариком. Зачем? Тешить самолюбие лидера партии?

Вчера вечером Пиганов попросил — в неприятной напористой манере — набросать страничек пять по следам разговора с немцем. Ройтман попробовал составить несколько фраз, но написать ничего не смог: разговор со стариком был пустым.

В гостиничном номере холодно, жидкое одеяло не греет, голове неудобно на подушке, набитой

поролоном. На окне даже шторы нет, и рам двойных нет, за окном ветер и дождь, сырость ползет в комнату. Почему он не научился говорить Пиганову «нет»? Мы давно стали его камер-юнкерами, думал Борис, и точно так же, как оскорбительно звучало это звание для поэта былых времен, так резануло слово и Ройтмана. Да, мы — камер-юнкеры, и не надо себя обманывать! Унизительная должность. Ведь есть же люди, думал Ройтман, которым хочется попасть за границу, они мечтают приехать в Лондон. Завистники скажут, Ройтман опять съездил в Европу за пигановский счет. Знали бы они, что это за

поездки.

Отказать невозможно. Небольшие деньги, но все-таки зарплата и возможность говорить то, что думаешь. За эту привилегию и носим мундиры с короткими фалдочками. Вот и Халфин с Аладьевым тоже поехали – для каждого Пиганов нашел нужное слово, каждому посмотрел в глаза.

Горло болит, глотать больно. Какая глупость – вот так бежать, едва тебя поманят пальцем. Ройтману приходилось думать о деньгах постоянно, ему было тяжелее, нежели другим лидерам оппозиции. Им легко, думал Борис с досадой. Пиганову деньги считать не

приходится. Пиганов пришел в политику из бизнеса, был владельцем нефтяного банка, за ним шлейф нужных знакомств. Халфин — профессор Колумбийского университета: и зарплата, и пенсия гарантированы. Тушинский — опытный интриган, выпрашивает на свою никчемную партию деньги вот уже двадцать лет — он профессионал. Националист Гачев, судя по всему, богат, хотя источник и неясен. Видимо, платят прямо из Кремля — они, по слухам, подкармливают патриотов: на черный день запаслись национальной картой в игре.

Но Борис — не политик, не бизнесмен, не парламентарий. Он

спонсоров не имеет, зарабатывает только пером и умением найти нужные слова. Борису надо ходить по редакциям журналов, улыбаться Фрумкиной, пить кофе с Фалдиным, дружить с Бимбомом. Ежедневная карусель – но спрыгнуть с карусели не получится.

Знаете ли вы, когда солдаты храбро дерутся на передовой? Когда некуда отступать. Отступать некуда, понимаете ли вы это состояние? У всех людей существует тыл: дом, семья, квартира, зарплата – а у Бориса Ройтмана тылов не было.

В дешевой гостинице нестерпимо тошно потому, что возвращаться Борису некуда –

съемную комнату на окраине домом не назовешь. Стены в его съемной комнате такие же чужие, как в гостинице, и кафель в ванной комнате холодный, бежевый, больничный, и пол покрыт дешевым линолеумом. Не много же рублей накопили ему строчки — а ведь думают, что модный публицист живет в загородном особняке.

Дом прежде был, и жена была, и дочь обнимала по утрам за шею; был как у всех людей тыл — но тыл Борис оставил ради красивой женщины Варвары Гулыгиной. Многим казалось, они с Варварой составили исключительную пару — два острых журналиста, украшение любой

компании. Снимали квартиру в центре города, Борис откладывал деньги – купят со временем и свою. Через год Варвара ушла к видному демократу, парламентариию и фрондеру – в журнале, принадлежащем этому ловкачу, Борис публиковал статьи.

Не обида, но разъедающая сознание боль. А надо шутить в телевизионных программах, смеяться с широко открытым ртом, чтобы заразительно получалось; надо сочинять бодрую колонку освободительного текста: «вместе бороться, пройти трудный путь к демократии до конца». И он писал, и смеялся, и продолжал сочинять.

Разве он не знает цену Пиганову? Разве не знает он цену болтунам, которые его окружают сегодня? Халфин – истерик и неуч, Аладьев не сочинил в своей жизни ни единой ноты. Но положи руку на сердце, лучше уж они – чем продажные чиновники, комсомольцы нового типа. Пусть придет к власти Пиганов, да хоть Гачев пусть сядет на трон. Любая перемена лучше снулого рабства. То, что его используют, Борис понимал – но использовали его в деле, которое он сам принял как меньшее из зол: а значит, он будет работать.

Опускать руки нельзя, на него надеются; теперь Борис узнал, что

такое предательство, понял, что испытала Катя, когда он ушел из дома. Теперь он знает, как бывает больно. Больше он никого не предаст, даже тех, кто с ним нечестен.

Борис положил поверх одеяла пальто, его трясло от холода. Сейчас Катя принесла бы горячего чаю, поставила бы кружку в изголовье. Катя бы села рядом на постель, положила ладонь на лоб. Она умела так поправить подушку, что жесткая подушка становилась мягче.

Подлинное несчастье — это знание того, что был счастлив в прошлом, говорит Боэций, и Борис Ройтман ощущал свое бывшее счастье с болезненной ясностью.

Неожиданно он подумал, что и Россия, великая в прошлом страна, должна испытывать сходную боль.

Хорошо бы горчичники, согреться под жидким одеялом. Мама, когда ставила Борису горчичники на грудь, оборачивала горчичники в газету, чтобы пекло не сильно, а прогревало равномерно — Борис вспомнил, как он отлепляет газету от горчичной подкладки и читает обрывки сообщений: «Хрущов встретился с Насером», «строители сдали Асуанскую плотину». Может, оттого он и стал политическим публицистом, это ведь с детства — тяга к политике.

К полудню позвонил Пиганов;

лидер оппозиции проживал у миллиардера Курбатского, завтракали у Курбатских поздно.

— Как спалось, Борис?

Гостиница удобная?

— Замечательная.

— Ну и отлично. Не забудьте: в восемь выступление.

— Готовлюсь.

Зимы больше нет: теперь вместо снега и мороза — то слякотная оттепель, то вдруг польет ледяной дождь. Небо вспухло тучами, стало сизым, разверзлись хляби небесные — и хлынул ледяной поток; не снег и не дождь, а ледяное месиво обрушилось на людей. Такая же погода, по рассказам очевидцев, в пятом круге ада. В пятый круг поместили чревоугодников и расточителей, мздоимцев и ростовщиков, и, говорят, они стоят по колено в замерзшем болоте под вечным холодным ливнем. В мерзости Стигийского болота проводят

грешники свои бесконечные часы, а
вдали горит адским пламенем город
Дит — и так же точно освещается
иллюминацией сумрачная Москва.
Темнеет в это время года рано — и
под фонарями, куда ни глянь,
повсюду лужи, покрытые льдом, и
мутная каша из грязи и жидкого
снега. Прыгает замерзший человек
между лужами под дождем,
проваливается, скользит, втягивает
голову в плечи — но не спрятаться
ему, не уберечься.

Серый человек застегнул пальто
на все пуговицы, берет натянул на
уши, но теплее не стало. Добежал до
дверей, только проскользнул внутрь,
как ветер задул еще сильнее, а дождь

хлынул гуще. Серый человек предъявил пропуск вахтеру (его знали в лицо, но прилежный чиновник всегда показывал пропуск), поднялся по лестнице, вошел к себе в кабинет.

Следователь Чухонцев встретил серого человека словами:

— Подлая погода. — И пока серый человек снимал пальто, Чухонцев успел добавить: — А народу нипочем. Идут орут.

— Хорошо, что не в милиции работаем, — сказал серый человек. — Стояли бы под дождем в оцеплении.

— Патрули снять надо, — сказал Чухонцев. — Пусть дураки дерутся.

Сотрудники следственных

органов – Петр Яковлевич Щербатов, майор, и Геннадий Андреевич Чухонцев, капитан, работали в паре. Согласно известному сценарию «добрый и злой следователь» распределялись их роли в дознании. Серый человек Щербатов вел себя аккуратно, вступал в беседы с подозреваемыми; Чухонцев грубил и пугал подследственных, добиваясь быстрого признания.

Следователь Чухонцев был убежден в том, что мир устроен несправедливо. Он был молод, завистлив и зол, зарплата у него была копеечной. К тому времени, когда ему надо было выбрать профессию, в России из профессий требовались

всего две: менеджер (чтобы получать проценты от проданного) и юрист (чтобы оформлять сделки продаж). Он пошел учиться на юриста, не доучился, стал следователем. Юристы, те оформляли покупки вилл и яхт; следователь искал убийц старухи из коммунальной квартиры. Когда Чухонцев проходил мимо окон ресторанов, он кривился на розовогубых менеджеров и юристов, пожиравших дорогие продукты, и бледные губы Чухонцева выплевывали ругательства. Не могут порядочные люди разбогатеть законным путем, за каждым из них — нераскрытое дело. Но охотиться на богатую дичь не довелось, он обычно

разыскивал нищих, укравших какую-нибудь дрянь и убивших соседей за пустяк. Он проводил часы в убогих комнатах с драными обоями, выбивая из полузрячего инвалида признание в том, что инвалид ударил по голове пенсионерку. Вечером, после дурного дня и стакана плохой водки, Чухонцев шел мимо окон ресторана «Набоб» и ненавидел тех, кто сидел внутри, за сверкающими стеклами.

Всякий раз, изобличая очередного убийцу, Чухонцев доказывал себе, что мир действительно устроен подло: внук убивает бабу, брат крадет у брата, сын предает отца. Весь мир — сплошное преступление. Значит,

предположение, что все менеджеры и юристы – воры, тоже верное. Но пока он ловил не менеджеров – а побирушек.

– Видишь, бабка, – цедил Чухонцев, – я сразу понял, что твой внук убийца.

И бабка выла, давилась рыданием. А Чухонцев жестоко говорил:

– Поздно выть. Ты что, не видела, как сын пил? Помер. Отек легких – и в гроб. Ничему алкаш внука не научил. Невестка у тебя – проститутка. Сама ты побираешься. И внук стал убийцей, тут без вариантов. Чего воешь? Думала, пианистом станет?

Бабка цеплялась корявыми руками за его куртку, а Чухонцев отдираал ее пальцы от лацканов и говорил:

– Я здесь ни при чем.

Вот еще одно дело сделано, и он шел домой, выпив стакан плохой водки с ребятами из отдела. И болел желудок, и голова гудела, и спать оставалось пять часов, и опять за сверкающими стеклами он видел менеджеров: менеджеры ели розовое мясо и пили темно-вишневое вино. И Чухонцев поднимал к сырому московскому небу свое отечное лицо и выл, почти как затравленная бабка. К ним не подберешься, их убийства спрятаны надежно, у них адвокаты и

офшоры, у них самолеты стоят на частных аэродромах, и пилоты ждут, прогревая моторы.

Если и попадалось дело: вот застрелили чеченца в ресторане, принадлежащем любовнице лидера партии; вот сын министра сбил беременную женщину; вот депутат обокрал Пенсионный фонд – заранее было известно: не дадут работать, развалят дело. И сдавали дело в архив – а взамен поручали архиважное убийство на вокзале, там пырнули пьяного ножом.

И Чухонцев цедил в лицо ярыжке, арестованному на вокзальной площади: «Колись, урод, пару лет скину за чистосердечное,

потом пойдешь на УДО. Или огребешь по полной и выйдешь инвалидом, кровью харкать будешь». А сам думал, что когда-нибудь скажет эти слова владельцу яхт и заводов.

Щербатов снял мокрое свое пальто, одернул серый пиджак, достал папку с надписью «Базаров», и следователи приступили к работе. Список подозреваемых отличался от списка гостей французского посла тем, что в нем было меньше фамилий; но значительность фамилий была очевидна. Чухонцев поднял глаза на Щербатова и сказал:

— Сдай в архив.

— Почему?

– Представляешь, кто такой Панчиков?

– Денег у него много, – сказал Щербатов.

– Если много, – сказал Чухонцев, – это чепуха. Когда денег очень много – люди меняются. И законы для них другие. Тебе – дождь холодный, а он сел на самолет – и в тропики. Дурак ты, Петя, что связался.

– Работа такая.

– Возьми таджика со стройки. Рассказать, как дело было? Таджик познакомился с покойным, выпили. Потом он Магомета придушил.

– Конкретный подозреваемый есть?

– Бери любого – оставь меня с ним на час.

– Сейчас не тридцать седьмой год.

– Чем плох тридцать седьмой? Прицепились к тридцать седьмому..

– Придумай что-нибудь помимо мордобоя, Гена.

Чухонцев доискивался до истины так: синим карандашом водил по списку, подчеркивал фамилию. Панчиков – три синие линии. Базаров – шесть синих линий. Кессонов – одна линия.

– Богатые знаешь как убивают? – сказал Чухонцев. – Они фантазию тренируют. Сидит буржуй дома на кушетке и думает: ананасы я уже ел,

в бассейне купался. Что еще попробовать? Идет и убивает. Дело закроют. Сейчас скажу, сколько это будет стоить... — И Чухонцев, зарплата которого исчислялась шестью сотнями долларов в рублевом эквиваленте, принялся на бумажке прикидывать возможные размеры взятки.

— Не смогут закрыть. Оппозиция выступает против власти; а тут совпадение: лидеры оппозиции проходят по делу об убийстве — кто станет такое закрывать?

— Запад закроет, — сказал Чухонцев, ненавидевший далекий Запад так же сильно, как отечественных богачей. — Премьер-

министр Франции – кто у них там? – позвонит нашему попугаю. Скажет: попирают права!

– Не позвонит премьер. Француженка в деле имеется, она же информатор нашей конторы, она же сожительствовала с покойным татаринном. Допустим, убитый был правоверный мусульманин.

– Допустим.

– Если так, то он мог быть связан с национальными партиями, а национальные движения связаны с террористами в Европе. И французский сенат закрыть такое дело не даст.

– Вся надежда на французский сенат. – Чухонцев снабдил эту фразу

непечатными примечаниями.

– Закроют, конечно, – подумав, сказал Щербатов. – Но не в один день. Считай, что некоторое время у нас есть.

– Месяц?

– Представь, что ты маршал Конев, а я маршал Жуков. Нас с тобой позвали в Ставку и сказали: желательно прорваться на Ржев, выйти на западное направление, разгромить врага и гнать до Берлина. Ты бы что сделал?

– Я не маршал.

– Так у тебя и задача скромнее. Одного убийцу надо взять.

– Ну-ну, – сказал Чухонцев.

Подошел пожилой человек с картофельным лицом, взял Фалдина за локоть, сказал:

– Вы куда? Надо со всеми. Решили выдвигаться в сторону Кутузовского, пройдем до Садового с транспарантами, там нас подберут автобусы.

– А если кому домой пора? – спросила женщина. – С утра здесь стоим.

– Гражданское сознание у тебя имеется? На Болотной и то организация лучше... А хочешь – ступай, кто тебя держит, – сказал пожилой с обидой. – Пожалуйста,

ступай...

– Да я что, я как все...

– Я, думаешь, домой не хочу? – сказал пожилой. – Но дело надо сделать.

Он обратился к Фалдину и Холокостину:

– Возьмите транспарант. Вон тот возьмите, потяжелее, мужики вы здоровые.

У автобусов лежали на снегу транспаранты – самый большой, с двумя древками и полотнищем посередине гласил: «Сохраним Россию».

– Вот этот берите и выдвигайтесь.

Они взяли транспарант,

полотнище сразу надулось под ветром, нести его было неудобно.

Пожилой оглядел толпу:

— Ну что, быдло, будем строиться.

В толпе засмеялись.

— Давайте по восемь в ряд.

— А ты где работаешь? — спросил Холокостин. Он на «ты» перешел.

— В газете. — Фалдин почти не соврал. Не про телевидение же говорить.

— А как называется? Я газеты читаю.

— «Труд», — сказал Фалдин.

— Это еще нормальная газета. А то, бывает, в «Коммерсанте» работают. Там у евреев, говорят,

зарплаты хорошие! Тебе сколько башляют?

– Полторы, – сказал Фалдин, а сам подумал: «Черт его знает сколько им там теперь платят». Полторы тысячи долларов – звучит вроде нормально. На своей программе он получал пятнадцать тысяч – это, разумеется, не считая акционерских и тех, что получал как продюсер нескольких передач. Полторы – такие зарплаты где-то есть, он слышал.

– Могли бы и побольше платить, – сказал Холокостин зло, – на полторы не проживешь. Одет ты чисто. Я думал, ты две – две с половиной гребешь.

— Ну ты скажешь, — сказал Фалдин.

— А что такого, я в прошлом году стабильно две штуки делал в месяц — правда, почти не спал, — сказал Холокостин. — Часа три спал. И машина у меня была новая. Я таксист.

— Две — это сильно, — сказал Фалдин.

— Выдвигаемся, — сказал пожилой человек по фамилии Пухнавцев. — Замерзнем здесь к свиньям.

— Что ж президент погоду не заказал? — сказали смешливые девушки.

— Не смешите, девчата. Работать

надо.

Не могут они обвинить невинного, твердил Панчиков. Но супруга его, здравая дама, сказала: могут.

Российское судопроизводство прославлено лживостью. Не столь давно расправились с опальным богачом. Богач являлся флагманом свободного бизнеса в России, но заспорил с президентом. И осудили! Все воруют, а осудили одного – который заспорил с властью. Мол, не платил налоги! Никто не платит – но за решетку бросили именно его! Конечно, пресса возмутилась, но заключенному не легче. Семен

подумал, что если его посадят в тюрьму, общественность не поможет.

— Обидно! — сказал Семен Семенович.

— Не обидно, а оскорбительно, — поправила супруга. — Обидеть нас они не могут.

— Обидно то, что реальный убийца существует. И его не трогают.

— Повторяю: здесь не действуют цивилизованные правила. Когда иду по улице — вижу, как на меня неприязненно косятся местные женщины. Бедняжки не могут понять, что после пятидесяти лет допустимо ходить с распущенными волосами.

Супруга Панчикова в свои

шестьдесят два года носила длинные кудри с вплетенными в них лентами – на улице Чаплыгина смотрели на эту прическу (нормальную для Гринвич-Виллидж) неприязненно.

– Ты понимаешь, речь не о прическе. О менталитете нации.

– Понимаю.

Убийца сидел вместе с ним за столом. Убийца ему знаком. И этот убийца тоже будет мне сочувствовать, думал Семен Семенович.

Улик против меня быть не может, думал он. Впрочем, что считать уликой? Если отпечатки пальцев, то их Панчиков оставил в галерее достаточно. И в машине, где душили Мухаммеда, отпечатки

можно найти – например, портфель галериста, который Панчиков мог потрогать, лежит на заднем сиденье. А если фото имеется, на котором Панчиков стоит рядом с убитым?

Он перебирал в памяти события того злосчастного дня. Он вошел в галерею современного искусства. Кого он увидел? Владельца, Базарова, естественно. Поздоровался, пожал руку. Прошел в залы, раскланялся с посетителями. Избранная компания коллекционеров. Сели за стол, чокнулись.

Надо шаг за шагом восстановить последовательность событий, тогда пойму, что произошло, думал Семен. Он сотни раз читал детективы, в

которых обвиняемый, дабы избавиться от ложного навета, сам становился сыщиком.

Ознакомимся с данными криминального уравнения.

Что показывали в галерее? Гигантская инсталляция – какая-то огромная труба или колонна... Автор – немец. Бойс, Гройс? Не важно. Подле инсталляции ходили девицы – потом ушли. В это время Мухаммед был жив, он открыл девицам дверь.

Затем водитель вернулся в машину. Машина стоит во внутреннем дворе, в гараж отгоняют редко. Как правило, в свободное время шофер в машине спит – это всякий знает, у кого есть шофер.

Стало быть, Мухаммед уснул, а кто-то сел к нему в машину. Гости галереи обедают в помещении, имеющем выход во внутренний двор. Кто-то отлучается, быстро спускается во внутренний двор, садится на заднее сиденье, накидывает удавку на шею татарину, душил. Возвращается, продолжает беседу. Кто выходил из комнаты? Панчиков стал вспоминать. На несколько минут отлучались, пожалуй, все; и он тоже. Он даже выходил на улицу, так получилось — пошел по коридору в поисках туалета, толкнул не ту дверь — и оказался на улице. Скверно, если кто-то его видел во внутреннем дворе. Отложим эту тему, перейдем к

другой.

С кем убитый мог быть связан? Шофер знает о хозяине многое: пока возишь начальника по городу – и про подпольные казино, и про взятки прокурорам – не хочешь да узнаешь. Итак, первая зацепка – шантаж галериста. Уверен, следствие такую версию крутит. Историк Халфин отпадает. Живет все время за границей. Когда приезжает, крутится вокруг богачей, с дворниками-татарами не знается. И – старик. Сил на то, чтобы задушить взрослого мужчину, не хватит. Забудем про Халфина. Базаров? Мотив имеет. Но для чего галеристу, который имел сотни возможностей заехать с

Мухаммедом в лес, убивать своего шофера на людях? Нелогично... Фрумкина? Дама с характером и хваткой. Причем хватка Фрумкиной такова, что придушить татарина смогла бы в два счета. Но мотива Семен Семенович не находил.

Неожиданный поворот с француженкой. Что за дикая история? Зачем мадам Бенуа — татарин Мухаммед? Конечно, интрижка с персоналом вещь обычная. Нахальные гиды в Индии, проводники сафари в Африке — порой становятся любовниками хозяек. Панчикову рассказывали, что венецианские гондольеры имеют обыкновение предлагать

эротические услуги туристкам. Однако где венецианский гондольер – и где шофер татарин?

Три вопроса имеются.

Первый вопрос: знал ли татарин убийцу? Чтобы неизвестный сел в машину и не разбудил спящего – трудно представить.

Второй вопрос: зачем убийца совершил преступление в людном месте?

Главный вопрос: важно ли то, что убит именно татарин?

Если убили директора банка, татарина по национальности, – это убийство банкира. А когда убивают нищего татарина, на первом месте стоит национальная

принадлежность. Надо понять, зачем убивать татарина. У всякого преступления есть национальный характер. Классический английский детектив — там причина всегда в наследстве. Русские преступления совершаются спьяну. Интересно, каковы татарские преступления. И кстати, каков этнический состав подозреваемых?

Панчиков увлекся криминальным уравниванием — длилось это, впрочем, недолго. Он устыдился своего интереса — что делает с человеком опасность! Ради спасения себя человек готов взвалить ответственность на товарища. Не приходится удивляться, что и власть

поступает так же. Мы обвиняем власть, а власть нас давно испортила.

Смутные времена настали, господа! Страна разделилась на два лагеря! Неужто поляков на царство приведут?

Панчиков взял в руки газету; взгляд его упал на заголовок «Я обвиняю!» – характерный для тех дней заголовок.

Автор статьи Аркадий Аладьев, композитор. Вот что было написано в этой статье: «Я обвиняю! Я сознаю, что я не Эмиль Золя. Но сказать то, что я собираюсь, необходимо именно сейчас. Я обвиняю власть и тот властный слой, воплощением которого власть является, в

необратимом, бессовестном, преступном нравственном расколе России».

Панчиков растерялся: «властный слой, воплощением которого является власть»? И потом, если растление необратимо, чего ради шуметь? Всем хорош Аладьев, но внятно говорить не умеет.

«Сейчас эта трещина проходит по сердцам и душам всех без исключения людей, живущих в России. Я с тяжелым сердцем понял, что два враждебных митинга — символ разрыва в душе народа, разрыва, сознательно и изощренно спровоцированного властью. Сегодня я неожиданно для себя самого

заплакал от горя, ужаса, жалости, бессилия, недоумения, прочтя, что уважаемые мною музыканты поддержали президента».

Далее Аладьев описывал поведение двух знаменитых музыкантов, которые служат режиму и не дают другим подлинно свободолюбивым музыкантам служить демократии. Слезы Аладьева придавали строкам искренности.

«Мне совершенно ясно, что таким, как они, совершенно наплевать, что о них думаю я и другие музыканты, не уступающие им ни талантом, ни мастерством, но не желающие играть в преступные

социальные игры и тем самым радикально рискующие своей карьерой. Они захватили все пути, по которым другие музыканты могли бы попасть на большую сцену и доказать миру свою состоятельность, мастерство и величие».

Семен Панчиков подумал, что Аладьев мог бы написать какую-нибудь музыку для восстания, эдакую «Марсельезу» нового времени – гимн юристов и менеджеров. Тот злосчастный факт, что композитору Аладьеву не дали писать музыку, не был замечен восставшими – а новая «Марсельеза» нужна.

Не один Семен Семенович прочел статью. Инвектива Аладьева

достигла цели — в дорогих апартаментах в центре Москвы содрогнулся скрипач Пепеляев; привыкший к панегирикам, он растерянно глядел на газетный листок. Пепеляев сел с супругой за воскресный обед, открыл газету «Культура». «Да как же так, Надя?» — сказал Пепеляев жене, то есть подумал, что говорит, — но звуков из гортани не исторг. Тыкал вилкой в газетный лист, мычал. Помимо статьи Аладьева опубликовали примечания штатных зоилов, разошлись круги по воде от брошенного Аладьевым камня.

«До каких пор негодьям и коррупционерам будет разрешено

корчить из себя музыкантов?» — так было написано в газете. И еще было сказано так: «Неужели Пепеляев забыл, что искусство создается только при свете совести?» А строкой ниже написано так: «Пусть вспомнит прислужник и холоп Пепеляев, что партитуры, которые ему выдают в Кремле, не содержат ни единой правдивой ноты!» Упала вилка, покатила по полу рюмка — стал ронять предметы прислужник палачей. Встал скрипач из-за стола, хотел в редакцию позвонить, но подвернулась нога, и он грянулся на туркменский ковер. Из беспомощно разинутого рта вывалился вялый язык, глаза закатились, как у

зарезанного петуха. Удар хватил скрипача Пепеляева.

Следом за композитором Аладьевым и другой оппозиционер – ресторатор Мырясин, владелец устричного бара «Сен Жюст», опубликовал эксклюзивное интервью «Не могу молчать», которое начиналось словами «Я, разумеется, не Лев Толстой, однако молчать не стану». Никто и не подозревал в румянном Дмитрие Мырясине, продавце морепродуктов, талант литератора, равный Льву Николаевичу Толстому, – но тот факт, что ресторатор сам признался в этом, читателей впечатлил. Искренность ценится, и особенно в наши

судьбоносные дни. «Знаете ли вы, что вы едите? Что мажете на хлеб? Я вам скажу! Ложь! Ложь! Ложь!» И сам граф Толстой не написал бы столь ярко. «До каких пор владелец ресторана «Морские гады» будет считаться порядочным членом общества? Прогорклая совесть и тухлые гражданские убеждения, несвежие принципы и гнилые взгляды — вот ингредиенты кухни ресторатора Кучкина. Должны ли мы удивляться, что Кучкин поддержал Кремль?»

Ресторатор Кучкин находился в подсобке, принимал груз морепродуктов из Ла Рошели, когда ему принесли журнал «Власть» с

разгромной статьей «Уж на сковородке». Персонал ресторана вспоминал, как хозяин, прочитав заметку, широко развел руками, схватился за грудь, точно в него попала пуля, и рухнул головой на брикеты замороженных мидий. Чудовищная ирония ситуации сказалась в том, что пластиковая упаковка мидий от удара треснула и мидии протухли, и когда на завтра посетители обнаружили, что мидии с душком, посетители, естественно, вспомнили о статье! Их предупреждали! Надо ли говорить, что бары «Сен Жюст» были отныне переполнены восставшими, а злополучные «Морские гады»

влачили жалкое существование.

Дамба взорвана, стихию не остановить — вслед за Аладьевым и Мырсясиным прочие культурные деятели также сорвали с уст печать молчания. Владелец сети мебельных бутиков г-н Давильский опубликовал в журнале «GQ» исповедальный текст «История моих бедствий». Открывался материал фразой «Конечно, я не Абеляр, но пришлось вытерпеть многое». Мало кто из посетителей бутиков, принадлежащих Давиду Давильскому, слышал о несчастном школяре, а если бы заглянули в энциклопедию, поразились бы вопиющему несходству

кастрированного Абеяра и сочного Давильского. Однако бедствия последнего также привлекли к себе внимание публики. Чего стоила история о том, как Давильский отказался вступить в партию «Единая Россия», и немедленно партия двухспальных кроватей из Хорватии была задержана на таможне. И это в то время, как владелец мебельного бутика «Гранд» бесстыдно пресмыкался перед тираном и получил заказ на поставки в Кремль. Что ж, заключал Давильский, у меня остается моя чистая совесть.

Но перлом среди прочих публикаций оказалась статья Романа

Фалдина «Исповедь», которую он начал словами «Сознаю, что я не Блаженный Августин, и тем не менее скажу прямо». Статья была опубликована в «Новой газете». Тележурналист Фалдин поведал о царящем на телевидении диктате: острые программы снимают с эфира, ввели цензуру, сопоставимую с временами Советской власти, морочат зрителям голову развлекательной чепухой — если интеллигенция не сплотится и не скажет твердое «нет»... читателю понятно, что будет.

В конце концов, думал Панчиков, перебирая газетные листы, не так уж важно, пишет

композитор музыку или нет: важно, что он — гражданин. Вообще, понятие творческой профессии претерпело изменение: ресторатор, агент недвижимости, дистрибьютер и менеджер — стали не в меньшей степени художниками, нежели художники, которые сделались рестораторами и менеджерами. Взять, допустим, Давида Давильского — человека масштабного. Он мебельщик — но посетители заходят к Давиду не затем лишь, чтобы прикупить двуспальную кровать. Они могут часами сидеть в уютном кабинете Давида, пить грузинское вино, говорить о жизни. А Дмитрий

Мырясин! В барах «Сен Жюст» царит атмосфера артистизма, словно мы перенеслись в «Бродячую собаку» или в кабаре «Вольтер». Не секрет, что многие художники обзавелись ресторанами — вот, например, поэт Бродский один из первых стал совладельцем ресторана «Самовар» в Нью-Йорке. И если поэт владеет рестораном, отчего бы ресторатору не стать в некотором роде поэтом; тем более что писать стихов для этого не требуется. Скажем, Каплан, владевший рестораном «Самовар» на паях с Бродским, стал интеллигентнейшим человеком простой силой вещей — и к его мнению прислушивается

творческая часть нашего общества. Художник делается менеджером – но и менеджер становится художником, произошло слияние профессий. Где мыслящий человек может съесть салат, как не в «Сен Жюсте»? Где просвещенная личность купит двуспальную кровать, как не в бутике Давильского?

Дмитрий Мырясин прохаживался по своему бару, подсаживался за столики, вступал в диалоги о политике.

– К президенту претензии гастрономические – меня от него тошнит! – говорил своим гостям Мырясин. – Объелись коррупцией! Надо иметь достоинство! Что,

восемьсот рублей за салат «Цезарь» – это много?! – ярился Мырясин. – Нет, это адекватная цена! А Кучкин – подстилка президентская.

Мырясин распорядился поместить в барах «Сен Жюста» книжные полки; причем не какую попало литературу закупал Мырясин, но лишь ту, что содержала твердую гражданскую позицию. Посетители поглощали устрицы «Белон» на фоне собраний сочинений Солженицына, Оруэлла и Замятина. Покушав устриц, из-за стола поднимался совсем другой человек, с иным взглядом на жизнь.

Класс менеджеров нуждается в культуре высшего сорта – если ты

платишь 800 рублей за салат, ты вправе требовать, чтобы тебе еще рассказали что-нибудь умственное! Следом за Мырсясиным просвещенные рестораторы создали специальные интеллектуальные программы, оттеняющие меню. Так, в ресторане «Август» читали лекции по римской истории, в ресторане «Набоб» рассказывали об индийской философии, а в мебельном бутике ввели курсы истории искусств. Отныне у столиков помимо сомелье и официанта крутился и профессор истории (историкам выдали фирменную одежду: приличные фартуки, чищенные штиблеты, сорочку с бабочкой) – и очкарик был

готов усадить гостя лекцией.

– Рекомендую Пино Гриджио, но есть и луарский Сансер, – говорил сомелье.

– Не хотите ли послушать об июльской монархии во Франции? – суетился историк.

И это великолепие находилось под пятой коррупции и произвола.

Семен Семенович, человек внимательный, читал все газеты от первой строки до последней. Вывод из прочитанного прост: оппозиция обвиняет, называет имена виновных – следовательно, власть нанесет ответный удар.

Последуют суды и расправы.

В их ряды неожиданно вошла новая колонна, разрезала демонстрацию анчоусов с фланга.

Красные знамена с черными свастиками.

— Вы кто?

— Патриоты.

— Почему свастики?

— Это не свастики Это

Гакенкройцы.

— Какие еще розенкрейцеры?

— Или Хагенкреуцы, бес их разберет. Кривые кресты.

— Как свастики.

— Коловраты это, наши исконные русские солнцевороты. Гитлер, если

хочешь знать, у русских взял знак коловрата.

– Сука ваш Гитлер.

– Не повторяй жидовскую пропаганду. Фашисты добра России хотели.

– У меня дед с фашистами воевал.

– Дурак твой дед, коммуняка. Если бы не твой дед, жили бы как в Европе.

Патриоты с бритыми затылками рассекли демонстрацию анчоусов; юноша с ясными глазами нес плакат «России нужен порядок».

– Вы куда? – спрашивали их.

– На Болотную.

– Там жида.

— Там радикалы. Там параллельный фронт, — так, на манер веймарской терминологии, называли техническое объединение протестных партий. В Веймарской республике в оппозицию сплотились многие из тех, кто потом враждовал. — Их забудут скоро, а мы останемся.

— Там ельцинские выкормыши.

— Подумаешь. Хуже пятнистого никого не было.

— Пятнистый это Антихрист. — Фалдин понял, что человек имеет в виду президента Горбачева, чье огромное родимое пятно на лбу принимали за печать Антихриста. — Пятнистый страну развалил. Я через

пятнистого школу не закончил. Сказали: рынок кругом. Айда машины мыть. Пошли, мыли машины.

— И долго мыли машины? — Фалдин тоже спросил. Колонна патриотов отделила его от Кости Холина, теперь он шагал подле ясноглазого.

— Три года. Потом в бандиты пошел.

— Как — в бандиты?

— Дураком прикидываешься. Все тогда в бандиты пошли. Наш-то Антон уже в сенаторах.

— Антон — это кто? Ваш главный? — спросил Фалдин, стараясь не сбиться с шага. Широко

шли и быстро.

— Он кинематограф теперь контролирует. Сказал, чтобы секс и насилие убрать с экранов. А то влияет отрицательно.

— То есть, — уточнил Фалдин, — вы были рэкетиром?

— Налоги собирал. Как государство. Разницы никакой. Только мы реально защищали, а государство врет.

— Разница все же есть.

— Не вижу разницы. Ты с нами на Болотную? Вольемся в еврейские ряды.

Толпа анчоусов осталась позади. Фалдин шел в колонне под красными знаменами со свастиками, шел

вместе с бритоголовыми патриотами. Через три ряда от себя он увидел художника-патриота Шаркунова. Шаркунов нес транспорант с картой Евразии. Патриоты шагали широко, и пар вырывался из сотен ртов.

Журналист Варвара Гулыгина успела покинуть особняк посла к тому времени, как следователь предъявил гостям обвинения. Они ушли вместе с Эдуардом Кессоновым — именно торговец оружием Кессонов и был ее другом, а вовсе не парламентарий, как сообщила она несчастному Борису Ройтману.

Варвара собиралась назвать реальное имя, но почувствовала, что делать этого не следует, — не нужно причинять излишнюю боль Борису. Пусть лучше это будет безвестный парламентарий, в меру обеспеченный, политически бойкий,

карьерный – это Борис поймет, эта кандидатура его не так ранит. И Варвара сказала, как говорят все женщины:

– Я не назову тебе его имени, но знай, что это достойный человек.

– Кто он, я имею право спросить!

– Ты не знаешь его, он парламентарий, думающий, талантливый политик.

– Ах, из этих лоббистов! Составил состояние, подписывая воровские законы!

– Ты не должен так говорить о человеке, которого не знаешь.

Пусть он воображает, что Варвара увлеклась думскими речами,

пока писала репортаж о принятии закона. Пусть Борис считает, что парламентарий соблазнил ее возможной карьерой в прессе, — это делает ситуацию проще. Но знать о Кессонове невыносимо. Ройтман — беден и толст, а Кессонов — молод и баснословно богат. Ройтман откладывал каждый месяц по две тысячи долларов, копил на квартиру, напрягая все силы: он писал заметки в десятки журналов, строчил речи для Пиганова, сочинял политические стихи, издал книгу очерков. И каждый месяц Борис говорил ей: «Вот теперь у нас уже тридцать шесть тысяч — двадцать я скопил до знакомства с тобой; а теперь уже

тридцать восемь — мы идем вперед». И он покупал журналы по недвижимости, водил пальцем по столбцам двухкомнатных квартир в Сокольниках — приличный район, зеленый. Еще два-три года потерпеть. Кессонов тратил две тысячи долларов за обедом — и на квартиру не копил. Произнести имя Кессонова она не могла. Борис Ройтман сказал бы, что она — продалась, что она польстилась на деньги, назвал бы ее проституткой. И Варвара представила, как багровеет полное лицо Бориса, как выплевывает он ругательство ей в лицо.

— Как его зовут? Я имею право знать, как его зовут!

– Не важно. Могу сказать, что этот человек издает газету.

– Ах, газету издает! Может, это ему я пишу еженедельные колонки? Это он мне помогает копить на квартиру?

Про убийство Варваре сказал Кессонов – генеральному менеджеру прислали вызов в следственный комитет.

– Попросил полицейских заехать к нам в офис. Полагаю, у них больше свободного времени.

– Как хорошо, что Бориса там не было, – это было первое, что сказала Варвара.

– Откровенно говоря, я тоже рад, что имя не назвали. На обеде он не

присутствовал, хотя я видел Ройтмана в галерее. Подумал, бедняга пришел объясняться со мной — но вспомнил, что про меня ему не известно.

— Ты никому про Бориса не говорил?

— Не волнуйся. До сих пор себя винишь?

Варвара сказала:

— Я в какой-то мере отвечаю за него. Он ради меня оставил семью.

— Так он еще семью оставил! Интересно, какая была жена?

— Как бы тебе... — Варвара подумала, не нашла слов. Как описать серые волосы, запах супа... Ну, как объяснить? — Обыкновенная

такая.

На Болотной было весело.

Патриоты с красными флагами встали поодаль от колонны украинских националистов с желто-голубыми знаменами – именно так в преддверии большого сражения выстраиваются корпуса атаки: на правом фланге тяжелые кирасиры, за ними уланы, а на левом – легкая кавалерия драгунов. Интеллигенты, морщась на красный цвет стягов, жались к украинским знаменам.

– Вы кто?

– Бендеровцы мы.

– Не треба нам бендеровцев.

– Привыкай, дядку. Скоро мы

вас, москалей, вешать будем.

– Хватит, хлопцы. Мы сегодня заединщики.

– Не забудем! Не простим!

– Не простим!

– Даешь честные выборы!

Потеснив фронт бендеровцев, на площади строилась колонна либеральных демократов – лозунги имели невнятные, но скандировали их громко. Лидер славился бешеным нравом, на его выступления стекалась публика.

Затем на площадь вошли эсеры – сегодня аббревиатура «СР» обозначала партию «Справедливая Россия».

Затем шли дробные отряды,

образованные по принципу цехов и корпораций. Шагали птенцы гнезда Усманова — служащие империи миллиардера Усманова, свободолюбивые журналисты на сумасшедшей зарплате. Шли прохоровцы — примкнувшие к штабу избирательной кампании миллиардера Прохорова, которому некогда подарили весь российский никель. За ними тянулись те, кого окармливал богач Абрамович, — персонажи арт-сцены.

А далее шли все подряд, так примыкают к войску малые отряды вольных стрелков и мелких феодалов.

Шли свободолюбивые менеджеры среднего звена, шли

взволнованные системные
администраторы, шли маркетологи с
горящими глазами, шли обуюнные
чувством собственного достоинства
дистрибьюторы холодильников. Шли
колумнисты интернет-изданий,
гордые гражданской позицией; шли
галеристы и кураторы, собирающие
коллекции богатым ворами; шли
юристы, обслуживающие ворье и
считающие, что свою зарплату они
получили заслуженно, а чиновный
коррупционер ее не заслужил. Шли
негодующие рестораторы и сомелье,
которые более не могли молчать.
Шли прогрессивные эстрадные
актеры и шоумены демократической
ориентации, шли твердой поступью

граждан, наделенных правовым сознанием.

Эти граждане уже не позволяют тоталитаризму взять верх в нашем обществе — зорко смотрят они за капиталистической законностью! Эти граждане говорили про себя: «Мы люди успешные и состоявшиеся» — и они заслужили это определение. Шоумены нынче зарабатывали по пятьдесят тысяч долларов за один вечер, их приглашали развлечь гостей на корпоративных вечеринках; актеры ездили в подмосковные усадьбы и дорогие столичные рестораны — где акционеры компаний кидали им тысячи за единый куплет и

танцевальное па; рестораторы снабжали хозяев жизни устрицами; художники декорировали поместья спекулянтов недвижимостью — и сегодня все они, представители сервиса, вышли воевать с тиранией. Никто не считал своего персонального хозяина — вором; напротив — каждый был убежден, что его хозяину просто повезло и если хозяин и отнял деньги у других людей, то сделал это по праву сильного и смелого, а не как тиран. Никто из фрондеров не сомневался в том, что отнимать деньги у себе подобных — хорошо; это называется соревнование и рынок; никто не дал бы и цента соседу — зачем делиться?

Они смеялись над предложениями все разделить — свои деньги они заработали в поте лица, обслуживая новых господ. Они теперь — свободные работники сервиса, они честно выслужили довольствие.

Сегодня они вышли рука об руку — их сплотила сегодня не жажда равенства, но осознанное требование неравенства — они хотели иной жизни, отличной от быдла.

Это был офицерский состав демонстрации.

Следом за менеджерами и юристами — шло пестрое ополчение.

То самое ополчение, которое столько раз звали на стогна города, подставить живот врагу, притупить

копья татар, ослабить гусеничный ход машин Гудериана – пригодилось снова. Это же ополчение собирали, когда Московский князь шел воевать князя Тверского, когда ставили противотанковые ежи на Волоколамском шоссе, это ополчение кидали на защиту Дома Правительства в девяносто первом и на штурм Дома Правительства в девяносто третьем, позвали и сейчас.

Шли прекрасные москвичи, готовые отдать жизнь за невнятное будущее детей. Их здесь называли словом «бюджетники» – поскольку они жили на государственные деньги, в отличие от работников корпораций и бизнесменов.

Искренние очкарики и их безропотные подруги, они пришли сказать властям, что намерены сегодня роптать. Менеджеры убедили их, что зло маленьких зарплат — коренится в кремлевском тиране.

Вперед! За вашу и нашу свободу!

На трибунах готовились к дебатам. Один из ораторов репетировал куплет:

— Серая тля! Вон из Кремля! — говорил он в микрофон и добавлял: — Раз, два, три, проверка слуха. Серая тля... Как слышно?

— Тушинский будет? — спрашивал оператор связи.

— Обещал.

— А Гачев будет? —

интересовалась молодежь.

— Тушинский, что ли, вас на Кремль поведет? Гачев поведет!

Вышел вперед один, крепкий, отчаянный:

— Нас тут достаточно, чтобы идти на Кремль!

— Даешь!

И зашевелились ряды, разбрызгивая снежную серую кашу: на Кремль!

И даже испугались иные москвичи: все же на демонстрацию договорились идти, а не на штурм. Уж не провокация ли это?

Возможно, кампанию, начатую против России генералами фон Боком, Гудерианом, Брауховицем и

фон Клейстом, – теперь продолжают Пиганов и Ройтман? Такой слух плавал во городе. Сумасшедшие анчоусы, охранители режима, шептались: есть, мол, в стране пятая колонна – разрушает державу изнутри. Шелестели: американский Государственный департамент платит оппозиции за развал страны. Соображение это вызывало в рядах оппозиции смех.

Поведешь очами окрест и невольно спросишь: неужто за развал еще и платят? Все само валится. Вон, крыша у стадиона рухнула – это что, Госдеп заплатил за обрушение? Или, допустим, лифт оборвался в новостройке. Это что, шпионы

американские гадят? А если платит Госдеп за развал, то где доли участников развала? — так говорил всякий фрондер. И выворачивал карманы, показывая, что долларов американских в карманах нет.

Правда, случались неловкости. Так, эстрадный актер Коконов, давая протестный концерт в Театре эстрады, шутливо спросил у зрителей, где же его доля американских денег, — и показательно вывернул карманы. К удивлению публики, из карманов его вывалились пачки зеленых долларов, бриллиантовый кулон, мобильный телефон со стразами, золотая табакерка и чековая книжка. Зал

ахнул: вот они – деньги Госдепа! Что же побудило актера сознаться? Сцена напомнила открытые судебные процессы тридцать седьмого, когда затравленные обвиняемые признавались в шпионаже. В отличие от сломленного Бухарина, эстрадный актер Коконов признаний не делал, но немедленно объяснил, что доллары поступили отнюдь не от Госдепа, а произошли они от бизнесмена Балабоса. Оказывается, актер был одарен пачками денег за исполнение протестных частушек на корпоративном вечере в Барвихе. И зрители успокоились: слава богу, Госдеп тут ни при чем – просто Балабос обанкротил автомобильную

промышленность, построил в цехах заводов казино, деньги хранит в американской валюте в банке Манхэттена. Какой же тут Госдеп? Все честно.

Говорили так: вы что, за теорию заговора? Ха-ха! Тут уж любой понимал, что история – вещь объективная, какие тут заговоры. Разве есть дело Государственному департаменту Америки до России? Что им, заняться нечем? Наверняка существуют поважнее дела: игра в теннис, барбекю, разгадывание кроссвордов. Зачем заниматься проблемами страны с ядерным оружием – несерьезно! Теория заговора – это курам на смех.

И лишь у отдельных граждан возникала мысль: когда тигр ест зайца, это соответствует теории заговора тигров? Или просто так устроено?

– Дорогу дайте, хлопцы!

Бендеровцы потеснились, патриоты подались назад, эсеры расступились – на площади появилась новая колонна, то пришли чпоковцы. Мультимиллиардер, надежда русской демократии Алекс Чпок пожелал возглавить протест против коррупции и произвола. Внимание, вот он сам – рослый, статный, учредитель литературных премий и хозяин русской рудной промышленности! Вот он – демократ

и либерал!

Некий педант задал вопрос из задних рядов: мол, как быть с теми директорами предприятий, перешедших в собственность героя, которых находили утопленными по канавам, — это ли не произвол и коррупция? — но злопыхателя зашикали. Какие такие канавы? Какие такие директора? И что, мы будем поминать прошлое? Кто поминает космонавту, что герой в детстве писал в штаны? Ну да, писался — а теперь в космос летает!

Выглядел новый лидер демократов как жестокий садист, но сторонники говорили, что бетонное лицо — лишь маска, за которой скрыт

очаровательный человек. Возникал вопрос: а почему именно эту маску выбрал благородный кандидат, отчего не обзавестись маской Альберта Швейцера? Ах, что вы, говорили сторонники, вы не понимаете, он должен таким монстром представляться партнерам по бизнесу, там свои законы. А в жизни он — неисправимый романтик. Так девочки пятиклассницы аттестуют знакомого хулигана: не смотрите, что он кошек вешает, он очень ранимый мальчик.

У фронды появился долгожданный герцог Бофор: интеллигенция льнула к новому лидеру Чпоку — этот воровать не

станет! Он все что можно спер. Герцога демократии попросили сказать несколько слов.

Неисправимый романтик с лицом садиста сказал кратко:

— Я не из тех, кто лежит на диване и думает о смысле жизни!

Взволнованные интеллигенты повторяли эти величественные слова. Он не из тех, кто думает о смысле жизни — ему некогда, он деньги зарабатывает! Созидатель он! И интеллигенция, коей по штату положено думать о смысле жизни, радостно приветствовала нового вожака, который сообщил, что думать не желает. Герцог демократии простер над головами руку и

крикнул: «Не забудем! Не простим!»
И фронда подхватила: «Не забудем!»

Колонны патриотов, националистов и демократов слились в единое море голов. «Не забудем!» Что именно толпа собиралась помнить, было не ясно, — поскольку всегда предпочитала забывать.

Так уже было: те же взволнованные лица и смелые слова. В девяносто третьем, когда пьяный президент Ельцин решил расстрелять непослушный парламент, та же толпа гудела на стогах. Людям мерещилось, что от них прячут демократию — закрывают варенье в недоступный шкаф. Что делать с демократией, не ведали, но ключи от

шкафа требовали. Жирный экономист Гайдар кричал бушующей толпе: «Фашизм не пройдет!» – имея в виду не гитлеровские войска, но парламент, который не поддержал приватизацию народной собственности. Почему нежелание поделить страну на корпорации называется «фашизмом», тогда никто не спросил. Если рассуждать логически, то именно фашисты и хотели разделить Россию на несколько управляемых государств (так говорил Гиммлер) – а значит, нежелание делить страну на корпорации не совпадает с фашистской доктриной. Однако в тонкости терминологические в тот

вечер не вдавались. Казалось, бронетехника Гудериана рвется на Красную площадь, а над Кутафьей башней вот-вот водрузят орла со свастикой. Орды дикарей надо проучить – вот что думали москвичи, не подозревая, что дикари – это они сами. Толпа ревела: «Фашизм не пройдет!» – и суровые лица москвичей, не раз являвших мужество в ополчении, преданно обратились к жирному экономисту. Фашизм в тот вечер не прошел. И Гудериана остановили, и парламент расстреляли из танков, а страну Россию поделили и распродали.

«Фашизм не пройдет!» – в упоении кричал жирный человек с

балкона мэрии, имея в виду, что частная собственность лучше, нежели собственность коллективная. И толпа москвичей, у которых эту коллективную собственность изымали, вторила своему герою: «Фашизм не пройдет!»

В девяносто третьем насмерть стояли, как в сорок первом на Волоколамском шоссе.

Сегодня, стоя на Болотной площади, Фалдин почувствовал, что фронт сопротивления создан вновь. Он нашел на площади друзей, стократно стиснул в рукопожатии ладонь единомышленника. Встретил Аркадия Аладьева, приехавшего из Лондона. Аладьев сообщил, что в

Британии ведутся серьезные переговоры на самом верху: Пиганов выступал в парламенте, Ройтман пишет интереснейший политический памфлет, подключили к борьбе опальных олигархов. Одним словом, будильник истории заведен – следует готовиться к финальному бою.

Аладьев кстати показал фотографию, где он был в роли арестованного внутри милицейской машины.

– Потрясающее фото. А вот – вид из моего номера в Венеции! – Художник-концептуалист Бастрыкин, случившийся рядом, показал открытку с видом на Гранд-канал. – Недурно, правда? Там сейчас тепло,

пятнадцать градусов. Хотя с лагуны и дует.

— Пятнадцать градусов? — И ненависть к режиму с новой силой стиснула сердца.

— Поэт! Поэт! — кричала толпа, и через минуту все смеялись стихам мальчишки, забравшегося на трибуну.

— Русь, ты прогнала
Наполеона!

Прогони советского
шпиона!

Чтобы жилось вольготнее
тебе,

Прогони агента КГБ! —

кричал юноша в московский сумрак, и демонстранты гудели.

– Это для разогрева, – пояснил концептуалист Бастрыкин, – потом посерьезней будет. Ройтмана сегодня нет, приходится давать частушки.

Среди слушателей было много молодежи; юные думали, будто чекист тайно пробрался на трон. Те, кто постарше, помнили, что сами демократы посадили на княжение чекиста. Пригласили на время, на в России удачливые правители правили подолгу, вот и президент-полковник захотел остаться у власти. Успех сопутствовал президенту-полковнику во всем: вчера никто и помыслить не мог о расколе русского

общества. Однако случилось так, что государство стало мешать обществу.

Причиной (так считали ретрограды и националисты) был заговор враждебных России стран. Дескать, сидели по ту сторону планеты бжезинские и киссинджеры, они, мол, и замутили. Но возникал вопрос: а где враги России были раньше? Почему дали править полковнику целых двенадцать лет, прежде чем взбунтовать публику? Если глядеть непредвзятым оком, выглядело так, словно заслуженный артист на сцене дал петуха и в него полетели помидоры.

То, что мир – театр, отмечено давно, но до лицедейства допущены

немногие. Мир – театр, в котором сцену видят издалека. На галерке, в задних рядах,дохнут нищие, в амфитеатр пробирается робкий средний класс, в партере сидят успешные люди, сцена же мала. Президент-полковник оказался на сцене, где развлекал зал как мог: управлял подводной лодкой, рычал на бояр и фотографировался полуголым.

Первыми разочаровались зрители в партере, они подметили фальшь в игре, впрочем, на то им образование и дано. И критика на Западе была убийственной – пару лет назад хвалили постановку, а нынче разгромные рецензии. Противоречия в русском обществе объяснялись тем,

что полусонная галерка еще аплодировала пожилому актеру, а партер уже свистел.

Обо всем этом подумал Роман Фалдин, сменив место в зрительном зале. На зимнем пустыре собеседником его был человек с галерки — но, переместившись в партер, Фалдин услышал иные доводы. Мнения зала разделились, паршивого актера гонят прочь. Но кто спектакль этот ставит? Господь Бог, что ли? Или так называемая «мировая закулиса»?

Фалдин улыбнулся этому предположению, столь распространенному среди людского месива. Зрители с галерки

представляли дело так, будто стоят за кулисами сцены спрятанные от глаз банкиры, фабриканты, торговцы – и регулируют спектакль... так ли? Не в том ли дело, что Государство Российское отжило свой век? Менеджерам государство ни к чему – у них корпорация имеется. А держать государство для заботы о бессмысленных анчоусах – накладно. Кто-то хорошую статью написал по данному вопросу... Ройтман, кажется, или Пиганов... Суть в том, чтобы жить жизнью, параллельной с государственной, – нам ничего от Государства Российского уже не нужно.

– Пиганов сегодня выступает? –

спросил Фалдин у художника Бастрыкина.

– Я его не видел. Видел зато в толпе Шаркунова – вообразите, стоит в колонне с патриотами. Увидел меня, отвернулся! Спросим у Мити про Тушинского.

Лица – одно другого ярче: к ним приблизился публицист Митя Бимбом, розовый и успешный. Бимбом щурился, совсем как его дед-меньшевик, участник Февральской революции. Фотография старика Бимбома (близорукий господин в панаме) публиковалась в энциклопедии, среди портретов деятелей буржуазной революции.

– Пиганов сюда не приедет.

Зачем ему выступать вместе с Тушинским? Зачем делиться лаврами?

– Неужели Тушинский здесь?

– Попробуйте не пустить! –

Митя замахал руками, показывая, что с Тушинским лучше не связываться. – И Гачев должен подъехать. Он про коррупцию расскажет. Оставайтесь, послушайте.

– А Придворова?

– Тамара Ефимовна уже на трибуне.

И действительно, дородная писательница Придворова уже стояла у микрофона, кутаясь в доху. Митя Бимбом, следуя мановению ее руки, засуетился, сообщил Фалдину, что

покидает его:

— Зовут и меня выступить. Скажу что-нибудь народу. Свобода, знаете ли, ждет.

Митя улыбнулся искренней улыбкой, составившей ему репутацию лучшего из молодых публицистов, — не то что старые демократы, циничные и жадные.

Тушинского, например, разлюбили — не могли простить бесплодную любовь. Интеллигенция ненавидела Тушинского как любовница, которой морочили голову двадцать лет, не подарив ни брака, ни детей, ни денег, ненавидит былую пессию. Тушинский был вечным кандидатом в президенты, но к

власти не стремился. Долгие годы он говорил пастве, что возглавит страну и водворится справедливость — но завистники не пускают его к престолу. Интеллигенция отдавала ему голоса, и спонсоры давали денег, уверенные, что однажды он власть возьмет, — но двадцать лет миновало, а ничего не изменилось. Фалдин подумал, что политик этот никогда не работал, а живет очень богато. Он имеет машину и шофера, секретарей, курьеров, разные дома — а за всю жизнь не сделал ничего; только открывал рот. Все знали, что изменить Россию в пятьсот дней невозможно, что говорить так глупо, но кандидат излагал программу по

изменению России в пятьсот дней двадцать лет подряд. Кандидат утверждал, что если бы его послушались, страна успела бы за это время поменяться пятнадцать раз, по одному разу за два года.

Сейчас, выйдя на трибуну, Тушинский привычным движением распахнул рот – так сантехник, придя чинить трубы, раскрывает застёжки чемодана с инструментами. Рот раскрылся, слова полились сами собой.

– Вы знаете правду! – закричал Тушинский, и скулы его окаменели. – Знаете, на что способны опричники! Случай вопиющий!

Он рассказал все: опять не

допущен к выборам, опять заговор! Не прошел потому, что не набрал подписей избирателей, – и как вам это нравится?

– Может быть, дело в ином? – надрывался Тушинский. – Может быть, господин президент испугался соперника? Что молчите, господа фальсификаторы?

Фалдин вдруг понял, что кандидат не собирался принимать участие в выборах – покойнее жить на даче, с тарелкой телятины, политой брусничной жижей, с бокалом вина в маленькой аккуратной ручке. Для чего рисковать?

– Клоун, – сказал суровый

человек, стоявший за спиной Фалдина. — Сегодня его никто не принимает всерьез. Глупейшая у него программа. Подождите, сейчас будет выступать Митя Бимбом. Он из НОВЫХ.

— Какая у Бимбома программа? — сказал Фалдин осторожно.

— Не нужна программа. Прежде всего надо объединить силы протеста. Когда победим, программа сама появится.

— Как без программы власть брать?

— Не смешите меня, — сказал человек с плакатом. — Вам русским языком говорят, что программа имеется, просто внедрять ее будем по

пунктам. Пункт первый: консолидация демократических сил. Пункт второй: осуществление демократических процедур – тайна голосования, многопартийность, регистрация одномандатных кандидатов. Пункт третий: контроль за неукоснительным исполнением демократических процедур. Пункт четвертый: построение социальных институтов, гарантирующих исполнение демократических процедур.

– А сама программа? – спросил Фалдин.

– Не смешите. Я уже перечислил все пункты программы. Но тише, Бимбом выступает! Кстати, –

неожиданно добавил человек с плакатом, — знаете, что нам нанесли удар? Панчиков арестован.

— Что?

Фалдин посмотрел на человека с плакатом, но человек закрылся от него транспарантом. Поперек белого листа было написано «Меня тошнит».

Семен Панчиков еще не был арестован. Он только собирался на допрос. Выбрал строгий деловой костюм, а под пиджак пододел кашемировый жилет – на всякий случай. Что если придется ждать в холодном коридоре? Об иных вариантах событий не думал.

– Зубную щетку возьмешь?

– Ты что? Ты что?

Семен Семенович даже слов подобрать не смог. Супруга унесла несессер с бритвенным прибором и зубной щеткой.

– Как ты могла...

– Умоляю, не волнуйся. Ты не

должен показывать свое волнение.

Следовало выбрать не только костюм, но тон общения со следователем. Желательно, чтобы тон разговора соответствовал асфальтовому цвету «Бриони» — жестко, холодно, по существу.

Когда Семен Семенович мысленно проговаривал свои возможные реплики на допросе, он остановился на жесткой манере диалога, которую так любят читатели американской писательницы Айн Рэнд. Надо отвечать сухо и правдиво вне зависимости от предмета диалога. Прибыль, любовь, убеждения, убийство — все можно анализировать трезво. Я — крупный

бизнесмен, говорил себе Панчиков, должен вести себя сообразно статусу моего клана. Так, как я разговариваю со своими наемными рабочими, так буду говорить и со следователем — следователь и есть наемный рабочий. Следователь получает зарплату из бюджета, то есть отчисления с налогов, он у меня на жаловании — буду вести себя с ним, как с младшим клерком. Рэнд научила нас, как надо говорить с попрошайками.

Диалоги в книгах Айн Рэнд были примером разумной речи. Скажем, младший партнер по бизнесу, лодырь и социалист, просил прибавку к жалованью. Следовало говорить с ним так:

– Почему я должен давать тебе деньги?

– Я прошу о милосердии...

– По существу, будь любезен.

– Мне так нужны деньги... У меня больная мать, сестра прикована к постели и крыша течет...

– Поэтому ты решил, что я должен отдать тебе деньги, которые нужны мне самому.

– Но я рассказываю о своей нужде!

– Больше работай и справишься с нуждой.

Точка. Разговор окончен. Попутно выясняется, что проситель пописывает в левые газеты прокламации, упрекая капитализм в

бессердечии. Хочет подачку получить – и одновременно жалуется, что ему мало дают. У красных обычное дело – двойные стандарты. В течение долгих лет Семен (как и многие российские бизнесмены) воспитывал себя на книге Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» – то была книга, равная по значению книге большевика Островского «Как закалялась сталь». Общеизвестно, что под влиянием книги Островского люди делались фанатичными в служении партии и упорными в строительстве непригодных для езды дорог и неудобных для жилья домов. Книгу Айн Рэнд Семен называл «Как добывалось золото», эта книга

воспитала бизнесменов — столь же непреклонных, как большевики. Разница состояла в том, что сталь, закаленная большевиками, проржавела, а золото, нажитое бизнесом, множилось год от года.

Социализм пал — это доказало превосходство книги Рэнд над книгой Островского. Социализм и страна, воплощавшая его, вступили в бой с капитализмом — выражаясь словами политического мыслителя Бжезинского, то была титаническая борьба; итог известен.

Надо дать понять следователю — к чему стесняться простой истины? — что следователь представляет закон побежденной страны в разговоре с

победителем. Любопытно, сохраняет ли смысл закон, если страна, издавшая закон, разрушена? Надо бы спросить об этом серого человечка. Хорошо бы прямо словами Бжезинского.

Бжезинский, подобно Айн Рэнд, говорил до неприятности точно: «Россия – побежденная держава. Говорить: «это была не Россия, а Советский Союз» – значит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским Союзом. Она бросила вызов США. Она побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей... Россия будет

раздробленной и под опекой».

Пусть следователь осознает это обстоятельство, прежде чем начнет допрос гражданина свободной страны.

«Россия может быть либо империей, либо демократией, но не может быть тем и другим. Если Россия будет оставаться евразийским государством, будет преследовать евразийские цели, то останется имперской, а имперские традиции России надо изолировать. Мы не будем наблюдать эту ситуацию пассивным образом. Все европейские государства и Соединенные Штаты должны стать единым фронтом в их отношении к

России».

Да, вашей страны уже нет – так и надо сказать человеку в мундире; мундиры остались – а страна разрушена. И что сегодня ваш Уголовный кодекс? Что сегодня ваша конституция?

Семен Семенович представил смятение на лице серого человека.

Он мне, конечно, возразит, думал Панчиков. Он скажет: у вас у самих кризис...

Верно, скажу я, у нас кризис. И что? Случившийся сегодня кризис испугал некоторых; иные плаксы и пораженцы подумали, что это крах капитализма – но Запад силен! Офисы его высятся сотнями этажей,

клерки, выпучив глаза, носятся по поручениям боссов, брокеры дергаются в истерике, официанты хлопают пробками шампанского — капитал стоит крепко!

Итак, нужный тон выбран: говорить сухо и непреклонно.

Панчиков взял зонт, хотя защитит ли зонт от мерзкой слякоти? Он проверил, в порядке ли документы; поцеловал жену.

В патриархальных семьях жены крестят мужей, выходящих в поход. Но эта семья была прогрессивной, и Светлана Панчикова просто сказала:

— Ни пуха ни пера.

— К черту! — сказал Семен Семенович и вышел из дома.

В то время как слякотная Москва хлюпала в митингах, а Семен Семенович ехал на допрос – в солнечном Лондоне шли концерты русского сопротивления.

Век коммунистической цензуры миновал – убедитесь, что традиции Щедрина и Гоголя живы! Гости съехались к Вестминстеру, ступили в конференц-зал королевы Елизаветы; в фойе подавали розовый брют.

Впоследствии, описывая этот вечер, русские лондонцы говорили «We had a lot of fun» – выражение, которое переводу поддается плохо. Fun – означает не просто веселье, но

то пленительное состояние, которое поднимает над проблемами мира. «Let us have a fun», – так говорят, приглашая в ресторан или на светский прием, то есть туда, где не ожидается комических событий. Уроженец далекой Московии не сразу поймет, что смешного в бифштексе и дорогом вине. Имеется в виду веселие высшей пробы, которое возникает от качественной еды и обилия денег; fun – это сочная пища, дорогие покупки, важные знакомства. Когда бедняк шутит – это не fun. Но когда обеспеченный человек кушает в ресторане с партнером по бизнесу – это fun. И когда такого fun много, это лучшее

состояние для организма. В тот день fun было много.

Билеты стоили недешево, цена равняется годовой пенсии москвича, но русских миллионеров в Лондонграде столько, что зал желающих не вместил. Пришли лучшие люди эмиграции. Вот Абрамович, владелец футбольного клуба, меценат, миллиардер. О, его состояние не поддается исчислению – но как он прост в обиходе, he likes fun! Видите эти плечи? Это плечи Ларисы Губкиной, супруги богача Губкина, – дама исключительной искренности, она всегда говорит что думает! Видели бы вы, как она обошлась с прислугой, укравшей

брошку! А вот ту обнаженную спину видите? Нет, не эту спину, а ту, которая заканчивается рубиновым колье. Это спина Ирины Рублевой, которая увела банкира Семихатова из семьи. Сам Семихатов не здесь, он на суде, жена пытается отсудить у Семихатова особняк в Майами – впрочем, адвокат у Семихатова отменный, сам Чичерин, слышали, наверное? А Ирина пришла делать fun, посмеяться над московским режимом.

Деловые люди, вовремя убежавшие от властей, – шли смотреть, как шутит со сцены Борис Ройтман. Ройтман пришел на свой бенефис простуженным, вытирал

потный лоб, веселье давалось ему непросто. Но Пиганов обнимал его за плечи, подталкивал на авансцену, Пиганов говорил: «Предстоит последний бой с тиранией! Сейчас нам все объяснит умнейший Борис Ройтман», — и приходилось объяснять. Ройтман остроумными фразами выявил ветхость российского режима. Как это обычно с ним бывало, он увлекся, стал декламировать стихи, и зал отозвался, аплодисменты подхватили оратора — и понесли его вперед. Он говорил уже не для них, говорил для себя, преодолевая боль в горле, насморк, хрипоту, — он говорил так страстно, как говорил в тридцатые

годы в холодном Берлине Эрнст Тельман:

– Вставайте! Сплотитесь! Пора! Опасность!

Зал аплодировал ему стоя, декольтированные дамы зажимали розовые пасти своим мопсам, чтобы собачки не лаяли во время выступления, брокеры сбрасывали сигналы мобильных телефонов. А Борис говорил о правде, о справедливости, о коррупции в Москве, о ежедневном вранье госчиновников.

В зале беглое финансовое жулье смеялось над жульем государственным. Повод для смеха имелся: за последние двадцать лет из

развалин России вывезли капиталы, превосходящие по размерам дань, выплаченную в Орду, и богатства, перемещенные в фашистскую Германию. Сотни миллиардов уходили из глупой России каждый год – и собирали дань не баскаки, не гауляйторы, не красные комиссары – но просвещенные богачи, сидевшие теперь в зале имени королевы Елизаветы. Бывший вице-президент компании «Газпром» (по слухам, находился в розыске, но вид имел цветущий) выражал восторг от остроумных ремарок бурно: хлопал себя по полным коленям, икал от хохота. Как точно! В яблочко! Словно присутствовал поэт при распиле

бюджета, где только он эти детали подсмотрел!

Партер рукоплескал, на сцену кидали цветы и купюры: так его, утконоса! так его, сатрапа! ату лазоревопогонную гидру! Fun!

В первых рядах сидели: миллиардер Курбатский с четвертой женой (Курбатского обвиняли в хищениях в особо крупных размерах); нефтетрейдер Рудченко с подругой (он редко показывался в Москве, где на него завели уголовное дело); ресторатор из Москвы — легендарный Мырясин, открывший икорный бар в Лондоне; красавец Василий Отчекрыжников, бывший рэкети́р, а ныне меценат; Башлеев,

задумчивый вор в законе; наркобарон Мирзоян — пожилой джентльмен с орлиным взглядом; князь Путинковский, потомственный эмигрант и старый сотрудник ГБ (князь спекулировал иконами); накокаиненные дамы из аукциона «Филлипс»; владельцы галерей, где подделывали авангард для лондонских домов олигархов (число произведений авангарда в мире удесятирилось против созданного в прошлом веке); пестрое собрание соломенных вдов русских меценатов — богачи вываливали в Холанд-парк и Хемпстед старые семьи, а сами гуляли на Мальдивах с семьями новыми.

Вот беглый мэр Москвы – видите? Прежде вы никогда бы не оказались рядом с ним, а сегодня можете пожать ему руку. Да, изгнали из отечества, подозревают в мздоимстве, иные говорят, что супруга нажила миллиарды не вполне законно. Он стоически переносит клевету и участвует в веселой тризне по русской демократии, подпевает куплетисту.

Вот и нефтяник Леонид Лесин, объявленный в международный розыск за заказные убийства – хотя всем понятно, что мэр Нижневартовска просто застрелился, выпустив две пули в затылок. Вот менеджер «Росвооружения»

господин Кессонов, и он присоединил свой баритон к разоблачительным куплетам. А вот и владелец обанкроченного банка «Держава», оказавшийся в Лондоне с миллиардом фунтов! Вот эстрадный актер Коконов, он пришел на концерт об руку с журналистом Сиповским, они специально прилетели из снежной Москвы. Здесь им не надо скрывать чувств, друзья целуют друг друга в порыве радости – в Лондоне ханжеское обвинение не грозит. В зал входили знаменитости: Чичваркин, Гуцериев, Березовский, Малкин. За каждым именем – своя история, свой персональный fun.

Публика не понаслышке знала

реалии бывшего «совка» (так называли Советский Союз) – любая из сияющих дам могла рассказать о бедной юности.

– Лариса, никогда не забуду эти чудовищные обои!

– А макароны? Помнишь, Ириша, советские серые макароны?

– А вот это, как это? Ларка, ты должна помнить! Тушенка? Да, тушенка!

– Ириш, если честно, иногда скучаю по всему этому.

Здесь противоречий не было, все ненавидели социализм и презирали анчоусов – Ройтман видел, что слово его нужно людям. Здесь протест против чиновных привилегий был

понятен — эти люди не нуждались в мигалках, их «Бентли» узнавали и без мигалок.

В задних рядах теснилось ополчение: приживалы и правозащитники. Нынче у каждого уважающего себя олигарха имелся свой правозащитник — подобно тому как имелся свой дантист, свой адвокат и свой повар. Правозащитники ценились выше поваров, но несколько ниже футболистов. Вместе с хозяевами и приживалами штатные правозащитники посещали концерты и футбольные матчи, оживляли ресторанный разговор диссидентской лексикой, за десертом

боролись с режимом.

— Вот, Роман Аркадьевич, покушайте — свежайшие... А Сталин был тиран!

— Вот, Прохор Федорович, понюхайте — букет исключительный... Но может вернуться тридцать седьмой год!

И хозяева значительно кивали; они любили, когда им напоминали про сталинские преступления. Хозяева знали: что бы ни сделали они со страной, какого бы размера кусок ни откусили от дряблого тела Родины — это все равно будет благом по отношению к тому злу, которое причинили стране большевики. И всякий мародер гордился тем, что он

лишь обирает труп Родины; убийца не он, он просто пришел поживиться.

Сторонний наблюдатель диву давался: для чего правозащитники богачам — ведь права миллиардеров неколебимы. Но главная роль правозащитника в ином. Прежде всего следовало защитить самосознание хозяев. Следовало ежечасно напоминать: в бедах народных виноваты не мародеры, а те, кто затеял войны и революции, — мародеры же действуют по обстоятельствам: выдирают золотые зубы, снимают с павших сапоги.

Первая заповедь мародера гласит: виноваты тираны — мы лишь убираем поле боя.

Поле боя убрали чисто.

Сегодня прилипалы передавали богачам букеты – чтобы те швыряли лилии и орхидеи на сцену. Ройтман погружал нос в цветы, но пряных ароматов не чувствовал – у него был насморк. Правозащитники из зала задавали вопросы:

– Вы к нам надолго?

– Завтра в Москву, столица ждет, – сказал и подумал: хорошо бы поскорее.

– А что тиран? Затаился и не высовывается?

– Полагаю, ему есть над чем подумать, – сказал Ройтман.

– Нашли спрятанные дворцы?

– Ищут!

– Скоро ли победа?

– Борьба предстоит серьезная.

Помните про Веймарскую республику? – сказал, и тут же зал взорвался репликами:

– Да! Да! Новый Гитлер!

– Нет, Сталин!

– Хочет восстановить империю!

– Помните, что Бжезинский сказал? Если русские настолько глупы, что попробуют восстановить империю, они нарвутся на такие конфликты, что Чечня и Афганистан покажутся пикником!

– К сожалению, хватает горепатриотов!

– Тиран сделал ставку на патриотизм.

- У «империи зла» шансов нет.
- Россия – это лишняя страна.
- А я скучаю по гречневой каше!
- Но без тиранов!

В этом зале у тирана и чиновной камарильи не было шансов на поддержку.

Ройтман тяжело дышал, ему было холодно, он хотел домой.

– Еще стихов!

– Почитайте нам Бродского! – кричала из ложи Лариса Губкина, искренняя женщина, и обиженно надувала губки. – Мы хотим слушать Бродского!

– Можешь Бродского? – спросил Пиганов.

Ройтман откашлялся и начал

ЧИТАТЬ СТИХИ.

Надо показать с порога, что на допрос явился не бесправный анчоус, но свободный гражданин.

Для подозреваемого специально готовят мизансцену: жесткий стул, конвоир за железной дверью, скрипучее перо протоколиста. Как доверчивый ребенок верит в сказочную декорацию, так и подозреваемый мигом проникается неотвратимостью фатума – если он сюда попал, значит, виновен. Бедолагу сажают под лампу, он покорно бубнит ответы: – Ваше имя? – Семен. – Фамилия? – Панчиков. – И пошло, и пошло!

Подозреваемый низведен до положения автомата, он лишен воли. Затем говорят: подтверждаете вину? И автомат покорно кивает, он привык делать то, что велят. Стереотип следует сразу сломать.

Семен помнил своего собеседника, серого человечка в мятом пиджаке. Любопытно, как держится он у себя в кабинете? Вот и табличка: «Щербатов Петр Яковлевич, старший следователь».

— Разрешите?

Панчиков вошел в кабинет быстрой походкой делового человека, который дорожит временем. Допрос? Извольте, только быстро: мое время стоит дорого. У меня сегодня три

деловые встречи и эксклюзивное интервью — вот что говорила его походка. Он бодро подошел к столу, оглянулся: а другого стула здесь нет? А то я на жестком, знаете ли, не люблю. Ах, вот как... Не держите мягкой мебели... На будущее мой совет: купите мебель помягче. Сел, ногу закинул на ногу и, не дожидаясь вопросов, сказал следователю прямо и просто:

— Хочу поберечь ваше время, уважаемый. И свое время поберегу. Итак, убили татарина Мухаммеда. Так вот, я не убивал! Еще вопросы имеются? Замечания? Просьбы? — Так и сказал: «Просьбы имеются?» — чтобы серый человечек почувствовал

дистанцию.

— Конечно, — сказал серый человек, — просьбы имеются. Прошу вас, сядьте прямо, это государственное учреждение, а не кафе. Вы свидетель. Вопрос серьезный. Убийство. Надо уточнить, как вас зовут, год рождения. И отпечатки пальцев, будьте добры. Это уж так положено, — добавил он, словно извинялся.

И к Семену Семеновичу подошла женщина в форме, поставила перед ним коробочку с чернильной губкой. Все было в точности так, как и описывали в журнале «Континент», и никуда деться от этого унижения заурядный

гражданин бы не сумел. И женщина эта, одетая в полицейскую форму, сразу же напомнила о всех прочитанных книгах, об «Архипелаге ГУЛАГ», о «Крутом маршруте». Снулое лицо, гладкие волосы, голубой китель. Неужели ничего не изменилось с тех времен, когда сонных людей выдергивали из постелей и бросали в воронки? Опричники пользуются тем, что мы даже прав своих не знаем. Однако в данном случае машина дала сбой: Семен Панчиков был подготовлен, и руку свою у протоколистки изъясил.

— По существующему законодательству, — отчеканил Панчиков, — у свидетеля брать

отпечатки пальцев не имеете права иначе как с письменного согласия. А я согласия не даю.

И отошла протоколистка, сорвалось ее чернильное дело.

— Торопитесь, — попенял Панчиков серому следователю, а тот покивал в ответ, мол, правда ваша, тороплюсь.

— Стандартные правила, протокол допроса вести надо. — И следователь стал задавать вопросы, а неприятная женщина в форме записывала мелким почерком ответы.

— Предупреждаю, я прочитаю каждое слово, прежде чем подписывать!

— Как же иначе. Место жительства?

— Напишите любое, я в разных городах живу.

— Как понять?

Панчиков хотел сказать, что в цивилизованном мире нет крепостного института — прописки, но не стал углублять прения. Семен Семенович осмотрелся, остановил взгляд на портрете Дзержинского, висевшем над столом следователя. Изображения Железного Феликса не изменились со времен Советской власти — впалые щеки, козлиная бородка. И взгляд неприятный.

— Скажите, — спросил Семен Семенович, — вы работник

госбезопасности?

— Нет, следовательно по уголовным делам.

— Почему здесь портрет Дзержинского?

— Мне нравится Феликс Эдмундович, — пояснил серый человек и продолжил допрос: — Где вы прописаны?

— Основное место жительства — Нью-Йорк, — ответил Семен.

— А Лондон, значит, вроде дачи?

— В том мире, где я живу, свобода передвижения никого не удивляет.

Следователь сделал посметку в блокноте.

— Давно были в Лондоне?

– Неделю назад.

– С кем в Лондоне встречались?

– На вопрос отказываюсь отвечать, поскольку он не имеет отношения к делу.

– Ваше право, – кивнул серый человек. – Позвольте спросить, вы с убитым хорошо были знакомы?

Вот где уроки Айн Рэнд пригодились! Холодно, ровной интонацией:

– Я капиталист. В подчинении имею тысячу человек. Людей встречаю много, лиц не помню. Если встретимся через год, я вас не узнаю. – Жестко ответил, по существу.

– Понятно, – кивнул серый

человек, пригладил редкие волоски на лысой голове. — В Москве с какой целью?

— Отметьте мое заявление, — сказал Панчиков, — я вошел и сделал заявление.

— Обязательно, — сказал следователь, — отметим. Не убивали, говорите. А чем докажете?

— Почему надо доказывать? — Панчиков вопрос задал резко. — Это вы должны доказать, что я убил.

— Хорошо, — серьезно сказал следователь. — Соберу улики.

— Отпечатки пальцев?

— Да... отпечатки. Разные мелочи.

— Мотив ищите! Лично у меня

мотива нет. — Панчиков готовил аргумент и вовремя его вставил: — Нет никакого мотива!

В комнату вошел новый человек, появления которого Семен Семенович ждал: во всякой книге сказано, что помимо доброго — злой следователь имеется. Серый человек представил коллегу: капитан Чухонцев. А Чухонцев подошел к Семену Семеновичу, сел рядом и сказал:

— Мотив тебе не нужен.

— Мы разве на «ты»? — холодно спросил Панчиков.

— Я говорю «ты». А ты со мной на «вы». Мотив тебе зачем? Быстро отвечай.

— Как зачем? Убийство чем-то мотивируют. — Семен Семенович утратил выдержку и заговорил скороговоркой. — У меня не было к Мухаммеду ревности. Наследство получить не мог. Пьяным не был. Расовых предрассудков не имею. Я еврей, если интересуетесь. Кстати: убитый меня не шантажировал.

— Не нужен мотив. Убивают без причины.

— Гражданин следователь! — воззвал Панчиков к следователю доброму. — Зачем так грубо? Доходы легальные, скелетов в шкафу не держу. Примерный семьянин...

— Верно, верно... — покивал серый человек. — Грубости нам ни к

чему.

— Понимаю, дело раскрыть надо. — Панчикову удалось вернуть шутливый тон. — Профессиональную фантазию тренируете?

— Мотивы нужны? — сказал злой Чухонцев. — Я тебе двадцать мотивов назову. Убитый мог быть твоим родственником. Надоело содержать — убил. Из экономии. Фиксируй, — это протоколистке. — Второй вариант: шофер подслушал разговор — ты его убил. Вариант?

— О чем я мог секретничать?

— Ехал с любовницей в баню.

Зарплату пропил.

Семен Семенович хотел сказать, что его месячные доходы пропить

невозможно, но сдержался.

— А может, ты убил, чтоб на другого преступление повесить?

Вариант. Пиши там, — это протоколистке.

— Это дико!

— Дико, говоришь? Кто беднее тебя — дикари, правильно? Фиксируй там: убил из классовой ненависти.

— Это как?

— Увидел бедняка — и задушил.

— За то, что он беден?

— Когда ты бедняка обираешь, ты его все равно что душишь. А тут решил по-настоящему придушить. Вариант?

— Больная фантазия. — Семен Семенович хотел встать, но Чухонцев

надавил ему на плечи, удержал на месте. — Что вы себе позволяете?

— Извините нас. — Серый человек отстранил своего коллегу. Вот как они работают! Это же хрестоматия: один пугает, а второй предлагает сознаться.

Панчиков заговорил рассудительно. Как Бжезинский, как Айн Рэнд — не повышая тона, но надменно:

— Понимаю, что вызываю у вас неприязнь как эмигрант и богач. Однако я такой же россиянин, как и вы. Отдал свой долг этой стране. Мой отец погиб на фронте, защищая Родину. Богачом я стал благодаря ежедневному труду. Что интересует

следствие? Где декларирую доходы? Исправно плачу налоги за границей. Размеры состояния? Достаточные для безбедной жизни. Скажем так, для совершенно безбедной... За кого голосую? Обычно – за демократов. Однако подумываю отдать голос республиканцам. Религиозные убеждения? Атеист. Агностик. Что еще интересует, гражданин следовательно?

Следователь задумчиво вертел в руках шариковую ручку.

– Не стесняйтесь, спрашивайте, – подбодрил его Панчиков. – Возможно, вам интересно знать, подозреваю ли я кого-либо? Разочарую, голубчик, –

здесь Семен Семенович ввернул унижительное слово «голубчик»: — никого не подозреваю.

— Спасибо, — сказал следователь, — теперь распишитесь.

Забрал у протоколистки листочки, пододвинул к Семену Семеновичу.

— Внимательнейшим образом прочту! — Панчиков обрадовался, что все так быстро закончилось. Он выдержал допрос, навязал свой стиль беседы! Все-таки пригодилась подготовка: не дал себя облапошить при снятии отпечатков пальцев; сразу же сбил спесь со следователя, сделав заявление по существу вопроса; перехватил инициативу в разговоре.

Семен Семенович решил добавить несколько слов.

– Не секрет, почему я сегодня здесь. Вы хотели изолировать меня на время митинга оппозиции? Думали, что мое отсутствие критично. Заблуждаетесь: дело не во мне – а в прогрессе как таковом. Мы вышли на площадь один раз, мы выйдем еще!

– Ты о чем? – спросил Чухонцев подозрительно. – Об этих, на Болотной?

Злой следователь повернулся к старому телевизору с антенной, что стоял на канцелярском столе, пощелкал по кнопкам, но изображение не появилось.

— Опять сломали. Как будем футбол смотреть? Сколько раз просил! — и Чухонцев принялся крутить все колесики и нажимать на все кнопки.

— Читайте, — напомнил добрый следователь Панчикову, а сам тем временем достал из черной папки, лежавшей на столе (Семен сразу обратил внимание на эту черную папку) еще один бланк и стал заполнять его своим мелким почерком.

— Позволю себе дать совет, на правах старшего, — сказал Семен, принимая листочки протокола. — Уважайте буржуазию. Не стесняйте предпринимателей. Ограничьте

власть чиновников. Сосредоточьтесь на том, чтобы обеспечить права и законность.

— Спасибо, — сказал серый человек.

— Вот, например, это место, — сказал внимательный Семен Панчиков, глядя в протокол. — Нет, вы меня поражаете! Просто поражаете! Я не говорил, что живу богато. Я сказал «совершенно безбедно». Чувствуете разницу?

— Вы правы, неточно. Но вы имели в виду — богато?

— Я сказал то, что сказал, — отчеканил Семен Семенович, — и будьте любезны, не искажать. Богато живу? Это вы, голубчик, богатых не

видели!

— Возможно... — Следователь продолжал писать на бланке. — Возможно, не видел...

— Нехорошо, гражданин следователь. Я беспардонную ложь подписывать не стану! — отчеканил Панчиков.

— Ну и не надо, — легко согласился следователь. Он как раз закончил свою писанину и выпрямился на стуле. — Раз не хотите, не подписывайте. Она нам больше не понадобится, эта бумажка.

— Как так?! — Семен Семенович изумился.

— Не нужна!

— И что же? Не будет протокола

допроса? — еще более изумился Семен Семенович.

— Нам протокол уже не нужен. Если подпишете — сохраню в деле. Не подпишете — выброшу в корзину.

— Почему? — Панчиков почувствовал, что его превосходство над следователем улетучилось.

— Потому что вступила в силу новая бумажка, видите?

— Что это такое? — спросил Семен, и резкая боль возникла у него внизу живота. Вдруг, сама собой, пришла боль и вонзилась в кишки.

— Это стандартный протокол о задержании, — объяснил следователь. — Формальность! Я его на ваших глазах только что заполнил.

Вы, Панчиков С. С., задержаны.

— Задержан?

— Останетесь в изоляторе на сорок восемь часов; обвинение я вам предъявлю завтра.

— В чем обвинение? — Жалкие какие вопросы, нелепые вопросы.

— Завтра, Панчиков, все завтра узнаете.

— У вас нет подписи прокурора! — Всплыло в сознании про подпись — ведь нужна же подпись прокурора! А то — следственный произвол!

Спасительные знания пришли на ум, журнал «Континент» не зря дает советы. Следовательно не может вот так просто задержать, он блефует,

подлый маленький следователь!

— А больше нам санкция прокурора не требуется, — объяснил Панчикову следователь, — отменили это положение. Раньше нужно было, когда мы в прокуратуру входили... А теперь нет нужды. Вот когда передадим ваше дело в суд, тогда потребуется мнение прокурора. А здесь сам решаю.

Семен Панчиков смотрел вокруг себя и ничего не понимал. Вот так запросто, между прочим — взяли и выписали постановление о задержании человека. Но я же, я же... и слов-то нужных во рту не соберешь. Гражданин другой страны, муж, отец, демократ, миллионер...

впрочем, какая разница... просто живой человек... невиновный. Ничего же не сделал... Куда? За что? И сломана жизнь, и сломали жизнь походя, так небрежно накатали бумажку — словно направление о сдаче анализа мочи выписали.

— А где, — спросил Панчиков, — куда мне...

— Опера все покажут. То есть оперативные работники... Вот, лейтенант Чухонцев. Вопросы — к нему. В изолятор временного содержания поместят. Одежду сдать придется. Другую дадут. Распишитесь в получении.

— Зачем вам — мою одежду?.. — сказал и сам не понял, что сказал.

Ему и не ответил никто.

— Пальчики возьмем. — Сбоку придвинулась та, отвратительная, с чернильной подушечкой, а в дверях уже стоял полицейский и держал он в руках — да, он держал наручники!

— Ваш адвокат, как понимаю, Чичерин? — спросил следователь. — Или нам искать своего адвоката?

— Чичерин.

— Мы с ним свяжемся. — Следователь поднялся из-за стола, кивнул коротко Семену и вышел из комнаты.

Протоколистка взяла похолодевшую ладонь Семена Семеновича и стала его пальцами тыкать в чернильную подушечку, а

ПОТОМ ОТТИСКИВАТЬ ОТПЕЧАТКИ
ПАЛЬЦЕВ НА БУМАГЕ.

Полицейский надел Панчикову
на запястья наручники, защелкнул.
Лязгнул металл, сжало руки,
защемило кожу. Полицейский взял
Семена Семеновича под локоть,
поднял со стула.

И точно занавес опустился в
театре — беда занавесила жизнь.
Теплая добрая жизнь осталась за
порогом комнаты, но ведь он еще
недалеко ушел, только руку протяни
— можно ошибку исправить... можно
сказать этим людям, этой
протоколистке, этому Чухонцеву...
Сказать так: послушайте, Чухонцев,
вы же человек... У вас, наверное,

дети есть, может быть, дочка... Вы же не хотите мне причинять боль... Вы же не хотите быть злым. Вы же не фашист, Чухонцев! И полицейскому этому можно сказать: послушайте, вы же видите, что я не виноват! Вы не можете этого не видеть!

— Я не виноват, — сказал им Семен Семенович.

— Вы бы лучше во всем признались, — сказала протоколистка, — нам мороки меньше.

Полицейский вывел Семёна Панчикова на улицу, подвел к машине. Капитан Чухонцев, который тяжело топал за ними по коридору,

обогнал их на улице, сел на переднее сиденье, рядом с водителем. Полицейский уперся ладонью в затылок Панчикова, наклоняя его голову вниз, так, чтобы просунуть Панчикова в заднюю дверцу; словно Панчиков не понимал слов и нельзя было ему сказать, чтобы он сам открыл дверцу и сел. Это выглядело так, будто Семен Семенович отныне перестал быть человеком, а сделался грузом, который перевозят с места на место.

– Как вас зовут? – спросил из-под руки полицейского Панчиков.

– Гав, – сказал полицейский.

– Простите?

– Гав!

Улица накренилась, небо почернело, люди оскалились по-собачьи, мир рухнул.

— Гав моя фамилия, — сказал полицейский. — Если жаловаться хотите — пожалуйста! Гав моя фамилия! — И полицейский залаял: — Гав! Гав! Гав!

Глава пятая

Пальцы одной руки

Капитан, прибывший в часть с Севера, рассказал, что Архангельск бомбили. Долетели даже туда. И до Мурманска долетели. Лететь в Мурманск немцам оказалось просто: от Финляндии рукой подать. В Суоми, озерной красавице, немецкие аэродромы находятся, оттуда и летят «Хенкели»: час лету – и вот он, Мурманск. И Архангельск бомбят оттуда. А казалось: так далеко, так надежно.

– Финны! – и выругался Додонов, товарищ Дешкова по кавалерийскому полку.

– Бил их маршал Мерецков, а не

добил, — сказал Успенский, другой офицер.

— Сильнее надо было бить. Так, чтоб не встали.

— Пожалел их товарищ Сталин. У меня дядька там воевал.

— Что ж твой дядька...

Армию «Норвегия» германское командование переименовало в «Лапландию», и генерал-полковник Дитль, длинноносый и лопоухий, формировал немецкие соединения в Северной Финляндии. Немцы давно договорились с финнами, так приехавший капитан всем рассказал. Звали капитана Семен Панчиков, он никогда в кавалерии не служил, лошадей вблизи не видел — и

лошадей он боялся. И учиться ему поздно, за тридцать уже капитану, а вот зачем-то прислали его с Севера. Панчиков у всех допытывался: а правда, что в кавалерии теперь на лошади ездить не обязательно? Ведь все машины решают? Разве не так? И грустил, когда его заставляли идти на конюшню.

Зато капитан все про финнов знал. Заправляет всем в Финляндии барон Маннергейм — барона и упрашивать не надо, чтобы он вредил России, он сам русских ненавидит. Он в царской России служил, царский еще генерал.

— Бывший русский, сводит счета с родиной.

– Врешь, Россия ему не родина.

– А где же ему родина?

Финский главнокомандующий повел финские бригады на давнего русского врага; этим и литовцы, и латыши, и украинцы отличались – немедленно вливались в ряды вермахта. Об этом сообщил капитан Успенский, послушав Панчикова.

– Не зря товарищ Сталин обозначил национальный вопрос как основной. Коллективная мораль должна заменить голос крови, а морали, похоже, в тех местах не осталось, – сказал Успенский. Он говорил гладко и правильно, отличался на собраниях.

Немцы, конечно, помогали

финнам – но на Свирском фронте и без немцев хватало энтузиастов. Там, на Свирском фронте шли бои за мурманскую железную дорогу. Первая горно-стрелковая финская бригада взяла Петрозаводск, проявила исключительную жестокость: раненых добивали штыками. То была настолько убедительная победа, что генерал Йодль посетил Финляндию – вручил от имени Гитлера фельдмаршалу Маннергейму железные кресты сразу всех степеней, отметил доблесть, – а верному финскому народу отписал пятнадцать тысяч тонн пшеницы, чтобы финский народ воевал не голодая. И аэродромы в северной

красавице Суоми построили – чтобы удобнее было утюжить Советский Союз. Оттуда вылетают эскадрильи, оттуда бомбят Мурманск с Архангельском.

– И крепко бомбят? – Успенский спросил у капитана Панчикова.

Панчикова еще спросили:

– У вас там снега по уши. Снег небось не горит.

– И снег горит, – сказал капитан Панчиков.

Впрочем, это все знали. Зима стояла снежная, но повсюду в Подмосковье, где шли бои, даже сугробы дымились. Когда двигались по Волоколамскому шоссе, заметенному пургой, машины по

бампер увязали в снежном крошеве, а снизу, сквозь снег, пробивался горячий дым — под снегом горела брошенная техника. Говорили: пусть земля горит под ногами оккупантов. Но земля горела под ногами у всех. И люди, и кони чувствовали сквозь наст, сквозь снежную корку, что дорога горит.

А когда бомбят, так ведь еще хуже. Значит, бомбили Архангельск.

— И много домов разбомбили? — любопытный Успенский спросил. Бывает такое подлое любопытство, даже на войне: хочется знать, насколько другому плохо.

— Всю Холмогорскую улицу в щебень разнесли, — сказал капитан.

— А большая улица? —
Въедливый человек этот
Успенский. — Может, там всего три
дома!

— Большая улица была. Только ее
больше нет.

На Холмогорской должна жить
мать; Дешков не писал ей, и мать
ничего не писала — боялись, найдут
по письмам; однако адрес он знал
хорошо. Холмогорская улица, дом
три, квартира пятнадцать. Третий
подъезд, третий этаж, там подруга
матери жила. Договорились так, что
однажды Дешков за матерью приедет.
Разбомбили значит.

— И дом номер три
разбомбили? — спросил Дешков.

— Говорю тебе, в пыль разбомбили улицу. Густо бомбят, как картошку солят.

И капитан изобразил руками, как низко зависли «Хенкели» над городом и как бомбили — в очередность: только один «Хенкель» отбомбился, как второй начинает. Капитан потер палец о палец, словно солью посыпал стол — показал: так вот «Хенкели» и бомбили.

— Проутюжили район, — произнес капитан неприятное слово, так произнес, словно одобрительно относился к этому солидному делу — проутюжить район, убить жителей.

— А что ж вы... — начал было Дешков, да что тут скажешь.

— Мы что? — сказал капитан. — Мы, как обычно, зевали... В картишки резались... — Капитан злобно поглядел на Сергея Дешкова. — Что — мы? Что мы можем? Летят «Хенкели» низко, да из рогатки их не зацепишь. Истребители нужны. А к ним пилоты требуются. У «Хенкелей» прикрытие мощное: «мессер» слева — «мессер» справа, поди подберись. Советчики нашлись...

— Ты не серчай, — сказал лейтенант Додонов. — Мы знаем, ты храбро сражался.

— Йорг Виттрок у них есть, у фрицев. Зверь-пилот. В день, рассказывают, по три вылета делает.

– И у нас пилоты есть хорошие.

– Значит, до нас не долетели хорошие пилоты. А Виттрок на бреющем идет над городом. Пугает людей. Когда Виттрок летит, людям страшно.

– Всех на Холмогорской убили?

– Огонь три дня потушить не могли, боялись, на город перекинется. Клопы и те сгорели.

– Значит, всех?

– Говорю же...

Ничего, еще можно жить: это была вторая мысль. Первая мысль была: не похоронил родителей. Отца не похоронил; его, наверное, уже нет. И не узнаешь, кто его убил и как убил. И глаза ему не закрыл, и у

могилы не постоял, и не знаю, где могила. Люди ездят на могилы к родным, деревья сажают, вспоминают своих. А я не знаю, куда ехать. И мать не похоронил – сгорела мать. Это была первая мысль. Но Дешков, к удивлению своему, не испытал боли, только легкое беспокойство, что-то вроде головокружения.

Вторая мысль успокоила его: а моя Дарья цела. Это была твердая мысль – и уже он от этой мысли не отходил, повторял надежные слова про себя. Жива моя Дарья.

Он вышел на улицу, ходил по холоду, тер лицо снегом. Дарья жива, повторял про себя.

Правда, вот уже пять месяцев прошло, не писала — но письмо могло не дойти: война. Война — как огонь: не надо совать руку в пламя, вот и все. К войне надо привыкнуть, понимать, где горит. Войну можно переждать. С Архангельском ошиблись — но Дарья не в Архангельске. Цела моя Дарья. И рожать ей скоро.

Когда на перроне прощались, жена сказала, она на четвертом месяце — а с тех пор пять месяцев прошло, получается, уже родила, так, что ли?

И Сергей Дешков глубоко дышал, чтобы успокоиться. Ничего, выдержим, — так думал Дешков. Мы

временно отступили, говорил он себе, но мы не проиграли. Армия сначала отходит, а потом армия возвращается. Семьи прежней уже нет, у меня убили прежнюю семью. Но вот теперь Дарья родила — и новая семья у меня.

И Дешков тер щеки и лоб снегом. Потом шел в конюшню, прижимался к носу кобылы: ему казалось, что его кобыла пахнет так, как пахла его мама — нагретым войлоком и сеном; это оттого так казалось, что конюшню утепляли в зиму войлоком, совсем таким же, из какого были сделаны его детские валенки. Дешков помнил себя в темных сенях избы: мать надевает

ему валенки, за дверями стужа и сугробы, в сенях пахнет сеном, которое заготовили с лета. Дешков нюхал кобылу и шептал ей в мокрые ноздри: «Ласочка», – так он называл маму, когда был маленький. Теперь слово «Ласочка» было ласковым прозвищем кобылы, а полное имя у кобылы было Ласка. Странное для фронта имя, однако кобыла была хорошая и непугливая. Дешков подолгу стоял подле нее, смотрел, как кобыла пьет, гладил ей морду. Успенский шел следом за Дешковым на конюшню, клал ему руку на плечо, утешал, говорил пустые слова. Успенский в те дни был внимателен, городские умеют быть

внимательными.

— Связь с матерью, — говорил Успенский, — самая святая связь на свете, — и Успенский угощал его свежим хлебом. — Ты поешь. Еда в горе помогает.

— Откуда ты хлеба столько берешь? — спрашивал Дешков. — Мы же вместе свою порцию съели.

— Так я у Панчикова взял, у него осталось. Мне что интересно: вот мы с тобой на войне, а свежий хлеб едим. Хорошо в деревне.

— Скажи, — спросил его Дешков, — ты в деревне раньше жил?

— Нет, я городской. Первый раз в деревне.

— А где же ты на лошади

научился?

— На ипподром ходил. А ты где учился?

— У нас в семье все конники, — сказал и подумал, что семьи уже не осталось. Ничего, вот Дашка родит, научу сына верхом — будем рядом рысью скакать. — Дешков не сомневался, что у него сын.

— Ты в деревне рос?

— Мать из деревни. Изба точно такая же была, как и здесь. Так же вот я спал у печки, как и здесь сплю. Помню, как мать печку топит. Отец часто уезжал, он военный был. И мы с матерью вдвоем в деревню перебирались, к родне материной. Молоко топленое помню. Ты

топленое молоко любишь?

— Нет, — сказал Успенский. — Не пил.

— А хлеба в деревне отродясь не было, Успенский. Это мы сюда хлеб привезли.

Офицеры квартировали в избе Полосиных, хозяйка перегородила комнату веревкой с бельем, натянула веревку от печки до окна. Офицеры занимали ту половину, где печка; их поместилось четверо: Дешков, Додонов, Успенский и новый капитан Панчиков. На половине хозяйки, из которой выход прямо в сени, сложили мешки с мукой, кавалерист Додонов и хозяйка каждый день пекли хлеб из ячменной

муки, привезенной в полковое хозяйство из Москвы.

Додонов был немногословным крестьянским человеком, с деревенскими умениями, он и на коне сидел как деревенский пацан, не по-военному, однако цепко. У Додонова было круглое лицо, он каждое утро аккуратно брил полные щеки, разводя в ледяной воде крошки мыльного порошка. Другие офицеры брились нерегулярно, а Успенский отпустил усы, подражая Буденному, — но Додонов садился каждое утро у окна, ставил на подоконник маленькое зеркальце, скоблил щеки до ровного розового состояния. А потом они с хозяйкой возились у

печки, лепили тесто.

Было тесно и дымно, открыть окно из-за морозов не могли. Зато пахло хлебом. Хлеба выпекали много: нормой на солдата считалось по 800 граммов хлеба в день, и деревенским доставалось столько же. А еще солдатская полевая кухня варила раз в день горячее — и в избу приносили гуляш или щи.

В деревне Мерклово кавалеристы сложили три напольные печи в пустом овине — и те, кто был из крестьян и помнил, как надо печь, пекли хлеб. Вечерами над деревнями, где стоял полк (занимали три деревни подряд), поднимались в черное небо дымки и пахло хлебом.

— Хорошо бы так вся война прошла, — сказал Додонов. — Вот только холодно.

— Это хорошо, что холодно, — сказал Успенский. — Немцы холода боятся. А русским не привыкать.

— Это верно, — соглашался Додонов, — это я не подумал. Пусть будет холодно, согласен. Если бы мороз еще месяцев пять постоял, может, война бы и кончилась.

— Как же война пройдет? Сама собой, что ли, пройдет?

— Не знаю. Если долго будет холодно, может, она сама кончится.

Как странно, думал Дешков, что война — женского рода, про войну говорят «она». Как будто она — мать

или жена. У немцев война — мужского рода. Der Krieg. А у нас война — своя, понятная баба она — война. Верно, хорошо, что холодно. Если бы еще полгода постояли морозы, Гитлер бы не выдержал. Снялись бы немцы — и отползли бы к себе: греться.

В сильные морозы снег, как правило, не идет; но иногда ветер нагонял плотные снежные тучи, и тогда шел обильный снег, с неба валились целые сугробы — а потом снежные горы смерзались, новый пласт снега намерзал поверх старого. Сугроб под окном рос, дошел до низкого подоконника, потом ледяная корка закрыла половину окна. Мороз

превратил снег в крепкий плотный наст — сухого, рассыпчатого снега было мало — толстая ледяная короста. Северный капитан Панчиков долбил наст в мелкую крошку и кипятил в котелке — варили чай из льда.

Делалось все холодней, и, казалось, вместе с невыносимым морозом наступил мир — потому что воевать в такой холод было нельзя. Словно убийство отступило перед снегом и холодом.

Мир — это когда бездействие и холод, думал Дешков, засыпая. Кто там сказал про российскую политическую жизнь «хорошо бы подморозить»? Рецепт верный:

Россию всегда надо на холоде держать, иначе портится быстро. И здоровей жизнь на холоде.

В холод хорошо спалось, Дешков спал без сновидений, мать не снилась ему. Просыпался рано, задолго до рассвета, и сразу вспоминал, что мать погибла. В смерти нет ничего особенного, говорил он себе. Если бы кавалеристы не стояли в деревне Мерклово и не привезли с собой мясо и муку, деревенские бы померзли и еды бы нигде не взяли. Сколько голодных смертей случалось по России и без всякой войны, это дело обычное. Война делает смерти гуще, собирает беды воедино, только

и всего. Просто война приближает неизбежное; возможно, приближение неизбежного — это и неплохо. Например, революцию мы хвалим за то, что она приближает неизбежное, — то, что случилось, произошло бы все равно, просто революция торопит историю. Люди перестают терпеть немного раньше, чем история может измениться сама собой. Значит, война и революция похожи, так это или нет?

Отец его любил задавать такие каверзные вопросы своим студентам: в чем разница между войной и революцией? В Академии имени Фрунзе молодые офицеры ломали себе голову над ответом — и

недоумевали, зачем им это знать. Интересно, знал ли отец сам ответ, или ответа не существует. Например, мать, когда начинались такие беседы, уходила в другую комнату; махала рукой, смеялась – и уходила.

В темноте он представлял себе материнскую, из своего детства, избу; вспоминал утренние звуки прежней деревенской жизни. Дешков, проснувшись, лежал неподвижно, слушал дыханье своих товарищей, вдыхал хлебный запах.

Около пяти утра в черной деревенской ночи кричал петух. В деревне давно не было кур – всех съели, лишь в одном доме оставались три курицы и старый жилистый

петух; петух кричал под утро четыре раза, несмотря на ледяной мороз. Дешков слушал, как утренний крик поднимается по горлу петуха, доходит с клекотом до гортани и вырывается хриплым «кукареку».

И тогда издалека, из другой замерзшей деревни — звучал ответ: доносился хриплый клекот далекого жилистого петуха.

В шесть вставали товарищи, и Панчиков — северный человек — с гиканьем выбегал на мороз, приносил котелок льда. Они кипятили лед, пили жидкий чай.

Додонов всегда обсасывал рафинад, брал в рот кусочек сахара, сосал, а потом клал рядом со

стаканом чая — ему одного кусочка хватало надолго. Так деревенские всегда чай пьют, называется — вприкуску. Дешков вспомнил материну родню: они всегда так пили — может, экономили сахар, а может быть, им так вкуснее.

Додонов раздавал хлеб — аккуратно нарезанные куски; он умел так нарезать хлеб, чтобы все куски были абсолютно ровными. Себе Додонов всегда отрезал с корки, круглую горбушку. Всем показывал: никто не претендует? Но все больше любили мякиш, а Додонов любил твердую корку.

Успенский подозревал тут расчет: у деревенских ведь полно

своих крестьянских секретов.

— А что, в твоей корке витаминов больше?

— Кого больше? — удивлялся Додонов.

Потом пришел приказ: готовность номер один — скоро должна была начаться очередная битва за Ржев. Ржев пытались взять уже два раза — и без толку. Покамест они остаются на прежнем месте, ждут сигнала — а чуть сигнал поступит, они снимутся с места, выдвинутся под Ржев. Не сказали еще, где будут атаковать, но что будут атаковать, ясно. Ждали подкреплений и сигнала — а что будет конная атака, не сомневались.

— Кавалерию пустят первой, — говорил Додонов, — я точно говорю: кавалерию вперед пустят!

— Не могут пустить кавалерию, — говорил Панчиков. — Артиллерия свое слово скажет.

— А вот увидишь, — и Додонов ругался. — В такой мороз — и поскачем! Фашисты в Ржеве уже, поди, и без боя околели.

— Нет, — сказал Успенский, — по такому морозу мы никуда не поскачем. Пешком пойдем.

Никто из них вслух не произносил того, о чем все думали: кавалерия против минометов — не годится. Рассказывали, правда, про соседа, геройского Льва Доватора:

где-то севернее воевал лихой генерал Доватор, конник и храбрец, – и вот будто бы конники Доватора совершали глубокие рейды в тыл к немцам, с шашками наголо, опрокидывали немецкие танки. Но это скорее из области легенд – какие сейчас атаки кавалерии? Полк возил с собой три легкие пушки, пулеметы на тачанках, кавалеристы вооружены были гранатами – и лошадей они использовали для того, чтобы пройти там, где тяжелая техника не проедет.

Те два боя, в которых участвовал Дешков, прошли в пешем строю – коноводы увели коней, а полк закрыл путь немецкой моторизованной части. И сейчас, так думали многие в

полку, снова будет что-то подобное. Не саблями же размахивать — встречаясь с танком.

— Обойдусь я без лошади, как думаете? — спросил Панчиков, подсаживаясь к Дешкову. — Наверняка навыки верховой езды мне не понадобятся. И саблей я так и не научился махать.

— Все-таки вы лучше научитесь, — сказал ему Дешков. — Пригодится. — Странно, но с Семеном Панчиковым на «ты» они так и не перешли, этот факт Панчиков тут же и отметил.

— Любопытно, что мы с вами сохранили городское интеллигентное обращение друг к другу, — сказал

Панчиков. — «Вы» в наше время дорогого стоит — на фоне всеобщей фамильярности. И заметьте, это именно на войне, перед боем. Я лично очень ценю наши интеллигентные отношения. Знаете, чего мне больше всего недостает на войне? Роскоши общения. — Капитан так и сказал: «роскоши общения». — Мне не хватает долгих бесед о главном, этих классических русских выяснений причин и следствий. Вы, я чувствую, из той же породы говорунов. Любите, как и я, посидеть до полночи со стаканом чая, вспомнить философию? Верно?

— Вы ошибаетесь, — сказал Дешков и лег на койку. Он вообще

старался лежать, если только была возможность лечь. Лежал, смотрел на снег за окном – а чаще просто на черное окно: темно, зима, дни короткие.

В дни, пока длилось ожидание, Дешкова вызвал комиссар, майор НКВД Николай Коконов, сказал:

– Садись, разговор есть.

Он сел к столу, думал, про отца спросят. Коконов спросил:

– Жену Дарьей зовут? Сведения поступили о поезде – там твоя жена имеется, Дарья Дешкова. В Ташкент ехала, так понимаю?

– Разве поезда на Ташкент ходят? – осторожно ответил Дешков.

– На юг, к солнышку, – сказал

Коконев и улынулся понимающе.

— Дорога на Ташкент давно перекрыта, — сказал Дешков.

Майор Мырясин, временно деливший с Коконевым кабинет, собрал со стола бумаги и вышел.

— Не стану мешать беседе, товарищ Коконев, не хотелось бы отвлекать.

— Спасибо вам за заботу, товарищ Мырясин! — Они ненавидели друг друга, эти энкавэдэшники.

В дверях Мырясин остановился, сказал:

— Дорога на Ташкент действительно перекрыта, товарищ Коконев. Немцы везде очень

активизировались. — И вышел Мырясин. Выходя, задержал взгляд на Дешкове, покачал головой. Это могло значить что угодно, но скорее всего — сочувствие.

— Про Ташкент я фигурально выразился. Дорогу немцы блокировали, верно. Вот и майор Мырясин тебя поддержал. Майор Мырясин у нас человек информированный, — неприязненно отозвался Коконов, — в детали вникать любит. Но ты понимаешь, что я имел в виду. Уехала твоя жена из Москвы — подальше от линии фронта, так сказать.

— В эвакуацию многие уехали, — сказал Дешков, подбирая слова.

— Верно, правительство отправляет людей в тыл. Московский горком партии проводит соответственную работу. Артистов спасаем, ученых спасаем. В отделах кадров, например, списки служащих составляли, рекомендовали граждан к эвакуации. Твою жену кто именно рекомендовал? — Коконов выдержал паузу и повторил: — Не подскажешь, кто рекомендовал к эвакуации?

— Моя жена, — сказал Дешков, — была нездорова. На работу в последние дни не выходила.

— Врачебное заключение имеется?

Коконов склонил длинный торс над столом, приблизил лицо к

Дешкову. Коконов был очень крупным мужчиной, с длинным рыхлым торсом, перетянутым ремнями. Торс комиссара напоминал ковер, скатанный в рулон — такие скатки ковров выставляли до войны в витринах больших магазинов. Лицо у комиссара было отечное, в рытвинах от оспин, в складках лица мерцали глаза. Коконов носил очки с маленькими стеклышками.

— Есть врачебное заключение, — сказал Дешков.

— Познакомиться с документом можно? — спросил Коконов.

— На фронт не захватил. Виноват.

— Напрасно грубишь. Я только спросил.

Беседа наша

неофициальная. Беременна жена была, есть сведения.

— Что случилось? — спросил Дешков.

— Это я должен спросить, что случилось. Как случилось, что человек едет из Москвы без рекомендации отдела кадров, без надлежащих документов. Война идет, Дешков.

— Беременная женщина, — сказал Дешков.

— Гражданин Советского Союза — прежде всего. И гражданин города, на пороге которого стоит враг. — Коконов снял очки, протер их платком, снова надел. — Поступил сигнал. Догадываешься, откуда

сигнал поступил?

— Не догадываюсь, — но сам подумал о Щербатове. Это Щербатов донос написал, кому ж еще.

— Документ соответствующий имеется. Теперь сообщаю новости. Ставлю в известность, хоть и с опозданием на неделю. Подорвали поезд, на котором ехала твоя жена. Паровоз сошел с рельсов.

— Неделю назад Дарья не ехала поездом, — сказал Дешков и улыбнулся майору Коконову. — Это ошибка, товарищ майор.

— Раз говорю, что твоя жена была в поезде, стало быть, имею основания так говорить.

— Ошибка, товарищ майор. Я ее

сам на поезд сажал, – сказал Дешков легко, ему радостно было про это говорить. – Сам чемодан поднес к вагону. Но давно дело было. Полгода прошло, товарищ майор.

– Что ты все заладил: товарищ майор, товарищ майор. Беседа неформальная, дружеская. Годами я постарше – ну, называй меня, что ли, Николай Евгеньевич.

– Слушаюсь, товарищ майор, – сказал Дешков сухо.

– Видишь, как с тобой... Не складывается разговор. Общий язык стараюсь найти, а не получается. – Кокотов поморщился, ему неприятна была реакция Дешкова. – Речь о другом поезде, Дешков. Поездов у

нас по стране много ходит... Больше, думаю, у нас вагонов в стране, чем лошадей... — Майор Коконов вздохнул. — И каждый поезд, Дешков, свой номер имеет, пункт прибытия, расписание. И за каждым составом следить надо: дошел до места — или как? Это ведь работа, Дешков. — Коконов похлопал ладонями по папкам, лежащим на столе. — Что ты жену проводил, нам известно. С того поезда твою жену сняли, — терпеливо объяснил Коконов. — А вот недавно твою жену Дарью Алексеевну Дешкову этапировали.

— Как понять — этапировали? — Сергей Дешков тихо спросил.

— Этапировали — это на нашем

бюрократическом языке обозначает: переместили из одного места в другое, — снова объяснил Коконев. — Содержалась Дарья Алексеевна, — Коконев даже не глянул в бумаги, он знал наизусть, — в сто десятом спецобъекте.

— В сто десятом? — спросил Дешков.

— Что ты переспрашиваешь как попугай. Непонятно говорю? Это номер такой, сто десятый. В отличие от сто одиннадцатого номера. — Коконев имел привычку объяснять солдатам, сколь те несообразительны. — Сухановский специальный изолятор для политических; тюрьма. Расположена

под Москвой, — уточнил Коконов. — Твоя жена, возможно, к политике отношения не имеет. Но твой отец, Григорий Дешков, бывший кадровый военачальник, очень с политикой связан. Связан твой отец с политикой?

— Не могу знать, товарищ майор. — Если случилась беда, то спокойно надо говорить, надо выждать. Мало ли что от этого майора зависит. И Дешков вежливо повторил: — Не могу знать.

— А мы обязаны знать, Дешков. Представь ситуацию: ты служишь у нас в части; твое, скажем так, прошлое — мне по должности известно. Поступает информация:

жену отправил в тыл без сопроводительных документов. Сам не доложил, не рассказал. Пришел бы, чаю бы вместе попили. Сказал бы так: мол, Николай Евгеньевич, ситуация нестандартная: отец – враг народа, жена – беременна... Искали бы выход сообща. Мы ведь люди, Дешков! Люди! Ты же не пришел ко мне, верно?

– Виноват, товарищ майор. – Дешков говорил очень тихо, так в их семье всегда говорили в момент опасности. Отец приучил всех, что голос поднимать не имеет смысла – и даже мать усвоила: когда бранилась с соседками, говорила шепотом, и соседкам от ее тихого голоса

делалось не по себе.

— Ты говори громче, слышу плоховато в последнее время. Не пришел... а зря! Мы, Дешков, нуждаемся в поддержке офицерского состава — легко ли работать среди казаков? — Майор посмотрел пристально на Дешкова. — Сегодня казакам все привилегии, а народ они неуправляемый. Но это разговор особый. Стало быть, согласно решению, всех подследственных из сто десятого специзолятора перевели в специзолятор в город Куйбышев.

— В Куйбышев? — Дешков шепотом переспросил; он запоминал, куда ехать.

— Вот, ты, Дешков, почему

задаешь вопрос? Потому что знаешь: мы обязаны знать ответ. У всех людей имеются обязательства... Ты на это рассчитываешь... Только своих обязанностей помнить не хочешь. Касательно эвакуации заключенных имеется распоряжение товарища Никольского, начальника тюремного управления НКВД. И директива комиссара третьего ранга товарища Меркулова имеется, еще июньская директива, между прочим. И если бы ты интересовался жизнью страны, ты бы про эти документы обязательно знал. «О задачах органов госбезопасности прифронтовых областей». А Москва, будет тебе известно, город прифронтовой, с

октября месяца на осадном положении. Что из этого следует?

– Что? – спросил Дешков.

– Следует то, что директива 136/6171 вступила в силу. Да, Дешков, вот такой номер у директивы... Цифры, цифры... Скучно, да? Шестого ноября этапировали из Москвы спецобъект за номером 110. Везли в Куйбышев спецэтапом, проходящим у нас под соответствующим номером... 16/44. Именно так. Однако до Куйбышева состав не дошел. Поезд подорвали немецкие фашисты.

– Погибла? – как спросил, непонятно. Губы мертвые стали.

– Данных не имеем. – Коконев

наморщил лоб и уточнил: — Погибших, судя по всему, немного. Основная масса людей из спецвагонов подалась к немцам.

— Подалась к немцам?

— Взяли их в плен.

— Кого взяли в плен, — спросил Дешков, — заключенных? Товариш майор, кого взяли в плен? В какой лагерь погнали?

— Мне, Дешков, маршал фон Бок не докладывал. Хотел бы я у фон Бока многое спросить, но пока не спросил. Вот когда победим, мы ему много вопросов зададим. Так что людей из спецэшелона, скорее всего, забрали в самый ближний лагерь. А лагерей здесь много.

– Какой – ближний?

– Я ведь, Дешков, в разведке не работаю. Свои обязанности выполняю – а этот вопрос не ко мне. Зависит от того, где гитлеровцам рабочая сила нужна. Где они строятся. Может, в Ржев погнали. А может, и в Слуцкий лагерь погнали. Хотя Слуцк существенно дальше. Слуцкий лагерь у немцев – это типа сортировочной базы. Оттуда людей дальше отправят.

– Товарищ майор, куда – дальше?

– Это уже, Дешков, не в нашей компетенции. – Коконов развел руками. – Но не думаю, что погнали в Слуцк. Мое такое мнение, что по морозу люди до Слуцка не дойдут.

Умрут люди по дороге. А транспорт пленным не дают, пешие этапы. Скорее всего, какой-то ближний штатлаг. Сычевка, например.

— Пешком идут? — спросил Дешков.

— Сведений о том, что немецкие фашисты предоставляют советским пленным транспорт, не поступало. — Коконев пошутил, но получилось не смешно. — Всей информацией, какой располагаю, мы с тобой поделились. Решено было тебя поставить в известность. Официальный запрос можешь в Москву отправить, право такое у тебя есть. Клименюк считает, — Коконев говорил о командире полка, — что твоему

письму дадут ход. Жена твоя, сын твой — тебе должны ответить.

— Сын?

— По нашим данным, Дарья с ребенком.

— Сын? Родился сын? — Дешков встал.

— Ты, Дешков, правильно делаешь, что переживаешь. Пойди на воздух, походи по морозу. Неожиданность для тебя, понимаю. Ты подыши, успокойся, а потом садись запрос писать. Я тебе подскажу, как писать. — Коконов говорил, а Дешков стоял и слушал. — Я, дескать, такой-то, Сергей Григорьевич Дешков, чин армейский не забудь, часть не забудь указать,

прошу сообщить... Или, например, так: прошу разрешить выслать передачу – вот тут они тебе обязаны адрес сказать. Пусть поищут адрес. По форме все напишешь, придешь ко мне, я завизирую – и пойдет твое письмо в Москву, в Главное управление. Согласен с тобой: потеря большая. Ощутимая потеря. Но ты же врагам и отомстишь.

– Сына с ней оставили? – спросил Дешков тихо.

– Кто же про фашистов знает, Дешков. И для чего ты спрашиваешь? Себя мучаешь. Брат у меня погиб в Мценске. А я не плакал. Ступай пройдишь. Я хожу – мне помогает.

Комиссар

Коконов

действительно много ходил. Над ним даже смеялись: ведет себя странненько — ходит без надобности туда-сюда, вдруг встанет посреди дороги, достанет из кармана блокнот, запись сделает карандашом. Думали: характеристики на сослуживцев пишет — а оказалось, стихи сочиняет комиссар. Кто-то подсмотрел, в блокноте все в рифму.

— Мы с Клименюком сделали все что могли. От себя добавлю, что сочувствую тебе. — Комиссар тоже встал, протянул широкую ладонь.

— А раньше, товарищ майор, вы мне ничего не говорили. Почти полгода. Почему? — Не получилось пожать руку комиссару.

– Ты бы спасибо сказал, Дешков, что хода истории не дали.

– Не сказали раньше – почему? – прошептал Дешков.

– Спасибо от тебя не дождемся. Что ж, – Коконов медленно опустил руку, – свободен, Дешков. Ступай.

Дешков вышел из комендатуры, встал на четвереньки в снег, так и стоял. Тер лицо снегом, но на этот раз не помогло. Он ел снег, откусывал от наста большие куски и жевал. Комиссар Коконов вышел на крыльцо вслед за ним, посмотрел на Дешкова, как тот кусает наст, ушел к себе в кабинет.

Дешков стоял на четвереньках долго, пока не замерз, а затем

поднялся на ноги, пошел в избу. Панчиков спал на печи, свесив вниз руку. Додонов с Успенским пили чай. Сергей Дешков сел на койку, поговорил с Успенским — тот сидел на табурете и ел хлеб. Успенский всегда умел найти еду, а найдя, сосредоточенно ел, ни на что не отвлекаясь.

— Что такое? — спросил Успенский, не глядя на Дешкова. — Я хлеб достал. Вот ем.

— Ты какие лагеря под Ржевом знаешь?

— Под Ржевом? Лагеря? — не отвлекаясь от хлеба и вопроса не понял.

— Все места, которые знаешь,

мне назови. Все лагеря, которые построили фашисты. Все лагеря вокруг Ржева, куда русских увозят.

— А тебе зачем? Ты чего дрожишь? К печке ближе садись.

— Ищу человека, в лагерь попал. В Германию могут угнать.

— Запросто угонят. Кто здоровый, они всех гонят. Этих штатлагов, знаешь сколько! Про Могилевский лагерь рассказывают. Так это далеко. Про Слуцкий лагерь говорят. Но это уже в Белоруссии. А самый большой лагерь в самом Ржеве. Про Сычевку тоже рассказывают. Но в Ржеве — самый большой.

Дешков карту знал хорошо. Он

соображал, как идти.

— У тебя вид нездоровый, Серега. — Успенский, городской житель, произнес словосочетание «нездоровый вид» совсем как их сосед по дому — профессор Рихтер. «У вас нездоровый вид, вам необходимо остаться в постели», — интеллигенты умеют дать совет. Рихтер — добрый человек, но бессмысленный. Он встретил их с Дашкой на улице, спросил, как они себя чувствуют. «У вас, Дарья, бледный вид, вам необходима консультация врача. Позвоните своему знакомому врачу, а до той поры оставайтесь в постели». Смешные эти евреи. Тогда Дешков не

удержался, съязвил: «У нас, Моисей Исаакович, и постели нет приличной – и врачей знакомых не имеется». «Как же так, Сережа?! – ахнул Рихтер. – Вашей жене категорически необходима квалифицированная забота».

Моя Серая Шейка, думал Дешков. Он всегда свою жену Серой Шейкой звал, точно уточку в детской сказке. И когда думал про нее, говорил «Серая Шейка». А про сына он даже думать не мог.

– Что люди там у немцев делают? Их бьют? Комиссаров сразу убивают, а других не убивают?

– Что ты у меня спрашиваешь? Ты у фашистов спроси, что они там с

людьми делают.

— Я тебя спрашиваю, потому что ты слышал, что говорят. Работают в лагерях тяжело?

— Работать долго не получится — долго там не живут. Если мужик крепкий, то, конечно, подольше протянет, они найдут, чем ему заняться. А если от роду нездоровый — они сразу доходяг стреляют. Им лишний рот не нужен, еды нет. Откуда сейчас еда? Не дают есть совсем доходягам. Помнишь людей под Волоколамском? Они мне и рассказали.

Верно, они под Волоколамском беженцев встретили, те рассказали, как сгоняли в лагерь; они сами

спрятались в сожженном доме, в подвале — их не нашли: через щели подсматривали, видели, как слабых и больных немцы сразу расстреляли. Ходил вдоль рядов военный и в рот людям стрелял.

— Но без причины людей не убивают? — Как глупо спросил; сам знал, что убивают без причины.

— Мужиков здоровых они берегут. А детей убивают. Если младенец беспомощный, так сразу уморят.

— Уморят? — Он и сам знал, но спросил все равно: мы всегда переспрашиваем, от отчаяния.

— А зачем немцам русский ребенок? Сам посуди. Уморят

голодом, либо сразу – головой об стену. Много таких случаев. И женщин они долго не держат. Попользуются – и в расход. Хотя женщина иной раз дольше мужика живет. А все же недолго бабы живут. Сколько человек может протянуть, когда мучают? Ну, пару месяцев тянут, конечно. А потом сил уже нет.

В эти самые дни как раз прошли первые массовые расстрелы: укомплектованные в первые месяцы войны лагеря – стали освобождать от людей. Так, в Румбольском лесу совместными усилиями немецких и латышских команд расстреляли 35 тысяч человек, в основном евреев. Работали день и ночь, не покладая

рук, одних детей убили восемь тысяч. В это время массовые казни шли по всему рейху – план, утвержденный Гейдрихом и Гиммлером, одобренный фюрером, стал приходить в действие; но, конечно, одно дело – написать приказ на бумаге, совсем иное дело – исполнять приказ. Эмоции, неконтролируемые чувства – все это невозможно учесть. Некоторые солдаты жаловались на определенный дискомфорт в тех случаях, когда приходилось убивать слишком много детей подряд. И не то чтобы физическая усталость, но наступала некая пресыщенность, словно бы не хотелось более убивать

детей. Генрих Гиммлер в те дни посетил место массовых экзекуций в Минске (кстати, тогда же он и распорядился называть массовые убийства словом «акция», словно предвосхищая дискурс современного искусства), и даже присутствовал при большом расстреле. Он хотел узнать, с чем именно сталкиваются рядовые исполнители: так порой премьер-министр совершает показательный выезд на завод, чтобы взглянуть, как работает фрезеровочный станок. Ну как вы тут, мужики? Весь день у станка — поди, умаялись? Гиммлер пристально наблюдал за процессом. Обычная рутина: женщины кричат,

пытаются вырвать детишек из рук солдат, дети, в свою очередь, орут. Рассказывали, что одна из жертв – белокурый голубоглазый мальчик – вызвала интерес рейхсфюрера; Гиммлер подошел, поинтересовался судьбой будущей жертвы. Однако узнав, что мальчик – еврей, Гиммлер развел руками: ну что вы от меня хотите? Еврей – стало быть, извольте в ров. Гиммлер сказал короткий спич, подчеркнув, что хотя ему претит кровавое ремесло, но «человек должен защищаться от вредных насекомых, которые его окружают». Мальчика, имевшего неосторожность родиться вредным насекомым, отвели в сторонку, и

ефрейтер Ключе, благоразумно
родившийся человеком – любителем
свиной грудинки, засунул дуло
«вальтера» насекомому в ухо и
выстрелил – мозги разлетелись
веером. Впрочем, в те дни старались
уже перейти на газ – выяснилось, что
на исполнителей убийство грудных
детей методом прямых контактов
действует депрессивно. Именно в эти
дни в лагерном комплексе Освенцим
был введен в эксплуатацию так
называемый «красный барак», в
деревне под названием Бжезинка
создали конвейер убийств, лагерь по
уничтожению людей. Запомнить
название лагеря смерти легко –
человек по имени Бжезинский был у

президента Картера советником по национальной безопасности, именно Бжезинский повторил в свое время фразу, оброненную как-то Гитлером в застольном разговоре: «На европейской территории современной России не должно быть никаких государств». А в тот год в Бжезинке, в «красном бараке» добились впечатляющих результатов: умерщвлялись по 800 евреев одновременно, «Циклон Б» полностью оправдал возлагаемые на него надежды. В Майданеке применяли все еще монооксид углерода (то есть угарный газ), первые же испытания газа «Циклон Б» начались поздним ноябрем, и к

моменту данного разговора пункт массового удушения функционировал в Бжезинке бесперебойно.

Всего этого Успенский не знал, соответственно и рассказать не мог — но это происходило ровно в те самые дни, и даже в те же часы; минута в минуту.

— Убивают они доходяг, — сказал Додонов.

— Нам бы Ржевск взять. Нам бы до Слуцка дойти, — сказал тогда Дешков.

— Надо Ржев взять. Это точно. И Вязьму надо взять.

— Возьмем, — сказал Дешков.

А через два дня в Ставке было решено не давать передышки

немецким войскам, не ждать до весны. У нас точно перемирие объявили, шутил Тимошенко, а ведь, между прочим – никто не объявлял. Пусть 33-я армия генерала Ефремова прорвется к Вязьме, пусть 20-я армия Власова атакует, пусть ржевско-вяземский выступ возьмут с боя. Этот самый выступ не давал покоя Сталину – когда он подходил к карте, всегда указывал генералам: долго еще будем терпеть? Для него, любителя неразрешимых конфликтов, которые потом вспарывались волевым решением, – этот выступ был как наглядное пособие. Так заклинило фронт, что никто не мог двинуться – ни немцы, ни русские. Немецкие

(теперь немецкие!) города-крепости стояли непоколебимо: Ржев и Вязьму взять не могли. А между ними были вбиты клинья русских контратак — и удерживать сейчас эти отвоеванные у немцев плацдармы было труднее, чем немцам удерживать города. Линия фронта напоминала изрезанную карту норвежского берега — или трехпалую руку, которая тянулась к Москве. Пальцы были совсем рядом, но рука оказалась онемевшей — рука грозила, но двинуться не могла. Требуется отсечь этот ржевско-сычевско-вязьменский выступ, вот именно сейчас, когда морозы под сорок, и на фронте бои затихли, — именно сейчас они и

нанесут удар.

Сталин приказал не давать передышки германским войскам, перейти в контрнаступление, на плечах противника войти в Ржев — и двигаться дальше, дальше, пусть Калининский фронт разворачивается на подмогу Западному. Сталин собрал в Ставке военачальников и сказал, что если не ударить сейчас, к весне немцы накопят войска в этом направлении. О том, что русским неплохо бы накопить силы, речи не было. Жуков позже напишет, что он спорил с Верховным: дескать, где солдатам сегодня силы взять? — но Сталин настоял на прорыве. Люди устали, сказал тогда Жуков. Мороз,

сказал Жуков, а мороз, Иосиф Виссарионович, — не только людям, это и технике не потянуть. Кавалеристам трудно будет пройти снежный рубеж. И окопной войны в такой мороз не будет: насмерть замерзнешь.

— Не надо нам в окопах сидеть, Георгий Константинович, — сказал Сталин. — У нас совсем другая задача — атаковать надо. Это мое мнение, но хорошо бы и мнение коллег по Ставке выслушать. Рассмотрите ситуацию?

Жуков кивнул своей крепкой головой — он согласен рассмотреть ситуацию.

А ведь из меня Тухачевского

делают, незабвенной памяти Михал Николаича, подумал он. Делает он из меня такого же гастролера по гнилым, позиционно проигранным, непопулярным фронтам. Должен иметься такой гастролер со скрипкой, вот с Тухачевским этот фокус удался. Миша, выдвигайся на Кронштадт, Миша, лети в Тамбов, Миша, бери с наскоку Варшаву. На этом они Тухачевского и сломали — сделали гастрольного скрипача по вызову. На чужих свадьбах играл Михал Николаич, а своей так и не справил.

Жуков вспомнил разговор с Тимошенко, как тот сказал в тридцать восьмом, что Тухачевский

поплатился за Тамбов. Высказал это мнение Тимошенко вполголоса, рассуждая сам с собой, но Жуков ему ответил: а ты уверен, что Михаил мечтал в Тамбове выступить? Однако он там отличился, сказал ему Тимошенко. А что, у Михал Николаича выбор был, сказал Жуков — и сам же подумал: а почему же так выходило, что везде посылали Тухачевского?

А сегодня — его, Георгия Константиновича посылают, как в русских сказках: поди туда, не знаю куда. В сказках царь говорит Иванушке: ты, говорит царь, ступай за тридевять земель и принеси мне перо жар-птицы. А Иван-дурак

старается. Сказали генералу: лети на выручку, спасай Москву — а ведь дело-то, почитай, проигранное, что ж вы мне раньше не давали себя показать! Однако пошел Иванушка-дурачок, спас столицу; но потом он понадобился в ином месте — и правильно: не на западном направлении надо воевать, не здесь! Здесь он не требуется, здесь себя негде проявить. А вот сталинградский, подготовленный им план, теперь надо отдать Василевскому, пусть маршалу Василевскому достанутся все лавры за красивую операцию — это как, справедливо? А ему, Жукову, — снова на Западный фронт, в леса

мочульские, в болота ржевские, руководить атаками на болотах — бессмысленно терять солдат, точно Мише Тухачевскому на Тамбовщине. И скажут ему: «Берегите солдат, берегите пехоту», — как Сталин любит говорить генералам. Ни шагу назад — но берегите пехоту! Остроумная задача для полководца.

Что в болотах выловишь? Допустим, прорвем немецкую оборону, возьмем Вязьму — а в это время Клейст и Паулюс уже будут на Волге, возьмут Сталинград. А там и Кавказ. Это вам не наполеоновские войны: одна символическая победа — и бал в ратуше. Здесь, в болотах, и воевать-то не требуется, если сказать

правду. Стоим — и ладно, подкреплений у немцев нет — и хорошо, надо бы еще тут постоять полгода. Само рассосется.

— Линия фронта сместилась, Георгий Константинович.

Жуков опять кивнул, всмотрелся в линию фронта. Спустя десять лет французские военные в Индокитае использовали остроумный термин «совместное владение» — чтобы передать запутанную дислокацию собственных и вьетнамских отрядов. Болота принадлежали сразу всем — и никому в отдельности: и война тлеет, как тлеет распря родни в отношении дома, поделенного на восемь долей наследства. Тогда же французы ввели

термин «паутина» — насаждение многочисленных укрепленных точек в районе Дьенбьенфу, чтобы оттуда совершать быстрые карательные рейды — и запугивать население. Никакой линии фронта в ржевских болотах не было вовсе, это иллюзия. Линию-то прочертить можно, конечно. Но только линии там нет.

Жуков упер свой тяжелый подбородок в грудь, склонил голову над картой, а сам исподлобья изучал собрание. Маршала Конева им мало на этом направлении — позвали еще и Жукова; пусть теперь на Жукове повиснет нерешенная задача, это Жуков у нас, оказывается, не умеет болота брать. А то популярность

большая у Георгия Жукова. Надо скорректировать, верно? Состав Ставки менялся на протяжении войны — до июля народным комиссаром обороны был Степан Константинович Тимошенко, хотя главой, разумеется, всегда оставался Сталин. И Сталин, сегодняшний нарком обороны и Верховный, спросил у Тимошенко мнение, спросил, заранее зная ответ. И маршал, человек с гладким восточным лицом, сказал, что сейчас самое время для атаки. По его данным, сказал маршал, ресурсы фон Бока на исходе, солдат в этом направлении Германия уже не посылает, так что момент выбран

правильно. А что касается мороза, то мороз помогает: снег в такой холод образует достаточно твердый покров даже для артиллерии, погода годится для кавалерийского рывка. Соединенными силами Западного и Калининского фронтов – в составе таких-то и таких-то дивизий, таких-то и таких-то армий, есть высокая вероятность прорвать оборону противника, подытожил Тимошенко.

Жуков выслушал мнение, губы не разлепил, посмотрел только внимательно на Тимошенко. Какая артиллерия в болоте? Какая кавалерия, батюшка? Впрочем, даже умница Гудериан худого слова о кавалерии не сказал. В болотах

российских на танке-то не проедешь. Вот и конники наши сгодились. На что-нибудь наши конники еще и пригодятся. Полевую кухню, например, можно конной тягой передвигать по болотистой местности. Хороший план, дальновидный. Этак можно долго маневрировать. Только ведь всегда найдется болван, который построит эскадрон на болоте и скомандует «аллюр три креста». И эскадрон сгинет — и толку никакого не будет.

— И по болотам пройдем? — спросил Сталин.

— И по болотам можем пройти. И технику провезем.

— Спасибо за мнение, — сказал

Жуков резким голосом.

— А вы с этим мнением согласны, товарищ Жуков? — Сталин спросил.

Сталин, как обычно, работал по пятнадцать часов, имел серое лицо усталого человека, двигался медленно, нездоровая его рука лежала беспомощно перед ним на столе. Сталин другой рукой передвинул свою левую к карте, пошевелил больными пальцами возле Ржева. Со стороны казалось, что Сталин ищет населенный пункт, но он отлично знал, где искать, — просто пальцы не слушались. Сталин здоровой рукой вложил в свою беспомощную руку блокнот — чтобы

рука не лежала без дела. Потом поднес здоровой рукой трубку ко рту, пыхнул дымом, потом пригладил черенком трубки ус и указал трубкой на карту, ткнул точно в Ржев, поводил черенком по деревням.

— А если согласны, то какими силами думаете действовать?

Час назад Сталин отдавал приказания по Воронежскому и Юго-Западному фронтам. Вчера был совет по Сталинграду — на Волге решалась судьба страны: по Волге шло снабжение, а за ней — лежало главное богатство, то, ради чего пришел Гитлер, там, дальше — ресурсы, нефть. Главное было там. Москва и Западный фронт — это политика, это

фельдмаршал Гальдер считает, что немцам следует сконцентрироваться на взятии Москвы, – вот немцы и топят в болотах армии, вот и идет бессмысленная драка в ржевских болотах. Но Гитлер видит дальше своих генералов – и это Сталин уже понял. Снятие фон Браухича – явный сигнал, не услышать мог только глухой: сняли главнокомандующего планом «Барбаросса», отныне сам Гитлер будет определять стратегию и диспозицию. Гитлер сворачивает от Москвы в сторону, Гитлер не повторяет маршрут Наполеона. Французам в двенадцатом году надо было произвести фехтовальный укол – поразить Россию психологически.

Но немцы – народ иной. Немцы уничтожают страну, убивают, а не побеждают – им психология безразлична. Какой дурак сравнил наполеоновскую войну – и эту войну? Сегодня другая война, и пришел к нам другой народ, методический. Вот ответьте на такой вопрос: если немец будет строить дом, он что сделает вначале – проведет водопровод или положит черепицу? Правильно, проведет водопровод, потому что он – немец. Что за радость Гитлеру взять Москву и осесть в Кремле? Француз бы так и поступил, но немец – не француз. На Волгу, на Кавказ; сейчас цель немцев – Сталинград, Волга и Кавказ, а

войска фон Бока отвлекают нас от главного немецкого удара. Ржевско-Сычевский выступ нарочно дразнит его, Иосифа Сталина. Думаете, Сталин этого не понял?

Мы не можем послать туда больше людей — и немцы не могут. Говорится так: отбросили противника от Москвы. Но — недалеко отбросили, на сто километров. Так и топчемся на месте. И будем топтаться — потому что смысла в победе здесь нет ни для них, ни для нас. Если они победят — им придется брать Москву, сниматься с южного направления — а что, у них есть лишние силы? Вон, фон Бок уже роты сократил до восьмидесяти

человек — от ста восьмидесяти. Им бы из Африки людей сюда прислать. А в Египте солдат не отпустят, они Монтгомери нужны — Тобрук брат. А завтра Япония попросит у них помощи в Бирме... Гитлеру солдат взять неоткуда. Так и будем стоять. Что там на карте? Река Руза? Деревня Красная Поляна? Мерклово? Середа?

И Сталин шарил желтым глазом по карте. Запомнить столько информации человек обычный не в состоянии — но Сталин, отличаясь ненормальной памятью, изнурял себя подробностями, запоминая количество сабель в кавалерийских эскадронах и фамилии начдивов.

– Удар, так понимаю, наносим здесь?

– Объединенными силами Западного и Калининского фронтов, товарищ Сталин. – Четверть часа назад Жуков был против операции, но сейчас говорил твердо. – Здесь, здесь и здесь, – и Жуков твердым пальцем обозначил точки на карте.

– Уточните с командармами, важна синхронность действий.

– Непременно, товарищ Сталин.

– Когда думаете начать?

Жуков никогда не говорил «завтра» или «через два часа», он был солдат.

– Приказы будут переданы немедленно. На рассвете атакуем.

– Одобряю.

Через два часа в часть Дешкова поступил приказ выдвигаться на деревню Середя – следовало ночью форсировать речку Руза, затем пересечь поле и ударом конницы в лоб захватить стратегически важный пункт Середя. Оттуда следовало двигаться на Гжатск, а там и Ржев близко.

Приказ, данный полку, исходил от генерала Плиева, тому приказал генерал Власов, а Власов был строг – ему отдали приказ из Ставки. На ту пору оставалось немного времени до того момента, как длинный сутулый генерал перешел на службу к Гитлеру – но в те дни он еще был красным

командиром и приказывал атаковать гитлеровцев. Пройдет время, и он будет приказывать вешать партизан – но сегодня сказал Плиеву так:

– Вас поддержат партизаны.

– Какие партизаны, Андрей Андреевич?

– В лесах имеется партизанская сеть.

– А как с артиллерией? – спросил Плиев.

– Выдвигайтесь, время пошло. Артиллерию развернуть времени не будет. У Вас, Исса Александрович, орден, как я знаю, имеется. Будьте его достойны.

Сам Власов имел орден Ленина за номером 770, орден редкий.

Спустя полтора года, когда фюрер наградил его Железным крестом с дубовыми листьями, Власов отдал орден Ленина фюреру – взамен: не носить же оба ордена одновременно. Впрочем, пока что его начальством был бешеный самодур Жуков, неуправляемого гнева Жукова генерал Власов боялся.

Однажды он уже остуился – невовремя заболел, едва не сорвал оборону Москвы, и Жуков пощадил его, но было страшно. Сегодня генерал Власов склонен был отдавать распоряжения еще более беспощадные, нежели распоряжения собственного начальства. Приказываете атаковать – отлично,

будем атаковать, причем быстро и напористо. И если кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два — так, кажется, сказано у Матфея? Война — грязное дело, не надо притворяться, что генералы жалеют людей, не стоит подслащивать пилюлю. Следует принимать вещи такими, как они есть, — война этому учит быстро.

Позднее, уже на германской стороне, он любил пользоваться услугами женщин, угнанных в Германию, — пленных русских баб приводили к русскому фашистскому генералу в спальню, и, попользовавшись женщиной, Андрей Андреевич говорил денщику: «Ты не

думай обо мне плохо – просто война идет. Никому нынче не сладко, у меня тоже нервы на пределе. Пусть лучше я с ней буду, чем фриц. От меня и подарок перепадет, и вообще – я русский».

Андрей Андреевич в телефонограмме дважды подчеркнул хлесткое слово «в лоб». Полк должен был на рысях идти вдоль шоссе, а потом стремительно пересечь снежное поле и с налету овладеть Середой, где сосредоточено крупное соединение немецких войск. Так сказал Власов, выполняя стратегический план Жукова. Правда, Жуков не говорил об атаке через поле, а Власов поле представлял

отлично. Открытое снежное поле шести километров в ширину было смертным ложем для кавалерии – и когда Власов сказал «атака в лоб», он понимал, что кавалерия доскачет не в полном составе. Это была необходимая жертва.

Власов должен был отчитаться о взятии Гжатска, а как поступить с Середой, оставили на его усмотрение – вероятно, можно было предложить идти в обход Середы, но Власов считал такое поведение неразумным.

Той же линии поведения он придерживался в дальнейшем, когда сотрудничал с Гиммлером: мог просить десять дивизий для создания Русской освободительной армии –

иначе не будет эффекта массового участия русских людей в войне на стороне Гитлера, а когда получал предложение создать три дивизии — соглашался с тем, что и этого достаточно. Поступать следовало так, как диктуют обстоятельства, война имеет собственную логику развития событий.

Приказ Власов, командующий 20-й армией, отдал Иссе Александровичу Плиеву, который своих конников ценил.

Плиев, не сказав ни слова, повесил трубку, имитировал разрыв связи — и когда Власов перезвонил спустя минуту, ординарец Плиева отрапортовал генералу Власову, что

Плиев уже отбыл в штаб полка руководить атакой. Власов своим лающим крестьянским матом послал ординарца «бегом! бегом!» — догонять Плиева. Ординарец генеральский мат выслушал и повторил, что Плиев отбыл на автомашине.

— Я минуту назад с ним говорил!

— Так точно! Говорили, товарищ генерал.

— И он что, уехал?

— Так точно, товарищ генерал!

Плиев же спешил, понимая, что Власов не остановится — пришлет нарочных, заставит перейти в наступление — и надо такой приказ предупредить.

Плиев жалел своих солдат, большинство кавалеристов были с юга — ростовские, новочеркасские казаки — цены им нет, удалым ребятам. Пройдет двадцать лет, и в 1962-м мирном году генерал Исса Александрович Плиев будет командовать расстрелом рабочих в Новочеркасске, расстрелом сыновей тех самых казачков, которых он спасал сегодня. Пройдет двадцать лет, и он скомандует открыть огонь про демонстрации, просившей снизить цены на мясо и молоко — осатанели рабочие люди за шесть лет правления Хряка, — но военной зимой сорок первого Плиев людей берег.

Связавшись с полком, Плиев приказал выдвигаться немедленно, путь до Середы пройти лесом и ждать подкрепления пехоты – 50-го полка Немова и 74-го полка майора Кривошапки. Прежде еще выдвинутся лыжники – проведут разведку. При подходе подкрепления – атаковать Середу из леса, расстояние все же будет вдвое не таким смертельным, как при длительной лобовой атаке. Таким образом Плиев надеялся сократить неизбежные потери.

Но и этот приказ Плиева, приказ щадящий и, сколько позволяла ситуация, разумный, был гибельным: как ни сокращай расстояние – поле

остается открытым; хоть от леса до Середы было вдвое короче, чем от дороги, все равно кавалерии надо было пересечь открытое снежное пространство. И на этом открытом пространстве – в точности как на площади перед райсоветом в Новочеркасске в 1962-м – будут бить по казакам в упор, без промаха.

– Наст не выдержит, – говорили конники, – лошади по грудь увязнут.

– Это кто ж такой план придумал?

Ординарец сказал вестовому, тот – своему товарищу, и скоро полк знал, что существует приказ, который стараются обойти и не исполнить, однако исполнять его неизбежно

придется. Все уже знали, что как только подойдет полк Кривошапки — как услышат выстрелы во-о-он оттуда, — начнется конная атака, и атака будет в лоб, через поле — и в поле кавалерию расстреляют.

В то время в конном строю уже воевали редко — это было самоубийством. Конница использовалась как самая подвижная и легкая моторизованная часть войска — малая механизация. На лошадях доезжали до места боя, но бой вели спешившись, пускали в ход гранаты и карабины, а коней отдавали коноводам. Но — и это понимали все — атака через снежное открытое поле может быть только в

конном строю. Как иначе пройти смертоносное пространство по снегу — здесь требуется стремительный рейд.

Придется оставить легкие пушки, тачанки, пулеметы — придется атаковать так, как атаковала чапаевская конница. Возьмем карабин, по паре гранат. Вот и все.

Сначала перейдут речку Рузу, а там и поле близко. Им велели седлать и выдвигаться к реке. Жить оставалось недолго.

Собирались офицеры быстро: так они жили последние полгода — поднимались ночью, совали ноги в сапоги, оставляли дома, в которых пробыли две недели. Иногда

казалось, что уже привыкли к дому — но шинель в скатку, личные вещи в мешок, а кружку, ложку да смену белья денщик соберет. И много ли вещей у офицеров — картонный сидор не набьешь, болтаются вещи в чемодане.

Пока застегивал портупею, коротко поговорил с Додоновым — они стояли за печкой, другие не слышали.

— У тебя жена была в Сухановской тюрьме, — сказал Додонов.

— Откуда знаешь?

— Коконов сказал. Я с ним в двадцать восьмом вместе служил в охране, он потом поднялся высоко — а

я не продвинулся.

— Что ж ты из охраны ушел? — сказал ему Дешков. — Охранял бы сейчас важных людей.

— Я Троцкого охранял. Мне, кстати, Коконов посоветовал уйти — нух у него на такие дела. Знаешь, как Троцкий людей называл? Злые бесхвостые обезьяны.

И Додонов добавил:

— У нас половина личного состава в Сухановку попала.

То, что Додонов сказал, означало большую степень доверия — так Дешков понял.

— Пошли, — сказал Дешков. — Прощай, хозяйка.

— Прощайте, — сказал вслед за

ним и Додонов. И Панчиков тоже кивнул: мол, прощайте.

— Крестик верните, — сказала Панчикову хозяйка, Пелагея Полосина. Она вышла за офицерами на мороз. — Крестик взяли с комода, так вы его нам верните, товарищ капитан, это дочке моей батюшка подарил. Он нам дорогой.

— Какой еще крестик? — спросил старуху капитан Панчиков. Он стряхнул с рукава крючковатые пальцы Полосиной.

— Крестик православный отдать надо, — и Полосина уцепилась двумя руками за капитана.

— По коням, выдвигаемся! — Крик разнесся по домам. Грохали

ставни, ночная деревня
зашевелилась.

— Крест отдайте!

— Что ты взял у нее? — спросил

Дешков.

— Да что ж я взял? — сказал

Панчиков. — И не стыдно лгать
пожилому человеку! Умирать идем за
тебя, бабка. Совесть имей, женщина.

— Хлеб у меня брал. У дочери
хлеб брал. А сейчас крест взял.

— Я умирать иду за вас, охраняю
вас, — сказал Панчиков,
предвосхищая логику рэкетиров
девяностых годов. — Кусок хлеба
пожалели.

— Так вот ты откуда хлеб брал? —
сказал Успенский. — А мне говорит:

достал... Веришь, Серега, я не знал! Честно, не знал. Я думал, излишки выпекают.

– Хлеб-то не ваш, – усмехнулся Панчиков по адресу хозяйки. – Не представляйте дело так, словно это продрозверстка. Если разобраться, вам армия этот хлеб дала – это наш хлеб, солдатский.

Было темно, и мороз жег офицерам лица. Из открытой двери избы – полусвет; серая полоса теплого воздуха, чуть светлее уличной черноты, падала на лицо капитана Панчикова. Лицо капитана можно было рассмотреть – оно выделялось серым пятном в темноте.

Дешков шагнул к Семену

Панчикову и сказал ему:

– Отдай крест.

Выговаривал слова Дешков тем же голосом, каким прежде пользовался его отец: отчетливо, тихо, словно берег звуки, и в каждую букву он вдавливал ненависть. С этой ночи Дешков поменялся, стал тем Дешковым, которого потом уже боялись все. Он не чувствовал неприязни к Панчикову, но решил, что убьет его – и сделать это надо было сегодня.

– Отдай крест немедленно.

– Какой еще крест?

– Зарублю, – сказал Дешков, и все поверили.

– Так им крест все равно без

надобности, — сказал Степан Панчиков, расстегивая гимнастерку и снимая с шеи медное распятие величиной с ладонь, — они здесь и Богу не молятся, и в церковь не ходят. Крест — слово-то выучили... Тут и церкви нет никакой, какой же батюшка мог ей крест дать... Врет бабка. Сама где-то украла. Ну вот, отдал ей крест. Пожалуйста! И что толку, что у тебя крест будет, бабка? В Бога ты все равно не веруешь!

— Лялечки моей крест, — нараспев сказала бабка. — Крестик моей лялечки.

Они двинулись к конюшням, шли в крошечной темноте, слышали, как скрипит снег под сапогами, да

чернота казалась гуще в тех местах, где спрятан был человек. Капитан с Севера, Панчиков, старался попасть в ритм шагов Дешкова, хотел привлечь его внимание.

— Как можно говорить, что я брал их хлеб, — твердил Панчиков, — если этот хлеб им дает армия. Это, знаете ли, против всякой логики. Нонсенс. Этот хлеб мы лично пекли с Додоновым. Теперь женщина версию выдвигает, что армия у них отнимает хлеб. А вчера говорила спасибо за то, что армия ей хлеб дает. Вот так, все с ног на голову. Я призывал ее к сознательности, и только.

Дешков шел вперед, не отвечал.

– И про крест не слушайте. Я сам с Севера, а у нас знаете какая крепкая вера. Староверы мы. Коммунисты, разумеется, но традицию соблюдаем. И мне этот крест нужен. Я, знаете ли, думаю, что женщина сама вынесла этот крест из какой-нибудь разоренной церкви.

Дешков ничего не сказал. Но вокруг говорили уже многие, полк покидал Мерклово, седлали лошадей, голоса кавалеристов разносились гулко в морозной ночи.

– Русский народ – безбожный народ в принципе, – сказал капитан Панчиков. – Помните, что Белинский писал про набожность русского

мужика? Про иконы? Годится – молиться, а не годится – горшки накрывать. Война только усугубила эти качества. Ну и холод! Как лошадям-то в такой мороз?

– Смотри за ним, Додонов, – сказал Дешков, обернувшись в ту сторону темноты, которая скрывала Додонова, – как бы он мне в спину не выстрелил. Когда начнется атака, мы с ним разберемся.

Они подошли к конюшне; денщик держал Ласку под узцы, и Дешков принял у него повод.

Руза была скована льдом, реку перешли шагом, ведя коней в поводу, удерживая их, чтобы кони ступали тихо и не кололи лед. Поднялись на

крутой берег. Огня не жгли. Темным утром, до восхода, двинулись к лесу, три километра лошадей вели вдоль опушки по снегу, опасались свернуть в лес. Чернота впереди обозначала бесконечное, как казалось, поле, которое надо пересечь и на котором они должны погибнуть.

Командир полка Клименюк команды сворачивать в лес не дал — и по простой причине: в лесу кавалерия перестает быть боевой единицей. Свернуть в лес — означает рассеяться, деревья и кусты не дадут собраться снова. Легко им в штабе приказать: сворачивайте в лес! А кто знает: редколесье тут или чащоба, овраги или болота. Кто эти леса

исследовал? Никто и никогда. Однако сказали: «в лес», и теперь иди, да еще ночью, и это чтобы избежать потерь. Выход один — ждать, как там завяжется, как пойдет у Кривошапки, и дать бою затянуться, а уж потом ввязаться. Но скорее всего, через час Кривошапка отступит, а Клименюк получит распоряжение закрепиться на захваченных рубежах — то есть в чистом поле, где предполагается атака. А как можно закрепиться в поле зимой — это военной науке неизвестно.

Кавалеристы стояли и ждали, пока в Серее начнет бой. Миновал час, за ним второй. Над лесом

прошла сигнальная ракета — это Кривошапка пошел в атаку. Клименюк не шелохнулся. Кавалеристы смотрели, как желтая ракета ушла за черные ели. Потом — вторая.

— Я думаю, Николай Евгеньевич, — сказал Клименюк майору Коконову, — что Середу мы сегодня или завтра возьмем — но первым в атаку я не пойду, я пойду вторым.

— Ты командир, тебе и решать, — сказал Коконов.

— Мне не только Середу брать надо, мне еще и людей надо сохранить.

Клименюк ждал, чтобы спасти

полк, — бывало, что через полчаса после начала боя приходит приказ передислоцироваться. Так случалось дважды: они выдвигались в болота, вступали в бой, а затем им приказывали отойти и закрепиться — и они отходили, оставляя в болоте убитых. Приказ, отданный сейчас, был смертельным, Клименюк был уверен, что за ним последует более разумный приказ. Но исполнить новый приказ убитые кавалеристы уже не смогли бы. Если есть возможность ждать, надо ждать.

Клименюк и Коконов верхами возвышались над пешим еще строем, причем Коконов, человек сугубо штатский, но обучившийся ездить

верхом, сидел на своей лошади прямо и начальственно, точно за столом в кабинете, — а усталый Клименюк сидел сутуло.

— Трусим, командир? — спросил Дешков, глядя на командира полка снизу вверх.

В серых сумерках группа офицеров подошла к начальству, ведя коней в поводу.

Заговори так кто с Клименюком три дня назад — сразу бы пошел под трибунал, его бы расстреляли через полчаса. Но сейчас полковник почти не удивился — он ждал таких слов от своего начальства, а сказал их кто-то снизу, вот и вся разница. Перед начальством он отчитается после боя

– объяснит, что Кривошапка его не дождался. Клименюк про себя сказал уже все слова, ничего добавить не мог. Перед Дешковым на коне сидел сутулый, до крайности усталый человек.

Полковник оглядел силуэт Дешкова, рассмотрел подробно, узнал капитана и сказал:

– Не по уставу говоришь, капитан. Под трибунал пойдешь.

– Плевал я на трибунал, – сказал Дешков, – ты под трибунал сам пойдешь.

Майор Коконов двинул коня на Дешкова, и морда коня уперлась Дешкову в грудь.

– Ты, Дешков, с ума сошел. Мы

тебя судить будем.

— Нет, Коконов, — сказал Дешков. — Я в своем уме.

Он взял майора за сапог, приподнял, толкнул и выбросил из седла на снег. Все это произошло быстро — так быстро, что никто не успел помешать. Майор упал тяжело, он был большой и полный. Вдруг стало ясно, что случилось нечто страшное.

— Слушай мою команду, — сказал Дешков, обращаясь к офицерам. — Согласно приказу номер двести семьдесят, я, капитан Дешков, принимаю команду боем. К атаке построиться. Майора Коконova и полковника Клименюка — под

стражу.

Сказал тихо, но слышали все.

Приказ № 270 от 16 августа 1941 года, тот самый злосчастный приказ, которым пугали граждан в мирные годы: дескать, все те, кто попал в плен к немцам, потом отсидели 10 лет в лагерях на родине, – именно этот приказ сделал капитана Сергея Дешкова командиром.

Приказ № 270 трактовали по-разному – в годы перемен стали считать, что приказ этот предписывал судить всякого сдавшегося в плен красноармейца, а вместе с ним и членов семьи. Солженицын сообщает нам, что лагеря не вмещали жен и детей тех,

кто случайно отстал от обоза, попал в плен потому, что был ранен или не смог выйти из окружения. Так сформировалось мнение, будто любой советский солдат, попавший в плен, автоматически становился подсудным на родине. Это не соответствует действительности. Речь в приказе шла только о командном составе РККА, лишь о командирах, проявлявших во время боя трусость или уклонявшихся от боя. Таких командиров предписывалось расстреливать на месте либо арестовывать, и в любом случае — отстранять от командования. Приказ предписывал арестовывать также их семьи — то

есть превращал семьи командиров в заложников и понуждал даже осторожных идти в бой.

Существовал — про это все слышали — написанный вдогон 270-му приказу циркуляр беспощадного Жукова: расстреливать семьи военнослужащих, сдавшихся в плен, — но как такой циркуляр выполнять? Кто же отыщет семью плененных Ваньки и Федьки? Циркуляр Жукова ужесточал приказ 270-й до крайности — но скорее психологически: никто матерей пленных не расстреливал.

Что касается самого приказа, то он был написан ради ротации командного состава в бою — смысл

приказа прост: победа важнее субординации. Приказ 270 предписывал рядовым проявлять инициативу и забирать власть у тех командиров, которые уклонялись от атак. Ничего в отношении семей рядовых сказано в приказе не было. Из одного миллиона девятисот тысяч побывавших в плену подверглись репрессиям в собственной стране триста тридцать тысяч, то есть 18 % от общего числа пленных. Это много, но это не все поголовно. Свой жестокий приказ Сталин (совместно с Ворошиловым, Тимошенко, Шапошниковым, Буденным и Жуковым) подписал 16 августа, через два месяца после начала войны — и

через десять дней после того, как в плен попал его сын Яков. Сталин еще не сказал тогда своей знаменитой фразы: «Солдата на маршала не меняю» — и еще не пришла пора Потсдамской конференции, когда на вопрос, не хочет ли он осмотреть Заксенхаузен, место, где погиб сын, он ответил сдержанно: «Я сюда не по личным делам приехал». До этого разговора оставалось четыре года — а пока он мог только представлять себе, пользуясь оперсводкой и копиями допросов, которые немцы разбрасывали с самолетов, как было дело. Яков пытался организовать прорыв окружения, но солдаты и офицеры разбежались, его никто не

слушал – чином не вышел; он остался один на разрытой шрапнелью поляне. Яков шел вдоль черных деревенских изб, а крестьянки говорили, что не пустят солдата ночевать, потому что гитлеровцы тогда сожгут дом. Яков стучал в двери, крестьяне не открывали – кричали сквозь дверь, чтобы убирался, иначе сдадут немцам.

Приказ № 270 был подписан для того, чтобы такой ситуации больше не повторилось – или все погибнут, или все победят, но командиру не дадут отступить: в бою у всякого солдата была возможность самому стать командиром – если командир бежит.

— Согласно приказу двести семьдесят принимаю командование, — сказал Дешков.

Никто ему не ответил. Ворочался в снегу Коконов, искал кобуру, а кобура была прижата к снегу его полным телом.

И тогда в тишине сказал майор Мырясин:

— Слушаюсь, товарищ капитан.

— Измена! — это крикнул Панчиков, так громко крикнул, что далекие конники повернули головы. — Измена, товарищ полковник! Он у меня на мушке!

Панчиков держал в руке пистолет, целил в Дешкова.

И опять на тридцать секунд

наступила тишина. Потом лязгнул взведенный курок карабина.

— Руки в гору, — сказал кавалерист Додонов, потом добавил, уже обращаясь к Дешкову: — Ты посторонись, командир, я мародера кончу.

— Не стреляй, — сказал ему Дешков.

Он вынул шашку и рубанул Панчикова под шею, разрубил ключицу. Панчиков упал, и Дешков далеко отбросил сапогом его пистолет, чтобы в агонии Панчиков не дотянулся. Потом Дешков повернулся к Коконову, рубанул комиссара по руке, отрубил кисть. Тела дергались на снегу, люди

умирали, а Дешков уже сел в седло и проехал вперед. Офицеры ехали за ним.

– В атаку с нами пойдешь, – сказал Дешков Клименюку, – кровью предательство смоешь. Но оружия я тебе не дам. Так умрешь. Но в седле.

Тот ничего не ответил, впрочем, Дешков и не ждал ответа.

От Середы шла равномерная канонада – они просто не слушали ее раньше; бой шел уже пять минут. Перед ними лежало черное ночное снежное поле.

– Все по графику, командир, – сказал Мырясин, – пора выступать. Что про снег думаешь?

– Наст толстый, – сказал Дешков

тихим голосом, — сантиметров двадцать. Должны пройти.

— Кривошاپка заждался, поди.

— Вовремя будем, — сказал Дешков, — пройдем Середу и выйдем на Гжатск. А там и Сычевка.

Дешков выехал вперед, склонился к шее кобылы, зашептал ей в ухо: «Давай, Ласочка моя». И кобыла Ласка кивнула. Потом все уже знали, что командир никогда не встает на стременах перед атакой, но напротив: сгибается к шее лошади.

— Слушай мою команду, — тихо сказал Дешков, и все конники его слышали. По морозному полю голос разносился хорошо. — Стрелять в упор, пленных не брать. В атаку —

аллюр три креста – марш!

И черная масса кавалерии
хлынула через черное поле.

Николай Ракитов не хотел становиться партизаном и собирался через неделю-другую вернуться в Москву. В столице вору – раздолье, и к городской жизни Ракитов имел особую склонность: даже в лютое военное время в московских вечерах есть такое, чего ты даже в мирное время ни в какой деревне не сыщешь. Город – это для жизни, а деревня наводила на Ракитова тоску. Он не собирался поселиться в землянке под сугробом и выслеживать фрицев – Ракитов планировал поступить так: на несколько недель остаться в лесу и немного порезать фашистов, а

потом, когда немцы отвалятся от города, вернуться в столицу. И кстати, за это время в городе отменят осадное положение, жизнь войдет в нормальное русло.

Так Ракитов и объяснил своей группе – и все согласились с тем, что это здравый план. Не учли они того, что лес заведет их далеко, – они уже через три дня оказались отрезаны от пути в город. Линия фронта гуляла – вдруг оказалось, что за спиной у них не Москва, а немцы. Ракитов пошел дальше на запад, желая дать крюк и вернуться к Москве, – но только сбился с дороги. Выходили на деревни, спрашивали, куда идти дальше, но местные карту района

представляли плохо — знали только соседей да названия замерзших рек. А может, не хотели говорить — немцы наказывали за помощь партизанам.

Ракитов понял, что надо связаться с каким-нибудь начальством — но как это сделать, он не знал. Он никогда не думал, что ему понадобится начальство. Власть он ненавидел, однако, находясь в лесу, понял, что связь с начальством искать надо. Он презирал все, что могла дать человеку администрация, но когда живешь в лесу и не знаешь ничего, тебе нужна хоть какая информация, хоть какие-то сведения, просто для того, чтобы понять — куда можно идти, а куда нельзя. Без

регулярной связи с регулярной армией не поймешь, куда повернуть, чтобы не нарваться на немцев. Ракитов почувствовал себя так, как, должно быть, чувствует себя анархист, приближаясь к пенсионному возрасту: свобода – это, конечно, хорошо, но и медстраховку иметь недурно.

Ракитов решил, что самое разумное – держаться линии фронта и колебаться вместе с ней. Есть всегда просвет – километров в десять – между вражескими армиями; авантюризма Ракитова как раз хватало на то, чтобы держаться этой узкой полосы.

– Бухарин колебался вместе с

линией партии, — скалился в ухмылке Ракилов, — а я колеблюсь вместе с линией фронта!

Ракилов не хотел идти на сближение с русскими — и с немцами сближаться не хотел: самое разумное — держаться нейтральной полосы: качнется Красная Армия вперед — и его отряд идет чуть вперед; откатится назад — и они уходят в лес.

Однажды линия фронта расступится — немцы уйдут прочь, вот тогда можно будет вернуться в столицу.

Так шли они, кружа по лесу, выходя иногда к деревням, ночуя в избах и греясь у печки, — а утром уходили снова в лес. Два раза они

ловили немцев и убивали, а один раз поймали двух полицаев — русских мужиков в немецкой форме жандармов. Ракитов вырезал им на лицах улыбки, разрезал щеки от ушей — и отпустил умирать: полицаи кричать от боли не могли, ковыляли по снегу, и кровь хлестала из разрезанных ртов.

Сначала держались возле реки Бойня, но потом фронт переместился, и они ушли на запад. Жили в деревне Алферово у бабки, которая их ни о чем не спрашивала, но однажды вышла к ним, дала хлеба и сказала: «Уходите, вас Анисья видела, а она баба злая, скажет немцам». Они взяли хлеб и ушли, но

когда дошли до Бабынино, там наткнулись на немцев, прошли еще выше, забирая на северо-запад, — дошли до Дегунино. И там тоже были немцы, немцы вешали жителей, и они увидели виселицы. На виселицах висели голые мужчины и одна женщина. Они ушли опять в лес, двинулись в сторону Ржева, прошли по замерзшей реке Жидовиха, добрались до деревни Филешино, там встретили беглого красноармейца. Он сказал, что бежал из немецкого лагеря; у солдата было красное обмороженное лицо и желтые глаза.

— Вы что, партизаны? — спросил красноармеец.

– Нет, мы сами по себе, – сказал Мишка Жидок.

– Как ты бежал? – спросили солдата.

– Сам не знаю. Побежал, и все. Когда через лес вели, – и смотрел дикими глазами.

Взяли солдата с собой, прошли Медведовский лес, вышли к Стародубовскому лесу – вошли в него. В лесу идти теплее – но опаснее: не знаешь, куда выйдешь. Сколько раз уже так было – идешь, идешь, а потом впереди люди – поползешь: а там по-немецки говорят. Шли на деревню Савкино – и напросились ночевать в крайнем к лесу хуторе. Солдат держался с ними,

шел сзади и немного в стороне – но, если позвать, подходил. Шел с ними весь день, как развели костер, он сел к костру со всеми, ели картофель, ему тоже дали три картофелины. Соли не было. Он ел благодарно: смотрел на отряд, на каждого по очереди, глазами благодарил. Глаза желтые, котиные. Солдат спросил:

– Будете к нашим выходить?

– А где наши? – спросил у него

Ракитов.

– Так я не знаю, откуда мне знать. Хожу тут десять дней.

– Как ты не замерз? – спросил вор Ранкей.

– Так я лес люблю, умею места находить. Нору нашел под корнями,

заполз.

— А что ты ел?

— Так я в дома стучусь, какие с краю.

— И что ж, есть тебе давали? Такому страшному?

— Давали.

— Ты только нам не ври, — сказал солдату Мишка Жидок, — а то мы тут одного людоеда ищем. Здесь где-то он ходит, по лесам прячется.

— Да вы что, мужики. Я не людоед.

По всему Ржевскому району лежали непохороненные замерзшие трупы — наступление красных захлебнулось, Красная Армия откатилась назад, убитых не

перечесть, хоронить по лесам некому. Немцы только срезали с ног мертвых русских солдат валенки — иногда распарывали валенок вдоль, иногда отрезали ногу. Окоченевшие руки и ноги убитых торчали из снега. В деревне Феклино, по реке Дерга, бабы нашли тела солдат с вырванными внутренностями. Кто-то распарывал животы, вынимал печень убитых, и сначала бабы думали — это волки, но потом нашли костер: какие-то беглые люди жарили человеческую печень и кишки и ели. Детей прятали от немцев, а теперь еще прятали и от диких лесных людей. Когда Ракитов пришел в Феклино, ему и его группе бабы

сказали, чтобы они не ходили по реке – нарвутся на людоедов. Ракитову все верили, как и в мирные годы, когда он облапошивал фраеров в гастрономах и крал пальто из гардероба театра, – улыбка его притягивала женщин.

– Как ты такой веселый-то получился?

– Мне плакать скучно.

– Улыбаться сегодня нечему.

– Найдется повод! – уверял Ракитов. – Солнышко встало – улыбнись солнышку. Девушку хорошую встретил – улыбнись. Надо по жизни идти с улыбкой. Вокруг меня все улыбаются. – Ракитов имел в виду немецких солдат, которым он

вырезал на лицах улыбки. Сказал, и сам же засмеялся своей шутке.

— Почему ты не в армии, веселый такой?

— Я сам по себе воюю.

И бабы отдавали его отряду последнее и наказывали сторониться людоедов.

— Я не людоед, — повторил солдат.

— А ну побожись!

— Христом Богом клянусь, не людоед я.

— А ты веруешь хоть в Бога-то? — спросил Мишка Жидок, который за время скитаний по деревням обрусел и даже перенял местный говор.

— Так ведь крестили меня.

– Ну, раз крестили... Каким именем крестили?

Солдат рассказал, что зовут его Костя Полетаев, а можно просто «Кот» – и верно, глаза у него желтые, как у кота, и бегают – туда-сюда. Кот рассказал, как было в Ржеве – он там содержался два месяца в плену, но сбежал. Сказал, что в городе три роты полевой жандармерии и еще айнзацкоманда. Вермахт на окраинах квартирует, а в городе чистки ведет айнзацкоманда. Кот рассказал подробности. В первые дни оккупации поставили в городе виселицы; согнали народ на площадь: выводили осужденных, объявляли, в чем виноват, – по

бумажке читал Гусев, полицаи. Повесили людей известных, но не коммунистов – а так, просто видных: депутата горсовета Светлану Бунегину, директора льнозавода Романа Карпова, преподавателя истории в школе Александра Тимофеева, известного баяниста Демьяна Дроздова, заведующего магазином Рафаила Пичуса и еще кой-кого, других имен солдат не запомнил.

– А как эти-то запомнил? Память у тебя!

– Громко объявляли, вот и запомнил.

– Откуда фрицы про них узнали? Выдал кто?

— Всегда добрый человек отыщется... — сказал солдат. — Рассказал, стало быть, кто-то немцам.

— Есть же гады, — сказал Мишка Жидок.

— А ты что, на площади был? — спросил Ракитов.

— Так мы виселицы и сколачивали, — сказал солдат.

— И что, не стыдно тебе? — Жидок спросил.

— Так выбирать не приходится. Хочешь жить — вот и работаешь. А других они стреляют сразу. Делай, что скажут. В лагере мертвым золотые зубы дергают, и ничего.

— Ты, что ли, зубы дергал?

— Я не дергал. А другие дергали, — и глазом своим котиным — зырк по сторонам.

И еще солдат рассказал, что адвокат Медоусов перед казнью крикнул: «Советский Союз непобедим!» — а полицай Гусев его ударил в живот ногой. Медоусов упал, ему петлю на шею — и потащили.

Город Ржев разделен на четыре района, в каждом районе — свой полицейский участок. Полицайи из местных, из русских, им немцы не доверяют и оружия не дают. Полицайи обходят дома с плетками, поставляют неблагонадежных людей немцам — если подозревают в чем, бьют

плеткой, связывают руки и выводят на улицу, а немцы приезжают на машине, забирают в лагерь.

— Ты что, видел, как бьют и руки вяжут?

— Видел, как связанных в лагерь привозят. У ворот из машины выводят и раздевают догола — потом выдают одежду полосатую, у них специальная одежда, чтобы вшей не было.

— А ты, стало быть, в лагере был вольным — ходил где хотел?

— Получается так.

— А может, ты сам полицаем был?

— Нет, я строитель был, у меня диплом инженерный.

Построили лагерь сами пленные, немцы их торопили. Солдат сказал, что бараки не отапливают, бараки имеют только крышу — и люди мрут от холода. Замерзают насмерть. Трупы не зарывают, складывают окоченевшие тела на улице, во дворе лагеря, и когда поленница тел становится высокой, обливают бензином и палят.

— Что ж ты стен не построил?

— Что сказали, то и строил, — и глазом кошачьим вкось смотрит.

— А много народу мрет?

— В день человек тридцать.

Солдат рассказал, что в первые дни в лагерь согнали пятнадцать тысяч. За два месяца умерли три

тысячи человек.

— Замерзли, — сказал солдат. — А застрелили, может, человек сто, не больше.

— А кто считал?

— Староста.

— Страшно было? — Жидок спросил.

— Сметут большевиков. Сила идет.

Потом солдат спросил:

— А вы, значит, партизаны?

— Нет.

— Я так и понял, что не партизаны. А кто?

— Мы не партизаны, — засмеялся вор Ранкей, — мы, братишка, воры и убийцы.

– Теперь везде убийцы, – сказал солдат.

Ракитов посмеялся и спросил:

– Куда хочешь лесом идти, Кот? Думаешь к Москве вернуться? К линии фронта?

– Нельзя, – сказал солдат, – фашисты сказали, у нас ихним пленным теперь десять лет полагается. Даже судить не станут. Если из плена вернусь, дадут мне десять лет лагерей.

– А может, брехня? – сказал Жидок.

– Большевики могут.

– А ты что, не любишь большевиков?

– А ты их любишь? Они тебе

много хорошего делали?

— Мне никто хорошего не делал, кроме бабушки, — резонно ответил Ракитов. — Бабушка мне попку вытирала газеткой и кашку варила. Мамка померла, а папки-то не было. Вот бабушка мне хорошее делала. А с большевиков у меня спроса нет. Тебя что, к большевикам подкинули, а они тебе попку не вытирали?

— Большевики, если хочешь знать, эту войну и начали, — сказал Кот Полетаев.

— Это как?

— Если бы не колхозы, фашистов не было бы.

— Отродясь фашистов в колхозах не видел.

– Если бы не колхозы, немцы бы не испугались, что у них землю отнимут. И не стали бы воевать.

– Ну, ты загнул, дядя. Контуженный? Как придешь к красным, сразу говори, что тебя контузило. Скажи, в дом фугас попал – и тебя кирпичом по темени огрело. А про плен не говори. Очнулся в поле, скажи, подался к партизанам. Если не поверят – ты про колхозы рассказывай.

– Я не могу сказать, что был у партизан. Вы же не партизаны.

– Скажи, что партизаны.

– У большевиков все партизаны на учете. Все отряды переписаны, на связи с партийцами состоят.

Партизаны бы меня сразу выдали, — и солдат зыркнул по сторонам котиным своим глазом, словно партизан искал.

— Нельзя нам его отпускать, он про нас все растрезвонит, — сказал Жидок.

— Давай ему языкотрежем, — сказал Ранкей. — Сделаем как с теми полицаями.

— Можно, — сказал Ракитов. — Можно.

Они сидели вокруг костра и рассуждали: отрезать Полетаеву язык или оставить. Потом Кот Полетаев сказал:

— Не убивайте меня, я вам еще пригожусь.

– На кой ты черт нужен?

– А я тропки находить умею.

– Сам-то почему не вышел?

Солдат замолчал, ничего не ответил. Потом сказал так:

– Вот если весь народ как вы – не с красными и не с немцами, а сам по себе. Тогда в России хорошо будет.

– Весь народ так жить не может, – объяснил Ракитов. – Мы же не работаем. А народ работать должен. Работа идет по плану. Кто план людям даст? Партия.

– Сам народ пусть план и дает.

– Ну, попробуй. Для начала ты дай нам план – куда идти, чтобы к немцам не выйти. Надо рядом идти с немцами, но не вместе.

– А далеко идете?

– До Берлина.

– Далеко!

– Ничего, – сказал Ракитов, –

дойдем! Мы упрямые.

И опять молчали, грели руки у огня.

Потом солдат спросил:

– За коммунистов воюете?

– За щи с картошкой, – сказал молодой вор Голубцов.

– Про такую партию «Викинг» не слышали?

– Тут в лесу газет нету. Что за партия?

– Я сам мало знаю. А люди вот говорят. – И глазами желтыми всех осмотрел, проверял, знают они про

партию «Викинг» или нет.

И когда они тронулись в путь, Мишка Жидок сказал:

— А ты, Кот, лучше впереди меня иди, чтобы я тебя видел. Мне так спокойнее будет.

— Как скажешь, товарищ. — И солдат Кот пошел впереди. Шел, нагнувшись к земле, точно вынюхивал. Хотя что в снегу можно унюхать, непонятно.

— Ты что, правда лес знаешь? — Ранкей спросил солдата.

— Знаю.

— Если лес знаешь, что ж ты плутал в лесу десять дней?

— А мне в лесу лучше всего.

Так и шли они лесными

тропами: впереди Кот Полетаев, желтоглазый солдат, за ним Мишка Жидок, потом Ракитов, потом Голубцов, а замыкал Ранкей, самый осторожный. Иногда Кот оборачивался и зыркал своими котиными глазами на всю компанию:

— А не боитесь, что заведу в болото?

— Так ты сам первый потонешь.

— Может, и не потону, я слова знаю, чтобы не тонуть.

— Из волыны тебя достану. От пули тоже слово знаешь?

— Может, и от пули знаю, — и Кот оскалился, зубы у него были такие же желтые, как глаза, и слева имелся большой клык. Прямо как у волка:

Жидок даже вздрогнул – неприятная улыбка у вожатого.

– Иди вперед, – сказал Жидок, – а мухлевать станешь, я тебя – гранатой. От нее заговора нет.

– Пошутил я, товарищ. Куда же я вас, моих дорогих, заведу – мы же с вами земляки. Мы ведь друзья с вами.

И шли дальше. Только Мишка сказал Ракитову:

– Ты у него одежду проверял? Он с оружием?

– Ранкей его пощупал. Вроде чисто.

– Думаешь, не заведет?

– Так мы ведь сами с головой. Пока верно идем.

И опять шли долго, впереди — солдат, за ним Мишка, дальше все остальные. Спустился солдат с пригорка — и пропал. Мишка Жидок вертел головой во все стороны — нет Кота, потом Кот вышел из-за ели.

— А ты, — говорит, — уже испугался. Думал, я вас бросил, убежал.

— Куда ты убежишь, лес кругом.

— Много мест имеется. Ты сейчас на болоте стоишь, а того не знаешь. Иди правее, а то лед треснет — и поминай как звали.

Мишка взял правее, опять пошли узкой тропкой, впереди солдат. Опять солдат обернулся, глазом — зырк:

— Тебя почему Жидком зовут? Ты

что, еврей?

— А тебе что за дело?

— Так спросил.

— Евреев не любишь?

— Просто интересуюсь. Не хочешь — не отвечай.

И шли дальше. Прошли овраг, в котором под снегом — окоченевшие тела. Они снег отгребли — а там русские мужики лежат, старики деревенские. И убиты все пулей в затылок. Значит, деревня недалеко, а в деревне немцы: вывезли мужиков из деревни километра за три — расстреляли, в овраг свалили. Назад идти? Солдат посмотрел на убитых — сказал, что давно убили, может, месяц назад. Окоченели в мороз. Как

каменные. Стало быть, немцев уже, наверное, здесь нет — с тех пор фронт туда-сюда двигался. Ну что, дальше идем? Ракитов подумал, сказал, что прямо они не пойдут — свернут. Решили пойти в обход, от оврага забрали в лес, глубоко ушли. И шли полночи. Ушли далеко. А среди ночи за ними увязались волки. Волков было трое, большие, бурые — шли за ними след в след, не были. Терпеливые волки. Желтоглазый солдат подошел к волкам и сказал им что-то шепотом — волки подумали и ушли.

— Тоже ведь ребят жалко, — поделился Кот, — мерзнут собачки. И корма им мало, все солдаты съедают.

– А ты волкам что сказал?

– Сказал, чтобы по нашим следам возвращались. Часов пять пути. А там мертвые лежат. Поглодать кости можно.

– Ну ты даешь! А как ты с ними говоришь?

– Шепчу, бормочу – звери заботу понимают.

Шли всю ночь, рассвело. Они дошли до деревни Мешки, еще приблизились к Ржеву.

В деревне Мешки их пустили в избу три женщины, старуха – и две бабы помоложе.

– Вы, барышни, кем друг дружке приходитесь?

– А мы сестры родные. Ты

садись, милый человек, отдохни, — старшая сказала; старая бабка, лет семьдесят ей, баба Соня.

— К печке садись, — средняя сказала, ее звали Муся. Угловатая, ключицы торчат, руки как сучья; ну и жизнь у них, подумал Ракитов.

Самой младшей сестре, Зинаиде было сорок лет. Она сидела на широкой лавке, куталась в платок. Ракитову сказала так:

— Старшие сестры велели за тобой ухаживать. Давай постираю тебе.

Ракитов удивился:

— Когда это они сказали?

— Когда вы к избе подходили.

— В темноте нас увидели?

– Тут в лесу всегда темно. Мы привыкли, все видим.

Ракитов сел рядом с ней на лавку:

– Давай лучше я о тебе позабочусь.

– Это как?

– Муж твой на фронте, – сказал Ракитов, – хочешь, я тебе мужа заменю?

– Нету у ней мужа, – старшая ответила, баба Соня.

– У такой красивой мужа нет! Непорядок.

– Где мужчину взять, пусто вокруг. Мужики в городах живут.

– Значит, в городе искать надо.

– В город нам ходить не след,

там люди чужие.

— Фашисты, что ли?

— Теперь фашисты.

— А ты фашистов-то видела, бабка? — Ранкей спросил.

— И смотреть не хочу, милый. И нечем смотреть. — Ранкей только сейчас понял, что бабка слепая. Глаза у нее были прозрачные, голубые, почти белые, и смотрели пусто, странно.

— Прости, баба Соня, не хотел тебя обидеть.

— А на что тут обижаться, милый? Что мне надо, вижу.

— Что ты видишь, баба Соня?

— Друга твоего вижу хорошо. — Бабка повернула незрячее лицо в

сторону Кота.

Солдат Кот отвернулся, неприязненно махнул рукой.

— Еще порчу наведет, — сказал Кот, — слышал я про таких бабок. Сглазят, а потом на тебя дерево упадет.

— Как она тебя сглазит, если она слепая?

— Слепая! Притворяется. Все видит, ведьма.

Солдат завернулся в шинель и лег на полу. Он старушечьей еды он отказался:

— Подмешали, может, чего. Съешь такое варево, а потом ноги-руки отнимутся.

— Зачем им нас травить?

— Ведьмы лесные. Тут такое часто бывает.

— Где им отраву взять? Снег вокруг. Травы нет.

— Я лесной человек, такие вещи чую. Корни всякие варят. Ты про такие корни даже не слышал. Осторожным надо быть.

Однако Ранкей с Ракитовым поели плотно, а Мишка Жидок даже попросил:

— Можно добавки взять?

— Ешь на здоровьечко, — средняя сестра сказала, налила в глиняную плошку еще своей еды.

— Что вы туда намешали? — спросил Жидок. — Вроде и не мясо, и не морковка, не пойми что. А вкус

есть.

— А такая у нас мешанка, мешаем все подряд. Что найдем в лесу, то и перемешиваем.

— Вкусно!

Они легли спать на полу, причем солдат лег у самой двери.

Ночью Ракитов встал, прошел меж спящих товарищей, пересек избу, лег на лавку к Зинаиде. Откинул одеяло — укрывались сестры тепло, овчинной старой полостью — и потрогал теплую спящую женщину. Он давно не трогал женщины, несколько недель уже, и для него это был большой срок.

Ракитов провел жизнь в неуклонной праздности, наслаждаясь

забавами преступной среды. В числе прочих удовольствий были женщины, Ракитов относился к женщинам утилитарно. Нинки и Вальки столичной малины нетребовательны, отношения с ними просты. Ракитов кривился, когда видел пары, идущие под руку, – воркующих влюбленных презирал. Нинка и Валька могли рассчитывать на деньги, на снисходительное отношение – но недолго. Ракитов связи не длил, с барышнями никогда не разговаривал, полагал, что женщины глупее мужчин. В отличие от иных ловеласов, он никогда не говорил комплиментов, не целовал женщин, просто задира́л подол и лез рукой в

промежность. Как у всякого циничного человека, у него имелись простые приемы – как расстегнуть платье, погладить коленку, забраться рукой под юбку. Ракитов лег рядом с Зинаидой, провел рукой по ее груди – грудь была плоская, костлявая, как у мальчика.

Зинаида лежала неподвижно, в вульгарном словаре Ракитова такое бесчувственное отношение со стороны женщины передается термином «бревно». Ракитов пощупал плоскую грудь Зинаиды и спросил:

– Ты что как бревно?

– Я не бревно, – ответила Зинаида, – я все чувствую.

– Тогда почему лежишь как колода? Ты шевелись, подруга.

– Я думаю, – сказала Зинаида.

– Думать не надо, – сказал ей Ракитов, – думать утром будем, ты сейчас лучше ножки раздвинь.

– Некогда мне, Коля, я думаю.

– О чем?

– Думаю, куда тебе идти.

– Тебя просили думать?

– Мы всегда думаем, – ответила Зинаида, – такая семья.

– Интеллигенты? –

подозрительно спросил Ракитов. Он повидал в своей жизни чудных людей: семью Рихтеров, например. В городах встречаются чудики. Оказывается, в деревнях тоже есть.

– Ты с этим Котом лучше не ходи, он лихой человек.

– Откуда знаешь?

– Вижу.

– Что ж ты углядела? Ты его первый раз видишь.

– Мне сразу видно. И сестры видят. Он лихой человек.

– Разбойник, что ли? – Ракитов спросил насмешливо. – Я сам разбойник.

– Он не разбойник.

– Объясни. Шпион, что ли?

– Он не шпион.

– А кто он?

– Злой лесной человек.

– Ты меня не страшай, барышня.

Живете тут в лесу, мерещится вам

разное. Вы что тут, колдуете?

— Нет, не колдуем. Так знаем. Иди в город. Ты городской человек. В Ржев иди.

— К немцам? Чего я там забыл? Я лучше в Москву вернусь. Повоюю немножко — и в Москву.

— Иди в город Ржев и в городе воюй. Ты там нужен. А Кота прогони. Зло от него.

Ракитов подумал, что в словах деревенской бабы есть логика. В городе теплее, чем в лесу, устроится он всегда, а быть возле немцев — дерзко, но тем и привлекательно.

— Немцы подумают, что я партизан, и повесят.

— Не подумают. Не похож ты на

партизана.

— Тогда подумают, что вор. Они воров не любят.

— Скажи немцам, что ты артист. Фокусы можешь показывать? Я видела в детстве, один дяденька в город с фокусами приезжал. Карты угадывал. Ты так можешь?

— Могу. — С картами Ракитов обращался лихо.

— Так и делай. А я тебе всегда помогать буду.

— Значит, говоришь, в город идти?

— Рассветет, так и пойдете тихонько с горки, потом болото обогнете и прямо, все прямо иди — за два дня к Ржеву и придешь.

— А куда я там денусь? К фашистам в гестапо приду — вот он я, фокусы показывать явился?

— Ты, милый, ступай на улицу Парковую, дом пять, найдешь там Василия. Он тебе и комнату даст, и согреет.

— В гестапо не отведет?

— Он сам вор, вроде тебя.

— Подумаю. Интересно говоришь. А приласкать тебя можно?

— Так отчего не приласкать? Только мне мужской ласки не надо. Ты меня словом добрым приласкай.

Ракитов встал с лавки, отправился досыпать на полу. А утром они пошли к Ржеву — сперва пошли под горку, потом вдоль болота.

План был неплохой.

Свернули в рощу – а солдат от них отстал, сколько ни искали Кота – не нашли.

До Челябинска поезд шел шестеро суток; медленно ехали, подолгу стояли, пропуская составы с техникой, и к тому же потеряли сутки, пережидая налет немецкой авиации.

За Полоцком их нагнали «Мессершмитты», и как немцы долетели в такую даль — никто понять не мог. «Мессершмитты» — три истребителя с черными крестами на фюзеляжах — зависли над поездом, в котором ехали новобранцы, и расстреливали поезд из пулеметов.

— Хорошо, что «Юнкерсы» сюда

не дотягивают, — сказал один юноша, — забросали бы нас бомбами.

— Это разведчики, — значительно сказал плотный юноша Хрипяков, будущий штурман советской авиации.

Их везли в Челябинское военное училище штурманов и стрелков-бомбардиров, легендарное место, где юноши становятся героями воздуха. Срок обучения — год. Если целый год надо готовиться воевать — значит, война надолго, это уже почти все поняли. Некоторые юноши сетовали, что пока их обучают говорить «мама мыла раму», всех фрицев уже постреляют. Однако, увидев над волжской степью «Мессершмиты», эти юноши притихли. «По

санитарным вагонам фашисты бьют!» – кричали курсанты – на их поезде стоял красный крест, последние четыре вагона были с ранеными, которых везли в тыл. «По раненым бьют, уроды!» – кричали курсанты, но всякий думал: вот оно, за мной прилетели! В меня стреляют, меня сейчас убьют!

Лейтенант Пухнавцев и майор Чухонцев, ответственный за личный состав, провели разъяснительную работу. Лейтенант похлопал по плечу испуганных, майор прошел по вагонам, объясняя молодым людям, что истребители для поезда опасности представлять не могут. Майор объяснил, что пуля,

выпущенная из неподвижного пулемета, установленного в носовой части фюзеляжа, и летящая под углом (он показал, под каким углом к поезду летят «Мессершмитты»), не может пробить крышу вагона, а траектория стрельбы не позволяет фашистам попасть в окно. Про бортовые пушки, которые могли разнести вагон в щепу, майор предпочел не говорить. Следует сохранять спокойствие, сказал майор. Через некоторое время поезд подойдет к укрепрайону, где имеется прикрытие в виде зенитной артиллерии, там поезд остановится, и тогда мы «дадим слово артиллеристам», как выразился

Чухонцев.

Майор рекомендовал отнестись к данному случаю как к первому экзамену солдата – следует проявить выдержку и хладнокровие.

– Поезд остановится, по моей команде – не раньше, не позже – вы немедленно займете позицию под прикрытием насыпи. Лечь ничком.

Сгруппироваться. Раненые останутся в вагонах. В маловероятном случае возгорания вагонов раненых эвакуировать на носилках, – и майор указал, кому именно и что именно следует делать, чтобы не было толчеи в вагонных дверях.

– Винтовочку бы, – сказал

Хрипяков, – винтовочку бы, товарищ майор.

– Настроение одобряю, курсант, – сказал майор Чухонцев, – но дождись, пока сам будешь за штурвалом или сядешь у пулемета. Вот тогда ты его, гада, через прорезь прицела и увидишь. Сможешь себя показать.

Поезд остановился, будущие штурманы и стрелки-бомбардиры бросились вон из вагонов, залегли за железнодорожной насыпью; но пять человек побежали по полю в сторону далекого жилья.

– Стой, дурья башка! – кричал лейтенант Пухнавцев. – Вы советские солдаты! Стоять! Не сметь!

Но будущие курсанты, которые штурманами стать еще не успели, бежали прочь от поезда и от рева «Мессершмиттов».

— Догони их, Пухнавцев! — крикнул Чухонцев, и лейтенант Пухнавцев кинулся за беглецами через поле, а один из «Мессершмиттов» сделал разворот, перевалился через крыло и пошел за Пухнавцевым вслед.

Лейтенант лопатками почувствовал самолет, воздух вокруг лейтенанта загудел, вспенился, наполнился грохотом мотора. Пухнавцев обернулся, вытянул пистолет из кобуры — и не мог поднять руку, ужас сковал его.

Самолет неся прямо на него – низко над полем, ревел и плевался огнем.

Длинная пулеметная очередь ударила прямо в лейтенанта, подбросила тело, завертела, швырнула на землю, мертвого. Следующие две очереди расстреляли пятерых курсантов. От насыпи было видно, как из головы у одного курсанта ударил фонтан крови – от прямого попадания. Соломон не видел лица – но ему показалось, что это тот самый юноша, с которым они делили хлеб за вчерашним ужином. Вчерашний юноша назвался Володей Кондаковым, он готовился стать архитектором.

– Кегли, – сказал неожиданно

толстый юноша, лежавший рядом с Соломоном. — Как кегли.

Больше он ничего не сказал, закрыл голову руками, вжал лицо в камни и щебенку насыпи и дрожал, мелко тряслось все его полное тело.

Соломон приподнялся на локтях и глядел, как фашистский самолет ушел вверх, и тут от далекого жилья, где, видимо, находился укрепрайон, ударили три пушечных выстрела. Звук был такой, как от тяжелой работы, — кто-то бил с натугой, с усталостью — бац! И еще — бац! Бац! Самолет вспыхнул сразу весь, и черное облако закрыло его от курсантов.

Два оставшихся «мессера»

улетели, горизонт опустел. Они перенесли тела в вагоны с ранеными; майор Чухонцев закрыл открытые глаза лейтенанту Пухнавцеву.

— По вагонам!

И так они ехали еще четверо суток. Володя Кондаков нашелся — значит, не его убили. Соломон обрадовался.

За чаем Хрипяков сказал:

— Вот учись на штурмана и стрелка, если тебя одним выстрелом прихлопнуть можно.

— Ты что, фашиста пожалел?

— Я вообще про авиацию. За авиацию расстроился.

— Был бы хороший пилот, он бы себя подбить не дал, — ответил ему

курсант Кессонов. – Фашисты только в поезда с ранеными стрелять молодцы. А я, когда обучусь, асом стану, я эти «мессеры» на воздушную дуэль вызывать буду – сразу пятерых буду убирать. Я такие самолеты стану водить...

– Ага. Герой.

Челябинское авиационное училище штурманов и стрелков-бомбардиров находилось в четырехэтажном здании вроде усадьбы – с фасадным особняком и двумя пристройками, с двенадцатью толстыми колоннами в коринфском стиле.

– В каком стиле? – переспросил Хрипяков.

– В коринфском стиле, – объяснил Соломон, – ты у Кондакова, архитектора, спроси.

– Тебе экскурсии водить надо. Я тебя после войны в наш Дом культуры порекомендую.

– Спасибо, – вежливо ответил Соломон Рихтер.

Позвали в столовую.

Дневальный вывалил на общий стол неровные куски хлеба – и майор Чухонцев сказал коротко: «Самолеты!»

Это было задание на скорость, упражнение, развивающее реакцию.

По этому сигналу будущие штурманы и стрелки-бомбардиры кидались к столу и хватали куски,

кому какой повезет ухватить. Самым стремительным доставались самые большие куски.

— Вперед! — Соломона толкнул меж лопаток Кондаков, а Хрипяков оттолкнул обоих и пробился к столу раньше всех. Но Рихтер не хотел бороться за хлеб. В этот самый момент Соломон Рихтер принял решение, которое определило его дальнейшую биографию: он решил не участвовать в соревнованиях за блага. Он стоял и ждал, пока борьба за хлеб закончится, а потом взял со стола последний, самый маленький кусок хлеба.

Война — это большое горе, которое дается всем и сразу на всех,

здесь нельзя выбрать лакомый кусок.

Соломон написал про это стихи, но потом выбросил — не понравилось. Он хотел отправить стихи Татьяне — про свою жизнь на Урале, про реку Миас, про то, что все люди сегодня должны быть вместе, даже если их разделяет горный хребет.

Запомнил два четверостишия:

Война — это судьбораздел,
Нас вихрем она разбросала.
Мы нынче все и везде:
Я — льюсь по отрогам
Урала.

Чтоб ни были мы и где б,

Но только б землю России
Реки наших судеб,
Иссохшую, оросили.

Чтобы так случилось, чтобы
спасти Родину, так думал Соломон —
надо очень много знать, надо все
понять про историю России и
Запада, про революцию и
коммунизм.

Соломон Рихтер написал своему
отцу письмо: «Я хочу прочесть все
книги на свете. Если я буду жив, если
мы уцелеем в этом огне, отец, — я
хочу однажды сесть рядом с тобой и
рассказать тебе все, что я понял
здесь, на Урале».

В летном училище обнаружилась библиотека, и книг было много, и, как ни странно, много книг по истории. Соломон брал с собой на пост дневальной книги Гегеля и читал — клал книгу на тумбочку под настольную лампу, а сам стоял по стойке смирно и читал с высоты своего роста.

Почему случилась война? Непримиимые противоречия между капитализмом и социализмом. Надо сказать это простыми словами, иначе мысль останется непонятной; люди живут и не знают: социализм у них или капитализм; люди понимают только про бедных и богатых. Если богатых в стране много и они

угнетают бедных — значит, в стране капитализм. А если все равны и небогаты — значит, в стране социализм. В России и Германии богатых сейчас нет. А война тем не менее случилась.

Но Германия еще воюет с Англией — а в Англии уж точно не социализм. Значит, если война — это противоречия социализма и капитализма, Германии надо воевать или с Англией, или с Россией. Но не одновременно с обеими, а то нет никакой логики. Получается странно: весь мир воюет, но если сказать «противоречие социализма и капитализма» — это опишет только малую часть всего мира. Значит,

должна быть другая причина. Должна найтись причина, которая объясняет все конфликты сразу, все должно быть подчинено главному вопросу. Это же мировая война!

Причина мировой войны может быть только планетарного масштаба.

Скажем, выстрел в Сараево, который произвел сербский националист, — это не настоящая причина войны. Выстрел Гаврилы Принципа — это предлог, такой же трюк, как мнимый поджог Рейхстага, как провокация на границе. Сейчас в газетах много пишут о провокации на польской границе, которую устроили гитлеровцы в 1939 году — но не провокациями следует мерить

историю, а реальными историческими идеями. Даже вступление Гитлера в Польшу – не реальная причина войны. Причина должна быть масштабнее – ведь речь идет о мировой войне, о большом событии.

Прежде говорили о мировой революции, говорили про мировой пожар, имели в виду единую важную мысль, которая всколыхнет весь мир, объединит всех людей из разных стран. Это будет единый порыв, общий костер. Общий пожар разожгли – только это другой пожар. Мировой революции не произошло, вместо нее случилась мировая война.

Так устроили нарочно, чтобы не

было мировой революцией. Мировую войну — затеяли взамен мировой революции. Один пожар — вместо другого пожара.

Надо это понять хорошо. Еще раз, медленно: эта мировая война произошла вместо мировой революции. Для того чтобы не было мировой революции, сделали мировую войну. Вот так понятно.

Что общего между мировой революцией и мировой войной? То, что оба явления — мирового масштаба.

Война — это стихия, такая же, как революция, — война горит и дымит, вспыхивает и гаснет, перекидывается с города на город, со

страны на страну, затопляет огнем страны, выжигает поля, движется, колышется, вскипает волнами пламени — и если мы скажем, что причиной возникновения океана огня является случайная спичка, мы ошибемся. Требуется найти и назвать большую причину — настоящую проблему такого размера, чтобы мировая война зависела от разрешения этого вопроса.

Мировую революцию готовили пятьдесят лет — писали собрания сочинений; значит, чтобы заменить революцию стихией войны — надо было так же усидчиво готовить войну.

Будет Польша независимой или

не будет, войдет Германия в Австрию или нет — здесь нет подлинной причины. Причина должна быть очень простой — такой же простой и важной, как тот факт, что земля круглая.

Обычно, анализируя исторические события, мы не замечаем самого очевидного — так, на карте мы долго не можем разглядеть название, написанное крупным шрифтом, зато видим маленькие деревни и села.

А что написано крупным шрифтом — смотри внимательно, Соломон!

Курсантов отвезли в городок Копейск, в пятидесяти километрах от

Челябинска; туда эвакуировали Воронежский драматический театр. Они смотрели «Макбета», особенно хорошо играла леди Макбет — поразительно красивая женщина, актриса Валентина Гулыгина. Когда Соломон смотрел на Валентину Гулыгину, он даже забывал про Татьяну.

А когда ехали обратно, шофер поехал другой дорогой, мимо столбов с проволокой и вышек с часовыми. И за столбами курсанты увидели почерневших от голода тощих людей, которые клали кирпичный сарай. Конвоиры целились в них из ружей, а вокруг плясали овчарки.

Им объяснили, что это колония

для уголовников, преступников
против социалистической
законности.

Ночью Соломон написал письмо
своему соседу по дому – Фридриху
Холину:

«Дорогой Фридрих!

Когда я пишу твое имя, меня
охватывает волнение, словно
прикасаюсь к образу Энгельса,
словно страстная мысль о будущем
человечества сконцентрирована в
твоем имени.

Увы, я не могу подписаться
именем «Карл» – а когда ставлю свое
еврейское имя «Соломон», имя
библейского царя, испытываю стыд –
тогда и твое имя превращается в

царское, вспоминается Фридрих Прусский или еще кто-то из этих королей, принесших столько зла своей гордыней.

Мы в уральской степи, за нами горы, поросшие лесом кряжистые горы — откуда пришли русские сказки.

Горы похожи на поколения людей, камни нарастают на камнях, породы наслаиваются друг на друга, — и когда возникает гора, это становится портретом народа, Фридрих. Когда мы говорим о горнем как о духовном — мы тем самым, считаю я, говорим, что человек — состоит из многих людей, уникального духа не бывает. Люди —

это части большой горы.

В эти дни я много и часто думаю о зряшности жизни. Помнишь ли у Пушкина: дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?

Сегодня, когда жизнь можно потерять в одну минуту — она перестает много значить и вместе с тем становится такой важной, если понимаешь ее истинную цену.

На моих глазах убили пять человек, Фридрих. Это были молодые люди, которые хотели и могли жить.

И затем, сегодня я видел несчастных людей, лишенных свободы. Не знаю, какое

преступление они совершили, — но уверен, что обращаться так с себе подобными люди не должны, не имеют права. Ведь тем самым мы разрушаем нашу общую гору.

Я рад, что стану штурманом. Уверен, что в этом найдет смысл и мое имя, и моя мечта о философии и знании. Разве философ — не штурман? Разве небо истины не нуждается в том, чтобы проложить в нем путь? Я буду работать и воевать для того, чтобы никогда в мире не было заключенных. Ни одного. Нигде.

Фридрих, ты избран стать «свидетелем». А знаешь ли ты, что слово «мученик» и слово

«свидетель» на греческом значат одно и то же?

Царь Фридрих, к тебе обращается с коммунистическим приветом царь Соломон.

Разумеется, это шутка, — ты знаешь, что наша общая мечта — избавить мир от угнетения и царской власти».

Это письмо по адресу доставлено не было — его передали в Особый отдел.

— Гнусность, — сказала Фрумкина.

Ей доложили, что Фридрих Холин в запое.

— Не понимаю.

— В редакции отсутствовал, так как был в запое.

Она подняла голову от корректуры, спросила резко:

— Что значит — в запое?

Прекратите паясничать.

— Пил водку. Три недели подряд.

— Гнусность.

Придумал про запой Щербатов. По-соседски зашел в квартиру Холиных — он проживал теперь

напротив — и сказал:

— На службу тебе явиться надо с удовлетворительным объяснением.

— Что ж мы скажем? — причитала жена. — Фрида, ты скажи, я заболела и ты за мной ухаживал. — Ни слова про уход из дома она не проронила.

— Не могу я врать.

— И не поверит никто, — сказал Щербатов. — Если так начнешь врать, дело в комендатуре окажется через пять минут.

— И что с ним сделают?

— Шлепнут.

— Как это? Как? — Жена закрывала мужа руками от комендатуры.

– Пусть, – говорил Фридрих Холин, – пусть. Я виноват. Я совершил такую подлость.

– Родной мой! Родной, – говорила жена и прижималась к груди Холина. – Не думай о плохом. Ты с нами. Мы вместе. И Пашенька так тебя ждал. Важно, что мы все вместе, родной.

– Из-за меня вы не уехали в эвакуацию.

– Это не важно, это совсем не важно. Наше спасение там, где ты.

– Судьбу не искушай, Фрида, – сказал Щербатов. – Говори, что пил. Это все поймут.

Взял Холина за ворот, рванул, оторвал три пуговицы на рубашке.

– Так и ходи. Руками у ворота придерживай. Вообще, лучше ничего не говори – пришел, сядь в угол и молчи. С бодуна люди не болтают.

– А как я про запой скажу?

– Сами поймут.

С искаженным лицом и в рваной рубахе явился Фридрих Холин в редакцию и сел в угол. Мысль о том, что надо лгать, была отвратительна, но страх наказания пересилил стыд. Холин страшился, что его отдадут под суд как журналиста военного времени (сам придумал такую статью обвинения), и лицо его шло красными пятнами. Рассказывали, что дезертиров расстреливают. А я ведь дезертир, говорил он себе.

– Пил?

– Да.

– На человека не похож. Прежде с тобой такого не было.

– Не было.

И верно, думал Холин, прежде не было. Не предполагал, что так низко упаду.

– От страха, да?

– Не знаю.

– От страха, понятно. Что ж тут объяснять!

Он привалился головой к стене. От страха, конечно от страха, думал Холин, я ведь спрятаться хотел. Красное лицо его дергалось.

– На человека не похож. Скажите там Фрумкиной. Пусть к

врачу направит.

– Лечить еще скотину!

– Сорвался человек.

– Ты от жены, что ли, ушел?

– Не знаю.

Он и впрямь не знал. Сначала ушел, потом вернулся, жена приняла. Но я не от жены уходил, я от войны прятался, думал он. И неожиданно понятия эти – мобилизация и семейные обязанности – сопряглись в его мозгу.

Фридрих Холин думал: война началась из-за меня. Я разрушил малое единство – и цепь падений привела к войне.

Разводов в религиозном сознании нет, в католической Италии

и православной России разводов нет, и христиане правы: семья — это навсегда. Когда начинаем ломать уклад одной семьи, мы ломаем общий порядок.

Предавая одного человека, предаешь всех людей. Вот потому и война.

Я вернулся, но все уже сломано; мне остается умереть; пусть пошлют на передовую, на ржевское направление.

Что для этого надо сделать? Какие-то заявления, наверное, пишут?

Его вызвали к Фрумкиной.

— Дезертировали? — сказала Фрумкина, прямо глядя вороньими

глазами.

— Нет, — сказал Холин и поперхнулся.

— Решили пополнить ряды беспризорников и беженцев? Правительство тратит средства и кадры, чтобы держать под контролем проблему. Но такие, как вы, добавляют хлопот.

— Какую проблему? — Холин ничего не понимал, вел себя как пьяный: он думал об армии, а Фрумкина говорила о ссыльных, репрессированных и переселенных народах. Тогда говорили так: «наказанные народы».

— Вы в газете. Не в богадельне. Вы работаете в газете страны,

вступившей в бой с врагом.

— Какие беспризорники? — Мутное лицо Холина еще более покраснело. — У нас во дворе беспризорники не живут. — Как пьяный говорил.

— Вдоль линии фронта — тысячи нетрудоустроенных деклассированных элементов. Попрошайки, беспризорники, бандиты, недобитые кулаки. Как и внутренний враг, как скрытые шпионы — эти бродяги есть резерв врага, они рекрутируются в фашистские полицаи, в легионы СС.

Фрумкина преуменьшила масштабы. Не тысячи, но без малого полтора миллиона лишенных крыши

и средств к выживанию брело по
холодным дорогам. Их гнали
отовсюду, и так шли они, никчемные,
по российским дорогам — от
спецпоселения до трудового лагеря,
от барака к эшелону. Масса евреев
хлынула через границу Польши, едва
туда вошла Германия, но Россия не
приняла их, некуда их было селить, и
евреи разбрелись вдоль границ,
пробираясь к югу, в ожидании
немцев, которые шли по пятам.
Белорусы, украинцы, поляки — те, что
не приняли немцев и успели
скрыться, — бежали со своим скарбом
в Россию, а немцы шли по пятам.
Берия, нарком НКВД, писал
отчаянные приказы о

трудоустройстве сотен тысяч беженцев, но трудоустроить их было некуда, и евреи ждали гитлеровцев, которые приспособили их рыть рвы друг для друга. Начиная с 1923 года — с первых массовых переселений корейцев, финнов и поляков, — сотни тысяч отправляли спецсоставами с места на место, согласно концепции принудительного труда. Их гнали в Казахстан и Калмыкию, татар и немцев, армян и курдов, а потом и семьи кулаков, осадников, осужденных и просто несчастных бездомных, которых брали в вагон для комплекта, для выполнения плана. А потом пришли фашисты — и место сразу нашлось для всех.

— Пошлите меня
корреспондентом на передовую, —
сказал Холин, — искупить хочу.

Фрумкина поглядела
презрительно:

— Кому нужен такой
корреспондент? Иди почту разбирай.

Сделать революцию – хорошо, но недостаточно: враги могут разрушить свободную страну. Защищать власть рабочих в боях необходимо, но этого мало: утром врага прогонишь, а враг придет ночью, когда армия спит. Надо ежедневно охранять государство от диверсантов и шпионов.

Работа чекиста – самая трудная и важная.

Соломон Рихтер объяснил во дворе ему и Фридриху Холину, как устроено идеальное государство, если по Платону. Древнегреческий философ хотел, чтобы правили

миром философы, вот как у нас правил Ленин, или теперь – Сталин. Надо, чтобы в мировом масштабе главная власть перешла к мудрецам, а не к политикам-интриганам. Есть граждане, склонные к размышлениям (Щербатов в этом месте подумал, что Рихтеры как раз такие граждане). Пусть эти философы направят энергию своей мысли на мировые законы. Если в мировом масштабе эти умы возьмутся выдумывать законы – сразу жизнь наладится.

В сущности, коммунистическая партия задумана как собрание выдающихся умов. Партийцы – философы, они принимают решения.

Мудрецы пишут правила, а люди

работают, служат общему делу. Каждый несет свой труд в копилку общества. Если народу не объяснить, как именно поступать, простой человек может пойти неверной дорогой. Пойдет воровать, будет лентяем, пьяницей. (Есть у нас такой знакомый – Коля Ракитов, подумал Щербатов. Парень неплохой, но непутевый. Простой народ – что с него взять?). Но если развивать в народе знания и трудолюбие – люди станут единой семьей.

Детей воспитывают сообща. (Например, в пионерских лагерях и школах. Или вот в нашем дворе.) Детей надо собрать в общий лагерь. Иначе один ребенок вырастет в

богатой семье и станет жадным, а бедный ребенок будет завидовать. Так общества равных не получится.

Рядом с рабочими есть поэты и художники, которые воспевают их труд. (Ну, например, Фридрих Холин — он с детства стихи пишет и в газете работает, талант явный у человека.) Рабочий работает, поэт пишет стихи про его подвиг, а журналист сочиняет статью в газету, чтобы все знали, как рабочие работают. Людям труда — почет, а детям — пример.

Но ведь надо и охранять философов, тружеников и поэтов. Для этого существует специальный отряд в обществе — Платон назвал этот отряд «стражи». (Например,

семья Дешковых – типичные стражи, они с пеленок в армии.) Стражи охраняют людей от врага – сражаются с другими армиями, это внешние стражи. А другие стражи следят, чтобы внутри общества был порядок. Поэт напишет дурные стихи, научит детей плохому – будет пропагандировать пьянство. Надо такого поэта остановить. Или журналист станет писать неправду – надо такого лгуна одернуть. Или труженик станет воровать. Или философ попадется хитрый: придумает закон, чтобы все добро несли ему одному. Для того чтобы общество всегда следовало справедливости – вот для этого

нужны внутренние стражи. (Например, такие, как я, подумал Щербатов, который решил служить в ОГПУ.)

И когда общество будет связано принципом равенства и взаимной ответственности, когда у людей будет твердое правило взаимной заботы – вот тогда можно говорить, что существует свободная республика, наше рабоче-крестьянское государство. Потому что свобода – это не личное удовольствие, но исполнение общественного долга, долга перед всеми людьми на свете. Ты должен помогать старым и малым, должен уступать беременным место в трамвае, должен работать на

благо Родины — это твой долг. Твой долг — это и есть твоя свобода. Тут все одновременно. Нельзя быть свободным помимо выполнения своего долга.

Это рассказал Соломон Рихтер, а Фридрих Холин ему тогда возразил, Холин прочел вслух стихи Пастернака — что-то по поводу «вакансии поэта», мол, зачем в дни великого совета оставили вакансию поэта — это опасная должность! Дескать, пока философы принимают решения, что поэту делать? Ждать от старших указаний, или можно самому писать, что в голову придет? Да и Щербатов решил съязвить, спросил: значит, если я беременным

тетям место не уступаю в трамвае – я не свободный человек?

Соломон сразу отрезал: нет, тогда ты не свободный. Обыкновенный хам трамвайный.

И Холину он тоже резко ответил. Сказал, что есть три стадии организации людей – личное становление, гражданское общество и государство. И вот получается так, что гражданское общество – уже почти достаточное объединение: люди договорились, каждый делает свое дело, и у них есть связи. Но если нет общей идеи, которая поверх цехового интереса – получится корпоративное общество, союз жадных цеховиков, и тогда власть

легко захватит сильный и злой правитель. А государство имеет свою идею, идея государства выше корпоративной морали, идея государства — это идеал развития человека! Вот этой идее общество и следует. Холин на это ему возразил: а как же «свободное развитие личности — условие свободного развития всех»? Манифест-то читал, философ, или только Платона с Гегелем? А как же «персонлихкайт», если ты понимаешь, Соломон, что я имею в виду? И вообще, если следовать идеям марксизма, государство должно отмереть. Государство — получается лишнее, а свобода личности — на первом месте!

Тут Соломон разозлился, стал кричать, что не следует путать Бакунина, авантюриста и шарлатана, с немецкой классической философией! И вообще, довольно демагогии! Пастернак, Бакунин, Маркс – все в одну кашу!

Но Щербатов не вслушивался в спор – он уже думал о своем выборе. Как важно точно найти свое место! Работать в органах – это решение на всю жизнь. Как важно служить именно государству, именно обществу – а не просто начальнику. Это самое главное в работе сотрудника органов госбезопасности. И Щербатов отнесся внимательно к своему выбору, изучил вопрос

досконально.

Щербатов вступил в ответственную должность уже при Берии — его товарищи смеялись над нерасторопностью Щербатова, неумением продвинуться по службе; однако эта нерасторопность, по всей видимости, спасла ему жизнь. В год великого перелома, когда партийные фракции и группировки были одна за другой уничтожены, а фракционеры и уклонисты — расстреляны, когда ОГПУ оказалось вовлечено во фракционную борьбу — и кара постигла тех чекистов, что связали свои надежды с Рыковым или с Зиновьевым, — в этот страшный миг Щербатов уцелел. Иные сказали бы,

что ему повезло и в том, что репрессии тридцать седьмого года творились без его участия: мол, не замаран. Но основное везение заключалось все же в ином — он умудрился не примкнуть к группировке Ягоды или Евдокимова, не связал карьерного роста с Трилиссером или Ежовым, и когда расплата настигла ретивых вожаков ЧК, его никто не тронул.

Сам Щербатов не завидовал своим старшим успешным товарищам, которые успели выслужиться, войдя в доверие к легендарным Блюмкину или Агранову. Щербатов, как и прочие

рядовые курсанты, знал о невероятной власти, сосредоточенной в руках Агранова и уж тем паче Трилиссера; он наблюдал за личной охраной Ягоды, видел молодцов из Дивизии особого назначения при ГПУ; однако никаких усилий для того, чтобы войти в ряды избранных, он не предпринял.

Слышал он, как в двадцатые годы бойкие курсанты старались попасть в отряд спецпоезда Льва Троцкого; был такой бронепоезд, оборудованный пулеметами и пушками, библиотекой, тюрьмой и палачом, — и при поезде существовала легендарная охрана, облаченная в узкие желтые кожанки с

железной бляхой на левом рукаве, люди привилегированные и отчаянные. В эту грозную «кожаную сотню» всякий хотел войти. А потом несладко пришлось бойцам — когда Троцкого разоблачили. Этот урок надо вызубрить и не торопиться. Историю затем и пишут, чтобы внимательно смотреть — кто где ошибался.

Двадцать лет, миновавших после смерти вождя пролетарской революции Ленина, — были годами внутрипартийной борьбы: самовластие Сталина, который лишь к 1937 году сумел уничтожить оппозицию, — преувеличивают. Скорее система правления

напоминала триумvirат Августа, Марка Антония и Лепида — председатель Совнаркома Рыков, первый секретарь компартии Сталин, глава Коминтерна Зиновьев. Вот они, вожди; а старший из вождей — Григорий Зиновьев, потому что советская коммунистическая партия — только часть большого Коммунистического интернационала. И в Берлине, на съезде Коминтерна, будет решаться — как идти мировой революции. Власть членов триумvirата зависела от шатких договоренностей, от зыбких отношений с сотней вождей помельче. Троцкого они сумели отодвинуть в сторону, Каменев с

Зиновьевым поддержали кандидатуру Сталина на пост первого секретаря, но главный пост, пост вождя Коминтерна, оставался за Григорием Зиновьевым.

О, как возбудились вожди после смерти Ильича! Как занервничала страна! Мужики и бабы стояли в очереди к гробу – поглядеть на того, кто обещал их всех спасти, да не успел; а вожди и лидеры ринулись заключать союзы и контрсоюзы, подписывать друг с другом пакты о ненападении, засылать шпионов в лагеря противника. Ну чем не отношения Германии и России, Британии и Франции? Точно так же, как большие страны, большие люди

срочно организовывали системы личной безопасности; и поскольку каждый из них был как большая страна – вот и получилось, что организаций госбезопасности у нас много. Десятки отделов и подотделов госбезопасности возникли по стране, приписанные к разным ведомствам.

В те годы всякий курсант училища ОГПУ был в смятении; подростки не знали – в какую охрану идти, в какое подразделение записываться. Главным, судя по всему, оставался Лев Троцкий – его роскошный дворец в Архангельском («русский Версаль», как его именовал сам Лев Давидович) многим чекистам казался

средоточием власти — мало ли что там решат в Кремле, а Лев Давидович все перерешит по-своему. Всесильный председатель Реввоенсовета, наркомвоенмор, жестокий и крикливый, — он ходил, окруженный плотным кольцом охраны, а телохранители косились по сторонам — в кого бы пальнуть. Многие считали, что Троцкий завтра возглавит страну — и сам Лев Давидович так думал.

Большевики собрали пленум и осудили мелкобуржуазные уклонения Льва Троцкого, но Демон революции был еще силен, а его изгнания в Алма-Ату еще ждать и ждать. И кто знает, какие пружины он умеет

нажимать, этот опытейший человек, с кем он связан договорами о ненападении и взаимовыручке? Курсанты ОГПУ колебались – а ну как новое решение возникнет? И сколько других возможностей имелось! Рыков, председатель Совнаркома; Томский, глава профсоюзов; Пятницкий, организатор международной коммунистической общественности; председатель московского ЦК Каменев; Фрунзе, сменивший Троцкого на посту наркомвоенмора, – у каждого было столько власти, что люди ужасались их возможностям. Власть российскую рассыпали, вывалили

власть на пол, власти было много, до поры до времени ее хватало на всех — и безумные люди ходили по колена во власти, полными горстями зачерпывая золотые монеты вседозволенности.

Расстрелы заложников и пытки подозреваемых и весь так называемый «красный террор» — возникли не как свидетельство жестокости одного самодержавного жестоковыйного человека, но как свидетельство брожения власти, перегноя многовластия. Власть в одночасье стала рыхлой и пьяной — и скрепить ее могла только кровь. Всякий из вождей желал удостовериться в том, что он тоже

распоряжается жизнями смердов, ему тоже полагается по штату пытаться и пороть, — и всякий лидер желал утвердиться в своем величии, лишая людей жизни.

Рассказывали, что охрана Зиновьева выволокла троих моряков прямо из кабинета вождя и во дворе дворца расстреляла (Зиновьев занимал Белый дворец, ныне Музей естественной истории в Петербурге) — может быть, враги народа соврали, и такое бывало часто. А еще рассказывали про Троцкого — как он влет подмахивал расстрелы, как его молодцы врывались в дома и выволакивали людей на улицы. Врали?

Придумывали подробности вдовы белогвардейцев в своих слезоточивых мемуарах? И про ленинское предписание взять заложниками семьи белых генералов тоже ввали? Вожди и их дружины обрастали слухами, как новгородские и киевские богатыри – былинами.

Вплоть до наших дней дошли сказания о бронепоезде Льва Троцкого, об охранниках Якова Свердлова, о расстрельных приказах Зиновьева, в младенчестве нареченного Григорием Апфельбаумом. Точно предания о княжеских дворах и безрассудствах удельных князей, сохранились свидетельства о том, как собирали

пролетарские вожди дружинников под свой красный стяг; их иногда называют варягами, этих безродных пришлецов, в одночасье ставших командирами и препоясавших чресла своих дружинников ремнями и маузерами. Назвать их варягами, чуждыми благостных обычаев родной земли, несправедливо: к тому моменту, как стали отдавать свои расстрельные приказы, они были уже обучены, рассмотрены и слышаны — уроки управления народом им преподали именно в отечестве. Их воспитали кровопийство Русско-японской и Первой мировой, столыпинские лекарства, даденные матери-России, Кровавое

воскресенье и благодный царь, отправивший русский народ на бойню с добродушным напутствием. Совестьливый застенчивый человек, поименованный Струве «палачом народа», взирал на вверенные ему пространства с недоумением; схожее недоумение испытывал и вечно бухой президент освобожденной от большевиков России; обкомовский либерал точь-в-точь так же недоумевал: «Этта што ж получается? Мы им свободы, а они, панимаешшь, гражданскую войну?» В отличие от обкомовского либерала, Николай не пьянствовал в то время, как курляндские лесные братья начали резать немецких помещиков,

а на Кавказе началась армянская резня, — царь лишь маялся и недоумевал. Рабочие бунты, марксисты, денежные махинации... как не любил брезгливый царь денежные махинации, всю эту финансовую нечистоплотность... как горевал он, глядя на бедность своего народа... но не об финансистов же мараться, право! Проще было отправить миллионы подданных на войну, чтобы их покалечили и убили. И он отправил. То была «шоковая терапия» тех лет, как выразились бы сегодня либеральные министры. И миллионы русских людей пошли умирать ни за что, ни по какой причине, из-за растерянности этого

совестливого человека, личную гибель которого оплакивают в церквах. Подозревая «варяжскую» нелюбовь к Отчизне у апфельбаумов, бронштейнов и розенфельдов, — историки не поминают, что реальные варяги в то время существовали; это были именно варяги, а вовсе не безродные авантюристы: Вильгельм, Георг и Николай, кайзер, король и император, кузены и родственники, германское фамильное древо, протянувшее ветви по миру. То, что некоторые историки называют «семейной войной», было в гораздо большей степени варяжским состязанием, нежели авантюры безродного Апфельбаума. Именно

варяги и вели Первую мировую, – а то, что возникло на пустырях побоища, возникло благодаря деятельности коронованных варягов. Однако император остался в преданиях слабохарактерным святым, а его убийцы сделались примером инородцев, надругавшихся над нелюбимой страной. Впрочем, и безродные бродяги постарались; в те годы им не под силу было истребить равное количество народу одним росчерком пера – царские масштабы лишь грезились, – дружинники пробавлялись групповыми расстрелами. Народные баяны рассказали нам именно о новых дружинниках; о том, как явился в

престольный град Апфельбаум-млад
и кликнул клич, собирая
стервятников: мол, стекайтесь со
всего света на брашно! И приехали
дружинники, приехали да и
растерялись: слишком много
княжеских теремов в Москве, и в
каждом тереме по князю — кто
профсоюзами ведает, кто армией, кто
национальным вопросом. И в
точности как за шестьсот лет до
этого люди азартные тщились
угадать, который из князей будет
старшой; ведь непонятно — на князе
это не написано. Так разбрелись
дружинники по разным теремам.
Какой побойчей будет — тот подался
к Троцкому, а кто работы не боится —

пошел к Дзержинскому, а какой поосанистей — тот в хоромы к Зиновьеву, который, как рассказывают, любил роскошь. И у Алексея Рыкова, и у Якова Свердлова имелись свои собственные подразделения вооруженных людей, верных и страстных, готовых на многое, — в точности как сегодня имеются преторианцы у новых русских богачей, растащивших империю по улусам. Кто желал послужить Якову Свердлову, тот шел в Особый отдел ВЧК, а в этом отделе не буквально те же порядки, что в окружении Дзержинского. Когда Енох Ягода прибыл в Москву — он растерялся: делать жизнь с кого, с

Феликса ли Эдмундовича? Или
прибиться к другой команде? И
какого покровителя выбрать? И как
пожелания покровителя согласовать
с буквой пролетарской законности?
Лишь когда он выбрал покровителя —
и согласовал действия покровителя с
буквой законности, вот тогда
насилие над врагами стало
привычной неопасной процедурой.
Расстреливали прямо во дворе
канцелярии. И при каждом дворе
крупного чиновника тех лет —
столовалась собственная дружина, и
пролетарская законность не всегда
заглядывала в эти дворы. Во всяком
дворе лежали трупы, и приказов
расстрельных было подписано

немерено — согласовывать с решениями Совнаркома
необязательно: удельный князь
решал, а еще чаще — дружинники.

Вожди толкались плечами и локтями, дышали друг другу в затылок, а их личная охрана — многоликая и оттого еще более опасная — охотилась друг за другом.

Те, кто сделал ставку на Рыкова, и те, кто поверил в звезду Троцкого, — это были разные люди, и амбиции их вступали в непримиримую вражду.

Иногда дружинники, представлявшие разные княжеские дворы, встречались в ресторанах, кутили и пели удалые песни, плясали и подписывали в пьяном виде

расстрельные приказы — а со стороны могло казаться, что это пирует одна шайка.

Но нет, как и в Германии тех лет, где абвер и ведомство Гейдриха, гестапо и СС находились в постоянной конкурентной борьбе; так и личная армия Троцкого, и люди Зиновьева, подразделения, верные Менжинскому, и гвардия Свердлова, люди Трилиссера и ставленники Ягоды — отнюдь не олицетворяли обобщенную пролетарскую законность. Законность и существовать не может в условиях многовластия — не могут сразу несколько ведомств ловить врагов народа. Государственная

безопасность не может соблюдаться в тех условиях, когда несколько группировок претендуют на то, чтобы олицетворять государство, — эта мысль не давала Щербатову покоя.

Щербатов сам сформулировал этот тезис, слушая рассказы своих старших товарищей.

Интеллигент Рихтер подсказал ему однажды нужное словцо — интеллигенты норовят жизнь объяснить словом, им от слов легче делается. Щербатов спросил Соломона Рихтера — дело было в 1936-м, когда братья Соломона уезжали на испанский фронт, всем двором их провожали — Щербатов

спросил искренне, от растерянности перед реальностью. Он сказал так:

– Завидую твоей семье. Все ясно с ними – едут на фронт, фашистов бить. А мне куда пойти?

– Между преторианцами выбирать глупо, – сказал Рихтер.

Объяснил Рихтер, что преторианской гвардией называлась в Древнем Риме личная охрана правителей; всякий цезарь набирал верных телохранителей – и так много, что получалась маленькая армия. Преторианцы получили большую власть в государстве, чем регулярная армия. Но не надолго. Когда очередной правитель умирал, его личную гвардию гнали прочь – а

гвардейцев казнили.

– Служить надо идее и стране, – сказал еврей Рихтер, эмигрант из Аргентины.

И правду сказал еврей: уже в тридцать шестом было заметно, каким маршрутом проходят чистки, – вычищают преторианцев. Тех преторианцев хватают, чей цезарь ослабел.

В 1924 году, 31 марта (эту дату все чекисты знают) Дзержинский направил письмо Менжинскому, своему заместителю, с предложением провести тотальную чистку среди сотрудников ОГПУ. Болтливость, выпивка, женщины, халатность, самоуправство – ну-тка,

извольте выявить пороки!
Разобраться хотел в своих верных
бойцах Феликс Эдмундович; ряды
хотел сплотить! Вот только времени
у Дзержинского не было кадрами
заниматься: писал он это письмо — из
Москвы в Москву, — сидя на
заседании Политбюро и торопясь в
ВСНХ. И занимался чисткой
Менжинский, передоверив ее своим
верным товарищам. А с тех пор
прошло десять таких вот чисток — и
все чистки шли концентрическими
кругами, вокруг того места, где
рушился очередной кумир.

Сторонний наблюдатель мог
заметить, что, когда очередной кумир
валился с пьедестала, в

образовавшуюся на месте падения воронку втягивались все присные кумира. Тех, кто поверил во всевластие вождя, затыгивала воронка, их волокли на допросы, доискивались до происхождения, выясняли связи с заграницей. Так гибла столичная интеллигенция, втянутая в воронки поверженных вождей; так гибли те, кто поверил в главенство одного из многих. Водовороты уносили писмоводителей и курьеров, личных шоферов и секретарей, буфетчиков и телохранителей — каждый мог знать что-то, чего знать не полагалось. А ведь война рядом — враг-то не дремлет.

И мчались черные автомобили ГПУ по пустой сырой ночной Москве — выискивая адресок невезучего буфетчика: где он, шельмец, схоронился? Ах, вот вы где прячетесь, Василий Васильевич, специалист по клюквенному морсу! — Да я ведь только морс наливал! — Ваш хозяин, значит, Японии секреты стратегические продавал — а вы морсом клюквенным занимались? Мы этот факт и выясним, спросим вас придиричливо. И руки за спину Васильвасиличу, в Лефортово его, мордой в парашу.

Впоследствии скажут, что Сталин устроил охоту на инакомыслящую интеллигенцию, —

но инакомыслие грамотеев не волновало в ту пору никого. Это уже во времена Хрущева устроили охоту на Пастернака, и сиятельный хам кричал на художников в Манеже, — но в тридцатые годы содержание картин и стихов занимало вождей мало. Вождей волновало иное: кто и как сплетет вокруг них сеть, откуда ждать беды. Спелся Бухарин с Каменевым, или Зиновьев теперь дружит с Троцким? Откуда придет удар? Кого сагитировали голосовать на пленуме?

Интеллигенция, привыкшая искать покровителей, — не знала, у кого именно следует испрашивать камер-юнкерство, и становилась

жертвой поспешного выбора. Искать патрона и мецената следовало — куда же без этого? Но как определить, кто именно взойдет на сияющую вершину? Когда писатель Бабель впал в немилость у Буденного по причине своей критической «Конармии», он стал искать покровительства у Тухачевского — у всесильного Михаила Николаевича, скрипача, мецената и теоретика — и неминуемо был зачислен в сторонники маршала, когда тот пал. Но как угадать заранее? Как вычислить, что падет даже этот любимец фортуны, блестящий командарм и будущий Наполеон? Так же точно бывало со всеми царедворцами — во все

времена: их звезда меркла, едва отправлялся в изгнание или на плаху их сиятельный суверен.

Говорят, после смерти Сталина возникла борьба за престол – однако борьба была короткой и не бурной. Реальная борьба случилась после смерти Ленина, у гроба вождя революции случилась драка – длилась драка почти десять лет. Каждый полагал, что Россия ждет именно его; каждый вождь ходил, окруженный вооруженными и злыми людьми. Десять жадных ртов раззявилось на власть – претендентов было больше, нежели на трон Романовых, и за всяким стоял собственный «княжеский

двор», персональная дружина, личные шпионы и стукачи. «Дворов» было много, и всякий «двор» мнил, что воцарение их князя на престоле Российском — не за горами.

И армия опричников служила не одному царю — но всем удельным князьям одновременно, и опричники выслуживались тем более рьяно, что неизвестно было, какому из князей что именно придет в голову, но каждый из претендентов на трон хотел превзойти конкурента в жестокости. А уж которая голова из княжеских удержится на плечах дольше — угадать сложно.

И уж совсем не стоит полагаться на обычную, присущую чиновному

миру благодарность за выдвижение: в мирные годы и то бюрократические кланы подвержены коррозии, а тут – какая же верность? Зиновьев приводит в Политбюро Иосифа Сталина, а Иосиф Сталин – себе подмогу взял, Вячеслава Молотова. А тот приглашает друга, Кагановича Лазарь Моисеевича. И один другого плечом подпирает, защищает от недруга, этой спайкой противостоят внутренней оппозиции. Однако никакой гарантии, что тот, кто данную цепочку и организовал, не окажется в оппозиции сам. И как угадать молодому сотруднику органов – где именно на сегодняшний момент находится

законная власть?

Ведь чего проще: хочешь заниматься госбезопасностью — лови шпионов! Но главным врагом мог оказаться коллега по цеху контрразведчиков: и первый взгляд — на соседа, а уж потом во внешний мир. Подразделений было много — все боролись друг с другом. Следовало найти то главное управление, то главное подразделение — которое именно и воплощает государственную надобность. И Щербатов глядел окрест растерянно — куда податься? Где искать место?

Старший товарищ Щербатова

лейтенант Валерий Базаров посоветовал: иди в Особую дивизию. Это была личная гвардия Якова Свердлова, пережившая героя революции. Свердлов почил в 1919 году от неизлечимого вируса «испанки», хотя говорили про смерть Свердлова разное: чего только не болтали, лучше и не прислушиваться. Даже слышал Щербатов краем уха, будто охрана Свердлова причастна к покушению на Ильича, к тому злополучному выстрелу на заводе Михельсона. Но говорили об этом, разводя руками: мол, брехню такую слышали — врут такое враги. Свердлова уже не было, но отряд, созданный им для личных

надобностей, существовал. Отряд Особого назначения при коллегии ВЧК возник как личная охрана, как дворцовая стража; так, говорят, в Ватикан набирают швейцарских наемников — сильных и свирепых. Отряд Особого назначения после смерти Якова Свердлова превратился в элитное подразделение ЧК, в нем были не простые стражи порядка, но стражи над стражами.

Щербатову издалека показали их — дело было в тридцать третьем году, — лейтенант Базаров отвел его в ресторан, где стражи закусывали, отодвинул портьеру, они заглянули в зал. В шалмане «Бухара» у Казанского вокзала гуляли лучшие из

лучших. Щербатов сел у входа, спросил чаю, глядел искоса на героев – а Базаров вполголоса называл ему имена. Вот они, всесильные молодцы: Уно Розенштейн, Януш Урбан, Карл Янсен, Иоганн Буш – широкоплечие люди, суровые нерусские лица; в варварской стране пировала дружина варягов. Варяги пили водку и резали сало финскими ножами, подойти к их столу Щербатов побоялся: ведь он не был варягом, он был слишком прост для этой компании.

А вот Базарова варяги приняли, он с ними как равный сидел, налили ему стакан. Базаров вошел в когорту – судьба его складывалась завидно.

Через некоторое время отряд верных преобразовали в отдельную дивизию особого назначения (ОДОН ОГПУ), начальником поставили легендарного Кобелева, а Базаров стал его заместителем. Павел Кобелев возник ниоткуда, он не имел к Красной Армии никакого касательства. Подчинялся Павел Кобелев только самому Дзержинскому, никому более, но Феликс Дзержинский бесконечно болел, а когда вдруг поправлялся, его звали на заседания ВСНХ, – так что Кобелев не подчинялся никому. Дивизия особого назначения щеголяла в желтых приталенных кожанках, бойцы дивизии носили

при себе ручные пулеметы и массивные маузеры, и когда варяги проезжали через город на открытых машинах, вслед варягам смотрели русские девушки-комсомолки, широко открывая васильковые глаза.

Щербатов завидовал, жалел, что не хватило ему духу подойти к варяжскому пиру. И даже жене сказал: «Дураком помру – ведь какое место упустил, Антонина».

А жена сказала так: «Тише едешь – дальше будешь».

А еще был член коллегии ГПУ Генрих Ягода – серьезный, значительный человек, и те, кого он выделил среди прочих, – ох как высоко взлетели. Вот Агранова взять

— сориентировался вовремя, сумел сделать выбор — и теперь к Агранову даже не подступиться, так грозен. Агранова прочили в преемники Ягоде — сам, вероятно, пойдет на место Менжинского, а свой пост передаст Агранову. И самого Ягоду разглядели не сразу — его ведь сперва всерьез не принимали. Троцкий, например, считал Еноха «усердным ничтожеством», однако ошибся Троцкий.

Сам-то Троцкий вскоре укатил в Алма-Ату — а потом и вовсе очутился в Турции бывший нарком. А Ягода поднялся в поднебесье. В годы болезни Менжинского делами безопасности ведал уже именно

Ягода, и встреченный как-то Щербатовым майор Базаров высказался по адресу Ягоды почтительно.

— Тебе зачем завидовать? — спросил тогда Щербатов. — Ты сам в ОДОНе!

Базаров хмыкнул:

— Высоко взлетел Генрих Ягода. Не желаешь к нему под крыло? Могу способствовать.

Но Щербатов не поддержал разговор.

Присматривается Базаров к Ягоде, подумал тогда Щербатов. Интересно, кто дает распоряжения ОДОНу? Говорят, Зиновьев ОДОН контролирует. Влиятельные кланы

свели друг за другом: что там сказал Рыков Бухарину, как именно договорился Сталин с Куйбышевым, что написал Зиновьев в записке Троцкому, где встречаются Смилга и Радек, куда поехал Бухарин? Любое из этих событий могло быть связано с внешним врагом — и даже не обязательно Крестинскому лично брать берлинские деньги, не обязательно Тухачевскому лично получать задания от абвера — сотни путей и тысячи способов имелись, чтобы поставить этих людей на службу фашизму. Война рядом — а единства нет. А там, где нет единства, — предательство заводится само собой.

Зато столичная жизнь была пестрой. Москва судачила о пирах Ягоды, всесильный начальник ОГПУ танцевал с барышнями в своей роскошной квартире, от взгляда его карих безумных глаз барышни трепетали, их груди вздымались. Человек, сжимавший их в объятиях, мог мановением руки отправить на плаху сотни человек — и отправлял! Но как это оживляло столичные будни! Так ведь и в двадцатые было — но тогда размах был не тот, скромнее люди жили, без такого достатка.

В двадцатые годы все было семейно: чекист Агранов запросто хаживал в гости к Брикам, играл на бильярде с великим поэтом, и

дружбой с ним гордились литераторы. А то, что Агранов чекист — не мешало нисколько, напротив. Журналисты и художники чокались запотевшими рюмками с оперработниками, а опера, отмякнув в богемной атмосфере, похлопывали журналистов по плечу, трепали художников по щеке, щипали поэтических муз за ляжки. И то сказать, интеллигенции у нас в стране привычно искать покровительства — вот в девяностые, в ельцинские времена, художники и поэты пошли в челядь к банкирам и финансистам, лебезили на корпоративных вечеринках, хохотали над остротами генеральных

менеджеров. Ах, как вы метко сказали, вашество! Эх вы остро пошутить изволили, кормилец вы наш! А в ту пору было даже демократичнее: банкиры 90-х в присутствии поэтов балансы не сверяли — а вот оперработники двадцатых годов, те подчас доставали посреди застолья приказы на арест и расстрельные ордера — и заполняли, будто играя в салонную игру буриме.

Рассказывают, что чекист Блюмкин этим был знаменит: достанет пачку расстрельных ордеров — а в них уже и подпись Дзержинского стоит, и печать имеется. Былина рассказывает, что нетрезвый Блюмкин расписывал

семьями проскрипционные
листы, и салонная публика
оторопела, но голос возвысить не
решались; один поэт Мандельштам,
набравшись храбрости, выхватил из
рук чекиста расстрельные ордера и
порвал — а чекист Блюмкин выхватил
маузер и пригрозил поэту. Они были
даже внешне похожи: двое еврейских
лопоухих юношей; и вот один из них
гонялся за другим по барской
квартире с маузером в руке — а
Мандельштам прыгал через стулья,
путался в скатертях, убегал и
прятался за спинами
интеллигентных гостей. Опрокинули
вазу с крюшоном, фрукты по ковру
разлетелись, и они бежали, давя

ломтики ананасов, скользя на апельсиновых дольках. Посуды, рассказывают, перебили в доме неслучайно. Но ведь весело! И наутро — так былина повествует — явился Мандельштам к самому Дзержинскому, принял его князь госбезопасности в своей светлой гриднице. Феликс Эдмундович, как поется в сказаниях, поблагодарил поэта, а своего гридня лютого, злобного, чекиста Блюмкина пообещал казнить. Справедливость революционная, ничего не попишешь. И на завтра пришел Мандельштам в тот же богатый дом, рассказать умственным барышням о своем подвиге. Нашлась управа на

палача! Входит в гостиную, а там за столом чекист Блюмкин сидит — шампанское пьет фужерами. Чекист увидел поэта: вот ты где, волчья сыть! И снова помчались они по квартире, спотыкаясь о хозяйские стулья, точно фрекен Бок за Карлсоном. Так вот и жили.

Умственные барышни описывали утехы в доме Томского, председателя профсоюзов: московских девушек поражало, что «человек с лицом кочегара» приказывал охране доставить ящики с розовым шампанским.

— Вот ведь, вообразите: они же чекисты, все в кожанках и с маузерами, а как миленькие несут

нам шампанское! И розовое, розовое, «Моет и Шандон», мой любимый сорт! Ах, этот Томский, ах, кочегар, ах, душка!

Точь-в-точь так же, спустя семьдесят лет, будут либеральные барышни отплясывать на Ривьере в гостиных Березовского и Дерипаски, так же будут прогрессивные журналисты хлебать шампанское на приемах у Абрамовича — и потом пересказывать тем, кого не включили в число прихлебателей, всю необыкновенную роскошь застолья. Ах, какая разница, что Березовского подозревают в кражах и убийствах, — пусть говорят завистники и сплетники! Ах, мы знаем не хуже вас,

что Абрамович сколотил свои денежки не вполне кристальным путем, – и не приставайте к нам с этими уголовными подробностями! Что было, то быльем поросло. Но где же вы найдете такой хлебосольный дом, тем более на Лазурном берегу? И где же вы обретете то дивное чувство свободы, которое посещает гостей богатой виллы на мысе Антиб? Вот там, неподалеку, творил Пабло Пикассо, а в той стороне писал свои волшебные картинки Шагал – и кстати, наш хозяин (у него тонкий вкус и острый глаз, у нашего хозяина!) собрал лучшую в мире коллекцию Шагала. Что с того, что по мерзлым болотам Вяземской

области скитаются побирушки — последние жители вымерших деревень? Знать, судьба такая у этой области, и нечего тут разводить демагогию. А наш удел — вечный праздник, мы бесстрашно глядим в будущее.

А вот в души бражников 30-х годов порой вползал страх — шампанское-то розовое, и икра стерляжья, зато власть красная, большевистская: вдруг сверкнет глаз хозяина, хлопнет дверь в коридоре, промелькнет тень охранника — и страшно становится. Те, кого звал за стол председатель Совнаркома Алексей Рыков, рассказывали, как пьяный хозяин велел расстрелять

пятерых – прямо посреди застолья.

– Представляете, не выходя из-за стола, зовет секретаря, требует телефонную трубку и говорит: всех пятерых немедленно расстрелять!

– Неужели? Вот так прямо? Сразу пятерых?

– Вообразите себе!

– Но как же можно! Посреди обеда!

– Так ведь он право имеет! Ему – раз плюнуть! У него там знаете какая армия под дверью дежурит – ахнешь!

– А эти пятеро – они кто?

– Ах, ну какая же разница...
Оппозиция, вероятно, или иностранные шпионы...

– Ну, если оппозиция...

И поползло по столице потное словечко «оппозиция», а что оно значит — неведомо. Кому — оппозиция? Кто — оппозиция? Рыков ли Сталину? Зиновьев ли Троцкому? Бухарин ли Каменеву? И в чем оппозиция-то? Спорят они, что ли? О судьбах народа, не иначе. Каганович, сын забойщика скота, лавировавший между фракциями и заключавший временные союзы то с Бухариным против Троцкого, то с Рыковым против Бухарина, — вносил дополнительную неразбериху: дружил со всеми и предавал всех подряд. И за голову хватались в недоумении: позвольте, давайте по порядку — кто против кого? Но

никакого порядка не было, и все многочисленные госбезопасности были востребованы. Спецслужбы грызлись, интриговали, писали друг на друга кляузы – но так и положено полицейским. И лишь некоторые нижние чины – Щербатов в их числе – недоумевали: а что же именно мы защищаем, товарищи?

Валерий Базаров объяснял своему младшему товарищу:

– Ты пойми, Андрей, у нас в руках самое грозное оружие. Не маузер, не наган – обыкновенная перьевая ручка с чернильницей. Обмакнул в чернила, бумажку взял – и написал, что думаешь про человека. А из маузера всякий

выстрелить может.

— Сначала нужно выследить врага.

— Если рассуждать как ты, мы всегда будем вторыми, остается ждать, пока шпионы навредят — а потом их можно арестовывать. Нет, Андрей, так дело не пойдет. Нужно, чтобы шпион не успел навредить. Интуиция требуется и риск.

— А если ошибка?

— Вот я и говорю: интуиция нужна. У меня, например, ошибок не бывает.

Интуиция бурлила в советском обществе: три строчки — и человека нет. Однако в бульканье интуиции существовала тенденция — пузыри на

поверхности складывались в
определенные фигуры. Вот,
например, история одной интуиции.
Глава Одесского отделения ОГПУ
Яковлев написал донос на своего
отца, да сам и арестовал
собственного отца. Отец был
участником черной сотни до
революции — интуиция подсказала,
что пора его сдать. Отца своего
Яковлев приказал расстрелять прямо
во дворе отделения ОГПУ и
присутствовал при казни — а спустя
некоторое время и самого чекиста
Яковлева расстреляли. Донос на него
был прост: обвинили в избыточном
кровопийстве и головокружении от
успехов. Дескать, интуиция

подсказывает, что слишком много граждан постреляли, руководствуясь интуицией. Закрутилась карусель интуиций, столкнулось много правд. Сын и внук расстрелянных чекистов Яковлевых стал впоследствии главным редактором либеральной газеты эпохи горбачевской гласности «Московские новости» — и писал разоблачительные статьи против Советской власти, тоже своего рода доносы. Он, правда, нигде не рассказал, какое отношение его собственная семья имеет к произволу, — он обличал социализм в целом: пошто собственность отдали народу, ироды безответственные? Издание наделало шуму и собрало

вокруг себя людей мыслящих. Сын смелого журналиста (то есть внук и правнук тех казненных) — сам успешный журналист и основатель коммерческих изданий — выходил на антисталинские демонстрации с плакатом «Я знаю правду». Какую именно из правд он имел в виду, журналист не указывал; а только набрал он миллионных кредитов от доверчивых миллиардеров — и драпанул с миллионами на Майорку. И это типическая биография. Финальный всплеск интуиции в семье чекистов — соответствовал духу нового времени. Однако в описываемое нами время, задолго до прихода финансового капитализма и

распада СССР, еще миллионов не крали — и чекисты удовольствие находили в ином.

Сотрудник органов Андрей Щербатов следил за распрями в богатых домах, в кланах государственной безопасности. Неожиданно — точно пленку в кинотеатре промотали быстрее — расстрелы и аресты зачастили, а потом все улеглось: путь страны вдруг спрямился. Сперва Ягоду разоблачили, расстреляли — и присные Ягоды исчезли вместе с ним. Николай Ежов стал главным среди гридней государевых; потом — Троцкого выслали из страны, и Зиновьева с Каменевым расстреляли

(говорили, сам Ежов и стрелял), и уже Бухарин в своем коварстве признался, и шпионов-маршалов разоблачили, и Рыкова взяли и судили, и Пятакова арестовали, да и самого Ежова потом схватили — оказывается, и он был шпионом — стремительно развивалась история. Интуиция выполнила свою задачу — и улетучилась.

Вдруг в одночасье государственная безопасность сделалась монолитным институтом — и никакого более феодализма. Княжеские дворы опустели, князей и бояр выволакивали из хором серого дома на набережной, грузили в автомобили, бесчувственных, как

мороженую рыбу.

Прежде выбор у молодого курсанта был велик: хочешь — к Рыкову в охрану иди, хочешь — от Зиновьева жди приказов, хочешь — к Агранову подайся. И праздник, вечное застолье, гуляют чекисты в обнимку с подозреваемыми. Но вдруг все закончилось: так гости покидают вечеринку — сначала уходят семейные пары, потом молодые кавалеры увлекают прочь податливых дам, потом отправляются по домам бражники, и вот наконец самый последний пьяница вылезает из-под стола и ковыляет к выходу. Кончился праздник, пора спать.

Сначала Ежов подчищал за

Ягодой, потом Берия исправлял перекосы Ежова – и однажды Андрей Щербатов увидел, как ведут по коридору майора Базарова; вели под руки, чтобы Базаров не упал, а лицо у майора ОДОНа было синее, и изо рта Валерия Базарова струйкой текла кровь.

Щербатов поинтересовался на следующий день судьбой Дивизии особого назначения – дивизия верных оказалась расформирована, а Павел Кобелев расстрелян. Когда? Почему? Да уж полгода как предателя Кобелева шлепнули – всех предателей из ОДОНа разоблачили. Вот вам и привилегированная дивизия – выходит, недолговечны

привилегии; вот вам и «ежовые рукавицы» — получается, рукавицы эти были замараны.

Он слышал, что Ежов оказался морально нечистоплотным человеком, ходили слухи, в его квартире при обыске обнаружили всякие пакости: деньги, реквизированные у врагов народа, резиновый половой член для каких-то развратных утех и сплюснутые пули, которыми были убиты Зиновьев и Каменев. Пули эти выпустил сам Ежов, так рассказывали былины, а потом хранил их у себя в сундуке, гордясь тем, что довелось ему прикончить важных революционеров, ленинских

соратников.

Ежов был человеком роста мелкого и виду хлипкого. И будто бы ползал в ногах у Ежова истеричный Апфельбаум, обнимал колени ежовские. А Ежов куражился, возвышался над жертвами. И когда насладился их стенанием, Ежов выстрелил Зиновьеву в голову, а потом застрелил Каменева. А пули приказал извлечь из тел убитых и хранил для истории.

Но пришла пора, и Ежову довелось ползать по полу, молить о пощаде, обнимать костлявые колени палачей — и его тоже не пощадили.

Берия вычистил весь ежовский аппарат. Но некоторых сотрудников

из казематов вернул, подержав под следствием годик-другой. Не нашли состава преступления; да, служил излишне ретиво — мучал невинных людей, но ведь не со зла же. По долгу службы. Вернулся на волю и Валерий Базаров, полтора года он провел в Лефортово. Обвинение в измене с майора сняли, понизили в звании до лейтенанта, и Базаров стал суетливым расторопным сотрудником органов.

Он связался со своим старым знакомым Щербатовым, и Щербатов взял его к себе в отдел, чтобы Базаров, пожив в дружеском кругу, воспрянул духом. В обязанности Валерия Базарова входила работа с

осведомителями, разбор жалоб и донесений, поступавших от населения. Базаров отнесся к обязанностям рьяно. Началась война — любое донесение следовало рассмотреть скрупулезно.

— Я, Андрей Васильевич, понимаю, чем вы рискуете, когда меня, с моим прошлым, на службу берете. Богу за вас молюсь! — В устах чекиста это прозвучало излишне сентиментально. — Вас не подведу, — Базаров называл теперь Щербатова по имени-отчеству, хоть был пятнадцатью годами его старше.

— Брось, Базаров, — и Щербатов уже обучился манерам ведомства: начальство называют по имени-

отчеству, а начальство своих архаровцев кличет по фамилиям. — Время такое, работать надо засучив рукава, а не богу молиться.

— Работаю, Андрей Васильевич, ложусь в два часа ночи.

— Я, Базаров, вообще не ложусь.

И верно, спал он мало — сидел на дешковской кухне, курил. Приходила из спальни жена, садилась рядом, гладила по голове.

— Так ведь ответственности на вас сколько, Андрей Васильевич.

И однажды лейтенант Базаров доложил Щербатову, что поступила жалоба от жильца Бобрусова, «это Амстрадамский проезд — в аккурат ваш адрес, Андрей Васильевич. Я

отнесся внимательно». Борбрусов доносил, что сын врага народа Дешков, по всей видимости, готовит диверсию.

— Вы мне рассказывали про эту семью, про Дешковых. Так что я был подготовлен.

И верно, когда-то рассказывал, было такое. Видимо, говорил, что перебрался в опустевшую квартиру легендарного Дешкова. Как не сказать про такое? Весь отдел на новоселье гулял, песни пели, с балкона стреляли из ракетницы. Что дружил с Сергеем Дешковым — об этом не говорил.

— Информацию я проверил, Андрей Васильевич. Все буквально

подтвердилось, жену он решил спрятать. На поезд посадил и тишком из города сплавил.

— Речь идет о Дарье Дешковой? — спросил Щербатов. А он ведь предупреждал Сергея, что надо идти на сотрудничество с органами. Сколько раз говорил. Он ведь предупреждал, что жена Сергея Дешкова нигде не числится, это рано или поздно выяснят. Почему люди не слышат, когда им объясняют, как надо делать? Что, не ясно говорил? Дикция, может быть, плохая?

— Вы не беспокойтесь, мы приняли соответствующие меры.

— Дали ход жалобе? — подумал, что донос мог задержаться в отделе.

Надо бы личность заявителя Бобрусова прояснить, вдруг это зависть или ревность? На такую проверку неделя уйдет.

— Все в полном порядке, Андрей Васильевич. Сняли с поезда. В настоящий момент барышня в Суханово.

— В Сухановском специзоляторе?

— Так точно, в триста десятом.

Дорогой ценой досталась ему квартира. Он еще раз спросил, для верности:

— Дарья — в Суханово?

— Протокол первого допроса я передал в отдел.

— Кто следователь?

— Майор Чичерина.

Была такая Лариса Чичерина. Носила очки с толстыми стеклами, косу имела, укладывала косу на затылке кренделем.

— И что протокол показал?

— Результаты не впечатляют. Но Чичерина работник хороший.

— Дарья беременна.

— Не уточнял. Прикажете навести справки?

— Сам разберусь, — сказал Андрей Щербатов.

Все же не зря они росли в одном дворе, кой-чему успел Андрей Щербатов научиться от семьи вечных военных Дешковых. Если напачкал, убери за собой чисто. Как в семье Дешковых говорили: на службу не

навязываюсь, от службы не отказываюсь. Что скажут – сделаю: долг солдатский выполню. Долг свой следует исполнять без страха и без подлости. Бежать в бою нельзя, женщин и детей рубить нельзя. Кур не крадем, спиной не поворачиваемся. Солдат не убийца, он форму носит и честь имеет. Еще Дешков уроки рукопашной драки преподавал: действовать сразу и вдруг.

Щербатов представил сощуренные, белые глаза Сергея Дешкова. Если стоишь лицом к противнику, хочешь сбить гада, а пространства для сильного удара нет, надо выдернуть револьвер из кобуры

рукоятью вперед, одним движением, и сразу – рукоятью в переносицу. Вот так, запоминай.

Но Щербатов так не умел. У него имелось иное оружие.

– Похвально. А документы по предполагаемым агентам абвера подготовили?

Это была разнарядка сверху – доложить о настроениях на оборонных предприятиях. Только что там выявишь: работают люди до изнеможения, после работы из них слова не вытянешь, говорить отказываются.

– Завтра же займусь, Андрей Васильевич.

– Война у нас сегодня идет,

Базаров. Взрыв сегодня в Москве произошел.

И верно, был взрыв на «Красносельской», газ взорвался; выясняют причины.

— Видишь сам плоды своей деятельности.

Позвонил охране: оружие и документы у Базарова тут же изъяли, наручники на Валерии Базарове защелкнули.

Щербатов писал сопроводительный документ подробно. Антисоветская агитация, восхваление германской военной машины, критика действий командования.

Базаров следил за тем, как

движется перо начальника по бумаге бланка задержания, и не говорил ни слова — знал, что любое слово, при свидетелях сказанное, повернется против него. Даже не спросил, за что задержан. На «Красносельской» он не был, к взрыву отношения не имеет.

Что толку спрашивать?

— Двигай, — сказал Щербатов конвою. — Потом все по форме доложишь.

Валерия Базарова вывели из кабинета, повели к машине; с порога Базаров хотел обернуться, но конвойный не дал — толкнул меж лопаток. Миновали двор, никто не сказал ни слова, проводили арестованного равнодушными

взглядами. Конвойный взял его за затылок ухватистой ладонью, пригнул голову Базарова к машинной дверце, втолкнул вялое тело чекиста внутрь кабины. Вот и сиденье кожаное, промятое многими задами конвойных, он ни разу на этом сиденье не сидел, всегда рядом с шофером ехал, впереди. Базаров чувствовал болезненную легкость происходящего: светлый день стремился вперед, к обеденному перерыву, дорога катилась вперед — в большой город, а от него уже ничего не зависело, жизнь кончалась. Так чувствует себя школьник, который отчислен из школы, и можно радоваться, что занятий больше нет —

но радость не наступает. Он уже был один раз в тюрьме, знал, что второй раз тюрьма не выпустит. Любое обвинение смертельно для Базарова: присоединят к первому делу, сольют в одно. Он сам именно так и поступал с подследственными — получалась диверсионная деятельность. Понял Базаров: для чего-то понадобилось его убрать. А почему понадобилась его смерть Щербатову — спрашивать об этом поздно. Он смотрел прямо перед собой — на затылок шофера, на дорогу, которая разлеталась на стороны за ветровым стеклом.

Когда Базарова увели, Щербатов согрел себе чайник, выпил стакан

чая с куском рафинада. Откусывал от кубика рафинада мелкими кусочками, разминал во рту сладость.

У Дарьи появился шанс: когда начнут допросы Базарова, обязательно поднимут последние дела. Могли счесть дела — сфабрикованными вредительствами, оговором честных советских людей. Если за это время Чичерина не выбьет из Дарьи Дешковой показаний, шанс имеется. Больше Щербатов сделать ничего не мог.

Через неделю он подал рапорт о переводе на фронт, в Особый отдел. Рапорт удовлетворили не сразу, а через три месяца — сперва было

велено сдать дела, завершить начатое. Через три месяца его направили комиссаром Особого отдела в 20-ю армию, на ржевско-вяземское направление. За эти три месяца он ничего не слышал о Дарье Дешковой.

– Таня, – сказал Моисей Рихтер, – если тебе здесь плохо, уходи.

– Вы хотите, чтобы я ушла, Моисей Исаакович? – спросила Таня Кузнецова.

– Я хочу, чтобы тебе было спокойно. Думаю, тебя родители домой зовут? Соломон в армии. А ты его ждешь в чужой семье.

– Теперь вы моя семья, – сказала Татьяна. – Это мой дом.

– У тебя есть родители. Война идет. Надо, чтобы семьи были вместе.

– Я в семье.

Старик Рихтер замолчал, и Таня решила, что старику не понравилось то, что она сказала.

— Здесь дом моего мужа, — пояснила она. — Значит, я теперь здесь живу. Значит, теперь вы — моя семья.

Рихтер кивнул, но слова «да» не сказал.

— Если я мешаю, тогда уйду. Меня родители зовут обратно.

— Тогда иди к ним. Ты нам ничего не должна.

— Вам мешаю, да? Комнату занимаю.

— Ты не мешаешь.

— Скажите, если мешаю.

— Мы евреи, — сказал Рихтер. —

Твоим родителям, наверное, не нравится, что ты живешь с евреями.

— Разве мы не советские люди? Разве у нас не общая родина?

— Мы советские люди. Но мы евреи. И твои родители это знают. Им, наверное, не нравится.

— Мы теперь все одной нации, — сказала Татьяна.

— Так никогда не будет.

— Муж и жена — одна плоть, — сказала Татьяна. — Если муж еврей, значит, я тоже теперь еврейка. А Соломон — русский.

— Не говори глупости, — сказал Моисей. — Ты просто хорошая жена.

— Теперь вы моя семья. Теперь вы мой отец, — сказала Татьяна.

– Этого не нужно. Не надо так говорить.

– Я должна быть с вами. Только Соломон не пишет.

– Не бойся, – сказал Моисей, который отдал на войну четырех сыновей.

Глава шестая

Список кораблей

– Гитлер толкает к войне? – удивился я. – Война сильнее Гитлера, война хитрее Сталина. Разве шторм поднимает капитан корабля? Капитан идет навстречу волне, вот и все.

– Мудрый капитан переждет шторм в гавани. – Она подхватила метафору.

– Высокая волна ломает в гавани суда. На суше не спрятаться – ураган сносит крыши. Спасение в том, чтобы идти в открытое море.

– А что будет с командой?

– Это их работа.

– А женщины и дети? Что делать

тем, кто просто живет?

— Помните вторую часть Фауста? — Недавно я читал вслух Гёте, про домик Филимона и Бавкиды, который оказался помехой генеральному плану. — Любящие не спасутся.

Зачем так сказал, не знаю. Мы только что были близки, а физическую близость часто называют любовью. Елена оттолкнула меня:

— Вы нарочно вспомнили? Автор плана — Мефистофель! Впрочем, я знала, что Адольф — черт!

Так бывало всякий раз: после страстной любви, потная, со спутанными волосами, задыхаясь, —

она говорила о политике. Некоторые пары курят после полового акта, иные засыпают — мы же начинали спорить. Она отталкивала меня и лежала одна, не стараясь прикрыться. Говорила — и ровное дыхание постепенно возвращалось к ней, полная грудь вздымалась реже, бурые соски уже не дрожали. Ровным голосом, разве что иногда ударения ставились излишне резко — так Фуртванглер порой усиливает бешеную вагнеровскую ноту — рассуждала о политике Гитлера.

— Допустим, мы в открытом море... Но это не мой корабль! Я брала билет на другое судно! Вам не кажется, что корабль перегружен?

Зачем Гитлеру Австрия? Зачем территории в Чехословакии? Зачем он возбуждает Квислинга? Для чего бомбил Испанию? И главное: зачем убедил молодежь жертвовать собой? Откуда у него это право? Почему вы молчите?

А я смотрел на струйку пота, стекавшую между грудей.

— Извольте отвечать! — Елена умела говорить властно, не уступала в этом отношении Адольфу.

Даже интонация была как у Адольфа: немедленно! я хочу! дайте! Подобно детям, они приходили в неистовство, если их требований не замечали. Ведь они хотели простого — безраздельной любви.

За время наших встреч с Еленой Гитлер стал канцлером Германии – и власть его разочаровала. Гитлер оставался романтиком, по-прежнему любил многочасовые беседы, по-прежнему вел себя как богемный философ: спал до полудня, ложился в три часа ночи, однако теперь собеседниками были не политические авантюристы, но офицеры рейхсвера, а потом уже и вермахта. Порывистость выделяла его среди ленивых мюнхенских интеллектуалов, он казался себе человеком действия; а на фоне прусской муштры порывистость выглядела как неловкость. Адольф импровизировал на митингах, едко

шутил, но за его плечом стояли уже не мюнхенские горлопаны 23-го года, а молчаливые прусские гвардейцы. Часто случалось так, что его поспешная мысль или резкое слово — то, что в Мюнхене позабыли бы через полчаса, — обретали характер приказа для солдат, помнивших маршировки Фридриха. Не думаю, что Адольф ожидал таких безусловных реакций на свои импровизации. Он ярился, если его понимали неверно: так злимся мы на официантов, неверно понявших заказ. Адольф кричал, стучал по столу, дергал щекой, впадал в истерическое состояние. Я словно слышал, как он орет: «Позовите

метрдотеля! Я просил другое блюдо!» Однако кончилось тем, что Гитлер привык к тому, что любое его слово — приказ, а уж как приказ исполняют — сие зависит от случая; если напортачат, можно отдать приказ новый. Отныне его бесило, если пожелание не исполнялось немедленно.

Его внешность, внешность итальянского тенора, изменилась — лицо сделалось больным, челка повисла, точно простреленное знамя. Спал он плохо, выходил к завтраку поздно, звал гостей, а точнее, слушателей: чтобы проснуться, ему требовалось говорить. Завтрак переходил в дневную трапезу, Гитлер

начинал монолог, заговаривая сам себя. В некий момент (я пометил это в дневнике, но в один из тревожных дней страницу вырвал) – в некий момент я заметил, что фюрер повторяется. Даже совершенные механизмы снашиваются – чего же требовать от оратора, который ведет за собой толпу пятнадцать лет подряд. Он любил собственные обороты речи, удачные фразы повторял по многу раз. Я услышал, как мотор барахлит, я уловил хрипы мотора. Адольф еще был способен на неожиданный поступок – как на ночной дороге в Южной Германии, когда он увидел человека под дождем, остановил автомобиль и

отдал бродяге свой плащ, — но все реже искренность прорывалась в канцелярских буднях. Святым Мартином хорошо представляться на проселочной дороге — а со штабными изволь быть Гецом фон Берлихингеном.

Гецом он стать не сумел, хотя был окружен многими гецами. Богемное расписание суток его спасало — он цеплялся за свою прежнюю жизнь, желая хоть как-то отличаться от прусского окружения. Каждый день стоил года — и я злился, что Адольф спал подолгу. Я составлял графики лекций, я готовил свои беседы с Адольфом; надо было объяснить ему и то и другое — о,

сколько всего надо проговорить преподавателю и студенту, прежде чем студент начнет понимать истинный смысл атлетизма Микеланджело.

Но вот он выходил из спальни в столовую, разогревал себя разговором, прокручивал одну из своих пластинок (я слышал, что русская поэтесса Ахматова так называла свои отработанные на публике истории), ковырял вилкой спаржу, пил остывший кофе. И мои планы на детальную беседу — отступали перед его эмоциональным характером. На глазах сотрапезников в нем просыпалась воля к власти — и любые упреки отступали перед обаянием лидера.

— Оставьте это на потом, милейший Ханфштангль! Оставьте ваши лекции по истории искусств, и займемся польскими границами!

И Елена была столь же требовательна:

— Не смейте молчать! Оставьте в покое свои кальсоны! Ваш Адольф — черт! Соблазнил Германию!

Я действительно хотел одеться, не умею вести дебаты в голом виде.

— Елена, — сказал я примирительно, — вы столь напористы... Я же, боюсь, истратил с вашей помощью большую часть энергии. Вы не возражаете, если мы поужинаем? Мне нужны силы: завтра придется маршировать на

демонстрации.

– Проклятые демонстрации! И холодно уже для демонстраций!

– Да, вы правы, погода не балует.

– Зачем только мы переехали в Берлин!

За окном был Берлин тридцать восьмого года. Берлин – серый город, холодный город. Не жемчужно-серый, как Париж, а тухло-серый, напоминающий цветомдохлую крысу. И небо над этим городом тоскливо-бетонного цвета. И дома здесь красят в цвет испражнений холерного больного – в грязно-желто-серый цвет. Серый пар поднимается от наперченных берлинских bullet, жирных котлет с чесноком. Вы едите

котлеты, вас мучает жажда, вы пьете буро-серый жидкий чай из грязно-серых фаянсовых чашек. В Берлине есть парки и пруды — и ничто не мешает этому городу стать красивым и воздушным, но сам воздух в Берлине серый, от него жухнет листва и мертвеет вода в прудах. В городе широкие удобные проспекты, но в нем задыхаешься. Немцы так любят уют затхлых комнат, что ненавидят красоту площадей, для них платц — это место, где маршируют, а не сидят у фонтанов. Ах, разве можно вообразить в Берлине очаровательную пляс де Вож или Контрэскарп? Под красотой немцы понимают добротность. Толстая

женщина красивее худой, толстая сосиска вкуснее тонкой сосиски. Когда Гитлер со Шпеером планировали возвести колоннады и стелы, поставить скульптуры атлетов и антикизировать пространство площадей, я указывал им на то, что для начала было бы недурно заказать голубое небо, которое должно сверкать в просвете между колонн.

— Что вам стоит, Адольф, — говорил я обычно, — попросите Бенито Муссолини одолжить неаполитанское небо! Неужели нельзя договориться?

— В Берлине — голубое небо! — ярился Адольф. — Голубое! Поднимите голову! Не уступает

Италии!

Я кивал: хочется считать, что Германия наследует античную парадигму – почему не согласиться? В конце века, когда уже ни Муссолини, ни Гитлера не было на свете, ту же цель – волевым путем присвоить чужую культуру – поставили себе русские либералы. Они считали, что стоит только захотеть, и Россия превратится в Европу. Мои недавние русские знакомые в полной мере продемонстрировали мне эту культурно-историческую ажитацию. В так называемой «перестроечной» Москве стараниями так называемых «западников» развесили дикие

плакаты «Хочешь жить как в Европе? Голосуй за демократию!» И грязные подростки, вороватые бабки, похмельные слесари ковыляли к избирательным урнам в надежде, что над свинцовой Москвой засияет небо Неаполя. Историк Халфин, например, выпустил три тома рассуждений по вопросу, отчего Россия не стала Европой. Исследователь пришел к выводу, что Россия есть испорченная Европа, так сказать, протухшие консервы. Проанализировав ключевые моменты российской истории, Халфин доказал, что консервы могли сохраниться – но неверное хранение все сгубило. Этот фундаментальный

анализ потряс умы российских граждан. Как же так, думали убогие граждане, кутаясь в свои азиатские кацавейки, оказывается, если бы Флорентийская уния не того... мы были бы европейцами? Что знаем мы о цивилизации? Знает ли пьяница Костик Холин, что носит имя императора Константина, создателя города, из которого пришла вера в Русскую землю? Оборвали большевики связь времен, лишили русский народ исторической памяти, а не то — помнил бы таксист Костик, что его подлинные корни в Античности, и боролся бы пьянчуга не с либералами на Болотной, но с арианами. До чего же больно за

утраченную гармонию, до чего обидно, что классические пропорции бытия нарушены варварами. Разумеется, всякий цивилизованный человек — в меру возможностей — восстанавливает прерванную связь времен; вот, скажем, Пиганов заказал виллу по канону Витрувия... вот Ефрем Балабос закупил ренессансную скульптуру... вот меценат Чпок построил завод по производству пармской ветчины... Но сколь долг путь обратно, к античной гармонии! О, неумолимый рок, отбросивший нас от цивилизации! Нас вел бы к прогрессу император Константин, и ели бы мы не омерзительные сосиски, но

пармскую ветчину! Для чего
опричники лишили русских голубого
неба и температуру понизили на
пятнадцать градусов?

В тридцать восьмом эту же цель
преследовал Гитлер. За нами, кричал
он, греческий миф,
средиземноморская культура Европы,
мы аргонавты!

В мою комнату зашел майор Ричардс, поставил передо мной чай с молоком. Кормить ветхого старика нетрудно, я пять раз в день пью чай, ем овощной суп, шпинат – вот, пожалуй, и все. Ее величество не разоряется на моем содержании.

Майор бегло просмотрел записки, напомнил, чтобы я не отвлекался.

– Откуда сведения про таксиста Костика Холина? Он сосед по дому арестованного Панчикова? Вам Пиганов успел рассказать такие подробности?

– Ах, майор, чего только не

узнаешь за такую долгую жизнь.

— Впрочем, — мягко добавил майор, — ваши отступления интересны. Нельзя ли побольше деталей? Пишите так, — сказал майор Ричардс, — чтобы моему сыну было интересно!

Сын майора, неразвитый подросток, связавший свою жизнь с пабом «Лягушка и цапля», где он работает диск-жокеем и глушит посетителей чудовищной музыкой, — не читает никогда и ничего. Трудно представить, чтобы верткого юношу заинтересовали мои записи.

Я выпил чай, вернулся к бумагам.

В тридцать восьмом в рядах

вермахта прошла чистка, наподобие той, что устроили в те же годы в РККА, разногласиям в рядах военных был положен конец, полагаю, это была разумная мера. Вслед за словами потребовались радикальные меры – кто-то должен был взять их исполнение на себя. Вы ждете от меня, что я перейду к еврейскому вопросу? Потерпите, расскажу и про евреев. Но – по порядку.

Аншлюс Австрии дался нам легко. С Чехословакией сложилось еще проще – неожиданно помог Сталин, предложив вооруженную помощь чехам. Сталин спросил, готовы ли Франция и Англия, подобно Советской России,

поддержать эту страну. Помню, нас позабавил обмен репликами иностранных лидеров – разумеется, я следил за их перепиской.

Мы готовы выставить триста дивизий, заявил Сталин, а вы? А мы готовы выставить две дивизии, ответил Чемберлен, и Чемберлен бросился спасать мир; не стану излагать подробности знаменитого Мюнхенского протокола – про это рассказано довольно. Англичане приезжали в рейх один за другим, визиту премьера Чемберлена предшествовал визит лорда Галифакса, с ним Гитлер беседовал в тридцать седьмом. 19 ноября 1937-го лорд сулил нам колонии в Африке за

борьбу с большевиками.

В тот день мне доставили протоколы судов в Москве – шли открытые процессы, Пятаков и Радек давали признательные показания. Германские шпионы – они сознались публично в том, что их вербовали через агентурную сеть, созданную Троцким, германские шпионы признались во всем! Пятаков сознался в террористических актах: он, оказывается, организовывал взрывы на предприятиях. Я представлял себе аккуратного Пятакова: тряся рыженькой бородкой, он подробно описывал свои злодеяния. Обвинительные речи Андрея Вышинского я положил на

стол перед Галифаксом, поинтересовался со смехом, не следует ли советскому прокурору пожаловать орден Бани за заслуги перед Британской короной? Успешно борется Вышинский с коммунистами ленинского призыва! Галифакс скривился, а Гитлер махнул на меня рукой «Вы циник, милейший Ханфштангель!» — «В самом деле, — сказал Галифакс, — эти несчастные, были они шпионами — или нет? Вам это должно быть известно наверное!» Я развел руками: «Это ведь британский автор, Шекспир, написал “Кориолана”! Если Гай Марий от обиды на Рим мог заключить союз с вольсками — то

почему не оставить эту возможность Троцкому?» — «Но вы должны знать!» — «Помилуйте! Я секретарь — а не работник абвера!» Несколько минут мы уделили обсуждению московских процессов: плохо поставленные спектакли! Ни одного вещественного доказательства — хоть что-нибудь, говорящее о шпионаже, — но нет, большевики не затрудняют себя такими мелочами. Сталин отделался фразой: мол, не бывает шпионов, которые сохраняют документы, подтверждающие их предательство. «Подумайте, — возмутился Адольф, — что бы сказали, если бы я позволил себе такую демагогию!» Но мы перешли к вопросу африканских

колоний, и московские шпионы были забыты.

Впрочем, подробности этой встречи вы отыщете легко, беседа стенографировалась — то была исключительно дружеская, доверительная беседа. Германия — бастион борьбы с большевизмом и в качестве такового заслужила африканские колонии — вот о чем шла речь, и это зафиксировано.

Однако приготовьтесь: вас смутит, что в том же 37-м Черчилль навестил Риббентропа в германском посольстве — и не поддержал германский план покорения Восточной Европы. Ну как нам быть с архивными свидетельствами! Вот

вам, пожалуйста, зафиксировано, как посол Британии в Берлине, проныра Гендерсон неоднократно говорил, что «фюрер и Герман Геринг однажды приедут в Букингемский дворец, чтобы нанести визит королю». Думаете, он просто дразнил Адольфа? В мае 1939-го в Берлин прибыл депутат от консерваторов Друммонд-Вольф с обещанием от правительства Соединенного Королевства предоставить Германии поле деятельности, «которое принадлежит ей по праву — на Востоке и на Балканах». А припомните, что советовал англичанам в отношении Польши посол США в Британии — Кеннеди?

О, мне пришлось однажды слышать такое... Моя память лучше, чем любой научный институт, надежней архивного сейфа. И как прикажете сопоставлять эти факты? Добавьте сюда и то, что стараниями победителей многие архивные бумаги были уничтожены, чтобы спрямить историю... но и в уцелевших документах довольно противоречий. Одна бумага говорит нам одно, а другая – другое. Школяру при изучении любого предмета приходится сталкиваться с тем, что в одном документе написано, что Бог есть, а в другом – что Бога нет. И если отправная точка разнится, как вы можете надеяться найти логику в

сопоставлении документов? Какое утверждение выбрать за истинное?

Хотите, научу вас тому, как заниматься историей? Возможно, мои записи кому-либо и пригодятся.

Как-то мне довелось беседовать на эту тему с моим пасынком Йоргом Виттроком (я про себя именовал его пасынком), и я высказал юноше следующие соображения. Йорг продолжал увлекаться авангардом, пестрой мазней дилетантов. Пятно красное, пятно желтое — русские профаны особенно сильны по части пестрой буффонады; для них какофония есть намек на свободу. Гуляя с подростком по музею, я сказал ему так:

— Оглянись вокруг, Йорг. Мы живем внутри истории, ты про историю часто слышишь от меня и своей матери. Но мы живем и внутри одного дня, а потом внутри другого дня, и каждый день ярок. История, разобранная на яркие факты, напоминает палитру начинающего живописца, которому нравится всякий цвет, и всякое яркое пятно его возбуждает. Такой же пестротой отличаются твои любимцы — Кандинский или Явленский. Вот перед тобой набор пестрых пятен, которые трудно собрать в мировоззрение, а вот перед тобой эффекты ярких дней, декларации политиков, которые тоже не

совпадают друг с другом, не собираются в единую картину истории. Авангардисты (а за ними и ты, влюбленный в яркие впечатления) идут от той палитры, которую диктует темперамент, то есть диктует природа, – ведь природа будто бы являет нам разнообразие. Однако разнообразие обманчиво. Натура обманывает мнимой пестротой. Надо в природе найти средний тон воздуха и от него выстроить собственную палитру и навязать свою палитру натуре. Природа обманывает наших пылких живописцев в том отношении, что показывает много цветов, а на самом деле все цвета сплавлены в один,

просто глаз видит дробно и не умеет соединить увиденное с мозгом, который объяснит глазу, что пестрое разнообразие сплавлено в единый общий тон природы. Взглядом ты способен оценить лишь фрагмент натуры и в нем, в этом маленьком фрагменте, ты видишь будто бы явленное разнообразие тонов. Но вообрази, что существует неисчислимое множество фрагментов, объединенных единым небом. Думай об этом общем цвете, о единой палитре мироздания и не отвлекайся на яркие пятна.

— Но как быть, — спросил меня Йорг в тот день, — если оба политика говорят разное, но оба говорят

убедительно, и даже верные факты приводят? Значит, есть две правды истории, не так ли? Как быть, если два художника рисуют страстно, но один любит дополнительные цвета, а другой – контрасты? Что считать гармонией?

– Это просто, – ответил я. – Надо лишь включить в общую картину истории анализ личности автора документа или автора картины; многое прояснится.

Менее, чем прочие, известен мой разговор с Уинстоном Черчиллем в тридцать втором году в Мюнхене; известно лишь, что Черчилль уклонился от личной встречи с фюрером, сославшись на то, что не приемлет политики антисемитизма. Позже в своих воспоминаниях английский премьер напишет: вот так Гитлер упустил тот единственный шанс, когда мы могли бы встретиться... Ах, самодовольный сэр Уинстон! Отчего не вспомните другой шанс, который Адольф подарил вам под Дюнкерком, удержав танки Гудериана? Он не

хотел воевать с Европой, не хотел... А с вами он дружить мечтал, и отнюдь не еврейский вопрос вас рассорил. «Почему Гитлер не любил евреев?» — вот что спросили вы тогда. Неужели такие элементарные вещи надо разжевать? Кстати, если уж договаривать до конца: уклонился от встречи как раз Адольф — сэр Уинстон терпеливо ждал в ресторане три часа кряду.

Я помню тот день отлично. Встреча произошла в «Континентале», а не в «Регине», как пишет Уинстон Черчилль. И совсем не Гитлер искал этой встречи, а британский лорд. Сын Черчилля, юный Рандольф, заранее со мной

договорился — стол в гостиничном ресторане был накрыт на десять персон. Гитлер прийти отказался, то была очередная блажь Адольфа: его, видите ли, плохо попросили! Я приехал один, постоял перед Черчиллем, слегка ссутулившись, чтобы не оскорблять англичанина своим ростом и отказом шефа, и был посажен за стол. Гитлер еще может подъехать, сказал я, и Черчилль сидел и ждал Адольфа. Я отвечал Черчиллю по-английски, а не через переводчика, к чему формальности: в тот момент Уинстон Черчилль не был членом кабинета. Последний его пост был — секретарь Казначейства, и он умудрился ввергнуть Британию в

финансовый кризис и безработицу, а сейчас, как говорил он сам, посвятил себя литературе. Но планы имелись обширные! Не зря, не зря он приехал знакомиться с Адольфом Гитлером. Недавно он поменял партию, перешел из либералов в консерваторы, и теперь оглядывался вокруг — кого использовать как рычаг возвращения во власть? Гитлер казался многообещающим партнером. Черчилль много ел, много пил, расспрашивал об Адольфе: играет ли шеф в теннис, каких художников любит, где обычно проводит каникулы. Я сказал, что Адольф не выносит беспредметного искусства. Черчилль поддержал,

сказав, что, если бы встретил Пикассо, дал бы Пикассо здоровенного пинка под зад. «Отдыхать Адольф любит в родной Австрии, в Альпах, — поделился я. — А где любит проводить досуг лорд Уинстон?» — «С кисточкой и палитрой у себя в Чартвелле или навещаю родное гнездо — Блекхейм», — отвечал новоиспеченный консерватор.

Черчилль действительно спросил, чем вызван антисемитизм Адольфа Гитлера. Сказал он примерно следующее: «Антисемитизм хорош и понятен поначалу, но скверно, когда входит в привычку!» Он прихлебывал коньяк

и, естественно, курил сигару — как же еще! Мне, секретарю лидера нации, надлежало внятно объяснить, на кой ляд нам сдалось преследование евреев.

Я едва удержался, чтобы не сказать самодовольному британцу: а затем нам сдались евреи, дорогой сэр, что не век же вам французов под германские пушки подставлять. Вам, разумеется, все равно, кого гнать на бойню — сербов ли с боснийцами, эльзасцев ли с чехами. А нам, континентальным европейцам, не все равно. Мы не хотим больше гражданской войны, не хотим убивать друг друга. Я ответил бы ему просто: потому Гитлер не любит

евреев, что хочет объединить Европу, а для этого европейцу нужен внешний враг. Что тут непонятно? Недавно убили десять миллионов человек в Европе, вам, европейцам, это так же просто, как чихнуть! Вы заставили соседей резать друг друга, и никакая гражданская война в России не сравнится с гражданской войной в Европе — в десять раз больше народа перерезали, в ударных темпах! И не коммунизм, не фашизм тому виной! Кто заставлял генерала Людендорфа биться с генералом Ранненкамфом? Оба, между прочим, немцы, оба люди зажиточные, оба солдаты. Только Людендорф ведет 8-ю германскую армию, а

Ранненкампф – ведет в бой русскую Неманскую армию... И солдатики вспарывают друг другу животы, выкалывают глаза, режут горло... Что их столкнуло? У вас, у британских лордов, принято считать, что чем восточнее – тем более варварски устроена история. В России, там брат идет на брата, а вот в Европе убийство себе подобных проходит цивилизованно. А когда один немец за Германию, а другой – за Россию, это что? Когда одна половина Лотарингии – за немцев, а другая – за французов, это вам что, не гражданская, что ли, война?

Отвлекусь немного, и скажу что сегодня наивные правозащитники

уверят граждан, будто большевики убивали свой собственный народ, а гитлеровцы – народы чужие. Милые, наивные люди – как хочется им очернить свое прошлое, как боятся они знать горькую правду об идеале. Мы кроили Чехословакию и вселяли вражду в австрийские сердца, мы заставляли французов доносить друг на друга, мы приветствовали немецкого эльзасца, который вспарывал живот эльзасцу французскому; мы следили за братоубийственной войной в Испании. О, со времен протестантских войн, со времен Тридцатилетней европейской войны именно гражданская резня, именно

истребление собственных братьев и сестер — есть плата за империю. Кавеньяк, стрелявший в своих восставших единоплеменников; француз Тьер, позвавший прусского Бисмарка на истребление парижских инсургентов — это архетипическое сознание нашего европейского имперского политика. Помилуйте, господа, большевикам до нас, европейцев, весьма далеко — их жажда Империи была не столь сильной.

Гражданская война большевиков была лишь рабочим инструментом при создании бесклассового общества — для нас гражданская война была естественным

состоянием Империи. Большевик догадался, увидел слабое место европейской войны, выдумал лозунг: «Превратим войну империалистическую в войну гражданскую», то есть будем убивать не братьев, а общих угнетателей. Разумно поступил большевик? Еще как разумно — и хитро! Вот, смотрите: германский солдат уже не хочет стрелять в русского, тем более что у обоих генералы немцы... Этот солдат хочет стрелять в того, кто посылает их обоих умирать. И вот уже находится какой-нибудь Эрнст Тельман, который говорит: «Рот фронт!» И немецкий фанен-юнкер тянет тонкую шейку из окопа:

дурачку интересно послушать, отчего его убивают. Сиди смирно! Не лезь из окопа! Все равно тебя убьют, не те лозунги, так эти! Ан нет, фанен-юнкеру интересно про Красный фронт! И вот уже Тельман организует восстание в Гамбурге! Вот он уже в Советской России! Вот его уже прочат в президенты! Что бы такое этому досадному Красному фронту противопоставить? Ответ нужен быстро! Так вот же вам ответ подсказывают... мы вам подсказываем ответ! Коммунисты перевели войну за колонии — в войну за права низших классов? Ловкачи! А теперь наш ход!

И Запад ответил мощно — по-

имперски, с размахом. Переведем классовую войну – в расовую войну! Классы – в расы! Гражданскую войну – превратим в народную! Что такое гражданин? Это член какого-то там общества, в правовых институтах коего еще надобно разобраться; гражданин – это член некоей социальной страты, и еще поди посчитай, сколько у данного крестьянина свиней и кур, в какую категорию его записывать. Русский крестьянин, он брат немецкого крестьянина – или нет? Поспешили марксисты, поторопились! Не растет у русского крестьянина ни черта на его делянке, а у германского бюргера – колосится! Вот вам и братство!

Морока с этими классами вышла! Надобно иметь классовое сознание: солидарность угнетенных. А возможна ли солидарность культур? Бред, чистая фантазия, уважаемый сэр... Философия культуры – вот слабое звено марксизма, вот чего не учел черный сын Трира! Сколько вещей требуется забыть, чтобы уравнивать немецкого бедняка с русским... А отличить еврея от немца можно с расстояния двести метров. Что такое народ? Народ – это нация, кровь, раса, это то, что дается от рождения. И никаким гражданам за народом не угнаться! И как ловко, как изящно мы провели подмену!

Вы желаете гражданской войны?

Дивно! Только что вы в реальности знаете о гражданской войне? Чего стоят ваши ничтожные знания о гражданской войне против накопленных веками европейских навыков по братоубийству? Посмотрите внимательнее на граждан-рекрутов, они ведь не просто бедняки, они прежде всего немецкий народ! Итак, сюжет исторической пьесы прост: войну империалистическую — заменили на гражданскую, а войну гражданскую — на войну народную. Вы полагаете, кто писал этот сценарий? Уверяю вас — не Маркс и не Сталин, кто-то более авторитетный. Помните великую фразу фельдмаршала фон Мольтке?

«Эта война — война народная, — сказал Гельмут фон Мольтке, — и быстро она не кончится».

И положила руку на бумажник, разве вы не этого самого хотели?

Мы, ахейцы, вышли на кораблях в открытое море ради торжества всей Аттики — в том числе вашего торжества, уважаемый сэр! Именно так я хотел сказать толстому Черчиллю. Скажите, сэр колониальных дел мастер, разве вам не мила наша идея? Мы аргонавты — идущие на подвиги ради общего торжества, наша расовая идея — это идея, оправдывающая именно ваш всегдашний порядок вещей! Да, потребуются жертвы. Если надо, вы положите на алтарь истории полнотелую Ифигению — Чехословакию, — но разве вы,

ахейские лорды, не знаете, что жертву обязательно приносят в самом начале похода? А если одной жертвы окажется мало — что ж, спросите жрецов, сколько жертв приносят ради успешного похода. Не кривитесь: корабли спущены на воду, мы войдем в Судеты, а потом — в Польшу — да и Польша спать не будет, а воспользовавшись моментом, сама отгрызет у Чехословакии изрядный кусок. Стоит ли защищать территориальную целостность тех стран, которые не уважают чужих границ? Мы вышли в поход — ради вас, мы плывем под теми же флагами, что и вы. Мы чтим те же критерии красоты и гармонии, что и

вы. Мы любуемся теми же статуями и картинами... Взгляните на вашего визионера Вильяма Блейка, на его мускулистых дев с распущенными локонами, на его Бога Саваофа с бицепсами и трицепсами – вам еще не понятно, откуда пришла эстетика Третьего рейха?

Вот что я хотел сказать жирному Черчиллю в тот день в мюнхенской гостинице «Континенталь», но ограничился короткой справкой.

– Согласен, господин Черчилль, – сказал я, расставляя слова аккуратно, чтобы не повредить переговорам, – у германского юнкерства выработалось пренебрежительное отношение к

еврейскому населению, это печальный факт. И многие считают, что юнкерство — есть почва, на которой развивается национализм. Вы, вероятно, разделяете этот взгляд. Непонимание между нашими культурами основано на недоразумении. Позвольте, я объясню, в чем дело?

Черчилль кивнул.

— Априори считается, будто Англия — страна промышленная, а в Германии — мелкое землевладение, порождающее специфическую узость взглядов. На деле же класс юнкерства развит более всего в Британской империи — просто историки проглядели британского юнкера.

Дело в том, что ваши юнкера, младшие сыновья родовитых фамилий, заводят свои хозяйства в Индии, а из плантаций Виргинии и Ямайки выкачивают больше, чем прусский юнкер из своего небольшого участка. Прусских крестьян не принято бить палками по пяткам. Работают прусские крестьяне аккуратно, спору нет – но поротые индусы работают еще прилежнее. Британское юнкерство воспитало свои добродетели на порке египетского феллаха, негра, а особенно индуса; насколько могу судить, само слово «индус» не менее оскорбительно звучит, нежели слово «жид».

Черчилль посмотрел на меня с раздражением. Но, опытный дипломат, он погасил гнев улыбкой:

— Значит, если бы у Германии были колонии?.. Все упирается в вопрос колоний, не так ли?

— Разрешите, я напомним о нашей встрече с лордом Галифаксом. У нас имеются соответствующие протоколы.

Черчилль спросил, что я думаю о союзе Франции, Британии и Германии — как об антикоммунистическом пакте. Я предложил включить еще и Италию.

— Клуб хорош тем, что в нем ограниченное число членов, — заметил Черчилль.

– Действительно! – подхватил я. – Это будет прекрасный союз! У нас есть дела поважнее, чем обсуждение прав евреев! Есть Сталин и его армия! К тому же есть промышленные нужды, которые все примиряют. Разве во время недавней войны наши производства не продолжали сотрудничать? Английской текстильной промышленности не обойтись без германских красителей! «Дойче Фарбениндустри» всегда будет вашим верным партнером, надо только определить места сбыта. Не из-за евреев же ссориться! – Я хотел добавить, что деятельность «Дойче Фарбениндустри» в точности

повторяет те производства красителей, из-за которых Лоренцо разграбил город Вольтерру; но образование было помехой в разговоре с политиками; политикам надо сообщать сегодняшние факты, и фактов желательно давать немного: лидеры думают медленно.

— Действительно, — сказал Черчилль, — есть дела первостепенной надобности. Меня тревожит судьба европейской культуры, господин Ханфштангель. Частное право под угрозой!

И снова я удержался, не сказал ему: «Уважаемый сэр! Как не встревожиться! Личность и частное право под угрозой, сколь верно ваше

наблюдение. “Частные интересы, которые находятся в стороне от национального пути, будут уничтожаться”, – это ведь сказал не Ленин, не Гитлер. Это сказал Алан Честертон, любимый кузен Гильберта Честертона – английского гуманиста. И сказано это в книге “Портрет лидера”, посвященной Освальду Мосли, британскому фашисту. Освальду Мосли – зятю лорда Керзона. Уж не Гитлер придумал угрожать частным интересам, что вы, право!»

– А где же ваш шеф? – спросил Черчилль.

Я отлично знал, где в настоящий момент Гитлер, – он все-таки

приехал в «Континенталь» и стоял в холле отеля, замотанный в свой романтический шарф, небритый, с надвинутой на глаза шляпой. Итальянский тенор! Гордец! Я выскочил в нему в холл, едва официант принес мне записку.

– Вы с ума сошли! В таком виде!

– Ах, вам, милейший Ханфштангль, не нравится мой вид! Я рискую не произвести впечатление на семейство Черчиллей? – Адольф развернулся и вышел прочь. Повернулся – и хлопнул дверью отеля «Континенталь». Вот вам и исторический момент!

Я вернулся и со смехом рассказал, что найти Адольфа

невозможно — лидера движения буквально разрывают на части! Ах, кто же знает, где он сейчас: говорит с рабочими на митинге, посещает приюты, вразумляет профсоюзных лидеров...

Черчилль передернул жирными плечами, заворочался в кресле, кожа скрипела под британскими ягодицами. Встал, разгладил жилетку на животе:

— Передайте от меня и моей семьи сердечный привет господину Гитлеру!

Еще бы, ему стало обидно, герою Англо-бурской войны! Он оскорбился, что его предложением пренебрегли! И к тому же он за

мораль в политике! Пройдет каких-нибудь восемь лет, и он, не моргнув глазом, выдаст Сталину казаков с семьями, с грудными детьми — выдаст на убой, точно так же, как некогда лорд Китченер с необычайной легкостью выдал русским сыщикам политического беженца Адамовича, — и это было для лордов столь же просто, как расстрелять без суда несколько тысяч восставших негров в Судане или запереть жен и детей буров в концентрационные лагеря, где смертность была двести человек на тысячу. Это ведь, кажется, Китченер кричал, перестреляв демонстрантов: «Прекратите огонь! Какая нелепая

потеря боеприпасов!» И что было думать о казаках в послевоенные годы, если на повестке дня стояло подавление греческих волнений: в освобожденной от нацистов Греции зашевелились народные массы, и требовался британский гарнизон, чтобы восстановить адекватное управление. Надо было отдавать приказ морпехам высаживаться с «Ориона» и стрелять в бывших союзников, греческих партизан, — ведь в кармане лежала бумажка соглашения, завизированная Сталиным: «90 % Греции — под влиянием Британии». А что еще требуется британцу помимо власти в колониях?

Надо бы спросить мнение милейшего майора Ричардса по этому поводу.

Я спросил себе еще чашку чая с молоком и стал смотреть в окно: ямайские негры передавали друг другу подозрительные свертки, британские рабочие жевали камберлендские сосиски; обычный день сонной империи прогресса.

– Эрнст, мне кажется, я задала вам вопрос. – Елена вытирала пот скомканной простыней.

– Друг мой, друг мой... – сказал я рассеяно. Так бывает со мной – посреди беседы я неожиданно ухожу мыслью в сторону, огорчая собеседника. Это не значит, что я вовсе игнорирую присутствующих. Я думал о Черчилле и вспоминал о Мюнхене, любясь животом Елены, самой волнующей частью женского тела. Елена (подобно многим женщинам) стеснялась своей легкой полноты и прелестных складок на животе – а я показывал ей

репродукции греческих скульптур и убеждал в том, что это и есть — красота. Случилось так, что я дожил до времен, в которых торжествуют вкусы кочевых народов — плоские животы, костлявые женские плечи, если бы у гуннов было искусство, верно, женские образы и были бы такими. В сегодняшнем западном мире приняты образцы красоты, присущие степнякам. Печально, что в своем восприятии античного образа Адольф упускал из виду такой необходимый критерий, как мягкость линии, плавность силуэта. Ему чужд был чувственный гедонизм Античности — и это сказалось на вкусах немцев. Псевдоантичное

искусство Третьего рейха звало к плодородию и семейной гармонии — но без удовольствий и неги. Колоссы любимца фюрера, скульптора Беккера, удручающе напоминали жестоковых куросов — но уж никак не атлетов эллинизма. Они не понимали простого: мощь и власть не противоречат чувственности. Однажды я намекнул Гитлеру, что, возвращаясь к античным идеалам, следует думать и о том, чтобы новая Античность дала импульс новому Возрождению: разве современный красавец вдохновит грядущего Тициана? Ах, разрешите линии отклониться от описания мускулатуры — дайте ей волю! Боюсь,

Адольф не понял меня. Плоский живот спортсмена — вот что он рекомендовал в качестве эталона красоты. Но разве живот Венеры Милосской, Венеры Кранаха, Венеры Джорджоне — плоский? Сознательно не упоминаю Рубенса, но вспомните Тициана! Я бы посвятил отдельную статью линии, очерчивающей живот красавицы. Набегающая волна? Колеблемая ветром гладь океана? Я искал нужный образ, созерцая свою возлюбленную, — и лишь спустя несколько мгновений понял, что не ответил на ее вопрос.

— Друг мой, вы спросили о Гитлере? Простите, не расслышал. Вам настолько не нравится мой

протезе?

— Вся грязь Германии липнет к его партии. Вы не боитесь замараться? Эрнст, вы называете меня своим другом, не так ли?

— Именно так, — ответил я, а сам подумал, какая странная у нас дружба: всего десять минут назад я лежал на моем друге, тискал дружеские бедра и кусал дружеское плечо — но, возможно, греки именно так и дружили?

— Но если я ваш друг, — сказала она, — с Гитлером у вас дружбы быть не может. Видимо, надо выбрать: или пускаться в плавание с отчаянным капитаном, или оставаться в гавани со мной.

– Думаете, у нас есть выбор?
По-моему, выбора нет.

В отеле, по четвергам, в три часа дня – и так много лет подряд. Елена приходила чуть раньше и ждала в постели, разбросав по комнате одежду. Она никогда не складывала предметы туалета на стул – помню ее чулки, брошенные в вазу с зелеными яблоками. Она и мне не давала возможности раздеться спокойно – едва я входил, она вскакивала с кровати, срывала с меня пиджак и рубашку. Лишь потом, лежа голова к голове на смятых подушках, мы беседовали.

Мы лежали в постели до начала шестого, потом спускались в холл,

там нас ждал Йорг, сын Елены. Мать приглашала юношу в отель, чтобы иметь возможность вернуться домой вместе с сыном — по пути они делали покупки, это должно было выглядеть как чинная прогулка матери семейства и взрослеющего молодого человека. Вначале я испытывал неловкость, даже пытался изобразить, что встретились мы с Еленой случайно, что я зашел в отель выпить чаю: «Ах, это вы, фрау Виттрок! Как, и ваш мальчик тут!» Скоро стало ясно, что притворяться не требуется — мальчик на нашей стороне. Мать заставляла сына покрывать интригу: торговец красным деревом думал, что мать и

сын гуляли под каштанами весь вечер, а почему у жены искусанные губы, покладистый муж не спрашивал.

Йорг являлся в гостиницу к пяти часам, преданно ждал, ни разу не выказал неприязни ко мне, любовнику своей матери. Наши чаепития с Йоргом затягивались до семи — мать с сыном едва успевали на семейный ужин. Фрау Виттрок была голодна после любви, кельнер «Четырех сезонов» привык к ее вкусам, ставил на наш столик графин белого вина, приносил ростбиф. Все это выглядело несколько вульгарно, но я говорил себе, что бурное поглощение пищи — своего рода

выражение страсти, неистовое чувство всегда выглядит вульгарно, и что с того? Наши штурмовики, когда стучат палками в окна еврейских ростовщиков, тоже выглядят вульгарно. Разве авангард не вульгарен? Меня, признаюсь, авангард отталкивает своей предельной вульгарностью — но именно в ней сила авангарда. Елена поглощала сандвичи, запивала большими глотками рейнского, я прихлебывал черный чай и беседовал с мальчиком — вспоминаю эти минуты как самые счастливые мгновения жизни.

Кажется, я имел случай сказать читателю, что всегда ощущал

призвание лектора — я действительно умею преподнести знания в нужной последовательности. Талант лектора — не ахти какой дар богов, уступает даже искусству кулинара, помнится, Платон определял ораторское искусство всего лишь как сноровку. Если угодно, это разновидность педантизма: хозяйки любят аккуратно расставлять чашки в буфете, а я люблю группировать исторические факты. Невелика премудрость — но сколь необходим педантизм для юношества! Главные беды не от невежества, но от полужнания: невежда не испытывает иллюзий, но полуграмотей уверен, что мир ему ведом. Полужнание

бодро марширует вперед – и всегда в пропасть. Я повторял Елене, повторял Йоргу, скажу и сейчас: ищите связь явлений, сопоставляйте, сравнивайте!

Выстраивая порядок явлений, мы открываем закономерность, тем самым приближаемся к пониманию их сущности.

Встречаясь с Йоргом, я, не торопясь, рассказал ему историю Запада. Теперь, оглядываясь назад, могу сказать, что воспитал этого человека.

Наши встречи случались раз в неделю, зато регулярно. До того как сесть за семейный ужин с отцом и слушать жалобы на еврейских

ростовщиков, мальчик успевал узнать о Священной Римской империи, о Каролингах, о Фридрихе Барбароссе, о Крестовых походах, о войнах против альбигойцев, о замках катаров в Пиренеях, об изгнании морисков из Испании. Иногда мать перебивала меня, возвращала нашу беседу в сегодняшний день — задавала вопросы о современной политике. Я не возражал: чего бы стоили разговоры об истории, если бы мы не умели извлекать из них урок именно в сегодняшней ситуации?

Наши встречи длились десять лет — в тридцать третьем я переехал в Берлин вместе с канцелярией

фюрера. За эти десять лет мы стали семьей: Елена, Йорг и я. Странно, но я ощущал, что моя подлинная семья не столь мне близка, как те, с кем я ужинаю по четвергам на Максимилианштрассе, в отеле «Четыре сезона». Я ждал четверга, я раздражался на жену, я рассеяно отвечал своему сыну Эгону – моим настоящим сыном становился Йорг.

В двадцать девятом моя жена вместе с сыном вернулась в Америку. Для их отъезда нашелся формальный повод: финансовый кризис ударил по капиталам семьи, требовалось принимать решения касательно текущих дел. В принципе, дела можно было регулировать и через

океан, но жена пожелала вернуться — а я не удерживал. Мы оба понимали, что это навсегда; поцеловались, я потрепал Эгона по волосам — мальчик давно вырос. Три года я кочевал с выступлениями по стране — встречи с народом, партийные дебаты, митинги. Опустевшее жилье в Мюнхене не тяготило меня: то был очередной гостиничный номер, и только. В 1933-м переехал в Берлин вместе с Адольфом. Вскоре и Елена последовала за мной в Берлин, торговца мебелью оставила. Вместе с сыном она поселилась на квартире, рекомендованной родственниками, теми самыми фон Мольтке, без которых не обходится ни одна глава

германской истории. Я же снимал в Вильмерсдорфе, на Нассауишештрассе 53. Здание в духе норвежского югендштиля, просторная квартира с широкими коридорами, живопись сумрачного Ханса фон Мааре по стенам – это Адольф сделал такой подарок. Я ценил покой, гостиничные номера успели надоесть. Отели, отели, отели – порой я забывал, в каком городе проснулся, лежал подолгу в серой утренней комнате, соображая: Маргбург? Фрайбург? Кельн?

И снова легкой тенью скользнул в комнату майор Ричардс, принес портативный телевизор, поставил на мой стол, нашел нужную программу. На экране – сырая Москва, возбужденная толпа шевелилась на площади. Сотни рукописных плакатов. Граждане писали «Не забудем, не простим!» – и сначала я решил, что собрался антигерманский митинг, эту риторику я помню в отношении Адольфа. Однако тут же обнаружил свою ошибку – то был антиправительственный митинг в русской столице, граждане требовали отставки президента, новых выборов

и еще чего-то, чего до конца не понимали сами. Камера скользнула дальше и выше, поверх голов, — показали трибуну, в говорящем я узнал недавнего гостя, господина Пиганова.

Спортивный, крепкий мужчина, с глазами, налитыми убеждениями, он кричал в микрофон:

— Мы хотим быть стадом?

— Нет! — редела толпа.

— Мы хотим быть нищими?

— Нет!! — редела толпа.

— Мы хотим, чтобы нами правили полицейские?

— Нет!!!

— Нас много, и мы все разные! Я вижу здесь разные флаги: красные,

желтые, черные! Не вижу только серого цвета — цвета лживого правительства. Нам говорят, что либералы, националисты и социалисты не могут выходить на площадь вместе. Говорят, такой союз невозможен. Я отвечу так. Разница между мужчиной и женщиной гораздо принципиальнее, нежели разница между националистом и либералом. Тем не менее мужчины и женщины договариваются и рожают детей. Договоримся и мы. Цель общая: жить без вранья!

— Долой ложь! — Толпа рыкнула, пробуя глотки, а потом заревела в полную силу: — Долой! Пошли вон!!! К черту! Хватит!!! Свобода!!!

– Солидарность! – крикнул в полную силу Пиганов. – Долой ложь!

– Долой!!! – редела толпа, и мятежные лица лезли в кинокамеру.

– Видите, что происходит, – сказал мне майор Ричардс, тихая улыбка гуляла по его лицу. – Россия созрела для перемен.

– В свое время мы с Адольфом ездили по митингам... Из Мюнхена в Нюрнберг, оттуда в Кельн, оттуда в Бохум... Я помню то время.

– Производит впечатление, не правда ли? Коллеги были в Москве, говорят, город бурлит.

– Великая вещь – трибуна, – ответил я майору. – Легко врать, а спорить бесполезно. Мужчина и

женщина — это не
противоположности, майор Ричардс.
Это половинки одного целого, их
соединение дает ребенка.

— Вы уверены?

— Я это знаю, — сказал я, а
подумал о Елене и о том, что у нас не
было детей.

— Допустим, что коммунисты и
националисты — это тоже половинки
одного целого, — прищурился майор
Ричардс.

— Это лишь приправа, майор...
Кто-то варит суп... Ингредиентов
много — либералы, эсеры,
социалисты, христианские
демократы... Пенсионеры... Люди
без убеждений... Много молодежи...

В кастрюлю кидают все подряд.

— А смотрите-ка сюда!

На экране сменилась картинка. Теперь мы видели круглый стол, заставленный праздничной едой: трое остряков рассказывали анекдоты, хлопали друг друга по плечам.

— Лучшие интеллектуалы России! — сказал майор. — Real fun! Вы видите: блондин с рюмкой — это Коконов, блестящий человек! С оппозиционером Аладьевым вы уже знакомы! — и майор указал мне на композитора. Закутанный в белый шарф, Аркадий Аладьев кушал бутерброд.

— На что вы готовы ради

президента? – спрашивал блестящий Коконов у девушки в роговых очках. – Проверим вашу сознательность! – Аудитория приготовилась смеяться.

– Ради президента я порву свои колготки! – кричала девушка и, вскочив из-за стола, принялась десертной вилочкой рвать на себе колготки. Колготки лопнули, обнажив ноги, а Коконов с Аладьевым заразительно смеялись, смех сгибал их дугой.

– Пошлем колготки в Кремль! – Коконов сполз со стула и катался по ковру, так было смешно. – Подарок президенту!

– Люди смеются! – сказал майор. – Смех – страшное оружие!

— Что делать будут, когда победят?

— Надо покончить с тиранией... Программу сочинить недолго. Впрочем, — Ричардс выключил телевизор, — вы собирались рассказать о своих встречах с Ханной Арендт. Пишите, прошу вас.

Аладьев на экране открыл рот и выпятил живот, крякнул, съежился и пропал. Экран почернел. Я вернулся к своим бумагам.

Увы, Елена никогда не забывала свою вину: ей мнилось, что в крутящиеся двери отеля протиснется господин Виттрок и потребует объяснений. Кто-нибудь ему непременно расскажет: проклятые немецкие городки, где всякого знают в лицо и ставят на учет в бюро сплетен. Зачем, спрашиваю я, зачем нужна иная форма организации там, где действует всевластный принцип соседства? Фрау Х и фрау Y – их связь прочнее любой партийной дисциплины. Дамы жгли глазами Елену, когда та проходила по улице. Однажды мы не виделись целых три

недели, я ездил по Южной Германии; когда встретились, Елена показала мне партийный билет.

— Я вступила в вашу партию!

— Зачем?

— Чтобы вместе с вами ездить на слеты и митинги и спать в дешевых отелях. Да! Елена фон Мольтке не осрамит дела национал социализма. Мне осточертело, что здешние горничные смотрят на меня как на шлюху; я прихожу в дорогой отель к партийному бонзе! Странно, что еще не спросили, какая у меня такса за час! Теперь извольте брать меня на собрания!

Я пользовался любой служебной надобностью, чтобы провести ночь в

провинциальном отеле;
в Регенсбурге ли, в Нюрнберге – где
удобно, лишь бы Елена чувствовала
себя свободно.

Расскажу об одной из таких
командировок, о поездке в Марбург.
Как обычно в таких случаях, я не
стал селиться с партийной
делегацией, а выбрал чистенький
отель подле университета – этаким
буколический приют Филимона и
Бавкиды, классический германский
домик с фахверками, до липкости
suss и gemütlich. Все подобное я
ненавижу: мне отвратительны
вощенные лестничные перила с
завитушками, я не выношу
засушенных веночков на дверях, а

фарфоровые купидоны, по-моему, куда большее зло, нежели еврейские ростовщики. Помню, мы с Адольфом долго хохотали, когда я высказал ему это соображение. Окончательное решение вопроса о фарфоровых купидончиках – вот была бы знатная конференция на Ванзее! Вот где бы старина Гиммлер развернулся! Отселить купидончиков на Мадагаскар! Мы ищем удаленное место посреди океана для античной парадигмы – не повторяем ли шекспировскую «Бурю»? А кстати, немецкие «Буря и натиск» как относятся к борьбе Ариеля с Калибаном? – вот о чем спросил я Адольфа в тот раз, и сразу понял, что

шекспировской «Бури» он не читал. Романтические названия, которые он придумывал для своих кампаний: «Мрак и туман», «Цитадель», отысканы в лексиконе Вагнера, не у Шекспира. Но, впрочем, я отвлекся. Вернусь к эпизоду в Марбурге.

Итак, я снял номер в скрипучем бидермайере, в царстве щелкунчиков и мышинных королей, меня поместили в гербарий среди засахаренных орехов и лавандовых веточек, вручили ключ от рая — за дощатой дверью гигантская постель со взбитой, точно крем на баварском торте, периной. Я успел выбросить в мусорное ведро послание владельца гостиницы: он предлагал нам

подумать о домашних, прежде чем уснем вдали от родного очага. Вбежала Елена; мы любили друг друга на филимоно-бавкидовом ложе, ветхая кровать сотрясалась, деревянная спинка барабанила по стене, пугая соседей. Я пытался двигаться осторожнее, но Елена, сплетая ноги у меня за спиной и толкая в поясницу пятками, понуждала к галопу, давала мне шенкелей, точно скакуну на дерби. Вдруг я услышал ответное постукивание с той стороны стены. Там, очевидно, тоже стояла кровать, и какой-нибудь жирный отец семейства растрясал живот, перину и молоденькую горничную. Их кровать

молотила в ту же стену, что и наша, мы исполняли дуэт на двуспальных матрацах. Некоторое время мы перестукивались в одном темпе, в нашей скачке мы шли ноздря в ноздю, потом я стал выдыхаться, а мой сосед, похоже, обрел второе дыхание. Явственно мы слышали женские стоны, которые скоро слились в один протяжный вой, как сказал русский поэт, описывая сражение. Я же с галопа перешел на рысь, потом поплелся шагом, а сосед все мчался вперед. Тук! Тук-тук-тук! Тук! Тук-тук-тук! Тук! Так коммунисты в Моабите отбивают шифрованные послания соседям и получают ответ.

Неожиданно темпераментное стаккато сменилось тяжелыми равномерными ударами, словно бог Тор тяжким молотом загонял сваи в баварскую почву. Вместо бодрого тук-тук-тук, – грозное: Бум! Бум! Бум! Что же они там вытворяют, думал я, обнимая свою Елену.

Бум! Бум! Бум! И опять: Бум! Бум! Бум!

Признаться, я испугался, не пробьет ли бургер дыру в стене. Бум! Бум! Бум! Вот это мужчина!

– Возьми меня! Скорей! – Елена прижалась ко мне, и я проклял наших неугоминых соседей.

Часом позже, когда Елена заснула, предварительно выжав из

меня последнее дыхание, я вышел из номера: хотел выпить рюмку вишневой наливки в баре и выкурить сигару. Вышел – и стал свидетелем сцены вопиющей: голая дама, точнее, почти голая, некие прозрачные покровы все же имелись, – выбежала из соседнего номера и устремилась вниз по лестнице. Несомненно, это она стонала и выла за стеной. В даме меня поразила не столько нагота, сколько ее мужское лицо. Будь она одета, я бы не смог уверенно определить ее пол – костлявое лицо некрасивой еврейской женщины часто напоминает мужскую физиономию. Обнаженная левая грудь (малопривлекательная, похожая

на сдувшийся воздушный шарик, из тех, что продают на рождественских базарах, а потом забывают на липком от пива столе) указывала на принадлежность к слабому полу, и я подумал о ее кавалере: надо обладать темпераментом трех сатиров, чтобы возжелать такую барышню. И сколь бурно он доказывал ей свою страсть! В руках дама держала скомканную одежду и туфли, намереваясь, очевидно, одеться в холле, а может быть, и на улице. Полуголая беглянка напомнила мне картину Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах» — нелепейшее, вообще говоря, произведение. Ложного пафоса я не выношу точно так же, как и

засушенных веночков: фальшь есть фальшь — в любых проявлениях.

Итак, нагая дама ринулась вниз по лестнице. А я про себя упрекнул ее в неблагодарности. Вообще говоря, подумал я, этому бургеру поклониться надо в ножки — нашелся же смельчак!

Смельчак появился следом, возник в дверном проеме. Он успел надеть брюки и накинуть курточку, вышел в коридор в тапочках с помпонами. Тапочки были настолько домашние, что я представил себе, как ловелас пакует чемодан в своем семейном гнезде. Верная Гретхен (Ульрика, Катарина, Доротея) приносит ему тапочки: «Ах, не

отказывайся Ханнес (Отто, Дитрих, Фридрих)! Ты непременно должен захватить теплые тапочки, дорогой супруг! На вашей конференции(слет профессоров-гинекологов, вероятно) вас наверняка поселят в холодный отель!» Уверен, так и происходило, и вообразить, как выглядит эта Гретхен с прилизанными крысиными волосиками, несложно. Какова бы она ни была, подумал я, уж не страшнее профессорской любовницы.

Почему я сразу решил, что мой сосед – профессор? Тонкие усики, аккуратно выстриженные и нафабранные, вкрадчивое движение, каким он их поправил, отправляясь в

погоню за юной любовницей – да, это профессор университета и его студентка! Принимает экзамены в постели, а потом пьет пиво и кушает бутерброд с ветчиной. Что может преподавать такой тип – географию? Анатомию? Кто станет носить тонкие порочные усики? У медиков – усы пышные, а географы сплошь с козлиными бородками. Игрок на скачках? Банкир? Меня осенило: это профессор философии. Ишь, как брюзгливо скривился, гегельянец! Скажите пожалуйста, такой скандал в приличном отеле!

Вернись, хотел крикнуть я студентке, не понимаешь разве, это твой последний шанс! Радуйся – хоть

кому-то ты нужна в этой жизни!

Профессор перегнулся через перила и зашипел в пролет лестницы: «Вернись, Ханна! Слышишь меня, девочка? Вернись скорее, Ханна!» Студентка замерла на полпути — точно пойманная невидимым крючком. Профессор в замшевых тапочках с малиновыми помпонами потянул за леску, студентка дернулась и послушно пошла вверх, склонив кудрявую головку, вытирая слезы. Вернулась, припала к пижамной курточке научного руководителя:

— Ах, Мартин, Мартин... Ты не защитил меня...

— Уйдем отсюда, дорогая Ханна.

Он увлек ее, плачущую, в номер, придерживая жертву за талию, причем полная профессорская философическая рука то и дело соскальзывала с талии на бедро и прогуливалась по плоской еврейской попке. Ханна повернулась ко мне, ее волчье костлявое лицо расплылось в смущенной улыбке. Вероятно, подумал я, даже в уродливой еврейке можно найти привлекательные стороны, нашел же этот профессор.

Дверь за любовниками закрылась, я спустился в бар, заказал настойку, закурил, стал править текст Адольфа — компоновать слова, дописывать рваные предложения. Я в то время работал над финальной

версией «Main Kampf» – вчерне написанная, а точнее, наговоренная Адольфом своему шоферу (Георг был не очень компетентным стенографом) и отредактированная Рудольфом Гессом, книга нуждалась в серьезной литературной обработке. Я потратил немало дней, придавая страницам тот легкий и одновременно убедительный стиль – которым когда-то отличался автор.

Я допивал вторую рюмку, когда ко мне подсел профессор философии. Разумеется, он испытывал неловкость; специально спустился, чтобы поговорить. Пригладил усики, искательно заглянул мне в лицо.

– Вы прибыли на съезд партии?
Я узнал вас, господин Ханфштангель.

Меня узнавали в Германии многие: видели рядом с Адольфом, а рост мой запоминается.

– Да, на съезд.

– Я недавно вступил в партию. Не мог оставаться в стороне от общего движения. Вообще-то я преподаю философию в Марбурге.

Я промолчал, и он представился:

– Мартин Хайдеггер.

Имя мне ничего не говорило. Впрочем, я встречаю так много людей, что не запоминаю имен.

– Должен принести вам извинение за некрасивую сцену,

которую вы только что наблюдали.

— Пустяки.

— Воображаю, как вам с женой было неприятно. Приехали отдохнуть...

— Я здесь не с женой, — сказал я.

— Я так и подумал. Ваша... ммм... студентка?

— Не преподаю.

— Ханна — моя студентка, — профессор философии опять потрогал усики, — весьма одаренная. Но как вы понимаете, я уже не смогу быть для нее преподавателем. Думаю передать ее коллеге Ясперсу....

— Пожалуй. — Я пожал плечами. Имя Ясперса мне тоже ничего не говорило.

– Порекомендовал бы ее своему учителю, доктору Гуссерлю. Но вы знаете, что произошло с Гуссерлем.

– Не знаю.

– Гуссерль – еврей. Мммм, – философ пожевал губами, тронул усики, – В германских университетах засилие евреев. Господину Гуссерлю придется покинуть свой пост... да, покинуть!

– Что же, господин Хай... хайль...

– Хайдеггер, – напомнил он, – Мартин Хайдеггер.

– Благодарю вас, доктор. Итак, вы не любите евреев?

– Я считаю, что в Германии преимущества следует отдать

германской нации. К тому же философия — исконно германская дисциплина. То, что в военной истории выражает себя через марш или парад, — в истории духа выражает себя в поступательной логике.

— Витальная сила науки! Вы темпераментный человек, профессор, — не удержался я. — Мы за стеной восхищались вашими победами. Сколько раз?

Он притворился, что не понял.

— А глухие удары? Что это было, господин Хайль... Хайг...

— Хайдеггер.

— Что это было, господин Хайдеггер? Сперва, так понимаю, к

нам стучалась стенка вашей кровати, мебель здесь непрочная. А потом? Вот эти глухие удары – бум, бум? Что это было?

Профессор поправил тонкие усики:

– Видите ли, господин Ханфштангель... В постели мы не всегда сохраняем ту же степень цивилизованности, что присуща образованным людям в социальном обиходе. Ммм... да! Но, впрочем, и на митингах, в пылу ораторского вдохновения, нас часто ведет сама энергия действия. Помните колебания Фауста? Что было вначале – слово или дело? Я посвятил немало страниц... Она стояла на коленях...

да! – Взор профессора на короткое мгновение затуманился. – Восточный темперамент Ханны...

– Если не ошибаюсь, доктор, ваша студентка Ханна – еврейка?

Хайдеггер сморщился, усики его задергались, щеки набрякли.

– Ханна – еврейка, вы правы. В частности, именно этого не может понять моя супруга. И не может меня простить.

– Вы делитесь своими приключениями с женой?

– Вы с ума сошли! Я все отрицаю, – зашипел Хайдеггер, – но моя супруга здесь!

Господин Хайдеггер кивком головы показал на одну из

посетительниц: полная блондинка с длинным носом и тонкими губами сидела у входной двери и не сводила с нас глаз.

— Кто-то рассказал моей супруге, что мы с Ханной посещаем этот отель. Я даже догадываюсь, кто! Догадываюсь! Да, я уверен!

— Кто же? — спросил я из любопытства.

— Фрау Гуссерль, вот кто! Не может простить, что я не поддержал ее супруга-еврея. Ф-фу! Проклятая дура!

— Какие, однако, страсти у вас в Марбурге, — заметил я.

— Гуссерли из Фрайбурга, он ректор университета... но скоро его

снимут... снимут... – Профессор философии барабанил пальцами по столу. – Моей супруге именно они сказали, не сомневаюсь! Написали, я уверен, подметное письмо. Вполне в духе Гуссерля... Очевидность! Вот его конек, очевидность!

– Не понял вас, Хайль... Хагг...

– Гуссерль считает, что гносеологическое познание должно быть беспредпосылочным и основываться только на том, что ты непосредственно наблюдаешь. Вот они и наблюдают! Гносеология еврейская...

– Видите, значит, еврейская философия все же существует...

– Существует... существует... –

Хайдеггер дергал усиками. – Сейчас я подойду к супруге. Отрекомендую вас как товарища по партии. Скажу, что приехал сюда на съезд. У меня нет выхода, понимаете? Я скажу, что снял семейный номер в надежде, что она ко мне присоединится.

– Куда же денете Ханну?

– Я уже отвел Ханну в ваш номер. У меня не было другого выхода! – Я поднял брови, а Хайдеггер продолжал: – Да, я так поступил! Постучал, и ваша дама открыла. Кажется, она тоже член партии? Я обратился к ней как товарищу по партии, она поняла. Истинная немка!

– Значит, студентка Ханна

сейчас в моем номере?

— А что было делать? — Усики дернулись. — Ханна оскорбилась именно потому, что я предложил ей перейти в другое помещение... Она сочла, что я ее предаю... Но необходимо понимать... Есть незыблемые ценности...

— Хотите сказать, еврейка должна знать свое место? — Я не удержался, сказал именно так. Профессор философии прикрыл веки, то было молчаливое согласие.

— Прошу вас, господин Ханфштангель, пусть это останется между нами! — Профессор привстал и послал воздушный поцелуй супруге, сделав вид, будто только что

ее заметил. — Mein Schatz! Какой сюрприз!

Я вернулся в номер; уходя, успел увидеть как ловелас подходит к столику, а законная жена встречает супруга улыбкой бескровных губ. В номере меня встретили сразу две дамы — Елена все еще лежала в постели, у ее изголовья сидела костлявая Ханна с сигаретой в углу африканского рта. Ханна напустила в нашу комнату вонючего дыма и трясла пепел на ковер.

— Арендт, философ, — сказала еврейка низким голосом и протянула мне костлявую ладонь. Другой рукой придерживала сигарету у губ, затягивалась постоянно. Она

напомнила мне большевистского деятеля Григория Зиновьева. Тот же цепкий фанатичный взгляд, растрепанная шевелюра, мятая сигарета в бурых от никотина пальцах. Зиновьев был крайне жестоким человеком, призывал к массовым расстрелам — впоследствии я немало потрудился, представляя его мучеником сталинской репрессивной машины, но в глубине души я приветствовал гибель этого палача. Ханна Арендт, подобно всем евреям, смотрела на собеседника подозрительно — ей мнилось, что я покушаюсь на ее права. Трудно было представить себе, что всего лишь час назад... Впрочем,

я умею сдерживать свое воображение.

— Рад знакомству, фройляйн Арендт, — сказал я коротко. — Позвольте проводить вас в холл?

— А где его жена?

— Полагаю, супруги уже в номере.

— Бедный Мартин! Не думайте про Мартина плохо, — неожиданно попросила Ханна Арендт. — Мартин очень внимательный и добрый... просто не может уйти от жены. И потом, он немец.

— Прощайте, милая Ханна, — сказала Елена. — Так мы завтра пьем шоколад в четыре?

Так они стали встречаться. Я

почти не удивился, когда, наметив следующую поездку в Дуйсбург, узнал, что и Ханна с Мартином останутся в той же гостинице. С тех пор мы стали ездить в те же самые гостиницы — у меня возникло подозрение, что наши женщины договариваются меж собой: в какой именно город отправиться для любовных битв. И я не возражал — мне даже нравилось, что у Елены появилась подруга.

Мы приезжали в отель, уединялись в спальне, а затем встречались с нашими двойниками — так я называл философа и его метрессу. Напоминало игривые страницы Декамерона: наши

возлюбленные обменивались впечатлениями о кавалерах, в то время как мы с Мартином курили в гостиной и потягивали шнапс, восстанавливая силы.

Откровенности Ханны (те, которые передавала Елена) порой меня шокировали. Клянусь, я предпочел бы не знать о философе того, что пылкая студентка выболтала подруге. Еврейка Арендт всю ночь стонала под напором арийского профессора, а удары в нашу стенку – Бум! Бум! Бум! – стали постоянным сопровождением наших с Еленой ночей.

Утомленная, Елена засыпала. Я выходил из номера, встречал

Мартина — в его неизменной пижамной курточке и тапочках с малиновыми помпонами, — мы отправлялись подкрепиться в гостиничный буфет.

Так длилось несколько лет; часто я возвращаюсь в мыслях к своим беседам с Мартином. Разговоры эти получали немедленные иллюстрации в событиях — так, Хайдеггер точно предсказал «ночь длинных ножей» и гибель Рема; он симпатизировал Рему, но незадолго до истребления штурмовиков вдруг перестал испытывать к нему симпатию. Хайдеггер предвидел и обосновал «хрустальную ночь» задолго до того,

как погром случился — помню, он изложил мне сценарий еще в 1929 году. Не раз мы дебатировали с ним еврейский вопрос. Его дружба с Отто Фишером, главой Берлинского института чистоты расы, позволила мне узнать кое-что о разрабатываемых там программах. Знаменитый доктор Менгеле, один из любимых сотрудников доктора Фишера, делился с философом своими теориями и разработками — неоценимая информация из первых рук. Во время наших сигарно-ликерных перерывов в любовных утехах, Хайдеггер пересказывал мне кое-что из прорывных выдумок Менгеле, и, признаюсь, эти выдумки

меня тревожили — сколь далеко можно зайти на пути очищения расы.

— А как же Ханна? — не удержался я однажды.

— Помимо Ханны, есть и другие еврей-философы, — улыбка скользнула под тонкими усиками Хайдеггера, улыбка тонкая, как хлыст охранника Дахау. — Был такой философ Спиноза. Если Спиноза — еврей, то и вся философия целиком — еврейская наука. — Профессор помедлил. — А это не так.

— То есть Спиноза — не еврей?

— Вы помните фразу Геринга: я сам решаю, кто еврей — а кто не еврей? — Мы посмеялись. — Ханне придется уехать.

И Ханна Арендт действительно уехала. Сначала в Палестину, потом в Америку. Елена переписывалась с ней постоянно, узнавал о Ханне и я. Ханна вышла замуж за какого-то либерала, который в постели оказался совершенным ничтожеством, — впрочем, таких гигантов, как Хайдеггер, надобно долго искать! Брак Ханны стремительно распался. Затем Париж, затем война, жизнь в Америке. Ханна писала Елене, что ни на миг не перестает думать о Мартине и наших совместных ночах в провинциальных германских гостиницах. Интересно, подумал я тогда, вспоминает ли она это «Бум!

Бум! Бум!» – стук, который я уже никогда не забуду.

Теперь, когда у меня не осталось ничего, кроме памяти, я дорожу всяким днем, всякой деталью. Случайная встреча на лестнице, разговор с Черчиллем, беседа с таксистом по дороге в аэропорт, мне дорого все – я перебираю эпизоды как монеты. Стук головы Ханны Арендт о стену отеля – из самых дорогих в моей копилке.

Сегодня мне представляется странным, отчего ни Елена, ни я не сделали попытки соединиться. Вот уже и жилье есть в Берлине – отчего не жить вместе? Впрочем, в те годы я много путешествовал: Адольф посылал меня с разнообразными миссиями во все страны Европы. С Еленой мы встречались по четвергам, как и прежде; она отказывалась приходить ко мне в квартиру – мы по-прежнему назначали свидания в отеле. В тот майский день тридцать девятого года, который я описываю, я вернулся из Норвегии, со съезда фашистской

партии «Национальное согласие». В Осло я виделся с Видкуном Квислингом, лидером партии и главой норвежского правительства. Квислинг, как известно, являлся признанным знатоком России — он подготовил для Адольфа знаменитые «Размышления о русском вопросе», текст которых я и привез с собой в Берлин. Даже по прошествии долгих лет, мысли Квислинга кажутся мне здравыми. «Русский вопрос — главный вопрос современной мировой политики» — как это верно! «Принудить страну таких размеров и с таким климатом можно только путем ее внутреннего раскола!» И опять — как прозорливо, как метко!

Мы все уже знали, что скоро война с Россией, хотя старались находить иные слова в разговоре – например, «русская проблема». Про себя я продолжал прерванную беседу с норвежцем, но требовалось ответить и Елене.

В самом деле, есть ли у нас выбор? Можно ли уклониться от войны? И что есть война?

Елене я ответил следующим образом:

— Океаном я называю время. Отчего возникает буря времени – война? Стихия хочет отлиться в новые формы, ей тесно. Когда-нибудь докажут, что океан, время, огонь и пространство – родственные

элементы. Кант предлагает черпать время сетью сознания — но попробуйте вычерпать ложками океан. Нам показалось в конце века, что мы выбрали все, до самого дна. История кончилась! Сколько раз предстоит услышать эту самонадеянную чепуху! Мы с вами, друг мой, были свидетелями того, как Хронос переварил героев 1848 года. Старик сожрал революции сорок восьмого, переварил Франко-прусскую войну вместе с Парижской коммуной — и выплюнул эпоху модерна, сонные завитушки на фронтонах особняков. И это после Коммунистического манифеста! Это после расстрела коммунаров на

кладбище Пер-Лашез! То, чем эстеты конца века любовались, – отрыжка Хроноса. Как жалко выглядела Парижская коммуна! С каким сладострастием поносили ее салонные интеллектуалы – клодели и готье! Ах, мой друг, правление Наполеона Третьего и фраза Маркса о повторении истории в виде фарса относятся к периоду пищеварительного процесса Хроноса. Но потом стихия вскипела опять. Началось брожение. Оказывается, не до дна вычерпали океан!

– Хронос опять хочет есть? Этим вы объясняете авангард? Я помню, как вы говорили, что между

Гитлером и Малевичем — прямая связь.

— Прислушайтесь, друг мой, я объясню предельно понятно. Общество нуждается в неравенстве — иначе людьми невозможно управлять. Требуется, чтобы один человек распоряжался, а десятеро исполняли приказ. Общество также нуждается в прогрессе: надо, чтобы приказы становились умнее и умнее. Каким образом осуществляет себя в обществе прогресс? Есть две формы изменения общества: война и революция. Революция — это призыв к равенству; война — это требование неравенства. Равенство требуется, чтобы дать шанс новому; неравенство

нужно, чтобы встроить новое в управляемую иерархию. Сперва нужна революция, потом необходима война. Прогресс – это постоянное превращение революций в войны. Данная схема есть вечный двигатель истории.

– Разве нельзя сделать так, чтобы в наше общее необходимое неравенство было вставлено несколько фрагментов равенства?

– Так и старались делать, когда вводили университеты, цеха и ремесла. Ганзейский союз равных в какой-то мере и есть фрагмент равенства в общей иерархии неравенства. Но большая империя не может примериться с цехами – Ганза

погибла в Тридцатилетней войне. Погибнет и наш жалкий авангард.

– Ради того самого генерального плана? Не люблю вашего Фауста! Ах, почему, Эрнст, мы не могли остановить время модерна навсегда?

– На смену дряблему поколению рождается поколение бешеное. Малевич, Маринетти, Троцкий – они уже не хотят завитушек модерна. Они глупы, каждый в отдельности, но слышат требование времени хорошо! Нужно дать старику Хроносу свежий продукт! В конце концов, это вопрос именно времени, вопрос поколения. Обратите внимание, друг мой: все герои сегодняшнего дня родились в одно время – около 1880 года. Почему

я взял эту дату? Произвольно. Закончилась Франко-прусская война Компьенским миром. В восьмидесятом покончил с собой Ван Гог. Первого марта восемьдесят первого взрывают русского царя. Конец эпохи; с этого момента готовится буря времени. Подводные течения, водовороты, разломы дна. Вы видите героев наших дней полными сил — а родились они именно тогда. Обратите внимание, друг мой, на даты их рождения. Начертите график, многое станет понятно!

Елена обожала полемизировать, но ей совсем не нравилось слушать. Точнее, ей казалось, что она все

понимает с полуслова. Она рассеяно зевнула, потянулась и села на постели. А я продолжал:

– Черчилль – самый старый, родился в 1874-м. Дзержинский, создатель ВЧК, – в 1877-м.

– Вы видите, где мои чулки? Нет? А про создателя ВЧК все знаете? Порой кажется, что вы запоминаете ненужные подробности просто на всякий случай!

– Сталин, Троцкий и Малевич родились в 1879-м, Пикассо – в 1880-м, Рузвельт – в 1882-м, Эрнст Юнгер и Муссолини родились в 1883-м, Салазар – в 1885-м, Гитлер – в 1889-м, а Геринг в 1893-м. Активное поколение рождалось вплоть до

1898-го или 1899-го. Как Гиммлер, например. Или Дали.

– Почему? Ах, вот они где! Кстати, почему вы не подарите мне новые чулки? Впрочем, я слушаю вас внимательно.

– Эти люди были достаточно зрелыми, чтобы встретить войну и принять в ней участие. Они успели сделать великую войну – своей. И одновременно с этим они были еще довольно юны, чтобы сохранить запал ярости для следующей битвы.

– Вы хотите сказать, сегодняшние герои уже были героями вчера? Но так ли это? – Она встала и отыскала чулки. Я любил смотреть, как Елена надевает чулки,

раскатывая шелк по полной ноге. — Вот, полюбуйте! В таких чулках щеголяет ваша дама! — С досадой она указала на дырку. — Полагаю, дамы Геринга одеваются опрятнее. Вам не стыдно? Итак, они уже прежде были героями... А где же мои кольца?

— В открытом море много кораблей, слишком много. Корабли покинули гавань не вчера, их била волна. И капитаны на кораблях опытные. Приглядитесь к биографиям генералов рейхсвера.

— Вы имеете в виду Геринга, Гиммлера и Бормана? Еще раз приглядеться? Они пересказали свою биографию во всех газетах! Великий летчик-ас! Увольте.

– Я имел в виду солдатских командиров. Это гораздо важнее. Однако не спуститься ли нам в ресторан?

– Вы правы, Йорг давно ждет.

Мы спустились в холл отеля, где ждал ее сын.

Прошла целая жизнь, сменились три правительства, рейхсвер преобразовали в вермахт, Германия вышла из Лиги наций, «хрустальная ночь» напугала евреев, Австрия вошла в Великий рейх, Чемберлен принял наши условия, — изменилось все; однако ритуал нашей странной семьи сохранился без изменений. Йорг приходил к нам в отель к шести часам, и мы вместе ужинали. Он отпустил аккуратные усы, как делали в то время многие летчики. Летная куртка, которую он носил нараспашку, открывала немецко-испанский Золотой крест — его

первую награду. Под Золотым крестом были скрещенные мечи – а я знал, что таких (с мечами и бриллиантами) было выдано всего девять. Вероятно, он отличился в Испании.

Перед Йоргом стояла нетронутая рюмка рейнского – вина он не пил. Видимо, кельнер принес рюмку, а он и не притронулся. К сожалению, Йорг в данном вопросе не унаследовал материнской линии, не стал наследником аристократов-военных, знатоков вин – здесь он оказался потомком вульгарного Виттрока, спекулянта, макающего усы в пиво. Однажды эта вульгарность едва не стоила юноше

жизни.

Когда я представил его Герингу — с тем чтобы Геринг определил место службы будущего пилота Люфтваффе, — Геринг предложил Йоргу бокал бургундского. Для любимца фюрера это был особый жест: он откупорил редкий «Шамбертен», полюбовался вином на свет, протянул бокал Йоргу. Йорг повертел бокал в руках и поставил на стол: «Благодарю вас, считаю, что солдат не должен пить вино». — «Не верю! — воскликнул последний человек Возрождения (как Геринг любил себя именовать). — Такой бравый юноша — и трезвенник!» — «Предпочитаю пиво», — признался

Йорг.

Туповатая откровенность шокировала меня; нет, никогда сыну спекулянта не стать германским аристократом! Достаточно одной дворняги, чтобы испортить породу. Геринг, игравший в юности в гостиную Бисмарка, посмаковал бургундское, облизнул губы, помолчал и направил выпускника летной школы в легион «Кондор», который тогда формировался в Испании. «Испанские вина не похожи на бургундское, — заметил Геринг, — возможно, они понравятся вам больше. Тяжелые, плотные, напоминают баварское пиво». И повернулся к нам широкой спиной.

Я сознательно добивался для Йорга аудиенции именно с Герингом. Хочешь быть летчиком – полюбуйся, какие летчики бывают. Я был уверен, что этот огромный германец, герой войны, пилот эскадрильи № 1 «Рифтгофен», наследник «Красного барона» – станет кумиром Йорга, ведь юноше нужен кумир. Все, что делал Геринг, было величественно; сегодня я могу сказать, что даже на последнем процессе Герман сохранил невозмутимую статью. Сладостлюбив и жирногуб? Пожалуй так. Но упорен и тверд. «Мы возродим полк “Рифтгофен”!» – поднял бокал этот поверженный герой в 1919-м. И вот сегодня он

стоит в гигантском холле своего «Каренхалле», главнокомандующий воздушным флотом Германии. Я надеялся, что Йорг захочет подражать великану, а великан возьмет юношу под покровительство. Но помешало пиво, мещанское пиво! Герман Геринг, знаток бургундских вин, не любил термина «Пивной путч».

— Вы расстроены, Эрнст, — сказал на обратном пути будущий летчик.

— Признаюсь, ожидал большего.

— Вам показалось, что я вел себя недостаточно аристократично в присутствии самого Германа Геринга?

— Милый Йорг, вы не старались.

– Видите ли, Эрнст, – сказал мне юноша, – у меня возникло собственное определение аристократизма. Вероятно, дает себя знать кровь фон Мольтке. Я стал самонадеян, имею свои критерии. Самым очевидным аристократом считаю своего друга Отто Кумма.

Отто Кумм стал навещать Йорга вскоре после того, как мы перебрались в Берлин. Отто, ровесник Йорга, сын рабочего из Гамбурга, вступил в нацистскую партию в 1933 году. Аристократизма в этом молодом человеке, разумеется, не было, но присутствовала статная осанка, твердая манера держаться, то, что

немцы называют словом Haltung. Не заметить Кумма в комнате было невозможно.

— Кумм пьет пиво и ест вульгарные сосиски. Он не знает, как держать в руке бокал с вином. Он рабочий из ганзейского города, моя мать не пригласила бы его на наши аристократические обеды. Боюсь, Отто не разбирается в искусстве. Но — помните ли, что вы говорили мне про общий цвет истории, в котором теряются оттенки дней? Помните? Так вот, Отто Кумм для меня есть воплощение этого общего цвета — он подлинный германец, а значит — аристократ.

— Пусть так, — примирительно

сказал я, — но все же не зовите его к фон Мольтке, вас не поймут.

— Я и сам фон Мольтке, — неожиданно сказал Йорг, — могу принять решение и без них.

Действительно, Елена стала посещать обеды берлинских аристократов. Сначала я представил ее Хансу фон Мольтке, дипломату, служившему в то время в Варшаве. Позже Ханс стал нашим послом в Мадриде; он был знатоком искусства, темы для разговоров находились легко; впрочем, их отношения с Еленой не стали теплыми.

Йорга определили в легион «Кондор», а пилоты «Кондора» погибали. Я не сказал Елене, как это

опасно, делал вид, будто Йорг отправлен инструктором, в боевых действиях не участвует. Однако мне докладывали, что истребительный отряд «1/88», в который входила его эскадрилья, прикрывает штурм Мадрида; его могли сбить каждый день. Йорг вернулся из Испании живой, вино он так и не полюбил, но стал знаменитым летчиком. Елена пересказывала мне истории его боев — с матерью он иногда делился. Когда я слышал о его подвигах, мне делалось неловко — ведь Йорг оставался таким же, как и прежде, вежливым юношей, причесанным на пробор. Он говорил тихим голосом, застенчиво улыбался, внимательно

слушал. И посетители кафе думали: вот сидит молодой военный с родителями, как грустно, что юношу отрывают от семьи, но долг! Однако этот вежливый юноша уже успел спеть вместе с другими летчиками боевой гимн легиона «Кондор»: «Сметем господство красных и марксистов, научим чернь подчиняться, принесем горячую немецкую помощь Испании», – он поднимал в воздух свой Bf-109 и летел прикрывать тяжелые «Хенкели», бомбившие Гернику. Бомбили Гернику в 1937-м, то был поворотный год европейской истории. Я слышал, русские называют 1937 год «проклятым»;

никогда не понимал этого эмоционального определения. В тот год государства постарались подготовить плацдармы для будущей войны, избавиться от внутренних врагов. Времени оставалось мало; государство стреляло, арестовывало, пытало — приводя население к однородной, управляемой массе. Исполнители были рьяными. Как выражался вездливый генеральный комиссар госбезопасности Ежов (цитирую его слова по протоколу): «Вот, я не помню, кто это докладывал, когда начали новый учёт проводить, то, оказывается, живыми ещё ходят 7 или 8 архимандритов, работают на работе 20 или 25

архимандритов, потом всяких монахов до чёртика. Всё это что показывает? Почему этих людей не перестреляли давно? Это же всё-таки не что-нибудь такое, как говорится, а архимандрит всё-таки». Маленький упорный человек Ежов, вальяжный генерал Франко, фанатичный фон Браухич, освобождавший вермахт от предателей, — все они выполняли схожую работу. Испания в Европе играла ту же роль, что нежелательные элементы в Советской России или непатриотичные офицеры в Германии. От республиканской Испании требовалось избавиться на тех же основаниях, на каких Ежов

хотел избавиться от архимандритов, — все понимали, что это необходимо. В майские дни 1937-го шли чистки в немецком вермахте и русской РККА, шли аресты московской интеллигенции, сочувствовавшей Троцкому, и в эти же дни легион «Кондор» разбомбил Гернику — негоже было оставлять пятую колонну в тылу коричневой Европы. И мой воспитанник Йорг Виттрок, молодой пилот эскадрильи, летел 28 мая над проклятым баскским городом.

Мы спустились с Еленой в гостиничный ресторан. Молодой летчик ждал нас, он встал из-за стола, протянул мне руку.

– О чем беседуете на этот раз? – деликатно спросил Йорг.

– Мы с вашей матерью спорим: что возникло прежде – корабли или капитаны.

– Ах, Эрнст, – засмеялся Йорг, – я знаю теперь только одно судно: мой собственный воздушный корабль! Хотите, расскажу про мотор и крылья?

Я взял нетронутую юношей рюмку рейнского, выпил.

– Ваша мать считает, что Гитлер ведет нас к войне.

– Война уже идет... А мать переживает за сына.

– Вы согласны, что скоро большая война?

– Об этом все говорят! – крикнула Елена и махнула кельнеру. – Даже мой парикмахер это знает.

– И что говорит парикмахер?

– Всеобщая воинская повинность... Призвали его сыновей... Он пытался возражать, ведь мой парикмахер – пацифист. Но сыновей призвали, а ему пригрозили. Вермахт – это вам не рейхсвер! Парикмахер боится, что сыновей

пошлют на фронт. И кто-то все это организовал.

— Полагаете, Гитлер?

— А кто же? Уверена, что Гитлер!

Мясник! Черт! Да, ставьте на стол. — Это уже кельнеру.

Кельнер принес все как обычно: ростбиф, графин белого. Я налил себе новую рюмку рейнского и налил ей. — Он всех нас втянет в историю, этот ефрейтор!

Я сказал так:

— Помните время, когда ваш сын увлекался русскими художниками? — Йорг и Елена засмеялись. — Помните, мы считали, что эти художники — герои, глашатаи нового? Спросите себя: где художники теперь, что они

делают? Ответ прост: ничего не делают. Ваш кумир Явленский пишет дряблые картинки, о фон Веревкиной ни слуху ни духу, Малевич умер пару лет назад, даже не сделав попытки вступить в конфликт с властью, Ларионов и Гончарова доживают свой век французскими рантье... Кто-нибудь из них хоть единой линией, хоть кляксой выказал свободную волю? Восстал против красного террора и произвола? Что же вы молчите? Или думаете, что в остальном мире иначе? Распространена легенда, будто художникам заткнули рот. Мы, как вы знаете, организовали выставку «Дегенеративное искусство» —

показали широкой публике, на что способны ваши кумиры. Я сам комплектовал экспонаты.

— И что же? — спросил Йорг.

— Гитлер никому не затыкал рот. Художникам просто нечего было сказать. Совсем нечего. Если бы было иначе — их бы никто не остановил. Вот, поглядите, пока ваши бывшие кумиры, — я посмотрел с улыбкой на Йорга, — рисовали квадратики и полосы, что происходило в мире... Творцы рисовали квадратики — ах, как радикально! Стремительно художники формировали сознание мира! На несколько дней интеллектуалы оказались интереснее генерала пехоты, который работал в

рейхсвере со скучными картами. Художники сидели в кабаре и рисовали на салфетках вдохновенные загогулины, они пили крепкие напитки, кричали, блевали, икали, стрелялись и ввали. Генерал же скучно делал свое дело, и его дело оказалось важнее рисования квадратиков. И знаете, почему произошло так, а не иначе?

— Мы слушаем вас, — сказала Елена.

— Потому что художники боялись говорить о главном. Самое главное они оставили генералам. Художник-авангардист трусоват по своей природе: он знает, что серьезные вещи лучше не трогать.

Железная империя Бисмарка
воспитала великих солдат, возможно
лучших в мире. Они пришли с войны
с 1919-м, сегодня стали генералами.
Ни художник, ни Гитлер им сообщить
ничего не могли. Полагаете,
ефрейтор Гитлер может нечто
важное сообщить генералам? Те, кто
пойдет в бой завтра, уже воевали
вчера. Они выйдут на то же поле, в
тех же сапогах, в той же шинели, с
теми же штабными картами. Поведут
за собой тех самых пехотинцев,
которых поднимали в атаку прежде.
Таких ветеранов – десятки тысяч.

– Вы не преувеличиваете? – Она
мазала ростбиф горчицей.

– Нисколько. И прежде всего это

должно быть известно вам — вы из рода Мольтке! Один фон Мольтке служил Бисмарку и строил прусскую Германию, другой фон Мольтке вчера командовал армией, а третий фон Мольтке пойдет в дело завтра. Здесь я вижу четвертое поколение фон Мольтке, — я показал на Йорга, — и это единая история Германии! Прежние генералы, те, которые помнят Франко-прусскую кампанию, сегодня старики. Но весь офицерский корпус — от фанен-юнкера до полковника — был молодым. В четырнадцатом этим людям было по двадцать лет. Поколение, родившееся в восьмидесятых, как раз после смерти

Ван Гога. Вот эти люди составляют большинство в нашей армии. Едва умер Винсент – как мир пришел в движение.

– Только вы, Эрнст, умеете найти связь офицерского состава вермахта с Ван Гогом, – вежливо сказал Йорг.

– Ах, Эрнст! – Елена засмеялась, пережевывая острыми зубками ростбиф. – Обожаю наблюдать, как вы сочиняете свои теории! Уверена, что доказать эту теорию невозможно!

– Помилуйте, это так просто! Умер художник, который заменял генералов. В его отсутствие потребовались настоящие бойцы. Нужны имена? Извольте.

– У вас имеется справочник?

Телефонная книга с адресами?

– Имеется память, она у меня надежнее телефонной книги. Начнем по порядку, с первой буквы алфавита. Юрген фон Арним – потомственный прусский военный, генерал, командующий 52-й пехотной дивизией; я слышал, фюрер собирается сделать из него танкового генерала. Фон Арним родился в 1889-м, в 1914-м он – адъютант первого батальона 5-го гвардейского полка, награжден Железными крестами, оставлен в рейхсвере.

– Боже, это, кажется, надолго! – Она прикрыла ладошкой рот, зевнула. Потом обратилась к ростбифу. – Ну и

память...

— Друг мой, вы из военной семьи. Уважайте хотя бы свою родню, прошу вас! Слушайте внимательно, это история вашей армии. Вы правы, память у меня хорошая... Хельге Артур Аутлеб, генерал пехоты. Родился в 1887-м, командир пулеметной роты в 1917-м. Герман Балк, генерал танковых войск. Он родился в 1893-м, в 1914-м был лейтенантом, командовал взводом, а в 1919 году уже егерским батальоном. Франц Байер, генерал пехоты. Родился в 1892-м, в 1918-м воевал в Финляндии и Прибалтике. Железный крест, как положено. Людвиг Бек, генерал-полковник с

этого года. Родился в 1980-м, в 1918-м – в штабе 117-й пехотной дивизии. Железный крест, а также рыцарский крест Вюртембергского ордена Фридриха, с мечами, – я нарочно добавил эту подробность, чтобы подавить ее знаниями.

– Столько глупостей про ордена с мечами не запомнил бы даже мой муж! А он помнил все о ценах на красное дерево – с начала века!

– Иоханнес Бласковиц, генерал полковник, родился 1883-м. Именно Бласковиц руководил войсками, оккупировавшими Чехословакию сегодня. Он же, полагаю, завтра войдет в Польшу. В 1915-м году – командир пулеметной роты 3-го

егерского полка, затем командир батальона, с 1917-го года в Генштабе. Вернер фон Бломберг, генерал-фельдмаршал с 1935-го. Именно фон Бломберг первым предложил Гитлеру помощь армии, в 1933-м опубликовал приказ армейским офицерам отдавать честь функционерам НСДАП, одетым в партийную форму. Мобилизовал армию в «ночь длинных ножей», ему мы обязаны быстрым решением вопроса с Ремом. Строитель вермахта. Родился фон Бломберг в 1878-м, а в 1916-м был офицером Генштаба. Ах да, забыл. Железный крест обеих степеней. Далее, Гюнтер Блюментрит, генерал пехоты, родился в 1892-м, автор

плана «Вайс» по оккупации Польши, – этим планом мы и будем руководствоваться. В 1918-м году – адъютант 76-й пехотной бригады. Федор фон Бок, генерал-фельдмаршал, который командовал войсками 8-й армии, занявшей Австрию во время аншлюса. Фон Бок родился в 1880-м, с 1915 года командир батальона Прусского гвардейского полка. Левая пресса обвиняла его в причастности к политическим убийствам, ничего не доказано, разумеется. Все возможные награды им получены, включая Железные кресты. Эрих Брандербергер, генерал. С 1932 года возглавил секретный курс офицеров

Генштаба по боевой подготовке, в то время мы уже превращали беззубый рейхсвер в армию. Он сейчас стал командующим танковым подразделением. Родился в 1892-м, в 1917-м был командиром батареи. Железный крест. Вальтер Герман фон Браухич, генерал-фельдмаршал. Родился в 1881-м, воспитывался при императорском дворе, с 1914 года офицер Генштаба, Железные кресты обеих степеней, все как положено. Сегодня он назначен главнокомандующим всеми сухопутными войсками рейха. Фон Браухич провел в 1937-м и 1938-м чистку командного состава, избавился от недостаточно

патриотичных офицеров – наподобие того, что проделал Ворошилов в Советской Армии. Замечу, что процедура прошла успешно. Франц Гальдер, генерал полковник, родился в 1884-м, а 1916-м служил в Генштабе...

– Остановитесь! Право, Эрнст, вы напоминаете мне машину!

– Эрих Гепнер, генерал-полковник, родился в 1886-м. К 1916 году обладал всеми боевыми орденами. Карл Август Гильперт, генерал-полковник, разрабатывает восточную стратегию. Причем занят этим с двадцатых годов. Сегодня он начальник штаба 9-го армейского корпуса, а в 1916-м – лейтенант

Баварского батальона. Железный крест. Курт фон Гинант, генерал кавалерии. В его подчинении сейчас все войска, сосредоточенные на восточных границах. Его именем назван корпус «Гинант». Родился в 1888-м, в 1916-м представлен к Железному кресту. Оскар фон Гинденбург, сын президента Гинденбурга, генерал-лейтенант. Родился в 1883-м. В 1917-м — начальник штаба 20-й пехотной дивизии. Кстати, именно Оскару мы обязаны тем, что его отец, старик Гинденбург, полюбил Адольфа... Гейнц Вильгельм Гудериан, генерал полковник, командир армейского корпуса, объединившего танковые

войска в Германии. Родился в 1888-м, в 1918-м служит в Главном управлении пограничных войск «Восток». Тогда же подавлял выступление коммунистов. В 1920-м командовал егерским батальоном. Гудериана называют гением танковой войны – и поверьте, этому он научился не у Гитлера. Эдвард Дитль, генерал-полковник, родился в 1890-м, в 1916-м имеет уже все награды, включая Железные кресты.

– Прекратите!

– Дитрих Эрих фон Заукен. Генерал, родом из старой прусской военной семьи, родился в 1892-м, в 1916-м служил в прусском полку «Фридрих Великий». Несомненно

отличится во время Польской кампании, он рвется в дело. И думаю, покажет себя на Восточном фронте — он специально изучал русский язык. Вальтер фон Зейдлиц-Курцбах. Генерал артиллерии, родился в семье потомственных военных в 1888-м, генерал артиллерии. Я слышал, что он пренебрежительно отзывается о линии Мажино... И ему хочется доказать свое мнение на деле. Во время прошлой войны служил лейтенантом в 36-м артиллерийском полку. Фердинанд Йодль, генерал горно-стрелковых войск, родился в 1896-м, в 1914-м воевал в 4-м Баварском. Ганс Йордан, генерал

пехоты, родился в 1893-м. В 1916-м году награжден Железными крестами обеих степеней за доблесть. Фридрих Вильгельм Канарис, адмирал, начальник военной разведки абвера. Успел совершить столько, что не могу перечислить. В 1918-м командовал подводной лодкой, в 1924-м создавал тайную сеть военных по восстановлению германского военного флота, наладил тайное строительство кораблей в Испании... Агентурная сеть Канариса создавалась с двадцатых годов, и по всему миру – до Латинской Америки. Гитлер тогда еще писал акварели... Вильгельм Кейтель, генерал-фельдмаршал,

родился в 1882 году, в 1915-м командир батареи. В 1924-м наладил функционирование Военного министерства — под этим названием размещался германский Генштаб в те годы, когда мы не могли иметь вооруженную армию. Альфред Кессельринг, генерал-фельдмаршал, родился 1885-м. Уже в 1916-м в Генштабе. Людвиг фон Клейст, генерал фельдмаршал, родился в 1881-м. В 1916-м командир эскадрона, затем офицер Генерального штаба.

— Остановитесь!

Елена смотрела испуганно, возможно она решила, что я сошел с ума, — однако я продолжал с

настойчивостью отличника,
рапортуящего заданный текст:

– Эрвин фон Лахаузен, генерал-майор военной разведки, родился в 1897-м. В 1915-м вступил лейтенантом в пехоту. Эмиль фон Лееб, генерал артиллерии, родился 1881-м. Железные кресты получены на Восточном фронте в 1916-м. Александр Лер, генерал-полковник авиации, родился в 1885-м. В 1918 году командовал пехотным батальоном. Тео Либ, генерал-лейтенант, родился в 1889-м. В 1915-м – 123-й пехотный полк, Железные кресты. Смило фон Люттвиц, барон, генерал танковых войск, родился в 1895-м. В 1916-м командовал

егерской ротой, Железный крест первой и второй степеней.

– Но зачем, зачем вы все это рассказываете?

– Хассо фон Мантефейл, – монотонно продолжал я, – прусский барон, генерал танковых войск. Родился в 1897-м. В 1917 и 1918 годах воевал на Восточном фронте в составе 3-го гусарского Бранденбургского полка. Добавлю, что генерал ждет войны с Россией и просит назначения командиром танковых частей на восточном направлении. Эрих фриц фон Майнштейн, племянник фон Гинденбурга, генерал-фельдмаршал, родился в 1887-м. Участник

сражения на Марне. Начальник
штурмовой пехотной дивизии.
Воевал в Курляндии, Польше,
Сербии. Эрих Маркс, генерал
артиллерии, родился в 1881 году, 9-й
полевой артиллерийский полк в
1915-м, Железные кресты обеих
степеней. Довольно забавно то, что
именно военный по фамилии Маркс
разрабатывает план «Барбаросса»,
план вторжения в Россию, — я не мог
сдержать улыбку.

— Прошу вас, не надо
продолжать!

— Герхард Матцке, военная
разведка, генерал пехоты, родился в
1884-м. 63-й пехотный полк в 1915
году. Железные кресты за доблесть.

Вальтер Отто Модель, генерал-фельдмаршал, родился в 1891 году. С 1917-го капитан, служит в Генштабе. Железные кресты, все как положено. Надо сказать, что генерал занимается кадрами – беззаветно предан линии партии. Вилли Мозер, генерал артиллерии, родился в 1887-м. А в 1917-м был награжден Железными крестами в 8-м полевом артиллерийском полку. Фридрих Мюллер, генерал пехоты, родился в 1897-м, в 1915-м – лейтенант 262-го пехотного полка.

– Вы сошли с ума!
Остановитесь!

– Я не упомянул ни Людвига Мюллера, ни Дитриха фон Мюллера,

славных генералов. Оба родились в 1892 году...

– Прошу, довольно!

– Мне известны три генерала Мюллера, и каждый прошел кампанию 1914 года, а потом отработал в штабе рейхсвера. Берегу ваше время, не перечисляю всех Мюллеров подряд. Итак, пропустим Мюллеров, проскочим несколько полковников и перейдем к Вальтеру Нерингу, генералу танковых войск, который родился в 1892-м. В 1915-м он – лейтенант 12-го пехотного полка. Затем идет Герман Нихоф, генерал пехоты, родился 1887-м. В 1915-м году Нихоф находился в дивизии «Фердинанд фон

Брауншвейг». Ойген Отт, родился в 1890-м, генерал пехоты. Ганс Остер, генерал майор, служит в военной разведке, родился в 1888-м, — я говорил, и комната словно наполнялась вооруженными людьми. Военные заполнили гостиную отеля, плотные прусские офицеры в хрустких портупях, с красными шеями, натертыми жесткими воротничками, с моноклями под надменной бровью, с крестами доблести у горла, вдавленными в шею под тяжелым бордовым подбородком. В комнате стало тесно, пахло одеколоном, коньяком, сигарами. Генералы стояли плечом к плечу, как солдаты на перекличке, а я

будто выкликал их из шеренги. Фон Гольц, вот он, герой – его Железная дивизия сражалась с большевиками в Латвии в 1919-м, в августе месяце! А это легендарный Йозеф Ромер, его «Оберланд» громил поляков в Верхней Силезии! А это герой Эрхардт, командир «Стального шлема», это он расстреливал рабочие ополчения в Руре, это он двинул морскую пехоту на Берлин во время капповского путча! Какие значительные лица! Я называл имена, и генералы делали шаг вперед.

– Ойген Отт, генерал пехоты, родился в 1890-м. Железные кресты за кампанию 1916 года.

– Здесь!

– Карл фон Офен, генерал пехоты, родился в 1888-м, Железные кресты за кампанию 1915–1916 годов.

– Здесь!

– Фридрих Вильгельм Эрнст Паулюс, генерал-фельдмаршал, родился в 1890-м. Железные кресты за службу на Восточном фронте начиная с 1914-го и вплоть до конца войны. Участвовал в подавлении выступления поляков в Силезии в 1919-м.

– Здесь!

– Ганс Пикенброк, родился в 1893-м, генерал-лейтенант, военная разведка. Незаменимый организатор

«пятых колонн» по всему миру. В 1915 году лейтенант, а в 1919-м — член Добровольческого корпуса, участвовал в уличных боях с левой оппозицией.

— Здесь! — Генерал шагнул вперед, заскрипела половица.

— Эрнст! Что с вами?! — крикнула Елена. Клянусь, они принимали меня за умалишенного. Видение рассеялось. Генералы покинули комнату — остался лишь запах табака: оказалось, Елена закурила сигару. Я ненавижу эту привычку.

— Вы удобно устроились и готовы слушать? — саркастически заметил я. — Хотите, чтобы я

продолжил? Вы еще полагаете, что Гитлер может толкать этих людей к войне? Их — толкать к войне? Вы всерьез полагаете, что их надо к войне подталкивать?

— Довольно!

— Нет, слушайте! — я продолжал с непреклонностью греческого хора. — Слушайте внимательно! Георг Пфайфер, генерал артиллерии, родился в 1890-м; а также Макс Пфеффер, тоже генерал артиллерии, родился 1883-м; Эрхард Раус, генерал-полковник, родился 1884-м; Зигфрид Рашп, генерал пехоты, родился в 1890-м; Георг Рейнгардт, генерал-полковник, родился в 1887-м; все они — герои войны 1914 года,

награждены. Эрвин Роммель, генерал-фельдмаршал, родился в 1891-м, остановимся на нем, хорошо? Это великий солдат — и причем очень давно. Он награжден, разумеется, крестами, а в 1918 году подавлял восстание коммунистов в Руре — он человек с убеждениями. Герд фон Рундштедт, родился в 1875-м, генерал-фельдмаршал, а его отец был генерал-майором, помнит еще ту Франко-прусскую кампанию... Фон Рундштедт в 1917-м начальник штаба армейского корпуса на Восточном фронте. Видите, у него давние отношения со славянами, он изучил врага! Вальтер фон Рейхенау, родился 1884-м, генерал-фельдмаршал, и

отец тоже был генералом... Как у них все устроено, не правда ли? И тоже в 1914 году на Восточном фронте, офицер Генштаба. Кстати сказать, это он предложил план ликвидации Рема и штурмовых отрядов... инициативный офицер; думаю, восточная кампания — это для него, он активно взаимодействует с войсками СС... евреев не любит... Много имен, очень много. Макс фон Фиббен; Лотар фон Рендулич; Эдгар Рерихт; Эдвин фон Роткирх; Рихард Роуфф; Герман Хон, Вольфганг фон Хагеман; Максимилиан Фреттер; Вернер фон Фрич... Этих офицеров много тысяч... Но я вижу, вы немного утомлены. Я мешаю вам

наслаждаться сигарой.

— Вы меня с ума сведете!

— Ах, вот как! А я ведь только начал. Говорил только о вермахте, а теперь пора перейти к люфтваффе и кригсмарин.

— Нет!

— И еще не упомянул русских офицеров. Нет-нет, я не говорю про Ворошилова и Троцкого, не пугайтесь!

Никакой коммунистической заразы. Я говорю про храбрых и верных солдат, таких, какими в Германии являются Эрвин Роммель и Хейнц Гудериан. Про сегодняшних русских генералов, которые родились между 1880-м и 1890-м. Про Ивана Алексеева,

генерал-майора, 1890 года рождения, который в 1915-м был подпоручиком и сражался с прусскими войсками. Про генерала Евгения Алехина, который в русской императорской армии с 1914 года. Про генерала Василия Белоногова, который с 1914-го был поручиком на германском фронте. Поверьте, список длинный.

— Пожалуйста, не надо русских имен! Не могу слышать эти звуки!

— И все же я продолжу. — Я впал в азарт, хотелось доказать самому себе, что я помню варварские имена. — Василий Голубовский, генерал-лейтенант, родился в 1891 году. Окончил академию РКК и Военную академию имени Фрунзе. А

в 1915-м был старшим унтер-офицером, воевал на германском фронте. Александр Гарнов, генерал-майор, родился в 1895-м, на германском фронте был рядовым, дослужился до унтер-офицера. Сейчас он в командировке в Китае — следит там за войной. Василий Воронцов, генерал-майор, родился в 1895-м. Сегодня он командир 14-го стрелкового корпуса 8-й армии, которая скоро, я полагаю, войдет в Финляндию. А двадцать лет назад он уже командовал взводом на Северном фронте, примерно в этих же местах. Александр Вольхин, генерал-майор, родился в 1897-м, служил в до 1918 года в составе

пулеметной команды Западно-Амурского полка. Сегодня командир стрелковой дивизии – дивизия стоит на границе с Западной Белоруссией. Федор Волков, генерал-лейтенант, родился в 1897-м. До 1918-го воевал на Румынском фронте, командир взвода. Ян Вейкин, генерал-майор, родился в 1897 году, до 1918-го командовал стрелковой ротой на Северо-Западном фронте императорской армии. Михаил Букштынович, генерал, родился в 1892-м, в императорской армии с 1915-го, подпоручик. В 1938-м был осужден по 58-й статье, содержался в лагере в городе Марьино; постановлением Президиума

Верховного Совета СССР досрочно освобожден.

– Но откуда вы все это знаете?

– Видите ли, мой друг, когда я занимался личным составом офицерского корпуса вермахта и люфтваффе, заинтересовался составом российских войск. Запросил характеристики. Мне захотелось проверить одно смелое предположение. Слушайте! – Я хотел, чтобы они увидели поле истории, великий океан, несущий волну с горизонта.

– И вы собираетесь перечислить нам все имена?

– Все не смогу. Имен много. Но хотя бы некоторые. Тихон Буторин,

родился в 1896 году, генерал авиации. С 1915-го в русской императорской армии на Западном фронте, старший унтер-офицер. В настоящее время – в Китае. Вам не надо рассказывать, что сегодня происходит в Китае? Петр Гнидин, генерал-майор, родился в 1893-м. Унтер-офицер на Западном фронте до 1917 года. Сегодня – командир отдельного танкового батальона 59-й стрелковой дивизии. Кстати, личным распоряжением Сталина фамилия изменена на Гнедин. Степан Еремин, генерал майор, родился в 1897-м, воевал в составе 41-го пехотного полка на Западном фронте в чине прапорщика. Сегодня – командир 20-

го стрелкового корпуса.

– Как вы смогли это запомнить?

– Я летописец. Это моя работа.

Мне стало интересно: прервалась ли русская военная история с уходом белых генералов из России. Помните, многие считали, что главные русские военачальники уехали в эмиграцию? Оказалось, что нет. Белые генералы действительно отпали от Красной Армии – многие из них сегодня в составе наших формирований или каким-то образом с нами связаны. Но им сегодня по шестьдесят или семьдесят лет – они уже не бойцы. Большинство кадровых военных остались в России. Вот, послушайте, – мне было приятно

выговаривать русские имена: —
Анисов Андрей Федорович, 1899
года рождения, успел воевать в 1917
и 1918 годах, далее Военная
академия имени Фрунзе, в настоящее
время начальник отдела
оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии.
Антонов Алексей Иннокентьевич,
1896 года рождения, воевал на
германском фронте в 1916-м, сегодня
заместитель начальника штаба
Южного округа. Баграмян Иван
Христофорович, 1897 года рождения,
участник германской кампании,
начальник штаба Киевского округа.
Ватутин Николай Федорович, 1901
года рождения. Однако успел

повоевать в 1918-м. Сегодня генерал, первый заместитель начальника Генерального штаба. Гусев Дмитрий Николаевич, 1884 года рождения, воевал на германском фронте, ныне генерал-майор, начальник штаба армии. Журавлев Евгений Петрович, 1896 года рождения, георгиевский кавалер, а теперь генерал-майор, начальник штаба механизированного корпуса. Захаров Георгий Федорович, 1897 года рождения, герой германской войны, а сегодня начальник штаба округа. Курасов Владимир Васильевич – сегодня он командующий армией, генерал-лейтенант, а во время германской войны был просто унтер-офицером.

Родился он в том же 1897-м. Не забыть бы упомянуть Ляпина Петра Ивановича, 1894 года рождения, славно воевавшего с немцами в 1917 году, а сегодня генерал-майор, начальник штаба армии; он занимается резервами... – Я перевел дух. Потом продолжал: – А ведь найдутся такие, что скажут, будто русское офицерство со смертью Тухачевского обезглавлено... Дикое суждение! Однако ведь найдутся и такие, что поверят... Те генералы, кого я перечислил, воевали всю жизнь. Причем воевали с немцами. Например, Маландин Герман Капитонович, 1894 года рождения. Ныне генерал-лейтенант, начальник

оперативного управления
Генерального штаба. Прошел всю
германскую войну с наградами, он
противника знает отлично! Никишов
Дмитрий Никитович, 1898 года
рождения. Германская кампания (как
иначе!) и ныне генерал-лейтенант,
начальник штаба Ленинградского
военного округа. Петров Иван
Ефимович, сегодня он командующий
Черноморской группой войск,
генерал-майор. Но в 1914-м был
всего лишь унтером; он родился в
1896-м, как вы, наверное, и сами
догадались... Покровский Александр
Петрович, Пуркаев Максим
Алексеевич, оба родились в 1896-м и
успели повоевать в 1915-м. Сегодня

генералы, командуют округами. Толбухин Федор Иванович, командующий Закавказским военным округом, родился в 1894-м, успел отличиться на германских фронтах в 1915-м. Но я вижу, вы уже меня не слушаете... Я и сам, откровенно скажу, немного устал. Надеюсь, говорил не зря, вы теперь мне верите. И немецкие военные – и русские военные ничему другому не обучены, только воевать друг с другом. Вы думаете, что Гитлер и Сталин кого-то из них могут подтолкнуть к войне? Зачем учить рыбу плавать?

– Однако Гитлер им нужен, вы не можете отрицать!

– Я не отрицаю.

– Вот видите!

– Такие характеры нужны, когда требуется возбудить мещанина. Ваш парикмахер не хочет на войну – он, видите ли, устал воевать! Но парикмахер нужен офицеру. И, стало быть, офицеру нужен Гитлер. Придет время, офицеры пойдут в бой с именем Гитлера на устах – но только потому, что парикмахера нужно обучить кричать какое-то имя. Ровно с той же легкостью офицеры откажутся от Гитлера в период поражений. Я не удивлюсь, если уже сегодня военным надоел фюрер – кто будет терпеть штатского болвана, когда надо решать вопросы

человеческой бойни.

— Вы ловкий демагог, Эрнст. Хотите сказать, что фюрер не виноват?

— Сами знаете военных — вы из генеральской семьи.

— Если все дело в генералах, найдите на них управу!

— Кто же их остановит?

— Есть разумные люди... финансисты, например...

— Полагаете, финансисты остановят солдат, если не станут продавать оружие?

— А почему бы и нет?

Я получал удовольствие от беседы; так лектор получает удовольствие, разъясняя ученику

простейшее уравнение. Снова и снова надо объяснять, как сложить два и два.

— Перед войной 1914 года финансисты высказали рейхсканцлеру, чего они ждут от войны, — сказал я, — и позже, в марте 1915 года, крупные промышленники и финансисты сочинили «Памятную записку крупных экономических союзов», которую передали на рассмотрение в рейхстаг. В записке сформулировали территориальные претензии Германии. То есть то, что мы сегодня называем Lebensraum. Все логично: нам желательно сформировать единый экономический регион Центральной

Европы, с единым таможенным союзом, который был бы естественным местом для германской торговли. В регион также планируется включить Скандинавию, Италию и Швейцарию. На западе претензии распространяются на Люксембург, Францию и Бельгию; на востоке – Литва, Латвия и Польша, до Брест-Литовска. Ничего нового сегодня Гитлер не говорит. До него это сформулировали Тиссен, Симменс, Крупп, Кирдоф и Борзиг.

– Так пусть единая Европа станет мирной! Давайте возводить заводы и фабрики! Бизнес сближает людей.

– Но мы строим фабрики, –

удивился я. – Очень много фабрик. И огромные заводы. Слышали про концерн «Герман Геринг»? Сотни предприятий.

– А если бы вы строили совместно с американцами и англичанами, то могли бы построить вдвое больше!

– Но мы как раз строим вместе с американцами, концерн «Брассерт» возводит три сталелитейных комбината. Поверьте, отношения с американскими партнерами идеальные, несмотря на газетную риторику. Журналисты бесятся, а промышленники работают. Что бы ни случилось, даже мировая война, наше партнерство не пострадает –

концерн «Геринг» открыл в Базеле филиал, и мы через Швейцарию ведем дела со всем миром. Американская компания ИТТ ведет дела и с Японией, и с Италией, и с Германией. Американская «Стандарт ойл» связана с «Фарбениндустри». Мы сегодня получаем из Штатов все: деньги, сталь, топливо, радиотехнику. Главное – передовую технологию. Мы сэкономили миллиарды марок на исследовательской работе и сразу перешли к серийной продукции. Без американцев наша промышленность бы не поднялась.

– И американцы не возражают нам помогать? – Елена представляла

себе мир иначе. Они все видели в Гитлере разбойника, подкладывающего бомбу под дверь банка.

— Как может деловой человек возражать против бизнеса? Это же смысл его существования! — Я наслаждался их изумлением. Сегодня я могу лишь добавить, что во время войны совместный бизнес не пострадал.

Указ Франклина Рузвельта от 13 декабря 1941 года разрешал сделки с компаниями, находящимися под контролем нацистов. «Стандарт ойл» регулярно снабжала Германию топливом и каучуком, и даже если в самих Штатах случались проблемы с

поставками, с поставками в Германию проблем не возникало. Самолеты люфтваффе, которые бомбили СССР и Британию, убивали английских, русских и американских солдат, заправлялись топливом, произведенным американской корпорацией. Заводы Форда на территории оккупированной Франции работали исправно, «Фольксваген» принадлежал на 100 % «Дженерал моторс», а принадлежавший Форду «Опель» ничего не производил кроме танков.

— Вы хотите сказать... — Она не могла поверить. Даже ростбиф перестала жевать. Впрочем, на тарелке почти ничего и не осталось.

– Желаете, чтобы я перечислил вам совместные предприятия? С удовольствием...

– О нет, прошу вас!

– Концерн «Герман Геринг» взял под контроль производство во всей Южной Европе, в Аргентине и Испании; посчитайте также предприятия Круппа, Хенкеля, Сименса! Но никто и никогда не поднял бы обороты предприятий без денежных кредитов. За последние пять лет Германия получила столько иностранных займов, сколько Американские Штаты не получили и за сорок лет. Кому дают эти деньги? Просто Германии или Германии Адольфа? Или вы считаете, что

американские финансисты и промышленники не подозревают, что именно Германия производит?

— Но если капиталисты циничны, должен найтись порядочный политик, который их одернет!

— Порядочные политики — это какие?

— Те политики, которые говорят капиталистам: прибыль — не главное! Которые говорят генералам: сложите оружие!

— Пуанкаре и Клемансо, Ллойд Джордж, Бриан и прочие седовласые и седоусые аристократические господа? — Я говорил более для Йорга, я хотел, чтобы молодой

летчик понял, кто шлет его в бой. — Жорж Клемансо — лучший друг Клода Моне, Огюста Родена, Анатоля Франса, каждый из которых проверенный гуманист! Мсье Клемансо любит холсты с кувшинками и выступает в защиту Дрейфуса, он не ксенофоб!

— Вот видите!

— Правда, мсье Клемансо публично заявил, что «немцев на двадцать миллионов больше чем нужно». Не знакомы с этой цитатой? А как вам такое заявление: «Я прорву германский фронт, даже если придется пожертвовать жизнью пятисот тысяч человек»? Неужели вы и об этом не слыхали?

— Вы все сочиняете!

— Мне надо быть внимательным к мелочам. Хотя, если вдуматься, пятьсот тысяч — это не мелочь...

Сколько там заключенных в сталинских лагерях? А скольких арестовало гестапо? Мсье Клемансо принадлежит определение политики, предвосхищающее слова нашего фюрера. Адольф пока что не добрался до такой лаконичности. Знаете, как говорил друг Анатоля Франса о политике Франции? «Внутренняя политика? Я воюю! Внешняя политика? Я воюю! Я всегда веду войну, ничего, кроме войны!» Видите, как просто. Война есть форма жизни мира, вам до сих

пор не ясно?

— Помимо Клемансо были и другие.

— Верно, были. Был Ллойд Джордж. Не чета вульгарным Сталину и Адольфу, подлинный джентльмен. Правда, Ллойд Джордж так запутался в торговле оружием, что для него оставаться приличным джентльменом сделалось тяжело. Уж очень большие барыши проходили через его кабинет — и все от торговли орудиями убийства.

— Признайтесь, вы это придумали, чтобы победить меня в споре. Так красные газеты оговаривают лидеров Запада.

— Поверьте, я далек от мысли

обелять Адольфа и тем более ненавистного мне Сталина-Джугашвили. Однако связь Бриана и Ллойд Джорджа с торговлей оружием очевидна. Оба брали взятки у крупнейшего оружейного барона Бэзила Захарова. Вы не знаете Захарова? Хотите, я вас познакомлю: он проживает в Монте-Карло, недавно я летал к Бэзилу. Некоторые заказы мы до сих пор оформляем через него. Благопристойные политики зависели от этого человека — такого же влиятельного, как Морган и Рокфеллер, — они дали ему орден Бани, произвели в командоры Почетного легиона. И брали у него деньги, брали миллионы.

– Я не верю вам!

– Но это правда. Слышали про пулемет «максим»? Пулемет продавал Захаров. Подводные лодки, линкоры, снаряды, отравляющий газ, самолеты – многое шло от Захарова, и причем сразу всем: и альянсу – и их противникам. Компания «Виккерс-Армсторонг» снабжала оружием все стороны в войне, давала взятки и французскому, и английскому, и турецкому правительствам. Пройдут поколения, и мальчикам в школе будут рассказывать про мелкого авантюриста Парвуса-Гельфанда, который якобы дал деньги большевикам на революцию.

Найдется писака из желтой газетенки и раструбит о том, что Ленина снабжали германскими деньгами, а мальчики поверят в этот бред. И ничтожный Парвус со своими грошовыми негоциями войдет в историю – а великий сэр Бэзил Захаров, торгующий оружием со всем миром, дающий чек на миллион фунтов Аристиду Бриану, – про него и знать никто не будет.

– Считаете, война нужна оружейным магнатам?

– Соблазнительно так сказать. В парижском доме Захарова мсье Клемансо встречался с Ллойд Джорджем, на вилле Захарова в Монако президенты делили барыши.

А родной сын мсье Клемансо – сам торговец оружием, вошел партнером в фирму Захарова. – Я говорил это Елене в тридцать девятом году, накануне войны, а сегодня, вспоминая давние события, могу только подтвердить, что торговля оружием – своего рода семейный бизнес благородных правителей Запада. Разве сын британского премьера Маргарет Тэтчер, подобно сыну Жоржа Клемансо, не торговал смертью? Разве клан Бушей не приторговывал оружием на Востоке?

– Вы не обманываете меня? Это меняет мое представление...

– Такая малость – и сразу меняет представление? Вы

торопитесь... Деньги такая вещь, липнут к власти... Каждый год в день рождения Адольфа любезный господин Генри Форд переводит в нашу кассу пятьдесят тысяч долларов, начиная со дня основания партии. Спросите почему? Да потому, что книга Генри Форда «Мировое еврейство» издана за три года до книги Адольфа «Моя борьба» и Форд – единственный американец, на которого мой Адольф ссылается. И будьте уверены, мой друг, свои машины Генри Форд поставляет нам совершенно бесплатно. Я ведь приводил вас в штаб партии в Мюнхене, помните портрет американского джентльмена над

столом Гитлера? Это Генри Форд, благодетель национал-социализма. А помощь, которую оказывает рейху мистер Прескотт Буш, техасский миллионер, директор «Юнион банка»? О, наша бостонская аристократия чтит Адольфа... Впрочем, чтит Адольфа и аристократия английская... Знаете ли вы, что сэр Освальд Мосли, глава британских фашистов – зять лорда Керзона, министра иностранных дел Объединенного Королевства? Разве вы забыли, что на параде войск вермахта я имел честь познакомить вас с экс-королем Британии, отрекшимся от короны ради прелестей миссис Симпсон?

Английский Эдвард прилетел специально, чтобы смотреть, как маршируют батальоны СС!

— Действительно, я помню этот день.

— А я помню и более давний день, друг мой. Когда кондотьер Сигизмундо Малатеста сжег город Вольтерру, его именем пугали младенцев. Но послал Малатесту на грабеж благороднейший Лоренцо Медичи, отец Кватроченто, покровитель Боттичелли, друг Марсилио Фичино!

— Значит, виноваты политики?

— Как много кандидатов мы уже отыскиали на эту зловещую роль! Какая пища для раздумий появится у

вашего парикмахера, если вы ему перескажете нашу беседу. Бедный парикмахер – гораздо проще считать, что в его семейном горе повинны Гитлер и Сталин! Но его обидчики не сидят полночи в прокуренных кремлевских кабинетах и не закатывают истерик в берлинских канцеляриях – они себя слишком любят. Они долго спят и много едят, носят бархатные жилеты и шелковое белье.

– Значит, политики западного мира хотят сохранить господство – дело в этом?

– Хотят, конечно. А многие тысячи генералов, которые всю жизнь воюют? Вы забыли про них.

– Генералы и политики сообща решают, что война нужна. Теперь поняла.

– Вы забыли про коммунистов и нацистов.

– Среди них свои генералы и политики.

– И тем не менее. Коммунистическая доктрина состоит в мировой революции.

– Ах, конечно! Забыли про коммунистов! Они виноваты!

– В сущности, на этом настаивал в 1937 году лорд Галифакс. Он поздравил Адольфа с тем, что Германия выжгла коммунистические ростки на своей территории и стала бастионом (кажется, так и

выразился: «бастионом») на пути мирового коммунизма. Очень хорошо помню этот разговор; тогда Галифакс даже посулил нам колонии... Англичане готовы расплатиться Африкой! Мы с Адольфом ахнули... Вы видели этого Галифакса, черствый и хитрый тип. Однако Галифакс предлагал нам Африку! А как он улыбался, друг мой, надо было видеть эту британскую улыбку. Им нужна Германия без коммунистов — за это готовы были платить колониями.

— Как все сложно! Коммунисты подговаривают народы напасть на капиталистов, а капиталисты выращивают фашизм... Потом

промышленники, которым нужен рынок, объединяются с генералами, которые соскучились без войны, и начинается большая бойня? Опять что-то упустила? Да? — Елена выглядела растерянной.

— Упустили, друг мой. Вы забыли про банки. Банки — это не промышленность... Знаете, в чем разница? Промышленности нужны люди, чтобы работать на заводе, а банкирам — люди не нужны. Два разных способа обогащения, хотя Маркс соединил их в своем анализе. Когда-нибудь промышленность в Европе исчезнет, трудиться будет население Африки, а белые господа станут печатать деньги. Деньги — это

наша огненная вода, за них отдадим все, даже армии. Банкиры такие же генералы, у них есть войска, которые идут в бой... Армия денег сильнее германской и советской армий, у денег своя разведка, свои секретные карты, свои сражения. Если в России ловят германского шпиона, его расстреливают, если в Британии ловят германского шпиона, его вешают, — но если обесцененные инфляцией рейхсмарки превращаются в британский фунт, их никто не разоблачит! Иногда финансисты вкладываются в промышленность, но могут вложить средства в разрушение промышленности... Могут скупить

золото, а могут обесценить золото... Скажем, зачем вкладывать деньги в производство оружия, ведь оружие портится... В Гитлера вложили много денег. Он сначала просил – но сегодня просят его, чтобы он деньги взял! А ведь те, кто дает деньги, знают очень хорошо, что вкладывают в разрушение, не в стабильность. Поглядите, как развивается «Дойче банк»! Сколько еврейских капиталов вошло в него за последние годы! В каждый аннексированной стране будут открыты филиалы «Дойче банка», а контрольные пакеты крупных конкурентов мы приобретем за обесцененные рейхсмарки. И неужели нельзя прочертить

логическую цепочку от купюры к купюре? Герман Йозеф Абс, первое лицо «Дойче банка», поставлен так высоко потому, что удовлетворял всех — и Ялмара Шахта, председателя «Рейхсбанка», прежде всего. А Ялмар Шахт был назначен главным немецким финансистом под влиянием барона Монтегю Нормана, управляющего Банком Англии. Видите, видите, как все закручено? Даже я иногда теряюсь, не понимаю, кто оплачивает мою машину... мое вино... нашу гостиницу... Мы много лет живем и пьем вино, — кто-то ведь за это платит? Вы спросите меня, как это возможно, чтобы финансы фашистской Германии развивались в

согласии с планом главного финансиста Англии? — Но мои слушатели уже ничего не спрашивали, они молчали. — Наверное, полагаете, что это личные мотивы барона Нормана? Не спорю, личные пристрастия имелись. Банкир Норман ненавидит евреев, католиков и французов, ровно тех, кого не любит Адольф. Но какой же генерал будет обращать внимание на личности тех, с кем воюет, — ему важна стратегия...

Друг мой, знаете ли вы, как сами банкиры именуют сегодняшний финансовый трюк? Они называют эту политику «Взаимное гарантированное уничтожение».

Занижение и завышение оценок
золотых потоков. Путаница
инфляции с дефляцией — когда
бедный обыватель не знает: то ли
ему продать квартиру, то ли взять
кредит на холодильник. Банки готовы
обнулить свои счета в тот момент,
когда прибыль будет реализована — а
выход останется один: война. Это
ровно то же самое, друг мой, что
взаимное гарантированное
ничтожество в мире интеллектуалов.
Знание обесценено — каждый
щелкопер выдает другому щелкоперу
кредит подлинности, равновесие
авторитетов обеспечено обоюдным
невежеством. Неужели вы думаете,
что мне под силу уничтожить

авангард? О, если бы! Пустота не поддается уничтожению. Когда прибыль будет реализована — авангард сам уйдет; он станет декорацией войны. Из черных квадратиков наделают танки и статуи солдат — больше они ни на что не годятся. Вы все еще полагаете, что Гитлер толкает мир к войне? Мистера Форда, допустим? Или барона Монтегю Нормана? Сэра Уинстона Черчилля? Германа Йозефа Абса? Хайнца Гудериана? Сотни обстрелянных генералов, которые не могут забыть Марну? Иосифа Сталина? Германа Геринга? Художника Малевича? Кого именно австрийский ефрейтор толкает к

войне?

— Но ведь кто-то заинтересован в войне?

— Да, — сказал я. — Все заинтересованы.

Мы смотрели друг на друга: молодой летчик с крестом за взятие Мадрида; полногрудая женщина с горящими глазами; политический интриган — а кем еще я был в те годы? — высокий худой блондин с красными от недосыпания глазами.

— Войны хотят все.

— Виноваты все — и некуда бежать?

— Поэтому я выбрал Адольфа своим учеником, — неожиданно для самого себя я сказал сокровенную

правду. — Я искал того, кто не побоится выйти в море в шторм. Когда в океане буря, надо идти навстречу волне. Выхода нет, зато какой замечательный парадный вход! Отчего бы нам всем не войти в эти двери? И не стоит искать виноватых. Адольф прольет кровь — но начал лить кровь не он. Сталин прольет кровь, но лить кровь начал не Сталин.

— Кто же виноват? Вы молчите. Вы все это сочинили, признайтесь! Все придумали!

— Про Медичи, и про Захарова, и про Клемансо, и про Форда, и про Освальда Мосли — все правда. И тысячи генералов, которые никогда

не прекращали войну, имеются. Их генеральскую волю не перечеркнуть. Можно добавить еще много подробностей. Но ни один из них не виноват — окончательной виной.

— Только, умоляю, обойдитесь без имен!

— Можно решить, будто мировые войны — это борьба магнатов друг с другом. Найдутся люди, которые сочтут, что Израэль Гельфанд-Парвус воюет с мистером Генри Фордом, а в драку вмешался сэр Бэзил Захаров. А это — совершенная глупость. Захаров с Парвусом — большие мерзавцы, но на роль Люцеферов не годятся. Чепуха, чепуха... Разве они Люциферы...

– Но вы сами...

– Такая же чепуха, как желание представить будущую войну – столкновением Сталина с Гитлером, а Гитлера с Чемберленом. Найдутся знатоки партийных текстов, и чего доброго решат, что большевики сражаются с нацистами, а нацисты воюют с демократами – и в этом причина войны.

– Но кто тогда виноват? Кто-то ведь хочет миру беды? Кто-то за всем этим стоит?

– А найдутся и такие, которые скажут, что коммунисты хотят победить нацистов. И это неправда.

– С кем же я воюю?

– Еще раз, пожалуйста, повтори

свой вопрос.

— С кем я воюю? Кто мой враг?

— Иными словами, ты хочешь понять, кто ты сам?

Летчик-ас интересовался, зачем бомбил Гернику и прикрывал с воздуха атаки на Мадрид. Как все люди действия, солдат не умел точно выражать мысль — слова расставлял неловко. Банкир спешит — надо обыграть конкурента, брокер спешит — надо продать акции, художник спешит — кому завтра нужно его самовыражение! Ах, какое коварное слово — самовыражение! Выражает ли себя летчик посредством бомбометания, банкир — посредством изменения процентной

ставки? Действуя, мы тщимся передать поступком нечто субстанциональное – при том, что не вполне себя осознаем. Можно ли определить собственное бытие через самого себя? В этой тавтологии спрятано метафизическое противоречие. Если определять бытие не через собственную историю – на чем будет основана подлинность суждения? Но если определять бытие посредством усвоенного опыта, то не будет ли анализ предвзятым? Этот вопрос ставил и Хайдеггер в своих философических трудах; этот же вопрос на языке повседневности (Gerade, а не Sprusch, как сказал бы

Мартин Хайдеггер) – задавала сама себе вся Германия. Как перевести собственную историю в нечто более высокое, нежели просто накопленный опыт? Но поиск бытия в высшем его проявлении и поиск вечной молодости – разве это не одно и то же? Вы понимаете, что я имею в виду?

В Берлине грандиозные архитектурные проекты закончились строительством бункеров, к вящему торжеству культурного детерминизма. Видимо, есть нечто линейное в идее пруссачества, недаром Гегель выбрал для чтения курса «Философии истории» Берлин, здесь и преподнес маршевую концепцию развития человечества. С тех пор интеллектуальная муштра на плацу истории стала нормой, нерадивых солдат наказывали. А мировой дух маршировал по прямой — и те, кто остался умирать в Берлине, умирали среди горящих

проектов, бункеры сотрясались от разрывов, и люди плакали, прижавшись друг к другу, их квадратно-гнездовой мир ходил ходуном. Пусть уцелевшие в берлинском пожаре немцы ответят, что это было: дух истории, познающий сам себя, — или повседневное состояние, переходящее в бытие сущностное? Гегель или Хайдеггер — кто был творец пламени?

В Лондоне, где я доживаю свой длинный век, архитектура не впечатляет: величия нет, да и прошлое, как ни странно, не чувствуется — маленькие домики не напоминают о войне. Когда

британцы произносят слово «традиция», они будто бы намекают на чаепития, а не на расстрелы индусов. Над красной черепицей щебечут птицы, можно даже вообразить, что это мирная страна.

— Вам предоставили хорошие условия, — сообщил завистливый публицист Ройтман, разглядывая комнату. Мне показалось, что вопрос жилплощади этого человека волновал. — Здесь сколько квадратов?

Сегодня у меня только два визитера: историк Халфин и публицист Ройтман. Их соратники уехали из Лондона — трудятся на московских баррикадах, варятся в гуще событий, булькают, пенятся.

Этих двоих оставили в Лондоне – видимо, требуется собрать средства для борьбы. Насколько я понял, вчера состоялся важный концерт, и оппозиционеры получили много денег. Однако говорили они о московских волнениях.

– Если бы я был моложе! – сокрушался историк Халфин. – Впрочем, вчера не отходил от письменного стола! Моя баррикада была за клавиатурой компьютера! Поддержал восстание!

– Восстание? – признаюсь, я изумился.

Халфин сморщил и без того морщинистое лицо, всплеснул вялыми руками:

– Назовем это: шаг в сторону прогресса. Мирные прогрессивные перемены...

– Сколько здесь квадратов? – продолжил Ройтман разыскания. Публицист был нездоров, отирал пот, сморкался.

– Простите? – Я подумал о кубах на погонах. Воинского звания у меня не было.

– Квадратных метров в вашей комнате сколько? То есть футов?

– Я не измерял...

– Прикинем, сейчас прикинем... – Ройтман засуетился, измеряя шагами жилплощадь. Губы литератора шевелились: он считал метры.

— Думаю, здесь метров двадцать, — на миг отвлекся от дум о борьбе Халфин.

Ну да, можно сказать: устроился... Вот, размышляю я, прихлебывая чай с молоком, оказывается, можно возвести домик Филимона и Бавкиды, который переживет план Фауста. Уже Бавкида давно погибла, даже кости ее истлели, а домик стоит нетронутым — увит плющом.

Я пережил свою возлюбленную Елену и последнего из фон Мольтке — летчика Йорга; я пережил своего далекого сына Эгона и своего буйного протеже Адольфа; я пережил саму Германию и идею цивилизации. Все

обратилось в пепел, а я еще жив. Смотрю в окно на серых лондонских негров, они подмигивают мне, старику. Мол, все живешь? Не хочешь на покой?

— Восемнадцать... — сказал Ройтман.

— Простите? Восемнадцать чего?

— В этой комнате примерно восемнадцать метров. И в смежной двадцать два.

— Вот как?

— Неплохая жилплощадь, а если примерная стоимость метра, то есть фута...

Умереть оказалось непросто — я много раз призывал смерть, а она все не идет. Поначалу радовался, что

избежал яда и петли, не пошел по стопам Геринга и Кейтеля; пусть смерть придет неожиданно, говорил я, без насилия. Насилия я видел много — предпочитаю тихий уход, лучше во сне, незаметно, перейти в мир иной. Не хочу видеть, как подкрадывается смерть.

Последние годы я частенько вспоминаю коменданта латышского лагеря Саласпилс — Краузе. Не знал его лично, но слышал о нем. Он имел обыкновение, как рассказывают, садиться на корточки возле еврейских детей и спрашивать, не хотят ли дети конфетку. Потом просил детей закрыть глаза и открыть рот. Когда ребенок открывал

рот, Краузе стрелял в раскрытый детский рот из вальтера — он так шутил. Смерть настигала маленьких евреев внезапно, и они не успевали ужаснуться своей судьбе. Я не раз думал: уж не выражал ли таким причудливым образом герр Краузе свое сострадание к еврейским деткам? Судьба Рахили или Сарочки, Мойши или Давидки, которым неожиданно высадили мозги, не так страшна, как судьба их сверстников, которых Краузе и его команда свозили в Румбольский лес и загоняли в свежевыкопанные рвы. Говорят, крики тех, кто ожидал расстрела, были слышны на расстоянии многих километров — и

особенно громко кричали матери. Помню историю о том, как одна мать кинулась на коменданта Краузе и поцарапала ему лицо — она впала в безумное состояние, когда ее ребенка раздели и уложили в яму. Детей в лагерях обычно убивали раньше взрослых; деточек раздевали донага (вещи убитых потом отправляли в Германию, в тыл, или распродавали на местных рынках — киевляне, например, долго носили вещи расстрелянных в Бабьем Яру), затем детей складывали голеньких на дно ямы, а дети визжали и плакали, ожидая боли и не понимая, как именно больно им будет. Потом солдаты били в ров из пулемета — в

детские тела. Рвы рыли достаточно глубокие — до семи-восьми метров глубины, и фонтаны крови не марали мундиров. Поверх детей укладывали женщин, потом всех остальных, и так слоев десять. Последний человеческий слой расстреливать приходилось практически в упор; говорят, многие сетовали, что кровь брызжет на автоматы. Такой тактики, впрочем, придерживались не все участники акций — чаще ее применяли латвийские или эстонские эсэсовцы или украинские солдаты. Немцы же любили подводить к краю ямы и стреляли в затылок. Объясняется это различие методов просто: немецкие солдаты

рассчитывали, что за ними
приберутся — и действительно,
русские, или украинские, или
латышские охранники лагерей
ликвидировали неряшество могил:
засыпали еловыми ветками, отрезали
торчащие части тела. Немцы
чурались этой неизбежной, но
малоприятной работы — уборки
разлагающихся трупов, — а
добровольцы из национальных
наборов находили в такой работе
занятные стороны. Скажем, русский
охранник Саласпилского лагеря был
педантом по части отрезания
конечностей, выпирающих из ям, —
знаете, как это бывает, когда
окоченевшая рука торчит вверх из

общей могилы?

Я обратил внимание, что национальный характер сказывается на манере убийства – допустим, украинские legionеры предпочитали убивать еврейских детей так: брали ребенка за ноги и били головой о дерево. Полагаю, дух украинской вольницы, Запорожской сечи, казачества, сказывался в этом широком жесте. Немецкие же солдаты предпочитали методично бить рукояткой пистолета мягкий детский череп. Так, комендант Моглинского лагеря, что под Псковом, – майор Кайзер – использовал для акций рукоять пистолета, а охранник Иван

Левченко брал детей за ноги и умерщвлял маленьких евреев именно таким способом. Любопытен анализ поведения эстонцев или латышей, сотрудников лагерей. Находясь как бы на полпути между славянским типом сознания и европейским, они и в казнях выказывали двойственность натуры. Эстонец Луукас, который был комендантом Моглинского лагеря до Кайзера, любил брать детишек за ноги и бить головой о капот машины — но иногда (если речь шла сразу о нескольких детях) пускал в ход и рукоять маузера. Предлагаю сравнить трудозатраты и эффективность данных методов — в Нюрнберге

такими вопросами не занимались. Проходя вдоль шеренги еврейских детей, немецкий солдат совершал до двадцати резких ударов в минуту – примерно столько же времени тратил украинский борец с большевизмом на одного ребенка. Как сказал мне гауптман Нагель, описывая практику ежедневных акций в лагерях, немецкий метод значительно гуманнее и одновременно эффективнее.

Гости задают мне вопросы, их волнует история. Они не оставили затеи написать сочинение на тему Гитлера и Сталина. Спрашивают и спрашивают. «Ах, – говорят они, – история не должна повториться!» И

прочую чушь, все в таком вот духе. Историк Халфин даже предложил обсудить, в чем разница между Гитлером и Сталиным. И у того усы, и у другого усы. И тот лагеря строил, и этот строил. Майор Ричардс, как обычно, развел руками – не видит он разницы между двумя тиранами, ну вот не видит – и все тут!

– Спросим у мистера Ханфштангеля, он хорошо помнит то время.

Гляжу на гостей и плохо их вижу – слезятся глаза. Что вы хотите знать? Про то, как Сталин спровоцировал Гитлера – понимаю, теперь это модная точка зрения. Про то, что во всех действиях нацизма

виноват коммунизм? Ах, ну конечно же! Вам это пригодится завтра, когда придется объяснять союзникам по баррикадной борьбе, почему они недостойны занять кресла директоров банка. Вы же завтра берете власть... Вам понадобится пресекать любые поползновения к Октябрю... Надо будет длить Февральскую революцию бесконечно... Как это знакомо!

— Скажите, — спросил я Ройтмана, — вот эта фраза русского поэта: «Февраль, достать чернил и плакать»... Это ведь очень свободолюбиво, не так ли? Ведь это — протест?

— А? — Он меня не понял,

баррикадный боец за неравенство. — Вы нам набросайте, господин Ханфштангль, заметки о коммунистическо-фашистском союзе... Нам очень нужно...

Да-да, непременно... Я уж постараюсь, демократическое дело нехитрое. Извольте, расскажу, что страшнее коммунизма ничего нет... Мне надо отрабатывать чай с молоком. И судя по всему, Ройтману тоже надо отрабатывать зарплату. Любопытно было бы сравнить наши доходы. Ах, милый Ройтман, что ты делаешь? Опомнись! Ты хочешь, чтобы я показал тебе, что те, кто освобождал евреев, хуже тех, кто их душил? Милый Ройтман...

Впрочем, и в лагерях смерти некоторых евреев оставляли в живых – требовалось убирать трупы.

– Гитлер имел доказательства, что Сталин готовит нападение? Апчхи! – Ройтман чихал, поминутно менял бумажные платки.

– Не думаю.

– Документы, письма на этот счет... перехваченные шифровки... Знаете ли вы, что рассекретили стенограмму заседания, на котором Сталин открыто говорит о планах?

– Не видел публикаций.

– Это меняет все!

– Неужели? – Что я мог ответить энтузиасту?

– Гитлеровский режим

напоминал сталинизм?

– Трудно сказать, я в Москве не жил.

– Вы встречали разных людей... Можете сравнивать! Читали Арендт, «Истоки тоталитаризма»?

– Ханну помню хорошо.

– Ах, расскажите! – Ройтман сел рядом, вооружился блокнотом. – Это мой кумир!

– Не хотелось бы делиться личными воспоминаниями.

– Арендт обозначает пункты, которые позволяют назвать режим тоталитарным. Антисемитизм, например.

– Сталин не был антисемитом.

– Это доказано! Кампания

против космополитов в 1952-м!

— Значит, СССР стал тоталитарной страной в 1952-м, а до того не был?

— Демагогия, — вступает в разговор запальчивый Халфин, — преступления нацистов меркнут рядом с преступлениями коммунистов!

Если бы мои гости могли, они бы задали главный вопрос: «Dasein oder Design?» Сопоставление этих терминов пришло мне на ум в шестидесятых, когда я еще жил в Америке, на военной базе, а мир бредил дизайном. Бытие — или его декорация? Вопрос для Хайдеггера. Но так думать мои гости не умели; их

интересовали шифровки и сейфы. Выследить, где и какой документ прячут, подловить историю на случайной фразе, огорошить бытие удачной цитатой. Мне иногда кажется, что из современных культурологов вышли бы неплохие гестаповцы – Мюллеру был близок такой подход. Что, влипла, голубушка история? Колись – выбора нет!

Профессор Халфин мечтательно потер руки. Всю сознательную жизнь этот въедливый человек посвятил разоблачению собственной истории: он составил картотеку двусмысленных высказываний политиков, секретных протоколов советских чиновников, он сел на

хвост бытию!

— Разве Освенцим сравнится с Магаданом? — сказал Халфин, сморщившись. — В конце концов, нацисты убивали чужих, а большевики — убивали своих. Разница вопиющая!

— Убийство сограждан, — добавил Ройтман, — в тысячи раз преступнее, нежели военные действия против другой страны! — Он высморкался в очередной бумажный платок, бросил платок рядом с креслом.

— Рядом с ГУЛАГом немецкие лагеря выглядят как санатории! — сказал Халфин. Я поглядел на смятый платок и на лицо профессора

Халфина — сходство было разительным. — Нацисты раскаялись, если на то пошло! Раскаяние! Что-то не наблюдаю раскаяния в России!

— Хотелось бы всех поименно назвать, — промолвил Ройтман.

— Я попробую, — сказал я. — Разрешите я назову вам некоторых раскаявшихся поименно.

Чего я хотел от них? Мне захотелось остудить их пыл, это понятно. Я люблю давать уроки истории — удовольствие, возможно, из последних, мне доступных. Люблю детали и ценю подробности, обобщения не устраивают. Но было и еще нечто, что постепенно захватило меня. Мне захотелось помочь

Ройтману, как некогда захотелось помочь Адольфу. Он был неглуп, он хотел справедливости... Я вдруг подумал... А что если фаустовский дух скрестить с еврейской парадигмой? Может, так мы дадим Западу странный шанс? И не это ли попытался сделать Микеланджело? Гитлер меня не дослушал, германский Один вытеснил в его сознании Христа... Шпеер, глупый Шпеер победил Праксителя... Возможно, стоит попробовать. Правда, силы уже не те. Я начал говорить.

— Франц Штенгль, комендант Треблинки, Густав Вагнер, комендант лагеря Собибор, Алоиз

Бруннер, ответственный за лагерь Дарнси, Йозеф Менгеле, врач, потрошивший младенцев, — им всем дали уйти. Все отлично знали, где живет доктор Менгеле, и никто не побеспокоил доктора до его кончины в 1979-м, — заговорил я привычным менторским голосом. Иногда мне кажется, что вместо меня говорит моя память, говорит хроника событий, от которой уже не может избавиться мозг. — Штенгель, Вагнер и Бруннер — коменданты лагерей смерти, наказания не понесли. Считается, что скрылось более трехсот крупных эсэсовских чинов, уходили так называемыми «крысиными норами». Про Отто

Скорцени, Клауса Барбье и Отто Ремера вы знаете. Но я скажу о другом. Практически ни один из генералов вермахта не понес наказания. Генерал Арним, тот, который отличился расстрелами под Москвой, – сказал я, – освобожден из плена в 1947-м. Генерал Аулеб, воевал под Витебском и Ржевом, был командующим охранными войсками, специалист по борьбе с партизанами, освобожден в 1947-м. Генерал Байерлайн, участвовал в боях под Москвой, освобожден в 1947-м, принял участие в реваншистских движениях. Генерал Балк, – Французская, Греческая, Русская кампании – освобожден в 1947-м. В

1948-м его, однако, обвинили в военных преступлениях, судили в Штутгарте, приговорили к шести месяцам тюрьмы.

Они посмотрели на меня как на сумасшедшего.

— Я предупреждал вас, что господин Ханфштангель человек особенный, он все помнит, — улыбнулся майор Ричардс.

— Как правило, судебное производство было организовано так. Сначала суд приговаривал военных преступников, то есть тех, кто был повинен в массовых убийствах мирных граждан, кто сотрудничал с айнзацкомандами или отдавал приказы о расстрелах, — к 25 годам

заклучения. К смерти приговаривали редко, только если преступника выдавали в страну, где он особо отличился, куда-нибудь на Балканы... А так — к 25 годам, звучит весьма устрашающе. Но через несколько лет заключенных передавали в Федеративную Германию как неамнистированных преступников. А в Германии их освобождали почти сразу. К 1955 году были выпущены все, кто получил двадцать пять лет. Но как правило, выходили на свободу уже в 1947-м. Генерал Байер, сражался на Украине, освобожден в 1947-м. Генерал Беге, войсковая группа действовавшая в Курляндии, носила его имя; освобожден в 1955-

м. Генерал Беренд, сражался под Ленинградом, освобожден в 1947-м. Генерал Бот, командующий охранными войсками группы армий «Север», занимался антипартизанскими операциями. Освобожден в 1947-м. Генерал Бремер – Французская, Польская, Советская кампании; освобожден в 1955-м. Генерал Буле, личный друг Гитлера, начальник штаба контроля за аполитичными элементами в армии; освобожден в 1947-м. Генерал Варлимонт, осуществлял перевооружение Германии, состоял военным атташе при Франко, разрабатывал вместе с Йодлем план Барбаросса, приговорен к

пожизненному заключению;
освобожден в 1957-м. Барон Вейхс,
генерал – Югославская кампания и
сражения на Восточном фронте,
Белостокская операция, Орел, Курск,
Сталинград; прославлен
уничтожением партизан,
расстреливал заложников тысячами;
освобожден в 1947-м году. Гудериан,
генерал-полковник, воевал везде;
разумеется, освобожден сразу после
1945-го.

– И слушать не желаю! Все эти
люди – солдаты, – сказал Ройтман. –
Солдата мы не можем считать
преступником. Да, солдат воевал! Но
воевал честно! Стрелял, да! Ну что ж,
война! Я, русский человек,

литератор, склоняю голову перед немецким солдатом, выполнявшим свой долг. И тем более перед таким солдатом, который прошел денацификацию! Под денацификацией имеется в виду разоблачение партийных деятелей, пропагандистов! Тех, кто играл в Германии роль, сходную с ролью коммунистов в России.

— Оправдываете солдат? Благородно... Отчего не оправдать? Например, лейтенанта Гуго Примоцека оправдали, освободили в 1945-м. Гуго отличился подо Ржевом, подбил 24 советских танка, отличная работа. А всего на его счету 60 русских танков — сгорели как свечи,

вместе с экипажами. И Гуго отпустили на свободу. Он же просто солдат. Или Ойген Кениг, генерал-лейтенант, тоже достаточно поубивал русских подо Ржевом — и тоже на свободе с 1945-го, благополучно прожил еще 40 лет. Вольно вам чтить героев Ржевской битвы. Я-то лично ценю храбрость подо Ржевом, на то имею причины.

— Солдаты! Поймите наконец — солдаты!

— А вот генерал Ангелис, осужденный за военные преступления, и освобожденный в 1955-м? Сто боевых вылетов в составе легиона «Кондор» над Испанией в 1937-м. Знаете про

«Кондор»? Бомбил Сталинград и Горький. Стер завод ГАЗ с лица земли — вместе с рабочими, естественно. Что его освободили в 1947-м, это понятно. Знаете ли, чем он занимался после войны? Служил в звании полковника в штабе НАТО в Париже.

— Значит, его знания пригодились союзникам!

— Бесспорно так! Для борьбы с тем же самым коммунизмом. Барон не менял убеждений.

— Коммунизм значительно хуже нацизма, — сказал Халфин. — Это уж, извините, моя область! По этому вопросу — будьте добры, обращаться ко мне!

В руке у моего гостя пухлая книжка, он с гордостью сообщает, что это – лишь первый из трех томов правдивой истории России, которую он написал под патронажем американских учебных программ; то есть, я хотел сказать, на деньги, выданные американскими спецслужбами. Правда, мой гость считает, что за книжку ему платил университет. Но университет получал свои деньги у конгресса США, а конгресс брал деньги из бюджета спецслужб. Так уж заведено в России: эмигранты начинают с разоблачений, а заканчивают сотрудничеством со спецслужбами. Некогда беглый писец Посольского

приказа Федор Котошихин сочинял разгромную историю Государства Российского, прячась при дворе шведского короля и живя на шведские деньги. То была блистательная карьера при дворе — многие (в том числе Халфин) ссылались на Котошихина — и платили писцу щедро. Правда, кончил борец с восточным варварством плохо: на площади Стокгольма беглому писцу отрубили голову за бытовое преступление — он в пьяном виде зарезал хозяина своей квартиры. Итак, о чем это мы? Ах да, обсуждаем праведную денацификацию.

— Не будем осуждать простых

солдат, – сказал Ройтман растерянно; я видел, что он смущен. – Вы ведь назвали нам имена служак... офицеров армии...

– Вы правы, я пока говорил про вермахт, – согласился я, – говорил про вермахт, поскольку придерживаюсь мнения, что вина распределена равномерно на всех; но извольте, расскажу и про войска СС. Отто Абец, бригаденфюрер СС, занимался массовыми депортациями евреев из Франции; осужден на 20 лет каторжных работ; освобожден в 1954-м. Эрих фон дем Бах, обергруппенфюрер СС, по его инициативе (совместно с Вигандтом) создан лагерь смерти Освенцим, то

есть Аушвиц, как говорят германцы. С мая 1941-го и по 1944 год – высший руководитель СС и полиции в Центральной России. Уполномоченный Гиммлера по борьбе с партизанами на востоке. После казней евреев в Риге, когда убили в один день 35 тысяч человек, фон Бах сказал: «Больше евреев здесь не осталось», – но действительность оказалась сурова: ему еще пришлось потрудиться. Организатор массовых казней в Минске и Могилеве. Подавлял Варшавское восстание. Как говорят, после подавления восстания казнил до 200 тысяч человек. До 1950 года находился в заключении. А в 1951-м Мюнхенский суд по

денацификации приговорил фон Баха к десяти годам общественных работ. То есть он жил в своем доме, пил кофе, гулял с собакой. Герман Беккер, группенфюрер СС, организатор массовых арестов евреев в Польше. Умер своей смертью, на свободе, в собственном доме в Торгау в 1974 году. Готлиб Бергер, обергруппенфюрер СС, способствовал вербовке с СС уголовников. Выпустил учебник «Недочеловек», в котором обитатели России — то есть вы, господин Ройтман, в том числе, и вы, господин Халфин, — характеризовались как существа, находящиеся на уровне развития ниже животного.

Руководитель всей службы по делам военнопленных Германии — понимаете? Американским военным трибуналом в Нюрнберге приговорен — по обвинению в уничтожении евреев — к 25 годам тюрьмы. Освобожден в 1951-м. С 1952-го выпускал неофашистский журнал «Национ Ойропа».

— Замечательно, что он мог выпускать журнал! — сказал Халфин. — Я приветствую свободу печати... Это, во всяком случае, не был журнал «Коммунист»... а в Советском Союзе никто не арестовал Молотова, коммуниста и демагога.

— Вы правы, — сказал я и продолжил: — Гуго Блашке,

бригаденфюрер СС, в его ведении были стоматологические службы концентрационных лагерей. Блашке занимался сбором золотых коронок и зубных протезов — выдергивали у заключенных, перед тем как убить. В 1948 году Блашке был освобожден, а после войны имел собственную стоматологическую практику в Нюрнберге. Ваши друзья у него не лечились? Говорят, прекрасно протезировал.

— Не надо, — сказал Халфин, — передергивать.

— Передергивать — что? Зубы? Иосиас Вальдек-Пирмонт, обергруппенфюрер СС, генерал войск СС, сын князя Вальдек-

Пирмонта и принцессы Шаумбург. Состоял комендантом концлагеря Бухенвальд. Комендант Бухенвальда – заметная фигура, правда? На бухенвальдском процессе в Дахау приговорен к пожизненному заключению. Потом срок был сокращен до двадцати лет. А в 1950 году его освободили. Умер он спустя 17 лет, в 1967-м, в собственном замке, там же, где и родился – в Шлосс Шаумбург, в Арнользене, в родовом гнезде. Может быть, знаете: Везерские горы.

– Это где? – заинтересовался Ройтман.

– Я вам покажу на карте... Интересуетесь? Думаю, там можно

прикупить недвижимость. — Ройтман нахмурился, и я понял, что он совсем не богат; тем лучше, значит, в нем еще сохранилась способность к действию. — Якоб Верлин, оберфюрер СС. Находился в правлении «Даймлер-Бенц» с 20-х годов, личный друг Гитлера, снабжал его деньгами, помогал партии. Возглавил концерн «Даймлер-Бенц» и был инспектором автомобильного дела. Уже в 1949 году вновь входил в правление «Даймлер-Бенц». Ничего для Верлина не изменилось.

— Автомобильная промышленность, — сказал Халфин примирительно и всплеснул вялыми руками. — Не хватало судить

автомобилистов!

— Карл Вольф, оберстгруппенфюрер СС и генерал, полковник войск СС. Участвовал в создании СС. Руководил отправкой евреев из Варшавы в Треблинку, лагерь уничтожения. По распоряжению Вольфа уничтожено 300 тысяч евреев. Встречался в Цюрихе с Аленом Далласом, пытаясь заключить сепаратный мир. Освобожден в 1949 году. Правда, в 1964-м арестован вновь (спустя 15 лет мирной жизни), Мюнхенский суд предъявил Вольфу обвинение в убийстве евреев — 300 тысяч жертв. Приговорен к 15 годам заключения, однако в 1971-м ему вернули свободу.

Умер Вольф в собственном доме в Розенхайме, в Баварии, в 1984 году. Он пережил Брежнева и чуть не пережил Советскую власть.

— Уверен, он раскаялся в ошибках молодости, — сказал Халфин.

— Карл Генцкен, группенфюрер СС, генерал лейтенант войск СС. Шеф санитарной службы войск СС. Директор надзора за медицинским персоналом в концентрационных лагерях. Без его санкции не мог проводиться ни один медицинский опыт над заключенными. На процессе по делу медиков в Нюрнберге признан виновным в проведении бесчеловечных

экспериментов, повлекших смерть многих заключенных. Приговорен к пожизненному заключению. В 1951-м срок снижен до 20 лет. В 1955-м Генцкен выпущен на свободу.

— Тоталитаризм, — Ройтман говорил сдавленным голосом, — согласно Ханне Арендт...

— Отто Гофманн, обергруппенфюрер СС, генерал полиции и генерал войск СС. С 1939 года начальник службы проверки расовой принадлежности, RuSHA. Организовывал массовые депортации населения с оккупированных территорий. Участвовал в работе Ванзейской конференции по выработке окончательного решения

еврейского вопроса. Это он предложил стерилизовать «полукровок». В Нюрнберге приговорен к 25 годам заключения. В 1951-м приговор смягчен до 15 лет. В 1954-м выпущен на свободу. Работал в торговле, умер в 1982 году, проводя последние 28 лет в комфорте и уважении. Леопольд Гуттерер, бригаденфюрер СС. Работник прессы, сотрудник Геббельса, организатор нацистских маршей. В 1948-м освобожден, стал директором театра в Аахене. Умер в 1996-м, долгая жизнь! Вильгельм Коппе, обергруппенфюрер СС, генерал полиции и генерал войск СС. С 1939-го по 1943-й высший руководитель

СС и полиции в Познани. Создатель концлагеря Хелмно, где уничтожено 320 тысяч человек. Возглавил уничтожение еврейских гетто на территории Польши. После войны мирно жил в Германии, был арестован лишь в 1960 году. Прошел денацификацию, амнистирован в 1965-м. Мирно дожил до восьмидесяти лет — скончался в Бонне, в 1976-м. Геррет Корземанн, группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции. Руководитель СС и полиции в Ровно, затем в Ростове. Организатор террора против евреев и сочувствующих партизанскому движению. После войны приговорен к 18 месяцам

тюремного заключения, а с 1949 года мирно проживал в Мюнхене. Эрхард Креггер, оберфюрер СС. Уроженец Прибалтики, балтийский немец. Командовал айнзацкомандой № 6 в составе айнзацгруппы «С», проводил массовые расстрелы мирного населения на юге России. Затем руководитель Германской службы в Париже. Затем – управление СС при генерале Власове. Мирно жил после войны, а в 1969-м приговорен судом Тюрингии (в рамках денацификации) к трем годам и четырем месяцам заключения. Отпущен на свободу быстро. Умер в 1987-м в Риге – перед смертью вернулся в освобожденную от коммунистов Ригу – в 1987-м Рига

уже практически освободилась.
Сентиментальный человек.

— Не понимаю, — сказал Халфин, — для чего вы это рассказываете? Как не надоест? Неприятно слушать такие подробности.

— Что вы, — любезно возразил я, — разве это неприятные подробности? Я еще не перешел к биографиям эсэсовцев из соединения «Мертвая голова», обслуживавших лагерь уничтожения. Там неприятных подробностей больше. Карл Вольф лично не душил евреев «Циклоном Б». Те, о которых я еще не рассказывал, они душили лично. Или закапывали евреев в землю живыми.

Скажем, охранница из Майданека по прозвищу Майданекская Кобыла — она сапогами затаптывала худых евреев. Однако умерла эта женщина на свободе.

— Довольно! — резко сказал Ройтман. Наконец-то я добился того, что он заговорил громко. Я хотел, чтобы он испытал боль, я провоцировал их. Я хотел, чтобы этот толстый синешечий господин вспомнил, что он еврей. Я добивался того, чтобы он понял, что окружен врагами. Проснись, Ройтман, — ты в опасности! Он и впрямь возбудился. — Да, было страшно! Я вам расскажу про сталинские лагеря — вы с ума сойдете от страха.

– Нет, – сказал я ему. – С ума я однажды не сошел, когда был повод. Значит, уже не сойду. И про сталинские лагеря я знаю лучше вас. Могу рассказать подробно. Хотите? Николай Кузанский уверял, что познание дается через сравнение.

– Факты можно изложить тенденциозно! – сказал историк Халфин. – И вы должны понимать, что, обращая излишне пристальное внимание на лагеря Германии, мы отвлекаемся от противника, который жив и бодрствует! Есть опасность, что преступления Гитлера закроют от нас преступления коммунизма. В конце концов, Гитлер предложил систему массового уничтожения на

экспорт, а Сталин внедрял систему массового уничтожения для внутреннего применения. Вот и вся разница.

— Неправда, — сказал я. — не было системы «на экспорт» и «для внутреннего употребления».

— Но это очевидно!

— Нацисты убивали славян и евреев из России — хотите вы сказать? Но чаще уничтожали евреев, цыган, стариков и больных — принадлежащих к населению Третьего рейха. Немцы не считали этих людей «своими» лишь в терминологии чистоты расы. Однако по принципу территориальной и государственной принадлежности

большинство убитых были гражданами Третьего рейха. Говорить, будто Гитлер убивал «чужих», а Сталин «своих» — неверно. Они весь народ считали своим, и по праву: ведь Сталин и Гитлер — народные избранники.

Ройтман что-то понял, он был способен слышать, уже немало. Халфин же стоял запрокинув голову, скрестив руки на груди и мерил меня взглядом осуждения.

— Мне с вами спорить... — Халфин глухо засмеялся. — В трехтомнике я заранее ответил на эту реплику. Говоря в терминах Ханны Арендт...

А я вспоминал, как костлявая

голова Ханны билась об стену гостиничного номера под напором герра Хайдеггера, любимого философа НСДАП.

— У вас, — сказал я, — имеются противоречия. Допустим, Солженицын прав в отношении того, что лагерями заправляли евреи («Они не любили эту страну», — говорит Солженицын), ergo, государственного антисемитизма не было. Либо антисемитизм не связан с тоталитаризмом, либо в Советской России не было тоталитаризма. Или Солженицын соврал — возможно, евреи не виноваты в репрессиях. Впрочем, с какой стати мне защищать евреев — это должны делать

вы, Ройтман, — я кинул ему еще один волан, принимай подачу!

Я отхлебнул холодный чай с молоком, поставил кружку на подоконник. За окном негритянские подростки бежали за красным автобусом и проклинали водителя: он их не подождал.

— Демократия и тоталитаризм — не оппозиция, — сказал я. — То же самое, что противопоставить автобус и водителя. Демократия — это когда людям внушают, что все, что с ними происходит, происходит по их собственной воле. Автобус, думают они, едет потому, что пассажиры имеют билеты. Такой фантазии не было у рабов в Египте, они не

считали, что сами хозяева своей судьбы. А вы, я уверен, считаете. Мало этого, вы собираетесь свергать тирана ради победы демократии.

Никогда бы не подумал, что проживу мафусаилов век и стану объяснять русским евреям, что они не правы, сравнивая тех, кто их убивал, и тех, кто их освобождал. Не мое это, в сущности, дело.

Следовало сказать им так:

«Вы согласны с Ханной Арендт, говорите, что нет разницы между нацистом и коммунистом. Какая разница, что за лозунги используют, если результат один: лагеря. Вам возражают: идеалы у нацистов и коммунистов были разные. А вы на

это отвечает: наплевать на идеалы, если практика одна. Я бы сказал вам, что и практика была очень разная, но вы мне не поверите. Примем вашу логику. Если результат уравнивает теории, приведшие к результату, тогда действительно нет разницы между нацистом и коммунистом. Но тогда нет разницы и между солдатом вермахта и членом айнзацкоманды. Убивали они оба, просто погонны были разные. Если фашист и коммунист равны, поскольку оба убивали, то солдат вермахта и солдат СС – тоже равны. Значит, убийцы остались на свободе, их даже сделали героями долга. Не было никакого суда, никто не понес наказания. И

вы, евреи, сегодня доказываете мне, что ваши палачи, гуляющие на свободе, те, кто душил ваших матерей, лучше, нежели те, кто ваших палачей разбил. Странно, не находите?»

Этого я не сказал. А сказал так:

— Недавно вы спросили меня про Ханну Арендт и Мартина Хайдеггера. Да, мы встречались порой... верно. С Мартином мы часто курили на лестнице, пили шнапс в ночных барах... — слушатели заворуженно смотрели на меня, с недавних пор Хайдеггер сделался кумиром прогрессивного общества. — Да, я знал его. Мы курили и болтали... постараюсь передать вам

одну из его мыслей. Мартина занимала посткартезианская философия, то есть такая мысль, в которой богословие отторгнуто от собственно знания — и мудрость не заключается в познании Бога. Понимаете? Мудрость не в Боге, бытие не связано с божественной волей. Помните первую книгу Ветхого Завета? Так вот — Мартин всю жизнь писал опровержение книги Бытия. Его «Время и бытие» — это антитеза пятикнижию Моисея. Не было философа более важного для нацизма — Хайдеггер сделал для нацизма ровно то же самое, что Малевич для большевизма: написал сценарий. Суть нацизма в том, что

арийское бытие есть бытие в превосходной степени. Хайдеггер доказывал, что всякая вещь имеет собственную природу бытия, реализует собственный проект: смерть умирает, любовь любит, война воюет, бытие бытийствует – так Мартин Хайдеггер любил говорить. Внутри каждой вещи есть как бы ее собственный Бог – существование предмета есть познание внутреннего автохтонного порядка. Бытие доказывает свое превосходство внутри своего вида – нет возможности анализировать бытие, глядя на него со стороны. Нацизм не подлежит суду – он имманентен себе, имеет внутреннего бога и

собственную мораль. Воюют не люди — война сама воюет людьми. Было время, я тоже так думал... — И я вспомнил вечер в отеле, глаза Йорга и Елены. И еще вспомнил 1944 год, Альбрехтштрассе, тюрьму Плетцензее. — Думаю, в те годы я был совершенным демократом. Полагал, что человеческое бытие и бытие войны — равновелики. Я теперь говорю понятно?

— Не до конца понятно, — ответил мне Ройтман, — забыли важное. Рассказали про многих людей — только не про себя. Вы немец, нацист. Сколько за вами числится жертв? Сейчас живете в Лондоне, на покое. Сами вы кто в

этой истории?

Я взглянул на него удивленно. Неужели до сих пор не ясно? Ну, присмотритесь. Ну, прикиньте, сколько мне лет.

– Кто я есть?

– Именно. Кто вы есть?

– Я и есть история.

Глава седьмая

Умеренная порядочность

– Люди перестали ценить родство, папу с мамой знать не хотят, бабушкой брезгают, – сказала бабушка Соня, которая приходилась Петру Яковлевичу не родной бабушкой.

– Раньше хуже было, – сказала бабушка Муся. – Отец народов есть, а от папы отказывались. Помню, Фрида Холин от папы открестился. Вышел перед классом, весь красный, фотографию папы на пол кинул.

– Путина в отцы не назначают, и то слава богу, – сказала бабушка Зина. – Мне девяносто лет, а ему шестьдесят.

– Назначат еще, никуда не денутся. Старики без пенсий остались, – сказала бабушка Муся. – Скажут, не надо стариков, у нас «Газпром» есть.

Корпорация «Газпром» в семейных беседах использовалась как символ бесчестной наживы.

– В «Газпроме» законы такие издают, – сообщила бабушка Зина, – чтобы старики жили поменьше.

– Раньше рабочие династии были, люди традиции соблюдали. Папа, допустим, раввин, и сыночка раввином воспитает, – сказала бабушка Соня. – Как Моисей Рихтер своего сына Соломона воспитал – разве теперь так воспитают.

— А уж Соломон как Моисея любил, — сказала бабушка Муся. — Глаз с отца не сводил.

— Он мне говорит: тетя Эсфирь, я умру, когда папы не будет, — сказала бабушка Соня. — Такая любовь у людей была, — и бабушка Соня стала вздыхать.

Среди прочих фотографий, висевших по стенам их квартиры, попадались и фотографии Соломона Рихтера вместе с отцом, Моисеем; и Петр Яковлевич обращал внимание на преданный взгляд сына, обращенный на сутулого и слабого отца. У Моисея был огромный лоб, растрепанные седые волосы, торчавшие в стороны от головы, как

листья у пальмы, и рассеянный вид — а его сын Соломон, юноша в военной форме, глядел на рассеянного старика с обожанием.

Петр Яковлевич Щербатов собственного отца никогда не знал и, глядя на эти снимки, испытывал чувство, которое затруднялся определить. Нет, не зависть — как можно завидовать тому, чего ты не понимаешь? Это было то же чувство, которое возникает, когда слышишь иностранную речь — вдруг они говорят об очень важном? И надо бы выучить незнакомый язык, но где гарантия, что иностранцы захотят с тобой разговаривать, даже если овладеешь их языком? С таким же

чувством смотрела Россия на Европу, то притворяясь ее частью, то отталкивая Европу от себя.

Там, на этих желтых фотографиях, происходило нечто такое, что, вероятно, и есть самое значительное в жизни, — но что именно, он никогда не узнает.

Особенно волновала одна фотография: старик лежал в постели, голова была подперта высокой подушкой, руки лежали поверх одеяла — жалкие и беспомощные руки. У кровати на коленях стоял сын и смотрел в лицо отца со страстной преданностью, со сжигающей нутро болью, которая передавалась даже Петру Яковлевичу. Сын глядел

долгим истовым взглядом, старался остановить смерть, сын умолял смерть уйти, он будто сжимал существо отца своим взглядом, оттягивал отца от небытия. Смотреть на соединение этих взглядов стороннему человеку было трудно: сын тянул взгляд к отцу, как протягивают руку человеку, падающему в бездну, — он тянул взгляд из последних сил, отчаянно и моляще. И старик цеплялся за этот взгляд сына — и воздух гудел между их головами. Сын и отец держались друг за друга, вопреки всему миру, они держались друг за друга взглядами посреди небытия, и крепче этой скрепы ничего не

существовало.

Когда Щербатов смотрел на эту фотографию, он хотел плакать. Точно ему дали издалека понять, что бывает у людей такая страсть, большая и лучшая, нежели все, что он сам знал и видел в жизни, — и подобной страсти у него самого никогда не будет.

— А теперь людям не за кого жизнь отдавать, — сказала бабушка Соня. — За партию не хотят умирать, за Родину не хотят умирать, за родителей не хотят.

— А я считаю, оттого, что родства нет и сыновства нет, они к ворам и пошли в челядь, — сказала бабушка Зина.

— Нынче всякий старается дружить с буржуями, а раньше за дружбу с буржуями в тюрьму сажали.

— Раньше и с жуликами не очень-то дружили! Помнишь, как Семихатовы украли дрова из сарая, с ними во дворе здороваться перестали.

— А вот и не перестали здороваться! С ними Холины здороваться перестали, а Фрумкины к ним в гости ходили.

— Зато Рихтеры с ними не здоровались.

— Рихтерам некогда было, коммунизм строили.

Петр Яковлевич допил утренний чай и стал собираться на службу.

Женщина в пятьдесят восемь лет остается женщиной.

Идя на допрос, мадам Бенуа не положила на лицо косметики, не сделала прическу, и Петр Яковлевич видел Ирен такой, какой ее не видел никто много лет. Усталое лицо, глубокие морщины у губ, шея в складках. Она даже надела очки, что позволяла себе редко, — очки в черной квадратной оправе.

Глаза из-под стекол смотрели твердо, губы она сжимала в презрительную линию, когда говорила о мужчинах, измеряющих женский возраст годами.

— Вас интересует, почему мы стали заниматься сексом? — Единственное, что выдавало иностранное происхождение Ирен, была манера называть вещи буквально. — Базаров предложил, чтобы его водитель отвез меня домой. Я попросила Мухаммеда отнести наверх покупки. Втолкнула его в квартиру и расстегнула на нем брюки. Мне хотелось интимных отношений с мужчиной.

— С любым мужчиной?

— Это не имело принципиального значения. Мухаммед производил впечатление крепкого мужчины. Я думаю, он хотел денег, но я сочла неприличным

оплачивать деньгами свои оргазмы. Я дарила любовнику свои украшения, у меня много ювелирных изделий. В тот вечер подарила красивую камею.

— Мухаммед брал украшения регулярно?

— Полагаю, дарил их своей жене. Однажды я имела случай увидеть эту татарскую женщину. Она пришла ко мне сразу после смерти мужа.

— После убийства, вы хотите сказать. Мы вернемся к этому эпизоду. Сначала расскажите, как проходили ваши встречи.

— Я сняла номер в отеле «Балчуг Кемпински», с видом на Кремль. Прислуга делала вид, что принимает Мухаммеда за шофера, который

разыскивает хозяина. Все знали, что Мухаммед поднимается на полтора часа в номер пятьсот шесть.

— Консьерж понимал, что происходит?

— Разумеется. Иногда мы спускались в бар. Me'salliance? Да, me'salliance. Я не могла взять Мухаммеда на день рождения своих московских друзей. У нас дивная компания — литераторы, критики. Лучшие имена Москвы: Коконов, Сиповский — это просто звезды, Тамара Ефимовна Придворова — вы наверняка ее читали.

— Нет, — сказал серый человек.

— Люди не вашего круга... Мухаммеду, как и вам, было бы

скучно слушать наши беседы про Ахматову и Исая Берлина... Взять Мухаммеда к друзьям я не могла. Но и Сиповский не приглашает на наши вечера своих солдат.

— Солдат?

— Шура предпочитает вульгарных, на мой взгляд, партнеров. Он называет их «самцы» — в последнее время это курсанты авиационного училища. — Мадам Бенуа улыбнулась.

— Итак, солдаты состоят в связи с вашим другом, но эти солдаты не участвуют в ваших вечерах.

— Это совсем юные мальчики. Но не для интеллектуального общения. Видите ли, сами мы

слишком умные и устали от своего ума... Я не могла брать Мухаммеда к друзьям – но заниматься сексом это не мешало.

– Почему выбрали дорогой отель?

– В дорогом отеле понимают причуды клиента. Помимо прочего, в этом отеле у меня встречи по работе.

– Какого рода?

– Выполняю поручения французского правительства: неформальные контакты с людьми бизнеса.

– Что вы называете неформальными контактами?

– Если подумали, что это секс, то ошиблись. В личной жизни

партнером был Мухаммед. По работе встречаю капитанов русской индустрии.

Мадам Бенуа произносила слова «секс» и «оргазм» отчетливо и громко — не потому, что хотела шокировать собеседника, но потому, что эти слова не представлялись ей неприличными.

Существует физиология, стесняться этого факта глупо. Госпожа Бенуа сидела на стуле неподвижно и прямо, сложив руки на коленях. Кожа рук была тронута пигментными пятнами.

— Встречи с промышленниками проходили в том же отеле, значит, бизнесмены могли видеть вас вместе с Мухаммедом. Это не вредило

бизнесу?

– Me'salliance привычен. Связь России с Западом – пример me'salliance, всех устраивает.

– Мухаммед не ревновал вас к богатым знакомым или интеллектуальным друзьям?

– Мог устроить сцену ревности. Он оскорблял моих друзей, а я смеялась над ним. Называла его «дикий татарин». Это приводило к более страстной любовной игре. И – как результат – к более дорогим подаркам.

– Существовала закономерность в определении подарка?

– Разумеется. Когда я не получала должного удовольствия,

подарки были символическими. Например, дарила значок. Или еженедельник.

— Его не оскорбляли подарки?

— Он не уходил, пока не получал хоть что-то. Я бы сравнила его психологию с психологией развивающихся стран. И у аборигенов остается чувство, что мы, цивилизованные люди, даем им мало. Мухаммед буквально считал мои оргазмы, был готов предъявить счет за работу.

— Расскажите, как вас посетила жена убитого.

— В дверь постучали условленным стуком — Мухаммед стучал всегда четыре раза. То, что это

его жена, поняла сразу. В ушах у нее были изумрудные серьги моей бабушки. Вы знаете историю нашей семьи?

— Нет.

— Полагала, изучили дело. Моя бабушка погибла подо Ржевом — была фронтовым корреспондентом. Серьги — память о ней. Теперь серьги в ушах у татарки.

— Что сказала жена Мухаммеда?

— Заявила, что презирает меня. Я спросила за что. За то, что ее муж делает мне приятно? Она спрашивала, где Мухаммед. Кричала, что Мухаммед погибнет по моей вине.

— Она знала номер вашей

комнаты?

— Не сомневаюсь, что Мухаммед рассказывал ей все. Он был татарин на заработках, — Ирен сухо рассмеялась. — Здесь курят?

Ирен Бенуа закурила «Голуаз», предварительно постучав сигаретой о столешницу, чтобы табак стал плотнее.

— Зачем вопросы? Если слухи не врут, арестовали Панчикова.

— Панчиков задержан. Обвинение пока не предъявлено.

— Хорошо. Я знаю, кто убил. Сначала подумала, что убил Халфин.

— Александр Янович Халфин? Пожилой человек? Зачем?

— Человек яростный и

злопамятный. Его планы расстроились — из-за Мухаммеда. Видите ли, он хотел брака с француженкой. Как многие русские, хотел жить на счет жены. Мы провели две ночи в одной постели. Фиаско. — Ирен глубоко затянулась, так курят французские актрисы в любовных кинолентах.

— Он знал о вас и Мухаммеде?

— Да, видел нас вместе. Но не убивал; я изменила мнение. Халфин не способен рисковать.

— А кто убил?

Мадам Бенуа не изменила интонации, когда назвала убийцу:

— Убил Кессонов, директор «Росвооружения».

– Он знал Мухаммеда?

– Не важно. Кессонов – человек активной жизненной позиции. Он поставил на фронду, контракты привязаны к будущему правительству. Однако протест сошел на нет. Кессонов не может оставить прибыль на бумаге. Увидел, что сложилась подходящая ситуация: в доме политики, люди искусства, резонанс обеспечен. Решил, что даст старт событиям: станут обвинять оппозицию, западные либералы поддержат обвиняемых, контракты на вооружение будут исполнены.

– Вы говорите обдуманно вещи?

– За последние дни продажи

оружия увеличились на двадцать процентов.

– Кессонов из тех бизнесменов, с кем вы вели неформальные переговоры от имени французского правительства?

– Правильно.

– Почему выдаете партнера по бизнесу?

– Мухаммед был мне дорог. Я его любила.

В соседней комнате Геннадий Чухонцев, следовательно недобрый, допрашивал хозяина галереи — господина Базарова.

Капитан Чухонцев испытывал неприязнь к людям, имеющим средства к существованию. Капитан был раздражен сверх обычного, поскольку его собеседник не скрывал, что богат, а богатство нажил мошенничествами. Базаров сообщил о преступных капиталах с улыбкой:

— Вы знаете, что по делу о казино меня переквалифицировали в свидетеля?

— Сдали подельников, — сказал

Чухонцев с ненавистью.

— Решил сотрудничать со следствием, — поправил Базаров. — Не одобряете?

— Мне наплевать, — сказал Чухонцев. — Бабло, значит, с казино срубили, прокурорам отслюнили гонорар, а корешей сдали.

— Не понимаю вашего настроения, — сказал Базаров мягко. — Вижу, вы с сигаретой, значит, здесь курят. Я курю сигары, ножниц у вас нет? — Базаров непринужденно порылся в стакане с карандашами на столе следователя, отыскал ножницы, обрезал кончик «гаваны». — Неправедно нажитое я сдал государству, помог разоблачить

коррупцию в органах охраны порядка.

– Сигара нажита праведно?

– Торгую современным искусством. Законный процент с продаж. – Базаров вынул из жилетного кармана серебряную зажигалку, раскурил сигару, пыхнул сладким дымом.

– Был в вашей галерее. И что, покупают эти штуки?

– Эти штуки стоят миллионы.

– Видел, стоит там... – Чухонцев руками изобразил то, что не поддавалось словесному выражению.

– Имеете в виду скульптуру – бронзовый фаллос?

– Есть такие дураки, что купят?

— Вещь не для простого человека. — Базаров выпустил колечко дыма, Чухонцев злобно поглядел на синее колечко. — Актуальное искусство не для рабочих и крестьян. Вещь продана. Имени клиента разглашать не стану.

— Здесь следственный отдел! — Чухонцев не любил, когда на допросах выказывали характер. — Если спрашиваю — отвечайте.

— Коммерческая тайна. Хотите знать про убийство моего шофера или про современное искусство?

— Вот этот хрен — искусство?! — изумился Чухонцев.

— Для вас — половой член, для знатока — арт-объект. Символизирует

полет фантазии.

— Какая тут фантазия, — сказал Чухонцев, — если хрен как у коня.

— Вопросы по делу будут? — поинтересовался Базаров и сменил положение ног — прежде сидел, положив левую ногу на правую, теперь поменял ноги местами.

В кармане Базарова замурлыкал телефон. Базаров ответил на вызов и попросил далекого человека заморозить розовое шампанское. Пока Базаров говорил про розовый брют, злой глаз следователя обшарил фигуру бизнесмена, изучил костюм и дорогие штиблеты. То, что ботинки у бизнесмена дорогие, даже Чухонцев понял — столько уверенной грации

было в ногах Базарова.

— Видите: ни минуты покоя. — Базаров вернул телефон в карман. — Слушаю вас. Кого подозреваете? Однажды я принял решение сотрудничать со следственными органами, не стану скрывать мне известное.

— Записываю. — Протоколиста не было, Чухонцев стал записывать сам.

— Мухаммед состоял в связи с Ирен Бенуа, это известно всем. Надо сказать, Мухаммед выполнял в галерее особые поручения. На фирмах принято держать секретаршу, которая обслуживает налоговых инспекторов. Это реальность бизнеса. И наш шофер выполнял эту

работу.

— Как понять? — Чухонцев отложил шариковую ручку. — Вы шофера держали, чтобы он...

— В обязанности Мухаммеда входило развлекать клиентов. Клиенты охотнее посещают галерею, если их любят. Мухаммед умел найти подход. Ирен была не единственной. Ревновала. Поздняя страсть.

— Но Ирен Бенуа не было в момент убийства.

— Вот это — ваша работа. Могла спрятаться среди инсталляций.

— Среди чего?

— Среди арт-объектов. А теперь, извините, откланяюсь. Где тут закорючку поставить?

Чухонцев дал Базарову подписать протокол, и галерист вышел легкой походкой, дымя сигарой. В дверях повернулся:

— А Панчикова зачем арестовали? — и, не дождавшись ответа, пошел прочь.

За сутки, проведенные в изоляторе, Семен Семенович похудел и очень замерз. Пиджак, штаны и рубашку у него отобрали, выдали взамен чужую одежду – а зачем так сделали, непонятно. Одежда была не новая, до Панчикова ее использовали сотни людей, причем людей нечистоплотных, возможно больных. Об этом Семен Семенович подумал первым же делом, когда увидел желтые пятна на штанах и рубашке. От чего пятна? Еда, рвота, застиранная кровь? Штаны оказались короткими и широкими в талии, а рубашку выдали летнюю – с

обезьянами, солнцем и пальмами. Семена Семеновича привели в комнату, где по трем сторонам стояли нары, а на четвертой стене светилося оранжевое от фонарей небо. Ночь прошла плохо, Семен не спал, натягивал на плечи тощее байковое одеяло. В детстве мать укрывала его похожим одеялом — в России такие байковые одеяла называют солдатскими. Панчиков глядел бессонными глазами в окно, на оранжевое небо, слушал брань во дворе. Люди на улице — наверное, то были полицейские — говорили грязные ругательные слова, и Панчикову пришло в голову, что те, кто защищает общественный

порядок, не имеют права так грубо ругаться. Ночь была плохой, а день еще хуже. Днем лечь на койку и закрыться одеялом уже не разрешили. Велели заправить одеяло, если он не хочет попасть в карцер.

Семен Семенович сидел на жестком стуле, и ледяной ветер из щелястой рамы дул ему по ногам, забирался за ворот пестрой рубахи, студил голову. Так шли минуты и часы. Отодвинуть стул от окна Семен Семенович не мог — ему сказали: «Не положено». Щели между оконной рамой и стеклом были законопачены хлебом и ветошью, женщины (когда в камере находились женщины) заталкивали туда прокладки и вату с

желтыми и розовыми пятнами — следами месячных; щели были забиты плотно — но все равно из щелей дуло. Стены были сырые, и бурый кафельный пол отчего-то был влажный. Батареи в комнате не было.

Соседей было четверо. Шумный и наглый человек по фамилии Ракитов; агрессивный подросток Хрипяков с красными белками глаз — как объяснили Семену Семеновичу, наркоман; юноша с гордым выражением лица — он сказал, что приходится сыном известной писательнице Придворовой. Возможно, это была ложь. Четвертый сосед был самый примечательный. Звали его Григорий Дешков, он был

немного словен, двигался медленно и смотрел пристально. Семен понял, что Дешков очень опасен.

Оставалось надеяться, что друзья не забыли Семена Семеновича. Лидер демократической партии может, например, позвонить в аппарат президента. Или не может? Дважды приносили теплую желтую воду, сказали, что это чай. Семен Семенович поставил жестяную кружку на железную тумбочку, крашенную серой краской.

– Лучше сразу выпей, – сказал Ракитов. – А то заберут кружку, останешься без чая.

– Ты мне чай отдай, если тебе лишний, – сказал подросток с

красными глазами. И ухватил кружку.

— Отдайте, пожалуйста кружку, — сказал Семен Семенович.

— А ты у меня отними, — сказал подросток с красными глазами.

— Поставь на место, — сказал Дешков. Он сидел далеко и вставать не стал; Хрипяков послушался, вернул кружку.

— Видишь, — сказал Ракитов, — с такими капитализм не построишь. Все воруют.

Ракитов был разговорчивым, когда ему не отвечали, говорил сам с собой.

— Вот как капитализм строить, если все воруют? Эх, Расея! Тырят все. Всем все надо! Ишь, богатства

захотели! Зажрались! Разве так капитализм строят!

Никто не ответил на эту филиппику, но Ракитов развил мысль:

– Вот наркоше твой чай подай... а допустим, олигарху – нефть народную... Возьмет нефть, а потом говорит: мало! Еще, говорит, хочу! Сколько ни хапнут, все мало! А президент один на всех... не уследит. Нет, так не пойдет! Капитализм, это чтобы по справедливости было! Всем поровну.

– Неверно, – сказал сын писательницы, – капитализм – это соревнование.

– Врут много всякого. Только

нипочем нам не построить капитализм, если все хапать будут. Надо делиться по справедливости.

— При капитализме и надо хапать, — сказал умный сын писательницы, — это рынок.

— Ошибаешься, юноша! Это коммунисты все хапали. Сельское хозяйство развалили. Я в газете читал. Ройтман пишет, а Ройтман зря не скажет! Не-е-ет! Ройтман дело знает! При коммунизме воровали. А капитализм — это когда всем поровну, по справедливости. Я прав, Дешков? — Ракитов обратился к тихому Дешкову, который сидел неподвижно, положив руки на колени.

– Справедливости нет, – сказал подросток Хрипяков. – Верить никому нельзя.

– Дешков молчит, беседовать не унижается. А ты, Хрипяков, кроме косяка и знать ничего не можешь. Ты даже украсть не умеешь. Эх, деревня! Про капитализм у американца спросим. Скажи, американец, – Ракитов фамильярно положил руку Панчикову на колено, развязный был человек Ракитов, – скажи нам, капитализм – это когда по справедливости?

– Да, – сказал Панчиков.

– Видишь, наркоша, капитализм – это когда всем поровну. Ты, американец, скажи спасибо, что к

нам попал. Здесь хорошее отделение, — и Ракитов добавил фразу, смутившую покой Семена Семеновича, — здесь не обижают.

— Разве не обижают? — Семен хотел, чтобы этот вопрос прозвучал саркастически. Однако вор Ракитов (в том, что он вор, Семен не сомневался) был натурой примитивной: для него факт ношения чужой одежды обидой не являлся.

— Не бьют здесь, — пояснил Ракитов.

— За что меня бить? — Семен не понял сказанного. Он знал из рассказов журналистов, что полицейские могут избить. Если

оскорбить охранника, то могут бросить в карцер. Но Семен никого не оскорблял. И одеяло он заправил аккуратно. Ему сказали, чтобы одеяло было заправлено, и он сделал как велели. Стало быть, наказание не грозит. Он отметил про себя, что стал думать как несвободный человек, приспособляясь к обстоятельствам.

– Бить меня не за что, – сказал Семен Семенович.

– А бьют просто так.

– Без причины? – Семенович изумился этому «просто так».

– Надевают на голову ведро и по ведру доской бьют. Или бутылку в очко засунут.

— Бутылку в очко? — Панчиков не понял опять. — Какую бутылку?

— Какая будет, такую и суют. — Ракитов захохотал. Он смеялся долго, возвращался к вопросу, который представлялся ему комичным. — Какую бутылку! Любую! — Смех перешел в кашель.

Семен старался не глядеть на Ракитова. Он закрыл лицо руками, вдавил ладони в глазницы, чтобы не видеть ничего, в особенности — Ракитова, его наглую ухмылку.

— Тебя за что взяли? — спросил его Ракитов.

— Ни за что.

— Нехорошо своим врать. Подтверди, Придворов, что мы все

знаем.

– Тут секретов нет, – сказал сын писательницы. – Тюрьма секреты не хранит.

– Разве здесь тюрьма?

Семен Семенович не отнимал рук от лица, спросил из-под рук.

– Пока не тюрьма. – сказал Ракитов, – Через пару дней отвезут в СИЗО, будут до суда держать. Ну, и соответственно.

– Что – соответственно?

– Слушай, – Ракитов понизил голос, – ты татарина один душил?

– Я не душил!

– Уже все знают. Гав сразу рассказывает. Гав – свой, даром что мент. Только вряд ли ты татарина сам

завалил. У них версия, я так понял, преступный сговор. Ты же мозгляк. Одному тебе татарина не сделать.

– Я не убивал!

– Татарина вообще трудно убить. Татары живучие. Вот я тебе расскажу, как с моим другом было, – и Ракитов начал длинную историю, которую Семен Семенович не хотел слышать, но не слушать не мог.

Это была история про двух рабочих на стройке высотного здания. Один из них напал на другого с ножом, ударил, но убить не сумел. И раненый погнался за обидчиком с лопатой, и так они взбежали по лестнице на самый последний этаж.

– Он оборачивается, а таджик

сзади, не отстает. Серега его опять ножом! А таджик не падает! Ты пойми, им без разницы, режут их или нет! У них народность такая. Живучие, как евреи. Серега его в живот пыряет: раз! раз! А таджик все живет! И на Серегу! И так на самый верх забежали. Серега нож бросил! Все, говорит, не могу больше. А таджик упал и помер.

— Так это таджик, а не татарин! — не выдержал Семен Семенович.

— Ну, я уж не помню, если честно. Вроде говорили, что татарин. А потом сказали: таджик. Нерусский, короче.

Некоторое время Ракитов молчал, припоминая подробности;

затем вернулся к проблемам Семена Семеновича:

– Следаки будут мозги лечить: сдадите всех, мы вас в категорию свидетеля переведем! Брехня. Скажут: добровольное признание учитывается. Не верь: за групповой сговор больше дадут. Так ты, может, пятнашку схлопочешь. А если адвокат занесет кому надо – больше десяти не дадут. Через шесть лет на УДО – и лети!

– Какое УДО?

– Условно-досрочное. Адвокат нужен. Чтобы знал, в какую дверь сколько заносить. Есть адвокат?

– Да. – Какие страшные слова: адвокат, УДО, групповой сговор.

– Скажи: довел татарин. Довел тебя до состояния аффекта. Так и говори: ненавижу татарву. Понял?

– Понял, – сказал Семен Семенович.

– Добра тебе хочу. Учю понемножку.

Панчиков глаз не открывал.

– Или на двадцать пять сядешь. Выйдешь инвалидом – тебе надо?

– Не надо, – сказал Семен Семенович.

– Наконец ты меня понял. От чурок все зло, – сказал Ранкей.

– Генерал Ермолов, – сказал издалека Дешков, – давно уже про чурок сказал. Перевоспитанию не поддаются. Только стрелять.

— Ну, не всех же, — примирительно сказал Панчиков. Ссориться с Дешковым не хотелось, но принять точку зрения шовиниста он не мог. И когда вступился за кавказские народы, он неожиданно понял всю нелепость своего заявления. Его могут посадить в тюрьму, его могут избить, изувечить — и проблемы Кавказа показались Панчикову ничтожными.

— Это генерал Ермолов сказал. Не я, — уточнил Дешков сурово.

— Понял. — Семен спорить не стал.

— Поумнее нас был. И рот больше не открывай, — и Дешков опять замолчал.

– Дешков в Чечне воевал, – пояснил Ракитов. – И Афган прошел, от и до. Чурок не любит. А кто любит? С чурками разве капитализм построишь? А ты своего чурку за что грохнул?

Семен Семенович застонал – стон вырвался из его губ произвольно, от отчаяния.

– Ты отвечай, когда друзья спрашивают. А то обижусь. Ты же не хочешь, чтобы я обиделся. За что убил?

– Ни за что, – сказал Семен, чтобы сосед отвязался, – просто так.

– Понимаю. – Ракитов покашлял. – Так часто бывает.

Семен Семенович застонал

снова. Стонал и раскачивался на табурете.

— Домой, наверное, хочешь? Дома небось телевизор плазменный? Обидно, такая жизнь... У меня к тебе деловой разговор. Хочешь, Ранкей на себя татарина возьмет? Есть такой пацан, сам татарин. Придет к ментам, явка с повинной. Скажет: я земляка завалил. У татар с этим просто. Познакомились по пиву. Впал в состояние аффекта. Нормально? Ты нам будешь должен лимон.

— Лимон?

— Только не рублей. Зеленых дашь, реальных денег.

— За что?

– Ты глухой?

Семен Семенович отвечал невпопад, думал про побои. Ведро на голову, и по ведру – доской. Он сразу поверил, что так с ним и сделают. На улицах творилось ужасное: демонстрантов били дубинками, пинали ногами. Появились какие-то неопознанные отряды молодых жестоких людей, считалось, что это националисты. То ли Конгресс русских общин, то ли еще какая организация, говорили разное. Националисты унижали защитников демократии, придумали оскорбительный способ: мазали демонстрантам волосы клеем. Одной женщине волосы намазали клеем, а

когда женщина стала вырываться, националист ударил ее кулаком в лицо, сломал нос. Если даже на улице так, что же делают в камере?

Семен вдруг представил себе, что не выйдет из этой камеры никогда. Мысль вошла в его сознание буднично, словно информация о погоде. Когда читаешь про сталинизм, воображаешь мрачные сцены в казематах, а в реальности драмы нет — просто жизнь закончилась, и все тут. Вот и не бьет никто Семена, и даже пить ему дают, и кормят; некоторые привыкают, надо только отдаться тягучим часам, пропустить через себя это бессмысленное время. Просто надо

понять, что жизнь кончилась.

Однако и вторая мысль – поверх первой – посетила его. Однажды он уже был приговорен к вечному заключению; как всякий русский, самым фактом своего рождения был обречен на бессрочную каторгу – жизнь на Родине. И сумел вырваться, уехал, стал свободным человеком. Сумеет вырваться и сейчас. Любой ценой.

– Какие гарантии? – спросил Семен Семенович у Ракитова.

– Соглашайся сперва. Расписку дай. Только не крысятничай.

– Денег сколько? – Разговор о деньгах взбудрил Панчикова.

– Чтоб надолго хватило.

Бесплатно сидеть никто не станет.

— Сколько? — Семен постепенно приходил в себя.

— Говорю: лимон.

— Нереально, — жестко сказал Семен Семенович. Так бизнесмены в книге Айн Рэнд разговаривают.

— А ты как хотел? — Ракитов заговорил быстро, возбужденно.

— Триста тысяч, — сказал Панчиков.

— Думай, что говоришь! За такие деньги ты никого не найдешь!

— Больше не дам. — Составлять контракты и прописывать обязательства сторон — это Панчиков умел хорошо. Прижать клиента, поставить перед фактом.

— Адвокат Ранкею нужен? Считай, уже пятьдесят. А следователю занести? Прокурору, чтобы срок скостили. А судье? Сколько нести — сто? А полтора ста не хочешь? А за УДО? А самому Ранкею ты на пенсию оставишь? А мне — комиссию?

— Тебе? — Вот классическая ситуация, описанная во всех учебниках бизнеса: посредник хочет равную долю. Надо пресекать сразу. — Тебе — пятерку.

— Пяте-о-орку?

— Хорошие деньги.

— Сиди сам за свою пятерку! Срок мотай, скупердьяй! Всякий вопрос цену имеет!

– Я сказал: триста. – Разговоры о деньгах помогли овладеть собой. Как в любимом романе Айн Рэнд, надо было стиснуть зубы и считать деньги до последнего вздоха.

– Ты что, – изумился Ракитов, – на жизни экономишь?!

– Триста тысяч долларов – или ничего! – Вот так надо с ними разговаривать, они такой язык понимают.

– Восемьсот! Скидку даем.

– Триста.

– Семьсот!

– Триста. – И поразительно: Семен, который чувствовал себя жалким рядом с наглым и самоуверенным Ракитовым, обрел

мощь, а Ракитов, напротив, съежился:

— Хоть шестьсот дай, а то в убыток работать будем.

— Триста.

— Сдохни на зоне! — Ракитов разозлился. — Здесь мужики за триста тонн со стула не встанут.

— Я сказал последнее слово. — Семен Семенович был уверен, что линию поведения выбрал правильную.

В этот момент дверь открылась, Панчикова вызвали к следователю.

Эдуард Викторович Кессонов, менеджер высшего эшелона концерна «Росвооружение», сам на допрос приехать не смог, но, будучи человеком обязательным, в назначенный час отзвонил. Точнее, позвонили из приемной Кессонова; женский голос предложил приехать в головной

офис компании к пяти часам: «У Эдуарда Викторовича как раз окошко высвобождается для посетителей».

Щербатов и Чухонцев подъехали к офисному зданию на Берсеневской набережной, предъявили документы охране.

— Как будто это мы на допрос идем, — цедил сквозь зубы Чухонцев, расписываясь в графе учета посетителей. Ему на грудь прикрепили пластиковую бирку с надписью «Чухонцев. Г. А., младший следователь». — Как в концлагере порядки. Еще бы номер на руке написали... Сюда взвод автоматчиков пригнать, оцепить здание, положить всех этих деятелей лицом вниз...

Лифт поднял следователей на девятый этаж, их встретила воспитанная девушка, отрекомендовалась помощницей Эдуарда Викторовича.

— Это в чем же она ему, интересно, помогает, — цедил

Чухонцев, следуя за девушкой по коридору. — Всю помощь наружу выставила.

— Подождите, пожалуйста, здесь, — помощница ввела их в просторную комнату с креслами и журнальными столиками. — Вам принести кофе или чай?

— Мы, девушка, следователи, — сказал Геннадий Чухонцев. — Вот Петр Яковлевич Щербатов, старший следователь, майор. Какие тут чай, девушка. Работать надо.

— У Эдуарда Викторовича переговоры. Как только освободится, вас пригласят.

В приемной Кессонова ожидали еще несколько человек.

Одного из них следователи знали по фотографиям: то был один из лидеров оппозиции – демократ Тушинский. Мучнистое лицо свое он закрыл от соглядатаев журналом «GQ», но Чухонцев успел его опознать.

Рядом расположился человек, который пристально к ним присматривался, а потом сказал:

– Что, и здесь будете просить? Мало вам «Лукойла»?

– Простите, вы о чем?

– Извините, обознался. Лицо знакомое. Думал, вы из «Среднерусской возвышенности».

– Мы действительно со Среднерусской возвышенности, –

сказал Щербатов, а Чухонцев добавил неприязненно:

— А ты откуда? Из Гватемалы, что ли?

— Я думал, вы концептуалисты из группы «Среднерусская возвышенность», — пояснил посетитель.

Художник-патриот Стас Шаркунов в двух словах описал следователям свой конфликт со «Среднерусской возвышенностью». По словам Шаркунова, пронырливые концептуалисты умудрялись перебегать ему дорогу у любого спонсора. Куда бы Шаркунов ни обратился за поддержкой своего искусства, выяснялось, что

«среднерусские» уже были до него и забрали весь бюджет на культуру. Шаркунов был уверен, что «среднерусские» — ставленники кремлевской администрации.

— Название выбрали — «Среднерусская возвышенность»! Там русских нет, иудеи одни. Шайзенштейн, Пеперштейн, Перельмутер, Рабинович и Бастрыкин.

— Бастрыкин все-таки имеется, — сказал Чухонцев. — А вообще сочувствую.

— Настоящая фамилия — Бастрыкер. У него дед был энкавэдэшник. Русских людей убивал.

– Много денег надо? – спросил Чухонцев из интереса.

– Миллион, – сказал Шаркунов.

Когда выяснилось, что речь идет о миллионе долларов, отнюдь не рублей, и эта сумма даже не до конца покрывает расходы по производству задуманного, Чухонцев ахнул.

– Миллион – это минимум, – сказал Шаркунов. – Экономить на Родине на стану. Знаешь, сколько компрадоры гребут? На один поганый «Русский альянс» забашляли столько, что городу бы на год хватило! По деревням старухи мрут и сироты голодают. «Русский альянс»! – Художник тоскливо махнул рукой. – «Среднерусская

возвышенность»!

Замысел Шаркунова состоял в том, чтобы изготовить из нержавеющей стали гигантского двуглавого орла и установить монумент на Уральском хребте, собирая под крылья птицы азиатские и европейские просторы Отечества. Художник-патриот остро чувствовал, что страна гибнет и распадается, и возродить геополитическое могущество представлялось ему насущным. Шаркунов описал сияние нержавеющей стали орла, которое должно быть заметно даже из Перми. Люди в глухих уральских поселках будут креститься на это орлиное сияние, как горожане крестятся на

купола Христа Спасителя.

— Солидные размеры нужны, — сказал Чухонцев.

— Триста метров размах крыльев у птицы, — сказал Шаркунов дерзко и посмотрел на следователя с вызовом, — меньше не получается. Надо, чтоб издалека смотрелось.

И Шаркунов встал, раскинул руки в стороны, демонстрируя гигантского орла, распростершего крылья над Уральским хребтом.

— Будет сидеть на горе и Россию оберегать. А то поют в гимне: «Российский орел продолжает полет» — а где орлиное гнездовье, не знают. А гнездовье нашего орла на Урале.

— Хорошая затея, — сказал Чухонцев.

— Родину надо спасти, — сказал Шаркунов.

— Не вопрос, — сказал Чухонцев, — дело хорошее.

— Только не дадут денег, — сказал Шаркунов тоскливо, — для евреев деньги есть, а на величие Родины — шиш.

— Дам совет, — сказал Чухонцев. — Ты конкурентов закажи. Их всех за трешку грохнут — ну, в крайнем случае за пять штук баксов. Сколько их там, «среднерусских»? Пятеро в группе? Считай, в пятерку уложишься. Мы такие всяки даже и не расследуем — бессмысленно.

– Да вы что?! – Шаркунов отшатнулся.

– Будь мужчиной, – заметил Чухонцев. – Хочешь Родину спасти? Миллион желаешь иметь? Тогда не жидись: пятерку на заказ истратить надо.

– Как – на заказ? – в глазах Шаркунова появился странный блеск. – Киллера нанять?

– Кто для такой чепухи киллера нанимает? Слесарю из жэка забашляй, он масонов в парадном встретит. – Чухонцев насмотрелся в жизни всякого, он говорил легко и уверенно. – Тебе что, Рейхстаг брать? Напильник в печень – и порядок.

Распахнулась дверь кабинета

Кессонова, и следователи прошли внутрь, оставив Шаркунова в глубокой задумчивости.

Эдуард Викторович Кессонов был мужчиной еще молодым, хотя седина деликатно тронула его виски. Возраст вошел в жизнь бизнесмена на цыпочках, как секретарша с чашечкой кофе, не потревожив его спортивной осанки. Кессонов приблизился к работникам следственных органов пружинистым шагом, ухватисто пожал руки.

— Рабочий день кончается, можно и галстук снять, — сказал Кессонов. — Извините, что заставил ждать, но... — и руками развел, как Шаркунов, когда изображал орла.

Только патриот тщился передать необъятность Родины, а бизнесмен — размеры барышей. — Знаете, какой в этом году экспорт? Всем понадобились штурмовые вертолеты.

Кессонов ослабил узел галстука, присел у журнального столика, пригласил посетителей сесть рядом.

— Ну как помочь? Назвать убийцу? Сам я не убивал. Мне ни к чему. — Кессонов даже подмигнул Щербатову, поясняя, что бывали времена, когда такая нужда и появлялась, но те времена миновали. — Видите ли, я человек прагматичный. Скажу прямо — если бы указанный татарин мешал в бизнесе, я бы нашел способ от него

избавиться. Но поскольку он помехой быть не мог, я интереса в его смерти не имел.

— А кто имел? — спросил Петр Яковлевич.

— Это довольно просто, — ответил Кессонов. — Убийство является рекламной акцией. Согласны?

— Неужели? — спросил Щербатов.

— Подумайте. Должник не отдает денег — его убивают. На первый взгляд, нелогично: мертвый денег не отдаст. Но убийство — реклама правил бизнеса. Следующий будет аккуратнее. Или, допустим, локальная война. Зачем Англии

воевать с Аргентиной за Фолкленды?
Зачем Гитлеру Судетская область?
Реклама мощного государства.

– И что рекламирует убийство
Мухаммеда?

– Рынок искусства в плачевном
состоянии – требуется рынок
расшевелить. Убийство татарина –
позитивный сигнал инвесторам.
Убивают сотрудника галереи –
значит, на рынке есть деньги.
Добавлю, что преступление в
торговом бизнесе вещь необходимая:
убит шофер, одновременно пропал
холст Кандинского.

– Что-то ценное пропало?

– Я не следователь. Я торговец
оружием. Ваше дело искать.

– Ищем, Эдуард Викторович. Вы из галереи во двор спускались?

– Спустился, чтобы положить одну картину на заднее сиденье своего автомобиля. Собственно, мы спустились вместе с Базаровым, он помогал. Я вернулся, а Базаров задержался.

– Приобретали картины в галерее Базарова?

– Базаров ищет для меня редкие произведения. Я плачу комиссионные.

– Какие произведения?

– Картины Рериха, – любезно сказал Кессонов, указывая на соседнюю комнату, увешенную изображениями Гималайских гор. –

Я – буддист. Вы горы любите? Я зимой в Альпы – на лыжи, весной в Гималаи – на молитву... Спасибо за визит. Если чем-то могу... Там много народу ждет? – деловито спросил Эдуард Викторович.

– Тушинский ждет, – сказал Чухонцев. – Вы, похоже демократическую партию поддерживаете. И еще художник там, Шаркунов фамилия. Спонсора ищет.

– Не могу всем помогать, – с сердцем сказал Кессонов. – Уже «Среднерусской возвышенности» триста тысяч дал на какую-то дрянь. Бастрыкин у них лидером. Шимпанзе фотографировать будут в фас и в профиль, называется «Досье русской

эволюции». Хватит! Уйду через боковую дверь, — и напоследок Кессонов высказал пожелание следователям: — Не придавайте истории с татаринком значения. Знаете, что такое профессиональные риски? В моем бизнесе — ох, даже говорить не хочется... — Кессонов зажмурился, вообразив тысячи торговцев оружием, отдавших жизнь во время сделок с царьками и партизанами. — Общество раскололось. Хотите усугубить раскол?

Проводив следователей, Эдуард Викторович закрылся в соседней с кабинетом комнате, сменил строгий костюм на твидовый пиджак и

фланелевые брюки, позвонил охране, вышел боковой дверью и уехал в загородный гольф-клуб. Варвара Гулыгина уже ждала его на поле.

Диагноз, поставленный Кессоновым, был очевиден многим. Конфликт художника-патриота с художником-концептуалистом был отражением масштабной драмы. Страна раскололась, что ж тут отрицать, трещина прошла не только через сердце композитора Аладьева, но и поперек финансовых институтов и пенсионных фондов. Журнал «Русский альянс» был учрежден затем, чтобы примирить враждебные лагеря и подготовить общество к неизбежным переменам.

— Россию надо успокоить, как невесту перед брачной ночью, —

объяснял коллегам Сиповский. — Возможно, России даже понравится.

Представление о невестах и брачных ночах Сиповский имел смутное. Он полагал, что чем более будет у России брачных ночей, тем жизнь страны будет богаче. В недолгих связях с курсантами авиационного училища Сиповский руководствовался принципом разнообразия, каковое есть залог удовольствия — и разумно считал, что в политике дело обстоит так же: плюрализм!

Того же мнения придерживались и многочисленные женихи России — никто не претендовал на длительные отношения, а на страстные

претендовали все. Растерянной даме объясняли, что долгий брак даже и ни к чему: в подлунном мире это вышло из моды. Долго – это очень скучно, и потом – надо дать возможность всем желающим попользоваться.

Редколлегия стала своего рода коалиционным правительством, сочетающим мнения. В редколлегию вошли: Сиповский и Аладьев – либералы, национал-патриот Феликс Гачев, новеллист и просветитель Тамара Ефимовна Придворова, историк Халфин – позитивист и западник, и общественный деятель Митя Бимбом, который аккумулировал противоречия.

Первое заседание редколлегии выработало основное направление издания.

Сиповский предложил устроить brainstorm, дабы обозначить концепцию издания.

Взгляды обратились на Халфина. Историк Халфин безусловно имел концепцию («Россия есть испорченная Европа»), и концепцию изложить мог. Впрочем, перед началом brainstorm публицист Бимбом попросил историка воздержаться от обобщений:

– Время такое, что хотелось бы мягко. Наш стиль – короткая реплика, точная ремарка.

Талант произносить уместные реплики ценился обществом выше, нежели научные труды. В течение последнего века российская интеллигенция читать и писать разучилась, и среди творческой интеллигенции было постулировано: произведения отныне — это не главное. Главное — адекватный образ мысли, а со взаимной толерантностью у творческой публики все обстояло прекрасно. В искусстве, как и в политике, важно не обидеть соседа. Все, что превышает размерами общеевропейский стандарт (мысль, огурец, картина, событие), должно быть удалено из социума.

Исключения делали для размеров жилплощади богачей, но огромные особняки стояли за чертой города.

Книги делались короче, а потом вовсе исчезли. Книги заменили яркими высказываниями колумнистов — при каждой газете была горстка свободолюбивых людей со взглядами. Общество решило, что разумнее иметь тысячу колумнистов (каждый — адекватная личность) и бомбардировать население равномерным дождем реплик, нежели писать многотомные труды, которые никто никогда не прочтет. Литераторы участвовали в ток-шоу, художники устраивали перформансы, философы писали в модные

журналы, историки вели кулинарные передачи — общая задача: не дать почувствовать соседу, что ты знаешь на гран больше него. Каждый говорил соседу: я ровно такой же поэт, какой ты художник, а он философ — так будем же взаимно вежливы. Следовало обмениваться взаимными гарантиями неподлинности, и новые интеллектуалы не замедлили это сделать. Производить стало не вполне приличным — можно разрушить весь баланс культурного строительства. Сочинитель Сиповский ничего не сочинял не по причине бездарности, но из вежливости; очаровательный Митя

Бимбом ничего не писал вообще, но высказывался адекватно, его называли публицистом; писательница Придворова была признанным мастером ремарки — разве миру нужно большее?

Собственно говоря, кандидатура Халфина рассматривалась придирчиво — хотели отклонить: написать трехтомник о России бестактно; однако решили рискнуть.

Это была стратегия взаимных кредитов — таких же, какие существовали в финансовом мире. Новый средний класс производителей (в отличие от среднего класса производителей восемнадцатого века) возник как

гомункулус, образованный кредитной политикой финансового капитализма. Обыватели стали владельцами акций, оказались соучастниками финансового капитализма наряду с Рокфеллером, приобрели в кредит дома, машины и кофемолки. И акционеры пожелали иметь такую культуру, которая не напоминала бы им о том, что некогда сапожники тачали сапоги, а художники рисовали картины. По тем самым законам, по каким образовали имущественный средний класс, образовали средний класс новых интеллектуалов.

Выданные акции интеллектуальных достижений без

реального покрытия — есть высшая точка либеральных достижений мира. Так новый средний класс Запада получил приемлемые духовные стандарты.

Все крупное пугало: религия, категориальная философия, образное искусство — это казалось фанатизмом. Попробуй начини отстаивать иконопись — так и до концлагеря недалеко. Новый средний класс не-производителей нуждался в необременительных убеждениях, а если и был к кому строг, то лишь к тем, кто выражался определенно и что-нибудь делал.

Каждый представитель интеллигенции среднего класса

принимал необременительные взгляды соседа, а сосед с уважением относился к его необременительным взглядам. Так в обществе возник феномен «адекватной личности» — явления, полярного личности ренессансной. «Persona adequate» выражала себя умеренно, не нарушая общей гармонии равномерного потребления. Немного свободолюбия, щепоть убеждений, чуть-чуть знаний, темперамент добавить по вкусу.

То была подлинная алхимия культуры: ошибиться в пропорциях ингредиентов нельзя. Реторта булькала: пустослов неизбежно делался колумнистом, а рэкетир —

депутатом; затем колумнист превращался в литератора, а депутат — в министра; далее литератор становился властителем дум, а министр — премьером страны. Важно соблюдение равномерной адекватности. Каждый получит свои пятнадцать минут славы, лишь бы полновесный час славы не достался никому.

Постепенно общество открыло формулу свободного мира: требуется взаимная вежливость посредственностей — я не отношусь к другому так же, как хотел бы, чтобы другой не относился ко мне.

Исчерпывающей концепцией стала мудрая концепция премьер-

министра страны: «Свобода лучше, чем несвобода» — и сверх того слышать никто не хотел. Апофатическое мышление современной интеллигенции, воспитанное Поппером, нашло наконец адекватное определение свободы — что там Гегель! «Лучше, чем несвобода» — этим сказано все. Открытое общество лучше, чем закрытое! Гитлер лучше, чем Сталин! Демократия лучше, чем Гитлер! Три рубля лучше, чем два! К чему иные определения блага? Никто не ждал от Дмитрия Медведева строительства сиротских домов, обеспечения жизни пенсионеров и государственной программы ухода за

больными – это было бы избыточно. Когда премьер провозгласил, что к 2013 году каждому ветерану Великой Отечественной войны дадут по квартире, общество даже вздрогнуло от напора премьерской мысли. Это что ж получается? Значит, те из ветеранов, кто доживет до этого дня (самому молодому могло бы быть 90 лет), безвозмездно получают жилье от государства? Не слишком ли?

Историк Халфин, почувствовав, что на него смотрят, сморщился, растерял слова, хотел было начать свое любимое повествование про Россию и Запад, но вспомнил, что концепции не приветствуются. Смутился и передал слово Мите

Бимбому.

Бимбом был розов, улыбчив, мягок, мил, глуп и любил звук своего голоса. Всякий раз, открывая рот для произнесения слов, Митя не знал наверняка, что именно он скажет, но был уверен, что из разных слов составитя нечто, заслуживающее внимания. Митя Бимбом высказался в том смысле, что история движется циклично. В тридцатые годы прошлого века были репрессии. В семидесятые годы появились диссиденты. Вот и сейчас: репрессии и диссиденты. Все уже было, если вдуматься. А потом произошли перемены. Так всегда и бывает: сперва репрессии, потом перемены.

А потом опять – другие репрессии и другие перемены. Какие именно перемены, мы не знаем, но перемены будут.

Митингуем, обсуждаем, а потом непонятное случится, раз – и жизнь поменяется. Так что – поживем, увидим.

Сделав это наблюдение над течением времен, Бимбом все же кивнул Халфину: мол, скажите что-нибудь, Александр Янович, только сами понимаете – адекватно надо выражаться.

Историк Халфин сморщился и сказал:

– Жизнь циклична, это бесспорно. И проще всего остаться в

белых одеждах. Но мы продолжим борьбу. Россия – это испорченный Запад. – Тут историк заметил укоризненный взгляд Бимбома и скомкал речь. – Борьбу поведем в рамках правового поля, не нарушая процесса эволюции.

Эта мысль понравилась собранию. Композитор Аладьев развил это положение, сказав:

– Власть не просто дурна, она аморальна, преступна, порочна и в корне лжива. Ее проявления ведут к атрофии, амнезии, деградации, распаду, гниению. Но мы не должны допустить бунта, анархии, восстания, мятежа, произвола, террора.

Аладьев мог сказать еще многое,

но слово взяла Тамара Ефимовна Придворова, новеллист. Придворова преобразалась в дебатах, капюшон второго подбородка раздувался, как у кобры перед прыжком, хотя комплекция писательницы исключала возможность стремительного броска.

— Неосмысленный протест, — сказала Тамара Ефимовна, — растет, люмпены вспомнили о социализме. Люди забыли о пустых прилавках. Фальсификаторы утверждают, что люди жили неплохо, пока не пришли злые дяди и не забрали у них недра земли. Следует напомнить людям, что они жили в концлагере.

Тамара Ефимовна сдула

капюшон и смолкла.

Заговорил политик-националист Гачев. Он явился сюда из парламента и наутро вылетал в Сибирь говорить с народом. Был краток и резок:

– Россия продана. Безвозвратно и окончательно приватизирована мошенниками. Вопрос не в том, чтобы выкупить страну обратно. Вопрос стоит иначе: переместить прогрессивную часть российского населения в то место, где находится проданная Россия. Религиозное и этническое возрождение начнется с капитализации патриотических инстинктов. Предстоит смена элит.

Лидер националистического направления закончил речь и сел, а

присутствующие обменялись тихими репликами: хм, как понять — экстремистская ли высказана позиция? Новоявленный Марат пугал многих. По пути ли нам с Маратом? Литератор Сиповский обобщил услышанное. Крайне важно, что у современного протестного движения нет программы — губительно программу иметь. Единой цели у плюралистического социума быть не может: мы боремся за перемены, которые сохраняют нетронутыми права частного капитала. Мы за изменения без нарушения существующего порядка вещей. Мы за такие изменения, которые обеспечат подлинную стабильность.

Публицист Бимбом подвел итог собранию:

– Кому-то кажется странным не иметь никаких убеждений. Меня иногда упрекают в том, что я сегодня говорю одно, а завтра другое. Я считаю это достоинством. Убеждений лучше не иметь во избежание нежелательных последствий. Мы не левые и не правые, мы за общее положительное развитие, за капитал и взаимную порядочность.

Расходились довольные: патрон издания миллиардер Чпок, на чьи деньги жила редколлегия, выписал журналистам бонусы за дискуссию на тему «Адекватная свобода».

Политик Гачев, обгоняя других, спустился по лестнице – внизу ждала бритоголовая охрана. Политика догнал Бимбом:

– Вы несомненно слышали... на всякий случай хотел уточнить... – Бимбом щурился, тянул шею, но эта мимика показалась Гачеву не искательной, как обычно, но зловещей. – На тот случай, если не знаете... Пиганов заявил, что не исключает вашей причастности к делу Мухаммеда Курбаева. Курбаев, как выясняется, был лидером Конгресса мусульманских общин.

Русский Марат занес ногу, чтобы сесть в лимузин, – и нога повисла в воздухе, как у повешенного.

– Откуда?..

– Сиповский рассказал... У него неформальные связи... Пиганов дал интервью французскому телеканалу. Сказал, что не приемлет патриотического террора. Пиганов сказал, что демократии не по пути с национал-экстремизмом. Вы отсюда прямо на вокзал? Я полагал, Феликс, что вы уже знаете. Успокойтесь, прошу вас. У вас валидол есть?

Феликс Гачев был волевым мужчиной, политиком и патриотом, а Митя Бимбом – subtilным молодым человеком, лишенным выраженных мужских черт. И однако Гачев почувствовал, что он целиком во власти Бимбома.

— Митя, голубчик, — сказал Гачев, — вы несомненно помните, что в день убийства мы вместе были в ресторане. С нами ведь и Тамара Ефимовна за столом сидела.

И тут Гачев ощутил недоброе присутствие Тамары Ефимовны Придворовой: новеллист приблизилась и крупным телом своим заслонила от Гачева московское солнце. Тамара Ефимовна Придворова физически несколько не напоминала Шарлотту Корде, но, вероятно, «друг народа» Марат ощутил нечто подобное, когда белокурая головка заглянула в его ванную комнату.

— Не припомню совместного

выхода в ресторан, – сказала Татьяна Ефимовна.

– И я не могу вспомнить, – сказал Бимбом. – Вы ничего не путаете?

Наручники, сдавленные запястья; ладонь, упертая в затылок, когда конвоир нагибает твою голову, вдавливая в «воронок»; тряская машина – и вот Семена Семеновича доставили к следователю. По дороге Панчиков успел подумать, что можно было предложить Ракитову и четыреста тысяч. Зря не предложил.

Прошли кафельным коридором, полицейский по имени Гав толкал Панчикова в спину без всякой нужды.

– Что вы меня толкаете?

– Иди давай, убийца.

– Почему, почему? – и сжалось сердце в предчувствии. Но не могут

же они, права не имеют.

Адвокат Чичерин был уже на месте, пил чай. Казенная кружка, два рафинадных кубика на блюде. Облик адвоката изменился — исчез цветной пиджак, не было шейного фуляра. Строгий серый костюм от Ermengilio Zegna, роговые очки Prada и сосредоточенный взгляд. Адвокат Чичерин критически оглядел одежду Семена Семеновича, поднял бровь, созерцая оранжевые пальмы и мартышек на рубашке задержанного.

— Как провели ночь? — спросил адвокат равнодушно. Отлично понимал, как Панчиков провел ночь.

Семен Семенович хотел сказать, что все ужасно, что вместо чая дают

некипяченую воду, что из окна дует, что соседи агрессивны. Но промолчал.

– Можете сесть, обвиняемый, – следователь ему сказал.

– Протестую, – сказал адвокат Чичерин. – Перед вами не обвиняемый, но задержанный. Обвинение моему подзащитному еще не предъявлено.

– Вот обвинительный акт, – и следователь Щербатов похлопал ладонью по черной папке. – Вы обвиняетесь в убийстве, Панчиков.

Гроза началась на улице, и гром ударил внезапно – так показалось Панчикову; лишь минуту спустя он понял, что уронил на пол шариковую

ручку, которую взял со стола. «Обвиняетесь в убийстве» — так просто сказал следователь, так невыразительно.

— Вот чем обернулся спор о большевиках, — сказал адвокат и на следователя выразительно посмотрел: помнит ли серый человек тот обед в посольстве, с которого все началось. — Вы позволите взглянуть на обвинительный акт?

— Будьте добры.

— Благодарю.

Чичерин открыл папку, достал листочки и принялся равнодушно (так показалось Панчикову) читать, постукивая пальцем по краю стола.

— Вы можете совместно ознакомиться, — сказал следователь Щербатов. — Следствие, гражданин Панчиков С. С., подозревает вас в преднамеренном убийстве. Вы, Семен Семенович, подозреваетесь в том, что задушили брючным ремнем гражданина Мухаммеда Курбаева, проживающего, — и следователь назвал какой-то далекий московский адрес, то ли Фуняково, то ли Коровино, унылое место, где обычно и проживают бедные люди.

У Семена Семеновича в голове грохотало, слова он слышал не все, а только некоторые. Следователь шевелил губами, выговаривал адрес Мухаммеда, адреса Панчиков не

разобрал, и только бухнуло в уши «корпус два, квартира шестьсот тринадцатая». Панчиков хотел сказать, что он протестует, нет, надо сказать так: «Заявляю протест!» – но однако он не сказал ничего – протест выходил нелепым: не мог же Семен протестовать против номера квартиры убитого. Следовательно говорил еще, описывал, как именно Панчиков совершил убийство, как следствие вышло на его след, как нашли на ремне отпечатки пальцев Семена Семеновича, как показания свидетелей позволяют утверждать, что Семен Семенович отлучился из общей залы на десять минут... И ничего этого опровергнуть Панчиков

не мог. После каждой фразы он хотел сказать «Протестую!» – но не говорил – ведь если нашли отпечатки пальцев, то отпечатки действительно есть, а если свидетели написали показания, то показания имеются. Панчиков молчал и смотрел прямо перед собой, причем глаза его вдруг стали мокрыми. Почему это со мной сделали? За что?

– Досадное недоразумение, – сказал Чичерин следователю, когда тот закончил говорить, а адвокат закончил чтение. – Вы, надеюсь, понимаете, кто мой подзащитный. Господин Панчиков – не человек с улицы... Мы не в Советском Союзе, мы в правовом государстве, и права

свои господин Панчиков знает. Так?

— Так, — сказал Семен Семенович. Ему показалось, что от него ждут подтверждения, и он подтвердил. И в самом деле, вчера он был уверен, что знает все свои права: право на свободу слова, свободу собрания... на что там еще права имеются? Но права уйти из камеры у него не было. Или есть такое право, он просто не знает о всех своих правах? И Семен Семенович повернул больной взгляд к Чичерину.

— Права гражданина Панчикова прописаны в Уголовном кодексе, — сказал следователь.

— Поговорим о процедурном вопросе. — сказал Чичерин, — Мы,

разумеется, обратимся в суд с просьбой принять залог, чтобы освободить подозреваемого из-под стражи на время следствия.

— Это не найдет понимания суда, — заметил следователь. — Подозреваемый обладает зарубежным гражданством и может покинуть страну.

— Семен Семенович даст подписку о невыезде. Вы не возражаете?

— Возражаю.

— Хотел бы переговорить с подзащитным с глазу на глаз, — сказал Чичерин. — Куда мы можем пройти?

— Здесь следственное

управление. Места для бесед с адвокатом не предусмотрено... Оставить вас одних не могу. Решеток на окнах нет, первый этаж.

— Наденьте на меня наручники, — сказал Панчиков с тоской.

— Сделаем так, — Щербатов почти дружески улыбнулся, — я перейду в дальний угол — оттуда ничего не слышно.

— Выбирать не приходится. — Чичерин поджал губы.

И они остались одни, точнее сказать, почти одни — спиной к ним сидел следователь, читал газету.

— Видите! — Семен Семенович кричал шепотом, оттого крик вышел страшнее. — Понимаете?

– Понимаю. Это дело Бейлиса.

– Именно! Именно дело Бейлиса! – Семен Семенович Панчиков схватился за голову и стал раскачиваться на стуле. Как же он раньше не понял этой чудовищной аналогии! – Дело Бейлиса... дело Бейлиса... А почему именно Бейлиса?

– На Сакко и Ванцетти вы не похожи, Семен Семенович. Вы либерал, а не пролетарий.

– Да! Так! Дело Бейлиса! Они хотят выставить всех либералов – убийцами... Шито белыми нитками... убийство рабочего...

– Ритуальное убийство, – поправил адвокат Чичерин с мрачной

радостью. — Совершенно ритуальное убийство: еврей убивает мусульманина... тонко спланировано... придумано недурно.

— Ритуальное убийство? — Панчиков не ожидал такого поворота. — А ритуальное почему?

— День какой был, вы не заметили, а, Семен Семенович? День иудейской мести, праздник Пурим, освобождение народа Израилева от власти Аммана. В синагогу ходите? — и адвокат подмигнул Семену Семеновичу Панчикову своим круглым жарким глазом. — А что было потом с Амманом? Повесили его — а вместе с ним удавили и всех его мусульманских родственников...

Удавили, понимаете?

— О чем вы?

— Аммана удавили... точь-в-точь как Мухаммеда... понимаете?

— При чем тут это! И вообще я не еврей...

— Семен Семенович! Ну уж мне-то можно!

— Ну хорошо, я еврей, но уверяю вас, это к делу не относится!

— Еврей, миллионер, американец, либерал — убивает мусульманина, бедняка, российского гражданина. Уверяю вас, здесь всякая деталь важна. Позвольте мне задать формальный вопрос — просто так уж положено. Семен Семенович, а вы на самом деле татарина не

убивали? Уверены?

– Вы с ума сошли!

– Спасибо, вы меня успокоили.

Дело в том, что я беседовал с вашей супругой, она мне дала понять...

– Что такое?

– Не обижайтесь, Семен Семенович, мне надо выстраивать линию защиты. Ваша супруга заявила, что вы сторонник жесткой шоковой терапии в отношении развивающихся стран. Вы, в частности, сказали за ужином...

– Я не имел в виду... – И жена тоже – вот так, в спину, о, какая боль! – Не убивал я! Мусульман люблю!

– Неужели любите, Семен

Семенович? А за что? В ближневосточном конфликте вы на стороне арабов или евреев, Семен Семенович?

— То есть нет, не люблю... За что любить... — Панчиков с ужасом сообразил, что Чичерин может отказаться вести его дело. — Я против мусульманства как такового... но в частностях... — Он запутался, смолк, закрыл лицо руками.

— Не волнуйтесь так. Мы вас в любом случае вытащим.

— То есть как — в любом?

— Признания делать, значит, не станете? Категорически? Это я обязан спросить, просто на всякий случай. — Адвокат перелистывал

дело, шевелил губами, что-то считал. — Я бы сумел настоять на смягчающих обстоятельствах. Шесть лет максимум и с амнистией в хорошей перспективе. Допустим, через четыре года.

— Через четыре года? — Дальняя стена комнаты покрашена до половины в красный, кровавый цвет. Зачем они так стены красят? Чтобы кровь была незаметна? — Четыре года?

— Колонию подберем с санаторным режимом. Конечно, это потребует определенных расходов.

— Каких расходов? — непроизвольно спросил Семен Семенович. Он собирался

возмутиться, но финансовое любопытство взяло верх.

– Думаю, реально вести речь о полутора миллионах, – сказал Чичерин. – Разумеется, я называю сумму совокупного гонорара, без текущих расходов на подарки. – Он выделил слово «подарки» интонацией.

– Полтора миллиона долларов?

– Это реальная цифра.

– Но это же... – не нашелся что сказать Семен Семенович Панчиков.

– Вы можете поискать другого адвоката. Рекомендую Семена Жицкого, Колю Басистова.

– Колбасистов? Кто это? Почему отказываетесь? – путаясь и

запинаясь, сказал несчастный Семен Семенович.

– Я назвал представителей своей гильдии. Обращайтесь к ним, хотя расценки будут не ниже.

– Что вы! Я всецело... То есть хотел сказать, всей душой... Только и молюсь... Может быть, попробовать без признания. Тем более что я не убивал.

– Надеюсь, вы не пожалеете о решении. Долгий суд – как затянувшийся ремонт; получается дороже, чем покупка новой квартиры. Сталкивались с длительным ремонтом?

– Мы на Сардинии перестраивали... – «О чем я говорю,

какая Сардиния?»...

— Полумеры всегда накладнее, чем решительные действия.

— Нельзя ли дать в газеты... — с надеждой спросил Панчиков. — Ведь я — жертва произвола. В рамках общей борьбы...

— Можно организовать интервью. Запишем ваше выступление на магнитофон, прокрутим запись на митинге. Пришлю журналиста — Варвара Гулыгина может сделать статью. Но судьи не любят, когда апеллируют к прессе. У судей возникает претензия, что вы кормите кого-то третьего.

— Кого же кормлю я, господи боже...

– Терпеливо объясняю, что этот вопрос необходимо решить.

– Как скажете. Доверяю всецело...

Чичерин с брезгливостью отметил подобострастную интонацию клиента.

– Сегодня передам вашей супруге номер своего счета. Определенную плату привык получать вперед.

– Разумеется, – сказал Семен Семенович покорно.

Александр Янович Халфин, автор трехтомника «Возможна ли Россия?», профессор Колумбийского университета, человек пожилой, явился на допрос к Чухонцеву точно по часам, и, войдя, незамедлительно предложил следователю сотрудничество.

— Спасибо вам, Александр Янович, — сказал Чухонцев. — Сотрудничество мы поощряем. А то, прямо скажу, замучились мы с вашим братом интеллигентом. Амбиции у всех — мама дорогая! Каждый человек — как это называется? — личность. Спасибо, хоть вы утешили.

— Я знаю, кто убил и зачем убил, — прошептал Александр Янович и подался вперед, приблизив сморщенное лицо свое к лицу следователя. — И я скажу вам обо всем.

Всякий человек, видя Халфина, думал, что ученый простужен: впечатление возникало оттого, что дробные черты Халфина напоминали смятый платок, в который только что сморкались.

Чухонцев
непроизвольно отодвинулся,
подумав: не заразиться бы. Он спросил:

— Кто убил?

— Так сразу? — осведомился Халфин. — Вы даже не ведете

протокола? Не спрашиваете, кто я?

— Имя, фамилия? — Чухонцев ненавидел писанину.

— Халфин Александр Янович. Ординарный профессор Колумбийского университета. Ординарный профессор — это означает «постоянный», утвержденный пожизненно профессор, а вовсе не «заурядный», — уточнил Халфин. — Надеюсь, вы понимаете разницу. А то некоторые думают...

— Что? — Следовательно Чухонцев воззрился на Халфина в недоумении.

— Вы записывайте, молодой человек. Пишите разборчиво, не сокращайте. Итак, автор

девятнадцать монографий...
Пишите, пишите...

— Это к делу не относится...

— Как раз именно это к делу и относится! Пишите, я настаиваю! Автор девятнадцать монографий, опубликовал более пятисот статей... Да-да, пятисот... Я бы вам советовал написать прописью, а то иногда ноль сотрется... Итак, пятисот статей... Записали? Принял участие в составлении семи сборников...

— Достаточно! — вскипел Чухонцев.

— Организовал четыре конференции по кремлинологии, культурологии и историософии...

— Прекратите! Кто убил?

Немедленно говорите?

– Прежде всего скажу вам, зачем убили, – прошептал Халфин. – Цель преступления объясню. Его убили, чтобы меня опорочить. Так подстроили, словно это я Мухаммеда задушил.

– Вы?! – картинно изумился Чухонцев. – Пожилой человек? Кто же на вас подумает?

– Вы дадите себе вопрос, молодой человек: зачем потребовалось меня опорочить?

– Зачем? – спросил Чухонцев, сам поражаясь своей сговорчивости. Халфин обладал своеобразной властью над людьми; собеседник заражался его логикой.

– Отвечаю. Оговорить хотели из зависти, из профессиональной ревности. Кому-то не давали покоя мои девятнадцать монографий.

– Причем здесь Мухаммед Курбаев?

– Молодой человек, завистник знал, где у меня больное место. Я любил Ирен, ныло сердце. Оскорбительно наблюдать... Однако для меня важнее созидательный труд – зажечь свечу хотел!

– Какую свечу? – спросил Чухонцев. – Не успеваю за вами, Александр Янович.

– Лучше зажечь свету, – сказал Халфин, – чем проклинать тьму. Вот девиз. Свечу свободы хотел зажечь.

– Свечу зажечь хотели, – сказал Чухонцев. – А убил татарина кто?

– Вы скоро поймете.

– Давайте по порядку, – попросил Чухонцев. – Скажите, с какой целью в галерею ходите. А потом про убийцу.

– Они спонсируют издание книги «Не пора ли ставить на России крест». Пришел обсудить.

– Галерист Базаров издает ваши труды?

– Назовем это так, – сказал Халфин тихо.

– На доходы от подпольного казино?

– Разве это важно?

– И все девятнадцать

монографий на доходы от подпольного казино?! – поразился Чухонцев.

– На гранты Базарова издано семь моих книг.

– А остальные на какие шиши?

– Молодой человек!..

– Интересно получается! – сказал Чухонцев. – На выручку от нелегальной игры ваши книги печатают. Вам и гонорар платят. Вы в доле, получается, да?

– Я не для шуток пришел. Мне в карман положили вот это, – и Халфин достал из кармана тонкий шнурок. – Вот этим Мухаммеда задушили.

– А ремень как же?

— Ремнем душили уже мертвого, — сказал Халфин, — чтобы пустить вас по ложному следу.

— Запутался я, — сказал Чухонцев честно. — Мне и без ложного следа ничего не понятно. Кто шнурок подбросил?

— Убийца подбросил, — прошептал Халфин. — Убийца мне в карман этот шнурок сунул!

— Как зовут убийцу?

— Ройтман это, — совсем тихо прошептал Александр Янович, — мошенник Ройтман! Тихо — в карман — мне — шнурочек — сунул. Он и убил!

— Ройтман? Но его же в галерее не было! И зачем ему?

Александр Янович тихим

настойчивым голосом поведал
младшему следователю всю
подноготную преступления.
Оторопев, слушал Чухонцев повесть
профессора Халфина. Многие
становилось яснее. Как оказалось,
Халфиным была открыта теория,
согласно которой в мире существует
только одна цивилизация – западная,
а прочая история является как бы
неудачной копией этой хорошей
истории. В частности, русская
история, согласно профессору
Халфину, является неправильной
версией истории западной, в этом и
состоит русская проблема.
Публицист Ройтман, по словам
профессора Халфина, бессовестно

воспользовался открытием и стал излагать теорию от собственного лица.

— Его теория есть вульгарная версия моей теории! — негодовал профессор.

— Так у вас у самого теория про вульгарную версию.

— Теория Ройтмана о неудачной версии западной истории есть неудачная версия моей теории о российской истории! Что тут неясно? Что?!

И Халфин еще раз, с примерами текстуальными, рассказал о хищениях.

— Значит, вы первый сказали, что в России истории не было?

– Наконец-то!

– А Ройтман украл идею?

– Поздравляю! – иронически сказал Халфин. – Вы поняли! Я девятнадцать книг про это написал!

– Никто до вас и не догадался?

Уважаю!

– Видите! Даже вы, человек, так сказать, далекий.

– Получается, оба говорите одно и то же? – наивно спросил Чухонцев. – А что же в этом плохого? Убедили, значит, мужика.

Халфин пояснил следователю особенности интеллектуальной жизни столицы. Первенство не поощряют – кругом завистники. Вообразите, в «Русском альянсе»

молодежь затыкает старому профессору рот! Ему, читавшему лекции в Колумбийском университете! Не для того он писал три тома сочинений, чтобы розовый пупс Бимбом обрывал его на полуслове. А Ройтман просто ревнует к славе.

– Мухаммеда задушил, чтобы на меня подумали!

И профессор изложил план Ройтмана. Поскольку, по теории Халфина, виновником отставания России в прогрессе являлось татарское иго, мотив преступления у профессора имелся. Для Александра Яновича убийство татарина могло быть жестом интеллектуального

сопротивления историческому
детерминизму. Убив Мухаммеда,
Ройтман подводил следствие к мысли
о Халфине. Оставалось подбросить
профессору орудие убийства, что
Ройтман проделал в Лондоне.

– Негодяй! Шнурок подсунул!

– Но как Ройтман умудрился
убить Курбаева?

Халфин вздохнул. Непонятно
это.

– Разрешите подарить вам... –
Халфин извлек из портфеля
трехтомник «Возможна ли Россия?»
– Некоторые за одну ночь прочли –
не могли оторваться.

– Не надо! – сказал Чухонцев.

– Нет уж, позвольте.

Фрумкина приняла следователя Чухонцева в редакции. Чухонцев поразился интенсивности трудового процесса.

— Миша, быстро к верстальщикам; Маша, немедленно звони министру энергетики — интервью на две тысячи знаков; Иван, где бильд-редактор? — и потом Чухонцеву: — Времени нет, все завтра. А, вы следователь. Садитесь вон там. Я сейчас, — и через десять минут: — Давайте коротко — что случилось? Вы с этой ерундой? Ах, вызов на допрос? Ах, игнорирую? Да, выбросила ваш вызов в мусорную

корзину. Времени на глупости нет. Хотите меня арестовать? Сделайте одолжение. Света, бегом сюда! Быстро на первую полосу заголовков: арест главного редактора в офисе газеты. Подбросили наркотики, лжесвидетельство, шантаж власти. Сфотографируйте этого молодого человека. Как вас зовут? Чухонцев? Имя сообщите, пожалуйста. Погромче, будьте любезны. Как слышно? Записалось на магнитофон, девочки? Можно с вами попозировать? Отлично. Видите, как просто. Теперь можно ехать к вам в тюрьму.

— Но я не подбрасывал наркотики.

– Это уже догадка журналиста. Опровергайте, если можете.

От такого напора Чухонцев растерялся. Фрумкину он арестовывать не стал, задал несколько вопросов, получил темпераментный ответ.

– Дело элементарное, нужно быть полным идиотом, чтобы не раскрыть за восемь часов. Не нравится, что я говорю, – не слушайте. Всегда говорю то, что думаю. Не знаю, за что получаете зарплату. Убийство спланировано и осуществлено агентами спецслужб – теми же людьми, которые устранили правозащитников. Вы знаете, сколько гибнет журналистов? Кто стоит за

этими заказами? Желаете, чтобы я назвала имя убийцы? Вы сами его имя знаете. Вы этого человека видите на экране телевизора каждый день. Вам правда не нравится? Что поделаешь, терпите. Этот человек сделал много зла России. Вы хотите со мной поспорить? Поверьте, спорить бесполезно.

— Но зачем? Зачем ему, — пальцем Чухонцев указал в потолок, — для чего ему устранять шофера Мухаммеда Курбаева?

Фрумкина засмеялась. Она глядела на оторопевшего следователя с искренним весельем.

— Вы ничего не поняли. Мухаммед был мозговым центром

оппозиции. Мухаммед Курбаев – крупнейший либеральный мыслитель современности. Последователь Хайека, личный друг Жака Аттали и Ханны Арендт, знаток Хайдеггера.

– Что?!

– Они хотели обезглавить оппозицию. Мы готовим об этом материал.

Часто в спорах по поводу личности президента, нравственности премьер-министра и механизма власти, управлявшей Россией, возникали непреодолимые трудности.

Некоторые граждане настаивали на том, что демократия в России особенная — централизованная. Другие граждане уверяли, что всякая демократия соответствует тому демосу, который населяет страну, и двух одинаковых демократий в мире нет. А иные выражали сомнение в том, что термины «либерализм» и «демократия» имеют смысл в

сочетании. Современный мир объявил венцом развития демократию и либерализм – но это же нонсенс.

– Согласитесь, – говорили иные граждане, – здесь кроется противоречие. Учение «либерализм» отрицает государство, а демократия есть государственное устройство. Либерализм – это свобода отдельных одаренных личностей, а демократия – ориентируется на мнение большинства граждан.

– Демократия ориентируется на лучших, которых выбирают в народе.

– Но даже представительская демократия имеет в виду мнение большинства, которое выбрало

лучших представителей. А большинство не может исповедовать либерализм.

— Однако мир живет с этим противоречием весьма успешно!

— Привыкли к противоречиям власти! — кричали провокаторы. — Взять хоть национал-социализм. Тоже — противоречие. Социализм — учение о равенстве и интернационализме, а национализм — о неравенстве и превосходстве одной расы над другими.

— Зачем делать такое сравнение? Вы хотите сказать, что национал-социализм и либеральная демократия — это одно и то же?

И обида мешала длить важный

спор.

Демократия — то есть форма общественного управления западным обществом — давно считалась образцом для всего мира, и западный порядок распространялся постепенно на весь подлунный мир; так некогда империя великого Александра присоединяла к себе новые земли, распространяя цивилизацию повсеместно.

В начале двадцать первого века слово «демократия» по привычке произносили страстно, так пылко, словно битвы с тиранами и сатрапами еще продолжались. Но искать противников демократии становилось все труднее и труднее.

Куда ни кинь взгляд, всюду царила демократия – а низринутые тирании в прахе валялись у стоп ее. Даже в горных селениях и пустынях, даже и там утвердился данный метод управления людьми. Демократии, конечно, требовался соперник – какой-нибудь хоть самый завалящий душитель свободы; он был нужен хотя бы для того, чтобы энтузиазм избирателей не угас. Когда капитализм и рынок победили коллективное хозяйство в России – и Россия перестала годиться на роль врага, голливудские сценаристы обычно изобретали безумного маньяка-террориста, некоего обобщенного мусульманина-

социалиста, бросающего вызов мировому благополучию. На экране выглядело это обычно так: в процветающий город, где все жители голосуют за свободу, проникает диверсант — он за рабство и угнетение людей. Негодяй хочет отравить реки, взорвать дома, он хочет, чтобы люди боялись его, как некогда боялись они Сталина и Гитлера. Казалось бы: чем мешает фанатику наше разумное счастье — рынок, биржа, пособия по безработице, современное искусство? Ну почему бы кровопийце не пойти вместе со всеми на выставку Энди Ворхола? Однако нет: он хочет убивать! Такие фильмы

бодрили население – но ведь нужна же и реальность.

Способ выращивания пригодного для схватки с ним тирана по сложности напоминал получение качественной гусиной печенки: следовало раскормить гуся, а уже потом извлечь из него фуагра. Тиранов выводили искусственными методами, снабжали их финансами, тщательно растили, выдавали им на растерзание пару-тройку локальных правозащитников и лишь потом объявляли на тирана охоту. Тиранов взращивали в заповедниках, в отдаленных уголках планеты, и в нужную минуту предъявляли человечеству как угрозу идеалу

демократии: смотрите, вот какой опасный азиатский тиран; обратите внимание на его когти! Вглядитесь в это вредоносное чудище! Ох, до чего он опасен! Едва финансовые махинации банкиров давали сбой или налоги взлетали выше терпимой нормы – в заповедник тоталитаризма немедленно посылали репортера: сфотографировать тирана-кровососа, душителя демократии. И граждане западных стран приходили в неистовство: им мерещилось, что их сладостной жизни грозит реальная беда! Ах, они слишком мягкотелы! Ах, они склонны прощать, в то время как надо вкладывать деньги в оружейные комплексы и

бомбардировки! Пусть будет какой угодно налог, сойдет любая банковская махинация — лишь бы никто не тронул либерализм и демократию. И руки избирателей вздымались, и губы сжимались, и глаза загорались как прежде, в дни великих битв за равенство и братство. Дрожи, далекий тиран! Мы — едины!

И — победили всех. Где-то далеко, за синими горами и широкими морями жалась ничтожная империя зла, где-то прозябал третий мир, но знания об этих неурядицах лишь щекотали нервы.

Наступило время, сопоставимое

с эллинизмом античной цивилизации: все наконец устроилось! Достижения западного мира делались все более изощренными. Совсем как во времена Македонского, западные стандарты искусства и ремесел изменились, поднявшись на новую высоту, — критерием вещи стала не польза, но красота. Скажем, брутальный художественный стиль авангард сделался изысканным и декоративным, эстрадные певцы пели уже не резко, но сладкоголосо, так в западной истории снова наступил век изысканного эллинизма. Демократия, достигшая высшей точки своего развития, стала

настолько притягательна, что многие считали, что человеческой истории развиваться больше некуда.

Демократию официально считали образцом общественного устройства, хотя всем давно было ясно, что в западных странах повсеместно формой правления является олигархия. Русские сенаторы были сплошь миллиардерами, и даже лидер оппозиции Пиганов, выходя к народу, начинал речь с замечания: как вы понимаете, люди мы небедные. Богачи объясняли людям, что управляют народом только из сострадания: тратить время на такой менеджмент — глупо, лучше жить на

проценты от акций и вкладов – но из милосердия они решили заниматься сиволапыми! И рядовые граждане испытывали уважение, благодарность и застенчивость по отношению к богачам. Слово «олигархи» употребляли в непосредственной связи со словом «демократия» – более того, именно олигархи являлись оплотом демократии, и рядовые демократы испытывали гордость за своих богачей. Видите, говорили они друг другу, если богач – богат, значит, демократический строй имеет преимущества.

Богачи строили античные виллы с колоннами, на которые любовались плебеи; богачи декорировали свои

офисы декоративным авангардом, а плебеи любовались на фотографии этого великолепия в журналах; богачи устраивали многолюдные празднества с изобильной жратвой, и быдло, приглашенное на пиры — чувствовало сопричастность большой истории. Это вам не ДнепроГЭС строить, удовлетворяя амбиции усатого людоеда! Это гораздо почетнее.

Бабушки Петра Яковлевича Щербатова относились к такому положению в обществе критически:

— До какого холуйства люди дожили! По роже видно, что отвратительный мазурик, — говорила бабушка Муся, — а они

подлизываются.

— В нашем доме с морально нечистоплотным господином здороваться бы не стали... Моисей Рихтер, если ему кто не нравился, так он спиной поворачивался, и слова не дожدهшься.

— Теперь в людях гордости нет, я в газете читаю статью, этого, как его... ну этого... Дураки всякие пишут, имен не запомнишь. Пишет дурак, что всякому человеку хочется побывать на яхте у Балабоса... А мне вот совсем не хочется.

— Балабос, это какой? Это толстенный, который дачные туалетные кабинки строил? У него лицо неприятное, рыхлое.

– Балабос у себя на щеках прыщи давил. Над ним в школе смеялись.

– Ты его с Бимбомом путаешь. У Бимбома прыщи были – его по прыщам узнавали.

– У Бимбома прыщи от сырости завелись, потому что он был дезиртир. Когда война началась, он на дачу уехал и в погреб залез. Четыре года в погребе сидел, все вокруг подъял, даже свечки стеариновые съел.

– Ты опять все путаешь. Его Гачев сразу выдал. Гачев везде дезертиров искал, непримиримый такой человек, он поваром служил в военкомате.

— А я по телевизору Гачева слышала. За Родину борется. Это внук повара, получается?

— А готовил хорошо. Жене тефтели приносил, а жена нам в подвал поесть давала. Гачевы добрые.

По всем признакам, повсеместно победившая демократия вошла в очередной коринфский стиль, переживала пору зрелой красоты – и осень демократии была прекрасной. Алкаемое единство народа с олигархией обрели.

Богачи обласкали интеллигенцию. Отплатили интеллигентам за преданность.

Яхты, газеты, заводы и шахты имелись – но чего-то не хватало для полноты достатка. Ах, куршевельский разгул всем хорош, но что-то еще просится на стол! Капитализм достиг той стадии

спелости, когда богачи захотели быть не только самыми сытыми, но еще и самыми умными. Богачи обнаружили, что нуждаются в интеллектуальном признании. Богачи требовали, чтобы интеллигенты признали, что богачи не просто богаче, но и умнее их.

Казалось бы, зачем признание очкариков? Однажды, выбирая, кем стать, богач отринул возможность стать поэтом или ученым и решил, что хочет сделаться спекулянтом — поскольку спекулянтом быть выгоднее. Но после того как успешные спекуляции вознесли ловкача на вершину жизни, ловкач осмотрел с высоты подвластный мир

и решил, что быть только богатым ему мало; надо еще, чтобы люди признали, что он стал богатым по причине интеллектуального превосходства над поэтами и учеными. Надо сделать так, чтобы его богатство стало воплощением всего того, что он отринул прежде, выбирая спекуляции. Надо, чтобы люди, ставшие учеными, истратившие жизнь на науку и не заработавшие денег, сами признали, что ошиблись в выборе — выбор их был жалок. Жизнь прошмыгнула мимо, пока они прели в библиотеках и музеях, а вот сейчас, созерцая прозорливого властелина, они понимают, в чем состоит истинная

мудрость. О, полнокровный румяный держатель акций! Теперь те, кто некогда корил тебя невежеством, поняли, что подлинная мудрость в накопительстве, действительное знание выражается в негоциях и марже. Вот если бы ученые и философы, подобно успешному богачу, выбрали путь стяжательства, их разум укрепился бы – а так они доживают свой жалкий век, сознавая тщету потраченных усилий. Черви книжные, клопы обойные, обитатели блочных трехкомнатных квартир, – да знаете ли вы, что такое плеск средиземноморской волны под форштевнем трехпалубной яхты? Слышали вы, как хрустят панцири

омаров и хлопает пробка Дома Периньон? Видели вы закат над офшорными берегами? А что вы вообще знаете, ничтожества?

Богачи окружили себя интеллигентами, которые ежедневно сообщали своим патронам, что богатство дается именно в силу выдающихся гуманитарных свойств капиталиста и только сокрушительная сила интеллекта может сделать человека миллиардером. Спекулянты слушали профессоров, и мурлыкали от удовольствия, и подставляли интеллигентам пятки: чеши мне пятки, очкарик! И те чесали, а иногда проворно склонялись к пятке, чтобы

лизнуть. О нет, не от подобоострастия
вовсе, но объективно выражая
уважение. Богатые богаты потому,
что они умнее бедных, — этот
простой силлогизм следовало
утвердить повсеместно. Профессора
сообщали богачам, что более
глубоких собеседников, чем
банкиры, они не встречали.
Рассуждения о прибыли, процентах и
вкладах содержат в себе анализ мира,
не дающийся никому, кроме богачей.
Профессора уверяли, что богачи
являются философами в подлинном
смысле слова, что богачи — это
ученые в превосходной степени, и в
поэзии спекулянты разбираются
лучше, нежели поэты, а уж в

картинах и статуях понимают решительно все.

Богачи любили проводить с придворными интеллигентами откровенные разговоры — для этого охрана привозила интеллигентов на дачи богачей. Обыкновенно богач звонил интеллигенту и предлагал: что если нам поужинать вместе в субботу? У меня как раз нет совещаний... Пришлю за вами автомобиль — а то, знаете, охрана, могут не пустить... Ну, и супругу вашу, само собой, захватите. Взмолванный интеллигент мечется по бирюлевой своей квартире, ищет глаженую рубашку, недырявые носки, а жена рассказывает

подругам: нас позвали на ужин... И вот присланный за ними «Мерседес» фырчит у подъезда, вот уже мчатся они по городу, и за унылыми новостройками распахивается шоссе, уходящее в сосновый бор, и вот уже ворота усадьбы медленно раскрываются (ах, у них все здесь автоматическое!). Ах, судьбоносный момент встречи с идеалом — вот мажордом вводит чету интеллигентов в богатую столовую! И куда ни посмотришь, сознание трепещет, ошеломленное размахом бытия! Супруга ощупывает взглядом мебель, супруг понимает, что напрасно захватил в подарок хозяину свою последнюю брошюру о борьбе

идей в пореформенной России... А где же хозяин, интересуется чета робко. А хозяин сейчас занят — как раз срочное дело: проблема с филиалом во Франкфурте... Интеллигенты сочувственно ахают: ах, неужели же мы не понимаем! С филиалом во Франкфурте! Боже мой, какие же сомнения, разумеется, он нужен там! Кто мы — и кто филиал во Франкфурте! Мы посидим в коридоре, подождем, вот, газетку почитаем... Однако мажордом усаживает их за обеденный стол, прислуга кормит интеллигентов едой, коей они сроду не нюхивали, лакеи устраивают им экскурсию по особняку: вот эту картину хозяин

взял на «Сотбис», а эту статую прикупил на «Кристи». А это что за комната? А, это зал для медитаций – хозяин часто бывает на Тибете, привозит культовую скульптуру. А здесь что? Ну это, это так... концертный зал... И затем, ошелолив интеллигентов роскошью, слуги ведут их в кабинет к хозяину; вот он сам, за резной дверью кабинета – он там работает! Тише! Тише! Мы мешаем сосредоточиться деловому человеку! Деловой человек принимает судьбоносные решения: сколько процентов вложить туда, а сколько сюда! Это вам не латынь учить, голубчики! Тихонечко, на цыпочках, постоим вот тут в

уголочке, вдруг заметит... Хозяин строгий, лоб у него наморщен, он резко говорит в телефонную трубку важные слова: отгрузили? растаможили? забашляли? И супруги жмутся у дверей, как бы не помешать беседе. Богач замечает присутствие профессора: ах вот он где, раздавленный великолепием сморчок... Хозяин машет рукой: ну, садись, как тебя там, садись... вон кресло пододвинь, не бойся... штаны у тебя вроде чистые, присаживайся. Хозяин поощрительно скалит зубы: и вы, милая, присядьте. Ваша супруга? Да? Неплохая, неплохая... Дом уже поглядели? Понравилось вам? А накормили вкусно? Нет, без дураков,

терпимо? А то я предыдущего повара уволил, отослал обратно на Сардинию... Шельмец, лентяй! Впрочем, сегодня все было удачно, не так ли? Да вы не бойтесь, говорите как есть! У интеллигента кружится голова... Он сидит в кабинете воротилы, говорит почти что как с равным, он даже дарит ему свою монографию... И барин задает интеллигенту доброжелательный вопрос: ну что, мудила очкастая, понял теперь, в чем смысл жизни? И разомлевший от дорогой еды, оглушенный роскошью интеллигент отвечает, что смысл жизни в том, чтобы пытаться стать таким вот воротилой – прозорливым ворюгой,

опытным спекулянтom, смелым богачом.

Интеллигенты выделяли из прочих богачей тех, которые создавали газеты и журналы, открывали галереи и магазины — то есть давали им рабочие места. К этим богачам ходили на поклон регулярно и кланялись особенно усердно. И богачи привыкли к мысли, что в искусстве они разбираются лучше интеллигентов, а с течением времени они в самом деле стали разбираться лучше — они полюбили высказывать мнения по поводу картин или книг, их вкус стал мерой искусства.

Диктат богача лишь по

видимости вступал в противоречие с обещанными демократией свободами: даже когда богач впадал в неистовство и начинал вдруг орать на интеллигента, тот понимал — это ради свободы в высшем смысле.

Да, есть парадокс в общественной конструкции — но в этом шарм демократии!

– Ты сдурел! Зачем сюда приперся, болван? – Так встретил банкир Балабос авангардиста Гусева, посетившего его загородный особняк.

Балабос давал ужин для коллег-банкиров и сотрудников президентской администрации, кремлевских чиновников. Лимузины встали цугом возле главного входа в усадьбу, охрана прогуливалась по террасе, гости перетекали из залы в залу – и тут в перспективе анфилады комнат возникла фигура свободомыслящего Гусева.

Как сюда попал этот нетрезвый человек (а Гусев был по

обыкновенно пьян), никто бы объяснить не сумел. Гусев часто появлялся в усадьбе, прислуга привыкла к нему – вот и пропустили. Гусев пользовался расположением банкира Балабоса, приобретавшего кляксы художника за суммы, которые сам Гусев уважительно именовал «среднеевропейскими ценами на искусство».

– Мои вещи идут по среднеевропейским ценам, – обычно говорил Гусев своим коллегам, Бастрыкину и Шаркунову.

Процесс взаимодействия с заказчиком проходил следующим образом. Балабос, доехав в сопровождении мигающей и гудящей

кавалькады до мастерской Гусева, заходил к мастеру запросто, всего лишь с тремя охранниками (пятеро рассыпались по периметру убогого двора), бритые охранники расставляли на грязном столе художника марочный коньяк и раскладывали плитки шоколада, а затем уходили в угол комнаты и щелкали там мобильными телефонами. Ефрем Балабос целовал художника в небритые щеки, разливал коньяк в немые стаканы. «Ты бы хоть стаканы мыл, борода! Свободный художник! Люблю!» Все было столь естественно и ненатужно, будто банкир вернулся в пору своей молодости, когда он еще

строил в дачных кооперативах туалетные домики. Друзья засиживались до глубокой ночи, гоня охранников в круглосуточно работавшие магазины за выпивкой и сигаретами. Пару раз Балабос брал художника в ресторан «Набоб», но того удовольствия от встречи не получал — все-таки свобода творчества органично воспримается именно среди сломанных стульев и несвежей посуды.

Балабос искренне привязался к Гусеву, всем говорил, что ценит его искусство; Ефрем Балабос напивался, плюхал на стол бумажник, пихал в цепкую ладонь Гусева несколько тысяч долларов.

Данная сумма не представлялась значимой для Балабоса, банкиру было приятно осознание того, что он помог другу-интеллигенту, содействовал развитию искусства, в такие часы он забывал о Кремле и жестоких правилах московских джунглей – но искусство и должно пробуждать тягу к прекрасному, не так ли?

– Какого черта ты тут делаешь?

Проблема в общении с малыми сими состоит в том, что маленькие люди легко теряют чувство дистанции. Стоит их пожалеть, погладить по голове, дать конфету, как они привыкают к хорошему – и требуют конфет всегда. Попробуйте

похвалить прислугу, она вам завтра начнет хамить. Надо уметь держать четкую линию с челядью. Эх, не зря наши деды секли прислугу по субботам! Какие бы ни были отношения, а в субботу изволь, мужик, снять штаны. Балабос вспомнил о здравых взглядах Салтычихи, когда наблюдал разлапистую самоуверенную походку Гусева сквозь анфиладу. Гусев в некий момент вообразил, что может являться без спроса к другу Ефрему — именно сегодня это было некстати.

У Балабоса было прескверное настроение — и крайне спешная встреча. Тут минутами время исчислялось.

Вчера Балабос виделся с президентом: причина была рабочая – строительство нефтепровода в Китай; однако, говоря о Китае, Балабос почувствовал, что обсуждает свою собственную судьбу. Хищный президент наметил себе в новую жертву его, Ефрема Балабоса, и его цветущий банк – банкир ощутил близкую гибель всем естеством. Президент был очень похож на волка и, когда в президенте зараждался очередной план присвоения имущества разбогатевшего бизнесмена, в лице его явственно проступали черты хищника. Вот и вчера, говоря о трубопроводе, президент оскалился и лязгнул

зубами.

Показалось ли это Балабосу или точно президент лязгнул зубами, банкир старался припомнить в подробностях, но страх мешал вспомнить.

Люди опытные, выжившие в кремлевских коридорах, рассказывали, что лязганье зубами есть фатальный признак.

Балабос собрал сегодня серых кардиналов Кремля, чтобы доказать лояльность и спросить у мужей совета: что же делать, ежели лязганье зубами ему не привиделось. Как поступить прикажете? Что именно отдать?

В тот момент, когда дошли до

сути, явился Гусев. Художник был вульгарен, слишком прост для обеденной залы, но хуже всего было то, что Гусева могли видеть на трибунах оппозиции — он рисовал протестные плакаты. Легко понять, что разговор о лояльности плохо монтируется с дружбой с бунтарями.

Балабос принимал решения мгновенно — иначе не стал бы Балабосом.

— Быстро на кухню. Халат, фартук, колпак — и к плите. Если спросят — ученик повара. Станешь болтать — живым не выйдешь.

Гусев, который славился скандальным нравом и умением ставить клиентам дерзкие условия,

не сказал ни единого слова. Он сделался столь бледен, что Балабос решил, что художник умирает, но то был эффект смертельного ужаса. Ровно через тридцать секунд художник стоял на кухне среди поваров, запакованный в белый халат и повязанный фартуком.

— Где я тебя видел? — спросил охранник.

— Часто здесь прислуживаю, — сказал художник.

— Поварачивайся живей. Ишь, жопу отъел, селезень.

А из обеденной залы неслось:

— Ну, Ефрем, сам виноват, зачем башлял Гачеву.

— Этому козлу? Не гони! Плевать

мне на Гачева!

— Вот и я говорю: пусть оттянет на себя десять процентов голосов, и гасить пора мужика.

— Давно пора!

Гусев слушал густые пьяные голоса тех, кто владел страной, и понимал, что он никогда не разберется в политике. Это закрытая книга, для закрытой корпорации политиков, для особ посвященных.

Борис Ройтман, прилетев из Лондона, захотел встретиться с Пигановым – по вопросам сугубо практическим. Всякий, кому приходилось выпрашивать положенную по трудовому соглашению зарплату, знает, как это сложно. Требуется аккуратно строить речь, чтобы не выглядеть алчным; надо поговорить о политике, о Карле Поппере, затронуть тему тоталитаризма и работы Ханны Арендт – затем можно перейти к денежному вопросу. А помните, гонорар сулили... Безделица, в сущности... И до чего неловко

напоминать занятым людям о такой безделице.

Ройтман набрал номер телефона, по которому звонил сотни раз, однако с лидером партии его не соединили – Пиганов был занят.

Тогда Ройтман отправился в штаб партии, но пройти дальше приемной не сумел.

Мелкие порученцы – свободные журналисты, образующие команду информационной поддержки митингов, те самые люди, что еще вчера смотрели на Ройтмана с почтительной завистью – сегодня говорили с Борисом Ройтманом небрежно:

– Вы, Боря, к Пиганову? Уехал,

вас с собой не взял?

— Говорят, будет пресс-конференция. Подождите в холле. Через часок вернется.

И усмеваются, перемигиваются.

В столичных зоилах выработано особое обоняние: издалека чувствуют трупный запах. Ройтман сам обладал этим свойством — вместе с другими светскими колумнистами он слетался к политическим трупам, выклевывал глаза павшим партийцам. Обывателю нипочем не понять, по какому принципу газетное воронье выбирает пададь для брашна. Вовсе не обязательно, чтобы в пищу был отдан прислужник тирана, — это может быть балерина, певец,

футболист; светские хронисты издалека чувствуют — кого рвать сегодня. И слетаются на добычу, на запах гниения. И сегодня Ройтман почувствовал, что этот запах исходит от него самого.

Что произошло? Плохо исполнил миссию в Лондоне, испортил интервью, недостаточно боек? Или в его отсутствие в Москве нашелся лучший говорун? Тут желающих довольно — вот, например, этот юноша в оранжевых брюках — очевидно, что он за демократию, и с речью у него проблем нет. Столько острословов в Москве, все шутят.

Борис Ройтман подождал час, потом второй.

Воронье чертило круги у него над головой, зоилы хлопали крыльями. И – странное дело – глядя на суету колумнистов, Борис успокоился. И когда, совершив очередной круг над его головой, колумнист присел рядом и спросил: «Вы, Борис, разочаровались в либеральной доктрине? Что-то не видно вас на площадях», – Борис ответил ему исключительно спокойно:

– Вы правы, я стал больше времени проводить с семьей.

Он захотел позвонить бывшей жене, стал придумывать, что ей скажет. Много есть хороших слов. А что толку?

«Либеральная демократия», «национальный социализм» – суть диалектические единства, перпетуум-мобиле мироздания, а вершиной неслиянных нераздельностей является – открытое общество, построенное из обществ закрытых.

Корпорации, встроенные в открытое общество, были сами по себе закрытыми обществами, однако их закрытость обеспечивала жизнедеятельность общества открытого. Как может быть, что открытое общество состоит из многих закрытых обществ, этого

никто не объяснял; принимали как обязательное условие. Людям внушали, что они имеют право знать все про своих правителей — кто на ком женат, где отдыхает и т. п., но про корпорации никто ничего не знал. Очень часто никто не знал ни имен собственников, ни членов совета директоров, ни размеров прибыли, ни сфер деятельности закрытых структур. В прогрессивном мире создалась особенная конструкция: либерально-демократическое государство с гражданскими правами и свободами, с выборами и многопартийной системой — состоит из сотен закрытых корпоративных обществ,

совершенно не либеральных и абсолютно не демократических. Никакой многопартийности внутри «Газпрома», «Дойче банка», «Бритиш петролеум» существовать в принципе не могло. Но именно интересы «Бритиш петролеум» (недемократической организации) и интересы «Газпрома» (нелиберальной структуры) руководили свободолюбивым миром. Конструкция корпорации была насквозь тоталитарной, со строгой дисциплиной и системой подчинения, с неравномерным распределением прибыли и льгот. Но члены тоталитарной корпорации в то же самое время являлись гражданами

демократического общества, и в качестве граждан они выражали свои права.

Скажем, гражданин мог протестовать против войны в Афганистане, которую вело его правительство, но как член корпорации он не мог протестовать против того, чтобы снабжать армию боевыми машинами и наживаться на войне.

Способность человека выражать гражданские чувства зависит от его жизненных сил, а его жизненные силы зависят от членства в тоталитарной организации. Таким образом, корпоративная модель оказалась движущей силой того, что носило

название открытого общества.

В отношении государства демократическая риторика сохранялась, и населению внушали, что обладание этой риторикой делает их свободными. Они даже иногда организовывали демонстрации против правительства. Правда, никто не предлагал людям восстать против интересов «Бритиш петролеум». Попробуй гражданин учинить бунт против начальства своей корпорации — его немедленно уволят: но против правительства страны — роптать разрешали.

И свобододолюбивые граждане молились на тоталитарные корпорации и на богачей — все

боялись одного: а вдруг благостная осень демократии закончится, вдруг настанет зима демократии – вдруг станут закрываться корпорации, богачи начнут беднеть? Свободолюбивые граждане понимали: если такое горе случится с корпоративной демократией, будет война; их пошлют воевать за интересы корпораций. Их тогда пошлют не на игрушечные демонстрации, а ввергнут в жестокое и тотальное убийство.

Возможно осуществить план тотального смертоубийства или это пустая фантазия сатрапов – сказать затруднительно. В памятный день, когда президент лязгнул зубом и тени сгустились над банком Ефрема Балабоса, причиной лязганья была отнюдь не алчность лидера, но состояние Вооруженных Сил России, в частности, истребителей МиГ-29, грозной силы Российской Армии. Неожиданно выяснилось, что у восьмидесяти процентов самолетов, принятых на вооружение, отваливается хвост. Данную информацию президенту передали

на утреннем брифинге, и суть информации не сразу дошла до лидера нации.

— Хвост отваливается?

— Да, вашество, хвостовое оперение не прошло проверки.

— Что значит — не прошло проверки?

— Коррозия металла. Когда машина находится в эксплуатации, хвостовое оперение не выдерживает нагрузки.

— И что происходит?

— Когда самолет взлетает, у самолета отваливается хвост.

— Как это понять?

— Два самолета упали, пилоты погибли.

– Почему?

– Хвост отвалился, вашество. У самолета. Хвост. – И генерал-майор авиации Бобрусов, позитивный полный мужчина, показал движениями рук, как происходит взлет и как отваливается хвост у машины. Из трехсот сверхмощных истребителей четвертого поколения МиГ-29, принятых на вооружение в девяностые годы, забраковали больше половины, а остальные допустили к полетам при условии периодического контроля. – В стратегических разработках упор делаем на СУ-27, – сказал генерал-майор, смягчая неприятную новость. Не катастрофа, конечно, – еще и

СУ-27 имеются, и МиГ-35 на подходе, не трагедия. И все же неприятно: обороноспособность страны пострадала; нетрудно вообразить реакцию тирана Джугашвили, если бы генерал-майор авиации доложил ему о такой потраве. Президент страны некоторое время смотрел перед собой, сжав губы. Нет, не диверсия, не саботаж, что-то еще. Но что же? Тот, кого западные газеты и оппозиция сравнивали с жестокосердным Иосифом Виссарионовичем, не имел оперативного решения по поводу коррозии хвостового оперения истребительной авиации. Это вам не

шарашки организовывать из узников ГУЛАГа, не Илюшина с Яковлевым жучить, не конструктора Королева распекать – мы не в рабской стране живем, господа. Бюджет расползался как взбесившееся тесто – проложить один километр дороги стоило теперь 35 миллионов евро, а дороги в России перекладывали каждый третий год. А тут еще эти МиГи. Если вдуматься, сколько истребителей мы закопали в землю, вся оборонная авиация похоронена под непрочным слоем дорогого асфальта. Какой уж тут Сталин, господа, какие Микоян и Гуревич.

– Надо с Кессоновым побеседовать, – принял решение

президент. И впрямь, в любом вопросе существует профессиональное знание, корпоративная ответственность; не исключено, что целевой ремонт хвостового оперения даст возможность реализовать продукцию. — Где только истребители не требуются; в Эфиопской войне, помнится, МиГ-27 применяли...

— И в Югославском конфликте, — напомнил генерал Бобрусов, не уточнив, что силы НАТО сбили одиннадцать МиГов, не потеряв при этом ни единой машины.

— Кессонову разобраться. По возможности — продать. —

Государственное решение найдено, но настроение испортилось. Вот такой факт – коррозия хвостового оперения истребителя – это общая боль, у каждого гражданина должно щемить сердце. Но подхватит данный факт какой-нибудь щелкопер из либеральной прессы, и начнут газеты мусолить подробности, полоскать грязное белье Генштаба. Примутся считать квадратные метры генеральских дач, станут искать мифические дворцы президента, выковыривать подробности из биографий. Вместо того чтобы болеть за страну, переживать ее беды как свои, зоилы станут зубоскалить: мол, у России хвост отвалился. Одно

утешало: либеральной оппозиции было наплевать на состояние Вооруженных Сил тоталитарной державы – лучшие либеральные умы в эти дни заняты подготовкой праздника в Лондоне, в финансовой столице пройдет благотворительный маскарад. Не заметят, стороной пройдет; попляшут, частушки споют, а когда вернутся – кто про эти истребители вспомнит? И упругой военной походкой лидер нации отправился на встречу с банкиром Балабосом – ни единой свободной минуты в графике.

— Могу я вас пригласить? — сказал Чичерин серому человеку. — Не в ресторан и не в казино приглашаю, не пугайтесь. Взятку не предлагаю... Хочу пригласить вас пройтись по коридору, поболтать. Беседовать, глядя друг на друга через стол, тяжело... За столиком мы однажды сидели... Помните, беседовали во французском посольстве.

Семена Семеновича конвой уже вывел прочь из кабинета, и адвокат остался со следователем наедине. Адвокат потрепал серого человечка по плечу.

– Я тот наш разговор храню в памяти, не раз к нему возвращался.

– Прошу вас, господин Чичерин, не связывать наши споры с делом Панчикова.

– Как можно... Но мысль эта журналистам непременно придет в голову... Найдется писака, напишет, что свели счета... Пройдемся? Словно мы античные мыслители и гуляем по паркам Академии...

Адвокат Чичерин подхватил следователя Щербатова под руку и увлек его в коридор. Коридор следственного управления на греческую Академию походил мало: щербатый кафель и кривые стены, покрашенные серой масляной

краской поверх трещин и сбитой штукатурки.

— Забудем разногласия, договорились? Вы — за красных, я — за белых, что с того?

— Согласен.

— Подозреваю, вы считаете меня классовым врагом, — с улыбкой заметил Чичерин, — заметил в вас этаким латентный марксизм.

— Ну что вы, — сказал Петр Яковлевич, словно его уличили в битье стекол, — какой же я марксист.

— И прекрасно! А я — не представитель класса эксплуататоров... Род Чичериных, как вы знаете, происходит из Тамбова. Самая глубинка.

Крестьянские мятежи, тамбовские волки... Мы, Чичерины, люди простые.

— Как интересно, — сказал следователь. — Я вас слушаю, господин Чичерин.

Они прогуливались по коридору, и Чичерин еще раз подчеркнул торжественность момента:

— Адвокат и следователь, в русской истории — классическая пара. Историю, Петр Яковлевич, вы отменно знаете... и параллели наверное отыщете.

— Утилитарно подхожу. Кое-какие уроки извлекаю.

— Подходите к делу как следователь. Грозились проверить

свидетеля Мельгунова и его книгу «Красный террор». Помните спор?

– Конечно помню.

– Я утверждал, что красный террор имел место, и сослался на свидетельство Мельгунова, помните? Вы свидетеля захотели проверить... Не спрашиваю о результатах, понимаю – времени в обрез!

– Навел справки. Мельгунов Сергей Петрович; выпустили за границу по личному распоряжению товарища Уншлихта, первого заместителя председателя ВЧК-ГПУ. И это в те годы... Как доверять таким свидетелям? Мельгунов перед войной призывал избавиться от Советской власти любыми методами

— вплоть до иностранной интервенции. С атаманом Красновым дружил... Эту книгу Мельгунов писал в Париже, по заказу атамана Краснова. Вот и получается...

— Стало быть, все, что у Мельгунова написано, — подлог. И террора не было... и революции не было... денег в plombированном вагоне не было... И дело Ленина тоже сфабриковали... — добродушно сказал Чичерин.

— Указание сфабриковать дело о plombированном вагоне дал французский чиновник Альбер Тома — он приезжал в Россию, добивался продолжения войны после

Февральской революции.
Фотография есть: Тома перед строем русских воинов вместе с Керенским, солдатам шляпой машет. И документ имеется насчет Ленина...

– Сами видели этот документ?

– Фотографию документа видел.

– Видите, – сказал Чичерин, улыбаясь, – сколько тайн известно! Как Гитлера поддерживали, вы тоже знаете...

Адвокат придерживал слодователя за локоть и говорил мягко, распевно; давно известно, что всякую серьезную беседу надо начать издалека.

– Гитлера разные деятели подкармливали, – сказал Щербатов, –

Например, семья президента Буша снабжала деньгами НСДАП, был такой банкир Прескотт Буш, отец одного президента и дедушка другого. Он в Гитлера деньги вкладывал. И Форд поддерживал...

— А что если это ошибка? Дезинформация? Фотография поддельная?

— Возможно и так. Проверить надо, в архивы заглянуть.

— А если в архивы фальшивый документ положат?

— Тогда надо решать по косвенным уликам...

— А если улики подбросили?

— Тогда надо сравнить с другими делами. Есть история прецедента.

Надо понять логику всех процессов.

— История — это большой судебный процесс, — глубокомысленно сказал адвокат. — Задача историка, как и задача адвоката, не допустить обвинения невинного. Хочу намекнуть на одну тонкость, позволите?

— Прошу вас, — сказал Петр Яковлевич.

— Про дело Бейлиса слышали? Антисемитский процесс: мол, жида кровь младенцев пьют. Задумайтесь над этим делом. Мы с вами про большевистскую революцию и германские деньги рассуждали. И вы разумный аргумент привели — я-то оценил ваш гибкий ум! Какая выгода

немцам оттого, что революция их собственную страну развалила? Кажется, аргумент весомый... А что если это не немцы деньги дали, а немецкие евреи? Готовили развал европейского мира? Есть версия, что и германский фашизм сами евреи подготовили. Говорят, и Гитлер еврей, и Гесс еврей, и Гейдрих еврей, и Гиммлер еврей? Слышали про такое?

— А что это меняет? — спросил Петр Яковлевич. — Допустим, они евреи, ну и что с того?

— Как вы не понимаете! Если доказать, что Гитлер и Гейдрих евреи, значит, проблемы антисемитизма в мире нет! Этим

доказательством неофашисты и заняты! Связь с нашим делом — прямая: арестуете Панчикова и возбуждаете антиеврейские настроения, нагнетаете и без того гадкую атмосферу... Дискредитируете либеральную оппозицию... Намекаете на то, что оппозиция у нас состоит из сионистов, даете карту национал-патриотам. — Адвокат Чичерин возвысил голос при последних словах, ему показалось, что эффект достигнут.

— Что вы предлагаете?

— Предлагаю подумать над тем, что наше с вами противостояние не измеряется делом Панчикова. Речь

идет об ином.

— О чем же?

— Россия переживает судьбоносный момент своей истории — возвращение к Западу. Блудная дочь, когда-то бежавшая из дома... — Чичерин улыбнулся своей метафоре. Все-таки адвокатам приходится прибегать к образам. — России трудно вернуться домой. Снова спорят два лагеря: западники и славянофилы, сегодня лагеря именуются: либералы и охранители. Терминология осталась почти без изменений — изменились фигуранты процесса. Возьмем нынешнее дело. Кажется, что мы занимается детективным расследованием, но в реальности —

занимаемся большой историей!
Панчиков – представитель крыла
либералов.

– И как надо поступить?

– Понять, в какой находимся
ситуации.

– Я понимаю ситуацию. И
представляю свою профессию
иначе, – сказал Петр Яковлевич.

Они шли по коридору рука об
руку, и Щербатов тихо говорил
Чичерину:

– В юности я много беседовал с
тремя старушками – у меня сразу три
бабушки, так сложилось. Мои
бабушки обеспокоены нарушением
прав людей в мире – вы знаете,
старым людям постоянно кажется,

что их права ущемляют. Мы часто сидим на кухне и перебираем неприятности. Жизнь им досталась нелегкая. Вы представляете.

Адвокат покивал.

– Старушки постоянно говорили о своих бедах, и однажды я захотел понять, что же происходит с пресловутыми правами и свободами. Стал разбирать криминальные случаи и анализировать; вычленил три типа фундаментальных нарушений. Существует три этапа нарушения основной заповеди. «Можно убивать» – вот фундаментальное отрицание первой заповеди Моисея. «Можно убивать евреев» (или русских, или армян, или

стариков) — вот нарушение, как кажется, меньшего масштаба. «Можно убить человека, который мешает» — это нарушение, с которым мы сталкиваемся чаще всего. Какое из трех нарушений страшнее, спросил я себя. Первое? Первое нарушение принадлежит дикарскому сознанию, оно страшно сразу для всей цивилизации, и его проще всего опровергнуть. Второе утверждение принадлежит уже сознанию культурному, и оно страшнее тем, что не опровергает основной заповеди, а корректирует ее. Когда говорят «можно убивать евреев», при этом выводят евреев за рамки человечества. Нацисты так и

говорили: «недочеловек». И про русских немцы говорили: «азиатские варвары». Получалось, что сами убийцы находятся внутри нравственного закона, а убийством занимаются вовне, на периферии. Это нарушение такого же типа, как, например, колониализм. В метрополии не могут знать, как обращаются с туземцами, как угнетают африканских рабов. Внутри цивилизации действуют законы культурного общежития, а за границей цивилизации — правила звериные. Вот в этом пункте рассуждений я уперся в проблему, которую не смог разрешить.

— Так-так, — сказал адвокат.

— То, что мы называем колониальным сознанием, порождено развитием цивилизации, прогрессом, не так ли? Именно прогресс сделал разницу между дикарем и цивилизованным — заметной. Размышляя над этим, я увидел, что существует как бы замкнутый круг нравственной рефлексии. Мы хотим цивилизовать мир, чтобы основная заповедь преодолела варварский подход к жизни другого. Но продвижение цивилизации неизбежно предусматривает иерархию отношений, то есть внедренный в мир колониализм. Даже Маркс писал о том, что колониализм

прогрессивен. И вот мы неизбежно прибегаем к иерархии, чтобы вести вперед, а сама иерархия ведет в бесправное поле, где убийство дозволено. Мы решаемся убивать дикарей ради общего прогресса — ради гипотетического равенства прав. Этот кульбит в морали напомнил мне трюк с поправками в законе, дополнительный параграф, смягчающие обстоятельства: «необходимая самооборона», «состояние аффекта», «опьянение». Заповедь «не убий» действует, но существуют смягчающие обстоятельства; убить можно, если человек — еврей. Вот вопрос, обращенный к цивилизации: как

можно считать прогресс – благом, если прогресс предполагает иерархию иную, помимо духовной? Ведь всегда так будет, что цивилизованный человек сможет использовать аргумент «защита цивилизации», как используем мы в суде аргумент «необходимая самооборона». Вы следите?

– Да. – Адвокат Чичерин действительно слушал внимательно; он не подозревал в сером своем собеседнике способности к столь долгой речи. – Слушаю.

– В идеале мы стремимся избегать смертной казни, но стараемся маньяка – лечить, а преступника – изолировать.

Убийство аморально в принципе, и убийством нельзя защитить мораль.

– Но Господь сжег Гоморру.

– Да, Господь сжег Гоморру, а союзники Гамбург с Дрезденом обратили в пепел, но хорошо ли это? – спросил серый человек. – Я однажды спросил себя: хорошо ли сжечь Гоморру дотла?

– Если это спасет невинных людей, – сказал адвокат.

– А если не спасет? – спросил следователь. – Цивилизация верит, что вразумление ограждает от грядущих преступлений, но сама цивилизация в поступательном движении несет иерархию морали. От имени кого мы будем жечь Гомору

и рушить Дрезден?

— Мы будем жечь Дрезден от имени сожженных евреев, — сказал адвокат.

— И поверим в то, что британские летчики действовали во имя евреев, которых еще не успели убить? Дрезден бомбили, чтобы не было убийств в будущем? Дрезден сожгли во имя всякого меньшинства, которое в будущем убьют на том основании, что есть закон более верный, нежели мораль этого меньшинства? Каждый новый закон будет лучше прежнего, потому что идет прогресс, и меньшинство будет появляться все время — из тех, кто не успел научиться. Не важно, как

сформулируют понятие меньшинства в следующий раз. Экономист может сказать: «Вы не вписались в рынок», колонизатор может сказать: «Вы не понимаете принципа демократии», — но каждый раз будет обозначено меньшинство, которое чем-то хуже титульного населения. То, что мы называем свободой, есть лишь закон, превосходящий мораль униженного меньшинства.

— Я полагал, — сказал адвокат, — что свобода — понятие постоянное, и я отстаиваю тот же принцип свободы, который отстаивал бы триста лет назад. Свобода — всегда одна.

— Но тогда не убивайте никого! —

крикнул Петр Яковлевич и повернул серое свое лицо к адвокату. Крик напугал адвоката Чичерина, адвокат отшатнулся. — Простите меня, — серый человек смутился, — я просто волнуюсь. Исходите из того, что убийства не должно быть вообще. Я потому и стал следователем, что всякое убийство — зло, и всякое убийство должно предстать перед судом. Однажды я решил, что буду следователем и раскрою каждое преступление — потому что даже малое и невольное, оно преступление перед Богом. Я не вижу оправдания никакому преступлению черты.

— Так вы и в Бога верите? —

спросил Чичерин с доброй улыбкой.

– Верую, – сказал следователь.

Адвокат – на мгновение лишь! на единую секунду! – вернулся к своей первой реакции: собеседник его психически нездоров. Не хватало еще, чтобы майор Щербатов осенил себя крестным знамением. Чудные времена настали, граждане.

– Однако, – сказал Чичерин, улыбаясь, – история показывает, что свобода одного часто противоречит свободе другого. История человечества есть постоянное внедрение одной свободы поверх и вопреки другой свободе. Это, нравится вам или нет, – примирительный жест рукой, –

просто рынок человеческих отношений. На рынке мы вправе выбрать товар. Но не вправе отменить соревнование. Так точно и в убеждениях. Однажды надо решить, на чьей ты стороне — на стороне свободы нацистов или на стороне свободы евреев. Но даже когда вы сделаете свой выбор — нацисты и евреи не перестанут существовать... Это детектив, в котором у каждого есть основания убить, хотя убийца только один. Наша с вами задача (не сердитесь, что объединил нас, — все же оба мы радеем за правду), не допустить беспорядка на рынке свобод. Нам — и адвокатам, и следователям — надлежит зорко

смотреть, чтобы правила соревнования соблюдались честно.

— Разве есть такие правила? — спросил Щербатов.

— Как во всяком состязании, — ответил Чичерин мягко. — Есть свои правила и здесь. Вот если вы мне скажете, что эти правила несовершенны, я с вами соглашусь. Ах, милый Петр Яковлевич! Разумеется, несовершенны! И законы российские несовершенны тоже! Условия таковы, каковы они есть, — и мы работаем в этих условиях. Россия не католическая страна, у России нет колоний, в России холодно... Я не в силах эти данности поменять. И мой подзащитный — не ангел. И Базаров,

кого я так удачно защитил, — не агнец... И все-таки я горд своей работой. Моя семья, милый Петр Яковлевич, всю жизнь служит России. Мой прадед Борис Чичерин написал учебник, трактующий социальные науки со времен Птолемея... прививая российскому студенчеству мысли о праве. Так, по капле, по запятой внедряли мы право в бесправную страну. Мой дед Георгий Чичерин — тот самый нарком, что вместе с Лениным подписывал злосчастный Брестский мирный договор... Думаете, ему легко далась служба у большевиков? Помилуйте, он ведь до семнадцатого года был меньшевик! Он же член

социалистической партии Англии! Он ведь был подлинным европейцем! Но долг свой видел в том, чтобы внедрять закон — постепенно, пункт за пунктом, в варварскую страну... Это в нашей семье традиция, Петр Яковлевич.

— Вы думаете, ваши деды стали бы защищать бандитов? — спросил Щербатов.

— Петр Яковлевич, не надо употреблять этот бездоказательный термин. Бандит ли Барбаросса? Бандит ли Юлий Цезарь или Уинстон Черчилль? Я как адвокат обязан исходить из невиновности каждого. Как либерал я поддерживаю свободу каждой личности. И буду

служить любому, даже если молва огульно обвинит его в бандитизме. Святых нет нигде. Но закон для меня и есть единственная святыня. Закон, он и в истории, и в криминалистике – один. А для вас разве не так?

– Нет, – сказал Петр Яковлевич. Серый следователь пригладил редкие волосы на своей лысой голове, нахмурился, голос его звучал строго. – История – это отнюдь не детектив, история – прямая противоположность детективу. Вы мне сказали, что неонацисты хотят представить самих Гитлера с Гиммлером евреями и опровергнуть тем самым Холокост. В бытовом детективе от изменения личности

преступника преступление может предстать иначе. В масштабах истории — изменится не преступление, а мотив преступника. Совершенно не нужно опровергать тот факт, что Гитлер и другие нацисты — евреи. Допустим, сами палачи тоже евреи. Что это означает? Что шесть миллионов евреев не убивали? Даже допустим, что цифры поддельные! И что же, евреев не убивали прежде в Египте, в средневековой Испании, в Польше, не жгли евреев на кострах и не зарывали живыми в землю? Все века исторического насилия над меньшинством разве будут опровергнуты тем фактом, что у

Гейдриха есть еврейская кровь? Это крайне мелкая деталь, которая вписана в неизмеримо большую картину. Пусть главные фашисты – евреи и лишь притворялись немцами – значит ли это, что не было истории Германии с ее Крестовыми походами? Не было резни в Палестине, и Холокоста не было? Это вряд ли может означать, что выдумали всю многовековую историю Европы, проповеди Лютера, протестантские охоты на евреев. И неравенство было, и мораль победителей была, и, если Гитлер и Гимлер – евреи, произошло нечто обратное отрицанию антисемитизма: они как раз подтвердили

притягательность идеи
антисемитизма. Они снова, увы,
подтвердили, что теория
уничтожения людей по расовому
признаку настолько привлекательна,
что убийце хочется утаить свое
происхождение, чтобы получить
теоретическое обоснование для
убийства себе подобных. Тот факт,
что Гитлер еврей, не опровергает
наличия антисемитизма, но ужас
антисемитизма стократно усиливает.
Отчего бы не поразиться тому факту,
что Гитлер – человек? Гитлер –
обыкновенный человек, с мозгами и
сердцем. Но то, что он – человек, не
отменяет факта, что он отдавал
приказы убивать людей. Мы можем

судить Гитлера по законам детектива и можем судить его по законам истории. По законам детектива есть градации обладания свободой и градации преступления. По законам детектива он получится косвенным виновником смерти миллионов, поскольку даже письменных распоряжений не давал об убийствах. По законам истории он и нацисты — убили миллионы людей; каким кодексом вы предлагаете руководствоваться в деле Гитлера? Вы несомненно помните казус Нюрнбергского процесса, построенного как детективный суд, когда формально судьи не могли уличить Геринга. Все знали, что он

повинен в Холокосте, но прямых улик не было — прицепились к расстрелу шестерых английских летчиков, а удушение миллионов доказать не смогли. Вот вам пример, коллега, как детективной меркой судят историю. Вы говорите мне, что надо выбирать ту свободу, которая видится сегодня гуманнее: свобода Александра Македонского — или свобода персидского воина? Свобода американского солдата — или свобода афганца? Вы предлагаете мне обеспечить честное соревнование этих свобод, сделать так, чтобы их борьба на рынке свобод была по правилам. А в дальнейшем — аплодировать победителю. Но

результат заранее известен! Не может безногий победить в соревнованиях по бегу, даже если соблюдены все правила. А значит, закон истории и закон криминальный — не одно и то же. Нет. Закон истории есть закон эпоса, а закон наших будней — он существует сегодня. И не говорите мне, что защищать бандитов — значит помогать прогрессу, потому что я видел нищих старух, которых они ограбили. И знаете ли вы, как я поступлю? — Петр Яковлевич посмотрел исподлобья на Чичерина. — Хотите ли, чтобы я вам сказал, какого принципа придерживаюсь? Я исхожу из того, что принять чужую историю уже

поздно. И вам и мне много лет, мы уже прожили свою жизнь, давайте умрем достойно. Нет собственной истории, и чужой тоже нет, а бандиты – это, извините, не история. Если у нас нет истории, а только набор дневных законов – что ж, я буду защищать каждую минуту, я буду бороться за каждый час, буду отстаивать дни. Если не смогу арестовать бандита за ограбление старушки, я арестую его за переход улицы в неподобающем месте.

– Вы говорите вещи, противоречащие нашей профессии, – сказал Чичерин.

– Теперь рассмотрим наш случай. Есть отпечатки пальцев на

ремне — этим ремнем конкретный Панчиков С. С. душил Мухаммеда Курбаева, это детектив. Вы спрашиваете: не повредит ли правда — репутации оппозиции. Я решил стать следователем для того, чтобы не смешивать эти понятия никогда. Мне безразлична репутация оппозиции. Метрические свидетельства Гитлера не отменяют факта Холокоста в истории двадцатого века, будь он хоть трижды евреем; а политическая борьба в России — не отменяет убийства татарина еврейским бизнесменом.

— Вы настаиваете на такой формулировке, коллега?

— Это ваша формулировка;

я говорю проше: Панчиков С. С. задушил Курбаева М. И.

Некоторое время коллеги гуляли молча по коридору следственного управления. Следователь Щербатов смотрел себе под ноги, а адвокат Чичерин изучал узоры на стенах, возникшие от потеков краски и облупившейся штукатурки. Затем адвокат сказал:

– Как бы то ни было, в финале вашего прекрасного рассуждения будет стоять конкретная работа. Улики, документы, свидетельства. Изготовить метрическое свидетельство Гитлера – полчас работы. Про Гитлера ничего не известно, про Буша ничего не

доказано, да и про Панчикова тоже не доказано. Белые – или красные, евреи – или нацисты, либералы – или охранители, это, коллега, вопрос позиционирования обвинительного акта. Отпечатки пальцев? Ерунда... Сотни способов есть, как отпечатки на ремень перенести. Не совершите ошибки.

– Постараюсь.

– Буду с вами откровенен, – сказал Чичерин, – у нас неофициальная беседа, я вас специально на прогулку пригласил. Гуляем по коридору... Не за столом... Без свидетелей. Вопрос, который хочу поднять, деликатный.

– Я вас слушаю.

— Вы говорили страстно, поверьте, я испытал к вам симпатию. Но всякая страсть чем-то инициирована — говорю вам это как человек, сидящий в судах всю жизнь. Вот я подумал: а что же стоит за вашей столь пылкой любовью к совести? Зависть к богатству? Нет, мелко, недостойно вас! Возможно, подумал я, вы ненавидите богачей, демократов, западников — потому, что они вам кажутся крепостниками. Наверняка считаете: используют народ в несчастной стране. Прав?

— Я так не говорил, — замялся Щербатов, и адвокат увидел, что он угадал.

— По глазам вижу, что прав!

Скорее всего, вы говорите себе так: я не люблю неравенство! И в вашей превосходной речи этот мотив был очевиден. Совестьливый вы человек, уважаю! Но вы не за совесть ратуете — давайте будем до конца откровенны: совесть — штука гибкая, у некоторых ее и вовсе нет! Вы ратуете за равенство и называете равенство — условием существования совести. Ведь так? — Адвокат сделал паузу, выжидая, возразит ли следовательно, но тот промолчал. — Равенство — это хорошо, — согласился адвокат. — И возможно (заметьте, я говорю: возможно!) вам кажется, что атака на либеральную оппозицию выгодна делу справедливости в

целом. Вы рассуждаете вот как: страна крепостная, бесправная, и свобода одного ущемляет свободу другого; так лучше пусть все будут одинаково несвободны — это честнее. Суждение резкое, но логически здоровое. Обращу ваше внимание вот на что: либералам в нашей стране исторически противостоят охранные структуры. Это такой клан, такая каста в обществе — силовики. Они регулируют справедливость, а сами стоят над обществом, они самые свободные люди в стране — самые главные либералы! Понимаете? Прошу, не перебивайте. Вы ведь не можете отрицать, что у всякого детективного дела есть историческая

подоплека? Вот известный детектив: пожар в Рейхстаге — но есть ведь и история за этим детективом! Даже сценарий сейчас возник: силовики против либеральных юристов. Вам, возможно (заметьте, я говорю: возможно!), кажется, что вы участвуете в борьбе. Как будто наверху идет реальная борьба. Так вот, поверьте: противоречий между силовиками и либералами нет. И сам президент нам только благодарен за все наши демонстрации. Есть у него какой-то расчет... Скрытый расчет... И думает президент точно так, как думаем мы, либералы, и даже деньги свои хранит в том же самом манхэттенском банке.

– Зачем вы мне это говорите?

– Говорю на всякий случай, чтобы иллюзий не возникло. Я не циник, но знаю жизнь. Бывают такие служаки, которые делают то, о чем их и не просят... Вам кажется, что вы демонстрации разгоните, Панчикова обвините в убийстве... отличитесь... либералов прогоните... поборетесь за равенство... Я угадал? Напрасно стараетесь. Равенства никогда не будет. Президент сам сторонник либерализации, он сам получает доход от приватизированной нефти. У вас, кстати, акции какие-нибудь есть?

– Нефтью не занимаюсь, – сказал серый человечек.

– Удобрения, алмазы, олово? Или только дом и жена? Это неофициальный разговор – я же взятку не предлагаю...

– Интересы у меня незначительные, – сказал серый человек. – Обычные домашние дела.

Чичерин попробовал вообразить дом серого человека – наверное, это бетонная двенадцатиэтажка, такая же серая, как и ее жилец. И жену серого человека постарался представить. Есть ведь женщина, которая его любит, бульон ему варит. Но облик женщины не получилось представить.

– Мой совет: не промахнитесь. Только кажется, что либералы в

оппозиции.

– Я не политик.

– Либеральная доктрина сложнее, чем представляется.

– Я простой следователь, господин Чичерин, мне сложности недоступны.

– Вот и будьте осторожнее, Петр Яковлевич.

Роман Фалдин приехал к зданию Следственного комитета, где шел допрос Панчикова, и стоял там вместе с двумя активистами, которые всегда стоят подле этого здания.

— Не знаете, Панчикова уже внутрь завели?

— Это которого за татарина взяли? — спросил бойкий человек по фамилии Клименюк, активист организации «Россия сидящая». — Завели уже... Его Щербатов допрашивать будет.

— Палачи, — сказал подросток в тонкой поролоновой куртке, лицо его было синим от холода. Подросток

достал пластмассовый рупор и стал кричать: — Па-ла-чи! Па-ла-чи! Свободу Панчикову! Свободу политическим заключенным!

— А много там политических? — спросил Фалдин.

— Вчера Пищикова привозили. Свободу Пищикову!

— Не Пищикову, — поправил Роман, — а Панчикову.

— Так это совсем другой человек. Но тоже узник. Он акции «Газпрома» подделывал. Свободу Пищикову!

Роман Фалдин не стал спрашивать, почему они защищают Пищикова.

На противоположном от них тротуаре собиралась группа

недобрых мужчин – и они тоже были с транспарантами. На транспарантах этой группы было написано «Воров за решетку».

– Враги наши пришли, – сказал юноша в поролоновой куртке, – их правительство посылает, чтобы наши митинги протеста блокировать.

От толпы врагов отделился человек, Роман узнал своего знакомого анчоуса с демонстрации на Поклонной горе, таксиста Костика по прозвищу Холокостин. Таксист тоже узнал Романа и помахал ему рукой.

– И ты здесь, кореш? – радостно закричал Холокостин. – Нас вот пригнали с либералами бороться!

Рад тебя видеть, земля!

Роман на всякий случай убрал маленький транспарант за спину. На транспаранте было написано «Свободу Панчикову!». Роман решил, что Холокостину эту надпись показывать не стоит.

– Ну что, и сюда пришел? Газеты сейчас как вороны, на любую мерзость слетаются. И тебя посылают... Эх, Ромка, тяжело тебе хлеб достается. Ну, повязали мужика. Ну, грохнул он татарина, и что тут писать? Не позорься, Ромка. Хочешь репортаж писать – вон, в Сирию езжай. Там репортаж накатаешь, тебе, может, тысячу долларов за него дадут.

– Это верно, – сказал Фалдин.

– На мазурика что смотреть?

Идем лучше пива выпьем.

– Холодно вроде для пива.

– Чешское пиво. И сто грам для согрева. Я тебе так скажу, – Холокостин обнял его за плечи, – выпить надо. Познакомился с дамой, – слово странно прозучало в устах Холокостина, – Катей зовут, русская. А муж еврей, бросил женщину с дитем. На богатую променял и молодую. Евреи, они всегда ищут, где послаще. Согласен?

– Бывает, – сказал Фалдин.

– На митинге познакомились, вот как с тобой. Представь, она про еврея помнит, не хочет меня знать.

Наши бабы отходчивые, все о своем Ройтмане помнит. Пошли выпьем.

Неожиданно для себя Роман согласился, и они пошли прочь от здания Следственного комитета; по пути Роман аккуратно опустил транспарант в снег.

Глава восьмая

Красное и коричневое

Среду брали полтора дня, подкрепление не подошло.

Когда немцев выбили, оказалось, что идти на Гжатск не с кем и удерживать Среду нечем – нет средств оборонять Среду. Им оставалось свернуть на Сычевку, до которой было семнадцать километров, – туда должны были выйти кавалеристы генерала Белова.

Мырясин наблюдал, как Дешков принимает решения; сам он совета не дал – но, объективно рассуждая, советовать здесь нечего, и так все ясно: оставаться – нельзя, в Гжатск – невозможно, Сычевка – давала шанс.

Дешков собирался пройти насквозь, единым махом, развалить город, как говорил в таких случаях покойный Гамарник. Но встали у железнодорожного вокзала Сычевки, закрепились в здании и пакгаузах, в складских помещениях. Лошадей завели внутрь, оставили с коноводами; лошади шарахались от стены к стене, вставали на дыбы, испуганные взрывами. Потом все стихло и рассвело. И лошади перестали ржать.

Четыре дзота — первую линию обороны — они подавили, из зданий товарной станции немцев выбили.

На всем пространстве между железной дорогой и первыми домами

города: на путях, платформах, на привокзальной площади, которую пересечь уже не могли, лежали убитые красноармейцы. Лежали и немцы, но немцев было мало. Впрочем, своих раненых немцы унесли.

Дешков, Успенский и Мырясин прошли по перрону в бетонный блок, где помещался кабинет коменданта вокзала; по пути Успенский подобрал офицерскую фуражку — показал остальным: «С почином, товарищи». Вошли к коменданту, Мырясин перевернул бумаги в ящиках. Посмотрел расписания и карты.

— Поразительный народ. Вошли на полчаса, но составили карты и

расписания.

Вдруг засмеялся, совсем некстати, как показалось Успенскому и Дешкову.

Майор Мырясин неожиданно превратился в мальчишку-хулигана, показывал им на бумагу и подмигивал:

— Знаете, как немцы Сычевку называют? Ссычевка! Не верите? Поглядите! — Он держал в руках план железной дороги, там было написано Ssitchevka, и его это веселило. — Все-таки какой дурацкий народ. Что ни сделают, все у них как-то... — и майор опять смеялся.

Смех его заразительно подействовал на Дешкова и

Успенского. Ну, что делать, укрепайон с налету не взяли, но все же они в Сычевке! В Ссычевке!

— Не ссы, мы в Ссычевке, — сказал майор Мырясин, и грубая эта шутка всем им показалась очень смешной.

Станция наша, говорили они друг другу, а это значит, что противник от коммуникаций отрезан, а наше подкрепление подтянется. Так сказал Успенский, а майор его поддержал.

— Разрешите высказать мнение? — сказал Мырясин. — Мне не кажется целесообразным продолжать атаку. Мы овладели стратегически важным пунктом, возможно

ключевым пунктом данного этапа операции. Следует использовать имеющиеся ресурсы и удерживать рубеж до подхода основных сил.

— Согласен, — сказал Дешков. Он думал иначе.

Он думал, что сумел бы взять Сычевку. Они бы потеряли еще больше людей, но прошли бы, не снижая аллюра. И вторую линию обороны прошли бы. Там, на поле, убили многих, точные сводки о потерях еще не поступили. Наст выдержал первые ряды конников, но лошади в галопе разбивали наст, и задние ряды шли в снежном месиве, кто-то увяз. Первые всадники уже вступили в бой с дзотами, стоявшими

на насыпи, подавили пулеметные точки, но пока хоть один пулемет работал, этого было достаточно, чтобы убивать увязших в снегу конников. Их расстреляли в упор. И теперь Дешков не мог отдать приказ о новой атаке.

Это он приказал штурмовать дзоты, это он приказал скакать галопом через глубокий снег — он даже не знал людей, которым приказал идти в атаку, а эти люди уже убиты. Прежде Дешков не думал, что ему надо знать солдат, с которыми он вместе служил; и сейчас понял, что не знает имен конников, убитых сегодня из-за его приказа. Теперь он отвечает за жизнь

незнакомых ему людей – а когда отдавал приказ, он этого еще не успел понять.

– Согласен, – сказал он.

– Поддерживаю, – сказал Успенский.

– Сколько человек убито? – спросил Дешков.

– Кто сейчас посчитает, командир, – сказал Успенский. – Доживем – посчитаемся. Ты командующему сигнализируй – основные силы подключать.

– Следует оповестить соседей. Ждем кавалерийский корпус генерала Белова. Предлагаю связаться не только с нашими частями, но сообщить также в штаб

29-й армии, – сказал Мырясин, обращаясь к Дешкову как командиру. Он выбрал особый тон в разговоре с Дешковым: обращался к нему как к старшему по званию, но требовательно. Дешков оценил интонацию. Так, верно, говорил Ришелье с Людовиком во время осады Ла-Рошели. – 29-я, по нашим сведениям, в нескольких часах пути, переходят Волгу – если уже не перешли. Они могли бы выслать подкрепление, сделать бросок. В сущности, мы берем в кольцо фрицев. Разрешите, отдам приказ наладить связь со штабом армии?

– Действуйте, – сказал Дешков.

– Помимо прочего, я обязан

доложить начальству о проведенном бое. Сообщить о факте саботажа во время атаки, о том, что командование полком взяли на себя вы, а руководство политчастью приходится на меня. Разрешите действовать? – Мырясин выговаривал эти слова «разрешите действовать» без издевки, но с твердостью старшего.

– Действуйте, майор. Предлагаю связаться также с командным пунктом 29-й армии, – сказал Дешков, как будто эта мысль принадлежала ему самому. И сказал Успенскому: – Распорядитесь занять круговую оборону. Раненых – в здание вокзала. Пленных доставьте

сюда.

— Один у нас пленный.

Ввели опрятного солдата, одетого в русский ватник, — пленного конвоировали двое, а Додонов стоял сзади, держал упертый в поясницу пленного карабин.

— Русский он, — сообщил Додонов, — обычный русский мужик, предатель просто.

— Я не русский, — сказал пленный по-русски. — Я немец.

— Он русский, — сказал Додонов. — Такой же русский, как ты и я, только служит у фрицев.

— Я немец из Латвии.

— А Латвия что, не Россия? — спросил неприязненно Успенский.

Успенский и Додонов глядели на пленного во все глаза: столько раз они слышали слова «враг народа», но близко видели врага народа впервые. Мырясин, в отличие от них, насмотрелся на врагов народа достаточно.

— Из остзейских баронов? — сказал Мырясин, с той интонацией, которая появляется у работников правоохранительных органов, когда они оглашают состав преступления.

— И ватник на нем советский, — сказал Додонов. — Перебежчик. — Додонов посмотрел внимательно. — И сапоги наши. И портки наши. Если ты немец, откуда у тебя русская форма. С убитых снял?

– Ношение формы противника в условиях боя является военным преступлением, – сказал Мырясин. – За это не расстреливают, а вешают.

– Мы не думали, что начнется бой, – сказал пленный. – Имеем две формы: германскую и советскую.

– Так ты переодеться не успел? – сказал Успенский. – Рано мы слишком, да?

– Это Бранденбургский полк, – сообщил Мырясин, – диверсанты. Имеем сведения. Там и русские тоже есть. Это ты в репродуктор орал: солдаты, бросайте свои части и уходите в леса?

– Предатель, – сказал Успенский. – Враг народа.

– Вот, возьми, – сказал Дешков и дал пленному бумагу, взятую со стола у коменданта, – нарисуй нам план укрепрайона. Где боеприпасы. И где командный пункт. И где лагерь военнопленных. И сколько где бойцов. – Он повторил еще раз: – И где лагерь военнопленных.

– Как же на таком важном документе рисовать, – сказал пленный рассудительно. – Вдруг господину коменданту этот рапорт нужен.

– Понимаешь сам, мне тебя допрашивать некогда. Пленных не берем и не допрашиваем. Если сам хочешь говорить, тогда говори, – сказал ему Дешков.

– Вы не можете расстреливать пленных согласно конвенции.

Пленному никто не ответил. Пленный перевел глаза с Дешкова на Мырясина, потом стал говорить. Мырясин комментировал детали рассказа. Чего-то не знал и Мырясин.

Бранденбургский полк был сформирован по инициативе гауптмана фон Хиппеля, одобренной фюрером, в отличие от многих иных инициатив. Энтузиасты Германии не остались безучастны к призывам вождя; так, в 1934 году, выступая перед студентами Фрайбургского университета, профессор Хайдеггер призвал их разделить общий труд нации – сказал, что всякий труд как

таковой является духовным, — и это безусловно стимулировало трудовое (оно же духовное) поприще.

Инициатив было столь много, что Герману Герингу пришлось ликвидировать так называемые «дикие лагеря», самостийно организованные военными чинами для укрощения неполноценных граждан и преступников. В таких лагерях не было того порядка, коим славился впоследствии Аушвиц, но функционировали любительские лагеря исправно — лагерь на общественных началах в Бреслау, организованный по инициативе полицейского комиссара Хайнеса, «дикий» лагерь в Берлине,

организованный Карлом Эрнстом из руководства СА. Впоследствии опыт «диких» лагерей пригодился в Латинской Америке, где некоторые нацисты воспроизводили в условиях небольшой деревни классический штатлаг.

Инициативой снизу было и создание Бранденбургского полка. Полк предназначался исключительно для диверсий – туда вербовали носителей языка тех стран, с которыми воевали. Солдаты Бранденбургского полка носили форму противника, проникали на территорию врага и взрывали мосты, ликвидировали посты, нарушали связь. Война с Россией официально

началась 22 июня, но бои шли с 21-го – бойцы Бранденбургского батальона, одетые в советскую форму, взорвали мосты у притоков Березины. В Мочульских лесах дислоцировали 1-ю балтийскую роту Бранденбургского полка – солдаты действовали разрозненно, никогда не вступали в прямой бой, передвигались вместе с противником, часто присоединяясь к раненым и обозам. Частично это рассказал Мырясин, кое-что сказал сам пленный.

– Это ж как понять, – сказал Додонов, – диверсанты вы, что ли?

Немец из Риги нарисовал план укрепрайона, объяснил, что склада боеприпасов в Сычевке нет. Он

говорил спокойным голосом, вел себя как и надлежит пленному солдату: очевидные вещи рассказывал, о секретных не говорил.

— Подкреплений вы ждете?

— Не могу знать. Снарядов мало, воевать нечем, должны подвезти. — Поскольку это было общей бедой, Дешков поверил. Норма эксплуатации пушки была — два снаряда на день.

— Может, домой вам всем пора? — Додонов спросил. — Загостились вы у нас.

— Отсюда никуда не отойдем, — сказал пленный. — Приказ фюрера.

Действительно, Гитлер приказал остановиться, ни на шаг более не

отступать, удержать рубеж, достигнутый 3 января. Гитлеровский приказ «Ни шагу назад» прозвучал на полгода раньше известного сталинского приказа № 227. Гитлер обо всем подумал — даже и о Сычевке; он изучил карту и дал указания точнее фон Бока и фон Брайхича. Двадцатого декабря сорок первого года Гитлер принял на себя командование всеми сухопутными силами рейха — а главнокомандующий фельдмаршал Браухич отправился домой «по болезни». По причине болезни оказался отозван и генерал фон Бок, возглавлявший группу «Центр»; Гитлер назвал генеральский недуг

«русской болезнью».

В те дни Гитлер был возбужден, война буксовала. В Африке осаду Тобрука пришлось снять – проблемы с ресурсами армии. В России – разрыв фронта в районе Оки, осада Севастополя, которая затянулась. На место фон Бока был назначен фон Клюге. Девятой армии отступать запретили. Приказ удержать железнодорожный узел Сычевка (Ссычевка, как произнес Гитлер, который не любил свистящие и шипящие русские слова) был дан подробный. Генералу Моделю, новому командующему 9-й армией, оставалось приказ воплотить – и не попасть в окружение советских

армий. Предстояло сшить разорванное, а разорвано было во многих местах. Генерал Модель отдал первые приказы: 3-я танковая армия удерживала русских на востоке, чтобы дать возможность маневра; 1-я танковая дивизия снята с восточного направления и послана на Сычевку; танковая дивизия СС «Рейх» выделяла полк «Дер Фюрер», бойцы испытанные – придут в район Сычевки к вечеру. Пока эти части были в пути, Модель собирал хоть что-то, что можно бросить в бой немедленно. Держать надо сейчас – минута, и все пропало. Генерал Адольф Штраус, которого отставили, сдавая дела, указал Моделю на

тонкое место в обороне — вся армия была подвешена на нитке, соединяющей ее с фронтом. Указал Штраус — и отбыл в Берлин.

— Что, побежал ваш генерал Штраус? — сказал Мырясин, демонстрируя отменные знания командного состава армии противника. — Наподдал ему товарищ Конев, и мы немного маршалу Коневу помогли. Теперь и фон Бока в Берлин позовут. На партактив.

— Фон Бок уже в Берлине, — сказал пленный. — Группой «Центр» командует генерал фон Клюге. — Это были общеизвестные сведения; секретов пленный не раскрыл: именем фон Клюге подписывали

листовки, которые разбрасывали по лесам и болотам Ржевского района.

— А в 9-й армии Штраус еще командует? Ему сколько лет? Семьдесят?

— Теперь генерал Вальтер Модель. Его не победить, — сказал пленный. — А генерал Штраус уехал.

— Товарищи офицеры, — сказал Мырясин, наблюдая за тем, как телефонисты тянут кабель, — разрешите вас поздравить: двух генералов мы уже отправили на покой.

— В Сычевке лагерь для военнопленных есть? — повторил Дешков.

— В каждом пункте обязан быть

дулаг. Есть дулаг в Ржевске, образован из бывших складов зерна. Есть в Вязьме – большой. В Сычевке дулаг невеликий.

– Что такое дулаг?

– Пересыльный пункт. В распределительном центре армии решают, куда сколько послать. Когда пленных берут, их сначала этапируют в дулаг. Сортируют. Потом этапируют дальше.

– Куда?

– Не могу знать.

– Отвечай.

И совсем дикий вопрос задал Дешков:

– Видел женщину с ребенком?

– Какую женщину?

– Просто женщину с ребенком.

– Много таких. Как могу знать?

– Отвечай про всех, – сказал

Дешков. – Расскажи про всех женщин подробно.

Времени на подробный рассказ не было, но Дешков спросил.

– Вы наших женщин насиловали, – сказал пленный. – Вы нас родины лишили.

– Как пленных этапируют?

– Колонной по шестеро.

– Пешком?

– Транспорта для пленных нет.

– Ну что ты с ним разговариваешь? – сказал

Успенский. – Много он тебе расскажет?

– Латыши вообще молчаливые, – сказал Додонов. – С латышами не поговоришь. У меня знакомый был латыш...

– Потом расскажешь, – сказал Дешков.

– И куда латыша этапировать? – спросил Додонов.

– Пленных не берем, – сказал Дешков

– Мы с вами условились, – сказал пленный. Он говорил по-прежнему негромко и аккуратно ставил слова, но лицо его изменилось.

– Действуй, – Дешков сказал Додонову.

Пленный вздохнул всей грудью,

еще раз вздохнул и еще – ему было страшно, но голос остался тихим. Он сказал так:

– Вы ненавидите меня, а я ненавижу вас. Стольким людям жизнь сломали, оттого что сами жить не умеете. Поэтому война. Пленных не убивают. А вам закона нет. Захватили мою страну, убили моих родных. Теперь меня убьете. Не спрячетесь. Вас ваши собственные жидаы в лагерях затопчут. Я хочу, чтобы ты узнал, красный палач, как бывает, когда твою жену топчут ногами.

Его никто не перебивал. Он сам остановился, когда все сказал.

– Вы слышали приказ?

Выполняйте, – повторил Дешков.

Додонов ответил:

– Понял. Слушаюсь.

Двое красноармейцев вывели пленного из здания вокзала, отвели к отцепленным вагонам, прислонили к дощатой стене вагона. Пленный ни слова не говорил, лоб его вспотел. Додонов отошел на три шага и выстрелил пленному в голову.

Потом вернулся в кабинет коменданта, сказал:

– Приказ исполнен.

– Займись пулеметами. Бери из немецких дзотов и ставь так, чтобы площадь держать.

Успенский сказал:

– Выродок этот, из Латвии.

– Мужик как мужик, – сказал Додонов, – говорю же тебе: русский, просто предатель.

Дешков вышел, собрал шестерых конников, они занялись пулеметами. Два пулемета были повреждены, но четыре уцелели, их вытащили через узкие двери-щели бетонных дзотов, и разместили пулеметы так, чтобы стрелять по площади. Обнаружили пулемет незнакомый прежде, длинноствольный, тяжелый – «Пушка, что ли? как втащили? тяжесть смертная... фрицу только прикажи...». Дешков видел, как люди переносят разлапистую станину – они шли мелкими шажками, согнувшись, вцепившись

лиловыми пальцами в сталь, шеи вздулись от напряжения, рты оскалены. Солдаты прошли под самым окном, срезаны до плечей оконной рамой, видны были только искаженные усилием лица. Один из солдат словно кричал ему что-то, искаженное криком лицо было обращено к Дешкову, но Дешков понял, что крика нет, просто рот солдата распахнут от неимоверного усилия.

Мырясин закончил разговор по телефону, подошел к офицерам и сказал:

– Разрешите доложить. Как было приказано, связался с руководством. Ожидается подкрепление. В течение

ближайшего времени десантируют три парашютно-десантные роты. Держим связь. 29-я армия перешла Волгу — будут завтра. Сычевка оказывается стратегическим узлом операции. Похоже, генерал Модель в окружении. И здесь есть наша заслуга, товарищи. — И Дешкову, торжественно: — Руководство утвердило ваше командование полком. Разрешите поздравить, товарищ полковник.

Отдал честь Дешкову.

— Полк принял, — сказал Дешков.

Генерала Вальтера Моделя назначили командующим 9-й армии 16 января — к тому времени вверенная ему армия была практически окружена. Впрочем, обе русские армии, которые брали его в кольцо, сами оказались в окружении — между континентом немецкого фронта и островом армии Моделя.

Русские окружали немцев, а немцы окружали русских — они были рассеяны в Ржевском районе, части армий отрезаны друг от друга болотами, холодным лесом и противником. Острова в болоте. Генерал Модель двинулся вперед —

это напоминало китайскую игру го: если не окружишь противника, противник окружит тебя. Двинул вперед 6-й корпус – отрезать 29-ю русскую армию от 39-й армии. Одновременно свой 23-й корпус, оторванный от основных сил у города Оленино, пошел на соединение с корпусом 6-м. Тысячи людей пошли через снежные заносы, потащили пушки через сугробы, повели лошадей по льду болот. Надо было двигаться как можно быстрее, пока русское кольцо не сомкнулось. Хорошо, что мы немцы, думал Модель, ни один народ не сумел бы это сделать так быстро и точно. Британцы умеют воевать, и русские

привыкли к снегу. Но четкой работы не знает никто из них. Модель проводил у карт ровно час, дисциплинированный человек. Потом летел на позиции, отдавал приказ на месте еще раз. Его самолетик «Аист» летел низко над верхушками елей – пройдет месяц, и эта бравада будет стоять ему очередного осколочного ранения. Надо проверить каждую клетку доски – синхронно; нельзя медлить. Одна клетка на доске пройдена, потом еще одна клетка. Немного вправо, там закрепиться. И сразу еще один шаг вперед.

24 января Вальтеру Моделю исполнилось 50 лет, по этому поводу

он выпил рюмку грушевого шнапса, этим и ограничился праздник. Стоял с рюмкой в руке и смотрел, как слева, справа, впереди взлетают в темном небе русские сигнальные ракеты.

Генерал пехоты Бруно Билер сказал ему:

— Это салют в вашу честь, генерал. Про юбилей русские не знают. Просто отмечают ваше новое назначение.

Моделя шутка не рассмешила:

— Мой бог, я здесь как на острове.

За неделю — с 16 января считая, того дня, когда прибыл в распоряжение 9-й армии, — он кое-

как подлатал разорванную линию фронта. Когда закрепил рваное полотно, дал сигнал: вперед. Его попросили обождать, пока мороз спадет: термометр показывал – 45 по Цельсию. Завтра будет то же самое, ответил Модель. И войска двинулись.

То, что русский поэт Пастернак называл «рычагами и шкивами» часового механизма войны, пришло в движение. Двинулись разом штандарты, и тысячи людей пошли через непроходимый снег убивать варваров. Шла великая Германия, все племена ее и народы. Шла 206-я пехотная дивизия генерала Хефля – саксонцы, крепкий, кряжистый народ, любящий работу. Шла по

колени в снегу 256-я дивизия
Кауфмана, рейн-вестфальцы, легкие
на ногу, поджарые рейнцы. Шла 161-
я пехотная дивизия генерала Реке,
составленная из восточных
пруссиков, привычных к холоду,
скупых на слова. Кавалеристы и
самокатчики разведывательного 328-
го батальона из Померании,
сентиментальные немцы — тоже
двигались в снегу, погоняли лошадей,
тащили технику. И саперный 743-й
батальон из Гамбурга был здесь,
рослые костлявые ганзейцы. И
гессенская 87-я дивизия фон
Штудница, которая брала Париж,
тоже шла по ржевским болотам. И
еще шли рабочие, призванные по

имперской трудовой повинности, пролетарии шли наравне с солдатами – они тоже дошли до России, свести счета с русскими пролетариями. Шел немецкий народ, практически всякое его сословие, всякое племя было представлено – от баварцев, самых умных и хитрых немцев, до остфризов, доверчивых рыбаков, над которыми все шутят. И любой диалект можно было слышать в мочульских лесах. Вальтер Модель подумал, что Наполеон не приводил сюда столько народу. Только в Ржевской операции участвовало больше солдат, нежели было их во всей армии императора.

6-й корпус с генералом Билером

во главе прошел через снег, и 23-й армейский корпус генерала Шуберта тоже прошел, со всеми дивизиями и техникой. 6-й и 23-й встретились, и саперы из Гамбурга пожали руку кавалеристам Фогеллайна. Русские теперь были окружены в своих болотах. Оставалась несшитой прореха возле Сычевки.

Вальтер Модель приказал обергруппенфюреру Отто Кумму и его полку «Дер Фюрер» – удерживать коридор, образованный между Сычевкой и Волгой. Полк был хорош, а дивизия, откуда взят полк, – дивизия СС «Рейх» знаменита; но это был всего один полк.

Обергруппенфюрер прибыл в

новый командный пункт генерала Моделя, перенесенного час назад прямо в Сычевку – на расстоянии пяти километров от русских кавалеристов и мотострелкового батальона, который уже прибыл и расчехлял пулеметы на станции. Модель все делал стремительно и вопреки правилам. Отпраздновал юбилей рюмкой шнапса – и поехал со штабом на передовую. Приказал – и перенесли штаб в Сычевку. На Кумма это произвело впечатление: он сам любил риск.

Отто Кумму было на двадцать лет меньше, чем генералу, у Кумма была ямка на подбородке и широкие скулы. Он был наборщиком

типографии, с двадцати лет в партии. С самого начала войны – в дивизии СС «Рейх». Три месяца назад в Путивле эти же эсэсовцы отбивали атаки курсантов Харьковского военного училища. Пулеметы установили на низких стенах деревянного кремля, ровно на том месте, где княжна Ярославна рыдала по мужу, попавшему в плен князю Игорю. В тот день ей слез бы не хватило. Русские курсанты шли в атаку мерным шагом с пением «Интернационала», примкнув штыки, они шли обреченно и неумолимо – было чего испугаться. Юноши пели, что добьются освобождения своею собственной

рукой, монотонная, страшная песня. Им давали подойти ближе, чем требовалось, — для верности. Дело было ясным днем, и Кумм скомандовал ждать, пока не увидишь глаза врага. Когда взглянули им в глаза, открыли огонь. Их убивали, ряд за рядом валился, пулеметчики били в живот. А они шли и пели, что разрушат мир насилия до основания. Кумм сам лежал за пулеметом в тот день. Работники всемирной, великой армии труда были мертвы все. Из курсантов не выжил ни один, перебили все училище до последнего человека. Полк СС потери понес незначительные, полк практически свежий; сегодня должны выдержать

любой натиск.

Замерзшую Волгу уже перешла 29-я армия русских, еще один день, и Модель оказался бы в кольце. Но русские провели в Мочульских лесах четыре месяца — русские обморожены, они голодные и без боеприпасов. Можно представить отчаяние русских: если не прорвутся — смерть на холодных болотах. Будут драться отчаянно. Вплоть до того, как сомкнутся 6-й и 23-й корпуса армии, следовало удержать Сычевку.

— Любой ценой удержать, вы меня поняли?

— Слушаюсь, — сказал Кумм.

— Вам приходилось слышать о подвиге спартанцев?

– Да, господин генерал.

– Солдаты цивилизованной страны отличаются от варваров тем, что их сила не в толпе; каждый из нас – отдельная крепость.

– Понимаю, господин генерал.

– В ваших руках судьба армии, Кумм.

От того, соединятся ли корпуса, от того, удержится ли Отто Кумм, зависела жизнь тысяч людей, жизнь всей 9-й армии.

– Предложить вам выпить, Кумм? Сегодня день моего рождения. Круглая дата.

– Для меня это честь, господин генерал.

– Прошу вас, – Модель налил

шнапс в маленькую рюмку.

Кумм поглядел прямо в глаза генералу:

— Большая честь сражаться под вашим командованием, герр генерал. С днем рождения! — и выпил.

С тех пор как Модель повел солдат в атаку по глубокому снегу, идя впереди в генеральской шинели, он мог отдать любой приказ. Маленький и жилистый, с моноклем в глазу и пистолетом в руке, он пошел по рыхлому снегу впереди батальона — и русские не смогли в него попасть. Где Модель — там удача.

Кумм поставил пустую рюмку на стол:

— Разрешите идти?

– Удачи, Кумм.

– Хайль Гитлер!

Поглядел в личное дело Кумма – рабочий из Гамбурга; северные люди не подведут. Сам генерал был из Гентина, что близ Магдебурга. Отец – учитель музыки.

Немец ел колбасу с хлебом и булочку с изюмом – причем одновременно. В левой руке немец держал ломоть, намазанный маслом и накрытый жирной колбасой, а в правой – булочку, испеченную в форме загогулины и усыпанную изюмом. Немец кусал булочку, потом совал в рот бутерброд с колбасой, далеко совал, чтобы ухватить кусок побольше. Все перемешивалось у него во рту, но, судя по довольному лицу, немцу было вкусно. Он благосклонно смотрел на свою фрау – та ела булочку, посыпанную сахарной пудрой. Нежные мысли

посещали немца во время еды, он порой высовывал изо рта толстый розовый язык и совершал им в направлении фрау лизательно-вращательные движения; язык был в крошках. Когда булочки и бутерброд были съедены, пара начала целоваться, причем немец протолкнул свой толстый язык далеко в рот своей фрау, так далеко, как он себе запихивал бутерброд с колбасой.

Ракитов наблюдал за тем, как немцы целуются. Он стоял за ветхим забором палисадника и смотрел в окно дома. Пришли в город ночью, нашли пустой деревянный дом на окраине, неподалеку от адреса,

данного лесными жителями, — остались в пустом доме на ночлег. Крыльца в доме не было, сени сгорели, но сам дом был чистый, и даже мебель имелась. Жидок порывался этой мебелью топить печь, хотел согреться, но ему запретили, и они спали в холоде.

Теперь их было трое: пока шли к Ржеву, пропал молодой вор Голубцов. Он отстал, шел последним, и когда вышли из леса, то обернулись — а Голубцова нет. Прошли обратной дорогой километра три — но их следы уже замело, даже непонятно — здесь они прежде шли или не здесь. И темнеет уже. Кричать и стрелять боялись. Решили выходить в город

без Голубцова — что делать.

— Людоед это, — сказал Мишка Жидок, — не зря бабка про людоеда говорила.

— Молчи, Жидок, не пугай, и так страшно.

— Мог в болото провалиться, — сказал Ракитов, и подумал, что болото — это лучше, чем людоед или немцы.

Утром Ракитов вышел на белую улицу, подошел к тому дому, который они искали, через забор заглянул в окно. Увидел, как фашисты кушают, а потом целуются; фашисты сидели в тепле, расстегнув тулупы. Ракитов долго немцев разглядывал. Люди как люди, даже целуются друг с другом.

Если люди целуются, значит, они добрые. Улица была пустая, дом тихий. Зачем ему этот адрес дали? Ракитов решил войти к немцам. Ракитов давно понял, что все дела делаются на кураже, на бесстрашии.

Он постучал, имея на своем лице то беспечное выражение, которое сопровождало его в бесчестных проделках. Толкнул дверь и двинулся вперед – бесцеремонно и обаятельно, как он умел.

– Хенде хох, – завязал беседу Ракитов, входя в дом, а потом поправился: – То есть вы рук-то не поднимайте, граждане немцы, это я так шучу, господа хорошие! Просто больше ничего по-вашему не знаю.

Хенде хох и данке шон.

— Спасибо скажи, что мы не немцы — тебя за такое «хенде хох» на месте пристрелят, — по-русски сказал фашист. На столе перед ним лежала кобура — он положил на нее розовую руку.

— Так вы русские! Вот повезло! — Ракитов сам поражался, откуда к нему приходят слова. — Русские люди! Братишки! Небось и православные? А ну, перекрестись! Нет, даже не крестись! И без креста вижу, что православные... От самой Москвы иду и живую душу не встречу.

— В Москве не понравилось? — спросил человек в немецкой форме и

подвинул к себе кобуру.

— Так ведь коммунисты в Москве, — сказал Ракитов, — изверги сталинские.

— Неужели изверги?

— Веришь, брат, друга моего Гришу Дешкова арестовали. На моих глазах. Пришли ночью и давай руки крутить! Пиявки! — Приходят ли пиявки ночью, Ракитов сказать с уверенностью не мог, но прозвучало убедительно.

— А за что арестовали? — спросил фашист, облизнул губы розовым языком, собрал остатки крошек.

— Тебе зачем знать? — спросил Ракитов, зная, что требуется показать

характер.

— Когда спрашивают, отвечать надо.

— Строгий ты человек, — сказал Ракитов.

— За что арестовали? — повторил фашист.

— Так за правду арестовали! За то, что не может лгать человек! Жить, говорит, хочу не по лжи! Так и сказал на собрании. Собрался там, значит, коллектив. Вышел, перед всеми упрямы встал и говорит: желаю жить не по лжи! НКВД его тут же — цап!

— Только за это?

— Говорю тебе: звери! Друг так сказал: я, говорит, немцев жду,

желаю империю добра строить. Не простили ему.

— Коммунисты Гитлера не любят, — резонно сказал фашист. — Нормальная логика. Твоему дружку молчать надо было.

— Не может человек больше молчать. Накипело у мужика. Вот ты стал бы молчать? Если Гитлера, к примеру, обижают, ты бы стерпел? А для него — Троцкий, как для тебя — Гитлер, понял? Если твоих друзей по тюрьмам гноят? Молчал бы, да? По глазам вижу — не можешь ты молчать! — Ракитов почувствовал, что перегибает палку, но, как обычно с ним бывало, уже не мог остановиться. — Евреи кругом, вся

Россия под жидами. Как молчать, брат?

– Смелый у тебя друг, – сказал человек в форме немца.

– В России героев много, – сказал Ракитов искренне.

– Скажи, а партизаны – герои? Скажи мне, что ты о партизанах знаешь.

– Ни одного не видел.

– Через лес шел, а партизанов не видел. Ты ведь сам партизан. Говори мне правду.

– Я, гражданин фашист, совсем не партизан, – сказал Ракитов, – я как раз наоборот: вор и шпион.

– Вор?

– Вор московский, а шпион

германский. Дешков с Гамарником восстание готовили, ты что, не в курсе? По заданию абвера, между прочим. Оружие мы в квартире прятали. Гранат столько! Мне Гриша так сказал: власть возьмем, я коммунистов постреляю, а тебя генералом сделаю! — Ракитов достиг той стадии звонкого вранья, когда сам начал верить своим словам. — Генералом! Понял? Что, не слышал про шпиона Гамарника? Ваш шпион, германский!

— Шпион, значит?

— Вот те крест.

— Как же ты от Москвы до самого Ржева дошел? — спросила женщина. Когда Ракитов смотрел на

нее через окно, женщина выглядела мягче. Вблизи оказалась опасной, и глазами она двигала медленно, ощупывая всякий предмет, который попадался взгляду. А глаза у женщины были непонятные, как у волка. Когда волку в глаза смотришь, ни по чем нельзя догадаться, что волк думает.

— Испугался и пошел, пошел. Через лес, через болото. Чем дальше от коммунистов, тем спокойнее.

— Испугался?

— А ты бы не испугалась, сестра?

— В Москве часто аресты. Ты раньше про аресты не знал?

— Близко комиссаров увидел. Они как вошли в квартиру, сразу —

посуду бить.

— Ты рядом был?

— На кухне сидел. Они спросили: а это, говорят, кто? Гриша говорит: это, говорит, водопроводчик.

— До самого Ржева дошел. Не заблудился. Не замерз.

— По деревням шел, где ночь посплю, где две ночи.

— Ты красных комиссаров не встретил?

— Я редколесьем не хожу, — сказал Ракитов, — я чаще иду, где красный не пройдет.

— Волков не боялся? — и глазами своими бесчувственными по Ракитову шарит, точно место выбирает, где укусить.

— Зачем волков бояться, — сказал Ракитов. — Волки понятливые. Они хороших людей не трогают.

— Всяких трогают, — сказала желтоглазая женщина. — А скажи, — вдруг спросила она, и глаза ее уставились в одну точку на Ракитовом теле, словно нашла она наконец место для укуса, — скажи мне: ты трех сестер в лесу не встречал?

— Каких сестер?

— Три старушки в домике живут. Они тебе не встретились?

— Не слыхал про таких.

— А зачем ты в Ржев пошел?

— Очень хотелось к своим.

— Мы тебе разве свои? —

говорила женщина очень тихо, но градус опасности – а Ракитов хорошо чувствовал, когда опасность приближалась, – в комнате повысился.

– Здесь домом пахнет, – сказал Ракитов.

– Может, плохо нюхаешь? – нехорошо сказала, голос неприятный, лающий.

– Родной он мне, – сказал полный мужчина, входя в комнату. – Моей сестры сын. Вы уж не обижайте.

– Ты не говорил про родственников, Аладьев.

– Музыканты народ беспамятный, – сказал Василий

Аладьев. – Заигрался я, задумался о высоком, вот и не сказал. Племянник это мой, композитор из Москвы.

– Композитор? – спросила женщина. – Ты, значит, музыку пишешь?

– Медленные вальсы, – уточнил Ракитов, – и оперу сочинить мечтаю. Дяденька, – сказал Ракитов, – как же я к тебе стремился! Вот, думаю, найду дядю Васю, и мы с ним оперу вдвоем напишем.

Иосиф Сталин относился к расследованиям партийных преступлений внимательно. Сталин утверждал, что троцкизм объединил усилия с фашизмом для разрушения Советской власти. На первый взгляд, это трудно доказать, поскольку Троцкий был евреем и говорил, что он за Интернационал трудящихся – а Гитлер евреев ненавидел и был против Интернационала. Однако, объяснял Сталин, логика антисоветской борьбы их объединяла.

Партийным уклонистам предъявляли обвинение в шпионаже

в пользу Германии и Японии, что для многих из них явилось неожиданностью — однако в ходе следствия они и сами понимали: симпатия к Троцкому связала их с такими силами, о которых они не помышляли. Связь с германской разведкой могла быть не прямой: сперва искали свидетельство знакомства обвиняемого с любым человеком, который мог знать Троцкого (как пример врага, годился и Тухачевский, и Пятаков, но Троцкий подходил универсально), затем показывали, как Троцкий реально работал на германскую разведку, далее обвиняемого уличали в симпатии к фашистской идеологии

— коль скоро он сторонник Троцкого, и следствию оставалось лишь соединить звенья в единую цепь. Так возникла группа обвиняемых, поименованная «право-троцкистский блок» — поскольку идеи лево-троцкистского блока были связаны с перманентной пролетарской революцией. Право-троцкистский блок (полностью разоблаченный в марте 1938 года на открытом процессе) продемонстрировал связь так называемых коммунистов с фашизмом, то есть явил гибрид, который в годы горбачевской перестройки (пятьдесят лет спустя) стали именовать «красно-

коричневыми». Додумать до такой связки непросто, впрочем, Мичурин и не такое скрещивал: а данный политический гибрид выявил прокурор Вышинский 12–13 марта 1938 года.

На обозрение народу выставили прежде уважаемых партийцев, ныне пособников фашизма: Рыкова, Бухарина, Крестинского и даже бывшего наркома внутренних дел Ягоду. Они сами признались в том, что способствовали ослаблению обороноспособности страны — и хотели торжества нацистской Германии над Россией. Некоторые пытались было спорить, но сдались логике следствия все. Иные даже

припоминали неожиданные подробности, коих прокурор Вышинский предвидеть не мог.

Процесс право-троцкистского блока показал механизм образования «красно-коричневых»: уклонист = троцкист = вредитель = фашист = германский шпион. Открытым однажды методом с тех пор и пользовались. Либеральные

мыслители, которые оживили сталинский термин в ходе перестройки, применяя словечко «красно-коричневый» столь же бойко, как прокурор Вышинский, затруднились бы показать, как коммунист, желающий равенства трудящихся, и фашист,

утверждающий неравенство этносов, могут объединиться, — это показать непросто. Однако для Сталина данная связь была очевидной.

Сегодня, анализируя процессы тех лет, применяют два подхода. В первом случае предлагается считать, что у вождя народов развилась паранойя преследования, и он убивал всех подряд, ведомый жаждой крови и страхом. Во втором случае доказывают, что Сталин выдумывал несуществующие заговоры, фабрикуя абсурдные обвинения, чтобы убрать политических конкурентов. Не вполне понятно, в чем именно была конкуренция, если взгляды оппонентов сфабрикованы, но, в

целом, считается, что так называемые процессы — плод садистической выдумки тирана. Не было троцкистско-зиновьевского блока, не было заговора Троцкого, не было планов переворота — было лишь истребление прежней ленинской гвардии и создание однородно-послушной массы партийцев. Впрочем — и это простой факт — ленинская гвардия состояла из профессиональных заговорщиков, из людей, прошедших подполье, привычных к составлению тайных планов. Считать, что их опыт долгой конспиративной работы — истлел, и профессионалы разучились составлять комбинации, невозможно.

Они могли не освоить экономическое планирование, но забыть, как вербуются связник и как из трех колеблющихся делается триста согласных — они не могли. Дело не в том, что фракционеры были врагами Сталина или недругами советского режима — дело в том, что они были профессиональными революционерами, никакой другой профессией не обладали, а эта профессия была освоена блестяще. Поскольку и сам Сталин был профессиональный революционер, он понимал, какой шаг у профессиональной оппозиции будет следующий. Однажды он увидел

развитие событий предельно ясно.

Троцкий избрал классический ленинский метод – для свержения существующего строя. Проверенный историей метод, тот самый, который Сталин некогда не понял, не оценил – однако метод сработал.

Троцкий, повторяя Ленина четырнадцатого года, проголосовал за «поражение собственного Отечества в войне» – да, на тот момент в грядущей – но неизбежной войне. Троцкий сделал ставку на войну с Германией точно так же, как это некогда сделал Владимир Ильич, и Сталин увидел ту же самую проверенную временем логику. Но Ленин в четырнадцатом году только

запускал метод, это была импровизация. Троцкий, опытный человек, применял революционное знание, которое было уже отточено. Когда Черчилль написал, что «Троцкий стремится мобилизовать всех подонков Европы для борьбы с русской армией», Сталин уже не удивился — он уже понял и сам, что планируется третья (после Февральской и Октябрьской) революция. И эта новая революция — как и Октябрьская — будет исходить из варианта поражения России в войне.

Неважно, получал ли Троцкий деньги от рейха через Крестинского, — и какая разница?

Сталин сам отлично знал, что никаких миллионов Людендорфа, данных большевикам, не было, и кто бы дал? Неважно, установил ли Седов (сын Троцкого) контакт с концернами «Демаг» и «Борзиг», производящими тяжелую технику на гусеничном ходу. Неважно, встречался Седов с Пятаковым в Берлине или не встречался – это как раз для любителей пикантных деталей, для тех, кто полагает, что волей мелкого мошенника Парвуса загорелась планета. Важно совсем другое – какой именно исторический механизм запущен. Информатор мог соврать, следователь мог добиться нереальных фактов у

подследственного. Но вот то, что Троцкий манифестировал участие всего Интернационала – а это крайне много народа, это букет воли и страстей – в новом революционном движении, которое нуждается в поражении России в войне, – вот это важно. Прежде они нуждались в победе России – а сегодня эти революционеры нуждаются в ее поражении.

Троцкий сам – спокойно и здраво – сказал об этом Эрнсту Людвигу, немецкому либералу, в интервью, данном на Принцевых островах.

– Когда вы планируете выступить открыто?

– Может быть, война или новая европейская интервенция выявит слабость правительства и станет новым стимулирующим фактором.

Это было широко опубликовано, это никем никогда не скрывалось. Какие нужны еще доказательства? Тайная встреча Пятакова с Седовым в кафе «Ам Цоо», как об этом показал забитый до полусмерти Сокольников? Организация крушений поездов, как показал замученный Князев? Организовывал Князев крушения поездов или не организовывал, был Пятаков в кафе «Ам Цоо» или нет – что это меняет? Надо множить аресты подозреваемых и вести перекрестные допросы,

возможно, истина и всплывет — но ничто не отменит того факта, что Гитлер продемонстрировал своим сподвижникам книгу Троцкого и сказал, что эта книга его многому научила и остальных научит тоже. Ничто не могло отменить того факта, что ленинский план — революция на плечах проигранной войны — снова приведен в действие.

Карл Радек на допросе 20 декабря предъявил текст письма Троцкого: «Надо признать, что вопрос о власти реальнее всего встанет перед блоком только в результате поражения СССР в войне. К этому блок должен энергично готовиться — ускорить столкновение

с Германией». Соврал? Забили до невменяемости — говорил по подсказке следователя? Радек — интеллигент и тряпка, пусть так — но ведь Владимир Ильич Ленин говорил и писал ровно то же самое. Это же ленинский метод! Вряд ли следователь держал на коленях томик Владимира Ильича и оттуда списывал. Здесь нет ничего нового: опробованный ход. Были большевики немецкими шпионами в Первую мировую? Сталин отлично знал, что не были. Использовали большевики поражение в Первой мировой? Безусловно использовали. Что же особенно нового показал Радек — против общеизвестного? Ничего

нового. Что тут сфабриковано? Если и сфабриковано — то самым революционным процессом, и уже давно.

Третью революцию хотят — вот и все. Они используют Гитлера, Гитлер использует их, а кто окажется удачливее, покажет время.

Тот же Радек цитирует то же письмо Троцкого: «Неизбежно придется идти на территориальные уступки. Придется уступить Японии Приморье и Приамурье, а Германии отдать Украину. Германии нужны сырье, продовольствие и рынки сбыта. Мы должны будем допустить ее к участию в эксплуатации руды, марганца, золота, нефти, апатитов».

Выдумка усердного следователя? Там ведь усердные дурни сидят, в НКВД. Но почему эта выдумка следователя так совпадает с обещаниями, данными Германии атаманом Красновым, — который предлагал отдать Донецкий угольный бассейн за помощь против большевиков. Скопировали меморандум Краснова?

Сокольников показал на допросе 30 декабря 1936-го, что обязательным является в данном случае отказ от индустриализации и коллективизации. Это что, тоже следователь насочинял — или это то, что требует от России вся логика мира. Тут уж надо, видимо, признать, что следователь попался гегелевского

уровня аналитик — выдумывает масштабно.

О, ему было все ясно; Сталин еще в 1914 году выступил против пораженческого плана Ленина — как можно выступать за поражение России? Но калмык настоял на своем, Сталина проработал, показал всем выигрышность капитулянтского плана; и вот ленинский план опять в действии. И ненависть к Ленину вспыхнула в нем вновь.

Правду ли показали о Бухарине, действительно ли тот сказал на январском, тридцатого года, совещании оппозиции — что «период восстаний может затянуться на несколько лет»? Возможно, именно в

январе Бухарин этого и не говорил. И записку Слепкову он не посылал с словами: «При теперешнем руководстве СССР не сможет победить интервенцию. В случае интервенции правые должны использовать свою подпольную организацию для борьбы за власть». Возможно, это выдумка. Но если это здравое соображение — выдумка, чему тогда всех подпольщиков учил Ленин? Что, любимец партии Бухарчик забыл уроки начисто? Допустим, этот факт придумали, и тот факт придумали, и планы придумали, — а конспиративную работу в пятнадцатом и шестнадцатом году — тоже

придумали? А указания о создании террористических групп? Он сам принимал участие в создании таких групп – он знал, как это делается.

У фракционеров все расписано: Томский, Рыков, Бухарин уже разобрали портфели – кто же в этом сомневается? А если сомнения есть – следует ширить круг допросов. «Ежову. Надо арестовать всех, еще не арестованных из числа названных в показании Березина. И. Ст.». За любой мелкой диверсией, за каждым саботажем – может открыться нить заговора. И внимательнейшим образом читал всякий протокол допросов; перспективные фамилии брал в кружок: «Кто это?!»

«Разобраться. И. Ст.».

Его толкали к войне — вместе с войной придет интернационал Троцкого, на немецких штыках придет. Надо было удержаться от войны, но далеко отступить уже невозможно. Надо было добиться признаний, обозначить врага — до того, как война начнется. Почему не до конца освоили показания Рудзутака? Почему молчит Белобородов? Почему нет результатов по допросу Мельникова?

«Ежову. Можно подумать, что тюрьма для Белобородова — место для произнесения речей, заявлений, касающихся всякого рода лиц, но не его самого. Не пора ли нажать на

этого господина и заставить его рассказать о своих грязных делах? Где он сидит, в тюрьме или в гостинице? И. Ст.».

И нажимали. И добивались признаний.

Всякий конкретный случай надо было доказать, это брало время. Часто усталый следователь начинал бить подозреваемого на допросах, чтобы ускорить процесс дознания. В протоколах допросов тех лет встречаются пропуски и отточия. После отточий интонация разговора меняется – это показывает, что во время перерывов в беседе обвиняемых били.

Существовали изощренные

пытки, но в кабинетах следователей прибегали к простым побоям. Чаще всего били полосой тугой резины, от которой синеет и мертвеет разом весь участок тела. Такой резиновой палкой избивали, например, режиссера Всеволода Мейерхольда; с него спускали штаны и били резиновой палкой по коленям, голеням и пяткам, пока ноги подозреваемого не отказали и не посинели. Мейерхольд не мог ходить: уже после двух экзекуций ноги распухли. Мейерхольд был и плакал, не выдерживал боли, но его били еще — по тем же самым местам. Мейерхольд отправил письмо с описанием своих пыток на имя

Вячеслава Михайловича Молотова, умудренного мужа, человека культурного. Мейерхольд сообщал в письме: «Меня, 65-и летнего старика, клали лицом вниз на пол, заворачивали мне ноги вверх и били резиновой дубинкой по пяткам»; нарком Молотов ознакомился с письмом режиссера, присовокупил письмо к делу Мейерхольда, пометив резолюцией: «Продолжать дознание». Вскоре Мейерхольд потерял от побоев рассудок – а его все продолжали бить по тем же распухшим ногам. Наивно было ожидать в 1939 году снисхождения от Молотова – у Молотова в те дни была трудная дипломатическая страда:

испанская война завершилась поражением, германский фашизм вступает в войну с европейскими странами, а тут и манчжурские проблемы – до Мейерхольда ли? Троцкий и Интернационал – вот он, клубок проблем!

Режиссер сам мог не подозревать, в какой игре участвует. Допросы Мейерхольда шли бесперебойно.

Капитан госбезопасности Голованов в ходе дознания установил, что течение ряда лет Мейерхольд был троцкистом, связь с Троцким держал через Рыкова и работал на японскую разведку. У Голованова было широкое светлое

лицо с широко расставленными глазами; следовательно глядел на подозреваемого ясно и твердо: смотри на меня, говорил его взгляд, вот я — не изворачиваюсь, не лгу, не трушу; мне скрывать нечего — я крепкий человек и служу Родине безотказно; а теперь — погляди на себя. Стыдно? Голованов сидел на стуле прямо, с твердой прямой спиной — а напротив него горбатился избитый старик. В результате Мейерхольд дал показания и против самого себя, и против Эренбурга, Шостаковича, Эрדмана, Эйзенштейна — назвал их всех вредителями, указал, что именно Эренбург вместе с Андре Мальро ввел

его в курс троцкистской работы. То был пример искусного допроса: из одного дела получали еще десять дел. В частности, Мейерхольд показал, что он вовлек в троцкистскую ячейку «и Пастернака, и Олешу, а несколько позже Лидию Сейфуллину. Ей я поручил антисоветскую обработку писательской молодежи, а Юрий Олешу мы хотели использовать для подбора кадров террористов, которые бы занимались физическим уничтожением руководителей партии и правительства». Следовательно Голованову трудно было представить, как писатель Юрий Карлович Олеша готовит теракты, он выразил сомнение в истинности данных

сведений – однако протокол допроса был заверен и многим делам дали ход.

– Собрали персимфанс, значит? – спросил замученного старика Голованов.

– Персимфанс? Какой персимфанс? – Мейерхольд не мог понять, что имеет в виду следователь, тогда как следователь нарочно использовал термин из концертной практики, близкой к деятельности режиссера.

Первый Симфонический Ансамбль при Моссовете (ПерСимфАнс, как его называли москвичи) играл до 1932 года и был знаменит тем, что оркестранты

ухитрились играть без дирижера — в глазах Голованова это было безумием; Голованов отождествлял план троцкистов создать государство без Сталина и партии — с практикой ПерСимфАнса. Голованов связывал социальный хаос с хаосом культурным; Мейерхольд тщился вызвать сочувствие у следователя тем фактом, что он режиссер авангардного театра — однако у Голованова новаторы сочувствия не вызывали.

Политический персимфанс собрали обильный: число шпионов и диверсантов, разоблаченных в те годы, превышало возможности вражеских государств, превосходило

вооруженные силы противных стран. Это понимали сами работники НКВД – столько шпионов в природе существовать не может – существовала, однако, опасность пропустить шпиона подлинного. В соответствии с приказом № 00447 от 30 июля 1937-го за неполные два года было арестовано 1.575.259 человек – и всякий сотрудник безопасности мог усомниться: в армии Германии полтора миллиона человек, а шпионов на семьдесят пять тысяч больше – как так? Но численность в войсках Гитлера росла: уже к 1939-му в армии было 3,2 миллиона солдат, а к 1940-му – 4,6 миллионов – так что число шпионов оставалось в

пределах допустимого. Армию Гитлера пополняли новые бойцы: из Норвегии, Финляндии, Австрии, Италии, Хорватии, Франции – и соответственно, расширялся диапазон связей троцкистов. Если в 1937-м поиск французского шпиона был редкостью, то в 1939-м обнаружить агента-вишиста стало реальным. А франкиста встретить не желаете? А квислинговца?

Во время так называемого Большого террора (то есть в 1937–1938 годах) нарком внутренних дел Николай Ежов посылал Сталину ежедневно отчеты о принятых мерах, протоколы допросов и доносы, поступившие на отдельные

партийные или хозяйственные организации. Сталин тратил большую часть дня на чтение этих спецсообщений и резолюций.

Как правило, он писал в конце документа свое мнение по вопросу — касательно судьбы поименованных лиц. Чаще всего Сталин обводил кружком фамилии тех, кого рекомендовал расстрелять, — и после прочтения бумага была вся расписана кружками. Ежов предлагал арестовать человека, а Сталин резюмировал «арестовать и все вытрясти» — то есть непременно получить искомый результат допроса. Не было случая, чтобы результат не получили. Ежов

сообщал, что есть предложение арестовать круг лиц, чьи имена всплыли на дознании, – Сталин соглашался немедленно. Ежов просил увеличить квоту расстрела в населенном пункте, Сталин писал на докладной записке: «Увеличить лимит в два раза».

К утру (работали до утра) на столе Ежова собиралось изрядное количество документов:

«Т. Ежову. Надо арестовать всех еще не арестованных из числа названных в показаниях Березина. И. Ст.», и так далее – десятки приказов, которые надо воплотить в жизнь.

Иному гражданину, незнакомому с вопросом, могло

показаться, что преследование людей – это паранойя. Но Ежов и Сталин знали, что речь идет отнюдь не о фантоме – речь о конкретном заговоре. Допустим, сведения о писателе Олеше недостоверны, пусть так, но есть и конкретика. Из протокола допроса Енукидзе следовало, что существовала даже точная дата переворота: сначала утвердили июль 1933-го, потом перенесли на осень, и так каждый сезон откладывали – но топор был занесен.

«*Вопрос:* Намечались ли сроки осуществления переворота? *Ответ:* Томский сперва называл лето тридцать третьего года. В связи с тем,

что ряд лиц, подлежащих
устранению летом, в Кремле еще
отсутствовал, организация
переворота была отложена на осень
1933-его года. Осенью началась
подготовка к семнадцатому съезду
партии, и сроки опять изменили.
Сроки переворота были отложены
для того, чтобы на семнадцатом
съезде лидеры блока могли
двурушнически декларировать свою
преданность ВКП(б) и ее
руководству. Мы перенесли
переворот на 1934 год, на осень.
Вопрос: Почему же осенью 1934 года
вы не приступили к осуществлению
переворота? *Ответ:* Мы условились
с Томским, что будем ждать от него

указаний. Я же указаний от Томского не получал. *Вопрос:* А если бы вы получили это указание, вы бы приступили к выполнению переворота? *Ответ:* Да, приступил бы. С моих слов записано верно, А. Енукидзе. Допрашивали: пом. начальника 3-го отделения 4-го отдела ГУТБ ст. Лейтенант Альтман. От 6-го отделения 4-го отдела ГУТБ лейтенант Голованов».

Ах, был соблазн отнестись к показаниям несерьезно! Поистине, если бы Брут с Кассием так вяло готовили переворот, мартовские иды окончились бы благополучно – да и что это за переворот такой, если сигнал о нем никогда не поступал?

Но понятно же — понятно! — почему не поступал сигнал: заговорщики ждали войны. Когда избитый Енукидзе подписал протокол допроса, по его свидетельству взяли всех поименованных — от них уже шли другие нити, и обнаружилась паутина, сотканная Троцким, а от Троцкого — нить шла к Гитлеру. И сам факт заговора, спланированного Троцким в деталях, уже не подвергался сомнению никогда. И кто же мог знать, куда именно переместился центр заговора, кто выстрелит в спину? Вам убийства Кирова — мало?

Ежов ежедневно писал Сталину

новые предположения. Стандартное ежедневное обращение Ежова выглядело так:

«Спецсообщение Н. Е. Ежова И. В. Сталину о Б. Н. Мельникове. 28 апреля 1937 г. Народный Комитет внутренних дел располагает материалами, позволяющими подозревать заведующего службой связи ИККИ – Мельникова Б. Н. (он же Мюллер) в троцкистской и шпионской деятельности. С приходом на работу в ИККИ, Мельников окружил себя харбинцами, подозрительными по шпионажу: Таранов, Ященко, Добровольская, Смирнова, Смирнов, Баллод, Бавурова...» Резолюция

Сталина: «Мельникова и
“окружение” надо немедленно
арестовать. Ст.»

На такие сообщения Сталин
реагировал стремительно.
Исполнительный комитет
Коминтерна и секции Коминтерна,
разбросанные по миру, беспокоили
очень: Троцкому было легче, чем ему,
дотянуться до коминтерновцев,
Троцкий к ним ближе; Троцкий и в
Испании успел, и в Мексике успел;
у него везде информаторы и
агитаторы: как же знать наверняка —
чьи на самом деле союзники
коммунисты Польши или Франции?
Опасность была реальная:
Коминтерн — эффективное оружие в

борьбе против отдельной партии; Коммунистический интернационал — это руководящий орган всемирной революции в целом, а Коммунистическая партия СССР — часть целого; появится у руля ИККИ человек энергичный и скомандует: коммунисты, объединяйтесь вокруг Коминтерна, а не вокруг ВКП(б) — что тогда? До 1926 года руководил Коминтерном Зиновьев, неизвестно, сколько зиновьевских агентов осталось в руководстве. Став в 1921-м председателем Исполкома Коминтерна, Зиновьев считал себя главой всемирной революции. Был на шаг от власти. Забыли уже?

И каждого коминтерновца — он

разглядывал внимательно, под лупой.

К тому времени как в апреле 1941 года Сталин объявил о том, что Коминтерн более не нужен, от Коминтерна уже ничего не осталось — компартию Польши распустили, компартии Испании уже не было в природе, а видных деятелей Коминтерна уже расстреляли. Иные праздные наблюдатели ахали: как же так? В преддверии войны? Ведь антифашистскую доктрину Коминтерн утвердил! Ведь это оружие против «Стального пакта»! Не понимаем вас, Иосиф Виссарионович! Обещали ведь на 2-м съезде Советов всемерно укреплять Интернационал коммунистических

партий... Ах, как это не по-ленински, товарищ Сталин...

Но его это не смущало: в мировой коммунизм он не верил никогда; перманентная троцкистская мечта — блеф, не более; а побеждать в войне надо вместе с народом — с национальной идеей.

Интернационал — оружие революции; фракционеры жаждут новой революции — пользуются капитулянтской тактикой Ленина; следует уничтожить Интернационал и убить возможность революции. И он отдал идею Интернационала — фашизму. И Гитлер идею Интернационала — взял, причем взял немедленно, цепко, с

благодарностью. Уже в 1941-м формировали легионы СС из грузин, армян, казахов, украинцев, румын, венгров – из тех, кого вчера звали в Интернационал трудящихся. Нет больше Коминтерна, вот вам взамен интернационал фашизма – а интернационал коммунизма сдох. В интербригады Испании поехали от России всего лишь 560 человек – идея братской солидарности умирала; а вот предложенный Гитлером Bruderschaft товарищей по легиону собрал сотни тысяч – эта идея оказалась живой.

Официальный роспуск
Коминтерна (июнь 1943-го) утвердил
реальность: интернационала

трудящихся более нет,
интернационала коммунистов более
нет, есть теперь интернационал —
фашистов.

Коминтерн Сталин не любил
никогда, но в предвоенные годы
ненавидел прицельно: каждого
деятеля отдельно — за
соглашательство, за возможное
предательство. Некоторых Димитров
сумел отстоять, выхлопотал
некоторым прощение; большинству —
не смог. Сталин засыпал и
просыпался с единой мыслью:
уничтожить Коминтерн. Они будут
объяснять Сталину ценность
интернациональной солидарности?
Ему — специалисту по

национальному вопросу, наркому по нациям в ленинском правительстве? Сталин не просто изучил предмет: его знания использовались для строительства Советского Союза, именно Сталина призвал Ленин строить национальную политику в бывшей империи, состоявшей из десятков народностей. Подобно многим людям, придумавшим нечто в молодости, Сталин оставался верен однажды понятому. Однажды он написал, что нация — важнее племени или народности, нация есть культурная и историческая общность людей, — а коль скоро это культурно-историческая общность, задача социал-демократии — корректировать

цели нации в рамках мирового процесса. Это ведь возможно: воспитать историческую идею и вдохнуть идею в нацию? Неужели не понятно, что именно СССР — гарантия такой идеи? Так само собой соткалось убеждение, что государство не должно отмирать, советское государство есть регулятор идеи, которая передается воспитательным путем нации, а нация не есть узколобая народность или племя — но историческая общность: советский народ. Принцип интернационализма должен сплотить рабочих как единую революционную нацию, отвергая нации прочие. Мелкими

племенными интересами надо пожертвовать ради большой нации пролетариев, которая живет и функционирует, опираясь на титульную народность государства, — и если вы хоть на миг усомнитесь в государстве рабочих, сама идея интернационализма пропадет навсегда. Ручьи малых наций сольются в море государственной сверхнации — вот такой теперь будет интернационализм.

Это лишь на первый взгляд кажется сложным построением — Сталин пришел к мысли о сверхнации в 1913 году, потом додумал и уточнил в знаменитом «Письме к Мешкову». Учение о

нации, которая больше, чем нация, но является своего рода классом нового типа, фундаментом нового государственного строительства, — это учение появилось одновременно с теорией Шпенглера, теорией, в которой культура — больше, чем просто совокупность ремесел, привычек и знаний. Сталин нигде не ссылался на Данилевского, но по существу работал параллельно с ним и Шпенглером, создавая учение о формообразующей субстанции, в которой сплавляются племена, обычаи и страсти малых людей.

В перспективе такого понимания интернационализма — государство отмирать уже не могло,

оно, напротив, воплощало новое качество титульной нации.

То было время Первой мировой — и пока Ленин переводил империалистическую в Гражданскую — Сталин уже осознал, как Гражданская перейдет в национальную, в такую национальную, где нация будет понята в высшем классовом смысле.

Идея революционной нации, спаянной государством, — стоила арийской идеи, от фантазий Маркса в ней не осталось ничего; идея нации, превосходящей народ и племя, — объясняла депортации: народность может быть ведома узким национальным интересом, а вот

сверх-нация – только исторической идеей. Да, не ортодоксальный марксизм, но Маркс не должен был командовать фронтом, Маркс не принимал решений под Царицыном, Маркс не подавлял Кронштадт, да и вообще, время и место иные – при чем тут Маркс? Что Маркс знал про коммунизм? Революцию, как говаривал Ленин, мало совершить – ее завоевания надо удержать. Как удержать, если не в государстве? Война – завтра, государство должно крепнуть; и аресты шли.

«Спецсообщение Н. И. Ежова И. В. Сталину и В. М. Молотову о Б. Я. Менисе. 29 апреля 1937 г. По показанием троцкиста Римского

Льва известно, что Менис является скрытым троцкистом. Имеются данные, позволяющие подозревать Мениса в шпионской деятельности. Считаю необходимым Мениса арестовать». Резолюции: «За. Молотов», «За. Ст.»

«Шифротелеграмма Л. П. Берии И. В. СТАЛИНУ 29 апреля 1937 года

Просим ЦК ВКП(б) разрешить арестовать Чичинадзе Виссариона, ныне работающего начальником Главгипропроекта Наркомтяжпрома СССР, проходящего как немецкий шпион и вредитель». Резолюция: «За арест. Ст.»

Каждый день собирал десятки бумаг — и на всякой надо было

поставить резолюцию Сталину, иногда Молотову.

«Шифротелеграмма А.Т. Заликина И. В. Сталину об увеличении лимита для Башкирии. 12 октября 1937 года...Лимит, который был дан по Башкирии по первой и второй категории, явно недостаточен. Прошу увеличить лимит». Резолюция: «Т. Ежову. Надо увеличить лимит по первой и второй категориям. Ст.». Первая категория — это арест, вторая категория — расстрел. Сталин обыкновенно маркировал фамилии кружками и цифрами — против одного кружка писал «1», против другого — «2».

И каждый день — десятки

документов.

«Вызвать в Москву и арестовать. Ст.», «Тов. Ежов, надо немедленно арестовать всех названных Акаповым военных. Ст.», «Всех этих военных надо арестовать. И. Ст.», «Ежову. Обратите внимание. Надо арестовать Плавника, Акапова. Надо раскопать Главконупр. Ст.», «Т. Ежову. Надо арестовать Сахата Мурадова с женой. Ст.», «Т. Ежову. Все ли названные здесь лица найдены и арестованы? И. Ст.». И много фамилий в кружочках. «Надо арестовать кой-кого. (См. в тексте) И. Ст.» — и в тексте двадцать четыре фамилии.

Предположения иных
арестованных большевиков, будто

Сталину никто не рассказывает о масштабах арестов, безосновательны. Ему рассказывали подробно; он хотел знать все. И всякое решение он взвешивал стремительно; и решал без колебаний, так же точно, как часом позже он принимал решение о движении дивизий Калининского и Западного фронтов. Он чувствовал, как петля затягивается вокруг России, — если не уничтожить всех подозрительных людей, будет плохо. Убивал он рьяно, в спешке, в запале. Перепуганным чиновникам мнилось, что Сталин преследует лично их, что он обуян жаждой убийства, что тирана сжигает чувство, определенное Блаженным

Августином как «похоть власти». Это не так. Сталин стал убийцей точно так же, как он стал конструктором, генералом, строителем и инженером. Ежедневно на его стол ложились десятки протоколов от Ежова — рядом с протоколами допросов оказывались сводки о суточной сдаче самолетов, танков, орудий; рядом — лежали сводки и донесения со всех фронтов; рядом — депеши политиков; рядом — докладные с заводов. Он убивал троцкистов и деятелей Интернационала, одновременно контролируя выпуск «Илюшиных-2» и «Петляковых-8», он растягивал фронт 20-й армии и диктовал меморандум Черчиллю. Надо было

СПЕШИТЬ.

Троцкий и заговор военных связаны меж собой – кто знает, как сегодняшние командиры поведут себя на войне; до конца ли выжгли предательство? Разоблачили многих, но далеко не всех; он волновался, что важное звено пропущено.

Следователи оборвали некоторые дела, не завершив: когда в 1939-м был арестован сам Ежов, сотни дел развалились – не успели сшить разрозненные эпизоды. Следователи вернулись к начатым в 1937–1938-м и отложенным в 1939-м делам уже когда началась война. В свете военных действий

предательство, считали следователи, будет заметнее. Но кто мог угадать масштабы сотрудничества Тухачевского с рейхсвером? Тухачевский выдал Гитлеру оперативный план, как сказал Сталин на оперативном заседании Военного совета; но разве мы знаем, что именно военные успели передать Троцкому? Троцкий – не последний человек в армии; как распорядится знаниями?

В числе прочих подняли забытое дело Нины Алексеевны Дешковой, жены легендарного комбрига Григория Дешкова, изменника родины и германского шпиона. Дело Дешковой было сдано в архив, папка

содержала бессмысленные, не оформленные в историю допросы, хотя обвиняемая продолжала находиться в следственной тюрьме – такое случалось.

Нину Алексеевну взяли в 1938-м в Архангельске – через четыре месяца после ее прибытия. Соседи сопоставили фамилию новой жилички с московскими процессами, направили запрос о Дешковой в следственный комитет Архангельского управления НКВД. В архангельской тюрьме держали месяц – но в Архангельске не допрашивали. Допросы Дешковой проходили в Москве, любопытно было связать ее показания с

показаниями военных и даже с показаниями идеологических вредителей, скажем, Радека. Здесь, на пересечении военного заговора и идеологических диверсий – было еще много белых пятен. Харбинские ре-эмигранты, коммунисты Гоминдана, осадники из Польши, агенты Сикорского, беженцы из Германии, и, конечно, Коминтерн – непочатый край работы.

В 1938-м начинал допрашивать Нину Алексеевну Дешкову капитан Голованов, человек значительный. Голованов был человеком того типа, какой Герман Геринг характеризовал как «тип возрожденческой личности», Голованов занимался

масштабными делами, выбивать признание у старухи ему было не интересно. Допрос длился недолго: Голованов подошел к Нине Алексеевне, сжал старушечье плечо — несильно сжал, просто сдавил двумя пальцами и попросил рассказать все подробно.

— А ну-ка, по нотам, с именами-фамилиями, весь персимфанс мне изложите, — сказал Голованов.

Встряхнул Дешкову несильно — а старуха потеряла сознание. Следовательно даже не сделал попыток продолжить дознание; просто вышел из кабинета.

Следующий допрос уже вел старший лейтенант Альтман, тот

самый, что допрашивал Енукидзе, — но и для Альтмана работа была мелковата. Обвиняемая Дешкова была измучена горем и страхом, она говорила крайне бестолково, часто плакала. Альтману показалось расточительным тратить время на этот материал. Тогда делом Дешковой занялся лейтенант Фалдин, он вел работу рутинно, без блеска. Правда, допросы Дешковой дважды посетил председатель Московского горкома партии Никита Хрущев. В его присутствии Фалдин проявлял больше усердия. Фалдин любил допросы, ему нравился жанр интервью — Егор Романович мечтал стать журналистом.

Из всех членов тогдашнего Политбюро только Никита Сергеевич Хрущев любил лично присутствовать на допросах и пытках, не брезговал порой и сам приложить руку к процедуре дознания. Хрущев был личностью эмоциональной: плясал перед Сталиным впрыска и пел под балалайку матерные частушки – так некогда Федор Басманов развлекал царя Ивана; не следует из этого факта делать вывод о легкомыслии Хрущева или Басманова. «Батько Сталин, я всех уничтожу ради тебя!» – фразу Хрущева смогли оценить многие.

С 1935-го до 1938 года Хрущев (секретарь Московской городской и

областной партийной организации), Ежов (нарком внутренних дел) и Успенский (начальник московского управления НКВД) образовывали так называемую «тройку»; подписями этой тройки скреплены приговоры того времени. В течение 1937 года из 136 секретарей райкомов партии в Москве и области на своих постах остались семь, остальные исчезли. Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК погибли в результате репрессий 98, из 1966 делегатов XVII съезда — 1108. Брала непосредственно после съезда, и, когда Хрущев подписывал подготовленные Ежовым списки, он добавлял от себя до двадцати фамилий. Столичные жители,

которые традиционно боятся 1937 года и до сих пор поминают «тысяча девятьсот проклятый», должны знать, что арестовывал их Никита Сергеевич Хрущев; секретарь Московского горкома партии лично контролировал ход арестов, требовал, чтобы цифры были впечатляющими; в 1937-м Хрущев ежедневно звонил в московское управление НКВД, спрашивал, как идут аресты. «Москва — столица, — напоминал Никита Сергеевич наркому Ежову. — Нам негоже отставать от Калуги или Рязани».

С военными у Хрущева сложились особые отношения. На 8-м съезде Советов Хрущев сказал так:

«Карающая рука пролетарского закона разгромила эту шайку и при всеобщем одобрении всех трудящихся нашей страны стерла с земли эту нечисть». Речь шла о военных заговорщиках: Якире, Тухачевском, Блюхере. Именно Хрущев режиссировал ход митинга на Красной площади в июне 1937 года с осуждением военных заговорщиков — вернуться к процессу военных казалось ему логичным.

Хрущев спускался в кабинет внутренней тюрьмы на Лубянке, пил чай с лимоном и, морщась, наблюдал, как Фалдин задает вопросы Нине Алексеевне Дешковой.

«Вопрос: Как дано вы

занимаетесь вредительской деятельностью и какие конкретно методы вы использовали? *Ответ:* Я не занималась вредительской деятельностью. Вопрос: То, что вы, Дешкова Нина Алексеевна, являлись передаточным звеном в контактах шпионской сети, разоблаченной следствием, не подлежит сомнению. Ни ваша изворотливость, ни ваш цинизм, ни привычная вам ложь не помогут. Вы пытались скрыться от народного правосудия, но вам это не удалось. Мы располагаем признательными показаниями изменников Родины Блюхера, Якира, вашего сожителя Григория Дешкова. *Ответ:* Григорий Иванович Дешков

мой муж, а не сожитель. *Вопрос:* Германский шпион Григорий Дешков вступил с вами в связь, но документов, регистрирующих ваши отношения не существует. В силу этого следствие именует ваши отношения сожительством. Теперь вы должны сказать следствию, где, каким образом, при участии кого вы передавали сведения о советских вооруженных силах разведке Германии. *Ответ:* Я хочу видеть своего мужа. (...) *Вопрос:* Итак, следствием установлено, что вы передавали сведения через японского шпиона Гамарника и через торгового атташе германского посольства Клауке. Теперь я хочу спросить вас,

каким образом вами был установлен контакт с троцкистской организацией в коммунистической партии Польши? *Ответ:* Я никогда не была в Польше. *Вопрос:* Следствие интересуется — как, посредством каких контактов вы переправляли польским агентам данные о заседаниях троцкистских ячеек в Москве. *Ответ:* Я не знаю никаких ячеек. *Вопрос:* Не рекомендую вам лгать. Ваш сожитель Дешков провел два года в Польше и связь с польскими вредителями им была установлена еще в 1921 году. *Ответ:* Мой муж воевал в Польше в составе армии Тухачевского. *Вопрос:* Вы видите, что запутались во лжи.

Ваш сожитель был связан с Тухачевским, работавшим через польские связи непосредственно с абвером, а вы нам тут рассказываете... (...) *Вопрос:* Итак, вы поддерживали связь с польской троцкистской организацией через так называемых «осадников», то есть лиц польской национальности, проживающих в местности, граничащей с территорией СССР. Следствие интересуется, кому в Москве вы передавали печатную антисоветскую продукцию, полученную из буржуазной Польши (...)».

В промежутках между вопросами Дешкову били резиновым

шлангом по рукам и коленям. Следователь Фалдин задира́л Дешковой юбку до пояса, чтобы ловчее добраться до колен, а старуха, стесняясь, закрывалась руками, тогда следователь бил Нину Алексеевну и по рукам тоже. Скоро Нина Алексеевна потеряла рассудок — сознание уплывало, она стала говорить бессвязно. Она называла Егора Романовича Фалдина «миленький» и «сыночка» и норовила поцеловать ему руки. Говорила: «Не бей меня, сыночка», — и плакала. Фалдину было крайне тяжело работать: допрашиваемая была очевидной душой. Фалдин старался говорить разумно, сам

формулировал нужные ответы, он ведь был без пяти минут журналист, но допрашиваемая не понимала подсказок.

Нина Алексеевна думала, что скоро умрет, и боялась одного: дать показания против сына и мужа. Она переспрашивала следователя: «А вы зачем это говорите?» — чем вызывала гнев Фалдина. Нина Алексеевна готова была согласиться со всем, ей хотелось жить, но боялась оговорить близких. Когда слышала имя Григорий, напрягалась всем существом, выплывала из небытия, говорила: «Невиновен». Она призналась в своем контакте с польскими троцкистами, в передаче

сведений, полученных от Гамарника, германской разведке, в передаче антисоветской продукции троцкистским ячейкам в Москве. Но не сказала ни слова против Григория Дешкова. На вопрос: «Через кого познакомились с врагом народа Гамарником?» Нина Алексеевна ответила: «Так он за мной в школе ухаживал, я у него пионервожатой была», — и разразилась рыданиями. Фалдин бил ее по пальцам и требовал прекратить истерику, требовалось отвечать ясно и по существу, не тратить время следователя попусту. Нина Алексеевна почувствовала, что умирает, она сказала: «Иду к тебе,

Григорий», – потом упала со стула – пульса следователь не обнаружил. Хрущев, присутствовавший на последнем допросе, спросил: «А кто протокол подписывать станет? Пушкин?» – и вышел Никита Сергеевич, сильно хлопнув дверью. Как с такими кадрами готовиться к большой войне?

Однако Нина Алексеевна не умерла, пришла в себя в лазарете тюрьмы. Перевели в общую камеру, сокамерницы отпоили кипятком с сахаром; обошлось. За то время, что ею не интересовались, произошли перемены в ведомстве: нарком Ежов был арестован, допрошен, впоследствии расстрелян.

Следователь Фалдин в ходе чисток не пострадал – но был переведен на фронт. Егора Романовича откомандировали в особый отдел 20-й армии, где он постепенно занялся тем, чем мечтал заниматься всегда, – стал военным корреспондентом. Фалдин писал статьи и репортажи – совмещая это с работой особиста; описав бой, отдав статью во фронтовую газету, Фалдин говорил друзьям: «Сына воспитаю настоящим писателем».

Никита Хрущев получил назначение в Киев, в Киеве Хрущев работал не покладая рук («Дорогой Иосиф Виссарионович! Украина ежемесячно посылает 17–18 тысяч

репрессированных, а Москва утверждает не более двух-трех тысяч. Прошу принять меры. Любящий вас Н. С. Хрущев»). Про Нину Алексеевну Дешкову запомнили. Дело Нины Алексеевны Дешковой завершено не было – но и на допросы ее перестали вызывать; такое случалось, причем нередко.

Вернулись к делу Дешковой в 1942 году. Ведомство НКВД разделили на Наркомат Внутренних Дел во главе с наркомом Берией и Наркомат Государственной Безопасности под наркомом Меркуловым. Следователь Виктор Бастрыкин, разбирая дела (по инициативе Берии был пересмотрен

весь архив и выявлены должностные преступления), наткнулся на любопытный допрос крупного хозяйственника Яковлева, который длился много дней; начинали дознание Альтман и Голованов, в основном же допрос вели начальник 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР Ямницкий и лейтенант Казакевич.

Просматривая многостраничный допрос, Бастрыкин, внимательный человек, выделил следующие фрагменты беседы:

«Вопрос: С кем, кроме Пятакова, из руководителей антисоветской троцкистской организации в СССР вы были связаны? *Ответ:* Кроме Пятакова у меня в 1930–1931 годах

установилась сперва очень тесная личная связь, а затем и организационно политическая связь с одним из руководителей троцкистской организации Яном Гамарником. *Вопрос:* Каким образом вы установили связь с Гамарником? *Ответ:* Гамарника я знал во время гражданской войны по совместной работе на Украине. Моя жена Соколовская была другом его семьи. Начиная с 1930 года мы систематически встречались. Примерно в самом начале 1933-го в одной из бесед у меня на даче – в разговоре о положении на Дальнем Востоке и о внутреннем положении СССР – Гамарник заявил, что ему

известно от троцкистского центра мое
положение как особо
законспирированного руководителя
специальной группы троцкистов,
находящихся на руководящих постах в
партии. Гамарник сказал о
существовании большого
троцкистского подполья в армии,
организованного в военный заговор,
объединяющий все антисоветские
элементы в армии, которые готовят к
вооруженному восстанию против
партии и правительства. В
последующие встречи Гамарник
рассказал, что в руководстве заговора
стоят такие люди, как Тухачевский,
Якир, Уборевич и ряд других видных
командиров. Заговор имеет два плана

захвата власти: первый путем переворота, второй – путем организации поражения СССР в войне».

Поворот мысли существенный: то есть на тот случай, если переворот не удался (а он не удался), оставался запасной вариант – через Гитлера. Это еще в 1933 году решили. И далее:

«*Вопрос:* Ваше изуверское двурушничество и цинизм предателя очень красочны, тем не менее постарайтесь все же ответить на конкретный вопрос следствия: как строилась ваша связь с антисоветскими организациями?

Ответ: Выкристаллизовалось

основное ядро нашей организации: я – Яковлев, Варейкис, Бауман, Попов. Гамарник и Пятаков формально не входили в наш центр, но по существу информировали меня и направляли... Наряду с этим я имел самостоятельную группу, мною завербованных лиц, Михайлов, Гегечкори, Токарев, Цылько, Одинцов, Половинкин... (Список длинный, около тридцати фамилий, следовательно проверил все фамилии – завели ли дело. Завели на каждого.)

Вопрос: Вы имели личные связи с иностранной разведкой? *Ответ:* Да, имел связь с немецкой разведкой».

С этого места начиная – разговор вялый; несерьезно,

оборвано. То ли обвиняемый устал, то ли следователь халтурил. Сталин собственноручно пометил протокол: «Жену Яковлева взять в оборот: он заговорщик, и она должна рассказать все. Спросить ее о знакомых-близких». Далее к делу приобщено заявление на имя Сталина жены Яковлева – Соколовской. «В связи с арестом моего мужа Яковлева Я. А., с которым я прожила с 1921 года, я решила рассказать все, что мне известно о борьбе Яковлева против партии, проводившейся им на протяжении многих лет. Яковлев являлся троцкистом с 1923 года, принимал активное участие в подпольной антисоветской

организации, двуручничая для того, чтобы закрепиться на партийной работе»... Далее – имена; имена те же, впрочем, есть и добавления – но без конкретики.

Даже Сталин был удивлен неряшливостью допроса, он пишет на первой странице – поперек листа: «Т. Ежову. Кто такие? Даже имя-отчество не спросили... Хороши следователи. Нам важна не прошлая деятельность Яковлева и Соколовской, а шпионская работа за последний год! Последние месяцы 1937 года! Нам нужно знать, для чего оба мерзавца почти каждый год ездили за границу. И. Сталин» Четкие указания – и ноль по

результатам. Халатность? Или хуже? Но ведь выход имеется: берем каждое из перечисленных до того имен, последовательно идем по нити его контактов. Смотрим, в каких местах обрывается нить. Любопытная получается картина.

Очевидно, что Гамарник — шпион, берем этот пункт за отправной; очевидно, что он стоит практически за каждой ячейкой троцкистов в армии; очевидно, что дата восстания в частях армии координировалась при его участии. Смотрим: в какое время и где в точности находился Гамарник. Получаем картину передвижений с Дальнего Востока — на Запад и

обратно. А вот и страннейший документ о разоблаченной фашистско-троцкистской офицерской организации — с ячейками в Свердловске, Перми, Тагиле, Ворошиловске, Надеждинске, Хабаровске. То есть вплоть до Дальнего Востока тянется цепочка. Здесь даже прямо называется тактический центр и время удара: повстанцы должны захватить военный склад № 59 в Перми, затем захватить Пермь с ее оборонными заводами, разрушить железнодорожную магистраль, связывающую Европейскую и Азиатскую часть Советского Союза. Соответственно — западная часть

отдается Германии, восточная — Японии. И опять среди имен — неперенный Гамарник.

Был заговор — и какой!

И опять резолюция растерянного Сталина «Т. Ежову. Странное письмо! А кто из поименованных арестован?? Арестованы ли, скажем, Епифанов, Стихно, Булгаков и др.? Записка производит впечатление газетной статьи. И. Ст.». Кажется, ясно спросил Иосиф Виссарионович. И снова — ноль результатов. Нарочно? Впрочем, Ежов — враг, теперь мы знаем.

И еще, в общую копилку: протоколы допросов диверсантов.

Везде мелькает Дальний Восток, а развития данная тема не получает. Логично предположить, что диверсионная организация вербует военных из тех, кто служит на Дальнем Востоке, в непосредственной близости к Гамарнику – и затем перекидывает шпионов в столицу. Пройдемся по семейным и дружеским связям Гамарника: кто там на Дальнем Востоке у него в окружении, кто его друг, с кем откровенен? Все нити ведут к семье Дешковых – причем любопытно, что сын Григория, Сергей Дешков, служил на Дальнем Востоке – а сейчас находится на Западном фронте. Оказывается, не

договорили сотрудники
комиссариата внутренних дел с
Надеждой Алексеевной Дешковой,
рано отложили ее дело в сторону.
Есть еще материал для работы.

Виктор Бастрыкин вызвал
Дешкову на допрос.

Вальтер Модель был не из тех генералов, что отдают распоряжение армии, не видя солдат, которые сражаются, и посылают их в бой, не зная местности, на которой пойдет бой. За считанные дни, что он провел подо Ржевом, генерал-«пожарник», как его умиленно называли, разобрался в топографии края лучше, чем местные жители. У карты он проводил ровно час в день – но помнил цепко и реагировал быстро.

Георгий Жуков впоследствии сказал про русские армии подо Ржевом: «Кроме везения, надо было обладать умением», – у русских

везение отсутствовало, а науку заменяло упорство. Вальтер Модель обладал и тем и другим; помимо того, генерал был храбр. Человек риска, Модель перенес командный штаб непосредственно в Сычевку и к тому времени, когда начался бой, мог вести командование непосредственно с места событий.

Помимо прочего, требовалось ликвидировать дулаг в Сычевке; в ведение генерала не входило управление лагерей, но для быстрого осуществления акции в условиях боя требовалась помощь вермахта.

Ликвидацию евреев в Сычевском дулаге завершили до начала атаки; солдаты обеспечили

быстрое заполнение евреями
автомобиля-душегубки —
потребовалось четыре часа работы
на всю партию, из расчета 25 минут
на каждые пятьдесят человек.
Трехтонный «Опель Блитц» забивали
до отказа, времени раздевать евреев
и сортировать личные вещи не было.

Спустя три года начальник
айнзацгруппы полковник Олендорф
так описал работу газвагенов на
вверенной ему территории.

«Полковник Покровский:
Сколько было казнено с помощью
этих автомобилей?

Олендорф: Я не могу назвать
точную цифру, но сравнительно это
было очень немного, примерно,

несколько сотен.

Полковник Покровский: Вы сказали, что в этих машинах казнили главным образом женщин и детей. По каким соображениям?

Олендорф: Существовал категорический приказ Гиммлера по этому поводу. Женщины и дети, согласно этому приказу, должны были быть умерщвлены именно таким образом для того, чтобы избежать лишних душевных волнений, которые возникали в связи с другими видами казни. Это также давало возможность мужчинам, которые сами были женаты, не стрелять в женщин и детей.

Полковник Покровский:

Наблюдал ли кто-либо за поведением казнимых в этих машинах?

Олендорф: Да, врачи.

Генерал Никитченко: По каким мотивам истребляли детей?

Олендорф: Был приказ о том, что еврейское население должно быть полностью уничтожено.

Генерал Никитченко: В том числе и дети?

Олендорф: Да.

Генерал Никитченко: Только ли детей евреев уничтожали?

Олендорф: Да.

Генерал Никитченко: А детей тех, кого вы относили к категории комиссаров, тоже уничтожали?

Олендорф: Мне не известно,

чтобы когда-либо разыскивали семью комиссара».

И действительно: детей и семьи комиссаров в тот день уничтожать возможности не было – но еврейских детей до начала боя передушили всех.

В приведенном выше диалоге Олендорф предстает человеком долга, к тому же он был человеком поэтическим (рассказывают, что на Нюрнбергском процессе влюбленные женщины слали ему в камеру розы), поэтому Олендорф старался умерщвлять евреев с минимальными психологическими травмами для солдат рейха – но в те дни в Сычевском дулаге грязную работу

приходилось делать наскоро. Делали что могли и как могли.

Повезло, что штаб зондеркоманды 7А при айнзацгруппе Б — находился прямо в Сычевке. Все решалось просто и быстро. Командир зондеркоманды был назначен недавно, как и Модель: прежнего командира, доктора юриспруденции Вальтера Блюма, отозвали в Берлин — сейчас на его месте оказался расторопный Курт Матчке. Генерал Модель коротко поговорил с Матчке по телефону: «Вы понимаете, что у вас два часа, в лучшем случае, три. Я не могу вам дать больше одной роты солдат». — «Благодарю, я все понимаю. Этого

достаточно, генерал».

Газваген (в ту пору автомобиль еще именовали «дезинфекционным» – Entlausungswagen) в распоряжении солдат имелся один, к тому же маломощный – на пятьдесят человек максимум. Но работали быстро и ладно; огромным облегчением явилось то, что евреи заранее были маркированы, солдаты не тратили времени на выявление еврея среди заключенных. Шел счет на минуты: неизвестно было, что окажется быстрее – основная сила со стороны русского фронта, движение разбитой, но все еще живой 29-й армии, которая перешла Волгу и шла на соединение с основными частями, –

или танковый корпус 9-й армии рейха.

Как раз в тот момент, как еврейские трупы облили бензином, Моделю доложили о подходе танкового корпуса. Одновременно пришли сведения от Кумма: полк «Дер Фюрер» закрепился на плацдарме.

Теперь красные могли атаковать: было кому их встретить.

Вальтер Модель — жилистый, отважный, точный — сказал адъютанту, что все решится в следующие десять часов. Адъютант Мэкер вместе с генералом еще раз поглядели карту: слабое место одно — там, где стоит полк молодого Кумма.

Подкреплений Кумму в ближайшие десять часов взять неоткуда.

– Курт Матчке просит поставить его людей в оборону.

– Они что-нибудь умеют?

– Наверное умеют.

– Что ж. Пусть штурмуют вокзал.

Война стала таким большим делом, объединившим сразу всех людей, что прочие дела по сравнению с войной сделались сразу никчемными. В дни мира разные мелкие занятия казались важными: можно было посвящать дни обсуждению спектакля, или сочинению стихов, или написанию рецензии на повесть, или еще чему-нибудь, что было необязательным для жизни общества, но интересным. Когда война накрыла город, занятия горожан стали сопоставлять с ежедневной смертью многих, и в то время как люди убивали людей и

рушилась вся жизнь — заниматься
необязательными делами стало
стыдно. Казалось, пока совершается
необязательное занятие, погибает
человек, и ничем нельзя объяснить,
почему ты не спас этого человека, а
занимался своим необязательным
занятием. Но так ведь было всегда, и
до войны так было тоже — были беды
и смерти, а значит, были и
неравновеликие им занятия. Верно,
но просто во время войны это
сопоставление стало понятным, а до
того — таким заметным не было.
Прежде беда случалась неожиданно:
мы встречались с человеком — а
потом он вдруг умирал, и все
переживали, что при жизни уделили

ему мало внимания. Но умирал человек внезапно — как угадать, что ему надо было уделить внимание именно вчера? Во время войны смерть была объявлена заранее, и это все меняло.

Теперь стало стыдно за мелкие дела: было все равно — написана ли рецензия на повесть, высказано ли мнение. Достать сахар, выставить на крышу ведра с песком, запастись картошкой — было важно, а стихи не важны совсем. Про войну не говорили, войну не обсуждали — но все сравнивали с войной. И даже ежедневные сводки по радио не обсуждали — как не обсуждают пожар; горело и горело; говорить про

войну было не нужно — она была везде.

Есть большое единство людей, гораздо большее, нежели любое общество, или государство, или партия единомышленников, — это смерть. Когда люди приходят с праздных улиц на кладбища, они смолкают, сплоченные плотной общностью бывших жизней. Но стоит сделать шаг обратно в пестрый город, в суету необязательных дел, и единства нет — есть любовь к некоторым, неприязнь к отдельным, равнодушие к большинству. Пришла война, и единство смерти вдруг скрепило всех.

Перед лицом этой неоспоримой

общности — стали важны простые домашние дела, понятные каждому: чаепитие, поход в кино, штопка порванной рубахи — а занятия, понятные одному, стали ненужными. Домашняя жизнь перестала казаться пустяком, ей отдавались истово, словно наперекор беде — и в этом все тоже были заодно. В прежней жизни Фридрих Холин часто говорил себе: зачем тратить драгоценные минуты на чаепитие — я могу это время отдать творчеству. Теперь он думал: зачем сочинять то, что никак не поможет — зачем тратить минуты, которые могут стать последними?

То, что небытие совсем рядом, чувствовали все — и Холин это

чувствовал тоже. Их дом вымер. Квартира Рихтеров, в которой прежде жила большая семья, стояла молчаливая: старшие сыновья уехали на испанскую войну, не вернулись; младший, Соломон, стал курсантом летного училища – обещал писать, но не писал. Старик Рихтер вечерами заходил к Холиным – видно было, что тоскует по большой семье. «Хоть погреемся у нас, каково ему одному, без четырех сыновей», – говорила жена. Моисей Рихтер садился на табурет на кухне, молчал, к нему подводили маленького Пашу: «Поздоровайся с дедушкой», – и Моисей гладил Пашу по голове своей костлявой рукой со вздутыми венами.

Опустела квартира Рихтеров; сгинула семья Дешковых, точно и не было такой семьи вовсе; в квартиру к Дешковым вселились Щербатовы из подвального этажа, но и Щербатов пожил в доме недолго — уехал на фронт. А может быть, и не на фронт — кто теперь разберет, куда человека послали. В отсутствие нового хозяина приходили в квартиру трое — вошли резко, жену Щербатова отодвинули в сторону, все перерыли заново, как после ареста Дешкова. Фридрих Холин спросил у старика Рихтера: «Как думаете, зачем приходили?» Старик пожевал губами, сказал: «Когда война, много крови. Хищники кровь чувят, по следу идут».

Если вечером смотреть на окна дома – редко где светится окно.

«А у нас сегодня постный сахар» – лакомство сегодня, розовый и желтый сахар, его вприкуску с кипятком едят, маленькому Паше нравится. Когда возьмешь на руки ребенка, спокойнее – есть задача: маленького уберечь.

Под Новый год заболел Паша Холин. Начался жар; мальчик сначала плакал, потом уже и не плакал, сил не было. Говорил мальчик совсем тихо, ручки его лежали поверх одеяла, тощие и слабые.

– Что у тебя болит, Пашенька? – повторял Фридрих Холин. Он сидел у кровати ребенка, задавал один и тот

же вопрос, который Пашу утомлял. Холин говорил эти слова от беспомощности. Он хотел сделать что-то, безразлично что именно, лишь бы нашлось ему дело — куда-то пойти, что-то принести; невыносимо было видеть белое лицо мальчика.

— Что, что болит? — повторял Холин. Мальчик морщился, звук голоса его утомлял.

Жена говорила Холину:

— Успокойся, прошу тебя, — и обнимала Фридриха, словно болен был он, а не их сын.

Однако Холин должен был хоть что-то делать, и ему казалось, что, спрашивая, он проявляет заботу. И он настойчиво спрашивал:

– Что у тебя болит, Паша, скажи папе.

– Горлышко болит, – сказал он, – и грудка болит. Дышать не могу.

Жена клала руку на грудь мальчика, а тот просил:

– Положи на горлышко, – и Люба клала руку на его горло.

– Что, что болит? – повторял Холин. – Что принести? Что нужно?

Он вставал со стула и ходил по комнате, так вот и успокаивался. Катя смотрела, как Холин ходит, и объясняла мальчику: «Папа волнуется. Вот как папа своего сыночка любит. Видишь, папочка переживает. Ты должен скорее поправиться. Нельзя папочку

ВОЛНОВАТЬ».

Но мальчику становилось хуже.

— Что я должен делать?

Однако ничего от Фридриха Холина не требовалось, ничего было не нужно. Есть Паша не просил, пить не мог, врача уже вызывали третий день, но врач не приходил.

— Пойду приведу врача, — говорил Фридрих Холин; он вставал, резкими шагами ходил по комнате, надевал пальто, выглядывал в окно — за окном была беспросветная декабрьская ночь, и врача в этой ночи не было. Врачи работали в госпиталях для раненых, детских докторов было мало — и лекарств было мало тоже.

– Чаю выпей, чайку горячего, – говорила Люба, но мальчик не мог пить, болело горло.

Пришел наконец врач, тихий еврейский доктор с большим носом. Он просил Пашу открыть рот, наклонялся к мальчику, сдвигал круглые очки на лоб и рассматривал Пашино горло. Потом достал трубочку и прикладывал к Пашиной спине и груди. И стучал по ребрам согнутым пальцем.

– Что у него болит, доктор? – спросил Фридрих Холин.

– Горло болит, и ваш ребенок это вам сказал. У ребенка скарлатина. И мальчику дышать трудно. У мальчика воспаление легких.

– Как это? Как – скарлатина?

– У еврейских детей, как правило, слабое горло, – сказал врач. – Такова наша особенность. Началось, вероятно, со скарлатины. Потом воспаление. Организм очень слабый.

– Наша особенность? – сказал Холин. – Еврейская особенность?

Отец его был наполовину евреем, однако еврейскую бабушку Холин никогда не видел, бабушка жила во Львове – умерла лет десять назад. Отец, правда, называл себя евреем. Но сам он не еврей, какой же он еврей?

– Разве я не увижу, когда ребенок еврей? – сказал врач. – Ваша

жена тоже еврейка, это на ней написано. А у вас кто еврей из родителей, папа или мама? Папа? Я так и думал.

Верно: жена тоже наполовину еврейка. Как все-таки некоторые люди быстро нацию определяют. Холин спросил:

– Доктор, это опасно?

– Воспаление легких – это очень опасно. Быть евреем опасно. Вы сами знаете.

– А скарлатина?

– Скарлатина тоже опасно. Но быть евреем гораздо опаснее.

– Как вас зовут, доктор?

– Розенблюм, Захар Абрамович.

– Захар Абрамович, он не

умрет? – Зачем спросил? Как страшно эти слова прозвучали. И темно в комнате, и на улице темень.

– Не пускайте в дом господина Гитлера. И достаньте нужные лекарства. И все будет хорошо.

– Какие лекарства, доктор?

– Стрептоцид и норсульфазол.

Чудесное лекарство.

– Нам страшно, доктор, – сказал Холин.

– Мне тоже страшно, и моей жене страшно. Когда давно боишься, привыкаешь. Становится легче.

– Я уверен, что победа близко, – сказал Холин. Но думал он только о ребенке.

– Не сомневаюсь, – сказал

Розенблюм, – победа очень близко. Не удивлюсь, если завтра уже случится победа. А что потом?

– Вы говорите это странным тоном.

– Скажу вам как еврей еврею, я очень хочу, чтобы господину Гитлеру намылили шею. Только думаю: когда немцев прогонят, мне будет трудно дружить с теми советскими людьми, которые выдавали евреев немецким фашистам.

– Предателей у нас в стране очень мало.

– Вам так кажется?

– Что делать, Захар Абрамович?

– Надо принимать
предписанные лекарства. И хорошо

кормить мальчика.

— И поможет? Поможет?

— Должно помочь, — сказал Розенблюм, который видел разное.

Паша болел тяжело, через неделю стало понятно, что стрептоцид ему не помог. Люба ночами сидела у постели мальчика, держала руку у него на горле. Паша шептал: «Горлышко болит, мама, положи на горлышко ручку». Люба называла его «пряничек». «Спи-усни, пряничек, проснись здоровенький». Но мальчику стало совсем худо. Температура поднялась до сорока, он мерз. Люба кутала его байковым одеялом, взятым у Рихтеров; на одеяле были нарисованы зеленые

медведи.

Пришел доктор Розенблюм, сказал, что нужен пенициллин.

Что такое пенициллин, Холин не знал, и врач им объяснил, что это новое лекарство, очень сильное. В Англии изобрели – на фронте так раненые спасаются.

– Как хорошо, что пенициллин есть, – сказала Люба и стала гладить руки доктора. – Спасибо вам, голубчик Захар Абрамович.

– Пенициллина у меня нет, – сказал доктор, – Бывает только в госпиталях для раненых. Присылают из Англии, мне рассказывали в Первой градской. У них есть для инфекционных раненых. Если

загноение при ранении в живот. И советский пенициллин в Боткинской больнице есть. Точно не знаю, не видел никогда, но говорят, что советский пенициллин есть.

— А вы не поможете достать?

— Как же я вам помогу? — и Розенблюм сжал руку Холина. — Вы отец, у вас должны быть силы. На черном рынке, говорят, купить можно.

— Мы книги продадим, — сказал Холин.

— Боюсь, ваши книги сегодня никому не нужны. Продайте пальто.

На Тишинском рынке, где продавали вообще все, даже ковры и мед в больших банках, —

пенициллина не было.

Ночью они сидели с женой возле Паши, а Паша дышал слабо. И Холин прижимал ухо к груди мальчика, думал, что тот уже не дышит. Но сын дышал, тонкий хрип проходил сквозь тело, еле слышный звук, как сигнал далекого паровоза – словно далеко проходила железная дорога и оттуда донесся звук. Они друг с другом не разговаривали почти до утра, а под утро Люба сказала:

– Если Паша умрет, что же делать будем? Жить будет трудно.

– Я тогда жить не буду, – сказал Холин. Как и всегда в эти дни, сказав о своих переживаниях, Холин почувствовал, что сказал глупость.

Он хотел сказать, что ему невыносимо больно, но получилось, что он свое переживание уравнивает со смертью, а смерть – вот она, перед ними. И смерть приходит без всяких переживаний. Ему стало стыдно. Почему я не умею говорить нужные вещи, думал он.

– Надо жить, – сказала Люба, – вокруг столько горя. Надо людям помогать. Но будет трудно жить.

В Боткинскую больницу пошли вместе с Рихтером – тот знал профессора Рабиновича.

Профессор Рабинович более на работал в Боткинской больнице – а где он теперь работает, никто не говорил.

– Вам к кому?

– В хирургию нам. В отделение Якова Рабиновича.

– Ждите, вызовут, когда Урсин освободится.

Они стояли в холле и ждали.

Холин спросил у Моисея Рихтера:

– Вы чувствуете, что вы еврей?

– Да, я еврей, – ответил старик Рихтер.

– А вот я не чувствую себя евреем, – сказал Холин. – Вся страна на фронте, я вместе с народом, не имею нации.

– Не говорите глупости, – сказал Рихтер. – Слушать противно.

– А скажите...

Но Рихтер отвернулся: он не любил обсуждать глупости. И правда, думал Холин, о чем я говорю, какая разница.

Их пригласили внутрь. Врач Владимир Урсин, полковник медицинской службы, перевезенный в Боткинскую вместе со своими пациентами из-под Вязьмы, лечил последних калек из уничтоженной 29-й армии. В отделение гнойной хирургии он попал после того, как арестовали заведующего, профессора Рабиновича.

— Пенициллин у меня есть вот для него, для него и для него. — Урсин показал пальцем на койки. — А для тех трех уже нет пенициллина.

Надеюсь, они сами справятся, на норсульфазоле вытянут. У самого дети. Проблему понимаю.

— Умрет?

— Нельзя, чтобы за сорок ушла. —

Это врач про температуру сказал. — Сбивайте чем можете. Спиртом протирайте. Организм может справиться. Ресурсы у нас есть.

— А если...

— Прекратите, товарищ Холин, — сказал Урсин. — Вы не один. Сегодня на повестке дня война.

Они пошли обратно домой. Долгую часть пути шли пешком, по заметенному шоссе, причем старик Рихтер ковылял рядом, не отставая. Потом сели в автобус. Холин боялся

возвращаться домой.

— Ты мой пряничек, — говорила Люба мальчику, и лицо ее было такое же белое, как у больного мальчика. И Холин плакал, когда жена на него не смотрела.

Холин теперь почти не ходил в редакцию — за время Пашиной болезни был на службе всего один раз. Спустя десять дней пришел снова. Теперь он уже не боялся Фрумкиной, как прежде, ему было безразлично.

— Странно вас видеть здесь. Вы больше здесь не работаете, — сказала ему Фрумкина. — Приготовила докладную записку в отношении вас. Ставлю в известность. Передаем по

инстанции.

– Достаньте мне пенициллин, – сказал Холин.

Он теперь просил всех подряд. Просил у Рихтеров, просил у жены Щербатова: «Вам, в вашем ведомстве, может быть – выдают? Пожалуйста». Он просил даже свою бывшую возлюбленную – пришел в ту самую квартиру, где прежде прятался: «Ты ведь любишь Пашеньку, достань нам пенициллин». Но бывшая возлюбленная подняла брови, поджала губы – она горько переживала обиду. И где же ей пенициллин взять. Сказала: «Вы уж как-нибудь сами. От души

сочувствую».

– Помогите мне, – сказал Холин.

Господи, думал Холин, сделай так, чтобы помогли. Господи, спаси сына, Господи, прости меня! Я не верил в тебя, Боже мой, прости меня, Господи.

Он сказал Фрумкиной:

– Мне нужен пенициллин, не знаю, где взять, помогите.

Фрумкина поглядела твердыми вороньими глазами. Она презирала Холина.

– Придите в себя. Стыдно. Размазня.

– Сын болен.

Фрумкина спросила:

– Сколько лет ребенку?

— Пять. Началась скарлатина. Потом легкие. Воспаление. — Господи, зачем я все это говорю? Кому?

Вороньи глаза смотрели пристально. Фрумкина не поверила.

— Придумали про сына. Какой позор! Знаете, что немецкие фашисты убивают детей? — вдруг сказала Фрумкина. — Пока пьете водку и трусите, фашисты убивают еврейских детей.

— Доктор Розенблюм сказал, что у еврейских детей слабое горло. Вот и Паша заболел. Воспаление началось. — Он говорил невпопад и думал: что я говорю, Господи, зачем говорю? Они меня слушают и

смеются. Оглянулся на сотрудников редакции; действительно, все на него смотрели.

— Не знала, что вы еврей, — сказала Фрумкина.

— Я не пью больше. Еврей, да. Какая вам разница! Как это — детей убивают?

— Убивают детей. Расстреливают детей немецкие фашисты. В Румбульском лесу расстреляли семь тысяч еврейских детей. Возраст до десяти лет.

— Где это?

— Неважно. В Латвии. Под Ригой.

— Детей убивают? — Он не понимал.

— Ступайте домой, к сыну. Пеницилина мало. Только для нужд фронта. Вы не можете достать пенициллин.

— А на рынке? Я ходил на рынок. — Он всем рассказывал теперь про рынок, оправдывался, что не смог достать лекарство. Но ведь старался. Холин каждому объяснял, что он старался. — Я ходил на Тишинский рынок. У соседей спрашивал.

— При чем тут соседи? Владейте собой, Холин. Вы мужчина.

Он заплакал. Нельзя было плакать, унизительно это, позорно. У всех на виду плачет бессильный человек. Стоял посреди комнаты и

плакал, икал от слез, а сотрудники редакции на него смотрели. Сквозь слезы он глядел на их знакомые бессердечные лица. Смотрите, смотрите, как человека раздавили. Нравится вам?

Вернулся домой, а дома был доктор Розенблюм, сидел у Пашиной кровати. Нос у доктора очень длинный, очки запотели. И не говорил доктор ничего, уколы мальчику делал, спиртом обтирал. Тельце у Паши стало тонкое, легкое, прозрачное. И глаз не открывает уже. Сидели вдвоем у постели: Люба, Розенблюм и Холин.

Холин несколько раз хотел сказать слова для Любы, но, сказав

их про себя, понимал, что это глупые слова.

Ночью в дверь стали стучать. Розенблум поглядел на Холина вопросительно.

– Это за мной пришли, – сказал Холин.

Когда рушится жизнь, рушится сразу все: война, сын, работа, арест. Фрумкина ведь предупредила меня, думал Холин, она сказала, что пошлет доклад. Теперь быстро приезжают: раскрыли конверт, прочли – и поехали. Пряничек мой, не увижу тебя. Не помог я тебе. Прости меня, пряничек. И беспомощный Холин вышел в прихожую. Пока поворачивал ключ в

скважине, смотрел на свою руку — слабая, бесполезная, ничего делать не умеет.

За ним следом вышел врач Захар Абрамович, встал рядом:

— Если вам что-то нужно. Ну, вы понимаете.

— Я от отца отказался, — сказал ему Холин, — понимаете, от отца отказался. Когда страх пришел. Фотографию на пол бросил. — Ему было страшно от самого себя, и слова не выговаривались. — Это все уже потом... понимаете... дико мне, что я сделал...

— Успокойтесь. Если что нужно, скажите. Я останусь здесь до конца.

Холин открыл дверь.

– Покажите мне вашего сына, – сказала Фрумкина. – Покажите ребенка. Где мальчик?

Прошла без приглашения к кровати, отодвинула Любу, нагнулась над ребенком низко, вороньими глазами буравит белое личико. Даже пальто не сняла; пришла проверить – болен ли ребенок. Проверяет, как цензор, ищет в мальчике – как в статье, к чему придраться.

– Уйдите пожалуйста, – сказал Фридрих Холин, – вам здесь нельзя быть.

– Уходите, – сказала Люба. – Наш мальчик очень болен.

Не слушает Фрумкина, смотрит. Привыкла, что она везде главная.

– Вон, – сказал Холин. – Вон идите отсюда.

Фрумкина протянула вперед большой костлявый кулак, разжала. На ладони пять ампул.

– Пенициллин.

Вальтер Модель полагал, что все решится в ближайшие десять часов. Бой начался 28 января и длился две недели. Сам Модель находился в войсках постоянно.

Бои шли за остов любой избы; люди устали. Танки, пушки, лошади проваливались в болото – от взрывов лед на болоте трескался, и трясина вылезла из-под снежной корки.

Отто Кумм с полком общей численностью 650 человек занял позицию у деревни Клепенино, в пяти километрах от замерзшей Волги; неделю подряд полк отражал атаки свежих частей РККА, рвущихся

на соединение с окруженными русскими дивизиями. Кумм сказал своим солдатам, что на этом участке решается исход битвы за Ржев. Отступить — значит не только отдать Ржев, это значит отдать жизни товарищей по 9-й армии. Товарищи поверили в нас, сказал Кумм. Надо выстоять.

Он сказал правду, на эту длинную неделю важнее участка на Центральном фронте не было. А потом эта неделя кончилась и настала другая, такая же тяжкая. Истребительно-противотанковая 10-я рота полка имела на вооружении противотанковые пушки числом двенадцать. Еще была 2-я рота

тяжелых вооружений, эта рота состояла из взвода легких пехотных орудий и двух батарей штурмовых орудий. Имелась одна зенитная пушка — калибра 88 мм — пушку перевели в состояние настильного огня: бить по танкам. Требовался хороший канонир.

— Лейтенант Петерсон, рассчитываю на вас.

— Благодарю за доверие, оберст.

Оснащены были хорошо — но людей мало; силы неравны: помимо кавалерийской бригады у русских был танковый дивизион, две роты саперов и полк пехоты. Сергей Дешков четыре раза атаковал плацдарм Отто Кумма. Потом

Дешков отступил в лес.

Танковый дивизион, который придали Дешкову, весь сгорел у деревни Клепенино. К 3 февраля противотанковые пушки лейтенанта Петермана подбили двадцать Т-34. Орудийные расчеты сменились трижды, сам Петресон был убит, но русские танки не прошли. 4 февраля появилось еще тридцать советских танков, остановились в пятидесяти метрах, начали стрелять по пехотным землянкам и пулеметным точкам. Через два часа в штаб полка «Адольф Гитлер» из расположения 10-й роты приполз человек. Это был ротенфюрер Иоахим Вагнер. Вагнеру помогли подняться, ввели в

помещение. Тяжело раненный, с отмороженными руками, он попытался встать и доложить как положено. Упал и докладывал лежа на полу:

– Герр оберст, из моей роты в живых остался я один.

Кровь толчками выходила у него из горла, Вагнер замолчал, и 10-я рота перестала существовать.

– Кто пойдет к орудиям? – спросил Кумм.

– Герр оберст, где наша авиация? – спросил его капрал Нойманн. – Где эскадрилья Йорга Виттрока? Почему нет помощи?

– Так случилось, капрал, что Йорг Виттрок мой друг. Если бы

майор Виттрок мог помочь, был бы здесь. Его нет, значит, майору тяжелее, чем нам. Значит, мы должны помогать ему. Еще вопросы будут, капрал?

— Никак нет, герр оберст.

— Кто пойдет к орудиям? — повторил Кумм и пошел к орудиям сам.

С ним пошли водители и повара; больше никого в полку не осталось.

Опять налетел с фланга Дешков, его всадники прошли батарею насквозь. Кавалерист Додонов полоснул капрала Нойманна по глазам, когда капрал поднял голову от защитного щитка. Отто Кумм не мог повернуть длинный ствол так, чтобы

достать ближних всадников, — он ждал, пока Додонов зарубит Нойманна и пока лошадь не вынесет красноармейца на открытое пространство. Потом развернул тяжелый пулемет, навел прицел на кавалериста, пропорол Додонова очередью. Додонова вышвырнуло пулями из седла.

— К орудиям, — сказал Кумм. Живые еще оставались, слышали его приказ.

Нойманна сменил водитель Хаберль. Через десять минут Хаберль был убит.

— К орудиям, — сказал Кумм.

Через сутки тридцать советских танков сгорели.

Боялись атаки пехоты — на рукопашную сил не было. Но русская пехота не подошла. Уже в сумерках к русским подошла свежая пехота.

Когда стемнело, русских от штаба полка Кумма в Клепенине отделяло 50 метров. Ночь провели сжавшись от холода, готовясь умереть. Ждали последней атаки до утра.

Под утро русская пехота ворвалась на позиции, а из леса пришла кавалерия — красный полковник Дешков атаковал Кумма в шестой раз. Конники Дешкова растоптали последних солдат, державших батареи, орудийных расчетов больше не было. Пушки и

пулеметы Кумма были взорваны. 2-я рота полка «Дер Фюрер» полегла до последнего человека.

В этот момент в Клепенино прибыл мотоциклетный батальон дивизии «Рейх». Ударили по русским с фланга, тяжелыми пулеметами перебили ноги лошадям; советские конники копошились в снегу — их расстреляли. Кровь на снегу сразу становится черным пятном — русские ползли в черной каше. Вдобавок на помощь Кумму были переброшены части 189-го дивизиона штурмовых орудий под командованием майора Муммерта. На позиции вышли минометы. Били по раненым в снегу.

Остатки кавалерии ушли в лес —

спустя час конники опять пришли, не могли успокоиться; но конников осталось совсем мало. Последние кавалеристы прошли Клепенино околицей, ушли в дальний лес, чтобы избежать окружения. Кумм даже не стал стрелять вслед.

39-я и 29-я русские армии не сумели соединиться – плацдарм был закрыт германскими войсками.

Русские отошли; коридор прорыва, от Клепенина до берега Волги, пять километров черного снега – удержан, 29-я русская армия окружена. Вопрос нескольких дней – остатки этой армии уничтожить.

1 февраля Вальтеру Моделю присвоили звание генерал-

полковника. Следующие две недели Модель доводил сделанное до совершенства, шлифовал созданный наспех шедевр. Написал обращение к солдатам, чтобы 18-го числа зачитать перед строем. 18-го парад был построен, он еще раз взглянул на текст.

Главнокомандующий
Штаб армии,
9-й армии 18 февраля
1942 года

Солдаты 9-й армии!
Мои испытанные зимой
бойцы Восточного фронта!
После устранения

прорыва западнее Ржева 9-я армия в тяжелых, неделями длящихся боях разбила одну из прорывающихся вражеских армий и полностью уничтожила другую.

В этом боевом успехе каждый командир и каждый солдат армии имеет свою долю!

Ваша готовность от командира до бойца к участию в боях доказывает, что мы превзошли русское оружие и солдат советской России, невзирая на продолжительную

жестокость русской зимы.

Фюрер наградил меня
сегодня «Дубовыми
листьями к Рыцарскому
кресту Железного креста».
Я буду носить его с
признательной гордостью
за вас, солдат 9-й армии, в
особенности за тех из вас,
кто отдал свою жизнь за
выполнение наших задач, и
как очевидный знак вашей
солдатской стойкости.

Ваша боевая выдержка
в этой зимней войне,
которая войдет в историю
великого немецкого народа,
дает твердую уверенность,

что мы и в будущем
успешно справимся с
любым врагом и любой
задачей, которую поставит
перед нами фюрер.

Готовился выйти к бойцам;
адъютант сообщил, что Отто Кумм
явился в штаб армии с докладом.
Услышав об оберштурмбанфюрере
Кумме, генерал-полковник Модель
вышел навстречу. Жилистый,
статный, маленький, монокль в
правом глазу.

— Благодарю за отличную
службу, оберст.

— Люди проявили героизм,
господин генерал.

– Знаю, что понесли потери. Ваш полк мне по-прежнему нужен, герр оберст.

Отто Кумм показал рукой в сторону окна, сказал:

– Господин генерал, мой полк построен.

Модель подошел к окну. На площади выстроился полк «Дер Фюрер» дивизии СС «Рейх»— тринадцать человек.

Соломон Рихтер написал Фридриху Холину письмо:

«Подходит конец нашему обучению, через месяц мы станем полноправными штурманами и стрелками-радистами. Нам объявили, что мы скоро едем на фронт. Пока неизвестна конкретная часть, где будем служить, но все уверены, что будем сражаться под начальством генерала авиации Голованова, человека легендарного. Александр Голованов славен тем, что ставит перед летчиками трудные задачи и показывает пример, как надо трудность преодолевать.

Думаю, скоро война закончится. Я чувствую в себе столько сил для приближения победы! И что самое главное, теперь я отчетливо знаю, зачем эта победа нужна.

Дорогой Фридрих, я благодарен последнему году: я смог сосредоточиться и понять, ради чего идет эта война.

Хочу, чтобы ты знал: с первого дня войны я был готов отдать жизнь за Родину, за близких, за любимую Таню, за нашу Москву. Это было неосознанное, инстинктивное желание защитить свою страну, свой город и своих любимых людей. Верь мне, я высоко ставлю жертвенное сознание, которое ведет солдат

вперед. Мои товарищи движимы желанием подвига во имя Родины, и думаю, это даст им силы для решительной победы над фашистскими оккупантами.

Но философ обязан сформулировать вещи очень точно, и я хотел предельно ясно понять, чем эта война отличается от любой другой войны, на которой убивают людей, а солдатам говорят, что они гибнут за Родину. Не столь давно была Мировая война в Европе, которую сумел остановить Владимир Ильич Ленин. И конечно, убитым на ней солдатам тоже говорили, что они гибнут ради своей Родины. Так ведь на первый взгляд и было. И во время

Галльской войны Юлия Цезаря, и во время Франко-прусских войн, и во время войн Рима с Карфагеном – во все века солдатам говорили их генералы одно и то же. Я считал своей задачей понять, почему наша война с фашизмом – особенная. Это другая война, не такая, как все прежние войны.

Сегодня политработники много говорят о патриотизме. Заместитель начальника политотдела нашего училища капитан Халфин читает нам лекции о патриотическом характере войны, о том, почему данная война является аналогом войны Отечественной 1812 года. Капитан Халфин много говорит о том, что

войны делятся на справедливые и несправедливые, на освободительные и захватнические. Эти лекции очень нужны курсантам, которые завтра будут на фронте. Но думаю, что с научной точки зрения лекции не представляют большой ценности. К моему сожалению, фашисты тоже, вероятно, считают войну, которую ведут, — освободительной. Гитлер, вероятно, убедил нацию в том, что немцы возвращают себе земли, которые у них отняли другие капиталисты. А потом Гитлер придумал аргументы, почему надо захватить чужие земли, несложно догадаться, что он сказал немцам: если они первыми не

захватят земли русских, русские захватят их земли. И поскольку в истории было много войн, люди всегда верят в то, что лучше напасть первому, пока не напали на тебя, — и в этом смысле всякая война в какой-то мере выглядит как освободительная, даже если эта война захватническая.

Капитан Халфин не позволил мне возразить, наш политрук — человек, убежденный в своей правоте, отвергающий иные мнения. Возможно, он считает, что на войне нужны упрощенные схемы. Так, капитан Халфин настаивает на мысли, что Россия всегда вела освободительные войны, и

сравнивает битвы с татарами с нашей сегодняшней ситуацией. И в этом пункте я, к сожалению, вижу досадную слабость политической агитации. Именно перед лицом смерти я хочу все понять. Именно потому, что я могу исчезнуть и скоро буду неспособен думать, я хочу понять, ради чего я отдам жизнь. И мне представляется неприемлемым желание дать упрощенную картину мира тому, кто завтра уже не увидит этого мира.

Я отказался принять схему. История, сказал я Халфину, – живая и не схематичная вещь. Я процитировал Гёте: «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо».

Ты, несомненно, помнишь слова Фауста.

Пример с татарским игом — во всех отношениях плох. Дмитрий Донской был классический феодал, действовавший во имя интересов своего класса феодалов. Его конфликт с татарами не исключал его сотрудничества с татарами на предыдущем этапе ига, его взаимодействий с Ордой и тесных контактов с правящей элитой татарского военного лагеря. Интерес Донского состоял не в освобождении русских людей от кабалы, но в создании таких условий для угнетения крестьянства, при которых русским князьям доставалось бы не

меньше оброка, нежели татарским баскакам.

Война с фашизмом — совершенно иная. Нам с тобой, Фридрих, надо отчетливо понять природу этой войны, надо знать, за что мы отдаем жизнь. Война — так раньше думали, и про это, в сущности, пишет Клаузевиц, есть квинтэссенция истории. Когда Клаузевиц называет войну продолжением политики иными средствами, он, собственно, прямо утверждает, что война — есть предельное воплощение истории: в мирное время мы получаем продукт социальной жизни в разжиженном виде, а война представляет

концентрат социальных законов, война есть наиболее полное выражение исторических интенций. Подчеркну мысль еще раз: по мнению большинства, история и война есть одно и то же, но война предъявляет историю в беспримесном выражении, это, так сказать, идеальная химическая реакция.

В таком случае проблема, стоящая перед человечеством, заключается в преодолении истории, в создании над-исторического общества, которое тем самым будет лишено войн. Это звучит неожиданно, не правда ли?

Однако тебе не покажется

неожиданной та мысль, что коммунистическое общество (в котором, как мы знаем из «Капитала» и «Манифеста», уже не будет государства) — в известном смысле находится как бы вне истории. Уверен, что Маркс именно это, внеисторическое, а точнее, надысторическое состояние общества имел в виду, когда писал о «царстве свободы». Согласись, что человечество утверждало всякий новый этап своего развития — кровопролитной войной. Люди, точно дикие звери, выражают себя преимущественно через насилие. Даже благие пожелания отцов церкви находили свое выражение в

жестоких Крестовых походах — напомним тебе кровожадные проповеди Бернара Клервоского. И что же скажем мы о Реформации, которая, как учит нас история, способствовала развитию промышленных отношений, но ввергла Европу в длительные гражданские войны? Признаюсь тебе, Фридрих, часто размышляя над Гражданской войной в России, над гражданскими войнами в Германии, Польше, Венгрии, которые прошли вчера, — я не смог избежать аналогии с реформатскими войнами, предшествующими Вестфальскому миру. Как бы я хотел дискутировать с тобой этот вопрос!

Я сегодня набросаю тезисы этой беседы, а после победы мы обсудим этот вопрос детально. По рукам?

Если история неизбежно движима войнами, а война предъявляет нам наиболее радикальное выражение исторических процессов, следовательно, человечеству необходимо от истории отказаться. Пусть лучше не будет никакого поступательного движения, нежели движение, утверждающее себя в убийствах! Как же так? – воскликнет сторонник линейного развития, защитник хрестоматийного понимания прогресса. Ведь если остановить прогресс, скажет нам

ЭТОТ человек, тогда остановится наука, люди не будут производить новые лекарства, новых машин. Тогда и человеческая смертность будет расти, причем не по причине войн, но от варварства. Защитник прогресса предложит нам иной способ мышления: однажды, скажет этот защитник, произойдет некая финальная война, которая объединит всех, в последней победят наиболее прогрессивные силы, и тогда воцарится вечный мир, так как некому будет уже воевать. Так думал почти каждый император — и Александр, и Фридрих, и Наполеон, и даже Гитлер, я уверен, думает так же. Даже в моей любимой песне

“Интернационал” поется: «Это есть наш последний и решительный бой!» – признаюсь тебе, Фридрих, – эта строка всегда мне казалась сомнительной. Объясню тебе, почему я так думаю. Фактически императоры говорят нам так: войны – это своего рода необходимый налог на прогресс; человечество собирает жатву жизней людей в качестве платы за то, что прогресс подарит другим людям продолжительность жизни новыми лекарствами, новой наукой, новыми открытиями. Война – есть налог на прогресс, с этой очевидной истиной спорить трудно. Не случайно после войн бывает подъем рождаемости, в ходе войн

проявляются великие человеческие свойства — героизм, жертвенность, инициативность, — и эти яркие качества помогают прогрессу в дальнейшем. Война оказывается катализатором мира — люди платят высокий налог, а потом живут спокойно и хорошо. Можем ли мы придумать государство без налога? Можем ли мы придумать историю без войны? И главное: зачем придумывать то, что не может осуществиться, и отказываться от разумно-неизбежного?

Так вот, я не считаю войну неизбежностью. Война, как я думаю сегодня, утверждает не принцип исторических накоплений и

приобретений (многие это называют движением и прогрессом), война утверждает принцип неравенства. Властный принцип неравенства люди прежде всего утверждают в мирной жизни, а потом им кажется, что они отстаивают свою свободу, в то время как они отстаивают иерархию социальных отношений. Армия и война, как я вижу это сегодня, прежде всего характерна иерархией — необходимым подчинением. Да, на войне надо беспрекословно исполнять приказы — но человека буржуазная жизнь доводит до автоматизма исполнения приказов и в мирное время! Он уже солдат задолго до того, как началась

война. Ты помнишь фильмы Чарли Чаплина? Помнишь беспомощность маленького Чарли перед конвейером, перед бездушными людьми, действующими в угоду механизмам? Подчинить человека миру вещей, миру приобретательства, иерархии производственных отношений — это уже означает производство пригодного к использованию пушечного мяса. До того как убить на войне, они убивают в мирное время. Вот поэтому капитализм (и особенно империализм!) и есть преддверие войны. Капиталистические тирании создают в мирной жизни подобие военного лагеря заранее — они нуждаются в экстенсивном росте

пространства рынка! А для завоевания земель требуется оправдание. Капиталисты постоянно изобретают военную угрозу, словно людям нельзя просто жить в таком мире, где существует равенство всех перед всеми, и где нет нужды в приказе и в подчинении. Мир – не должен быть военным лагерем!

Я уверен, что именно об этом мечтали наши учителя Маркс и Ленин. Они противопоставили войне – революцию, именно революция, только революция является тем огнем, который может потушить пожар войны.

Мой любимый поэт Маяковский говорит: «Да здравствует революция,

радостная и скорая! Это единственная великая война из всех, какие знала история!»

Я скажу коротко — знаю, ты любишь афоризмы! Революция — это война бедняка. Война — это революция богача. Единственная, последняя война — это война за общее равенство, которое сделает невозможным войны в дальнейшем. Революция исключает войну в принципе. Вот в чем состоит наше радикальное противоречие с фашизмом — мы ведем бой за равенство людей. Они — за неравенство.

Именно революционная война за тот мир, который не будет знать ни

Россий не Латвий (помнишь строчку?), и есть то, чего они боятся! Они испугались, что из мира уйдет иерархия, то есть уйдет военное положение, введенное уже в мирное общество заранее! Вот чего капиталисты боятся, вот из-за чего они производят пушки! Их пугает равенство людей!

Ты скажешь мне: но ведь культура предполагает неравенство, не могут все люди равно быть талантливы в музыке, врачевании, живописи, науке! Не могут! А значит, основания для неравенства есть, скажешь ты! На это я отвечу – но в любви и защите слабого люди равны! Поэтому величайшей революцией

мира я считаю даже не Октябрь
Ленина — но революцию Иисуса
Христа, которого признаю теперь
первым социалистом. Именно
Христос произвел революцию по
отношению к Ветхому Завету —
уравняв всех людей в любви и
взаимной заботе! Именно
христианство и есть тот идеальный
союз, который коммунистами был
продуман практически, чтобы
воплотить на нашей планете царство
свободы. В этом — именно в этом! Ни
в каком ином! — смысле мы можем
говорить о «конце истории». Конец
истории? Да! Но одновременно
начало истории! Да, заканчивается
история приобретений,

заканчивается история экспансий и насилия человека человеком. Наступает пора взаимной ответственности. Это и есть революция – против войны. История – против прогресса. Я считаю Ленина и Маркса наследниками христианского прочтения истории, хотя, возможно, тебе покажется мой взгляд слишком упрощенным.

Ты спросишь: как же я трактую современную войну? Отвечаю: это Армагеддон.

Дорогой Фридрих, прости за длинное письмо – скоро я еду на фронт, и возможно, свободного времени для сочинения философских трактатов уже не найду».

Это письмо Соломона Рихтера, как и письмо предыдущее, было передано в Особый отдел – капитану Халфину.

Дешков поддерживал голову умирающего Додонова. Додонов смотрел прямо, не закрывая глаз, был в сознании. Боль делала взгляд тусклым, слепым, но Додонов еще жил, жизнь цеплялась за тело, задерживалась в умирающем человеке.

Говорить он не хотел: когда открывал рот, воздух проникал в простреленные легкие, и боль становилась нестерпимой. Додонов лежал на ледяной корке снега, и кровь сворачивалась от холода — поэтому тело жило дольше и боль иногда отступала.

Он не чувствовал ног, и правую руку не чувствовал, и боль живота и груди волнами сотрясала то, что осталось от существа.

Дешков искал, что сказать умирающему, но сказать было нечего. И Додонов не хотел ничего слышать. В те мгновения, когда боль не закрывала мир, он видел серые стволы деревьев. Потом боль накрывала его, и стволы слипались в серое полотно, закрывшее мир.

Дешков поддерживал голову умирающего и ждал, пока Додонов умрет. Пальцы замерзли, он устал держать голову, но Додонов еще жил. Додонов молчал, экономил силы, хотел прожить хотя бы на полчаса

дольше, и это получилось.

Так прошел час, кровь вытекала медленно, но вытекла, потом наступила смерть. Серое лицо Додонова стало белым, окаменело. Глаза закатились, и Дешков, высвободив ладони из-под головы мертвого, опустил ему веки.

Подошел Мырясин, протянул перчатки:

– Отморозите пальцы, товарищ полковник.

– Спасибо.

– Будем двигаться на Ржев? Назад дороги уже нет. На Ржев?

– Да.

Андрей Щербатов прибыл в распоряжение 20-й армии в январе, когда наступление еще не захлебнулось. В январе 1942 года власовская армия была головным отрядом контрнаступления, имевшего целью окружить немецкие части в районе Можайска, Гжатска и Вязьмы. Была сделана попытка соединиться с кавбригадами генерала Белова в районе Середы и Сычевки, но действия эти успехом не увенчались – да и трудно везде успеть. Генерал Власов старался избегать авантюр, впрочем иногда получаешь такой приказ – хлеще

любой авантюры.

Щербатов был командирован начальником Особого отдела армии – пост значительный. Лейтенант контрразведки Егор Фалдин предложил Щербатову чаю с дороги, но тот не ответил, даже не поблагодарил – только плечом пожал: какой может быть сейчас чай? Особист Фалдин поставил синий эмалированный чайник на стол, спросил, какие будут распоряжения. Никаких распоряжений у нового начальства не нашлось.

Щербатов чемодан поставил на пол блиндажа, шинель снимать не стал – сел у окна, он ждал немедленного вызова. Шло

наступление, и всякая минута, как считал Щербатов, была важна. Он ожидал подробного разговора со старшими офицерами, ждал, что его введут в курс текущих кадровых вопросов, ожидал встречи с командующим армией, однако в штаб его не пригласили; времени у генерала не нашлось.

— Очень занят генерал? — спросил Щербатов у лейтенанта Фалдина.

— Журналистка у него, — сказал лейтенант Фалдин, который сам мечтал стать журналистом и сочинял иногда заметки, — французенка.

Генерал Власов последние три дня провел в разговорах с

французской журналисткой, писавшей большую статью о русском фронте для американской печати. Эв Бенуа говорила по-русски с пленительными мягкими ошибками, которыми француженки украшают русскую речь. Присутствие француженки в генеральской избе, где быт был организован по-генеральски: с обильным застольем, непременною водкой, жирной пищей, хрустким огурцом, — придало походным будням шарм парижских кафе. В Париже генерал не бывал, но имел о городе представление, назвал Париж «серой розой», вызвав улыбку у милой Эв. Генерал также отозвался о былых русских военачальниках,

которые живут сегодня в Париже, — о генерале Деникине, например. Хорошо уже и то, что белые офицеры не присоединились к Гитлеру — в отличие от Краснова. Впрочем, чего и ждать от атамана Краснова.

— Вы в Париже живете?

— О нет, сейчас живем в Нью-Йорк, это много больше, чем Париж.

— Милая Ева, я обещаю через год освободить Париж, и вы сможете вернуться домой.

— О, это слово солдата!

— Почему не пьете? Пейте! Это приказ!

— По-солдатски, да? По-русски?

И зажмурившись, с очаровательным страхом, залпом —

всю рюмку.

— Сильная водка для сильных людей.

— Да, слабых не держим.

У генерала имелся переводчик, впрочем, Андрей Андреевич чувствовал собеседника: симпатия к молодой журналистке помогала преодолеть языковой барьер. Мадмуазель Бенуа писала о Власове как об одном из молодых командиров, чья слава быстро растет и который судит о войне со стратегической точки зрения. Рассуждая о стратегии войны, генерал Власов говорил о Наполеоне и Петре Великом, упомянул Шарля де Голля и Гейнца Гудериана,

генерала вермахта, командующего германской 2-й танковой армией как выдающихся стратегов современной войны. Французская журналистка поинтересовалась, какие именно особенности видит генерал в современной войне — и, соответственно, в современной стратегии.

— Понимаете, Ева, в современной войне участвуют огромные массы населения. Идет, как подчеркивает товарищ Сталин, народная война. Это особенность нашего века. Военный лагерь сегодня — это вся страна. У нас всякий человек — солдат. В этом наша сила.

Эв Бенуа писала о том, что

Власов видел в Сталине своего прямого начальника, как в военном, так и в политическом отношении.

— Вы, как многие русские, называете Иосифа Сталина — родной отец, *n'est-ce pas*? Он для вас *pe`re Staline*?

— В русской армии есть такая поговорка: слуга царю, отец солдатам. Так про генералов говорят. Иосиф Виссарионович — отец сразу всем, в том числе и генералам.

— Значит, *pe`re Staline* — отец генералам, а генерал — отец для солдат?

— Что вы, я так не говорил! Иосиф Виссарионович руководитель всех советских людей.

– Вы встречали лично своего отца – Сталина?

– С Иосифом Виссарионовичем встречался трижды и уходил окрыленным.

Андрей Андреевич был пьян. Объяснялось это тяжелой усталостью и отчаяньем. За последние три дня произошли изменения в дислокации Западного фронта. Приказом Верховного из боя вывели 1-ю ударную армию, армию отозвали в резерв Ставки. Жуков с Соколовским будто бы воспротивились приказу; во всяком случае, так рассказывали. Кто-то якобы присутствовал при телефонном разговоре – будто бы

Жуков сказал, что вывод 1-й армии ослабит сразу всю группировку.

— Товарищ Верховный главнокомандующий, фронт у нас очень широк, на всех направлениях идут ожесточенные бои, исключающие возможность перегруппировок. Прошу до завершения наступления не выводить армию из состава правого крыла Западного фронта.

— Вывести армию без разговоров, — сказал Сталин и оборвал разговор.

Теперь на широком фронте, чтобы закрыть брешь, приказано было растянуть 20-ю армию. Три дня они потратили на то, чтобы перейти

от наступления к обороне. Наступление на Гжатск стало невозможно.

— Голубчик, — сказал Шапошников, — ничего не могу сделать.

Генерал Власов пил водку, беседовал с мадмуазель Бенуа и думал о том, что он мог бы сделать силами своей армии, которая теперь обездвижена.

— Уходил окрыленным, мадам, — сказал Власов, вложив в эти слова много чувства. — Позвольте-ка вам предложить...

— О, генерал...

Пока генерал Власов беседовал с мадмуазель Бенуа, майор Щербатов

осматривался на новом месте.

— Может, все-таки чайку? — подсел к нему особист с петлицами капитана. Лицо странное, глаза у капитана желтые, вбок смотрят. — Согреться с дороги. Меня Полетаев зовут, Константин.

— Тогда уж и поесть надо, Костя.

— Это мы раздобудем, мигом. Пойду разнюхаю. У меня на еду нюх волчий.

И верно, посмотрел на него Щербатов внимательно — похож капитан на волка, даже оскал у него волчий.

– Поправился мальчик, – сказал Моисей Рихтер. – У соседского сына, Паши Холина, температура упала.

– Основные трудности впереди. Надо воспитать достойного гражданина, чтобы он трудился на благо человечества, – сказала его жена, старуха Ида.

Ида говорила прописи страстно; Моисей Рихтер никогда не отвечал на подобные фразы, тихо уходил в кабинет. Квартира без сыновей стала огромной, длинные пустые комнаты. Моисей долго шаркал к письменному столу; придвигал рабочее кресло, зажигал лампу с зеленым абажуром.

Прежде чем начать работу, долго смотрел на фотографии четырех мальчиков. Самый любимый сын, Саша, был сфотографирован в солнечный день, он шурился на яркий свет. На Саше была матроска. Вошла Татьяна, жена Соломона, постояла подле письменного стола.

– Скажите, Моисей Исаакович, а детей любят по-разному? – Она давно хотела спросить, но про погибших трудно спрашивать. – Вот говорят, что всех надо ровно любить.

– По-разному, – сказал старик.

– Вы какого сына больше любили?

Он показал пальцем.

– А почему?

Моисей Рихтер не ответил. Как объяснить? Нет таких слов.

— Он вернется, — сказала Татьяна. — Я именно про вашего Сашу думаю, что он обязательно вернется. И Соломон написал, такая радость! Опять будет большая семья.

— Нет, не вернется, — сказал старик.

— Почему, почему вы так говорите! Все бывает! Вот Пашенька Холин поправился.

— Он был такой... такой... — Старый еврей не мог подобрать слово. Татьяна подумала, что он ищет слово «совкий». У нее в семье говорили такое слово; «совкий» — это значит, что человек везде суется,

неосторожный. А еще говорят «срывистый» – не удержишь такого. Вероятно, в семье Рихтеров таких русских слов не знают.

– Отчаянный, да? – подсказала Татьяна.

– Справедливый, – сказал старик.

Глава девятая

Заговор гибеллинов

Век демократии краток, я знал об этом из трудов Моммзена и Тацита. Когда германский народ в 1933-м голосовал за Адольфа, я предвидел, что терпения вождя хватит не надолго: он не желал быть консулом Августом — он хотел быть Августом-императором. Я убеждал его не спешить; великий Август был равен себе всегда — и разве в титуле дело? Чтобы создать вечный рейх, рассчитывайте на долгий Августов век, говорил я. Но он чувствовал, что времени ему отпущено мало, — и спешил.

Он поторопился ввести запрет

на другие партии, и куда важнее то, что он форсировал переход к имперскому сознанию. Ах, как бы я хотел многократного консульства, плавно перешедшего в императорскую власть! Секрет современной политики в том, чтобы постепенно вылепить из любимца народа демократического императора, — комбинация более хитрая, чем византийская симфония в лице базилевса, сочетавшего духовное и светское главенство. Императора-демократа западная история ищет на протяжении всего существования, это труднейшая задача. Любимый массами консул, который вопреки своей воли

венчается короной: ему предлагают, а он корону не берет, и наконец его насильно коронуют – вот к чему я вел Адольфа. Увы, Адольф спешил, хотел воплощения своих дерзаний немедленно – фюрер заказывал Шпееру имперские проекты городов, он полюбил пышную гвардейскую экипировку, ввел имперский этикет до того, как империя сформировалась. Спешил он напрасно.

Демократия со своими эгалитарными статутами, в конце концов, играет служебную роль – я ждал, когда в Германию сами собой вернутся монархические настроения. В том, что однажды это произойдет,

я не сомневался. То был вопрос времени — а в известном смысле, вопрос пространства. Так и произошло — но, к сожалению, этот естественный предел, после которого монархия становится желанной, был перейден страной уже тогда, когда Гитлер провозгласил себя наследником императоров и в сознании нобилей стал выглядеть самозванцем. Он немного опередил естественный ход вещей. Едва пространство рейха приблизилось к границам Священной Римской империи, как германской истории опять потребовался император. Да-да, идея имперской власти сама соткалась в воздухе, едва Эльзас,

Лотарингия, Силезия, Судеты, Австрия, Моравия вновь стали германскими. Едва Аахен и Реймс, Париж и Регенсбург собрались под единой рукой — руке потребовался скипетр. Они бы выбрали Адольфа сами! Они сами надели бы на него корону! Подожди, торопливый политик, не беги к Капитолию — тебя доставят туда на руках! Подожди, и Ломбардской железной короной увенчают тебя в Монце, Муссолини сам предложит тебе венец; и в Реймсе, в соборе Нотр-Дам, тебе воздадут императорские почести. Императору Римской империи короноваться надлежит трижды — и нарушить последовательность

нельзя. Я приводил ему пример Наполеона и его тогдашнего придворного Шпеера – суетливого архитектора де Сегюра. Но Гитлер торопился, не хотел ждать, он взял корону сам. Адольф и не подозревал, что превысил свой масштаб, заявив о себе преждевременно, – ведомый собственной железной волей, он перехитрил сам себя.

Забегая вперед, скажу, что Сталину хватило сообразительности (природного чутья) удержаться в границах империи Екатерины – он не мог претендовать на большее, он был не авантюристом, но царем. Чтобы остаться русским царем, нельзя было брать больше – и он не взял. Чтобы

пребывать демократическим вождем племени тевтонов, фризов, пруссов, саксонцев и вестфальцев, чтобы быть Арминием — надо было остаться в пределах большой Германии; едва Адольф приблизился к границам империи Шарлеманя, как потребовалась корона.

Я ждал момента, когда смогу возложить на него корону в Реймсе, по правилам Каролингов, вот тогда великая идея Запада оживет. Я с трепетом ждал — так ждет живописец, когда придет время последнего мазка, так скульптор ждет момента, чтобы нанести финальный удар резцом. Пространство обладает волей, оно

ведет нас само, оно дышит великим замыслом.

Так случилось, что Гитлер оперировал понятием «пространство», трактуя это понятие схожим образом с моим знакомым (в какой-то мере коллегой по игре в любовь), профессором Хайдеггером. Для Мартина существенным было не пространство, но время, скажете вы, поскольку бытие выражает себя через историчность. Но Адольф понимал пространство (то есть место) в его экзистенции, иными словами, чувствовал историчность пространства. Для Адольфа «подручность» (любимый термин Хайдеггера: профессор толковал

«подручность» как онтологическое определение сущего) – оборачивалась обоснованием его насущных претензий. Присвоить Адольф хотел лишь то, что выявляло его собственное историческое бытие. Его бытие-в-мире определялось ориентацией внутри-бытия-как-такового, если я верно воспроизвожу наши беседы с Мартином.

Как-то мы отдыхали в холле отеля, я заказал профессору и себе немного сухого шерри, мы сделали по глотку – и я поинтересовался, чем именно руководствовался профессор при вступлении в наши ряды. Мне лестно, сказал я, приветствовать партийца столь высокого уровня

сознательности – но объясните свой выбор. Мартин ответил кратко: его впечатлил пафос, с которым феноменологический аспект бытия переведен в чистую онтологию.

Затем мы с Мартином перешли на разговор о дамах, он в превосходной степени отозвался о темпераменте Ханны, но его ответ касательно онтологии я запомнил хорошо.

Адольф алкал именно сущности вещей. Когда он говорил о «жизненном пространстве», он имел в виду нечто большее, нежели рейнские земли и Силезию, а когда убивал евреев, он уничтожал не столько самих евреев, сколько

сущность еврейства. То, что Хайдеггер называл «бывшим бытием» (Gevesenheit), бытием, которое прошло, но которое нельзя отменить, поскольку оно присутствует всегда, — не давало покоя и Гитлеру. Он был из тех, кто не принимает настоящее. Адольф был инстинктивный враг феноменологии. Lebensraum, широкий пояс евразийского коридора, heartland, сердцевина земли, как сказал вместе с Хаусхофером англичанин МакКиндер, — для Адольфа являлась онтологизированной категорией пространства, оккупированного историческим бытием.

Мы с Адольфом жили во времени, которое растворяло в себе прошлое и будущее, оно было всемогущим — беда состояла в том, что этого времени было крайне мало. Вспышка величия. Так, дойдя до пика горы, останавливается путник, озирая мир под собой, — помните картину Гаспара Давида Фридриха? Я не раз испытывал сходное ощущение, стоя рядом с Адольфом на балконах правительственных зданий, — мы глядели на военный город, а воображение фюрера уже рисовало широкие проспекты, музеи, колоннады; мы входили в империю — торжественный миг, самая волнующая страница истории,

повремени, читатель, не
переворачивай страницу слишком
быстро. Разве ты не знаешь, что
империи не стоят долго?

Коль скоро я вспомнил тот
разговор с Мартином в отеле,
воспроизведу наш диалог до конца.
Мы говорили о Ханне, а когда наш
боккаччиевский задор пошел на
убыль, я спросил его:

– А дальше? Вы ее увезете?

Помню, я заметил, что у нас нет
времени на бытие – может быть,
осталось три года, может быть, пять
лет. Не больше, нет, не больше. Я так
чувствовал в те дни. Сочетание слов
«время и «бытие» зацепило
самолюбие университетского

преподавателя, и профессор стал говорить длинные немецкие фразы. Как любил он эти ложные многозначительности:

противопоставить warten и erwarten, «ждать» и «ожидать»! Он втолковывал, что «ожидание» есть уже конкретное представление того, что придет. Я прервал Хайдеггера.

— Я знаю, что будет завтра, — сказал я. — Грядет конец. Очень скоро все рухнет. Начнется с монархического заговора против Адольфа. Выразитель воли народа никому не нужен. На этом эпопея Третьего рейха закончится; неважно, что конкретно нас погубит, — английское лицемерие, германское

долдонство, русское варварство. Скорее всего, совокупность причин. Начнется с монархического сознания – и дальше все сложится само собой.

– Вы не годитесь в авгуры, Ханфштангель.

– Сказать, что будет дальше? Я умру в тюрьме, Ханна – в эмиграции, вы, профессор, – у себя на даче, вдали от бурь. Warten und erwarten? Ожидаю распада. Но сказать, что я жду этого? Всеми силами стараюсь распад предотвратить.

– Что вы такое говорите? – усики профессора встали дыбом.

Приближенный Адольфа мог себе позволить крамольную фразу, я мог сказать о зреющем заговоре и

грядущей гибели рейха, но верноподданный профессор такого позволить себе не мог. Он округлил свои небольшие глазки. Он стал говорить привычные всем длинные фразы – речь шла о придании смысла зияющей пустоте времени, о том, как духу деятельного труда укротить Хроноса. Профессор был настроен позитивно.

А в меня уже тогда вошел страх. Я предчувствовал: Адольф не завершит намеченного мной – ему просто не дадут.

Свой страх я объяснил Йоргу, когда молодой летчик навестил нас в Берлине. Этот разговор и его последствия стали для меня контрапунктом войны. То было самое начало 1942 года; да, именно так. Расскажу по порядку, поскольку нашему разговору с Йоргом предшествовал другой разговор – с Адольфом.

Адвенты мы с Еленой провели в Берлине. На Рождество были у Геринга в Каренхалле: хотя Герман и считал себя агностиком, праздник отметили шампанским «Болинджер», выпили от души, кстати, выпили и за

скорую победу. Затем отпраздновали Сильвестр с новыми друзьями Елены – аристократической семьей фон Тресковых; в Берлине Елена наконец-то обрела аристократическое окружение, под стать своему происхождению.

Второго января на обязательный обед к Адольфу я пошел один – Елена сослалась на головную боль. Этих обедов избегали все: у Гитлера кормили скудно; это вам не сталинские пиры. Подавали только одно блюдо – причем овощное; из напитков – воду и слабое пиво. К тому же Гитлер без конца говорил; на площадях ему не было равных – но в застольной беседе он был

невыносим. Двадцать лет назад Адольф иногда читал, затем на чтение не осталось времени – но тяга к интеллектуальным беседам присутствовала. Фантомные боли утраченного образования, это не только с русской интеллигенцией случилось – это беда общая.

«Античность, – заявил он в тот вечер, перемешивая пюре из цветной капусты, – была куда лучше нынешних времен, поскольку не знала ни христианства, ни сифилиса». Архитектор Шпеер, новый любимец, который теснил меня у трона, подобострастно кивал всякой реплике – Шпеер считался знатоком Античности, он тщился

принести на площади Берлина
каноны Витрувия; точь-в-точь как
современные российские
архитекторы, строящие богачам
античные виллы. Мне был
несимпатичен Шпеер и его
угодливость. В тот год дальновидные
уже отшатнулись от Адольфа, а
трусливых он сам оттолкнул, подле
фюрера образовалось свободное
место – и вперед ринулись молодые
пролазы; Шпеер преуспел больше
других.

– Античный канон, – сказал
Шпеер значительно, – это фундамент
цивилизации. – Сказал – и надул
синие щеки.

– Кстати, – спросил меня

Адольф, – Ханфштангель, где ваша прелестная спутница? Знаете, я часто на вас раздражаюсь, Ханфштангель, вы порой ведете себя как шут гороховый – но присутствие Елены действует на меня благотворно. Хорошо, что вы ее похитили и привезли в наш стан.

Шпеер скабрёзно улыбнулся и сказал:

– Вы подлинный Парис, милейший Ханфштангель. Мы восхищаемся вашими победами над спартанскими женами. Смотрите, как бы Менелай не вернулся.

Я был шутком у трона императора, сановные бароны перенимали интонацию, с которой

фюрер обращался ко мне, — и добавляли от себя вульгарности. Когда образованные люди говорят сальности, это противнее, чем сальность пьяницы. Я улыбнулся Шпееру.

— Вы придерживаетесь трактовки Гомера или вам ближе Еврипид? — спросил я архитектора. — Согласно последнему, Елену похитить не удалось: Парис обладал лишь призраком. Подлинная Елена пребывала на Крите и ждала Менелая. Что если вы знакомы лишь с призраком Елены? И с призраком Античности?

Подобно всякому чванному дураку, Шпеер отлично знал, что он

необразованный дурак, – но ярился, если это делалось понятно другим.

– Я придерживаюсь трактовки бессмертного Гёте, – сказал он солидно, и щеки его набрякли.

– Уважаемый герр Шпеер, я не подозревал в вас такой начитанности, – сказал я с легким поклоном. – Вторая часть «Фауста» – книга, которую я держу у изголовья. Любопытно, в этой христианской мистерии вы отводите мне роль Менелая, Мефистофеля или Фауста? И если я – Фауст, то кто же тогда наш добрый хозяин? Не намекаете же вы?..

Альберт Шпеер стал схож цветом с нарукавной нацистской

повязкой, которую он из подобострастия носил. Никто из нас уже не придерживался карнавального ритуала, один Шпеер украшал себя свастиками и значками, в точности как свои помпезные дома — лепниной.

— Христианство, — сказал Адольф поучительно, — религия еврейская по происхождению, вынуждавшая людей гнуть спину по звуку церковного колокола и ползти к кресту чуждого Бога. Система ограничений: ад и рай — отражает убожество еврейской фантазии.

Шпеер кивнул и мелким почерком записал эту мысль в блокнот. Он всегда носил с собой

маленький блокнотик, вынимал его за обедом и вписывал фразы фюрера. Позднее, Шпеер издаст книгу воспоминаний о том, как делил стол с тираном и чудовищем.

— Во многом я солидарен с Гёте, — сказал Адольф задумчиво. — Как и он, я по убеждениям античный грек, — Адольф выскреб остатки капустного варева из тарелки, — и не вижу смысла в христианских проповедях, но... — Он остановился, подал знак лакею, однако Шпеер опередил лакея — принес новую порцию капусты расторопнее. Адольф отправил в рот еще одну ложку безвкусной каши, прислушался к ощущениям.

Ремарку про греческое происхождение я уже слышал: так Адольф уже говорил на прошлом обеде бельгийцу Леону Дегрелю («Мой фюрер, откройте великую тайну, кто же вы?» – «Я – древний грек!»). Если реплика удавалась, Адольф воспроизводил ее не один раз.

– Да, я античный грек и во многом агностик. Вы заметили это, Шпеер, не правда ли? – Гитлер поощрительно улыбнулся Шпееру в знак того, что доверяет его наблюдательности.

– О, да, – сказал Шпеер с чувством, показывающим, что он много думал над этим вопросом.

— Но впрочем, — продолжал Гитлер, — у меня нет причин сетовать на Бога. Я не полный агностик, если вы понимаете, что я хочу сказать. Я верю, что Божья воля послала юношу в рейх, чтобы он вырос, стал во главе нации и привел свою родную землю обратно в германское государство.

Какое отношение германское государство имеет к царству Божьему, фюрер не уточнил.

— Это бесспорно, мой фюрер, — сказал дурак Шпеер. Архитектор поглядывал в мою сторону, ища, как бы меня уколоть. Додумался и сказал: — Вот видите, милейший Ханфштангль, вы неверно толкуете мифы. Наш хозяин — не Менелай, не

Фауст (про Мефистофиля архитектор умолчал), наш хозяин – это Фридрих Барбаросса крестового похода, наш хозяин – это Агамемнон, который возглавил поход за Еленой. – И взгляд на фюрера: доволен ли?

– Да, – сказал Адольф, – мы продолжаем великий миф.

– Адольф, – сказал я Гитлеру, – помните о том, что ждало Агамемнона после победы. Будьте осторожней с Эгисфами. Их сегодня во дворце слишком много.

Так завершилась в тот день беседа о Гёте, Елене и Античности.

Я порадовался, что Елены на обеде не было.

А в конце января приехал Йорг.

Йорг прибыл с Восточного фронта, где находился под началом нашего знакомого генерала Штрауса, в группировке «Центр», вверенной фон Боку, чванному аристократу. В те дни Федор фон Бок неожиданно ушел в отставку — казалось бы пустяковая деталь, но я придавал ей значение. Одновременно был отправлен в отставку главнокомандующий сухопутными силами фон Браухич; отправили в отставку и генерала Штрауса, в армии которого служил Йорг. Я ужаснулся: в своем ли он уме, этот злосчастный Агамемнон? Три

отставки подряд — и в такой момент! Оказалось, что это лишь начало. Плотность наказаний, обрушившихся на армию, напомнила русский тридцать седьмой год; вероятно, во время праздничного обеда с цветной капустой фюрер вынашивал план армейской реформы. За две недели Гитлер сменил командующих тремя пехотными и двумя танковыми армиями, сменил почти всех командиров корпусов 4-й и 9-й армий и 2-й танковой, сменил начальников штабов четырех армий — все это было выполнено по-сталински безоглядно. Даже Йорг отметил, что Гитлер не военный, — и как может фюрер знать, что лучше

для армии? Я с тревогой прислушивался к словам молодого военного. Армейские чины возмутились, вот теперь заговор созрел окончательно — я почувствовал это.

Я собрался обсудить перемены в армии с графом фон Мольтке — Хельмут фон Мольтке специализировался на военном праве; я хотел убедиться, что претензии военных обоснованы. Дело было не в профессиональной компетенции, дело было в авторитете графа. Пост и влияние Мольтке были несообразны. Хельмут фон Мольтке был юристом в канцелярии внешней разведки (абвера), хотя правнуку

великого фельдмаршала могли дать более важный пост; однако Мольтке отказался вступать в НСДАП, довольствовался скромной должностью, на долгие уикенды уезжал в родовое имение Крейсау в Нижнюю Силезию. Любопытно, что, уклонившись от дел, Хельмут Мольтке стал популярен – в его имение приезжали значительные люди, вели беседы об истории Германии; я видел, что влияние юриста растет.

Члены семьи Мольтке всегда связывают биографию с государственной службой, понимая таковую по-разному. Кузена Хельмута, дипломата Ханса Адольфа

фон Мольтке, я знал коротко, мы не раз сидели с ним за чашкой кофе; Ханс был нашим послом в Мадриде. Совсем недавно мы просматривали его сообщение о позиции Франко в отношении еврейских беженцев: по нашей рекомендации каудильо закрыл евреям въезд в Испанию – так мы блокировали исход многотысячной еврейской толпы. Ханс Адольф был человеком общительным и отличным работником – установил через Мадрид любопытный канал связи с Британией: министр иностранных дел Ее Величества Самуэль Хор наносил визиты Франко, и Франко мог аккуратно представлять

Британии наши соображения по текущему моменту. Мы ценили Ханса Мольтке. Его кузен Хельмут был человеком упрямым, и общение с ним давалось нелегко. Я бы предпочел, чтобы Елена подтвердила родство с дипломатом, но она выбрала законника.

В имение Хельмута Мольтке мы с Еленой ездили каждый месяц. Дальние родственники приняли Елену и Йорга в свою семью — причем жена графа, Фрая, как мне кажется, искренне привязалась к Елене. Дамы называли друг друга «сестрами», хотя их родство было сомнительным; дам объединила приверженность к

сентиментальному героизму; дамы совершали поездки в госпиталь, отвозили рождественские подарки раненым. Перед Рождеством они навестили лагерь под Берлином, где содержались французские военнопленные – ездили с миссией Красного Креста, в которой Фрая фон Мольтке состояла патронессой. Однажды дамы посетили здание на Аугустштрассе, 14, где находился пункт сбора берлинских евреев перед депортацией в лагеря. В тот год чистка города от евреев еще проведена не была, евреев отмечали на Аугустштрассе и разрешали некоторым из них вернуться домой; некоторые евреи даже были

зарегистрированы в так называемой Земельной службе труда — они должны были трудиться в «еврейских колоннах», а «фабричная акция», когда их прямо с рабочих мест отправили в лагеря смерти, только планировалась.

Посещение Аугустштрассе не произвело на дам чрезмерно болезненного впечатления — никто им не сказал, куда увезут стриженных детей в ближайшие месяцы; более того, Фрея уверилась, что план Мадагаскара еще не отменен. Дамы усердно пили кофе после долгого и трудного дня — и обсуждали Мадагаскар. То была пора благородных усилий, не омраченных знанием.

Я заметил, что Елена (которая формально оставалась фрау Виттрок) стала подписывать письма фамилией Мольтке. Я не сказал ни слова – игра в родословные простительна. Мольтке, Тресковы, Бюловы, Клюге – как упоительно звучали эти имена за нашим столом. «Вы, мой друг, идете сегодня в рейхстаг? А я зайду к фон Тресковым». Я-то должен был общаться с безродным Гитлером, есть суп из цветной капусты, а Елена посещала пышные обеды генералов.

Во время декабрьских адвентов мы дважды бывали у Хельмута Мольтке – и я перемолвился с графом по поводу положения на Восточном фронте.

— Вам известно, что я написал докладную записку в Генеральный штаб? — спросил меня граф.

— Да, письмо фельдмаршалу Кейтелю, если не ошибаюсь, — осторожно сказал я.

— По поводу русских военнопленных, — сказал граф.

— Мне пересказывали содержание.

— Вам уже известна резолюция Кейтеля? Письму дан ход?

— Пока нет. — Я не хотел быть первым, кто ему скажет.

— Знаете, Эрнст, я планирую создать комиссию по этому вопросу. Рабочую группу уважаемых военных. У меня в Крейсау собираются

прекрасные силы — юристы, историки, экономисты. Мы не должны этот вопрос оставить без решения.

— Круг единомышленников собирается в имении Крейсау, — сказал я. — Какая интересная инициатива.

Я решил, что во время следующего посещения непременно спрошу мнение графа (и мнение видных персон, которых он собрал у себя) по поводу кадровых изменений в армии — и заговора, который за этим последует. Разговор предстоял болезненный. Боялся опоздать. Однако спросить не успел.

Приехал Йорг, и из разговоров с

Йоргом я понял, что мой вопрос уже получил ответ. Я пошел с Йоргом на прогулку, как ходил с ним, когда он был подростком. В лесу у Шляхтензее (мальчишкой Йорг уезжал туда с друзьями на велосипедах), я сказал Йоргу Виттроку так:

— Молодой Мольтке, ибо в душе ты Мольтке и пестуешь этот дух в себе, так вот, молодой Мольтке, позволь дать тебе совет. Я знаю — прошу, не перебивай меня, — я знаю, что скоро тебе предложат убить Адольфа. Не округляй глаза, не маши рукой. Это сделают наши добрые друзья, бароны и полководцы — скорее всего, первым недовольным

будет фон Бок, это его вчера отстранили. И твой дядя, граф фон Мольтке, предложит тебе пожертвовать собой за Германию.

— За Германию или за Адольфа Гитлера? — спросил летчик.

— Жизнь одна. Не ошибись, когда соберешься ее отдавать. Где ты будешь сегодня вечером? Твоя мать сказала, что ты зван в гости.

— Собираюсь на обед к фон Тресковым, — сказал летчик, — и вы, Эрнст, знаете, почему я там буду. — Он улыбнулся.

Йорг был влюблен в милейшую Гертруду, дочь фон Трескова.

— Вернее сказать так: я знаю, почему ты, молодой Мольтке,

влюблен в дочь фон Трескова. Я знаю, что германские бароны всегда желают породниться и затем избрать из своей среды императора. Тебе еще не сказали, что вы с Гертрудой родите нового Зигфрида? Или нового Оттона?

– Вы придумали, как обычно. – Он укоризненно покачал головой.

– Я предостерегаю от ошибки, Йорг. Идет великая демократическая бойня, демократы убивают друг друга в поисках совершенной модели управления маленькими людьми – по воле народа, но поверх этой воли. Поверь, они найдут эту идеальную модель управляемой демократии – даже если придется убить миллионы.

Найдут – путем естественного отбора. Сейчас не время для монархий. Мир должен переболеть демократией – а завершится этот процесс однажды сам собой, лет через восемьдесят.

– Успокойтесь, Эрнст, – сказал молодой летчик, беря меня под руку. Его рука была твердой, я испытал радость от осознания того, какого воина мы с Еленой вырастили. – О чем вы? Я иду на свидание с самой очаровательной девушкой Пруссии, а не к заговорщикам.

– Я никогда не ошибался, Йорг, – сказал я. – Твой дядя Хельмут фон Мольтке – приятный человек, но его кружок в Кресау – заговорщики. Я

читал его докладную записку, направленную Кейтелю, — это самоубийственная записка, Йорг. Зачем он это делает? За ним стоит Британия? За ним армия? Генералы? Я не спрашиваю, я рассуждаю вслух. Милейший фон Тресков — племянник фон Бока. А племянник всегда опаснее, чем дядя, вспомни историю семьи Борджиа. Обида фон Бока перерастет в заговор фон Трескова. Он объединит силы с Мольтке. Да, так и будет! Только так и бывает. Скоро ты услышишь сам, как твои будущие родственники скажут, что ефрейтор остался ефрейтором. Они скажут, что войну должны вести профессионалы, что славу Германии

составляет ее рыцарство. Вспомни тогда про мое предупреждение. Германии нужен этот ефрейтор, безродный и истеричный человек.

— Вы уверены? — задумчиво сказал Йорг. — Нужен ли такой главнокомандующий? — Он просто спросил, но как страшно прозвучал этот вопрос в устах солдата.

— Он нужен вам самим! — крикнул я. — Вам! Собранию Мольтке и Тресковых. Вы — Тресковы и Мольтке — все сделаете его руками, самую черную и грязную работу. А когда дым от печей рассеется, тогда берите власть. Мягко, без спешки. Через сто лет.

— Сначала вы сказали, что ждать

надо восемьдесят лет. А теперь уже сто! — и по его кривой улыбке, я понял, что угадал. Они его уже убедили.

— Наберитесь терпения.

— А есть время для терпения?

— Есть океан времени, — сказал я

ему, — но некоторые измеряют океан волнами. Не уподобляйся им.

Но они не умели ждать.

Идея переворота появилась уже в 1938-м, они устали от Адольфа уже тогда, до войны, а когда встал вопрос о Чехословакии, Эвольд фон Клейст полетел тайком в Лондон — посоветоваться с лордами, не пора ли менять ефрейтора на канцлера: страна встала из руин, теперь уже

можно. Но в ту пору замены не получилось – карты спутал Невилл Чемберлен, который сам отправился в Берлин и Чехословакию сдал. Теперь все было серьезнее. Сегодня Эвольд фон Клейст возглавлял группу армий «Юг», а фон Бок – группу «Центр». И вот у одного из них забрали армии. Это была их война – они начали ее давно, они проели карты глазами. Их войну у них забрали. Я ждал беды от фон Трескова.

Я ждал беды постоянно: наступил момент, когда я потерял способность определять, откуда придет удар. Я опасался фон Мольтке и людей его кружка. Я опасался

генералов, собиравшихся у фон Трескова. Я опасался нетерпения Адольфа — он впал в состояние визионера, заговаривался. Он представлял себя то Жанной д'Арк, коронуемой Валуа, то самим Карлом Валуа. Я боялся Гиммлера, который давно начал собственную игру. И больше всего я опасался Елены — если ее энергия и страсть будут отданы заговору, наш сын погибнет. Мало этого, я неожиданно понял, что погибнет вся Германия, а за ней — Европа.

Тресковы были из Померании, Герман фон Тресков был генералом пехоты в первую Франко-прусскую, а семья его внука, Хенига фон Тресков жила в Берлине. Хенигу фон Трескову сейчас было сорок лет, пора свершений — он занимал должность начальника штаба группы «Центр», а до того успел повоевать во Франции. Возвращаясь на регулярные каникулы в Берлин, он давал обеды для избранной публики — фон Вицлебен, фон Штюльпнагель, фон Хазе, Людвиг Бек, Герделер; Бек не был родовит, но происходил из столь богатой семьи, что кровь голубела

сама собой. То были типичные берлинские обеды: рейнское в гостиной, домашняя музыка до обеда, дочка музицирует, затем жаркое из оленя, бургундское красное, — дважды я посещал этот дом вместе с Еленой и Йоргом.

Признаюсь, на этих церемонных обедах берлинской знати я чувствовал себя куда более неловко, нежели на ужинах с Адольфом или даже в жирной роскоши Каринхалле у Геринга. Гитлер был типичным *parvenu*, и родовитый Геринг подыгрывал ему, теряя собственное воспитание. Это особенно чувствовалось, когда я сравнивал их поведение за столом с обхождением

братьев фон Штюльпнагелей, Карла и Отто, а также церемонными манерами Федора фон Бока, который иногда посещал обеды. Меня особенно поражало, как легко эти аристократы принимали свой исконный, присущий породе надменный вальяжный облик — сразу же по возвращении с линии фронта! Среди немецких генералов было заведено раз в две недели прилетать с театра военных действий в Берлин на длинный уикенд — помимо доклада Гитлеру они успевали отпраздновать свои именины и дни рождения, устроить музыкальный вечер, дать обед друзьям. Гитлер, выезжая на фронт, не мог — не

умел! — успокоиться еще неделю, его лихорадило, он переживал увиденное. Но выдержанная веками в холеных телах, настоянная на добротной пище и дорогом вине, кровь феодалов не оставляла места эмоциям: еще вчера генералы мерзли в ржевских болотах, но они входили в берлинские гостиные шагом неспешным и барственным, а манишки их сияли равнодушной белизной.

В доме германского аристократа спесь была естественной, не выглядела хамством разбогатевшего лакея; в этом чинном доме пьяный хохот Геринга был бы неуместен; здесь не смеялись даже над

карикатурным Геббельсом — здесь просто не упоминали имени Геббельса. Богач Герман Геринг кичился тем, что стал знатоком вин, — помню, как осрамился Йорг, спросив себе в Каринхалле бокал пива. Но Отто фон Штюльпнагель подносил пиво к губам столь царственным жестом, что винные церемонии сноба Геринга меркли.

Фон Тресковы (возможно оттого, что корни их все же были в либеральной Померании) с мягкой иронией относились к тому факту, что мы с Еленой не венчаны, — никакого прусского ханжества. Но то, что я близок к Адольфу, никому не нравилось. Адольф для них был не

врагом, нет; каждый из гостей в свое время влюблялся в темперамент фюрера; Адольф для них был вульгарен — вот и все.

Они прилетали на берлинские обеды фон Трескова: братья Штюльпнагели из оккупированного Парижа, фон Бок прилетел из России, кто-то из Польши, кто-то с Украины. Для них было естественным чередовать бои в болотах с музыкальными вечерами под соснами Далема. Феодалы были в обычном походе — и отдых в походе полагался: то, что для фюрера было миссией планетарного масштаба, для них было привычной родовой деятельностью, это было семейным

стилем жизни. Именно в доме Трескова я понял этот простой факт.

Гогенштауфены, Гогенцоллерны, Нассау — кто-нибудь из императоров был в родне у любого, каждый из них через двух-трех родственников принадлежал княжеским родам. Вековая традиция движения гибеллинов к объединению Европы под рукой единого императора преподавалась в семьях любого. Я смотрел на сходки гибеллинов и ощущал, как в атмосфере дома рождается подлинный имперский дух. Нет, колбасникам и сукновалам, второгодникам и полицейским урядникам, решившим в одночасье стать рыцарями, — империю не

удержать. Мало провозгласить тысячелетний рейх, надо иметь право его возглавить.

Они заговорщики, они хотят его убить! — эта мысль не давала мне покоя.

Я наблюдал, как новые гибеллины церемонно закладывают край салфетки в прорезь жилета, как пробуют кончиком прусского уса бургундское вино. На что рассчитывают они? Сдаться союзникам? Просить мира у Сталина? Отто фон Штюльпнагель в мае 1941-го распорядился арестовать 3700 французских евреев и послал их в концентрационный лагерь Дранси — как, каким образом он выдаст себя

за врага режима? Артур Небе возглавляет айнзацгруппу под Москвой — по всем конвенциям он будет считаться убийцей мирного населения, как ему искать мира? Затем я понял, что перемены планируются не радикальные. Войну не собирались завершать, они хотели стать монархией.

Кто здесь главный? Я сравнивал реплики, следил за жестами. Хозяин дома был безусловно мотором, но главный не он, нет. По сухой властной улыбке фон Вицлебена я понял, что верховодит он; Эрвин фон Вицлебен уволен в отставку, он должен ненавидеть фюрера. Он не отдаст ему славу. Первую мировую

монархическую войну превратили в войну гражданскую — у этих же гибеллинов вырвали победу. Теперь они возвращали войну в монархическое русло. Следовало избрать императора новой Священной империи, и во время рыбной перемены я понял, что присутствую на совете феодалов, выбирающих одного из компании на царство. Возможно, Людвик Бек? Или фон Бок?

Глаза моей Елены сияли; ее посадили возле хозяина дома, фон Трескова, и она была счастлива его соседством. Тресков касался ее ладони своей, Тресков рассказывал о старой рейнской лозе: вино,

оказывается, из погребов их знакомых.

– У нас на Одере такой виноград не вырастишь. Это дает Рейн. А следующий бокал будет особенным – надеюсь вас удивить! Признаюсь, во мне шевельнулась ревность – но Тресков не домогался Елены, их сближала порода. Им мешал соглядатай – и когда мы получили очередное приглашение на обед в сопровождении виолончели, я отправил к ним одну Елену.

– Они ждут тебя, а не меня. Зачем им человек без родословной? – Я хотел пошутить, но вышло горько. И едва сказал, понял, что говорю не только о себе, но о несчастном

фанатике Адольфе, об истерическом заложнике величия Запада.

Я готовил царство Адольфа, я был покорен его природной силой, хотел сделать его императором, вдохнуть в него силу гибеллина, но тогда ему пришлось бы признать первенство великих семей — полководцев и солдат, воинов, которые всю историю Запада подавляли революции. Он должен был испросить себе милости возглавить их рейх. Так он и начинал, грамотно заручившись поддержкой Людендорфа в 1923-м. А потом он уж пошел один, думая, что весь народ пойдет следом. И шли, и гибеллины шли тоже. Но нельзя быть одиноким

демократом-императором, тебя взорвут, заколют кинжалом, отравят.

Впоследствии попытку переворота назовут восстанием военных против нацизма, но нет, задача была в ином. Да, нацисты гибеллинам мешали, партийные оголтелые бонзы, возомнившие себя элитой общества, — их раздражали. Но все остальное не мешало! Нацизм не мешал, им колбасники у власти не нравились. О, я отлично помню Нюрнбергский процесс, помню, как командиры айнзацгрупп бодро рассказывали, что выполняли приказы Адольфа, а сами невиновны! Но разница в том, что Адольф не видел, как пускали «Циклон Б» в

камеру, а они-то смотрели. Никто из них никогда и не подумал манкировать обязанностями — они выполняли их рьяно. Знал ли Штюльпнагель, что ждет евреев, посланных им в Дранси? Знал в подробностях, разумеется. Куда прикажете отнести его собственное распоряжение: «Если в случае саботажа нельзя найти конкретных виновных, должны быть расстреляны евреи и коммунисты»? А это штюльпнагелевское: «Ожесточенная борьба против еврейства — есть самое убедительное разъяснение сути еврейства». Это Карл-Генрих фон Штюльпнагель написал 21 августа 1941 года, разъясняя приказ

Гитлера от 30 июля, отождествлявший еврейство и большевизм и утверждавший карательные меры в отношении обоих. Куда же эти документы спрятать, куда? Ненавидел ли Штюльпнагель Адольфа? Нет, он его презирал – но в отношении евреев был солидарен. Если фон Вицлебен так ненавидел Гитлера, то зачем – скажите, зачем? – генерал прорывал линию Мажино и вел к победе в 1939-м? Он исполнил маневр так красиво и мощно, как не сумел бы никто иной. Зачем? Комендант Берлина фон Хазе – еще один непримиримый борец! – ведь это он с 46-й пехотной бригадой вошел в

Польшу, это он завоевывал Францию. Зачем? Скажите на милость, что конкретно должен был чувствовать генерал вермахта, повторяя солдатам приказ о «суровом возмездии по отношению к еврейству, носителю большевистского террора»? Генерал был не согласен? Но всякий из них требовал от солдат этот приказ «осознать», и практически все способствовали айнзацкомандам силами вермахта — мне ли не знать? Еще один заговорщик, борец с гитлеризмом Артур Небе, начальник айнзацгруппы «Б», находившийся в непосредственном контакте с высокоморальным фон Боком, выступил с докладом «Еврейский

вопрос с учетом партизанского движения», ставя интенсивность истребления евреев в зависимость от активности партизан. Помощь айнзацгруппам заходила так далеко, что ко мне попадали жалобы айнзацгруппы «Ц» в связи с тем, что на акции в Умани, солдатам айнзацкомманд досталось мало работы — все за них сделал вермахт. А начальник штаба 11-й армии полковник Веллер специально выступил против того, чтобы «солдаты вермахта фотографировались на фоне массовых казней и акций и слали фотографии на родину»: «это глубоко противоречит чувству

собственного достоинства немцев». Позвольте, господа офицеры, вы о чем?

30 марта 1941 года Адольф Гитлер выступил перед специально собранным генералитетом с программной речью — речь тщательно конспектировалась и сохранилась благодаря усидчивости Гальдера, Готта и прочих, кто на завтра же переложил ее в приказы по армиям.

Слова фюрера были записаны буквально и цитировались всеми:

«Идет	борьба	двух
мировоззрений.		Произнесен
уничтожающий		приговор
большевизму		как

антиобщественному преступному движению. Мы должны отказаться от понятия солдатского товарищества. Коммунист никогда не был и никогда не будет товарищем. Речь идет о борьбе на уничтожение. Мы ведем войну не для того, чтобы сохранять врага. Требуется уничтожение большевистских комиссаров и большевистской интеллигенции. Нельзя допустить образования новой интеллигенции. Нам достаточно и примитивной социалистической интеллигенции. Борьба должна вестись против яда разложения. Это не вопрос военного суда», — и так далее. Это было прилежно законспектировано рукой Гальдера,

того самого, которого американцы спасли от суда и забрали к себе для совместной работы.

Штабы ОКВ и ОКХ немедленно после речи преобразовали речь в приказы — в сотни приказов по войсковым частям.

Ульрих фон Хассель, входящий в рабочую группу Мольтке, записал в дневнике: «Волосы встают дыбом от того, что документально изложено в приказах, подписанных Гальдером и отданных войскам, по отношению к населению России и применению военной юстиции к гражданскому населению. Подчиняясь приказам Гитлера, Браухич жертвует честью немецкой армии». Честью

пожертвовали, однако приказы были приняты к исполнению и исполнены. То было утверждение и развитие приказа о комиссарах от 8 июня; сомнений в связке: еврей — комиссар — большевик — советский солдат — уже не осталось.

Вальтер фон Рейхенау оформил это в еще более отчетливый приказ: «Важнейшей целью кампании против большевистско-еврейской системы является полное уничтожение органов власти и истребление азиатского влияния на европейскую культуру. В связи с этим перед войсками возникают задачи, которые выходят за чисто военные рамки. Солдат на Востоке не только

сражается по правилам военного искусства, но и несет в себе неумолимую народную идею и мстит за все зверства, причиненные немецкому народу и родственным с ним народам. Поэтому солдат должен иметь полное представление о необходимости сурового, но справедливого возмездия по отношению к низшей еврейской расе». И все это поняли очень хорошо. Прусский генерал старой школы, ученик и соратник Людендорфа, фон Рейхенау недолюбливал Гитлера, но исполнял обязанности четко: брал со своей 6-й армией Париж, и Киев, и Харьков, и, по нашим подсчетам (а мы иногда

проводили такие блиц-подсчеты в моем бюро), его стараниями был ликвидирован один миллион украинских евреев. Правда, в это число попадает и некоторое количество лиц непонятной национальности — все же на войне порой совершаются ошибки.

В течение следующих месяцев мор среди военнопленных достиг апогея, массовые расстрелы стали нормой, а евреев и комиссаров убивали автоматически.

Я подробно излагаю факты с единственной целью: не хочу получить упрек в малодушии и замалчивании подлинной истории. Мы все знали, на что идем, знал и я. До сведения каждого солдата довели цель и методы Восточной кампании; если сегодня иной демократ почитает деда, честного солдата вермахта, пусть знает: дед был осведомлен о судьбе евреев, коммунистов и русского населения. Я не хочу плутовать ради оправдания. Я буду оправдан историей не вопреки жестокостям войны — но с учетом и этих обстоятельств тоже. Когда

хирург вырезает опухоль, он режет и здоровые ткани, это неизбежно. Было неправильно прервать необходимую для больного операцию, едва начав. Я принял политику фюрера как единственно верную.

Хельмут Джеймс фон Мольтке, юрист из управления абвера, думал иначе — это принесло и нам, и ему самому неисчислимое зло. Рассказываю, как все произошло.

Граф фон Мольтке составил подробную докладную записку, указывающую на попрание Женевской и Гаагской конвенций, на недопустимо высокую смертность среди русских военнопленных —

смертность достигала в некоторых лагерях 80 %, а в целом составила 57,8 %. Фактически это привело на момент написания доклада к смерти миллиона военнопленных, а в течение всей четырехлетней войны в лагерях умерло 3,3 миллиона человек из общего числа 5,7 миллиона советских военнопленных. Фон Мольтке подробно описал, отчего происходит смерть: недостаток питания, содержание под открытым небом в мороз, эпидемии и расстрелы, в том числе расстрелы больных. В большинстве своем эти люди были убиты голодом и морозом. Ежедневная смертность юриста поразила. Мольтке писал, что

хотя Россия не ратифицировала некоторые пункты Женевской конвенции, но: а) отклоненные пункты Женевской конвенции не имели отношения к обращению с военнопленными, а лишь отрицали разницу в обращении с офицерским и солдатским составом; б) советская сторона не денонсировала Гаагскую конвенцию, обязывающую относиться к пленным гуманно; в) соблюдение пунктов Женевской и Гаагской конвенций происходит в одностороннем порядке, вне зависимости от того, ведется ли война с варварами или странами — участницами конвенции. Смертность среди советских пленных была

беспрецедентной, сопоставимой с истреблением евреев. И было бы лицемерием с моей стороны это отрицать — да, мы знали, что так происходит. Знали все, в том числе рядовые солдаты.

Впоследствии, когда в моей лондонской жизни мне попался томик «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына, я с удивлением прочел, что Сталин истребил в лагерях 67 миллионов русских людей. Это, конечно, лестно характеризует усилия Сталина — однако грузину такой подвиг был не под силу. Солженицын сочинил эту цифру в запальчивости. За тридцать лет существования ГУЛАГа в лагерях

погибло 3,3 миллиона заключенных — то есть столько же, сколько погибло русских солдат в немецких лагерях за четыре года. Это объяснимо — мы работали над смертностью, это входило в идеологическую программу.

В своем докладе Мольтке обильно употреблял слова «честь», «достоинство», «долг» и так далее. Должен отметить, что записка была поддержана Канарисом. Я, в числе прочих, должен был высказать свое мнение по поводу текста. Меня всегда коробит избыточный пафос — война есть война. Я посоветовал сопоставить данные смертности по всем пенитенциарным учреждениям

войны.

Мы предложили, чтобы Мольтке доказал, что советская сторона не обращается с нашими пленными точно так же и что смертность в советских лагерях ниже наших показателей. А что, если они немцев тоже морят голодом? А какова погода на Урале? Фон Мольтке создал рабочую группу (привлек фон Хасселя, Йорга фон Вартенбурга) и у себя в имении за полгода собрал сведения по сталинским лагерям для военнопленных — их в то время было не так много; то была первая попытка статистики — задолго до Энн Аппельбаум и до Пьера Регуло. Он сделал это с тщанием юриста,

избежав преувеличений Конквиста и сочинительства Солженицына; через аппарат Канариса он подал доклад вторично — впрочем, на тот момент (1942 год) немецких пленнх было в советских лагерях мало, а сведений о них еще меньше. Порой я спрашиваю себя, кто поставлял им информацию? Однако кое-что Мольтке собрал: узнал некую цифру — 97 450. Откуда он взял такую цифру, неведомо; помню, я смеялся над докладной запиской — надо быть крайне наивным человеком, чтобы верить в такие якобы точные цифры. И как милый Мольтке мог бы узнать условия содержания военнопленных? Но он старался найти истину,

отдадим должное усердию юриста.

Сегодня мы знаем цифры довольно точно. Проживи фон Мольтке дольше, он бы мог рассказать, что после тайных переговоров Хрущева с Аденауэром (протокол я выпросил у майора Ричардса, прелюбопытный документ) последний военнопленный покинул пределы Советского Союза в 1957 году, хотя стандартным приговором был срок 25 лет, то есть содержание в заключении до 1970 года. Высшие чины и офицеры содержались отдельно, как правило, в лагере «Верхотурье» — непривлекательное место. Сегодня, когда мне делается особенно скучно

в компании майора Ричардса, когда мне надоедают камберлендские сосиски и гнусный бурый чай с молоком, я думаю о том, что альтернативой могло быть «Верхотурье». Везли туда в товарных вагонах через всю долгую страну, видимо, доехали не все немцы; по рассказам очевидцев, от голода не могли стоять; впрочем, пленных везли на строительство русских заводов, убивать и замораживать их насмерть — не собирались. Страшнее прочих считался Карпинский лагерь, также особенно тяжелыми были «Асбест» и Тагиллаг, в них в основном находились члены подразделений СС, но содержались и

немецкие женщины и дети; смертность в Карпинском лагере равнялась 30 % – по официальной статистике, которая могла быть и занижена. На кладбище в Нижнем Тагиле захоронено около двух тысяч немцев, умерших в советских лагерях от невыносимых условий, – в трети случаев это женщины; надо сказать, кладбище в Нижнем Тагиле – это несчастный случай сохранившегося захоронения немцев: например, Весимское кладбище на Голем камне засыпано отвалами железной дороги – сколько человек погребено, неизвестно. Всего в советском плену находилось 2 389 560 германских военнопленных (считается, что

этнических немцев 1 360 000), из них погибли 350 678 человек; таким образом, смертность германских солдат в советских лагерях равнялась 14 %. Правда, в германском архиве я наткнулся на цифру 1 110 000, ничем не подтвержденную, но объявленную. В этом случае смертность бы составила 46 %. Боюсь, я утомляю читателя моих записок цифрами (сам я привык к тому, что сухое уравнение сопутствует любому знанию), но вы можете пропускать эти страницы, не так ли? Сегодня эти цифры я нахожу во многих архивах, которые находятся в открытом доступе – но понятно, что Мольтке этими

возможностями не располагал. Он действовал наугад, руководствуясь интуицией и тем, что Елена высокопарно назвала словом «честь». Во всяком случае, и это я понимал отчетливо, обращение фон Мольтке к Кейтелю было вопиющим – юрист написал фельдмаршалу, что армия ведет себя варварски.

На докладную записку фон Мольтке, подробно разбирающую положение советских военнопленных в германских лагерях, была наложена резолюция Кейтеля: «Сомнения соответствуют солдатским представлениям о рыцарском ведении войны. Здесь же речь идет об уничтожении мировоззрения.

Поэтому я одобряю эти меры и беру их под свою защиту».

Дебаты фельдмаршал Кейтель закрыл: он вернул нас к смыслу речи фюрера. Речь идет об уничтожении мировоззрения: большевик — это еврей, а евреев надо ликвидировать. Каждый солдат повторил про себя этот тезис. Вермахт действовал в тесном контакте с айнзацгруппами, и советские военнопленные приговорены были к смерти так же, как евреи, — и все этот факт приняли. Понимая, что надо двигаться вперед, я должен был согласиться с логикой Адольфа. Подчеркну, что не требовалось даже и военных приказов, чтобы понять этот тезис

Новой империи. В речи 30 января 1939 года в рейхстаге Адольф громко – все слышали! – сказал: «Еврейский лозунг “Пролетарии всех стран, соединяйтесь” будет побежден другим: “Творческие представители всех стран, распознайте вашего общего врага!”». Уже тогда Гитлер ясно дал понять миру, что для него антибольшевизм, антимарксизм и антисемитизм представляют единое целое. Не Версальский договор он хотел оспорить – не мельчите! – не самоопределение немецкой нации его занимало – мелко, мелко! – Гитлер провозглашал учение о спасении человечества, в соответствии с марксистской

доктриной — и прямо противоположное таковой. Тогда, в рейхстаге, он сформулировал новый этап противостояния гибеллинов — современным гвельфам. Антитеза «папизм — имперская власть» продолжала быть рабочим механизмом Запада. Новый самопровозглашенный папа сидел в Кремле; марксизм объявил себя новой религией — и вот тогда гибеллины подняли свой штандарт.

Неужели хоть кто-то мог не услышать зов трубы?

Неизбежность грязной работы понимали даже те родовитые гибеллины, кто хотел остаться в стороне от ополчения, от неумных

полицейских, грубых шахтеров, потных колбасников, замаранных в уличной крови.

Позже, читая материалы Нюрнбергского процесса, я узнал, что генерал Франц Гальдер сказал однажды, что руками Гитлера следует свалить капиталистическую Британию, — а там видно будет. Аристократ Гальдер (как все аристократы) равно не любил и евреев, и большевиков, и капитализм, и Гитлер сказал вслух то, что барон произнести стеснялся. Для аристократов капитализм был воплощением власти плебеев, для них и британский королевский дом, Ганноверская династия, были всего-

навсего родственниками, причем не самыми знатными. Пусть австрийский выскочка, безродная шпана, свалит капиталистов, задаст жару евреям, а там поглядим. Дадим ему пару лет на еврейский вопрос, а там видно будет.

Франц Гальдер выразил общее согласие «потерпеть еще немного» в 1941-м, когда фон Тресков, этот честолюбивый Фиеско наших дней, попробовал подложить первую бомбу в самолет фюрера. Запал бомбы не сработал, берлинский Фиеско расстроился – и Гальдер его утешал. Дайте выскочке проявить себя, сказал он, а затем настанет наш черед, и уже законная подлинная власть наведет

глянец на его черновую работу.

Мы посещали фон Тресковых уже после неудачного покушения; заговор Фиеско остался нераскрытым; шла война и, возможно, бароны решили дать выскочке шанс. За столом если и говорили о войне, то говорили сдержанно, сохраняя интонацию светской беседы, как и приличествует тевтонским баронам.

— Елена, ваш сын в армии?

— Да, он летчик.

— Вот как? И где служит?

Позвольте вам предложить...

— Благодарю вас... На Восточном фронте. Девятая армия.

— Ах, Девятая армия. Это Вальтер Модель, если не ошибаюсь.

— Да, он служит под началом генерала Моделя.

— Вальтер! Вы должны его помнить, дорогая Елена. Великолепный охотник. Что вы думаете об этом вине?

— Разве я его встречала? Превосходное вино.

— Вы же были с нами на охоте. Стрелок с моноклем в глазу, неужели не помните? Как я рад, что вам понравилось... Это Шамбертен тридцатого года. Солнечный год...

Они все здесь не любили большевиков и Россию — в этом сомнений не было. Если прадед фон

Эйхгорна громил Гарибальди, если прадед Хааскена расстреливал мятежников-коммунаров в Париже, если предок фон Клейста написал «Битву Арминия», что оставалось делать их потомкам? То были великие роды гибеллинов, пронизывающие историю западного человечества, а Гитлер был ими рекрутирован, маленький барабанщик, которому показалось, что он командует парадом. Не поход на Россию их обидел, но нахальство маленького человечка. Шестеренка пожелала, чтобы ее считали основной деталью механизма, — ну что ж, пусть. Шестеренка восстала против машины, машина забуксовала,

стала хрипеть и портиться. Они терпели, ждали, потом терпенье лопнуло – о, это знаменитый заговор июля 1944-го! Подождите, мы дойдем и до этой страницы. Но тогда, в январе сорок второго я еще не мог предположить, что моя Елена примет в нем участие.

Штюльпнагель – да, тщеславный и гордый Штюльпнагель, чей дед прославился во Франко-прусской, немецкий рейтар в шестом поколении; Артур Небе – жестокий мясник из айнзацкоманд, он не мог терпеть мягкотелого Адольфа, который даже убивал истерично, не по-мужски убивал. Все они закономерно приняли участие в

заговоре: и великий Роммель, и
совестливый Мольтке... эти
фанфароны, – пусть, я не удивился.

Я знал, что рано или поздно они
доберутся до Адольфа. Я знал – я
видел, как блестят глаза фон Бока,
как поджимает губы Вицлебен, как
смотрит вкось Хассель, как
перешептываются генералы.
Маленький барабанщик не хотел
понять, что он и его сумасшедшая
партия призваны исполнять великий
долг не перед Германией – а перед
этими людьми, и ошибок ни ему, ни
партии не простят. Разве заслужил
снисхождение у большевистских
аппаратчиков Сталин? Аппаратчики
легко отказались от вождя, от

большевистской доктрины, от своей партии — лишь бы сохранить тип управления людьми. Рано или поздно они всегда убирают выскочку — логика феодальных привилегий сильнее любой партийной идеи.

— На что вы надеетесь? — сказал я Йоргу. — У твоего Фиеско нет ни плана, ни вменяемой стратегии. Идет великая война, а у вас нет никого, кто возглавит страну в бою. Напишите программу хотя бы на полгода вперед.

— План у нас есть, — сказал Йорг тихо. Он уже не отрицал, что состоит в заговоре.

— И этот план тебе известен?

— Да, — еще тише сказал он, —

известен.

План гибеллинов был прост — это был все тот же план Шлиффена, только вывернутый наизнанку. Новый вариант гласил: чтобы продолжать войну на Востоке, следует сдать на Западе, причем на любых условиях. Войну с Россией никто прекращать не собирался — ни Артур Небе, ни Карл фон Штюльпнагель, ни Эрвин Роммель, ни Ганс фон Клюге — один только Штауфенберг, идеалист, представлял левое крыло и планировал связаться с коммунистическим подпольем. Его потому и пустили вперед со взрывчаткой. То был заговор правых, они готовы были на все, чтобы

вернуть себе власть, они боялись, что в случае победы в большой войне — над ними возвысятся колбасники и полицейские; кто это допустит? Прежде они рукоплескали Адольфу: поставь Британию на колени, новый Арминий! Теперь они передумали; им такой Арминий мешал. Им нужна была настоящая германская монархия — вот и все.

— Но что будет завтра, скажите, Елена? — Я предчувствовал, что они перегрызут друг другу горло. Заговор гибеллинов есть самая ненадежная вещь на свете. — Вы помните судьбу Фиеско в Генуе? — Я искал, какой литературный пример убедит ее: Арминий, Фиеско, Ахилл? Я призвал

на помощь свое красноречие.

— Прошу вас, положите мне немного камамбера. Да, и виноград. Отто с Карлом всегда привозят дивный камамбер.

— Оставьте камамбер!

— Отчего же, — сказала урожденная фон Мольтке, — это превосходный нормандский сыр. И вино здесь отменное.

— Вы знаете, что ваш сын — заговорщик? — Мы гуляли с десертными тарелками в руках по гостиной.

— Мой сын — солдат Германии.

— Раскройте глаза, — сказал я Елене, — посмотрите на них внимательно! Видите, как

Штюльпнагель пережевывает кусок свиного паштета? Видите, как челюсть движется? Уверяю вас: Брут не жевал так паштет! Не ждите встретить здесь характеры Брута и Кассия. Римской чести в германском бароне не найдете.

Она ответила высокомерно, как и следовало отвечать представителю рода великих Мольтке. Для меня, сказала она, довольно того, что я в одиночку храню честь и верность.

Чему храните верность? Камамберу? – хотел крикнуть я. Но не крикнул. Я знал, что заговорщики предадут друг друга: не будет единства в их рядах. Как бы я хотел ошибиться!

– Понимаю, друг мой, – сказал я, владея собой, – что не подхожу вашему окружению. Недавно вы слушали меня – а теперь у вас другие вкусы. Вещи меняются неотвратимо. Помните разговор в гостинице несколько лет назад? Помните мой “список кораблей”? Теперь вы приплыли под стены Трои. Возглавить войска должен Агамемнон, а Ахиллу самое время уйти в палатку. Но вспомните, чем кончил Агамемнон.

– Эрнст, – сказала мне Елена, – вы многому меня научили. Если бы не вы, я, возможно, осталась бы в Мюнхене и была бы сейчас женой торговца красным деревом. Не

думайте, что я ничего не помню. Но есть вещи, которых вы не понимаете.

– Буду рад научиться.

– Есть германская честь.

Пройдет три года, и они предадут друг друга. Один из заговорщиков, генерал Ремер будет первым, кто арестует своих единомышленников, а потом выпустит из камеры генерала Фромма – чтобы генерал уничтожил следы заговора. Бывший заговорщик генерал Фромм прикажет расстрелять фон Штауфенберга, фон Хефтена и Ольбрихта без суда, чтобы скрыть причастность к заговору. Их убьют прямо во дворе канцелярии, а затем Фромм даст Людвигу Беку,

которого прочили на роль монарха, револьвер — посоветовав покончить с собой. Бек только ранил себя, и Фромм приказал добить товарища-гибеллина выстрелом в голову. Где ты, патрицианская верность! Где ты, гордость Брута, бросавшегося на меч! Где ты, доблестная жена его Порция, глотающая раскаленный уголь?

— Разве не вы говорили, что ход истории не щадит никого? Помните Фауста? Я не желаю быть Бавкидой и ждать, пока чьи-то планы сломают мой бедный домик.

— Поэтому решили стать Валькирией? Подумайте: вдруг только вы одна здесь искренни?

— Не оскорбляйте мою семью.

По крайней мере я уверна в кузене и его друзьях.

Они предавали друг друга стремительно и страстно, точь-в-точь как Хрущев предавал Сталина, как Брежнев – Хрущева, как Горбачев – дело Брежнева, как Ельцин предавал всех своих предшественников и как всегда и везде предают друг друга трусы и ничтожества. Как российский политик Тушинский предавал бывшего соратника Пиганова, как молодой Митя Бимбом предавал своих товарищей – о, есть ли иной рецепт борьбы за имперскую власть?

Вернусь к разговору с Йоргом.

– Сын мой, – сказал я Йоргу, –

если бы я встретил сегодня своего родного сына Эгона, я бы, вероятно, его и не узнал. Я остался с немцами, с тобой, с твоей матерью — вы отныне моя семья. Я считаю себя твоим отцом. Прошу, поверь мне на этот раз. То, что вы считаете доблестью, — есть путь в никуда.

— Путь в никуда, говорите? Я уже там был, — ответил летчик. — Вы не видели войны; здесь, в берлинском Далеме, все выглядит иначе, чем подо Ржевом. Помните Отто Кумма? Моего доброго друга Кумма, вы смеялись над его северным акцентом? Мальчика Кумма с веснушками? Вы позвали его воевать, помните? Его полк погиб около

неизвестного вам места под названием Ссычевка. Вы никогда не найдете это место на карте, это нигде. Это и был путь в никуда, на котором встал мой дорогой Отто Кумм. И тысяча лучших парней из Гамбурга встали там на пути русских танков и кавалерии. Знаете, сколько человек осталось в живых, Эрнст? Тринадцать. Но русские не прошли.

– Зачем ты мне это говоришь?

– Я говорю, чтобы вы поняли, Эрнст: я не стану умирать ради припадочного человека, которого в моей семье не посадили бы за стол с прислугой.

– А за Германию?

– У нас разные Германии, –

сказал молодой Мольтке.

Он не сказал мне «отец». Он посмотрел поверх моей головы на кроны сосен Шлахтензее; романтический германский пейзаж.

Бывают минуты, когда сознаешь: совершается непоправимое. Все, что происходило после этого разговора, я уже не мог отменить, и влиять на события уже не мог — история покатилась сама собой, подчиняясь логике монархии и праву баронских кланов.

В истории Адольфа есть два важных эпизода. Между ними двадцать лет — и вся его биография.

Первый эпизод случился в мае 1923-го в Мюнхене. В 1923-м он

интуитивно совершил умнейший поступок, объединившись в путче с Людендорфом, затем заручился покровительством Гинденбурга. Клань гибеллинов решили, что могут на выскочку положиться, Адольфа взяли знаменосцем. Наивный горделивый дурачок. Как любил он образ знаменосца, он даже заказал свой портрет в роли рыцаря у знамени. Он водрузил двухметровый холст в рейхстаге и любовался героем, упакованным живописцем в латы; вкус изменил ему — он не понимал, как глупо выглядит на картине.

Его позвали как знаменосца, как барабанщика — и он шел впереди

колонны, истерически жестикулируя. Взрослые привели в большую гостиную мальчика и поставили на стул, чтобы ребенок стал повыше и громко читал стихи, — а тот увлекся, решил, что он и впрямь великий поэт. Как бы мальчику поделикатнее намекнуть, что надо слезть с табуретки, что детям пора спать?

Гибеллины морщились, глядя на его потуги, но знаменосец вел народ, готовил народ к их войне — к их войне, к их битвам! Кто бы осмелился столь откровенно, столь фантастически нагло требовать несбыточного? Адольф сумел. И они долго терпели наглого знаменосца, поощряли крикливого барабанщика.

Барабанщик окружил себя полицией, составленной из таких же безродных выскочек, как он сам, вокруг него возникла карикатурная партийная символика, салюты преданности и прочая ерунда. Все это раздражало гибеллинов. Военная аристократия никогда не следовала партийному приветствию «Хайль Гитлер!», обмениваясь обычным воинским приветствием.

Гибеллины презирали Адольфа, но служили в рядах его армии, это была их война, и они воевали страстно — они выигрывали битвы, они проламывали фронты русских, обращали в бегство англичан, гнали французов. Попутно они душили

евреев, кастрировали негров, морили голодом славян и жгли цыган. Но это делали как бы не они сами, не они лично — они готовы были обвинить во всем задорного барабанщика. Делали, впрочем, исправно: зеленый вермахт всю помогал черным СС. Остановить войну было в их силах — каждой из армейских групп командовал заговорщик. Что стоило развернуть армии на марше? Но они шли вперед. Казалось бы, военная знать против режима — отчего же они так здорово воюют? Но они воевали совсем не для него — они воевали для себя. Это была их война.

Второй эпизод произошел в январе 1942 года.

Адольф отправил в отставку фон Браухича и фон Бока — и сам стал Верховным главнокомандующим. Спустя двадцать лет он совершил промах. Он сказал баронам, что их война отныне будет его войной. Этого простить не могли. Жанна из Арка была нужна, чтобы воодушевлять войска, но корону возложить следует на Карла Валуа. В Орлеане барышня очень нужна, в Реймсе отчаянная Жанна пригодится — а потом пойдут на сделку с бургундами и с англичанами. Жанну сожгут на костре как ведьму; впрочем, может, она ведьмой и была? Дело за костром не станет, думал я, даже и не подозревая, что именно

костром все и кончится.

Майор Ричардс в очередной раз привел ко мне публициста Ройтмана.

Я сидел в своей комнате, обложившись газетами, старался уловить логику в событиях последнего года: так называемая оппозиция вырывала власть повсеместно: Монти забрал власть у Берлускони, фронда рвала скипетр у Путина, Олланд – у Саркози; иной наблюдатель мог бы решить, что речь идет о ревизии либерального капитализма. Но дело было в ином. Взорвался Восток, лилась кровь. Взорвался Восток потому, что механизм империи сносился –

механикам следовало подумать, как сохранить машину. Они судорожно искали новую систему управления – как бы исхитриться сделать так, чтобы ничего не менялось, а иллюзия перемен была? Ревизии капитализма никто не замышлял – но все хотели, чтобы машина шла под откос как можно дольше. Кого поставить у руля? Они выпускали вперед ничтожных и незаметных рулевых – назначали президентами таких же бессмысленных фразеров, каких ставили колумнистами газет. Следовало производить равномерный треск – и казалось, треск отвлечет от взрывов. Французский президент Олланд был таким же точно

ничтожеством, как российский журналист Бимбом, но вместе они делали важное общее дело. И этот равномерный свободолюбивый треск заглушал шум истории – они боялись его услышать. Они раскачивали восточные революции совсем так же, как прежде раскачивали революции западные, – безответственно, задорно – чтобы строить империи на пепелище. А что именно сгорит на пепелище, этого они знать не могли. Я понял, что солдатами вторжения станут революционеры нового типа. Не большевики с каменными скулами, не нацисты с медальными профилями; это будут лебезящие мальчики с тонкими шейками и

цепкими ручками. Но народу они передушат не меньше, чем это сделали мы.

В комнату заглянул Ричардс.

— Сегодня день особенный, мистер Ханфштангель. Настоятельно прошу отнестись серьезно к нашим планам.

Когда майор говорил про планы, у него слегка краснели уши и он глядел вбок. Майор был связан с огромной индустрией планирования, в которой я и мои встречи с унылой оппозицией не могли занимать первостепенное место. Я был для них приманкой, подсадной уткой.

Появился Ройтман с большим портфелем. Синещекий Ройтман нес

портфель с той тщательностью, с какой Штауфенберг нес в сорок четвертом свой портфель со злополучной бомбой. Видимо, эта мысль посетила не меня одного: майор Ричардс покосился на портфель с подозрением. Ройтман достал из портфеля магнитофон, поставил магнитофон передо мной.

— Как видите, — сказал Ройтман, — я подготовился к встрече.

— Уточнили час переворота? — спросил я.

— Верно, — сказал Ройтман.

— А майор с вами заодно? — спросил я. — Согласовали деятельность в Африке и бои на Восточном фронте?

– Мы стараемся не подвести друг друга, – мягко сказал майор.

– Надеюсь, – спросил я, – для меня не опасно знать о ваших планах? Нахожусь под стражей, никому не смогу рассказать.

– Вы примете участие в событии, – сказал Ройтман.

А майор Ричардс добавил:

– Я за вас поручился.

– Благодарю вас, – сказал я

И тут я увидел – о, я отличный физиономист! – что Ройтман тяготеет своей миссией. Интеллигент был невесел, двигался вяло. Прежде, когда Ройтман приходил вместе с коллегами, он пребывал в плену общего азарта.

Сейчас это был усталый простуженный человек, обеспокоенный. Я прежде не обращал внимания на его одежду, только теперь увидел заплатки на локтях свитера – заплаты поставлены заботливой женской рукой. По всей вероятности, с этой женщиной Ройтман давно расстался – края заплат обтрепались, подшить их было некому. Ройтман представлял классический тип небогатого еврейского интеллектуала; любой режим привлекает таких синешееких энтузиастов к делу, лишь Адольф ими пренебрег. Мне захотелось попробовать, что может получиться из работы с таким материалом.

— Скажите, Ройтман, вам нравится политика? — спросил я.

— У меня нет выбора, — просто ответил он. — Если хочу достойной жизни, я должен заниматься неприятными вещами.

— А наш майор безусловно достойную жизнь в России наладит, — сказал я.

— Майор Ричардс здесь ни при чем. История поставила на меня. Я сам должен действовать.

— Нет, не должны! — Мне доставляло удовольствие искушать его, как когда-то я искушал Адольфа, а затем Йорга. — Скажите, вы бы не хотели просто любить? Любить преданную женщину? Уехать прочь

от этих жадных людей? Ваш друг Пиганов — это ведь такое... ничтожество. Поверьте, ваша жена лучше. Возьмите ее одну — ведь есть же такая женщина? Гретхен? Катерина? — и поезжайте прочь. Прислушайтесь к моим словам. У меня достаточно денег, а самому деньги уже не нужны. Я смогу обеспечить вашу безбедную жизнь.

— Мы с вами едва знакомы, — сказал Ройтман, — почему вы мне это предлагаете?

— Потому что я хочу кого-нибудь спасти, — честно ответил я. — Хотя бы одного человека, нет, лучше двух! Берите деньги и свою Катерину и поезжайте в горы. Я знаю

спрятанные деревни в Пиренеях, где вы никогда не будете слышать слова «демократия», где не знают про капитализм и рынок. Или поезжайте в Патагонию, купите ранчо, дышите полной грудью и забудьте эту суету. Вы еще молоды, Ройтман. Вы еще не разучились чувствовать! Прижмите к сердцу вашу Катерину и прочь отсюда!

— Ее действительно зовут Екатерина, — сказал Ройтман. — Но только поздно. Уже слишком поздно.

— Не говорите так, Ройтман! Вы вернете ее. Сумеете, только будьте настойчивым! Не расходуйте жизнь на крысиную возню, бегите к ней! Отдайте энергию теплему, живому!

Вы потеряли ее в тот момент, когда связались с пустобрехами. Возьмите денег — и к ней. Вся свобода мира перед вами!

Ройтман волновался. Разговор о деньгах всегда возбуждает русских интеллигентов, но он волновался не только из-за денег.

— Что вы потребуете взамен? — спросил он наконец. — Мою бессмертную душу?

— Для чего мне ваша душа? Взамен попрошу у вас никогда не возвращаться в никчемную Европу. Попрошу никогда не оставлять избранницу. Рожайте детей, много. Попрошу помнить о том, что вы — еврей.

— Еврей? — синешечий Ройтман насторожился.

— Не забывайте об этом, Ройтман. Не приносите жертв чужим богам! Вы первый человек, слепленный Богом, и ведите себя как первый человек. Прочь отсюда, начните жизнь сначала. Не лгите больше во имя свободы. Попробуйте просто жить. Нет больше истории.

Ройтман щелкнул клавишей магнитофона, вздохнул.

— Соблазнительно, — сказал Ройтман. — Но пришлось бы предать слишком многих людей, я так не смогу. Однажды уже предавал.

— Что ж, тогда продолжим. Требуется мое интервью. Вы, я вижу,

задумали переворот. И мне отвели роль исторического обоснования? Наметили путч? Захват телебашни, вещание по основным каналам? Власть будете брать, опираясь на народный гнев, а потом народу объясните, что банки на всех не делятся... Дело знакомое. Майор, — я кивнул на Ричардса, — сведет вас с лондонскими политиками, Запад прикроет беззаконие, ваши беглые тузы дадут кредиты новой власти... Я угадал?

Он кивнул. Он был неплохим человеком, этот синещекий еврей; я решил дать ему последний шанс.

— Бегите, Ройтман, — сказал я, — пока не поздно, бегите. Выиграть в

этом деле нельзя. Кончилось время объединения Европы, пропало дело гибеллинов, бегите. Кончилась слава Запада, глупая Россия вытянула глупую карту. Бегите, Ройтман, не слушайте дураков. Россия развалится на улусы, страну растащат на части жирные бароны, а потом баронов зарежут лакеи. Бегите, глупый Ройтман, вы не там ищете свободу.

– Вы зря пугаете меня, – сказал Ройтман грустно, – я не жду победы. Просто выполняю долг.

– Бегите, Ройтман. Речь не о победе, речь о том, что вас однажды принесут в жертву – как приносили раньше. Таких толстеньких, глупых и гордых евреев убивают всегда.

Уносите ноги. Завтра вас обвинят в убийстве, растрате, клятвопреступлении. На развалах империи евреи не живут.

— Дадим ваше интервью в центральных газетах, — обреченно сказал Ройтман. — Вы расскажете, что Гитлер действовал по указке Сталина, дадим подборку фактов... Прокрутим запись на Первом канале, так Пиганов просил. Одновременно народ на площади выведем... Будьте уверены — вы работаете на благо демократии всего мира. — Он говорил похоронным голосом, совсем не как революционер. — Завтра у нас намечен день икс.

— Помню, мне принесли

расшифровку бесед Даллеса: «План Бека — Гердерелера будет осуществлен на днях». Помню глупых генералов... Как давно я не играл в эти игры. Приступайте, Ройтман. Вы все взвесили? Решение приняли самостоятельно?

— Да, — сказал Ройтман. — Кажется, так.

— Скажите, майор, — спросил я, — вторжение в Сирию и Ливию тоже намечено на ближайшие дни? Германия согласилась? Или своими силами? Полагаете, у Запада есть шансы вернуть молодость?

— Вы циничный человек, мистер Ханфштангель, — сказал майор Ричардс. — Если бы вы только знали,

как неуместен ваш цинизм.

Отпуск Йорга закончился, наш сын отбыл на фронт, мы с Еленой остались одни в огромной квартире – и я остро почувствовал, что мы стали чужими. Возвращаясь со службы, я не знал, о чем с ней говорить, рассказывать об Адольфе я не мог – ее лицо искажала гримаса гадливости.

Привычным развлечениям пришел конец. В ответ на предложение провести субботу у Геринга Елена сообщила, что предпочитает вечер в родовом поместье Тресковых или даже поездку в далекое имение Мольтке.

— Значит, мы никуда не едем?

— Отчего же? Вы можете посетить Геринга и без меня. А я послушаю оперу. Фрея зовет меня на «Волшебную флейту».

Я остался дома, читал «Римскую историю» Моммзена.

Елена вернулась из оперы, попросила меня прервать чтение, заговорила возбужденно; она пребывала в том состоянии, которое характерно для демонстрантов и подпольщиков, — активистам кажется, что они одни заняты делом, а прочие выполняют тупые приказы начальства. Здесь, в Лондоне, под моими окнами часто проходят толпы странных людей с плакатами — то в

защиту Палестины, то в защиту однополой любви. И в Москве — я вижу их на экране телевизора — маршируют бессмысленные массы с невнятными требованиями. У Елены было в точности такое же возбужденно-бессмысленное лицо, как у этих нелепых демонстрантов. У нее появился особый визгливый голос, раньше голоса такого не было. Она сообщила мне, что собирается ехать на Восточный фронт.

Я не спросил: как? Добраться было непросто, но все-таки возможно.

Я спросил: «Зачем вам ехать?» Елена объяснила мне, что есть вещи, которые она хотела бы увидеть

своими глазами.

— Какие вещи вы хотите увидеть? — спросил я. — Вас интересует нечто конкретное на театре военных действий?

Она волновалась, не могла говорить связно. Так они обычно изъясняются — манифестанты и диссиденты: спросите их, что они могут предложить взамен свергаемого режима, они начнут мямлить бессвязное. Главное — пройтись с плакатом. Знаю ли я о письме ее кузена Хельмута фон Мольтке фельдмаршалу Кейтелю и о резолюции Кейтеля, наложенной на это письмо? Да, я знал.

Стиль сентиментальный,

шиллеровский. «Судьба советских военнопленных в Германии является трагедией величайшего масштаба...» и так далее. Понимаю ли я, что честь Германии страдает? Нет, не понимаю. Неужели я не отдаю себе отчет?! Я счел нужным прекратить эту истерику. Иногда бывает полезно дать пощечину психопату — это отрезвляет.

— Возьмите себя в руки, — сказал я, — попытайтесь говорить связно. Я не аристократ, лишен возвышенных эмоций. Я лишь чиновник канцелярии, работаю с бумагами. Вы интересуетесь войной? Да, война идет. Причем, замечу, идет война на четыре фронта. Мы сражаемся с

Англией в воздухе и на океанах. Мы ведем войну в колониальной Африке. Мы объявили войну Америке. Мы деремся в России. К тому же в оккупированных странах надо поддерживать порядок. Это не похоже на стремительный план Шлиффена: сначала бросок на запад, потом рывок на восток — и победа. Победа ушла от нас далеко. Германии так тяжело не было никогда. Каждый день гибнут немцы — сотни немцев. Вы и ваши аристократические друзья обеспокоены вопросом, всегда ли немецкие солдаты хранят рыцарскую честь в отношении русских пленных. Отвечаю: нет, не всегда. Часто немецкие солдаты ведут себя

жестоко. Русских гибнет много больше, чем немцев. Вас это печалит? Вы бы хотели – наоборот? Скажите, вам будет приятно, если больше будут убивать немцев?

Ей не хватало слов, она задыхалась; так современные депутаты парламента, желая произнести нечто возвышенное, выходят к трибуне и не могут найти слова. Мне рассказывали, что один парламентарий даже грянулся в обморок от избытка благородных чувств. Впоследствии выяснилось, что он украл из бюджета два миллиона, предназначенных на пенсии. Я не поощряю волнений там, где должен говорить разум.

— Говорите, пожалуйста, медленно, — посоветовал я, — и только то, что вами обдумано. Сначала скажите фразу про себя, обдумайте слова, а потом — вслух.

Как она ненавидела мой ровный и трезвый голос! Но ответила спокойно.

Елена сказала, что ее друг фон Тресков (дивное бургундское вино Шамбертен, вот к чему оно привело) связался с генералом Вальтером Моделем — и для Елены будет сделано исключение: ей разрешат посетить сына в армии. Решено, что это будет оформлено как визит миссии Красного Креста в 9-ю армию. Кстати, Вальтер Модель

любезно разрешил фрау Мольтке и другим дамам Красного Креста проинспектировать также лагеря для военнопленных – посетить лагерь в Вязьме, лагерь в Ржеве. Такая вот планировалась поездка – непосредственно после посещения дамами берлинской оперы.

– Думаю, мой друг, не в компетенции генерала приглашать вас посетить лагеря для военнопленных, – сказал я.

– Вот как? – Аристократ всегда уверен, что титул и генеральский лампас решают вопрос. – Есть кто-то, помимо генерала армии, кто отдает приказы в его армии?

– Лагеря пленных находятся в

подчинении командующего
охранными войсками группы
«Центр» Макса фон Шенкендорфа.

— В таком случае намеряйтесь
этому господину, скажите ему, что
благотворительная организация
совершает поездку... Скажите, что
генерал не будет препятствовать. —
Она представляла, что на войне все
устроено как в гостиной дома
Тресковых: официанту приказали
подать перепелку, тот взял на кухне
блюдо — и несет.

Я вообразил реакцию
неприятного господина фон
Шенкендорфа. Дамы желают
передать военнопленным
праздничные посылки и

медикаменты – то-то просветлеет его лицо. На Восточный фронт дамы пока еще вояжей не совершали – это будет первая поездка в рамках Женевской конвенции; дамам крайне любопытно. Впрочем, фон Шенкендорф – аристократ, мне недоступны их мотивы. Любопытно, подумал я, не внук ли он Макса фон Шенкендорфа, гордости германских романтиков. У них ведь все переплетено – почти как у современных русских правозащитников, чьи дедушки охраняли лагеря. Да-да, Макс фан Шенкендорф, прославленный истреблением евреев – а он выискивал евреев с усердием

охотничьей собаки, — он ведь с неизбежностью окажется внуком поэта Макса фон Шенкендорфа, как же иначе?

— Друг мой, — сказал я, — вам что-нибудь говорят эти строки?

Всегда верны мы слову,
Не с подлой мы толпой;
Мы честь восславим снова
Германии святой!

Елена приходила в бешенство, когда я говорил так: негромко и насмешливо — с непонятными ей примерами из истории.

— Святая Германия входит в

Женевскую конвенцию. А подлая русская толпа не входит в Женевскую конвенцию, — сказал я. — Ваш визит невозможен законодательно.

— Достаточно того, что Германия входит в эту конвенцию, так Хельмут считает. Он юрист.

— Ах, кому же и знать, как не ему.

Может, я помогу им организовать поездку? Она даже постаралась меня уязвить, подшутить над моей тягой к роскоши. Это не так интересно, как охота в Каринхалле, но, возможно, полезно будет взглянуть на войну вблизи. Я спросил, не достаточно ли ей войны на улицах Берлина. Не замечаете на

улицах калек и нищих? Видите, как люди роются на помойках? Нет, дамы желают посетить именно Восточный фронт, предмет исследования и беспокойства Хельмута.

— Отчего же выбрали дулаги? — спросил я. — Иные лагеря не вызывают интереса?

— Мы выбирали лагеря по причине близости к штабу Вальтера.

— Ах вот как. Любопытный критерий. Дулаги — это пересыльные лагеря. Там содержатся все: и солдаты, и гражданские. Вам полезнее навестить штатлаг — для рядовых солдат.

— Мы уже наметили маршрут.

Не возьму ли я в канцелярии или непосредственно у Адольфа какие-нибудь поручения? Возможно, Геринг что-то направит для генерала фон Клюге или для Вальтера Моделя? И кстати, вероятно, есть список разрешенных продуктов для заключенных. Я едва удержался, чтобы посоветовать фрау графине фон Мольтке посетить Аушвиц — лагерь, расположенный в непосредственной близости от имения ее мужа в Силезии. Там открытки и посылки с пряниками пришлось бы кстати.

Но я промолчал. Вы желаете видеть войну, фрау Мольтке? Пожалуйста, посмотрите

внимательно, я покажу вам войну.

Шел февраль; наступление русских захлебнулось — по нашим сведениям, погибло полмиллиона русских солдат; новый командующий группой «Центр» фон Клюге, используя изворотливость «пожарника» Моделя, спас армии от окружения. Группа «Центр» готовилась к контрудару. Разумеется, у Адольфа должны были найтись поручения к Клюге и Моделю. В течение недели я обзавелся бумагами, которые делали пребывание на Восточном фронте осмысленным; бумаги с подписью Верховного главнокомандующего Адольфа Гитлера делали меня

важной персоной. Инспекциями по лагерям Восточного фронта ведал полковник Маршалл, он был комендантом сегмента, обозначенного литерой «Я»; мне нетрудно было с ним связаться. Именно полковнику Маршаллу мы были обязаны введением единой классификации советских заключенных — толпу следовало разделить на украинцев, казахов, русских, башкир. Полковник предложил нашивать на одежду бирки с заглавной буквой, обозначающей нацию. Мы коротко поговорили с полковником по телефону.

— Господин Ханфштангель, вас

интересуют дулаг номер двести сорок и дулаг номер... Э? Уточните.

— Вы знакомы со всеми объектами?

— Да, инспектировал.

— Ваше мнение?

— Мнение изложено в соответствующем параграфе моего отчета.

— Разумеется.

Отчеты Маршалла были лишены эмоций, как это и должно быть у немецкого офицера.

«112-й пересыльный лагерь в Молодечно: 8000 военнопленных под открытым небом; 341-й пересыльный лагерь в Бобруйске: под крышей только 6000 пленных,

остальные 4000 располагаются в укрепленных ямах в грязи; 220-й пересыльный лагерь в Гомеле: 8500 пленных, из них под крышей могут лежать 3000, а 5000 могут стоять». Я читал его отчет со своеобразным удовольствием: Маршалл обладал слогом ученого – так же сухо и точно писал Брем или Хагенбек, создатель зоопарка в Гамбурге.

– Я читал отчет; интересуюсь личным впечатлением.

– Все изложено предельно точно.

– Предупредите коменданта, что я могу заехать. Скажите, что визит проходит в рамках поездки в штаб Моделя.

— К сожалению, не могу допустить данный визит.

— Мы имеем соответствующий документ от Шенкендорфа.

— Я предупрежу майора Клачеса. Со своей стороны считаю визит нецелесообразным.

— Благодарю, полковник.

— Хайль Гитлер.

Приятно было убедиться, что имя фюрера и наличие у меня сопроводительных депеш — не облегчает спутницам выезд на фронт. Аристократы представляли дело так, что приглашения генерала довольно для пикника на опушке русского леса; оказалось, нужно много бумаг с подписями малозначительных персон. Бумажные процедуры, коими знаменита Германия, во время войны усложнились. Елене и Фрее фон Мольтке пришлось обойти несколько кабинетов и подождать в очередях среди раненых, возвращавшихся в свою часть. Документы оформляли

вышедшие в запас калеки, приписанные к канцеляриям, — офицер, заполнявший анкету Елены, писал левой рукой, правый рукав был пришит к погону. Дамы покорно ходили из кабинета в кабинет, но вид больных и раненых стал их утомлять. Пусть видят, думал я, пусть смотрят на немецкое горе.

Быстро выяснилось, что единственный способ передвижения для миссии Красного Креста — санитарный поезд. Очередной санитарный эшелон шел из Софии — вместе с ним Болгария посылала несколько вагонов солдат, хотя участие болгарских частей в военных действиях отрицали. Мы ехали

поездом до Киева, там пересаживались в болгарский эшелон и с болгарами ехали до линии Восточного фронта. В комитете по делам раненых (Елене и Фрае требовалась справка, что раненые не возражают против нашего проезда) полковник Нильс Ольсен, человек с рыхлым красным лицом, сказал Елене:

– Вам, Gnadige Frau, шерстяные носки надо вязать и посылать солдатам. А вы ерундой заняты. Муж где? В канцелярии сидит, печати на пропуска ставит?

– Как и вы, – сказала ему Елена.

– Да. Как я, – подтвердил полковник Ольсен. Оттолкнувшись

руками от стола, он отъехал в сторону в своем инвалидном кресле. У него не было обеих ног по колено.

— Простите, полковник.

— Контузило под Москвой. Два дня лежал в снегу. Ноги не спасли.

— Простите меня, прошу вас.

До Киева ехали двое суток в штабном вагоне. Эта часть пути была хорошо налажена, хотя состав шел медленно. На остановках выходили пройтись по перрону, а порой спускались из вагона прямо в снег, если состав стоял в поле. Хотелось отдохнуть от тесноты купе. Архитектору Шпееру было сказано определенно: железнодорожная колея должна стать отныне шириной

три метра, чтобы новые вагоны были шести метров ширины и пяти высоты, — но Шпеер медлил с исполнением. Справедливости ради, фюрер отдал ему слишком много приказов.

Полковник Хуберт Пандза, попутчик, что ехал в свою часть в Киев, говорил нам, что дорога небезопасна: партизаны взрывают пути, — но мы тревоги не испытывали.

В Киеве пересели в санитарный поезд, следующий от Софии. На меня санитарный эшелон произвел впечатление: прекрасно оборудованный операционный вагон, просторные отсеки на четыре койки

для раненых, персонал в составе двадцати семи человек. К санитарному эшелону прицепили шесть вагонов с пехотой для Восточного фронта – прибыв на киевскую платформу, болгарские солдаты выходили, как и мы, из вагонов – прохаживались вдоль состава, курили. Болгары немного похожи на турок, а турки на украинцев – у местных жителей могло сложиться превратное впечатление. Я слышал, как пожилые женщины обсуждали, что Степан Бандера шлет войска на помощь Гитлеру.

– Да не надішло від підмогу, в Заксенхаузені сіде. Фріци його

посоділі.

– Так він вже давно на свободі!

Поезд тронулся, вскоре после вокзала мы проехали огромный вещевого рынок, дамы отметили, что торговля идет бойко. Я подумал, сказать ли им, что несколько месяцев назад на рынок поступили вещи евреев, расстрелянных в Бабьем Яру, – дамам информация бы пригодилась. Решил не говорить.

Нас поместили в вагоне начальника поезда, хирурга Атанаса Атанасова. Хирург говорил по-немецки.

– Имейте в виду, раненым много еды не нужно. Обычно сразу дают есть, это плохо.

– Мы едем в русские лагеря.

– Там коммунисты, – сказал Атанасов. – Сначала людей в России загубили, теперь других убивают.

– Я думала, – резко сказала графиня, – что все славяне братья.

– Этот брат – бандит.

– Разве не Германия напала?

– Фюрер прав. Не надо ждать, пока зверь нападет.

– Но пленные солдаты не виноваты, – сказала Елена.

– Хотите знать мое мнение?

– Да, скажите.

– Высказывать мнение не стану.

– Скажите, интересно.

– Воздержусь. Я врач, знаете ли.

Вы пробовали ракию?

– Нет, никогда.

– Угощайтесь, это лучше, чем русская водка.

Когда ракию разводили водой, она становилась белой, похожей на абсент. Елене это напомнило картины Пикассо. Поезд шел через Украину, мимо черных от гари пустырей.

Мы видели колонну женщин с детьми – вдоль железнодорожного полотна шли бабы с малолетними детьми, несли детей на руках, волокли чемоданы с барахлом, которое им никогда больше не пригодится. Их конвоировали германские солдаты – по три эсэсовца на колонну. Я предположил,

что женщин отправляют на работы в «Фарбениндустри». Лица у женщин были безумны. Я предложил Елене не смотреть в окно, но она смотрела, не могла отвести глаза от этих диких азиатских лиц. Никто из женщин не плакал, они выли. Это был ровный вой, напоминающий вой волков. Вой гудел в воздухе, и мы слышали вой через стекла вагона.

– Подумайте, – сказал я Елене, – вы хотите, чтобы именно это было в Германии? Или все-таки лучше видеть такое здесь?

Я вышел в вагонный коридор спросить чаю – увидел госпожу графиню, застывшую в неестественной позе; Фрея фон

Молытке стояла согнувшись, держась обеими руками за лицо.

— Что с вами? — спросил я.

— Я вспомнила рассказ Хельмута. Не верю, не хочу верить. Его рассказ не может быть правдой, скажите! Вы слышали про расстрел киевских евреев? Вероятно, советская пропаганда.

— А если правда?

— Не верю.

— Госпожа графиня, скажите: когда смотрите картину Брейгеля — вы разглядываете фрагмент или все полотно? Могу я напомнить Гёте? — И я прочел из «Фауста»:

Здесь не тевтонской

пляской смерти
Вас встретят ряженные
черти
Здесь жизнерадостнее тон!
В дни римского
коронованья
За Альпами край ликования
К державе присоединен.

— К чему эти стихи?

— На Восточном фронте скверно,
но в Италии, Греции, Испании,
Франции — превосходно. Священная
Римская империя велика. Не глядите
на один фрагмент.

К нам подошел болгарский
солдат с подносом — чай и

традиционные болгарские сладости. Так, в сопровождении рослых солдат с висячими усами, мы доехали до конечной станции. До Ржева оставалось сто километров.

Посещение лагеря во Ржеве было наименьшим из возможных зол – ничего страшного мы увидеть не могли. В Аушвице им бы нашлось на что посмотреть. Как типично для сердобольных аристократов: ехать на край света с ненужной там помощью и не заметить просящего калеку у парадных ворот.

Дамы были удивлены, что генерал не встретил их на полустанке, однако Модель прислал адъютанта, Рудольфа Мэкера, офицера галантного.

Мы ехали на автомобиле Вальтера Моделя. Для личного

секретаря Адольфа Гитлера это было естественным комфортом; впрочем, как раз мне внимания уделили меньше, нежели дамам, — я отнес это на счет куртуазности адъютанта. За нами следовал транспорт с охраной.

Елена была в черном кожаном пальто, похожем на пальто эсэсовца. Эсэсовцы носили такие пальто, перепоясанные ремнем со стандартной бляхой, на которой были выбиты буквы ЕНТ («Ehre Heist Treue») — то была цитата из речи Гитлера «Эсэсовец, твоя честь в верности». Имелась в виду верность именно фюреру нации; Гиммлер создал из фразы символ. Я успел подумать, что вермахт такой девиз не

устроил — армейские офицеры выбили на своих ремнях «Gott mit Uns» — «С нами Бог», отнюдь не фюрер. Прежде сопоставление девизов не пришло бы мне в голову — но я слишком много думал об армейском заговоре.

Адъютант развлекал дам беседой: выяснилось, что охота здесь неплохая. Генерал страстный охотник. Даже во время январских событий находил время. Ах, этот Вальтер! Дамы посмеялись, хотя настроение наше было подавленным. Войну мы не видели, но чувствовали всем существом — спиной, локтями, щеками. Война была в воздухе — вязкая липкая война.

Через два часа въехали во Ржев. Проехали сожженные кварталы предместья, ряды опустевших деревянных домов, несколько каменных бараков, выгоревших до основания, затем пошел сохранившийся квартал старинной застройки — там были лавки, даже небольшой рынок, затем проехали фабрику, превращенную в крепость, полосу дзотов и противотанковых укреплений, зенитную батарею. Адьютант комментировал увиденное.

— Мы на юго-западе города, — пояснял адъютант, — вы видите третью линию обороны.

— Построили быстро, — сказал я.

— Передайте фюреру, германские

солдаты стараются, – и дамам: – Вы уверены, что действительно хотите видеть объект? Вместо посещения лагеря я бы предложил вам охоту на тетерева.

Дамы пожали плечами. Они не представляли, что увидят. Это была причуда, а причуды невозможно отменить.

– Если я правильно понял генерала, – сказал Мэкер, – ваш сын служит в Девятой армии.

– У вас служит и его друг, Отто Кумм, – сказала Елена. – Про него мой сын рассказывал чудеса.

– Кумм – храбрец. Знаете этого молодого человека?

– Молодого человека я кормила

жареной картошкой на кухне – в тридцать третьем. Давно! Мне было всего тридцать пять, казалось, вся жизнь впереди, представляете, Фрая?

– Знаю слишком хорошо. Наш Хельмут-младший только родился. Я думала – вот оно, счастье.

– Не могу поверить в эти невозможные цифры, – галантно сказал Мэкер.

– Мне сорок пять лет, господин Мэкер. – Елена научилась до такой степени не стесняться возраста, что бравировала им.

– Согласитесь, лагерь для военнопленных на самое подходящее место, чтобы принимать даму. Есть работа, которую должны делать

только мужчины. Не припомню, чтобы женщины посещали наши лагеря.

— Неужели? — сказала графиня фон Мольтке. — А как же Эльза Кох?

— Эльза Кох... Позвольте... — Адъютант отвернулся, делая вид, что припоминает.

Они собрали досье, думал я. Эльза Кох по прозвищу «Бухенвальдская овчарка» была женой коменданта лагеря в Бухенвальде Карла Коха; заключенные боялись ее больше, чем ее мужа. Эльза Кох приказывала шить из кожи убитых перчатки и абажуры. Ее еще называли «Фрау Абажур». Я надеялся, что про

абажуры Елене пока не доложили. После успешной работы в Бухенвальде чету Кохов перевели с повышением в Майданек, где уровень смерти был значительно выше — в Бухенвальде в день умирали 120 человек, для Майданека пределов не было.

Интересно, что именно из этого знает Елена. Мольтке — люди пунктуальные, юристы любят подробности.

Вообще говоря, Кох был обаятельный человек, придерживался либеральных взглядов в бизнесе. Однажды я наблюдал его на конгрессе партии — Кох говорил здраво. Я слышал, его

потомки сделали неплохую карьеру;
что-то по финансовой части.

Мы подъехали к лагерю.

Немецкие лагеря состояли из трех зон. Сперва шла зона бараков, оцепленная проволокой, за ней комендантская зона с административными бараками, в этой части располагались также печи и крематорий, потом шла зона коттеджей, где у каждого офицера был свой небольшой домик с небольшим палисадником. Женщины — некоторые офицеры обзавелись экономками из местных жительниц — ждали мужчин с работы, варили обед. Женщины выходили на крыльцо, высматривали своих мужчин сквозь морозный туман,

сквозь дым крематория. Из труб коттеджей тянуло духом теплого жилья, иногда зимний воздух наполнялся запахом жареной картошки, значит, какому-то офицеру сегодня повезло. Из-под руки, прищурившись на низкое красное солнышко, высматривала хозяйка офицера, идущего домой. Сейчас он войдет в сени, стряхнет с шинели снег.

Зимние домики офицеров по-новогоднему были припорошены снегом, но в зоне барачников снега не было совсем — земля стояла черная, выеденная беззубыми ртами умирающих. Черный квадрат остался после съеденного снега,

заключенные съели все, они съели снег и съели редкие травинки под снегом, высосали воду из ям. Это была сухая черная земля — а за проволокой лежал глубокий снег.

Хорошо, что это был заурядный дулаг, каких сотни по России — а не Майданек, не Собибор, не Биркенау, не Бжезинка. Мы прошли сквозь зону бараков и не увидели, как голых людей гонят по Himmelstrasse, «дороге в небо», как называли в лагерях уничтожения огороженный колючей проволокой узкий коридор, который вел прямо в газовую камеру. По таким коридорам ежедневно гнали сотни и тысячи евреев, их раздевали, приговаривая: сейчас вы

пройдете дезинфекцию, а затем вас отправят на работы в Польшу. И голые костлявые евреи и еврейки шли в камеры, понимая, что их сейчас задушат, но цепляясь за фразы палачей: ведь блокфюрер сказал, что только дезинфекция. Им состригали волосы и заставляли аккуратно сложить вещи: вещи отправляли спецпоездами в Германию — из Биркенау вывезли двадцать семь вагонов детских колясок — что остались от задушенных младенцев. Голых евреев вели по Himmelstrasse, названной так в честь Гиммлера, чье имя обозначает «небесный», и отчасти — в духе средневековых хоралов: удачный культурный

компромисс. Детки смолкали на руках голых костлявых матерей — догадывались, что их сейчас задушат. А потом их душили, а трупы сгребали ковшом бульдозера и складывали в ящики, которые транспортировали в крематорий, еврейские трупы сжигали в печах, а пепел и кости ссыпали в могилы. Захоронением занимались тоже евреи — те, что рассчитывали прожить немного дольше; иногда это удавалось. Спустя месяцы зондеркоманда № 1005 уничтожала следы казни. Могилы разрывали, обливали бензином, начисто выжигали захоронение, словно и не было на земле евреев никогда — не

было этих горбоносых визгливых женщин с их курчавыми детками. Мираж был – и растаял.

Здесь такого мы увидеть не могли; лагерей уничтожения было всего пять или шесть; там даже редко строили бараки для жизни: там просто людей душили и жгли, душили и жгли. Здесь же был заурядный дулаг № 240, сборный пункт военнопленных, и я благодарил судьбу – или благодарил Бога, если Господь занимается такими вещами тоже, – что он отправил нас с визитом не в Биркенау, а всего лишь в славянский городок Ржев.

Машина Вальтера Моделя подкатила к воротам, взвод эсэсовцев

выстроился для встречи. Адъютант помог дамам выйти из машины.

– Прошу вас, графиня, – говорил адъютант, придерживая Фрею фон Мольтке за локоть, чтобы она не поскользнулась на черной распутице, – не делать поспешных выводов. Не забывайте, что мы на войне. То, что вы увидите сегодня, не радостно. Но это война.

– Благодарю, – отвечала Фрея, – я здесь для того, чтобы видеть. Идемте, Елена.

– Фрау фон Мольтке, – сказал галантный адъютант, – делают то, без чего никакая армия не может считать свой долг выполненным до конца. Милосердие к побежденным,

забота о проигравшем сражение враге. Вас поставил в известность полковник Маршалл, полагаю? Это – господин Ханфштангель, канцелярия фюрера. Я – полковник Мэкер, представляю штаб Девятой армии.

Рудольф Мэкер поднес руку к кокарде – вермахт не признавал приветствия «хайль».

Лицо майора Клачеса стало совершенно желтым, но постепенно восстановило прежний перламутровый оттенок.

– Хайль Гитлер! – отозвался майор, но адъютант руки в ответном жесте не поднял. Не поднял руки и я.

Мы встали во внутреннем дворе

первой зоны, там, где снег был съеден до черной земли. Возле нас стояли эсэсовцы, удерживая на поводках овчарок, а блокфюрер, что привел нашу делегацию, объяснял нам схему расположения бараков.

— Здесь — военнопленные солдаты, а здесь — офицеры; условия не позволяют их перевести в офлаг, в этом помещении содержатся женщины и женщины с детьми.

— Евреев содержите отдельно? — спросила Елена.

— Евреев и комиссаров выявляем непосредственно в день доставки.

— Что вы с ними делаете? — резко спросила графиня.

Ей никто не ответил. Адъютант

Рудольф Мэкер попросил ознакомить нас с отчетностью.

Два охранника (нам объяснили, что это русские пленные, завербовавшиеся в германскую полицию) приблизились, ожидая приказов от блокфюрера. Один из охранников постоянно щурился и тянул шею вверх, стараясь понравиться начальству. Другой охранник был грузен, с широким задом и короткими ногами. Блокфюрер крикнул им — и оба бросились на административную половину лагеря, к канцеляриям, видимо за отчетностью. Пока бежали, с одного из охранников упала шапка, он оказался совершенно

лысым. Овчарка с лаем побежала за шапкой, принесла шапку солдату-эсэсовцу.

Майор Клачес объяснил, что русских в комендатуре лагеря достаточно; в охране и на хозяйственных работах используются в основном русские. Переход русских солдат на сторону вермахта – явление сейчас массовое. В деревне Дубровка формируется 247-й карательный батальон из русских, согласных с новым режимом. И Бранденбургский полк тоже вербует некоторых русских.

– Эти двое, сотрудники Бимбом и Сиповский, – он указал на охранников, – ходят по баракам,

выясняют настроения. Следят за внутренней дисциплиной.

Бараков в лагере не было: использовали бывшие склады зерна и навесы для хранения расфасованных мешков — только у двух помещений были стены, остальные представляли собой крыши на столбах. Под навесами люди спали в три слоя, я знал и прежде, что так делают, чтобы те, кто лежит в середине, согрелись между телами товарищей. Перед бараками были вырыты ямы для трупов; раз в сутки свежий пласт трупов забрасывали землей. Я отметил про себя эту странность: обычно в лагерях имелась всего одна яма — впрочем, в дулаге № 240

смертность в те дни была высокая в каждом бараке.

Комендант майор Клачес предупредил, чтобы мы не приближались к баракам — возможно заражение тифом.

— Вы не проводите дезинфекцию? — спросила графиня. Я видел по лицу Фрей, что она сдерживает себя с трудом.

— В данных условиях, фрау Мольтке, дезинфекция — нереалистичная задача. На морозе невозможно мыть заключенных. Больных мы переводим в другие помещения — лазарет имеется на станции Ржев-2.

— А здесь разве люди здоровые?

— Более здоровые, — сказал майор Клячес.

Адъютант Рудольф Мэкер спросил, не хотим ли мы говорить непосредственно с заключенными — возможно, есть жалобы на содержание. Впрочем, инспекция была не столь давно.

Посреди черного квадрата съединенной земли стояла сумасшедшая женщина, прижимая к груди ребенка. Шею ее закрывала тряпка, замотанная вокруг тощей шеи как шарф, а грудь была открыта морозу, потому что полрой телогрейки женщина прикрывала ребенка. Она была настолько худа, что на ее груди можно было считать ребра. Кожа

груди была серая. Грязные
свалявшиеся волосы серыми
космами висели вдоль лица.

— Почему не побрили
заключенную? — резко спросил
комендант Клачес. — Вот вам и
причины эпидемий!

— Виноват, господин майор!

Сумасшедшая пошла к нам, и
эсэсовец поднял автомат.

— Хочу предупредить, — сказал
комендант Клачес, — это, по нашим
предположениям, жена комиссара.

— Не знала, что есть такое
звание — «жена комиссара», — сказала
графиня.

— Такого звания действительно
нет, — сказал Мэкер.

— Комиссаров выявляем в день поступления, согласно инструкции, — сказал комендант Ключес. — По поводу жен комиссаров указаний нет. Руководствуясь наблюдениями, могу сказать, что агитацию может вести и жена.

— Агитацию ведет, — сказал лысый русский охранник, приближаясь. Комендант покосился на заговорившего без спроса охранника, и тот вжал голову в плечи.

Охранник принес бумаги из канцелярии. Передал бумаги блокфюреру, сощурился, вытягивая шею, потом поклонился, попятился. Забрал свою шапку из рук эсэсовца и еще раз поклонился.

Сумасшедшая подошла близко и заговорила. Она говорила по-немецки без ошибок, но со странным акцентом. Она открывала рот, и мы видели длинные зубы. Потом я понял, что ее десны гниют, обнажая корни зубов, оттого зубы кажутся длинными. Возможно, дурная дикция была вызвана плохим состоянием десен.

— Мой муж красный командир Сергей Дешков. Мой муж красный командир Сергей Дешков. Мой муж Сергей Дешков. Спасите его ребенка. Это Яков, наш сын.

Елена и Фрая глядели на ребенка. Младенец был обернут во все тряпки, которые могла собрать

женщина. Открытым оставалась половина красного сморщенного личика, на котором жили глаза. Елена и Фрая глядели на маленькое лицо азиатского человечка.

— Это наш сын Яков, — сказал женщина.

— Характерная деталь. Русские сотрудники, — комендант кивнул на охранника Сиповского, — составили представление, сходное с моим. Он, — кивок на охранника Бимбома, — подтверждает факты агитации. Здесь своеобразный коллектив, разобраться в котором с первого взгляда непросто.

— Мой муж красный командир Сергей Дешков, — сказала

сумасшедшая. — Это наш сын Яков.

— Вы слышите? — сказал майор Клачес. — Сугубо характерный текст.

— Комиссаров ликвидируем, а сталинистка живет, — сказал лысый охранник, окрыленный похвалой.

— Русские люди устали от пропаганды, — сказал майор Клачес.

Майор говорил это, обращаясь к Елене или графине, иногда к адъютанту Мэкеру, но говорил исключительно для меня; на меня смотреть он не хотел, меня он по-настоящему боялся. Человек из канцелярии фюрера — это было страшно для него.

Ему казалось, что в нашем визите есть неясная цель — а цели не

было. Я не вмешивался в разговор, наблюдал за Еленой. Ты хотела видеть войну, думал я, вот, перед тобой война, посмотри.

— Хочу пояснить, — сказал комендант дамам. — В нашей деятельности есть своя специфика. То, что может казаться строгостью, есть просто лагерная дисциплина. Идут бои, немецкие солдаты гибнут. Муж этой женщины — убийца. Бывает трудно сохранять объективность в отношении пленных. Мы подвержены эмоциям, когда гибнут товарищи. Но мы беспристрастны.

Елена не слушала его. Елена не могла оторвать взгляда от сумасшедшей. На моих глазах

безумие сумасшедшей русской женщины переключалось в зрачки Елены, словно безумие женщины с гнилым ртом было заразным. Я увидел, как исказились черты Елены, как искривились ее губы.

— Мой муж Сергей Дешков, красный командир, — повторила сумасшедшая; космы грязных серых волос висели вдоль скуластого лица.

— И так постоянно, — сказал майор Клячес. — Теперь вы меня понимаете.

— Это Яков, его сын.

— Говорю же: палачи красные! — и лысый охранник ударил сумасшедшую дубинкой по руке.

Она крикнула тонко, как птица.

Когда перед грозой резко кричит птица, вспоминаю этот крик. Выпустила из рук ребенка, но звериным движением извернулась, поймала ребенка у самой земли.

– Сталинисты! – сказал лысый охранник Бимбом и сощурился, заглядывая нам в глаза.

Графиня фон Мольтке сказала:

– Комендант, распорядитесь убрать это животное.

И – пропал лысый охранник Бимбом, утащили прочь.

Елена подошла к сумасшедшей, погладила ее по руке:

– Вам больно?

Трудно спросить глупее.

– Нет.

– Простите нас, – сказала Елена.

– Нет, – сказала сумасшедшая.

– И меня не простите?

– Нет.

– Елена, – я потянул ее за рукав, – уйдем отсюда.

– Вам холодно. Возьмите мое пальто, – сказала Елена.

Сумасшедшая с ужасом посмотрела на черное пальто.

– Я не могу это пальто.

– Возьмите что-нибудь.

– Мне нельзя. Тогда накажут.

Отнимут сына.

– Возьмите что-нибудь.

– Нет.

И тут я увидел, как Елена стала дрожать – так дрожат больные

малярией. Она вздрагивала и руки ее тряслись.

– Пойдемте отсюда, Елена! – Я тянул ее за рукав, и Елена наконец посмотрела на меня. Несколько секунд изучала мое лицо, потом сказала:

– Не советую вам мешать мне в эту минуту.

Рудольф Мэкер сказал:

– Полагаю, вы видели достаточно. Здесь нерационально задерживаться. Мы нарушаем работу лагеря. Везде есть свои правила.

– Нарушаем – работу?

Рудольф Мэкер был человеком галантным, но он был солдат. К смерти чужих людей он привык так

же, как привыкает хирург отделения гнойной хирургии к летальным исходам. Он не был чрезмерно равнодушным человеком, но ежедневное наблюдение за смертью притупило его эмоции. Он обращался с дамами так, как вежливый профессор обращается с практикантами во время обхода палаты с умирающими.

— Каждый отвечает за свой участок работы. Охранники делают свою работу, комендант — свою. И заключенные делают работу. Тяжелая работа, согласен; сегодня у всех тяжелая работа. Война.

Адъютант не уточнил, что работа в этом лагере (как и во

многих других) заключалась в бессмысленном труде – переносили камни и балки с места на место. Только малая часть пленных была занята на строительстве моста через Волгу. Некоторых заключенных использовали для строительства бараков; впрочем, в иных лагерях – в том числе в Ржевском лагере – под бараки использовали готовые помещения, никак эти помещения не утепляя и не закрывая открытых пространств. Часто это были просто огороженные проволокой загоны – если не требовалось, как в случае с удушением евреев, особых технологий. Некоторых заключенных использовали для рытья могил. Но

общая масса должна была заниматься бессмысленным тяжелым трудом — они носили тяжести из конца в конец лагерного двора. Так придумали нарочно, чтобы убить людей. В совокупности с голодом и холодом эта мера давала высокую смертность.

Подобно врачам на обходе палат с умирающими, адъютант и комендант лагеря обменялись понимающими взглядами.

Адъютант не задал вопроса, но комендант кивнул: да, в день умирает примерно 60–70 человек, это нормальный показатель по пенитенциарным заведениям. В Майданеке тысячами душат, в

Биркенау ротационная способность огромная — так что мы здесь рекордов не ставим, но показатели держим. Перетаскивание тяжестей в сочетании с морозом помогало держать показатели на хорошем уровне — вот и все.

Я знал статистику из отчета Маршалла.

«Опыт показал, — писал полковник Маршалл в отчете, — что число смертных случаев в 240-м пересыльном лагере в Ржеве в значительной мере зависит от холода. Так, в чрезвычайно холодные дни с 5-го по 12 декабря оно выросло до 88—119 человек в день. А с ослаблением холодов в декабре

снизилось до 98–62 человек. Затем, с наступлением оттепели, количество смертных случаев сократилось до 47 человек. С возобновлением холодов кривая смертности постоянно шла вверх. Статистика следующая: 23 ноября комендант принял из 7-го армейского пункта сбора военнопленных 5582 человека. Всего между 25 ноября и 14 декабря умер 1191 пленный, то есть около 22 % от общего числа заключенных дулага № 240».

Это был средний, далеко не самый драматический показатель; повторяю, в целом смертность достигала 57–65 %. Скажем, в дулаге Вязьмы смертность составляла 350

военнопленных в день. Однако и эта цифра видится не самой радикальной. Собибор мог бы предложить нам еще более высокий уровень. Разумеется, в целях объективности я должен признать, что ни один лагерь в иных странах (включая, разумеется, сталинские лагеря) такой статистикой похвастать не может.

Лазарет в лагере № 240 действительно имелся, комендант нам не лгал. Он лишь дал неточную информацию по поводу порядка размещения в лазарете. «В лазарет, — согласно докладу Маршалла, — помещают только таких больных, которые, согласно медицинскому

заклучению, еще могут выздороветь. Те больные, которые не имеют надежды встать на ноги, как ни сурово это звучит, должны ожидать своей участи в прежнем бараке». Этим и объяснялся тот факт, что нижний ряд людей в спальном бараке не шевелился. «В декабре 1941 года пленные в среднем получали в день 300 г хлеба и 30 г конины», – сообщает Маршалл. Хлеб заключенных («русский хлеб») состоял на 50 % из ржаной муки, на 20 % из целлюлозной муки, на 20 % из свекольной ботвы, на 10 % из листьев и соломы.

Графиня фон Мольтке получила отчет о лагерном питании и читала

эти данные, надев очки. Кое-что она читала вслух, чтобы слышала Елена. Адъютант светил фонариком на бумагу. Рудольф Мэкер притоптывал ногами в легких сапогах: мы все уже стали замерзать. Пора было идти к автомобилю.

Что касается судьбы заключенных, меня в увиденном сегодня не удивило решительно ничего — я знал общую установку Адольфа. Советские пленные должны были погибнуть. Да, некоторых это шокировало. Некогда Макиавелли писал: «Люди всегда защищены от смерти — доспехами, когда сражаются, и сдачей в плен, когда сражаться не могут». Сегодня

мы опровергли Макиавелли.

Адольф составил уравнение, которое вызубрили мы все: еврей-марксист-большевик-русский. Любая часть этого уравнения спорна, но в целом оно стало аксиомой. И кривляка-публицист Розанов, который порой сравнивал два народа, не сумел бы сделать большего. Отныне судьба русских пленных была решена.

Они замерзали насмерть и дохли от тифа. Когда окоченевшего больного человека заставляли нести бревно, человек ломался как сосулька. А их заставляли работать.

Над воротами Ржевского лагеря, как и над воротами Освенцима была

укреплена надпись «Arbeit macht Frei» – «Работа делает свободным» – буквы были вырезаны из кровельной жести и соединены проволокой. Глядя на эту надпись, доходяги переносили бревна. Концепция трудовой повинности напомнила мне о Мартине Хайдеггере.

Труд делает человека свободным — это совершенно хайдеггеровская мысль.

В своем выступлении перед студентами Фрайбургского университета (помню, Елена и Ханна заставили меня пойти и слушать эту речь). Хайдеггер опроверг противоречия труда и капитала, сформулированные Марксом, Мартин посмеялся над постановкой вопроса. Хайдеггер показал, что труд — есть единая и цельная мистерия бытия, есть общий неразъемный процесс: и банкир и рабочий — суть со-участники общей мистерии, но

никак не антагонисты. Хайдеггер настоял на том, труд не может оскорблять рабочего, он позволяет ему принять участие в том великом деле, которое сплотило нацию. В сущности, Юнгер в своих сочинениях повторил эту мысль.

Данное определение труда Хайдеггером лежит в основе различия гитлеровских и сталинских лагерей. Не следует путать цели пенитенциарной системы Адольфа и большевистские лагеря — социальная философия различается. Не перевоспитание через труд, как то декларировали большевики в своих трудовых лагерях. Сталин тщился сделать из уголовников ударников

коммунистического труда. Никто не собирался перевоспитывать славян или поляков, работавших на наших рудниках. Разве они могли бы в процессе труда стать не-поляками? Это исключено. И уж вовсе сомнительно перевоспитать трудом еврея. Вы скажете, что евреев никто и не старался особенно приобщить к труду. Это верно, их сразу отправляли в газовые камеры; но некоторым все же приходилось вооружиться кайлом и лопатой и поработать, хороня своих соплеменников. Существовали еврейские команды, выполнявшие обязанности надзирателей по отношению к прочим евреям. И что же? Была ли надежда на то, что они

станут иными, сделаются не-евреями, оттого что вошли в общий трудовой процесс? Ни малейшей надежды.

Чего же мы ждали от труда?

Еще раз и медленно: труд не есть унижение, как то считал неопрятный еврей Маркс. Труд не есть перевоспитание, как то считали комиссары в Москве.

Труд — это в чистом виде субстанция свободы.

Понятие труда как мистического действия — его передал нам Хайдеггер.

Впоследствии, живя в Лондоне и общаясь с литератором Ройтманом, я услышал от него стихи другого еврейского барда, Бродского. Звучали

Они так:

Маркс в производстве не
вяжет лыка,
Труд не является товаром
рынка,
Так говорить – оскорблять
рабочих.
Труд – это суть бытия и
форма,
Деньги как бы его
платформа.

Как верно понял этот поэт (хоть
иудей, но талантливый ученик
англосаксов) самую суть труда.
Мистический процесс, не

расторжимый на части, — вот что имел в виду Мартин. Пусть один человек генерал и командует войском, а другой человек чистит ему сапоги; и что же? Они оба участвуют в мистическом действе. Не следует тому, кто катит вагонетку, считать себя униженным. Труд — един! Вспомните книгу Юнгера «Рабочий», вспомните речь Геринга на заводе Круппа в Эссене! «Крупп, — сказал в тот день Геринг, — это и есть подлинный образ труженика».

Не унижение трудом, не отчуждение продукта труда, отнюдь, мы отвергаем эту марксистскую выдумку — Мартин считал, что корень марксистского зла именно в

этом догмате об унижении рабочего. Приобщение к общей трудовой мистерии – вот что такое концлагерь в Германии.

Большевики тщились перевоспитать наказанных, желали получить пользу от каторжного труда узников. Посылали их рыть канал – бесчеловечная азиатская выдумка. Но нам не нужна была польза от каторжного труда, и перевоспитывать каторжан мы не собирались. Германский концлагерь помещал людей в состояние высокой мистерии работы – в мир перманентной свободы, как ее понимали Хайдеггер, Юнгер и Геринг.

Доходяги перетаскивали камни туда-сюда, с места на место. Но разве не о том же пишет Камю в своем изящном эссе о Сизифе? Сизиф, который вечно катит камень в гору, а камень всегда вырывается из рук, вынужден повторять все снова и снова. Камю бодро заключает, что следует представлять себе Сизифа счастливым — ведь он совершает бесконечный подвиг усилия! Пока он катит камень, Сизиф может думать о вечном, а в переливах кварца — видеть звезды Вселенной, уверяет Камю. Сомневаюсь, впрочем, что умирающие видели звезды Вселенной в кирпичах, которые переносили с одного места на другое.

Труд и холод убивали их быстро, они не успевали присмотреться.

Имел ли Хайдеггер в виду буквально опыт концлагерей, мне неизвестно. Ханна Арендт сделала все, чтобы оправдать бывшего возлюбленного. Много после войны, когда я уже жил у американцев, она приезжала в гости к Мартину; кажется, они даже научились ладить с его женой. Ханна написала много книг, бичующих тоталитаризм, и сделала много для того, чтобы сравнить нацизм с большевизмом, особенно на стадии концентрационных лагерей.

Нахожу, что в своем — таком извинительном! — рвении спасти

честь своего возлюбленного и уравнивать нацизм с коммунизмом, Ханна пошла на некоторые неточности. Например, Ханна совершенно исключила из анализа тоталитаризма феномен войны — этот пропуск делает ее работу наивной. Впрочем, тут же оговорюсь — разве Шпенглер не выбросил из анализа культур — христианство? Для удобства схемы надо всего лишь исключить самое важное, дальше дело пойдет легче. Мы воевали всегда; вне войны нет истории народа, а партия — это военный штаб для Адольфа и для Сталина. О чем же говорить, если не о войне. Но и это не все — милейшая Ханна так

старалась, что искажала факты не хуже Геббельса. Я слишком горжусь тем усилием, которое сделал однажды, чтобы стесняться унижительных подробностей. Полагаю, моя позиция тем тверже, чем она честнее и документально строже. Нет, большевистский лагерь не был похож на лагерь нацистский — это две несхожие конструкции.

Да, в сталинских лагерях сидели и перевоспитывались (или расстреливались) враги народа, а в гитлеровских лагерях умерщвляли тоже врагов народа — но метод определения врага народа был иным, разным. Для большевиков врагом был так называемый эксплуататор и

контрреволюционер, саботажник и вредитель — для Адольфа врагами прежде всего являлись расово неполноценные. Коммунисты — тоже враги, но потому лишь, что коммунисты настаивают на равенстве людского племени, а эта доктрина губительна для цивилизации. Этого мы принять не могли.

Принципиальная разница в политике умерщвления врагов выражалась в том, что кулак или белогвардеец теоретически мог быть перевоспитан; но перевоспитать еврея невозможно.

Соответственно, организация лагерной системы была совершенно

иной. И, когда некоторые деятели сегодня, в безудержном благородстве своем, в желании обнять зло единым взглядом, сравнивают и объединяют оба метода — я как честный хронист обязан возразить. Мы знали, что делаем, мы отдавали себе отчет в поступках — и зачем же *postfactum* принимать подачки от истории, уравнивая базарное классовое чутье с железной логикой расового истребления.

Лагереи двадцатый век породил великое множество: помимо так называемого ГУЛАГа, были американские и японские лагеря, лагеря Лаоса, Вьетнама и Северной Кореи (в последних теория

«перевоспитания» использовалась с большим задором), были лагеря Салазара и Пиночета, венгры знают про лагерь в городе Речк, а сербы помнят Голи-Оток; существовали лагеря военнопленных во время Первой мировой войны — и в изобилии. Лагерная система, охватывающая всю страну, возникла в революционной России с размахом, дотоле невиданным, — она была направлена на искоренение враждебных классов, и практически одновременно в германском рейхе возникла сеть концентрационных лагерей, предназначенных для убийства людей низшей расы. И не надо в этом пункте колебаться —

прочь застенчивость. Да, мы их не перевоспитывали, не отсекали от общества, не подвергали унижениям – мы их убивали как скот.

Я знаком с попыткой историка Эрнста Нольте объяснить ликвидацию по национальному признаку – реакцией на террор по классовому признаку; соблазнительно считать ликвидацию евреев – паритетным ответом на ликвидацию помещиков и кулаков. Так сказать, вызов истории – и тут же ответ, если использовать терминологию еще одного историка, Арнольда Тойнби. Это соблазнительная уловка, но я вынужден отвергнуть и эту уловку.

Да, в сталинских лагерях многие гибли от невыносимых условий и многих расстреляли по ложным обвинениям; но там не уничтожали всех мужчин, всех женщин и всех детей как представителей одной нации, обреченной на тотальное истребление. Этого не было никогда и нигде. Это не равновеликий, не симметричный ответ. Мы убивали всех и перекрыли все показатели сталинских репрессий. Я не стесняюсь этой арифметики. И знаете, что впоследствии сделало сталинский режим уязвимым? Я расскажу об этом подробнее, сейчас лишь ограничусь словом: полумеры. В тридцать седьмом арестовали

почти миллион человек — но в тот же год и вышли из лагерей 364 тысячи. Это как понять? Их перевоспитали? Или из них готовили ту самую пятую колонну, которая потом развалила несчастный Советский Союз, колосса на глиняных ногах? Сталин не сумел наладить репрессивную машину — ему приходилось постоянно оправдываться за необходимое насилие, врать, выдумывать каких-то несуществующих шпионов. И как результат, через тридцать лет он получил государство лицемеров. Да, на строительстве Беломорканала гибли заключенные — из 170 заключенных на строительстве

канала погибли 25 тысяч человек. Извините, не понимаю. То есть за полтора года 15 %? А потом 145 тысяч выйдут на свободу и будут кривить рот при виде портрета усатого вождя. Этот реверанс вы, Иосиф Виссарионович, сделали кому? Фейхтвангеру? Брехту? Роллану? Полю Робсону? И вы надеетесь на успех режима?

Гитлер ясно сказал, без кокетства: уничтожить всех. И логика создания рейха нас к этой черте подвела.

Германская государственность может существовать лишь как прусская государственность, во всяком случае до сих пор было

именно так, – именно эту прусскую идею Адольф и подхватил. Я позволю себе внести ясность в понимание роли Пруссии – здесь не должно быть ошибки. Возвышение Пруссии и объединение романтических княжеств под властью железного Канцлера было связано с антинаполеоновским, то есть антиреволюционным движением. Дух германской государственности – это дух антиреволюционный по определению. Состояться немецкое государство может только через подавление европейской революции – иначе это будет какое-то иное государство.

Ах, бедные мои романтики, любители безопасных революций, салонного авангарда, дармовых коктейлей и уикендов на чужих виллах! Вы, которые трепещете ноздрями при словосочетании «пакт Молотова – Риббентропа»! Поверьте старому человеку: Польшу захватили совместными усилиями ровно на том же основании, на каком в 1831 году объединялась Пруссия с Россией для подавления польских мятежей. Это логика империи, это логика большой войны, это логика централизованного управления – и Польша была обречена.

Евреи и марксисты являлись родовыми врагами Прусской

государственности, и они должны были уйти с дороги. Столь же неумолимой, как расправа с природным врагом в животном царстве, была расправа с недочеловеками, носителями идеи равенства и революции.

Идея прусского юнкерства и прусской империи – война. Войну мы всегда противопоставляем революции, империю противопоставляем республике. Это два несхожих метода управления человечеством, им никогда не примириться. Имперская мысль – это и есть воля к власти, описанная Ницше. Ницше ценен тем, что отверг Христа и Сократа, людей

слабохарактерных; мы
философствуем молотом.

— Знаешь ли Йорг, — сказал я
сыну Елены на той памятной
прогулке, — что именно погубит
империю, что погубит идею
гибеллинов? Ваша
аристократическая гордыня. Вы не
способны иметь национальную
идею. Немецкий патриотизм
обусловлен привязанностью к той
династии, именем которой они себя
называют, — это в свое время
беспокоило Бисмарка. Династии
Брауншвейгская, Брабантская,
Виттельсбахская теснят
представление о едином долге перед
миром. Даже Баварию вам не удастся

вообразить единой: аугсбургский шваб и майнский франк будут соперничать за право воплощать баварский дух. Что есть Европа, сын мой? Набор амбиций дряхлеющих баронов — или торжество единой воли? Выбери сам. Под началом у Вальтера Моделя имеются саксонцы, вестфальцы, фризцы, баварцы, померанцы, рейнцы — но разве не прусский дух объединяет этих солдат? Разве не прусский дух выразил Адольф? Чего же вы добьетесь, лишив Германию единого животворящего начала? Вы хотите романтической империи — но такой не бывает. Вы боитесь революции, хотите истребить революцию, но

стесняетесь жертв? Если не вырезать опухоль, она вырастет снова. Не совершите ошибки!

В тот день Йорг не стал мне отвечать. За сына ответила мать: сегодняшняя поездка была ревизией прусского духа.

Сумасшедшую женщину увели в барак. Широкозадый охранник Сиповский толкал сумасшедшую в спину, и она, прижимая ребенка, поплелась в барак для женщин с детьми — там имелись стены. В сумраке мы ее быстро потеряли из виду.

— Скорее в машину, — сказал Мэкер, — я окоченел. Уверен, что генерал Модель пригласит всех на

обед. Он грозился угостить нас охотничьими трофеями. Хайль Гитлер, – это коменданту.

– Хайль!

Елена, оттолкнув графиню фон Мольтке (та удерживала ее), приблизилась к коменданту.

– Майор Клачес, – сказала Елена, – мне надо сказать вам важную вещь. – Елена вздрагивала, но речь ее была ясной. – Хочу, чтобы вы знали. Вы думаете, эти люди умрут, а вы нет? Я вас убью. Если я не смогу это сделать, это сделает мой сын. Вы умрете!

Майор Клачес подал рапорт; в отличие от докладной записки Хельмута фон Мольтке, его рапорту дали ход; инспекция Красного Креста была отозвана; обед, который нам посулил Вальтер Модель, не состоялся. Мы вернулись в Берлин в санитарном эшелоне, полном раненых немецких солдат.

Графиня фон Мольтке была слишком горда, чтобы волноваться; Елена была слишком возбуждена, чтобы думать о последствиях; если бы не мое присутствие, последствия могли быть фатальными.

В дороге – а дорога длилась пять

дней: на сей раз мы ехали через Варшаву, и нам пришлось стоять почти сутки — мы разговаривали мало. Дамы не приглашали присоединиться к их беседе. Впрочем, я не стремился. Я понимал, что говорить мне следует не с ними. В дороге Фрея принимала участие в перевязках — оказалось, она знакома с профессией сестры первой помощи.

В Берлин прибыли 9 марта, отчетливо помню мокрый от дождя перрон. Снег уже сошел.

Я сказал Ройтману:

– Извольте, скажу, что войну начал Сталин; скажу, что Гитлер – сталинский ученик; скажу, что рабочие-интернационалисты и нацисты хотели одного и того же, а именно власти. Извольте, я профессионал. Вам нужна пропаганда... Думаете, что победите... Ну-ну. Действуйте, Ройтман. Вообразите, что будет после победы... Надеетесь приблизиться к трону? Вам дадут черную работу, Ройтман... Много я видел на своем веку еврейских комиссаров, ни один не кончил

хорошо. Вот, вы уже громите русские храмы, как Каганович... Готовы ли строить лагеря для бессловесных русских, которых Бисмарк называл «крещеными медведями»? Вам надо будет это делать.

Ройтман ответил так:

– Верю ли в новую империю? Ни единой минуты. Думаю ли, что приблизят к трону? Сомневаюсь. Быть евреем – плохо при любом сценарии.

– Тогда зачем? Зачем, Ройтман?

– Затем, что надо бороться с ложью. Начинаем запись. Буду говорить как актер, простите актерские интонации. Итак, начали. Ведущий программы «История и

современность» политолог Борис Ройтман снова в эфире. Программа выходит в скорбные часы. Брошен в тюрьму либеральный предприниматель Панчиков. Композитор и мыслитель Аркадий Аладьев арестован. Под следствием находится гражданка Франции, правозащитница мадам Бенуа. Убит, – Ройтман сделал эффектную паузу, – убит Мухаммед Курбаев. Полагаю, настала пора сказать, что происходит.

– Мухаммед Курбаев? – раньше я не слышал этой фамилии.

– Свершилось кровавое преступление режима. Убит идеолог либерализма, лидер национально-

освободительного движения.
Светлый ум.

Ройтман пошелкал клавишами, дал музыкальную заставку: полились звуки Малера. Ройтман поглядел на меня смущенно – мол, законы жанра. Потом продолжал:

– Назову это памятным каждому словом: сталинизм. Мы думали, что сталинизм ушел в прошлое. Культ личности разоблачили. Но сталинизм вернулся. Я настаиваю на этом диагнозе. Скажу более: именно потому, что мы не понимали природу сталинизма, эпидемия смогла вернуться. Сегодня покажу, как давно готовились сегодняшние события. У меня в гостях уникальный человек –

тот самый, что привел к власти Адольфа Гитлера и присутствовал при его секретных переговорах с Москвой. Все тайное рано или поздно становится явным, прошлое оживает в настоящем — поприветствуем, в гостях Эрнст Ханфштангель!

Ройтман пощелкал пультом, раздались звуки аплодисментов. Ройтман продолжал:

— Эрнст, спасибо, что согласились дать интервью. Вы долго молчали, теперь решили говорить. Вы, несомненно, сочувствуете новой российской демократии — идеям Феликса Гачева, Николая Пиганова, Дмитрия Бимбома. В вашей среде

популярны эти имена?

— Да, — сказал я и поглядел в окно на ямайских негров, — очень популярны.

— Начнем ab ovo. Нашим слушателем важно понять, как внедрялся в их сознание тоталитаризм. Варварский раздел Польши, пакт Молотва — Риббентропа. Генерал Гудериан и советский комбриг Кривошеин, как выясняется, принимали совместный советско-нацистский парад в Бресте — после того как в польский город Брест-Литовск вошли советские войска. Всего за год до героической обороны Брестской крепости советские танки сами эту крепость

захватили! Прокомментируйте эпизод.

— Россия передала город Украине в девятнадцатом году, — сказал я устало, — а затем Украина передала Брест Польше — в обмен на польскую военную помощь в борьбе с Советской Россией.

— Не будем! — сказал Ройтман. — Не будем пересматривать итоги международных соглашений! А германско-советский договор о разделе Польши иначе заставляет смотреть на войну. Парад большевиков вместе с нацистами! Расскажите подробности.

— Брест занял Гудериан с 19-м механизированным корпусом, а

затем Гудериан вывел войска, когда через неделю пришел комбриг Кривошеин. Выход германского корпуса из города ошибочно принимают за парад. По соглашению от 23 августа к России отошла та часть Польши, которая прежде была русской.

— Благодарю, что позволили узнать больше о преступном сговоре. Германская и российская тоталитарные машины договорились о подавлении польской свободы! Поистине, только Сталин мог додуматься до такого цинизма. Расскажите, как реагировал Гитлер на предложение о разделе Польши.

— Адольф отнесся уважительно к

дипломатической традиции. Договор о совместном российско-прусском подавлении Польши называется «конвенция Альвенслебена», и составлена данная конвенция сто пятьдесят лет назад, в 1863 году, в Петербурге, совместными усилиями князя Горчакова и Густава фон Альвенслебена.

— Альвенслебена? — перспросил Ройтман, теряя нить беседы.

— Понимаю ваше недоумение, — сказал я, — вы интересуетесь, тот ли это фон Альвенслебен, что командовал 4-м корпусом при Седане во время Первой Франко-прусской кампании в 1870–1871 годах? Конечно же да. Кстати, внуки

его во время Третьей Франко-прусской войны воевали в Дюнкерке. Третьей Франко-прусской я называю Вторую мировую войну, так мне удобнее. Вам будет любопытно знать, что именно внуки Альвенслебена в составе корпуса Гудериана входили в Польшу в 1939-м. Видите, друг мой, как длинна нить Ариадны.

— При чем здесь Ариадна? — спросил Ройтман. Беседа рассыпалась на глазах.

— Нить Ариадны есть метафора истории, — сказал я, — восходящая к Криту. В истории жизненное пространство, то есть Lebensraum, сознательно искривлено до состояния лабиринта. Вы ждете, что

нить выведет к Сталину? Терпение. Начнем с конвенции фон Альвенслебена. Дух конвенции состоял в том, что свободной Польши в принципе быть не должно. По мысли Бисмарка, анализирувавшего этот вопрос, свободная Польша невыгодна великой Германии в большей степени, нежели России. Военный союз Пруссии и России против независимой Польши ослабляет Францию — именно в этом смысл данного союза. Ровно этого добивался и Адольф в августе 1939-го. Неужели силы двух крупных военных государств были направлены против собственно

Сикорского — ну что вы, право! — и я продолжил, усугубляя занудство: — Разумеется, это старый добрый прусский план, который приводят в исполнение всякий век. Кстати, именем Альвенслебена был назван легендарный Бранденбургский полк, о котором вы несомненно слышали.

Ройтман глядел на старого зануду с ненавистью; я же не испытывал к еврею неприязни. Но и жалости к нему не испытывал. Ты хочешь отработать свой хлеб перед хозяевами? Изволь, старайся, но облегчать работу не собираюсь. Ты хочешь участвовать в истории? Я отвечал на исторические вопросы аккуратно; просто слушать меня

было невыносимо. Современный интеллигент жаждет обладать знаниями, готов сделать усилие, чтобы знания присвоить, но усилия не должны быть чрезмерными.

Ройтман выключил магнитофон.

— Неужели я сорвал вам путч? — спросил я. — Никогда себе не прощу. Надеюсь, танки не успели вывести на площадь?

— Историю остановить не в вашей власти, — сказал Ройтман. — Вы просто вели себя глупо.

— Зачем ссылаться на историю? Я именно историю рассказал — другой не бывает. Вы хотите обмануть историю... это иное... И напрасно, Ройтман, напрасно...

Я поглядел на майора Ричардса и понял, что историю уже обманули. Они начали операцию.

Я приехал в имение Крейсау через два дня после нашего возвращения в Берлин; Хельмут Джеймс фон Мольтке принял меня.

Я бы предпочел говорить с ним в Берлине. В кабинете в здании абвера, где он исполнял скромные обязанности юриста по международному праву — или в любом кафе — разговор сложился бы иначе.

Но Мольтке захотел принять меня в родовом имении, и я поднялся по ступеням, прошел в высокие двери, и камердинер сказал, что граф спустится, а я могу обождать его в

гостиной.

Хельмуту фон Мольтке было 34 года, он был высок, худ, с крупной головой, прямым носом и высоким лбом. Он всегда одевался строго, как подобает юристу, всегда был при галстукe.

– Рад вас видеть, Эрнст, – сказал он, – надеюсь, с Еленой все в порядке.

– К сожалению, – ответил я, – в порядке далеко не все. Именно об этом я и хочу с вами говорить, граф.

– Слушаю вас. Если могу помочь... – Как ненави́дел я в ту минуту это дежурное высокомерие аристократа!

Он указал мне на кресло, но я

остался стоять.

— Помочь вы можете себе, — сказал я, — помочь, вероятно, вы можете Елене и ее сыну, если не поведете их за собой. И помощь нужна срочная.

— Прошу вас не говорить со мной в таком тоне, — сказал фон Мольтке.

— Хочу передать вам ваше собственное письмо, — сказал я. — Вы несомненно узнаете свой почерк. Письмо вы послали в Англию через Швецию, но оно оказалось у меня. Пока я не передал его другим людям, но должен это сделать.

Он взял у меня конверт, опознал его. Письмо читать не стал, наверняка помнил, что написал.

Адресату в Лондоне он писал так: «Ты знаешь, что я с первого дня боролся против нацистов, но степень угрозы и самопожертвования, которая требуется от нас сегодня и которая потребуется завтра, предполагает большее, чем наличие добрых нравственных принципов, поскольку мы знаем, что успех нашей борьбы будет означать тотальный национальный крах, а не национальное единство».

Мольтке не стал этот текст перечитывать.

Он не порвал конверт, не сжег письмо, не спрятал. Если бы он скомкал письмо и бросил на пол, это было бы естественным жестом —

поднял бы лакей и выкинул в мусорную корзину. Но граф протянул мне письмо обратно со словами:

— Благодарю, содержание мне хорошо известно.

Он протянул мне письмо равнодушным жестом, точно отдавал распоряжение лакею.

— И что вы посоветуете мне делать с этим письмом?

— Право, не могу вам советовать. Поступите, как считаете нужным. Я бы, разумеется, передал письмо адресату. Когда беру на себя миссию почтальона, поступаю именно так.

Он точно хлестнул меня перчаткой по лицу.

— О, вы, граф, не задумываясь,

отправите почтальона в тюрьму и на эшафот. В письме вы всего-навсего говорите, что боретесь за крах Германии. Вы, аристократы, выше заботы о безопасности, об этом беспокоится ваш лакей, не так ли? Вы же не сомневаетесь, что я доставлю письмо, не выдам вас, стану соучастником?

— На вашем месте я бы именно так и поступил.

— Скажите, — спросил я, теряя самообладание, — вы не видите в ваших действиях досадного противоречия? Ждете от меня, нациста, проявлений порядочности, не так ли? Вам кажется естественным — требовать

порядочности. Но когда вы
втягиваете Елену и Йорга в авантюру
— где ваша собственная
порядочность? То, что для вас,
аристократов-генералов, обычная
игра в заговор — для них вопрос
жизни и свободы! Вам — дробить
империю на княжества, вам —
выбирать нового монарха, а вассалов
вы пустите впереди своей славной
конницы!

— Видите ли, — сказал граф фон
Мольтке, — я прихожусь внучатым
племянникам фельдмаршалу, но сам
человек не военный. С генералами
знаком плохо. О заговоре генералов
мне ничего не известно.

— Прекратите, — сказал я, —

времени нет. Времени нет на бытие. — Хорошо, что Хайдеггер не слышал моей реплики. — Вы стоите на пороге, граф фон Мольтке, а за дверью — пропасть. Ваш силезский кружок заговорщиков объединится с кружком фон Вицлебена и фон Трескова — вы собираетесь вернуть монархию. Знаю, знаю! У вас все продумано, фронт вас поддержит! Но победы не будет! Если убьете Адольфа, развалится рейх и придет сталинизм, азиатчина; а если вас схватят — вы унесете с собой на тот свет много невинных.

— Вы в плену заблуждений. Мы отнюдь не собираемся никого убивать, — сказал фон Мольтке. — Я

противник агрессии, мы даже Адольфа Гитлера не собираемся убивать. Хотя он из немногих людей, заслуживших насильственную смерть.

Граф говорил надменно, скрестив на груди руки. Он каждым словом показывал, что в своем родовом поместье говорит то, что хочет, и сдерживать себя не собирается. Ему было безразлично — донесу я на него или нет. Это было самым оскорбительным.

— Вы сталинист?

— Мне глубоко несимпатичен Иосиф Сталин.

— Вы большевик?

— Ни в коем случае.

– Вы не замышляете переворот?

– Полная ерунда.

– И никакого заговора нет?

– Конечно нет. Я открыто

написал все Кейтелю.

– Для чего вы написали доклад Кейтелю? Вы знали, что это не будет иметь результата.

– Результатом является моя чистая совесть. Я не могу принять методы этой войны. Однако заговора нет.

Я говорил с человеком, который не интересовался моей реакцией, – он не старался предстать невинным, он говорил ровно то, что думал, и это было гораздо опаснее, нежели ложь. Я сказал ему так:

– Вы не один, граф фон Мольтке. Вокруг вас и за вами десятки заговорщиков. Вы не можете о них не знать. Мне безразлично, что будет с вашими друзьями-генералами. Предупреждаю: я не дам втянуть Елену в авантюру. Я вас разоблачу!

– Как будет угодно, – сказал Мольтке. – Но уверяю вас: мне неизвестно о монархическом заговоре генералов. Я далек от подобных идей. И цели военных генералов мне несимпатичны.

– А как же честь аристократа? Я уверен, что вы и ваши знакомые переживаете. Разве ваше достоинство графа не ущемляется соседством с колбасниками и

булочниками?

— У вас неверное представление о чести дворянина, господин Ханфштангль, — ответил Мольтке. — Особенность чести дворянина в том, что она точь-в-точь такая же, как честь булочника или колбасника. И если вам кто-то сказал, что эта честь в чем-то более честная, этот человек ошибся. Дворянин по праву рождения отвечает за страну, власть и народ, но и булочник отвечает точно так же. Я не знаю и не хочу знать о тех заговорщиках, которых вы называете гибеллинами. Вы можете мне не верить, но я с ними не связан. Возможно, кто-то из баронов хочет вернуть монархию — мне это

представляется дикой мыслью.

— Разве ваш кружок не занимается программой будущего Германии?

— Да, мы пишем программу. Но будущее — не монархия. И не генералов мы приглашаем писать сценарий.

— Какое будущее Германии видите вы? Если не монархию — то что же? Вы верите в национал-социализм?

— Я не знаю ничего более гнусного, чем нацизм, — ответил Хельмут фон Мольтке. Он не посчитал нужным выбрать более мягкое выражение. — Все свои силы я отдам его поражению. Но я против

убийства Гитлера. Это превратит негодя — в мученика. От души надеюсь, что поражение Германии в войне приведет к власти нового лидера. Крах военной Германии буду приветствовать. Но монархию я приветствовать не намерен.

— Демократия? — Я вложил всю язвительность в свой вопрос. — Вы, как вижу, сторонник демократии? А то, что демократия всегда приведет к власти Гитлера или Сталина, вас не смутит?

— Полагаю, так будет не всегда.

— Нет! — крикнул я. — Не обольщайтесь, фон Мольтке, родовитый граф из семейства фельдмаршалов! Потомок

фельдмаршала, проживающий в имении на территории покоренной Польши! Так будет всегда! Гибеллины будут рвать власть из рук гвельфов, императоры будут душить коммунистических главарей, а сталинисты станут подкладывать бомбы под банкиров. Не будет иной истории! История — это вопрос власти!

— Вы заблуждаетесь, — сказал фон Мольтке очень спокойно. — Это крайне плоская картина истории.

— Однако до сих пор иной не нарисовали.

— Я христианин, — ответил фон Мольтке, — и будущее Германии я вижу в христианстве. Я говорю так

несмотря на то, что христианской Германия никогда не была в полной мере. Сейчас заканчивается эпоха, которая началась еще при Лютере, я отсчитываю время Гитлера со времен Реформации. Эпоха Реформации закономерно закончилась капитализмом и нацизмом — это позор и гибель для моей страны. Тому, что вы называете историей власти, — придет конец.

— Считаете, что эра капитализма и нацизма пройдет?

— Безусловно. — Граф выдержал паузу и сказал еще раз: — Безусловно.

— Вы желаете видеть германское христианское государство? — спросил я. Этому человеку надо было все

объяснять с азов, объяснять Ницше и историю Германии. — Полагаете, возможно такое? Такое благостное государство, вероятно, возникнет на развалинах рейха, как возникла республика Иисуса Христа — на развалинах медичийской Флоренции? Себе вы готовите роль монаха Савонаролы?

— Нет, — ответил фон Мольтке, — себе я отвожу более скромную роль. Я по образованию юрист и законник. Я не проповедник. Буду писать социальные законы и следить за их исполнением. Буду настаивать на том, чтобы бедных не притесняли богатые, чтобы ни один человек не был унижен на основании своих

убеждений, своей нации, своего достатка. Буду заниматься пособиями для нищих, больницами для рабочих, школами для сирот. Я буду следить, чтобы не появилось монопольных прав в производстве и сбыте. Буду бороться с централизацией. Я считаю, что субсидиарная демократия есть наиболее разумная форма общественного устройства.

— Иными словами, вы — социалист?

— Правильно, — сказал фон Мольтке. — Я христианский социалист.

— По-вашему, это сочетается? Христианство — и социализм?

— Полагаю, что это

единственный разумный выход, — ответил граф.

— И вы верите, что Германия, страна кайзеров и баронов, может стать христианской и социалистической?

— Было бы странно верить во что-то иное. Уж если верить — то обязательно в хорошее.

— Скажите, — спросил я, — вам не кажется это диким сочетанием: аристократ-социалист-христианин? Вы сами не видите здесь противоречия?

— Это естественное сочетание, — ответил граф, — насилие и капитализм мне представляются крайним плебейством.

– Вы знаете, граф, – сказал я, – что данного разговора достаточно для того, чтобы вас повесили? Вы отдаете себе в этом отчет?

– Я полагаю, – сказал граф фон Мольтке, – что неоценимым преимуществом является возможность умереть за то, что действительно считаешь стоящим делом.

Ровно эти слова он потом написал своей жене Фрае, графине фон Мольтке, из тюрьмы Плотцензее за несколько часов до казни.

– Вы не боитесь меня? – спросил я его.

Хельмут фон Мольтке ответил:

– Не боюсь ли я того, что вы

донесете в гестапо? Нет, предательства не боюсь. Боюсь другого.

— Чего именно? — Я ждал, что он скажет про жену и детей.

— Боюсь не исполнить свой долг.

Я спустился по лестнице, камердинер подал пальто, я сел в машину. Письмо я передал по адресу через шведского дипломата.

Через две недели началось наступление русских в районе Ржевского выступа, и в течение четырех месяцев продолжалась битва, в которой погибли полтора миллиона человек. Затем Вальтер Модель отвел 9-ю армию — ему удалось отступить, сохранив

порядок. А спустя еще два месяца генерала Моделя перевели на участок фронта под Курском. Считалось, что исход кампании решится именно там.

— Надеюсь, я вас не очень подвел, — сказал я майору Ричардсу. — Поступил приказ лишить меня порции овсянки? Было бы досадно, майор. Я уверен, что ваши планы не пострадали.

— Я к вам привык, — любезно сказал Ричардс. Отечное британское лицо изобразило улыбку. — Мы не особенно ждали помощи. Нет, наши планы не менялись. Важно было занять московскую интеллигенцию.

— Спектакль был очевиден: англосаксонский империализм караулит германский фашизм, а в дверях топчется русский либерализм.

Слишком марионеточно. Понял, что главное происходит за сценой.

– Right, – сказал майор Ричардс.

Англичане всегда говорят «правильно», чтобы подвести итог разговору. Это не немецкое richtig. – Мы действительно провели ряд отвлекающих маневров.

– У вас покраснели уши, майор. Не волнуйтесь, вы вели себя безупречно, ничем себя не выдали. Я был готов к пьесе абсурда. В театре Запада актеры поменялись ролями давно, еще на войне. Романтики сыграли роль мясников, рабам досталась роль освободителей, банкиры выглядели гуманистами, коллаборационисты предстали

патриотами. С тех пор роли перепутаны.

— Верно, — сказал майор Ричардс, — но роль Британии не изменилась.

— Дорогой майор, вы обольщаетесь! Все поменялось... Теперь национальное освобождение есть первый шаг к государственной зависимости... Авангард теперь не социалистический, а капиталистический: вместо утопий равенства — декорации неравенства. Хотели интернационал трудящихся без государства — построили интернационал рантье без труда. А вы говорите...

— А Британия, — сказал упрямый

майор, — осталась без изменений. Уверяю вас.

— Сегодня, — сказал я майору, — мне понятно, что именно произошло. В частности, понял и вашу пьесу. Хотите, расскажу, кто убийца?

— Буду признателен.

— Начну издалека. Прежде все тщились объяснить четырнадцатый год. Вот и я, подобно Шпенглеру, Сталину, МакКиндеру, Черчиллю, нашел универсальную отмычку истории. Помню, мы гуляли с Адольфом по Мюнхену и говорили об искусстве авангарда. Говорили о художниках, а я думал о Тридцатилетней войне. Знаете, как это бывает... говоришь об одном,

думаешь о другом...

— Нет, мне это незнакомо.

— Понимаю, у вас в разведке люди последовательные. Со мной так бывает часто. Так вот, мы говорили об искусстве авангарда, и я подумал о Тридцатилетней войне.

— Прямой связи я не вижу.

— Авангард объявил существующий порядок вещей фальшивым, это была ревизия христианской этики. Вы согласны? Авангард показал несостоятельность христианского порядка — показал, что ценности искусственны. И началась варварская мировая война, неожиданная для цивилизованной христианской Европы.

Девятнадцатый век прогресса
кончился мировой резней. Господа
во фраках стали друг друга убивать.

— Допустим.

— Мне это напомнило хаос,
царивший до Вестфальского мира.
Триста лет, задолго до современной
Тридцатилетней войны, — было такое
же брожение.

— Вы правы, можно сравнить.

— Вы уловили связь. Хаос, как на
полотнах авангардистов. Союзы
былых врагов и ссоры друзей. Что
для нас интересно в Тридцатилетней
войне?

— Да, — спросил вместе со мной
майор, — что интересно?

— Интересно то, что планы

национальных государств
обслуживались религиозной
пропагандой. Совсем как в
двадцатом веке, когда роль религии
стал играть коммунизм. Интересно
то, что союз против габсбургской
империи оказался возможен
благодаря защите новой веры —
протестантизма. Протестантизм
сделал так, что кальвинист понял
лютеранина — Реформация сделала
проницаемыми перегородки между
культурами: отныне германский
крестьянин мог сражаться за
интересы адмирала Колиньи, хотя
раньше он делал все, чтобы убежать
даже от налогов своего
непосредственного господина. Что

ему французский адмирал? Но ради религии, которую они считали выразителем своей свободы, люди шли на жертвы, на какие никогда бы не пошли по приказу государства. Германские княжества никогда бы не набрали такое войско, если бы надежда на особую духовную свободу не связала разных по характеру людей. Это ведь был мираж, что-то вроде обещанного Марксом коммунизма — но за фантом шли умирать. Не за князей умирали: что, они своих князей не знали, что ли? Граждане Европы отдавали жизнь вовсе не за глупых князей, но за собственную свободу — так гражданам, во всяком случае,

казалось. Вы согласны?

— Я не так хорошо помню то время, — заметил майор.

— Ради государства не поступились бы ничем, ради религии отдавали все свои земные надежды.

— Всегда так было, — сказал майор, — солдатам всегда что-нибудь обещают. А потом и медали не дадут. Я, например, не рассчитываю.

— Нет, так было не всегда. Это был пример интернационального братства, которое использовали в войне, — но интернационал предали ради интересов национальных государств. Любопытно, не правда ли?

— Как это — предали?

– О, предавали друг друга все, постоянно. Меняли союзников каждые три года. А завершилось большим обманом. Тридцатилетняя война показала тоску Европы по единой семье, по единой нравственной системе ценностей – но итогом стал Вестфальский мир, ущемивший германские княжества. Тем самым германским ремесленникам, которые пошли умирать за Реформацию, предложили отдать Эльзас и Лотарингию Франции – своему бывшему союзнику. Они-то думали, что сражаются за свое будущее, – а что вышло? Странно, да?

– Типично, – сказал майор.

— Франция желала ослабить Австрийский дом, Швеция с Данией бились за балтийскую торговлю. Только германским ремесленникам померещилось, что они воюют за религиозные взгляды.

— Теперь я вижу, что вы хотите сравнить эту войну с войной коммунистов и фашистов. А зачем?

— Майор, я о другом. Тридцатилетняя война была битвой империи и национальных государств. Религию в той войне использовали, но потом про нее забыли, религия исчезла из мира как фактор политики. И меня заинтересовало: где снова отыскать подобный инструмент. Мы гуляли с Адольфом,

говорили про русских художников...
про авангард... социализм...

– И что же? – спросил майор.

– Сначала я подумал так:
авангард есть лингва франка
современного мира – надо
использовать этот язык... мы шли
вдоль набережной, и я думал упорно.
Понимаете? Авангард – язык
демократии, как иконопись – язык
христианства... Вы следите за моей
мыслью?

– Стараюсь, – сказал майор.

– Представьте, что перед нами
холст Кандинского.

– Да, кляксы и черточки.

– Выглядит как бессмысленный
беспорядок.

– Именно.

– Однако многие считают, что этот хаос отражает неизвестные порядки и связи.

– Вряд ли, – сказал майор.

– Но какую-то часть космического порядка он воплощает; а Малевич – геометрический и казарменный – воплощает другой фрагмент космической гармонии. А Маринетти, который кружится, как метель – говорит о третьем компоненте.

– Этак вы всех переберете. Англичан не забудьте вставить.

– Я объяснял Адольфу, что обилие художественных направлений, разрушивших единую

Болонскую школу, надо воспринимать как обилие варварских диалектов по отношению к латыни. Когда распадается большая Римская империя, на ее месте возникает много племен, которые как бы припоминают былую речь Рима. Наречия лангобардов, бургундцев, франков, алеманов — носят в себе следы латыни. Диалекты стремятся к универсальному языку, к большому словарю. Так и современные художественные стили вспоминают об античной гармонии. Все вместе: экспрессионисты, футуристы, дадаисты, сюрреалисты — все они тщатся образовать единую гармонию заново. Это осколки разбитого

европейского зеркала. Понимаете?

— Нет, — сказал честный майор, — не понимаю. Война есть борьба за власть, а не за гармонию. Откровенно говоря, безразлично, на каком языке говорят в Молдавии.

— Но война — это и есть гармония, майор! Раздробленная однажды на фрагменты уособиц, гармония вселенской войны пытается собрать себя заново. Помните, как сломался Шалтай-Болтай? Вся королевская конница пыталась его собрать. Об этом, в сущности, Гегель написал тома. Хаос Тридцатилетней европейской войны — суть не что иное, как стремление собрать диалекты в единую латынь.

Простая мысль, не правда ли?

— Вы говорите о мировом правительстве? Популярная идея.

— О нет, я говорю не о правительстве. Я говорю о материале, из которого приходится строить империи. Авангард — язык демократии. Демократия есть новая религия. Следует новую религию и ее иконографию использовать. Надо встать на плечи социализма, сделать из него имперское движение. Это был мой рабочий план, простой. Некоторое время я играл с этой мыслью — мы рисовали авангардные свастики на красном фоне... Затем пришло в голову и другое: использование религиозного фактора

в борьбе за империю существовало и раньше, задолго до Тридцатилетней войны. Я увидел, что существует европейский алгоритм истории – и назвал этот *perpetum mobile* борьбой гвельфов и гибеллинов. Понимаете?

– Поясните, пожалуйста.

– Я подумал, что коммунистический интернационал надо рассматривать как вариант движения гвельфов – ремесленников, пополанов, отвергающих власть императора. И противопоставить этому следует идею гибеллинов. Возрождая империю – отвергаешь новый папизм. Адольф увлекся моей концепцией.

– Путаница получилась, – сказал

майор. — Мы, англичане, смотрим на вещи более рационально.

— Сосредоточьтесь. Я рассуждал так. Можно ли обозначить каким-то одним словом реформацию, коммунизм, треченто? Какое понятие объединяет все эти три явления?

Майор подумал тридцать секунд и сказал определенно:

— Беспорядок.

Британцы народ позитивный; всегда ответят правильно.

— Верно, беспорядок. И реформация, и коммунизм, и новая эстетика городов — это беспорядок, это революция, рушащая ветхую империю ради рабочих утопий. Но знаете ли, за счет чего всякий раз

происходит преодоление хаоса революций? Требуется превратить революцию в войну — перевести энергию революционного духа в дух военный. Так и было с революцией французской — и Наполеоном. Так было с революцией российской — и Сталиным. Так было и с Гитлером. Война — это гармония, война — это классика, война — всегда строительство империи. Тогда я не понимал всего этого, видел лишь общий контур проблемы: от революции — к войне. Да, сказал я себе, революция несет беды общему порядку. Но империя придумала, как конвертировать реформацию в созидательную войну! И тогда общая

Тридцатилетняя война построила из революционной разрухи — имперскую волю. Коммунистическая доктрина с 1848 года не дает покоя Европе. Коммуны и гражданские войны измучили буржуа, рухнули империи — Германская, Российская, Австро-Венгерская. Так неужели нельзя использовать эту разрушительную силу во благо имперскому строительству? Неужели нельзя перевести разруху в блаженную истребительную войну? Этим и надо заняться. Сделать из Малевича — свастику. Мы выстроили оппозицию: гвельфы — гибеллины, мы подверстали революционный процесс к великому европейскому

алгоритму. Теперь вы поняли?

— И как? — спросил майор. — Получилось?

— Постепенно универсальный язык новых гвельфов, то есть авангард — сменился на имперскую стилистику. Мы отказались от квадратиков и загогулин, от этой азбуки флажков — и перешли к помпезной архитектуре. Так произошло не только в России и Германии, как теперь тщатся показать, — так произошло абсолютно везде: в Англии, Риме, Мадриде и прежде всего в Америке. Новая империя обязана Гитлеру, никому иному. Гитлер видел себя создателем Новой Западной

империи, гибеллином новой истории — вступившим в конфликт с новыми гвельфами, коммунистами. Эта оппозиция виделась мне логичной.

— Кажется, я вас понял, — сказал майор Ричардс с улыбкой. — Но сегодняшний день вы мне не объяснили.

— Терпение, майор. Я еще не закончил. Признаюсь, я допустил одну важную ошибку. Не учел процессов внутри партии гвельфов: в 1923-м, когда я готовил Адольфа на трон, мы имели дело с так называемым марксизмом на русской почве, с ленинизмом, с теорией отмирания государства, с интернационалом и еврейской

риторикой. Однако пока противники собирались с силами для новой войны, наш противник изменился, и, соответственно, изменились мы сами. Вы помните раскол на белых гвельфов – и черных? Черные сами стали имперцами – и прогнали белых гвельфов. Сталин создал национальное государство вместо интернационального братства трудящихся – то есть он сам создал империю, сам сделался гибеллином, или, точнее сказать, сделался черным гвельфом: приказал верующим принять власть императора как божественную. Я должен был предвидеть этот поворот.

– А вы были не готовы?

– Произошло это внезапно, в тридцать седьмом. Одновременно с этим фашизму пришлось подхватить упавшее знамя интернационала – объединяя в себе легионы болгар, венгров, хорватов, испанцев, греков и так далее. В коммунистическом лагере произошел раскол на тех, кто верен пролетарской религии равенства, и тех, кто коммунизм понимает как имперскую власть; собственно, противостояние Сталина и Троцкого данный конфликт (белых гвельфов и гвельфов черных) и описывает. Мы злорадно наблюдали, как коммунисты сажают друг друга под замок, но в это время произошло качественное изменение папистской

идеи. Мы вышли на бой с совершенно другим противником, о чем не подозревали. В социальном отношении состав армий изменился тоже — рабочие пошли в лагерь Гитлера, козь скоро Сталин уничтожил интернационал трудящихся (сходным образом флорентийские пополаны шли в лагерь гибеллинов — а сначала они искали, куда бы от Штауфенов спрятаться), а коммунистическая номенклатура получила привилегии вельмож (так нобили, коих обнесли чашей у Гогенштауфенов, пошли к гвельфам, чтобы сделать карьеру).

— Я не так знаком с историей, но слежу за ходом рассуждения.

— Когда русская имперская армия входила в Берлин, где последние линии обороны состояли из детей и народного ополчения, где дрались женщины и старики, где шахтеры сражались с танками на отвалах шахт, пока их товарищи продолжали работать для фронта, — тогда бился уже германский народ, это сражались пополаны Германии, вовсе не Гогенцоллерны и совсем не Оттоны. Когда на Параде Победы к ногам Сталина швыряли штандарты побежденной Германии, он принимал этот триумф как император, отнюдь не как коммунист, не как марксист-ленинец, не как гвельф. В поединке

нацизма и большевизма случилось то же самое, что произошло в поединке Гамлета с Лаэртом: противники поменялись рапирами. В 1923 году в руках у Гитлера было совершенное национальное оружие – разящее насмерть. Что мог противопоставить ему интернационал? Но в бою противники обменялись оружием. Та рапира, что была с заточенным лезвием и смочена ядом, перешла в руки противника – опасная рапира оказалась в результате обмена у Сталина, он и нанес Гитлеру решающий удар.

– Однако, – сказал майор Ричардс, – победа не досталась никому. Убиты оба. Кто, по-вашему, в

выигрыше?

— Прежде я думал, что победила империя, — сказал я. — И вы так думаете, правда, майор? Вы даже считаете, что победа досталась вам — вы ее утверждали и подтверждали еще пятьдесят лет. Сейчас вы доигрываете ту давнюю пьесу — а милые русские статисты носят декорации.

— Возможно, — рыжий Ричардс тихо улыбнулся.

— Вы виртуозно научились использовать революции. Вы научились провоцировать их — и затем переводить в войну. Вы зажгли Восток вновь, вы готовы вооружать ислам, чтобы потом получать мандат

на убийство мусульман... Вы разрушите Сирию, Ливию... И вы шагнете далеко... В Африку, до Уральских гор, и еще дальше... И вы снова вырвете у истории господство... Россия распадется на улусы... А бедолагу Ройтмана рано или поздно обвинят в каком-нибудь преступлении... Еврей сделал свое дело и может уйти... Вы так рассчитали, я уверен.

— Ну, не настолько цинично. Мы дадим каждому шанс.

— Хочу вам сказать, майор, что и вы, и я — мы оба ошиблись. Существует неучтенная сила.

И я подумал о Хельмуте фон Мольтке.

Глава десятая

Онтология

равенства

Исполнились сроки, и стала разваливаться Россия.

Россию сшивали веками, а развалилась империя в считанные годы.

То, что слепил Калита, добавляя по крохам; то, что Иван Грозный прибрал к рукам; то, что выгрыз у истории Петр; то, что взяли при Екатерине и чуть было не упустили в Первую мировую; то, что не отдали Наполеону; то, что кровью отстояли во Второй мировой, – все то, что составляло Русскую империю, – стало дробиться и ломаться на части.

Словно империю Российскую

вывернули наизнанку и обнажили швы — и швы эти оказались ветхими. И треснула империя по швам.

Экклезиаст говорит, что есть время собирать и время разбрасывать камни — и вот наступило время русским разбрасывать свои камни.

Еще точнее следует сказать так.

В отличие от западной, каменной культуры, и в отличие от восточной, культуры глиняной — культура России деревянная.

Западные империи разваливаются на камни: из обломков римских храмов строят варвары свои новые жилища; восточные царства рассыпаются в глиняную крошку — и ветер разносит

по пустыням пыль былого величия.

Россия разваливалась как дерево, кольцевыми разломами.

Словно распилили российское дерево, и кольцами стала отваливаться от ствола былая слава и сила.

Сначала отвалилась кора — российские интересы в далеких африках и латинских америках. Кому теперь придет в голову поддерживать барбудос и герильярос, на кой ляд интересоваться далеким экватором.

И следом отвалилось далекое кольцо коммунистических партий, оно и без того держалось не крепко; память об Альенде и Тольятти скрепить уже ничего не могла — ни

коммунизма, ни социализма с человеческим лицом. Забыли зануд в неделю: кто сегодня вспомнит всех этих бела кунов, имре надей и прочих – имена пиночетов и хорти куда актуальней. И правильно: натерпелись от бела кунов довольно.

Затем отвалилось внешнее кольцо распила – социалистические республики; отвалилось то кольцо, которое было культурно родственным; ушли те самые братья-недрузи славяне, с которыми выясняли отношения триста лет подряд. Славянские ручьи более не сливались в русском море – разбежалось море в стороны, истаяло. Отвалилось внешнее

кольцо, и нет больше нужды биться на Шипке и освобождать братьев-славян; нет надобности вводить танки в Прагу и подавлять польские восстания не придется тоже. Отношения с Костюшко и Пилсудским, с Дубчаком и Валенсой, Кадаром и Тито – выяснили навсегда; клеветники-то России, как оказалось, говорили правду. Отказывались от ненавистного Старшего брата с легкостью. Социалистические режимы рухнули, социалистических правителей извели стремительно, наотмашь: румына Чаушеску вместе с женой расстреляли у солдатской уборной; немец Хонеккер бежал было в

Россию, но вечно бухой преобразователь империи Ельцин выдал бывшего союзника на расправу; отдали под суд поляка Ярузельского; серб Милошевич умер в тюрьме. Как сказал, умирая, серб: «Не понимаю, то ли я предал историю, то ли история предала меня», — то же самое многие политики говорили перед Первой мировой войной.

Карта расползлась, история сломала внешнее кольцо социалистических стран вокруг России с остервенением — так ломают щит и доспехи поверженного врага, так обдирают кору с дерева. К черту! Прочь! — и люди, олицетворявшие на тот момент

историю, торопили события. Трупы лидеров пинали ногами, памятники вождям ломали, стариков коммунистов волокли в суд, и люди плевали в постылое прошлое. У многих накипело — большинству казалось, что именно так справедливо: ведь сатрапы не давали им приблизиться к идее равенства, обещанной социалистической демократией. Сатрапов убивали за то, что декларированное ими равенство оказалось мнимым. Расстрельщик Никита Хрущев раскрыл людям глаза на правду о репрессиях сталинизма; доклад на XX съезде явился прорывом к истине; с тех пор в закрытых

докладах людям раскрывали глаза постоянно. И диву давались граждане: до каких же пределов можно распахнуть бельма. Впрочем — что-то даже слепые увидели. Увидели и почувствовали, как валится Восточная Европа, обнажается сердцевина Российской империи. Обвал внешнего кольца империи был закономерен; кольцо сгнило. Британский геополитик МакКиндер и вслед за ним гитлеровский астролог Хаусхофер называли центральный пояс Евразии — «срединной землей», считали, что по нему проходит историческая сила — отныне миф развеян: пустое пространство зияло на месте

срединной земли, открылся
беззащитный пустырь Российского
ядра.

А затем у распила империи
отпало кольцо следующее —
отвалились республики бывшего
Союза; первыми отпали республики
балтийские: по освобожденным
улицам прошли парады ветеранов
войск СС. Некогда эти brave ребята
отстаивали рубежи своих стран
против красного тирана Сталина, но
ту битву они проиграли — теперь
взяли реванш, поминают минувшие
сражения. И латышским эсэсовцам
есть что вспомнить. Затем
отвалились главные сопредельные
страны, давно присвоенные Россией,

обладание которыми сделало Российскую империю грозной. Стал чужим Кавказ, отпала и Украина.

Еще канцлер Бисмарк говорил, что Россия страшна Германии лишь в союзе с Украиной — но нынче опасность устранили. А потом посыпалось: пояс вслед за поясом отпадали территории, коими некогда обрастала сердцевина России. Кольцами разваливался распил империи — вот и нет уже того самого азиатского подбрюшья, от которого Солженицын предлагал отказаться. Теперь и Азербайджан, и Казахстан уже не тяготили своим избыточным весом тощее российское тело — отвалилось подбрюшье навсегда,

прошел кольцевой разлом по
российскому стволу. И казалось бы,
полегчать стране должно:
освободились от имперского груза,
сбылись чаянья Солженицына и
Чаадаева, тяготившихся тяжкими
размерами отечества.

Однако легче не сделалось,
напротив: в трещины разломов
провалились люди — живые люди,
поодиночке и семьями, падали в
трещины между расползающимися
территориями — сотни тысяч людей,
миллионы людей.

Россия разваливалась кольцами,
и вот уже порушили связи
территорий внутри ядра самой
России, и стало понятно, что

развалится страна до Иванова царства, разлом не остановить, разлом не склеить.

И всякий город расползался по бульварным кольцам, область — по кольцевым трассам; всякий край трещал, и всякий дом отныне стоял нетвердо.

И по слову Писания «се оставляется вам дом ваш пуст» стало непрочно жить в поваленном стволе России, вековые кольца распила расползли в стороны.

Никто не мог посчитать их — беженцев из бывшего отечества. Земля шевелилась под ногами, точно во время землетрясения, люди не могли удержать равновесия. Так уже было однажды, семьдесят лет назад.

В годы, предшествовавшие вторжению рейха на территорию Союза, через границы СССР хлынули толпы поляков, евреев, чехов, румын — людей, впавших в отчаяние от потери дома. А навстречу европейским беженцам, поперек тех потоков — шли составы со спецпереселениями, под конвоем НКВД, везли людей из глубины

империи к ее окраинам и границам.

В те годы по территориям Союза народы и племена срочно перемещали с места на место — словно передвигали мебель в квартире. Менялась не только политическая карта: проведенные границы никогда не совпадают с территориями этноса, а места обитания конкретных людей никогда не вписываются ни в территории, ни в границы. Но поверх общих неизбежных изменений — имелись решения вождей; народы и племена смешали во имя единого генерального плана. Гнали сотни тысяч бесправных из домов — в леса, из лесов — в степи, из степей — в

тундру. В те годы по России, повторяя судьбу цыган, скитались толпы лишенных крова и защиты людей, которые прежде имели оседлый образ жизни. Их называли беженцами или осадниками, переселенными или депортированными, ссыльнопоселенцами, и они шли, пилигримы войны, в бесконечный поход. Высылали их перед будущей войной, опасаясь альянса именно этой нации с противником и в связи с прошедшей войной, сместившей границы.

Есть распространенная метафора – рыба, выброшенная на берег, в чуждую ей среду. Так же

точно, как умирающая на суше рыба, хватали воздух ртом миллионы выброшенных из жизни людей.

Война четырнадцатого года начала тотальное перемещение народов – Вавилонская башня в очередной раз треснула; с тех пор миллионы людей скитаются и не знают, где их дом. Было время, этой неразберихе умилялись, называя мировые города, где перемешались нации – *melting pot*, а общую культуру – *multiculti*.

Мультикульти представлялась культурой нового, совершенного типа. На языке мультикульти заговорил весь мир, и этот язык показался удобным языком для

общения. До известной степени так называемый «второй авангард» искусства — это язык общения миллионов мигрантов, «второй авангард» стал воплощением мультикульту. То был язык простых чувств, сильных страстей, то был язык отчаяния. В музеях современного искусства общались знаками и криками, один авангардист испражнялся в банки, другой кричал петухом. Авангардист раздевался донага и бился всем телом об стену — этот перформанс считался образцовым.

Первый авангард десятых годов прошлого века звал к переменам и к новому языку — «второй авангард»

конца прошлого века эти перемены уже явил. Новый язык сложился — то был интернациональный жаргон беженцев. То был буквальный лингва франка перемещенных народов. Таджики, армяне, евреи, русские, ирландцы, сербы и китайцы говорили друг с другом полуфразами, выкрикивали междометия, изображали загогулины и черточки, бились лбами о стены — то был язык кочевых народов, у которых нет времени строить храм и нет единого Бога, но зато есть система примет и система знаков.

Возникали капища — музеи современного искусства, в которые несли всякую походную дрянь, то,

что копится в дорожных мешках, обломки утраченной культуры. Люди, именовавшие себя авангардистами, а на деле являвшиеся кочевниками культуры, несли в капища дорожный сор. Железки и осколки, тряпки и обрывки сваливали в грязные кучи и поклонялись этим кучам как идолам богов дороги и судьбы. Человеческих образов в искусстве не осталось — долгие пути скитаний не сохранили ни лиц, ни черт. Но в кочевниках культуры осталась страсть к выживанию, и тысячи глоток орали на общем невнятном языке — это и была мультикульти Новейшего времени. Парадоксальным образом кочевникам хотелось культуры

оседлой — они мечтали видеть себя
вросшими в культуру той страны,
куда их привела дорога, а сильным и
богатым — нравилось слышать их
кочевые крики. Кочевникам-
авангардистам меценаты говорили:
кричи громче, дурачься еще глупее —
этот ювенильный дискурс есть
выражение мятущегося времени. Для
богатых меценатов крик кочевника
был важен: рекламировал кипящую
похлебку мира. Кричи громче,
авангардист, бегай кругами и вопи —
пусть все знают, как мы жирно варим
суп. Мы варим общий мировой суп —
варево булькает, и все ингредиенты
задействованы; крики беглых
варваров оповещают о том, что

работа идет.

Те из кочевников, кто был прикормлен или рвался к кормушке, – старались. Крик стоял громкий, супа сварили много. В этом супе можно было выловить все: обанкроченный российский завод, бомбы для Белграда, нищих старух, тощих негров, обкуренных алжирцев с парижских окраин. Суп варился в расчете на весь мир, – потому бродили из конца в конец планеты, орали громко: новое, новое идет! Сдавай старое, оно тебе не пригодится! Покупай новое!

И люди суетились: продавали штаны, дом, родину – лишь бы побулькать вместе со всеми. Так

продолжалось долго, пока старый мир не продали подчистую.

Потом люди устали скитаться и кланяться кучам мусора. Многие плясали так долго, что им уже хотелось присесть.

Настало время, и даже те, кто кочевым крикам умилялся, пресытились – увидели, как именно изменился Париж, как визглив и грязен стал Лондон, и дикое кочевье мира перестало радовать. В Лондон съехались все меценаты планеты, все ворье мира собралось в Лондоне, и подчас даже до самого рьяного любителя английских five o'clock'ов это доходило. Когда миллиардер Курбатский устраивал перформанс,

на котором Бастрыкин кричал петухом, — светские люди относились с пониманием, тем более что Курбатский вкладывал деньги в производство танков и отравляющих газов — то есть был цивилизованным человеком. И все же подспудно возникало досадное чувство. Меценаты не связывали буквально грязь на улицах — и мусор в музеях, переселение народов, бомбежки дикарей — и современное кочевое искусство; но в целом даже меценаты почувствовали некий дискомфорт. То есть бомбить Ливию разумно и правильно, и Белград надо утюжить, и авангард приветствуется — любопытно наблюдать, как голая

Марина Абрамович бьется головой о стенку; но вот грязь в парижском метро – это уже лишнее. Нельзя ли без этого?

Нет-нет, прямой связи между решением ООН, перформансом и ночлежками – конечно нет. Но вдруг поняли, что от кочевников добра не будет. Богатые ввели некоторые ограничения: сохранили кочевое авангардное искусство как этническое – разрешили кривляться бедным инородцам, но титульную нацию призвали к порядку.

Авангардист Бастрыкин так описал проблему авангардисту Гусеву:

– Что же получается? Группа

«Среднерусская возвышенность» путешествует по миру с перформансами, уважение и почет везде – а на родине признания нет? Может быть, России мировая культура безразлична.

– Дикарство, – ответил Гусев, – еще очень сильно в России. Не скоро мы пройдем трудный путь до цивилизации.

– К тому же таджики лезут, – добавил Бастрыкин, – новоявленный авангардист появился. Пусть плитку кладет в ванной, так нет, ему, видите ли, перформансы делать приспичило.

Таджики ехали в Первопрестольную вовсе не затем, чтобы внести свою лепту в

плавильный котел мировой культуры, но спасаясь от голода. Русские в безумные перестроечные годы кидались в Германию не от любви к стране, жители которой палили их деревни полвека назад, — но от отчаяния. Так и переселенные в тридцатых годах в Казахстан немцы не создавали в степях благостного эффекта *multiculti*, но просто выживали. Ни о культуре, ни о цивилизации речи не было: одних людей выгнали из домов другие люди, и чаще всего — чтобы сохранить нетронутым собственный покой. Так же точно поступают сегодня обладатели теплых и крепких домов, руководя пожаром Востока и

наблюдая, как огонь пожирает чужие дома. Многие русские уезжали со своей земли потому, что в одночасье выяснилось, что земля уже не принадлежит народу — ее недра отдали в частное пользование сотням верных и ловких.

В 1930 году корейцев из Владивостока высылали в Хабаровск, а в 1937-м корейцев послали еще дальше от Владивостока — в Астрахань; а на смену им на Дальний Восток — из Белоруссии, с Украины, из России слали раскулаченных крестьян и ссыльных. В тридцатые годы следовали тактике зачистки границ от ненадежных элементов: высылали финнов, поляков, украинцев, цыган. Про цыган сегодня почти не помнят — то были формально граждане другой страны, но в 1933-м цыган выселили из Москвы в Томск. А потом начались

высылки немцев. Немцев много выселили уже в 1935-м и 1937-м, но к началу войны – обвально много.

В 1941 году из разных концов, из разных областей, Калининской, Ивановской, Горьковской, Воронежской, а также из столиц – выслали в общей сложности 302 тысячи немцев, треть миллиона, – в Казахстан, в условия, где выжить было трудно. Произвести строительство домов силами самих переселенцев – это означало: возведение дощатых бараков. Осуществить пересылку силами НКВД – это означало: под конвоем и под прицелом. Разрешение брать с собой до 200 кг на члена семьи

оборачивалось на деле мешками и котомками, и грузили немчуру на поезда, и слали из Тульской и Краснодарской областей, из Кабардино-Балкарской и Северо-Осетинской – в Казахстан; а куда не доходили составы, туда люди шли пешком, и падали по пути от голода, и умирали. Не в Сантьяго-де-Компостела и не к Гробу Господню шли пилигримы – но ковыляли в поисках угла, где их не сразу расстреляют, не замучают детей, где дадут согреться у огня. И это только от 26 августа 1941 года распоряжение. А 28 июня отправили в Нарым – 19 тысяч человек, это непосредственная реакция была на

начало войны. А 14 июля 1941-го – из Литвы, Латвии и западных областей Украины – отправили 16 913 человек. А 14 июня (за неделю до войны) – из Латвийской, Эстонской и Мордовской ССР отправили 22 885 человек – глав семейств, а с ними 46 557 человек членов семей, да еще в придачу уголовников (как без уголовников, все же и преступления имелись) 4 159 человек. Вот такая существовала пропорция высылки, уголовниками не особенно обремененная.

А 141 тысячу лиц немецкой национальности приказом Берии от 21 сентября 1941 года арестовали – и тоже отправили в Казахстан, но

только уже не в спецпоселения, а в лагеря.

Российский вождь
инструментом строительства
империи выбрал национальный
вопрос, он размешивал дрожжи
новой евразийской нации, тасовал
племена и создавал новый народ – а
для этого перемещал сотни тысяч
туда, а сотни тысяч гнал оттуда.

То был замысел перекрыть
диффузное брожение мировой войны
и национальных самоопределений
семнадцатого года. Именно этим
занялся азиат Сталин после Первой
мировой и после Революции, работая
с национальными компартиями на
отторгнутых от России территориях.

Этим же занимался и Троцкий – но строили они разное; азиат оказался успешнее космополита: он строил особый русский интернационал, с единой нацией, по Данилевскому. Империя тогда треснула, уже бродили из края в край калики перехожие – но Сталин собрал империю вновь. В ту пору страна распадалась на много стран, хотя в те годы дробление шло не кольцевыми разломами, оттого удалось распил склеить. Тогда, в семнадцатом, создавали однодневные республики и сезонные союзы, внутри обособившихся областей возникали пестрые деления, и Сталин перемешал всю пестроту заново –

убивая самую идею национального самоопределения, но создавая единую небывалую нацию из многих.

Некогда калики доходили аж к самому Ленину в Кремль — жаловались тамбовские ходоки внимательному калмыку на произвол и голод в Тамбове; мол, мочи нет, батюшка, пришли мы правды искать в Кремль. Но тамбовских ходоков погрузили однажды на подводы и отправили в азиатские степи — и так стали поступать всегда, когда локальная правда грозила подорвать правду общую. Требовалось, чтобы не стало тамбовцев и калмыков — так тамбовский крестьянин оказывался в калмыцких степях с кайлом.

Было время в Германии, в двадцатые годы паломники добредали аж до Берлина — вливались послевоенные оборванцы в Капповский путч: податься люмпенам некуда — хоть на баррикады иди. И тогда их однажды построили в колонны и погнали на восток, рыть окопы. Не следовало позволять людям бродить безнадзорно — людское брожение должно было помогать созданию наднациональной нации; их грузили в вагоны и высылали далеко, так далеко, чтобы они забыли, кто они. Но когда началась война, про людей вспомнили — люди уже дозрели до употребления.

Число пилигримов перед самой войной достигало трех миллионов, а война добавила к ним еще три миллиона беженцев – впрочем, война тут же и разобрала большинство пилигримов по лагерям да рвам.

Бродяг всегда много перед войной, когда руки цивилизации слабеют – сквозь пальцы текут народы; а потом наступает момент, когда кулаки цивилизации сжимаются. Так было в Европе во время бесконечной Тридцатилетней войны XVII века, так же было в Европе во время длинной Тридцатилетней войны XX века. Война сперва дала беженцам разбрестись – а затем собрала бродяг

в единый костер, война сжала свою горячую горсть и соединила бездомных в тюрьмах и окопах. И так сложился тот сплавленный войной мир, в котором Запад прожил полвека.

Спустя десятилетия руки Европы разжалась снова – и вытекли из расслабленных пальцев народы. Так всегда происходит перед бедой: сперва вываливают людей в чистое поле, а потом собирают их на поле брани. Вот и сегодня – опять пошли по Европе беженцы, и потекли бесконечные толпы бездомных по России.

Отцы-пустынники и девы непорочны брели по просторам

Родины вновь. Калики перехожие, поднявши лытки, вновь топтали пустыри бывшего Отечества. Они шли и шли, куда глаза глядят — бесправные таджики и узбеки, завербовавшиеся в отряды афганского Дустума; русские мужички, попавшие в рабство к туркменским баям; грузины, бегущие от войны; абхазы из раскуроченных деревень; молдаване из Приднестровья, осетины и чеченцы из сожженных федералами сел; казаки из деревень, разграбленных горским набегом, — всех их стало много, намного больше, чем было перед прошедшей войной. Жители голодных городов с остановленными

заводами стали попрошайничать, а горожанки разрушенных сел стали проститутками; они оседали в тех местах, где находили притон; их было много. Старались не называть цифры, старались таджиков привозить на стройплощадки ночью, а от цыган город освободить. Проституток по саунам и бандитов по малинам не считали. Некогда указом бездушного Берии вычистили проституток из западных районов Белоруссии; чекисты выявили 435 падших женщин и отправили их в лагеря; сегодня число проституток превышало былые цифры тысячекратно — продавали себя в любое рабство, лишь бы взяли. Число

сирот и беспризорников обозначали по-разному: не то триста тысяч деточек, не то миллион. Чисел называть не хотели. Трещины между землями былой империи заполняли бесправными людьми и забывали — сколько именно людей вошло в дыры. Но все граждане знали — в трещины между разломами ушло много народу. Сгинувших иногда жалели, но чаще — нет. Их некому было жалеть. Теперь все ненавидели общее прошлое и мыкали горе поодиночке. Вавилонская башня просела, а Град Божий даже и строить не начали.

Прежде люди верили в интернациональное братство и равенство — но сегодня им

объяснили, что это вредная вера.

Коминтерн, однажды
расстрелянный Сталиным, уже
никогда не собрался заново — и в
отсутствие этой скрепы держать
Российскую империю стало нечем.
Идеи Третьего Рима уже не было —
ни в христианском, ни в
коммунистическом изводе, никакой
интернациональной идеи не было.
Несть ни эллина ни иудея, сказал
апостол, ибо все вы одно во Христе.
Но не стало слова Христова, и
появился эллин, и иудей, и
азербайджанец, и русский — и один
возненавидел другого.

Сталин расстрелял
Коммунистический интернационал

навсегда. Сталин понял имперскую идею через титульную нацию, на манер Данилевского, и даже понял четче и ярче Данилевского. Сталин замесил из племен и наций новый народ, и продукт почти сложился.

Ради строительства новой цивилизации пришлось пожертвовать идеей интернациональной — как коммунистической, так и христианской. Неприятность, которая случилась с Вавилонской башней Западной империи, — родственна той, что случилась с Российской империей. Фактически произошло повсеместно одно и то же: во время строительства большого

здания отказались от причины, побудившей к строительству. Затевали возвести махину — христианскую цивилизацию; построили — но без христианства; и точно так же сложили коммунистическую империю без коммунизма.

Сперва сантименты показались строителям лишними: Ницше, Сталин, Шпенглер и Черчилль в описании конструкции пропускали христианство нарочно, заменяя религию жертвы и любви — деятельным фаустовским духом. Империи Запада (так мнилось) дух созидания пристал более, нежели доктрина любви. Любить это значит

— отдавать, а созидать — значит «множить»; для строительства логичней второе.

Оказалось однако, что дух наживы непрочен в конструкциях; любовь — вещество вязкое, а множество приобретений — дым.

По всему миру люди думали и чувствовали одно и то же.

Всем им обещали равенство – а дали неравенство. И это самое поразительное из того, что случилось за минувший век. Обещали революцию, которая уравнивает в правах бедных с богатыми, которая сделает принцип всеобщего братства – главным среди людей. Но вместо революции – дали войну, а вместо обещанного братства – смертоубийство и ненависть.

Согласитесь, если бы вас так же обманули в магазине, вы бы возмутились. Вы покупали свежую

рыбу — а вам завернули тухлятину.
Дайте жалобную книгу!

Лидеры человечества — с вежливостью продавцов магазина — терпеливо объясняли нервным людям планеты, что произошел досадный обман: в магазин проник жулик.

— То есть что же получается? Нам обещали равенство и братство, мы заплатили в кассу (часто жизнью и всегда здоровьем) — а равенства на самом деле нет?

— Действительно, к нашему сожалению, вы поверили мошенникам. Обещанного продукта сегодня не завезли, а вам продали возмутительную подделку.

— Позвольте, но вот же

написано! Реклама равенства дана! – и тычут в нос администрации «Капитал» и «Город Солнца».

– Эту фальшивую рекламу давно изъяли из обращения. Администрация магазина приносит извинения. В качестве бонуса рекомендуем почти бесплатный шоп-тур в Арабские Эмираты.

– Но скажите, скажите! Когда же завезут равенство и братство? Что, вообще не производят? То есть начисто обманули или только сегодня на прилавках нет?

– Это сложный вопрос. Рекомендуем писать нашему руководству.

– Но скажите, а почему вместо

равенства предлагают убийство и неравенство? Нет, мы понимаем, что равенство еще не завезли... но убийство мы вообще не заказывали...

— Видите ли, данный вид разумного насилия применен нашей администрацией в качестве защиты от внедрения обманного продукта равенства. Есть прецеденты, когда так называемое равенство распространялось и от него происходило зло. Было решено принять встречные меры.

— Теперь понятно. Значит, вы нас убиваете, чтобы другие не обманывали.

— Именно так.

— Большое вам спасибо.

Повсеместно считается доказанным, что марксистская утопия, принятая к воплощению в некоторых странах, обернулась казармой и лагерем. В качестве практического примера чаще всего приводят именно Россию. Слишком долго на Россию смотрели с надеждой – теперь надобно показать, сколь напрасна надежда была.

Показывают, как заявленное равенство обернулось угнетением меньшинства – большинством, как свобода индивида была подавлена. Толпе внушили, что существуют «враги народа»; это расплывчатое определение люди усвоили. Трудно объяснить, что данный термин

означает. Враг народа — это как? Значат ли эти слова то, что данная личность хочет зла всем людям, образующим народ? Но нельзя хотеть зла сразу всем, зло перестанет быть злом и станет стихийным бедствием. Или это значит, что враг препятствует процветанию собственной страны — желая процветания стране иной? Тогда он, скорее всего, шпион. Или этот термин обозначает того, кто не поддерживает форму распределения, принятую социумом? Объяснения туманны. Врагом народа быть столь же трудно, как быть врагом стихии. И однако данный термин есть распространенный инструмент

социального управления. Ради благополучия всех людей выделяют неудобное меньшинство, объявляют некоторых «врагами народа». Очевидно, что практика шельмования меньшинства противоречит декларативному равенству и братству – и никак не напоминает утопии. Про это сказано многими.

Лагеря сталинизма чудовищны; ученые объяснили, что лагеря социализма суть закономерное следствие восстания против цивилизации. Хотели равенства – ну так вот оно, у параша. Идеи равенства сами по себе неплохи, говорят нам ученые, просто внедрять

их следует методом эволюции, а не революции. Равенство нужно лишь на стартовом этапе эволюционного процесса, и такое равенство обеспечено демократией – равенство возможностей. Однако цивилизацию двигает соревнование, в котором есть победитель – а значит, прогресс движет неравенство. Будущее управляется стратегией рынка – отнюдь не экспроприацией собственников, которая будто бы производится ради равенства, а по сути – вопреки цивилизации. Нам объяснили, что лагеря возникли как следствие варварского желания равенства вопреки историческим и эволюционным законам; теперь мы

знаем: если кто зовет к равенству, он зовет в тюрьму.

Социальные ученые показали, что постулаты равенства, выведенные за границы рыночной цивилизации, враждебны гуманистическим принципам. И термин «враги народа» прояснился. «Врагами народа» варвары именуют носителей цивилизации.

Так – стало понятно.

И люди, ужаснувшись мировой провокации, согласились: да – это опасное варварство! Звучит объяснение администрации разумно.

Виданное ли дело: обещали равенство – а внедрили командно-административную систему! Ну,

знаете! Ведь казарма — это субординация, приказы, шпицрутены, карцер.

Однако трансформация идеи равенства в субординацию — носила всеобщий характер. Принципы равенства внедряли практикой неравенства решительно везде — отнюдь не только в коммунистическом лагере.

Этот же метод (конвертации идеи равенства в практику неравенства) применяли в странах западной демократии, принуждая население принимать участие в преступлениях против любого неудобного меньшинства. И даже термин «враг народа», разумеется,

тоже существовал. Население цивилизованных стран объявляло врагами народа варваров — пропалывала свое поле безжалостно. Население цивилизованных стран соглашалось на любое вразумление дикарских территорий, на бомбежки и аннексии чужих земель. Свободные цивилизованные граждане принимали как неизбежный факт умерщвление себе подобных в далеких странах и бесправие малых народов на своей территории. Идеал равенства существовал, к нему стремились, но, преобразуя мир цивилизационными методами, не забывали, что цивилизация — это иерархия, цивилизация — это

неравенство. Придавая термину «цивилизация» субординационный характер, конвертировали равенство завтрашнего дня в неравенство сегодня.

И люди смирились с этим.

Нравственному сознанию трудно примириться с тем фактом, что неравенство есть форма бытия всей планеты; неравенство есть главное правило жизни всех граждан земли, и это в тот век, когда любой политик говорит о справедливости. Сознанию трудно вместить тот факт, что небольшая группа граждан располагает богатствами, которыми можно накормить всех голодных мира, в то время как значительная

часть населения земли страдает от голода. Невозможно понять, почему те, кто не делится с голодными, считаются прогрессивными, — это не имеет объяснений.

Нет возможности понять, почему богатые и жадные представляют сегодня демократию и либерализм, в то время как демократия подразумевает власть народа, а либерализм — свободу каждого человека. Невозможно примириться с тем, что либерализм стал идеологией, обеспечивающей свободу лишь некоторых; невозможно вместить мысль, что свобода имеет иерархическую конструкцию.

Для того чтобы все вышесказанное стало неотменяемой реальностью, чтобы оправдать этот абсурд – требовалось держать мир в перманентном состоянии войны.

Война нужна миру как оправдание неравенства.

Равенство категорически противопоказано миру – это понимали все, но многие политики стеснялись сказать. Яснее иных в XX веке эту мысль сформулировал Салазар, коего западное общество называло «крупнейшим португальцем со времен Генриха Мореплавателя». Именно мысли Антониу ди Салазара легли в основу создания среднего класса; те же

мудрые мысли облекали в слова и иные лидеры – Салазар сказал яснее прочих:

«Я не верю в равенство, я верю в иерархию. Считаю создание широкой элиты более срочным делом, чем обучение всего населения чтению, ибо большие национальные проблемы должны решаться не народом, а элитой. Мы против всех интернационализмов, против коммунизма, против профсоюзного вольнодумства, против всего, что ослабляет, разделяет, распускает семью, против классовой борьбы, против безродных и безбожников. Наша позиция является антипарламентской,

антидемократической, антилиберальной, и на ее основе мы хотим построить корпоративное государство».

Фактически так думали все, но сказать решались немногие. Когда Черчилль говорил о том, что Запад ведет войну за сохранение привилегий, он имел в виду ровно то же самое. Когда создавали ИТТ, акции «Газпрома» или «Лукойла», наделяли мещан акциями компаний, растягивали понятие «собственник» как эластичный носок — думали об этом же самом: следует вырастить немедленно средний класс, создать на пустом месте общество в обществе, элиту, «креативных»,

привилегированных, верных идеям неравенства. Они и будут опорой корпораций — защитой от уравниловки и революций.

Пусть не смущают в речи Салазара термины «антидемократический» и «антилиберальный» — Салазар понимал демократию и либерализм по старинке, как защиту прав каждого. Сегодняшний фундаментальный либерализм он бы принял безоговорочно.

Требовалось спасти иерархию цивилизации западного мира, создать преторианскую элиту, компрадорскую интеллигенцию, нужно было создать руководящее

меньшинство, которое заменяет народ. Эту преторианскую элиту окрестили современным средним классом.

Средний класс нового типа отменял дебаты о неравенстве — хотя этот средний класс именно воплощал неравенство: подразумевая наличие класса высшего и низшего. Однако дебаты о равенстве замирали сами собой: равенство-то, оказывается, уже есть — вот, полюбуйте! Средний класс — это и есть искомый баланс доходов, своего рода социальный компромисс: индивид не богатый и не бедный, а как бы равный соседу. Прояви адекватность — и попадешь в средний класс.

Средний класс – это сегодняшней эвфемизм равенства. Средний класс – это единственно возможное равенство при капитализме. Равенства нищих нет, но есть равенство людей среднего достатка, средний класс. И люди примирились с этим новым идеалом: вместо равенства – средний класс; а что? недурно выглядит.

А бедняки сами виноваты: умри ты сегодня – а я завтра.

Неравенство ушло в тень, но неравенство надо было в тени пестовать.

Поддерживать состояние неравенства перманентно, не упустить иерархию – и это несмотря

на вопли бесправных о равенстве, на требования революции, на шаткость среднего класса – именно это было основной задачей минувшего века. Именно эту задачу и решает война.

Людям объяснили, что война — лучше революции.

Война, сказали людям, возникает по необходимости защитить завоевания цивилизации перед варварством; а революция, напротив, есть атака варварства на цивилизацию. Среднему классу дали понять, что он представляет цивилизацию и существует благодаря ей.

Средний класс поставили на страже войны — идеология среднего класса всегда оправдывает войну: война отстаивает идеалы мещанина, поскольку именно война защитит от

революции. Война не даст смутьянам порушить магазин и банк.

Весь двадцатый век прошел под знаком борьбы с варварством. Цивилизации был брошен вызов — и цивилизация дала варварству ответ. Эту мысль Тойнби — Толкиена — Черчилля — Буша — Арендт — Салазара цитировали так много раз, что мысль стала казаться истиной, как формула из таблицы умножения.

Люди вообще любят заклинания: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно», «Демократия несовершенный строй, но лучше строя не существует», «Нет Бога кроме Аллаха» — вот и мысль о том, что варварство бросило вызов

цивилизации, а цивилизация
ответила на вызов, принадлежит к
этим заклинательным истинам.

Дихотомию варварство —
цивилизация усвоили прогрессивные
умы.

Попутно возник ряд казусов,
которые остались без ответа.
Установили, что коммунистический
пожар революций был вопиющим
варварством, — это неоспоримо.
Считается доказанным, что фашизм
есть паритетный ответ на
коммунистическую провокацию. Тем
самым — исходя из заявленного
конфликта варварства и цивилизации
— фашизм предстает как бастион
защиты цивилизации. Собственно,

Гитлер, Муссолини, Франко именно так и считали. Франко любил рассуждать о Розарии, а Гитлер называл себя последним древним греком.

Данный казус не принято комментировать – но когда говорят о перегибах, допущенных в Сонгми или Калимантане, обычно склоняются к утверждению, что превышение допустимой самообороны возможно. Цивилизации ситуативно пришлось явить не самые привлекательные черты в этом веке, такова реальность войны. Зачем требовать от паровоза, летящего на всех парах к прогрессу, чтобы он ехал помедленнее?

Как говаривал британский маршал авиации Харрис, когда патруль на дорогах просил его сбросить скорость автомобиля: «Сержант, я ежедневно убиваю тысячи людей — вы хотите предотвратить один инцидент?» Впрочем, маршал во время данного диалога был нетрезв, качался и икал, но его слова могли бы подтвердить жители Гамбурга и Дрездена, если бы могли еще говорить.

Цивилизации требовалось объяснить миру, что единственная форма жизни — это военный лагерь, — и едва в мире заключили мир, как ввели понятие «холодная война», чтобы жители мирных городов

поняли: война – это навсегда. Война в Европе не прекращалась: до конца 1929 года английские, бельгийские и французские войска стояли в Рейнских землях, а уже в 1939-м тех же солдат снова отправили умирать в те же места; солдаты не успели сменить портянки. Уже в 1936-м посылали полки в Испанию, а на Востоке гореть и вовсе не переставало – в тридцатые уже било в небо ровное пламя. Не расслабляться, мира нет в принципе, горячая война сменяется холодной, а потом снова горячей – лишь бы не было революции. Стоило пасть Российской империи, как нашлись новые причины для военных тревог:

войны шли в Африке, на Востоке, в самой России. И чтобы оправдать войну, людям говорили: смотрите, люди! Если вовремя не устроить войну, будет революция! А революция – это гораздо хуже, сами знаете: гильотины, трибуналы, тройки... Вот война – милое дело: приказали, построились, постреляли – и домой.

Вы хотите равенства? Понимаем, это приятно. Вот, извольте, есть средний класс – вот оно, искомое равенство!

И люди кивали: звучало убедительно.

А еще убедительнее – акции «Газпрома» и «Чейз Манхэттен

банка».

Людей продолжали пугать революциями: как бы не подговорили граждан на диверсию против прогресса! И тех же самых людей одновременно убеждали в том, что еще одна война необходима, а потом нужна еще одна война, а потом еще одна. И люди соглашались.

В течение всего двадцатого века в костер войны подбрасывали новые и новые дрова, новые и новые миллионы жизней, лишь бы костер войны никогда не погас. Война немного подъедала средний класс, подгрызала его снизу — хотя довольствовалась пока бедняками; но

те, кому надо было понимать, понимали – средний класс уберут, когда придет пора действовать. Всего делов-то – обесценить акции. Пока средний класс оправдывает локальные войны – он нужен; когда приходит пора большой войны – средний класс пускают в расход.

Война была необходима старому порядку мира, потому что война есть воплощение неравенства на земле, война есть легитимное неравенство, которое транслируется с поля боя в конструкцию мирного общества.

Никогда не утихающая война заставляла граждан мириться с любой несправедливостью, они подчинялись любому самому дикому

требованию корпораций, исходя из того, что приказ генерала рядовой не может оспорить.

Так общество защищалось от идеи равенства — сжигая идею равенства на войне.

В квартире в Астрадамском проезде три старушки любили обсудить эти коллизии истории, а Петр Яковлевич Щербатов, старший следователь, слушал.

– Ты, Петенька, Ройтмана не осуждай, – говорила бабушка Зина, – чует мое сердце, на Ройтмана следствие вывернет. А все почему? Потому что средний класс уже никому не нужен. Я как по телевизору услышала, что доу джонс падает, так и подумала: хана теперь Ройтману. – Баба Зина была грубой крестьянкой из-под Тамбова и мало что понимала в индексах, но

обладала острым классовым чутьем. — Сдадут дурака Ройтмана, как папу его сдали. Улики, конечно, найдут...

— Все ты, Зина, путаешь, — говорила бабушка Муся, — вовсе и не Ройтмана сдали, а Дешкова.

— Так я не про тридцать седьмой говорю, и не про Гришу, а про сорок девятый, когда Соломон с войны пришел, а Моисей как раз умер. Помнишь, Сонечка? Вот демобилизовали его, приехал Соломон на похороны отца, а тут как раз процесс Ройтмана идет.

— Да не Ройтмана был процесс, а Холина! Ну что ты все путаешь... — сказала бабушка Соня.

– И то правда, Сонечка... Путаю все. Ройтман-то, он во Ржеве полицаем служил... Жирный такой, противный. Слюна изо рта капает. И ест все время. Булочки с изюмом любил.

– И не Ройтман это был, а Пиганов. Только потом выяснилось, что он красный партизан. И ему орден дали. А Холин, это который на процессе показал на Рихтеров как на космополитов безродных... Ох, помню, Соломон, переживал!

– Соломон всю ночь с мертвым Моисеем в квартире просидел. Мне Татьяна рассказывала: как он отца покойного за руку взял, так и сидел всю ночь, разговаривал. Сидит подле

отца и говорит, говорит. Спрашивает о чем-то. А Моисей лежит, не отвечает. Соломон опять спросит, а тот и не ответит. Ну, так он и при жизни болтливым не был. Посмотрит так косо, из-под бровей, да и пойдет мимо. Так и проговорили с отцом до утра. А утром за Соломоном пришли, конечно.

— Он им сказал: отца похоронить дайте, филистимляне! — сказала бабушка Соня.

— Был бы Дешков жив, он бы Соломона не отдал.

— Дешкова в Освенциме убили. Ракитов бы помог, Колька, бандит.

— Кольку ты еще во Ржеве, Зина, выделяла. Так ведь тоже убили.

– Но теперь-то Ройтмана не тронут, не те времена.

– Ну, может быть, пяток лет дадут.

– Холину и то десять дали. Только не стал приговора ждать...

– Эх, Любоньку его жалко.

– А Катьку ройтмановскую не жалко? Ведь одна осталась.

Петр Яковлевич давно перестал следить за хронологией в рассказах своих бабушек. Если попытаться вникнуть, то окажется, что старушки равно присутствовали и в московских историях, и в ржевских лесах, а как это возможно, следовательно Щербатов понять не мог. История московского оппозиционера

Ройтмана вплеталась в разговоре в историю предателя Холина, коей было уже без малого семьдесят лет, и бабушки находили, что эти истории меж собой связаны.

— А Ройтмана ты отпусти, Петечка, пусть Ройтман в Израиль уезжает и станет там спекулянтом, как историк Халфин.

— Уж этот торговал! А сколько он за медные колечки драл, это же бессовестно!

Иногда Петр Яковлевич пытался доказать бабушкам, что невозможно так долго помнить зло. Мы должны прощать, говорил следователь трем старухам, всякое преступление имеет срок давности. Невозможно вот так

тянуть нить памяти и обиды.

– Вот ты и прощай, – говорила ему баба Муся, – у тебя работа такая, что ты можешь простить. А мы помнить должны.

А самая древняя, бабушка Соня, сказала так:

– Ты не можешь отказаться от своей вины, когда бы ты ни совершил грех, он всегда будет с тобой, и ты его на горбу потащишь в могилу.

– Но ведь Господь может простить, – сказал Петр Яковлевич, – Господь милостив, – сказал следователь.

– Господь, может, и захочет простить, а вот мы не простим, – сказала бабушка Муся, которая

помнила все особенно вьедливо. — И почему это я должна прощать, если кто сделал гадость!

— Потому что он раскаялся и замолил, — сказал Петр Яковлевич.

— Нельзя ничего замолить, — сказала Муся, — все люди навсегда пребывают связанными воедино, и те, кого ты предал, повиснут у тебя на шее навсегда и утянут на дно. И богатство, что ты украл, оттянет карманы, и провалишься в бездну, где плач и скрежет зубовный. Ничего ты не отмолишь, ничего.

— Неужели совсем ничего нельзя забыть? — спросил следователь.

— Если забудешь, ты потеряешь свою историю и станешь травой.

Петр Яковлевич сидит на кухне перед чистым листом и рисует схемы. Он занят расследованием. Надо решить уравнение; следовательно хочет понять, кто виноват в преступлении, перебирает варианты.

Решение рядом, он знает; надо верно расставить факты, иначе ошибешься. Следствие – как история. Сколько раз в истории ошибались! Гонят солдат на край света воевать, а потом оказывается, воевать не стоило. Вот Гегель выстроил линейную модель истории – и ошибся, забыл про Китай; философ истории написал, что Китай уснул навсегда. А Китай вдруг проснулся. Может быть, все драмы Запада от

нелепой ошибки следователя Гегеля? Понадеялись, растратили силы на марш и барабанный бой – а теперь Восток хочет первенства. Или надо учесть данные, добытые следователем Хайдеггером? Но как учесть онтологию бытия – ведь следствие занимается феноменом бытия и разрушением каждого конкретного феномена.

– Про Хайдеггера, – говорит бабушка Соня, – Ракитов с полицаем Пигановым спорили. Во Ржеве у них дискуссия состоялась по поводу онтологизации категорий. Ракитов говорил, что бытие следует различать на битие-по-морде, битие-по-почкам и битие-до-без-сознания. И

последнюю стадию бытия осмыслить труднее всего, хотя она является наиболее онтологической из всех.

— А Пиганов возражал, он утверждал, что битие-по-почкам-до-без-сознания-и-вопреки-сознанию-того-кто-дубасит и есть наиболее полная степень самопостигаемости совести.

— Хайдеггер — главный философ Новейшего времени, — говорит бабушка Зина, про которую никогда бы не подумали, что она в ладу с философией, — мы во Ржеве его часто читали. Феноменология бытия тогда сильно страдала, зато онтологии было навалом.

– Если бытие неопределимо и это есть само-собой-объясняемое понятие, то отнять бытие у другого нельзя, это так Ройтман объяснял Хайдеггера. Мы можем отнять у другого только то, что хотим отнять, ведь так? А как мы можем желать отнять то, что нам самим непонятно? Фашисты как бы ставят вопрос о бытии евреев и русских – в самопостигаемости бытия-внутри-неопределимого-бытия-лагеря, – говорит бабушка Соня.

– Нацизм, как возражал ему Ракитов, есть онтологизация феномена коммунизма. То, что коммунисты хотят внедрить как феномены житейской практики,

нацисты онтологизируют. Равенство для коммунизма — это желаемый феномен бытия, а для фашистов равенство есть онтологизированная категория. Это нагляднее всего видно на примере газовых камер. Когда у евреев выдергивали золотые зубы и сбривали волосы на шиньоны, персональное еврейское бытие как бы присовокупляли к общему бытию, в котором золотые-зубы-в-целом не являются атрибутом феноменологии, но суть — чистая онтология.

— Ты понимаешь, Петя? — спрашивает бабушка Соня.

— Это просто, Петя, — говорит бабушка Зина. — Существование понимает себя самое, всегда исходя

из своей собственной экзистенции, как некую возможность самого себя: быть самим собой или не быть таковым. Именно в этом смысле бытие евреев есть некая возможность бытия, но одновременно и вопрос об этом бытии. Переведя феномен равенства в его онтологическую ипостась, нацизм как бы вопрошает еврея: ты есть – или тебя нет?

– Нацизм есть онтологическое вопрошание бытия, – говорит Муся.

– Мне это совсем непонятно, – жалуется Петр Яковлевич. – Как следователь я нуждаюсь в ясности показаний. А здесь одна и та же вещь поименована трижды по-разному:

бытие, экзистенция, онтология — это ведь одно и то же?

— Некое феноменологическое бытие еврея может быть разрушено, так они считали; но это не обязательно ведет к полному уничтожению онтологического вопрошания о бытии еврейства, — объясняет Соня.

— Нет, для меня это слишком сложно.

— Ты, Петя, всех подряд не слушай. Будут советовать: и так попробуй, и сяк попробуй. А еще скажут: сколько людей, столько и правд. Не верь, Петя. Правда одна. Надо посмотреть на всю историю разом — и сам поймешь, что главное.

— А как понять? — с улыбкой говорит Петр Яковлевич.

— Вот когда женщина любит, у нее есть правда, — говорит бабушка Зина.

— А мужчина? А страна? Как понять, права страна или нет? А культура?

— Если отец и сын образуют одно целое — значит, страна права, — сказала бабушка Соня.

Но Петр Яковлевич прожил всю жизнь холостяком, иных женщин, помимо своих бабушек, он не знал. И детей у него не было, и отца он не помнил. Он жил среди чужих фотографий; на фотографиях незнакомые женщины обнимали

неизвестных ему мужчин, а мужчины закрывали женщин грудью. На других фотографиях сыновья прижимали головы к плечам отцов — и он знал: так любят в чужих семьях. Щербатов нежных воспоминаний не хранил — помнил лишь детский дом, а потом приехала в детский дом бабушка Соня, забрала мальчика в московскую квартиру. Истории, которые мальчик слышал от старушек, которые следовательно слышал на допросах и читал в книгах, — были историями других людей, сам он этих историй не пережил. И когда он стал судить мир — ему не с чем было этот мир сравнить. От него требовалось найти

решение в чужой жизни, сказать, кто виновен в чужой истории. Может ли он судить незнакомых людей и чужие чувства, если он сам этих чувств не знает? Он никогда не ревновал, не ждал чужую жену на свидание в гостинице, не писал анонимных писем — как может он судить любовные чувства? Он не обнимал женщину и не плакал в разлуке с ней. Он не держал руку мертвого отца, не держал на руках новорожденного сына — что он может сказать тем, кто эти чувства испытал?

Но скажите, как судят англичане — о русских, и как судят русские — о таджиках? Разве мы знаем, что чувствуют немцы, когда видят, как

горит их аккуратная страна? Разве нам ведомо, что чувствует перс, когда смотрит на своих детей, — то ли самое, что чувствуем мы? Или иное? Разве русский понимает, что чувствует еврей, — а еврей, что он может знать про боль русского? Мы всегда судим чужую историю и чужих людей, исходя из своего опыта, — а опыт у нас небольшой, говорил себе Петр Яковлевич. Но все наше знание о мире — это набор наших суждений, не больше. Мы отсеяли то, что нам кажется ложным, от того, что нам кажется правдивым, — а как мы можем отличить одно от другого? Не правильнее ли — уклониться от

суждения? И сколь часто мы говорим сегодня: воздержись от суждения — тебе неизвестна чужая правда. И так правильно, нельзя судить. Но если война? Если смерть? Ведь правда — только одна. И каждый раз, когда случается смерть — а я все время вижу боль и смерть, — всякий раз я понимаю: правда одна, она проверяется смертью и проверяется насилием. Однажды происходит такое, что дает право выносить суждение о других.

И каждый день совершается насилие и наступает смерть, и я должен судить тех, кто не подлежит моему суду.

Сколько противоречий в

Писании! Он говорит: «Не судите, да не судимы будете», – но сам Он судит постоянно. Но Он же Бог. А если прав Толстой, и Он – всего лишь врач? Разве врач не призван выносить суждения ежедневно о чужих людях? И что будет, если врач откажется от суждения? Разве врач имеет право прощать недуг? Но кто сказал тебе, что этот недуг не есть – здоровье?

Следователь смотрел на фотографии на стенах: ему с детства говорили, что это и его семья тоже. Бабушки говорили ему:

– Видишь, этот военный – Сергей Дешков.

– А это Соломон Рихтер.

И Петр Яковлевич вглядывался в чужие черты; вот, думал он, и у меня тоже есть семья. Но что это значит: семья? Значит ли это, что иная жизнь — сделалась его жизнью? Черед отцовств — и есть история, и если даже я не знал отца, я вольюсь в чужую семью, я стану пасынком истории. Но разве жизнь сына буквально вытекает из жизни отца? А если это не так, значит, история делится на много рассказов и у каждого рассказа своя логика, свой закон? Разве он получил право судить всю семью Холиных — и отцов, и сыновей — на том основании, что однажды вошел в их дом и стал им родней? Он судит на

основании закона, да; но что такое закон, если закон охватывает своих и чужих? Разве пригодился кодекс Наполеона – России? Разве не встали русские крепостные с дубьем против чужой им цивилизации, в которой уже не было рабства? И что – это было правильно?

Старушки рассказывали ему такое, чего он сам помнить никак не мог, – но разве история не поступает точно так же с каждым человеком, присоединяя его крошечный опыт к длинной череде событий? Разве мир не делает то же с малыми народами, включая их в долгий общий рассказ? Если хочешь быть большим, говорит бабушка внуку, ты должен знать, что

ты часть единого целого, ты растешь вместе со всеми. Маленькая горбоносая бабушка Соня, костлявая длинная бабушка Муся и круглая курносая бабушка Зина — представлялись Петру Яковлевичу колдуньями русской сказки; эти сказки ему когда-то читала бабушка Соня. В русских сказках старые костлявые старухи знают обо всем — вот и его бабушки помнили все.

— Подо Ржевом надолго встали, — говорит бабушка Зоя, — уж как Сталин хотел вперед вырваться, уж как хотел. А не мог. 33-я армия генерала Михаила Ефремова там увязла, попали они в окружение. И просил генерал, и умолял Ставку —

дайте нам выйти на соединение к своим, разрешите прорвать немцев — а не позволил Сталин.

— Сталин ему написал: «Потерпите. Мы о вас не забудем».

— Им немцы в рупор кричали: «Солдаты, не валяйте дурака, отставайте от своих отрядов, сдавайтесь в плен. Командиры вас предали. За что умираете?»

— А они держались, конину ели.

— И Жуков генералу отказал, накричал на него. А потом самолет за генералом прислал — мол, улетай. А генерал с солдатами остался. И застрелился, родимый. Его немец Модель с почестями похоронил.

— Вальтер Модель, это 9-я

немецкая армия, да?

— Генерал Модель сам застрелился через два года, как и генерал Ефремов. И тоже потому застрелился, что отступать не разрешили, — попал в окружение.

— Так и фон Клюге, командующий армиями «Центр», тоже застрелился.

— Яд принял, — говорит бабушка Соня.

— От судьбы не уйдешь, — говорит бабушка Муся.

— Эх, жена не дождалась, — говорит бабушка Зина.

— А вот Катерина все Ройтмана своего ждет. Ты уж, Петя, его в тюрьму не сажай.

– Какая красивая женщина.

И как можно все судьбы
смешивать в одну историю?

Значит можно.

Ликвидировать средний класс оказалось проще, чем ликвидировать евреев: в условиях финансового капитализма достаточно обесценить акции, и среднего класса больше нет. Средний класс надувался и сдувался по желанию финансового рынка, в зависимости от волатильности ценных бумаг.

Феноменологическое существование равенства было невозможно, но идея равенства (то есть идея равных возможностей, реализованных средним классом в акциях мировых благ) существовала, и такое равенство всех устраивало.

Блага мира описали на бумаге, и каждый имел возможность получить себе клочок с описанием. Представитель среднего класса напоминал миру, что хотя он внизу пирамиды, но столь же независим, как те, кто на самом верху. Благая весть: «Мы свободны и живем не хуже, чем толстосумы, поскольку у нас равные с толстосумами возможности» — разнеслась по миру и отменила требования равенства слабых с сильными. Возможно, прежде сильные решали за слабых, как ничтожествам жить и как умирать, — не то теперь! Теперь если маленький человек грамотно воспользовался своими правами:

приобрел акции, разумно их инвестировал, оформил ипотеку — он получил приблизительно те же блага мира, что и человек большой. Пусть у магната — огромный дворец, но независимость в уютном коттедже — это совсем недурно. Отныне маленький человек не зависит от владыки. Правда, не уточняли, что его свобода взята у сильных в кредит.

Средний класс как бы существовал, хотя на деле его не было. Равенство было — но это равенство было бумажным.

Когда мещанин сравнился в правах с толстосумами, ему показалось, что совершенно не важно, сколько всего уворовано

толстосумами, ведь нечто перепало и ему. Да, у банкира много акций компании «Бритиш петролеум». Но и у обывателя есть акции «Бритиш петролеум»! Как говаривал правозащитник Халфин: «Для чего человеку завидовать обладателю “Роллс-Ройса”, если у него есть “Рено”». Однако в реальности «Рено» был куплен в кредит, на акции, выписанные владельцем «Роллс-Ройса», и осязаемое обладание автомобилем «Рено» зависело от акций «Роллс-Ройса». Но сколь отрадна была причастность к большим капиталам!

Гомункулус «среднего класса» произвели в России диковинным

путем: чтобы уравнивать граждан в правах на акции, требовалось лишить этих же самых граждан прав на общенародную собственность. Требовался незначительный процессуальный обман: «общенародную» собственность объявили государственной, а государственную собственность признали неэффективной – то был извинительный трюк: кто же теперь входит в такие тонкости, как отличие народа – и государства? Подлог осуществили люди прогрессивные, они продавали общее имущество рьяно, но считали, что желают всем добра.

Лидер оппозиции Пиганов (он

же президент банка «Нефтяной») обычно говорил так:

– Принадлежит народу – значит, никому не принадлежит. Что за собственность такая «общенародная»? Что за рабское сознание? Мы обязаны развить в индивиде инстинкт собственника, сделать из раба казармы – представителя среднего класса. Это – путь в цивилизацию.

Чтобы почувствовать прелесть обладания и стать представителем среднего класса, требовалось отказаться от анонимной общенародной собственности – и получить маленький кусочек личной собственности в свои руки.

Позвольте, ярились люди недоверчивые, но руда и нефть на кусочки не делятся! Им объяснили: если вы отдадите вашу общую собственность кому-то одному, а новый собственник много акций напечатает, он вас всех снабдит купонами. Тогда у вас будет собственность в руках! Раньше — ничего не было, только знание того, что у всего народа есть общенародная собственность. А теперь — есть купон, свидетельство, что вам лично принадлежит тысячная доля процента! Теперь совсем иное дело! Принадлежит лично, значит, ты — личность! Средний класс!

И обыватель потирал руки:

личность — это звучит гордо.

«Вот лист, где бедствий тяжкая
пора навек избыта росчерком пера, —
как говаривал Гёте. — С билетами
всегда вы налегке: они удобней денег
в кошельке».

Легкое удивление все же
присутствовало. Быть
представителем «среднего класса» —
значило быть собственником; быть
собственником — значит обладать
предметом; а предмета не было.
Собственности — не было. Обладание
свелось к обладанию символом,
каковой всецело зависел от воли
нового хозяина, то есть реального
владельца собственности, прежде
принадлежавшей всем. Так возник

средний класс, довольный
сопричастностью к капиталу, — и не
имеющий ни крошки из реального
капитала.

Граждане говорили друг другу:
только бы не было революций, мы не
хотим равенства бедняков, мы теперь
— средний класс, мы — личности! И
гордо показывали друг другу
нарезанную бумагу. Их хозяева тоже
были личностями, и даже в
превосходной степени, поскольку
личного барахла у хозяев было много.
Толстосум стал воплощением
равенства, так Геринг называл
заводчика Круппа — образцом
рабочего. За толстосума готовы были
отдать жизнь, и однажды он эту

жизнь попросил.

Однажды символический финансовый капитал устранили; банкам потребовалось зафиксировать прибыль, а нарезанную бумагу — выкинуть. При этом у толстосумов сохранились «Роллс-Ройсы», а у обывателя его «Рено» отняли за долги.

Разве вы не поняли, что свобода — дана в кредит?

Средний класс был ликвидирован, неравенство вновь явилось миру. И ахнул Авель: что же, я уже не брат Каину? Неужели он мне не сторож? Значит, не делим мы с хозяином по-братски недра моей Родины? Обывателю объяснили, что

средний класс – это был фронтир при угрозе вторжения варваров, это был заслон от интернациональной бедноты. А теперь среднего класса нет.

А равенство как же? Что же будет с нами? Будет-то что? Зияет пропасть между богатыми и нищими.

И граждан спросили: чего вы хотите – равенства в кровавой революции или разумного неравенства в войне? Варварства желаете или цивилизации?

За время бытия среднего класса обыватель привык, что надо соглашаться с убийством себе подобных, – в Африке, Индии, России.

И загорелся Восток, и стали взрываться страны Магриба, и хлынули беженцы через границы, и обыватель понял, что выбора у него нет.

Граждане натренировались в предательстве ближнего, отпихивая друзей локтями от кормушки и привычно вгрызаясь в загривки конкурентам, но готовы ли они к войне? Когда потребуется перейти непосредственно к убийствам, как совершить им этот последний легкий шаг? Убийства на экране телевизора созерцали привычно, согласие на бомбардировки давали – но сумеют ли граждане сами вспарывать друг другу животы? Все же одно дело – служащих увольнять – а если служащий удавится с отчаяния, это, согласитесь, его личный выбор, – и

совсем другое дело — этому служащему стрелять в живот.

В дурные сталинские времена существовали специальные курсы подготовки к войне «Готов к труду и обороне» — на курсах граждане обучались стрелять, рыть окопы, управляться с противогазом. Новое время ввело иной курс, сообразно развитию военных технологий. Принципиальным для подготовки к смертоубийству было поощрение убийств, совершенных знакомыми, дружба с сиятельными бандитами, легкое соучастие в воровстве. Столичные интеллигенты привыкли к тому, что их знакомые — воры и убийцы, даже немного гордились

брутальностью и размахом своих друзей. Либерал обнимался с нефтяным бароном, отлично зная, какой ценой баронство куплено. Всякий раз, когда речь заходила о конкретной личности доброго друга, оспаривали причастность друга к живодерству — хотя и не отрицали живодерства как такового.

— Откуда вы взяли, что миллиардер Курбатский лично убивал людей? Грабил — да, мошенничал — не спорим! Но убивать? Курбатский — фигура трагическая, ренессансная, он соткан из противоречий: то здесь сопрет, то там слямзит — но в мокрых делах, кажется, не участвовал. Вы

что, видели? И вы не видели. Купил ли он мне квартиру? Допустим, да. Но это сложный вопрос и не имеет отношения к обсуждаемому предмету.

— Как можно говорить, что правозащитник Пиганов связан с преступной группировкой? Ну да, финансовые потоки, омывающие его либеральную партию, зарождаются на алюминиевом комбинате, а данный комбинат был приватизирован, скажем так, нестандартным способом. Но непосредственно Пиганов к удушению директоров не имеет отношения. Совместима ли либеральная программа с работой

алюминиевого комбината?
Разумеется, да: либерализм — это учение о свободной инициативе.

— Как вы можете говорить, что Кессонов отдавал приказы о взрывах жилых домов? Он действительно торгует оружием, из этого оружия производят выстрелы, но скажите: если вы производите ножи и вилки, вы повинны в убийстве коров? Да, Кессонов — жесткий человек, это необходимое качество бизнесмена. В чем это выражается? Жесткий — и все. А кто взорвал дома — неизвестно. Террористы, вероятно.

Рядовой бизнесмен был сравнительно далек от убийства. Иногда эта мысль посещала умы, но

ненадолго. Так, преуспевающий ресторатор Дмитрий Мырясин подумал было о том, что хорошо бы расчленить владельца мебельного бутика Давильского, распилить его полное тело бензопилой в подсобке ресторана. Повод был вопиющим: Давильский снабдил идентичным мебельным гарнитуром как ресторан «Сен Жюст», так и конкурирующий с ним рыбный ресторан «Морские гады». Меру оскорбления поймет всякий, если представит себе двух дам, явившихся на вернисаж в одинаковых платьях. За такое равенство и убить мало. Недурно бы разместить Давильского в холодильнике между навагой и

палтусом – пускай бы улыбалась его
щекастая голова сквозь
заиндевевший полиэтиленовый
мешок.

Однако, в отличие от распила
России, распил Давильского не
состоялся.

Светская столица привычно
жужжала в ресторане «Сен Жюст»,
бензопила пылилась без дела, а
Давильский продолжал торговать
мебелью и не подозревал, какая
участь его миновала. Ресторатор
Мырясин, здороваясь с ним,
сдержанно улыбался; вместе сходили
на митинг в защиту базовых
ценностей.

В целом можно сказать так:

граждане понимали необходимость избирательных убийств, продиктованных бизнесом или вторжениями в дикие страны; граждане легко распознавали в общей компании того, кто подлежит устранению; но непосредственно к убийству еще перейти не могли. И только общее ухудшение мира — протух мир, испортился, расклеился мир — убеждало граждан, что чистоплюйство не надолго. Люди аккуратно, намеками, убеждали друг друга, что убийство себе подобных не есть абсолютное зло. Мы ведь не желаем равенства в нищете?

Ах, это преувеличение! Разумеется, все светские граждане

были воспитанными людьми. Конечно же, никто не выступал против равенства. Что же мы, не понимаем, что равенство — это хорошо? Конечно же, люди просто хотели добра, денег и демократии. Проблема лишь в том, что эти три компонента не сочетаются.

История двадцатого века есть история борьбы демократий, каждая из которых именovala себя истинной демократией, а соперницу называла мнимой. Во всех демократических обществах говорили о равенстве — и в каждом обществе понятие равенства трактовали немного иначе, чем в другом. Иной остряк бы сказал, что не существует тождества в представлении о равенстве, — но людям было не до шуток. Казалось бы, чего проще: если люди равны — то они равны, вот и все. Однако свойство равенства определению не поддавалось. Если равенство

свободных людей подразумевает наличие рабов, то, вероятно, это не есть буквальное равенство? Некоторые формы демократии объявляли тоталитаризмом на том основании, что в этих странах вводили однопартийную систему. Определений тоталитаризму давали много, однако ни одно из них не объясняло исчерпывающе, чем отличается одна одураченная толпа от другой.

В некоторых странах власть народного лидера была более беспощадной, чем в других, — впрочем, формы беспощадности варьировались богато. И если оправдать убийства за пределами

вверенной лидеру демократии, то разом оправдаешь многих злодеев; а если не принимать убийства невинных вовсе — то как быть с расстрелом греческих повстанцев и бомбежкой Ирака? Сначала казалось, что с этим вопросом можно разобраться: дело в дозировке необходимого лекарства. Пытались ввести квоты на умеренное истребление невинных, вводили норму на истребление женщин и детей при прогрессивном бомбометании варварских стран, но это выглядело неубедительно. В конце концов, и нацисты уверяли, что они ликвидируют недочеловеков избирательно, в целях общего

оздоровления организма. Одна из последних фраз Гитлера: «Когда они будут идти к новой войне, вспомнят, что я не успел избавить мир от всех паразитов», — слишком очевидно вписывается в данную риторику. Демократии всячески старались откреститься от памяти о Гитлере и Сталине. Лидеры противоположных изводов демократии в сердцах именovali друг друга гитлерами и сталиными, но поскольку каждый называл каждого «гитлером», определение потеряло смысл. Изначально эти имена были ругательными — Гитлер и Сталин воплощали нечто антидемократическое. И

действительно, эти вожди народов были крайне жестоки, что, впрочем, не отменяло народного характера власти и одобрения данных диктаторов народом. Их легитимность на момент правления не вызывает сомнений, и то, что они представляли волю демоса в не меньшей степени, нежели их либеральные коллеги — очевидно. И Сталин, и Рузвельт, и Гитлер одинаково пылко делегированы народом на власть, хотя Рузвельт и не считал Гитлера демократом, а Гитлер не усматривал в американском капитализме народной воли, а Сталина считал азиатским тираном.

Общество Советского Союза

называло себя демократией, и Западная Европа называла свои государства демократиями, народные депутаты присутствовали и тут и там, и со всей очевидностью одновременно существовали социалистическая и капиталистическая демократии. Корпоративное государство Салазара и Муссолини, демократический централизм Советского Союза, национал-социализм Германии, капиталистический порядок Америки – это различные формы народовластия, и варианты управления разнятся в зависимости от культур и обычаев народа. Именно потому, что типы народного сознания

различны, формы народовластия ужитья друг с другом не могли, — и культурные составляющие выступили на сцену более очевидно, нежели при монархиях. В течение века шла война между различными формами народовластия, за то, чтобы в конце концов был совершен окончательный выбор — надо было установить оптимальный способ управления свободными людьми. Разумеется, существовали методы управления этими формами народовластия, и требовалось найти наиболее эффективный способ командования теми, кто считает себя независимым. Шла война между демократиями, иными словами: шла долгая война

между различными формами номинального равенства — ради повсеместного установления лучшей формы неравенства.

Люди внимательные спорили с данным утверждением; они ссылались на фактор многопартийности, на позитивные законы, на независимый суд — отличающий хорошее народовластие от плохого. Однако выходило так, что хорошие законы народовластия напрямую зависели от плохих законов, которые обосновывали насилие, и народовластие выживало благодаря скрытой власти элиты. И даже те, кто видел существенную разницу между диктаторами и

сменяемыми президентами, заметили, что неравенство пришло в сытую законную Европу, пришло опять.

И люди спрашивали друг друга: почему старики роются в помойках, а банкиры катаются на яхтах? Ведь старики работали, а банкиры просто хранили деньги, которые зарабатывали эти старики. Разве такое неравенство честно?

Таким людям надо было снова показать, что выбирают они не между справедливостью и обманом, но между революцией и войной.

Задача проста: среди многих неравенств надо отыскать такое неравенство, которое убедит

свободных людей в своей разумной необходимости и будет выбрано ими как наилучшая форма общежития. Искать проще всего на войне, потому что война наиболее эффективно уничтожает мысли о равенстве и отменяет попытки революций.

Выражение Гёте «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой» и выражение Гитлера «кто в этом мире не желает принять участие в драке, тот не заслуживает права на жизнь» — схожи до неразличимости. Да, это сказали весьма разные люди, и один из них был гуманист, а другой — палач, но цивилизация запуталась. Цивилизация Запада сделала все,

чтобы война была бесконечной, а
неравенство называлось равенством.

Следователь читает письмо Соломона Рихтера, написанное Фридриху Холину из Бутырской тюрьмы. Письмо в Астрадамский проезд доставил вор Ранкей, письмо сохранили среди фотографий.

...Тюрьму эту проектировал архитектор Казаков, и, если задуматься, в здании сохранен порядок классицизма, хотя внутри очень грязно. Всему отведено надлежащее место, и вот нам, заключенным, тоже придумано соответствующее помещение. Вместе со мной на фронте служил

архитектор Казанцев – мы много с ним спорили о том, что классицизм несет в себе модель неравенства, сколь бы гармоничен этот стиль ни был. Возможно, что именно античная гармония (как мы привыкли понимать ее) содержит в себе принцип неравенства. Не эту ли гармонию ищет постоянно человечество? Любопытно, какие дома в будущем будет строить архитектор Казанцев и кто будет его заказчиком.

Когда ты писал свой донос, Фридрих, ты, очевидно, хотел причинить мне боль, и не сомневайся, тебе это удалось. Я также уверен, что ты нашел понимание у своих

сегодняшних знакомых, объясняя им причину этого доноса — ведь всякий донос пишется из соображений адекватного кружку поведения, то есть опять-таки из потребности в классической гармонии.

Результат тобой достигнут, боли здесь много, Фридрих.

Но помимо горя, Фридрих, я испытал в этих стенах чувство счастья — оно возникло у меня от ощущения равенства в беде. Равенство — чувство скорее неестественное: нам привычно кому-то приказывать и кому-то повиноваться. Равенство — состояние крайне редкое, возникающее в момент сильной

любви, в отношениях отца и сына или в утопиях. Собственно говоря, про равенство мы много слышали, но переживали это чувство крайне редко. Удивительно то, что я переживаю это состояние равенства здесь – и переживаю его как награду. Я осознал равенство с другими в большей степени здесь, чем даже на фронте. Дело в том, что на фронте, во время боя, солдат подчас испытывает упоение победы и торжества над павшим. Я сам испытал это чувство два раза, когда уничтожил самолет врага. Это была победа в поединке, но равенства на войне не бывает никогда – даже самый честный

поединок сводит ловкого и неловкого, смелого и робкого, опытного и менее опытного. Война — это всегда неравенство, Фридрих, даже если ты воюешь за справедливость и равенство.

А здесь, в общей камере, я пережил то захватывающее чувство, о котором писал мой любимый поэт Маяковский, я стал частью общей боли, когда общие даже слезы из глаз. Прежде я не понимал этого образа, сегодня понимаю. Моя жизнь стала минутой в общей судьбе. И я этому рад.

Иногда критики коммунизма говорят, что равенство при коммунизме — есть равенство нищих.

Это суждение, кажется, высказывал популярный британский политик Черчилль. Сегодня я не стану спорить с этим утверждением. Пусть так. И равенства нищих я не отвергаю. Думаю, что человеческая душа закаляется именно через равенство в нищете, через равенство в горе, в отказе от достатка. Привилегии не нужны никакие, однажды это нужно понять, пусть даже такой ценой. Именно этому учил Иисус. Значит, мне мало было войны, если пришлось еще видеть и это.

Я хочу, чтобы ты знал, Фридрих, во мне нет злобы к тебе. Только жалость.

Я оказался в таком месте, где легко утратить веру в коммунизм. Здесь нет справедливости. И мне здесь страшно. Но веры в общее дело я не утратил.

Здесь нет никакой иной справедливости, кроме одной – мы здесь едины в боли. И выше этой справедливости не бывает. Я продолжаю верить, что главным достижением человеческой мысли является мысль о равенстве. Главная мысль, которую придумали люди, состоит в том, что надо разделить боль соседа.

В той мере, в какой коммунизм воспринял это у христианства, это учение мне дорого – а много

коммунизма я не желаю знать.

Видишь ли, Фридрих, твой донос помог мне найти себя. Я, разумеется, не космополит. У меня есть Родина, Советский Союз, и есть национальность – я еврей. И я наконец понял, что такое еврейство. Меня научили Гитлер и ты. И тюрьма. И Сталин. Вы все связали еврейство с революцией. И это правильно: евреи – нация революционеров. Самым важным в понимании еврейства для меня стал Новый Завет – переосмысление избранничества. Избранник тот, кто делит себя с другими. Это и есть подлинная революция – отказ от первенства. Я еврей только в

этом, высшем смысле, – в том, что я един со всеми нациями. Это и есть настоящая победа.

Я бы хотел, чтобы прежде всего стало легче им, тем людям, которые меня окружают сегодня. Их горе я вижу каждый день. Но на свете очень много горя, и я однажды решил его разделить со всеми. И каждую минуту я живу для них, соединяя свое дыхание с их дыханием. Хочу, чтобы они вышли отсюда здоровыми. Я хочу, чтобы у нас у всех достало сил пережить это.

Ты, наверное, думаешь, что поместил меня в ад? Нет, ад – это предательство. Здесь не ад. Мы

здесь живем, и нам больно. Но это жизнь, Фридрих.

И если у меня когда-нибудь достанет сил, я снова буду защищать равенство. Я буду строить мир равных, я буду работать для всех людей, буду писать и жить так, чтобы каждый был равен товарищу и никто не пожелал ни крупицы сверх равной доли. Это единственное, ради чего стоит жить. Теперь я знаю, это очень опасный путь.

Но ничего иного я не хочу. Быть равным другому – это очень опасно. Хочу видеть перед собой красный свет опасности и идти на красный свет.